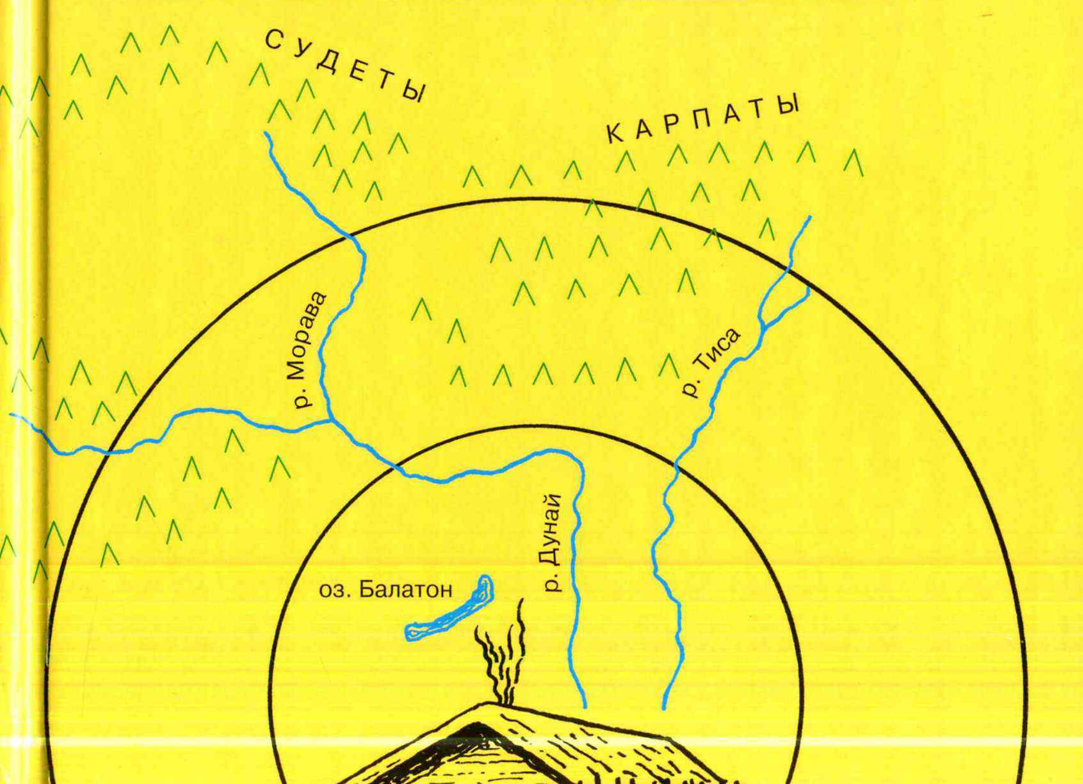
О. Н. Трубачев

ЭТНОГЕНЕЗ И КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯН

Лингвистические исследования



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА
им. В.В. ВИНОГРАДОВА

О. Н. Трубачев

ЭТНОГЕНЕЗ И КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯН

Лингвистические исследования

Издание второе, дополненное



МОСКВА «НАУКА» 2003

УДК 80/81
ББК 81
Т 77

Ответственный редактор
академик Н.И. ТОЛСТОЙ

Рецензенты:
член-корреспондент *В.В. Седов*
доктор философских наук *Э.Ф. Володин*
доктор филологических наук *И.Г. Добродомов*

Ответственный редактор второго издания
И.Б. Еськова

ISBN 5-02-032661-5

НЕВОД

От озера Неро
до озера Нево
небо,
небо.

Закину я невод
от озера Неро
до Нерли,
до Неи,
до Нары,
до Нарвы,
до Нево...

За реки, за горы –
от мери,
мещоры,
до чуди,
корелы,
до жмуди,
дремелы,
дреговичей,
веси,
до кривичей,
вятичей,
бодричей,
лютичей,
тиверцев,
тавров,
до север,
до сербов,
до чехов,
до ляхов,
до русов,
до скифов,
до антов,
до арьев...

Закину я невод,
шелковые сети
до неба,
до недра,
до дна и до выси,
до самой до сути –
до Божией мысли.

2000 г.

Стихи Юрия Лощица, самого славяноязычного, самого славянского, самого, может быть, целомудренного из наших современных поэтов, были посвящены 70-летию автора этой книги. Этим своим образом “невода–отсева”, “невода–реконструкции” поэт отразил самую суть.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ (ПРОБЛЕМНОЕ АВТОРЕЗЮМЕ)

Интерес к этноисторическим судьбам славян отличал автора всегда. Это получило выражение в его работах по племенным названиям у славянских народов (ср. ст. "О племенном названии уличи". – Вопросы славянского языкознания 5. М., 1961; особенно – ст. "Ранние славянские этнонимы – свидетели миграции славян". – Вопросы языкознания 1974, № 6).

Уже в этой последней статье (начало 70-х годов) признается: "Отголоски древнего пребывания славян на Дунае существуют и требуют изучения, а не одного лишь скептического отношения. Интерес к ним в науке будет, возможно, еще усиливаться, особенно в связи с современными поисками индоевропейской прародины где-то вблизи Дуная и Балкан"; там, далее, кстати, формулируется и типологическая универсалия сравнительной этнонимии и ономастики: обозначения стран и народов с компонентом *Великий, Великая*, напр. *Великая Греция, Великобритания, Великороссия*, всегда относятся к области вторичной колонизации, а не к метрополии и никакого оценочного величия не подразумевают; там же, наконец, обосновываются новые этимологии славянских племенных названий вроде дулебов и ставится, кажется, впервые проблема типа праславянского этнонима, в итоге чего автору представилось – еще до постановки им самим позднее вопроса о среднедунайской прародине славян, – что "несомненна древняя сопредельность или по крайней мере близость иллирийской, фракийской и славянской языковых территорий"; важен также нижеследующий тезис этой статьи 1974 г.: "Общеизвестный факт древнего наличия единого самоназвания **slověne* говорит о древнем наличии адекватного единого этнического самосознания, сознания принадлежности к единому славянству, и представляется нам как замечательный исторический и культурный феномен".

Но по-настоящему новая постановка проблем и их, по сути, монографическая трактовка развернулась в серии журнальных публи-

каций под общим названием "Языкознание и этногенез славян" (журнал "Вопросы языкознания"): [I] – 1982, № 4; [II] – 1982, № 5; [III] – 1984, № 2; [IV] – 1984, № 3; [V] – 1985, № 4; [VI] – 1985, № 5. Все они воспроизводятся – с необходимыми дополнениями в части I нынешней монографии (главы 1–6)*; сюда же, далее вошли в качестве 7-й и 8-й глав отдельно вышедшие работы, опубликованные прежде в "Zeitschrift für Slawistik" и в "Ethnologia Slavica" (Братислава), а также (в русском варианте) в томе "Этимология. 1988–1990".

Здесь впервые предпринимается попытка охарактеризовать дунайско-балканскую миграцию славян как некое подобие реконкисты, "обратного завоевания", побуждаемого памятью о реальном былом житье славян на (Среднем) Дунае, ср. фольклорную популярность Дуная даже у восточных славян, никогда за время письменной истории не живших на Среднем Дунае.

Удивителен – и по-своему ценен – факт отсутствия памяти о приходе славян издалека (сохранение воспоминаний об этнических миграциях даже при отсутствии письменности – вещь возможная на протяжении тысячелетий).

Автор рассматривает также целый ряд типологически важных аспектов проблемы, приходя к выводу, что (1) постулат территориально ограниченной прародины неудовлетворителен так же, как (2) унитаристский постулат якобы изначально бездиалектного праязыка, что (3) праславянский – живой язык со всеми атрибутами сложности живого языка, (4) чисто славянская гидро- и топонимическая область нереальна, наряду со славянскими всегда присутствовали и неславянские этнические элементы. Изначальность балто-славянской языковой близости подвергается сомнению, общим является название железа, но железо – самый поздний металл древности (балто-славянские контакты не древнее эпохи железа?). Особенно уязвима известная теория происхождения славянского из балтийского, наталкивающаяся на сопротивление языкового материала (нельзя, например, вывести весьма архаичные славянские ряды чередования гласных из инновационных балтийских рядов).

Балты – не извечные жители Верхнего Поднепровья, ср. их ономастические связи с дако-фракийским субстратом восточной части Балканского полуострова и Анатолии, отражающие контакты, по-видимому, III тысячелетия до н.э. Ранний ареал балтов был ближе к Балканам, видимо, их восточной части.

Ввиду углубления датировок и расширения перспектив поисков индоевропейских древностей в славянском вопрос о "датировке появления" праславянского языка теряет свою конкретность. Этимоло-

---

* При подготовке настоящей книги нумерация библиографических примечаний, объединяющая главы 1–2, 3–4, 5–6 попарно (как это было в журнальном варианте статей), оставлена без изменения – исключительно по практическим соображениям. Новые подстрочные примечания выделяются звездочкой.

гические разыскания выдвигают на первый план центральноевропейские связи славян (преимущественно с древними италийцами), причем балты оставались длительное время в стороне. Лишь после миграций балтов и славян намечается их сближение, приводящее к позднейшему соседству.

Уязвимы выдвинутые в последнее время теории балтоцентристской ориентации всего индоевропейского комплекса Европы; более вероятна относительная периферийность балтийского. Постепенно становится ясным, что славянская проблематика в гораздо большей степени является продолжением индоевропейской, чем принято было думать; для проблемы славянской прародины весьма существенны указания на связь древнеиндоевропейского ареала также с дунайским регионом.

Так созрела концепция возрождения старой (еще "донаучной") теории или традиции древнего обитания славян на Дунае. Среднеднепровский славянский ареал (откуда затем вышли все восточные славяне) рассматривается при этом как периферия, а не как центр всего славянского этноязыкового пространства. Вторично освоены были славянами и польские территории, по свидетельствам ономастики, вопреки польской автохтонистской теории висло-одерской прародины славян. И *польские, и серболужицкие земли заселялись славянами с юга.*

В жизни праславян существовал период, когда макроэтноним *славяне* еще не требовался (этнонимия вообще относительно молодая категория). Этот период отсутствия у славян на Дунае макроэтнонима ученые неправильно истолковывали как отсутствие славян на Дунае. О древнем наличии славян по Среднему Дунаю, то есть в Венгрии, говорит разнообразная древняя славянская топонимия страны и ряд других данных (ареал склавен по Иордану, VI век, распространение пражской керамики).

Предания о волохах и их нашествии на *дунайских славян* (NB!) "Повести временных лет" отдаленно отражают более древнюю кельтскую экспансию, а также (что не менее важно) частичный уход этих славян на север, на Вислу. Ясно, что волохи "Повести..." – это не "пастухи римлян" (pastores Romanorum) в более позднем понимании бродячего восточнороманского населения. Невры, известные Геродоту, были, видимо, кельтами, более того – тождественными волькам/волохам (= 'волкам'), о чем повествует и упомянутый Геродотом их ритуал годичного обращения в волков.

Далее, автор критически излагает и комментирует современный диалог между археологией и сравнительным языкознанием (хронология абсолютная и относительная, то есть типологическая, древняя "диалектология" культуры, постепенно все больше занимающая археологов – не без влияния со стороны языкознания). Попытки точно датировать "появление" праславянского языка теряют свою актуальность в языкознании. Правда, умами многих ученых еще вла-

деет традиция поздно датировать все славянское, считать славянский "молодым языком".

Однако можно думать, что, например, балто-славянские языковые отношения постэтногенетичны для праславянского как уже сложившегося языкового типа с процессами, отличными от балтийских (палатализация, эволюция долгих гласных, ассибиляция палатальных и в том, и в другом выглядят и протекают по-разному).

Именно славяно-кельтские контакты, разработка их следов и их локализация, кажется, могли бы помочь выработать компромиссный вариант между такими принципиально разными концепциями, как польская автохтонистская теория славянской прародины на Висле и Одере* и новый, современный вариант дунайской прародины славян, выдвигаемый автором настоящей книги.

По-прежнему много внимания уделяется критике постулатов, с которыми работают ученые, говоря откровеннее – с мифами сравнительного языкознания и истории культуры, начиная с урока негативного влияния прямолинейной идеи изоморфизма разных уровней языка. Это следующие постулаты или "мифы", нуждающиеся в демифологизации: 1) уже упоминавшееся "додиалектное" единство ка-

---

* В настоящее время совершенно очевиден кризис автохтонистской школы в польской науке. Наиболее полным выражением этого кризиса следует считать исследования археолога К. Годловского (см.: *Godłowski K.* Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim. Wrocław etc., 1985). Сокращение числа стоянок на польских землях римского периода, вплоть до обезлюдения этих земель, Годловский увязывает с появлением на границах Римской империи с III в. н.э. ряда племен, в том числе германских, возможно, вышедших из висло-одерских земель. Автор изучает прекращение поселений III–V вв. н.э. на этих польских территориях, принадлежащих, по его мнению, пшеворской археологической культуре Центральной и Южной Польши, носителями которой были германцы (вандалы), мигрировавшие в указанное время на Запад и на Юг. Даже реликтовое население начала VI в. в Центральной Польше не имеет, по убеждению Годловского (Op. cit. S. 125), никакой связи с появляющейся здесь позднее раннесредневековой славянской культурой. Эту славянскую культуру автор выводит из позднезарубинецкого и послезарубинецкого археологического ареала юга Белоруссии и севера Украины, то есть с Востока. Появление славян в бассейне Вислы он датирует – самое раннее – V в. н.э., одновременно признавая, что там нет раннеславянских стоянок, которые можно бы было датировать этим временем (Op. cit. S. 155). Остается заключить, что сам момент постулируемого, таким образом, прихода славянского населения на Вислу и Одер с Востока выглядит у Годловского крайне неубедительно и декларативно (обращает на себя внимание, что Годловский и не пытается, например, выявить элементы зарубинецкой культуры на Висле и Одере, которые там ожидались бы, по логике автора) и само изложение этого коренного вопроса разительно отличается от проведенного им тщательного раскрытия динамики и миграции пшеворского (германского, дославянского, по Годловскому) населения висло-одерского региона первых пяти веков нашей эры.

Мы констатируем, что концепция Годловского полностью игнорирует очевидные древние индоевропейско-славянские (причем, не одни только германско-славянские, но и прямые венетско-славянские) языковые контакты на висло-одерских территориях, рассматриваемые нами далее, (ср.: *Licicaviki, Śrem, Śląsk, Mlądz*) и другие примеры польской традиции, предполагающие более раннее появление здесь славян.

ждого праязыка, 2) “небольшая прародина”, 3) одновременность появления этноса и этнонима. Надо сказать, что сейчас как никогда ощущается необходимость проверки и преодоления прямолинейных заключений по всему циклу наук о человеке. Экспансия этноса, как оказывается, отнюдь не синонимична ускоренному развитию в языковом плане, а малая подвижность этноса вовсе не означает архаичности его языка, а ведь на отождествлении первого и второго было построено множество концепций. Точно так же в археологии распространение изделий еще не есть распространение, миграция самих людей, как это нередко до сих пор упрощенно понимают, преуменьшая меновую торговлю, культурное влияние, моду в давние времена. Накопился большой критический материал против статичности социальной и этнической истории индоевропейцев, в их числе славян, в трудах Дюмезиля и его школы (тезис мнимо изначальной трехчастности древнего общества, его трехклассовости – жрецы, воины, скотоводы-земледельцы; этому статизму должна быть противопоставлена *неравномерность* развития разных индоевропейских ветвей и то, что в этом смысле автор настоящей книги называет “диалектологией” культуры, прибегая к лингвистическому понятию). Странное впечатление производит и концепция американского археолога М. Гимбутас, по которой в “Древнюю Европу” V тысячелетия до н.э. с культурно развитым, но социально нерасчлененным (?) населением будто бы пришли извне более примитивные культурно, но почему-то социально дифференцированные скотоводы-индоевропейцы. Все это уже априори крайне маловероятно, поэтому не так уж важно, далее, откуда в таком случае теоретики ведут индоевропейцев – из Восточной Евразии или из Малой Азии. Не без формального влияния дюмезилевской школы наметилась тенденция фетишизировать число *три*, будь то три класса, три племени, три части этноса. Мы видим, что в концепции Гимбутас сказывается крайняя недооценка собственных (внутренних) стадиальных возможностей и в целом – *непрерывности эволюции* индоевропейской Европы.

Этой концепции противопоставляются теории раннего индоевропейского племенного образования в центральноевропейских, придунайских районах. Кстати, именно здесь наблюдается концентричность культурных и лингвистических ареалов разных эпох. Здесь наличествуют и выявляются все атрибуты и механизм развития ареала с его центром и перифериями. Естественно, что концепция непрерывного развития в Европе предполагает самобытное происхождение многих языковых процессов, например, развития индоевропейского вокализма, без влияний со стороны переднеазиатского семитского. Циклическая эволюция и.-е. ***e* → *a*** в части диалектов с последующей возвратной заменой ***a* → *e*** в другой части делают возможным внутреннее (без внешних импульсов и влияний) осмысление причин русского аканья, которое не следует вырывать из общего

контекста. Есть вероятия в пользу предположения, что сатэмная группа языков, то есть языков, проведших инновацию, занимала относительно срединное положение среди прочих индоевропейских, и это немаловажно в вопросе о локализации праславянского как языка-сатэм. Сам характер рефлексации индоевропейского палатального $\hat{k}$, отдаляя славянский от балтийского, среди других языков-сатэм сближает его с балканско-индоевропейским и иранским.

Из среднедунайских районов интерес представляют – на предмет локализации древнейшего славянского языкового ареала – как Паннония к западу от течения Дуная, так и Потисье – на восток от Дуная. Знаменательно, что и раньше взоры ученых обращались на Паннонию как на *центр* ряда славянских фонетических инноваций. Весьма показательно, что в число периферий при этом попадают не только восточнославянские; но и собственно польские земли. Следует иметь в виду, что центр лингвистического ареала – величина весьма стабильная, поэтому трудно допускать, чтобы центр инноваций, да, к тому же, фундаментальных и многочисленных, сам как бы плавал и неустойчиво перемещался (скажем, в Паннонию – с севера, из-за Карпат). Это также служит, пусть косвенно, идее поиска славянской прародины *южнее Карпат*.

Центр древнего индоевропейского этноса в Среднем Подунавье определяется также как бы векторным способом – примерно посередине между тремя крупными скоплениями (видимо, миграционными) индоевропейских гидронимов в низовьях Рейна, в Италии и Прибалтике, выступающих здесь как периферии ареала. Это наблюдение также небезразлично для локализации праславянского ареала. Концентричность обоих ареалов представляется весьма правдоподобной. Кроме того, здесь используются этимологические изоглоссы, позволившие автору еще в исследовании о славянской ремесленной терминологии выдвинуть положение о центральноевропейском культурном районе с участием в нем древних славян, древних италийцев и германцев.

В опровержение упомянутого выше этнографического положения о том, что этнос будто бы начинается с самоназвания, автор приводит ряд методологических и типологических соображений, наоборот, в пользу того, что самоназвание отражает уже развитое этническое самосознание, которому, разумеется, предшествует длительный период существования этноса в условиях более древних форм самосознания и простейших самоидентификаций типа ‘мы’, ‘люди’. Возобладавшая в последнее время (хотя на самом деле очень старая) этимология этнонима *славяне* как ‘ясно говорящие’ (то есть ‘свои’, ‘наши’, в конечном счете) очень правдоподобно характеризует этот этноним в духе развиваемых здесь идей – и как относительно новый, и как выросший на базе доэтнонимической психологии (‘свои, наши люди’, ‘говорящие на ясном языке’). Нельзя признать удачной мысль, что до того, как называться славянами, славяне звались вене-

дами; этот последний – иноязычный – этноним всегда оставался локальным, периферийным (западным).

Работа строится на убеждении, что экскурсы в глубокую – не только свою, но и чужую – древность, эволюцию языка и вскрываемых способов обозначения, а также самообозначения, при всей специальности проводимых для этого исследований и их аппарата, служат углублению нынешнего национального самосознания. Сложность и тонкость задач требует тонкой методики, хорошего владения реконструкцией, которая, к сожалению, нередко подменяется транспозицией, то есть исторической тавтологией. Историзм выражается в правильном понимании неизначальности нынешних явлений – даже таких самоочевидных, как, например, привычное деление славян на восточных, западных и южных. Ясно, что последнее – продукт длительной и непрямолинейной эволюции. Нет оснований отождествлять эти три позднейших группы славян с тремя именами славян у Иордана – венеды, склавены, анты. Ни *венеды*, ни *анты* не были самоназваниями славян, эту функцию могло выполнять (да и то не извечно, как мы это теперь понимаем) название *славяне* (*склавены, склавины* в византийско-римской литературе). Все это говорит о необходимости дальнейшей теоретической работы в плане совершенствования этнолингвистических и социолингвистических критериев праязыковой и праэтнической проблематики. Только на этом пути можно осознать, наконец, искусственность имеющих до сих пор хождение этимологий вроде *славяне* = ‘жители влажных долин’ (?!).

Теория этногенеза настоятельно требует обращения к типологическому аспекту, причем более показательны отношения менее соседские, то есть более “чистые” и не затемненные “помехами” длительного общения. Смысл типологии этногенеза – выявить *неуникальность* славянской эволюции, поскольку всякая уникальность вправе вызывать сомнения. Типологически наиболее эффективны германо-славянские аналогии. Так, поучителен *отказ археологов датировать появление германского этноса*, ср. аналогичное вероятие и для славянского: непрерывность эволюции; замечательно, далее, что ни германские языки, ни славянские не хранят никаких следов индоевропейско-доиндоевропейского билингвизма, что помогает отрицательно оценить теорию М. Гимбутас об индоевропеизации неиндоевропейской “Древней Европы”. Динамику славянского ареала, его подвижку Юг ↔ Север также помогают понять германские аналогии, ср. миграции германцев с Юга современной Западной Германии на Север, после чего, как известно, последовали возвратные миграции (память о древних местах обитания). Культурно-лингвистические аналогии распространяются и на эпизод называния железа, а также добывания самого металла из болотной руды у германцев и славян, что впервые детально раскрывается в авторской этимологии и истории значений слов *руда, железо*.

Дунайская, иначе – центральноевропейская теория локализации древнего ареала славян оснащается в книге новыми аргументами и соображениями. Расширяется и прямой диспут с критикой, уже ознакомившейся с вышедшими ранее работами автора. Особым и равным по важности оказывается аспект *реконструкции праславянской культуры*, представляемый во второй и третьей частях книги. Работа автора под названием "Славянская этимология и праславянская культура", публиковавшаяся в составе докладов советской делегации по славянскому языкознанию к X Международному съезду славистов (София, 1988)*, дается здесь в существенно дополненном виде – как вторая часть книги. Центральноевропейская, среднедунайская позиция древних славян углубленно рассматривается также здесь; более того, предпринимается попытка показать, что она важна для понимания их культурной эволюции. Часть третья публикуется впервые.

В заключение позволим себе привести мнение американского слависта проф. Х. Бирнбаума, который оценивает упоминавшуюся выше журнальную серию о славянском этногенезе: "Важная работа Трубачева по доистории славян основана на сжатом, но впечатляющем пересмотре существующих лингвистических данных и известных гипотез. Предыдущее несколько сокращенное изложение новой работы советского лингвиста было дано здесь как красноречивый пример многих увлекательных возможностей, открывающихся для будущих исследований даже на современной стадии наших знаний и методологической изощренности".

Книга дополнена Приложением, где собраны последние публикации автора по данной теме.

---

* Малотиражное заказное издание, не предназначенное для открытой продажи.

Часть I

ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН И ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОБЛЕМА

ГЛАВА 1

Настоящая работа посвящена *проблеме лингвистического этногенеза славян* – вопросу старому и неизменно актуальному. Тема судеб славянских индоевропейцев не может не быть широка и сложна, и она будет всегда слишком велика даже для специальной монографии, поэтому я вполне сознательно не претендую на подробное и равномерное освещение, но излагаю наиболее, как мне представляется, интересные результаты и наблюдения, главным образом из новых этимологических исследований слов и имен собственных, перед которыми поставлена высшая цель – *комбинации и реконструкции моментов внешней языковой и этнической истории.*

Собственно, задача проста, насколько может быть проста монументальная задача: отобрать и реконструировать форму, значение и происхождение древнего лексикона славян и извлечь из этого лингвистического материала максимум информации по истории этноса. Над воссозданием праславянского фонда работают в Москве и в Кракове[1], если говорить только о новых больших этимологических словарях. Разумеется над этими и близкими вопросами работает значительно больший круг лиц у нас и во многих других странах. Надежная реконструкция слов и значений – путь к реконструкции культуры во всех ее проявлениях. Почему славяне заменили индоевропейское название бороны новым словом? Как сложилось обозначение действия ‘платить’ у древних славян? Что следует думать относительно ситуации “славяне и море”? Как образовалось название корабля у славян? На эти и на многие другие вопросы мы уже знаем ответы (к вопросу о море мы еще обратимся далее). Однако многие слова по-прежнему неясны, другие вообще вышли из употребления, забыты, в лучшем случае сохраняются на ономастическом уровне. Отсюда наш острый интерес к ономастическим материалам и новым трудам вроде Словаря гидронимов Украины [2], которые углубляют наши знания древней славянской апеллативной лексики и дают пищу для рассмотрения новых принципиальных вопросов по ономастике, например, о *славянском топонимическом наддиалекте,* о суще-

---

[1] Подробную характеристику см. [1].

ствовании славянских генуинных гидронимов, т.е. таких, у которых апеллативная стадия отсутствует, например, *morica и его продолжения в разных славянских гидронимиях.

Наконец, древний ареал обитания, прародину славян тоже нельзя выявить без изучения этимологии и ономастики. Как решается этот вопрос? Есть прямолинейные пути (найти территорию, где много или все топонимы-гидронимы чисто славянские) и есть также, должны быть, более тонкие, более совершенные пути. Что происходило с запасом лексики и ономастики, когда мигрировал древний этнос? Называл ли он только то, что видел и знал сам? Но словарь народа превосходит действительный (актуальный) опыт народа [3, с. XLVII], а значит, он хранит еще не только свой древний петрифицированный опыт, но также и чужой, услышанный опыт. Это тоже резерв нашего исследования. Славянская письменность начинается исторически поздно – с IX в. Но славянское слово или имя, в том числе отраженное в чужом языке, – это тоже запись без письменности, меморизация. Например, личное имя короля антов rex Boz у Иордана (обычно читают *Бож* 'божий') отражает раннеславянское *voʒь или *vožь, русск. народ. *вож* (калька rex = *вож*), книжн. *вождь*, уже в IV в. с проведенной палатализацией, слово вполне современного вида.

СЛАВЯНЕ И ДУНАЙ

Чем были вызваны вторжения славян в VI в. в придунайские земли и далее на юг? Союзом с аварами? Слабостью Рима и Константинополя? Или толчок к ним дали устойчивые предания о древнем проживании по Дунаю? Может быть, тогда вся эта знаменитая дунайско-балканская миграция славян приобретет смысл реконкисты, обратного завоевания, правда, в силу благоприятной конъюнктуры и увлекающегося нрава славян несколько вышедшего из берегов... Чем иным, как не памятью о былом житье на Дунае, отдают, например, старые песни о Дунае у восточных славян – народов, заметим, на памяти письменной истории никогда на Дунае (scil. – *Среднем* Дунае) не живших и в раннесредневековые балканские походы не ходивших. Если упорно сопротивляться принятию этого допущения, то можно весьма затруднить себе весь дальнейший ход рассуждений, как это случилось с К. Мошинским, который, слишком строго понимая собственную концепцию среднеднепровской прародины славян, пришел даже к утверждению, что в русских былинах Дунаем назывался Днепр ... [4, с. 152–153]*. Ненужное и неестественное предположение.

---

* Не более убедителен и З. Голомб, развивающий мнение Мошинского в том смысле, что слав. *Dunajь/Dunavь* первоначально обозначало будто бы Днепр, а затем этот оригинальный (?) славянский гидроним был перенесен вторично на реку с "похожим" чужим названием (герм. **Dōnawi*). Так см.: *Gołąb Z.* Etnogeneza Słowian w świetle językoznawstwa // Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej. Wrocław etc., 1987. T. I. Pod. red. G. Labudy i S. Tabaczyńskiego. S. 74. –

Еще более трудным оказывается положение тех ученых, которые с Лер-Сплавинским пытаются доказать, что у славян был широко распространен первоначально не гидроним *Dunaj*, а апеллатив *dunaj* 'лужа', 'море', якобы из и.-е. **dhou-nā* [5, с. 74–75]. В последние годы эту неудачную этимологию повторил Ю. Удольф [6, с. 367]. Заметим, что все трое ученых ищут прародину славян в разных местах: Лер-Сплавинский – в междуречье Одера и Вислы, Мошинский – в Среднем Поднепровье, а Удольф – в Прикарпатье. Их объединяет, пожалуй, лишь стремление опровергнуть древнее знакомство славян с Дунаем – гидронимом и рекой, настойчиво подсказываемое языком. А стоило, наверное, прислушаться к голосу языка.

"ПРАРОДИНА" – "ВЗЯТИЕ РОДИНЫ"

Термин "прародина" крайне неудачен и обременен биологическими представлениями, которые сковывают мысль и уводят ее на неверные пути (есть, правда, словоупотребление еще более романтичное и соответственно менее научное, чем прародина, *Urheimat*, – польск. *prakolebka* 'древняя колыбель' [7, с. 321 и сл.], англ. *cradle*). Отсюда можно заключить, что если у человека родина – одна, то и у народа, языка – одна прародина. Однако небольшой типологической аналогии достаточно, чтобы задуматься всерьез над другой возможностью. Пример – венгры, у которых родин или прародин было несколько: приуральская, где они сформировались и выделялись из угорской ветви, севернокавказская, где они общались с тюрками-булгарами, южноукраинская, где начался их симбиоз с аланами, и, наконец, "взятие родины" на Дунае – венг. *honfoglalás*, нем. *Landnahme*, термин, кстати, очень деловой и весьма адекватный, не содержащий иллюзию изначальности, которая неизбежно присутствует в слове *прародина*. Исландцы тоже хорошо помнят свое "взятие родины" (*landnáma*). Поэтому методологически целесообразнее сосредоточиться не на отыскивании одной ограниченной прародины, а на лингвоэтногенезе, или лингвистических аспектах этногенеза. Четкой памяти о занятии родины у славян не сохранилось, о чем, с одной стороны, можно пожалеть, имея в виду доказанную эффектную траекторию древних венгров из Приуралья на Дунай и память о ней, а с другой стороны – нужно научиться правильно интерпретировать сам факт *отсутствия* памяти о приходе славян издалека. Ведь существуют примеры тысячелетней памяти о ярких событиях в жизни народа (в первую очередь – об этнических миграциях) даже в условиях полного отсутствия письменности. Отсутствие памяти

И все-таки для меня остается неясным, зачем потребовалось это искусственное построение, в то время как германское происхождение–заимствование–слав. **Dunavъ*/**Dunajь* очевидно вплоть до деталей фонетики (герм. *ō* > слав. *u*) и, если угодно, – морфологии (вариация исходов слав. **Dunavъ*/**Dunajь* – в зависимости от падежных флексий германского прототипа).

о приходе славян может служить одним из указаний на извечность обитания их и их предков в Центрально-Восточной Европе в широких пределах.

Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что в настоящее время надо считать законченным (исчерпавшим себя) предыдущий период или направление прямолинейных исканий прародины славян, когда с усилением темпа миграции прямо ассоциировали убыстрение изменений языка и лексики, когда исходный характер этнической области старались обосновать, всеми силами доказывая славянскую принадлежность ее (макро)гидронимии или обязательное наличие в ней "чисто славянской топонимики", будь то висло-одерская с постепенным расширением в одерско-днепровскую [8], или правобережнос-реднеднепровская [9], или припятско-полесская [10].

ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОГРАНИЧЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ?

Прежде чем мы приступим к пересмотру распространенной аргументации прародины, полезно вспомнить мудрые слова Брюкнера, который давно ощутил методологическую неудовлетворительность постулата *ограниченной прародины*: "Не делай другому того, что неприятно тебе самому. Немецкие ученые охотно утопили бы всех славян в болотах Припяти, а славянские – всех немцев в Долларте (устье реки Эмс. – *О.Т.*); совершенно напрасный труд, они там не уместятся; лучше бросить это дело и не жалеть света божьего ни для одних, ни для других" (цит. по [11]). Это, конечно, была шутка, но проблема размера прародины имеет серьезное научно-методологическое значение. Верно замечено, что идея ограниченной прародины (в немецкой этногенетической литературе активно пользуются еще термином "Keimzelle", буквально "зародышевая клетка", что совсем уводит нас в биологию развития) – это пережиток теории родословного древа [12, с. 342]. Необходимо считаться с подвижностью праславянского ареала, с возможностью не только расширения, но и сокращения его, вообще – с фактом *сосуществования* разных этносов даже внутри этого ареала, как и в целом – со *смешанным* характером заселения древней Европы, далее – с неустойчивостью этнических границ и проницаемостью праславянской территории. Вспомним поучительный пример прохода венгров в IX в. сквозь восточнославянские земли уже в эпоху Киевского государства. Отдельность этноса не исключала его дисперсности [13], а для древней поры просто обязательно предполагала ее.

ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ ДИАЛЕКТНОГО ЧЛЕНЕНИЯ

Хотя современное изучение индоевропейских диалектов ведут обычно от Мейе, он вполне отдавал дань унитаристской концепции индоевропейского праязыка [12, с. 330], а славянские языки тем более производил из "почти единого наречия" [14, с. 1], забывая в дан-

ном вопросе завет своего учителя Ф. де Соссюра о диалектном членении внутри первоначального ареала. Стоит ли удивляться, что до последнего времени говорят о "единстве" общеславянского языка [15], покойный З. Штибер пришел даже к выводу, что до 500 г. н.э. в славянском имелась только одна (!) диалектная особенность, в чем ему тут же вполне резонно возразили, что так просто *не могло быть* в тех условиях [16]. Малые размеры праславянской территории, как и первоначальная бездиалектность праславянского языка, – это не доказанные истины, а предвзятые идеи. В науке накоплен большой материал, свидетельствующий об ином. Индоевропеистика давно считается с диалектными различиями внутри первоначального ареала [17]. Современная романистика уже не держится за идею единой народной латыни [12, с. 326]. С разных сторон указывают на то, что язык есть интеграция [18], что славянский языковой тип – результат консолидации [19], что уместно говорить о многокомпонентности каждого языка [12, с. 334], наконец, доступные письменные свидетельства о древних эпохах прямо показывают, что чем дальше в глубь веков, тем языков было больше, а не меньше. В духе понимания этих или подобных фактов в современной литературе по истории русского и славянских языков можно чаще встретить выражение вроде "славянское этноязыковое объединение" [20]. Верно замечено, что праславянский язык – не искусственная модель, а живой, многодиалектный язык.

ПРАСЛАВЯНСКИЙ – ЖИВОЙ ЯЗЫК ИЛИ "НЕПРОТИВОРЕЧИВАЯ" МОДЕЛЬ?

Эпоха структурного моделирования в последние два десятилетия ощутимо коснулась и праславянского языка, в чем-то притормозив полноту постижения его оригинальных особенностей, потому что в моделировании, в конструировании "непротиворечивой" модели как нигде проявляется это reductio ad unum [21], упрощающее, а не обогащающее наши представления о предмете.

Принимая во внимание авторитетность языкознания, можно понять, что такая унитаристская концепция праславянского языка не могла не влиять негативно на историю и археологию, ср., например, высказывание историка о едином "государстве" (!) всех славян перед их экспансией[2], распространение среди археологов преувеличенных мнений об общности материальной культуры древних славян, тогда как славянство в действительности археологически не монолитно [22]. Архаизм языка отнюдь не проистекает прямо от автохтонизма народа, как, впрочем, и инновации не обязательно связаны с миграциями. Все это самостоятельные лингвистические вопросы. Что же

---

[2] См. [4, с. 115–116].

касается этнического автохтонизма, то это особая проблема: Хирт, например, считал, что славяне и балты дольше других оставались в пределах индоевропейской прародины [23, с. 23], а археолог Косинна утверждал, что славяне и арийцы (балтов он вообще в расчет не принимал) были дальше всех от центра на восток [24].

Унитаристская концепция рассматривала лингвистическую дифференциацию (Мейе: "свой собственный тип") как результат внешнего импульса – субстрата [25, 5, с. 95]. Ниже мы еще коснемся разных моделей праславянского языка в духе сложения-вычитания. А в вопросе о субстрате нам больше импонирует точка зрения Покорного в том, что "каждый народ реагирует на свой субстрат поразному" [26].

Таким образом, на смену представлению о первоначально бездиалектном праславянском языке приходит учение о диалектно сложном древнем языке славян с сильно развитым древним диалектным словарем[3]. Неверным оказывается популярное деление истории праславянского языка на два периода – консервативный (якобы оседлый) период и период коренных изменений (миграционный). Существуют серьезные доводы, что как раз оседлая жизнь создает условия для дифференциации языка, тогда как кочевая жизнь сглаживает различия [12, S. 340].

Из верного общего положения о конечности также языкового развития не следует вывод, что в условиях праязыка и прародины один язык можно объяснить, лишь возведя его к другому, подобно тому как это нередко делается в археологии путем объяснения одной культуры из другой.

"МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ"

Возможна ли чисто славянская гидронимическая область? Нет, это наивная концепция. В пределах славянского ареала всегда были дославянские и неславянские элементы, как были они, бесспорно, и в Прикарпатье, что вынужден признать и Удольф. Стерильно чистое (бессубстратное) этническое пространство – исключительное и сомнительное явление. Нет чисто славянских топонимических территорий [29], и одна эта выразительная констатация бесповоротно зачеркивает "метод исключения" немецкой школы (Фасмер, сейчас – Удольф), который, если применять его прямолинейно ("где не жили праславяне?"), исключит славян из Европы совсем, что, конечно, не соответствует действительности и не может отменить факта древнего обитания славян в Центрально-Восточной Европе в достаточно широких (и подвижных) пределах.

---

[3] О древней диалектной сложности праславянской лексики см. впервые [27]. Например, слав. *vesna*, праиндоевропейского происхождения, никогда не было общеславянским, в южнославянском оно отсутствует – см. [28].

ПОДВИЖНОСТЬ ДРЕВНЕГО АРЕАЛА

Как исследовать древнюю подвижность славянского ареала средствами языкознания – ономастики и этимологии? Важнейшим материалом для этого служат состав и происхождение местных (водных) названий. При этом обращают внимание на кучность однородных названий, а район кучности водных названий исконного славянского вида объявляется районом древнейшего распространения славян, иначе – их прародиной. Именно такой прямолинейный вывод относительно Прикарпатья (бывшая Галиция) сделал в своей новой большой книге (см. [6]) Ю. Удольф. Однако динамика этнических передвижений отражается в топонимии не прямо, а преломленно. Кучность однородных славянских названий как раз характеризует зоны экспансии, колонизованные районы, а отнюдь не очаг возникновения, который по самой логике должен давать неяркую, смазанную картину, а не вспышку. Это положение обосновал В.А. Никонов [30, с. 478]. Удольф обнаружил в Прикарпатье, по-видимому, *один из районов* освоения славянами, но не искомую их прародину. Второе положение Никонова – об относительной негативности топонимии ("в сплошных лесах бессмысленны названия *Лес*..." [30, с. 478] – тоже имеет самое прямое отношение к вскрытию динамики заселения через анализ топонимии, но оно, к сожалению, прошло незамеченным как для Удольфа, так и для его рецензента Дикенмана [31]. Оба они удивлены, почему в гидронимии болотистого Полесья не встретишь термина *Болото*, а между тем, в Полесье, как мы теперь знаем, все в порядке в смысле соответствия принципам языковой номинации (см. выше). В современной индоевропеистике было бы полезно шире применять эти положения, что помогло бы избежать ошибок или явных преувеличений, одно из которых мы специально рассмотрим далее.

СЛАВЯНСКИЙ И БАЛТИЙСКИЙ

Важным критерием локализации древнего ареала славян служат родственные отношения славянского к другим индоевропейским языкам и прежде всего – к балтийскому. Принимаемая лингвистами схема или модель этих отношений коренным образом определяет их представления о местах обитания праславян. Например, для Лер-Сплавинского и его последователей тесный характер связи балтийского и славянского диктует необходимость поисков прародины славян в непосредственной близости к первоначальному ареалу балтов [5, с. 28]. Неоспоримость близости языков балтов и славян подчас отвлекает внимание исследователей от сложного характера этой близости. Впрочем, именно характер отношений славянских и балтийских языков стал предметом непрекращающихся дискуссий современного языкознания, что, согласимся, делает бал-

то-славянский языковой критерий весьма ненадежным в вопросе локализации прародины славян. Поэтому сначала необходимо, хотя бы кратко, остановиться на самих балто-славянских языковых отношениях.

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

Начнем с лексики как с важнейшей для этимологии и ономастики. Сторонники балто-славянского единства указывают большую лексическую общность между этими языками – свыше 1600 слов [5, с. 25 и сл.]. Кипарский аргументирует эпоху балто-славянского единства общими важными инновациями лексики и семантики: названия "голова", "рука", "железо" и др. [32]. Но железо – самый поздний металл древности, отсутствие общих балто-славянских названий более древней меди (бронзы) наводит на мысль о контактах эпохи железного века, т.е. последних столетий до нашей эры (ср. аналогию кельтско-германских отношений). Новообразования же типа "голова", "рука" принадлежат к часто обновляемым лексемам и тоже могут относиться к более позднему времени. Вышеупомянутый "аргумент железа" уже до детальной проверки показывает шаткость датировки выделения праславянского из балто-славянского временем около 500 г. до н.э. [33].

Существует немало теорий балто-славянских отношений. В 1969 г. их насчитывали пять [34]: 1) балто-славянский праязык (Шлейхер); 2) независимое, параллельное развитие близких балтийских и славянских диалектов (Мейе); 3) вторичное сближение балтийского и славянского (Эндзелин); 4) древняя общность, затем длительный перерыв и новое сближение (Розвадовский); 5) образование славянского из периферийных диалектов балтийского (Иванов–Топоров). Этот перечень неполон и не совсем точен. Если теория балто-славянского праязыка или единства принадлежит в основном прошлому, несмотря на отдельные новые опыты, а весьма здравая концепция независимого развития и вторичного сближения славянского и балтийского, к сожалению, не получила новых детальных разработок, то радикальные теории, объясняющие главным образом славянский из балтийского, переживают сейчас свой бум. Впрочем, было бы неверно возводить их все к теории Иванова–Топорова, поскольку еще Соболевский выдвинул теорию о славянском как соединении иранского языка *-х* и балтийского языка *-с* [35]. Аналогично объяснял происхождение славянского Пизани – из прабалтийского с иранским суперстратом [36]. По мнению Лер-Сплавинского, славяне – это западные протобалты с наслоившимися на них венетами [5, с. 114]. По Горнунгу, наоборот – сами западные периферийные балты оторвались от "протославян" [37]. Идею выделения праславянского из периферийного балтийского, иначе – славянской модели как преобразования балтийского состояния, выдвигают рабо-

ты Топорова и Иванова [38–39]. Эту точку зрения разделяет ряд литовских языковедов [40]. Близок к теории Лер-Сплавинского, но идет еще дальше Мартынов, который производит праславянский из суммы западного протобалтийского с италийским суперстратом – миграцией XII в. до н.э. (?) – и иранским суперстратом [41–43]. Немецкий лингвист Шаль предлагает комбинацию: балтославяне = южные (?) балты + даки [44]. Нельзя сказать, чтобы такой комбинаторный лингвоэтногенез удовлетворял всех. В.П. Шмид, будучи жарким сторонником "балтоцентристской" модели всего индоевропейского (об этом – ниже), тем не менее считает, что ни балтийский из славянского, ни славянский из балтийского, ни оба – из балто-славянского объяснить нельзя [45]. Методологически неудобными, ненадежными считает как концепцию балто-славянского единства, так и выведение славянских фактов из балтийской модели Г. Майер [46–47]. Довольно давно замечено наличие многочисленных расхождений и отсутствие переходов между балтийским и славянским [48], выдвигалось мнение о балто-славянском языковом союзе [49–50] с признаками вторичного языкового родства и разного рода ареальных контактов. За этими контактами и сближениями стоят глубокие внутренние различия. Еще Лер-Сплавинский, выступая с критикой произведения славянской модели из балтийской, обращал внимание на неравномерность темпов балтийского и славянского языкового развития [51]. Балто-славянскую дискуссию следует настойчиво переводить из плана слишком абстрактных сомнений в "равноценности" балтийского и славянского, в одинаковом количестве "шагов", проделанных одним и другим (чего, кажется, никто и не утверждает), – переводить в план конкретного сравнительного анализа форм, этимологии слов и имен. Фактов накопилось достаточно, в чем убеждает даже беглый взгляд.

Глубокие различия балтийского и славянского очевидны на всех уровнях. На лексико-семантическом уровне эти различия обнаруживают древний характер. По данным Этимологического словаря славянских языков (ЭССЯ) (сплошная проверка вып. 1–7), такие важнейшие понятия, как "ягненок", "яйцо", "бить", "мука", "живот", "дева", "долина", "дуб", "долбить", "голубь", "господин", "гость", "горн (кузнечный)", выражаются разными словами в балтийских и славянских языках. Список этот, разумеется, можно продолжить, в том числе на ономастическом уровне (этнонимы, антропонимы).

Элементарны и древние различия в фонетике. Здесь надо отметить передвижение балтийских рядов чередования гласных в противоположность консервативному сохранению индоевропейских рядов аблаута в праславянском[4]. Совершенно независимо прошла в

[4] Имело место прямое отражение вокализма и.-е. **prō-*, **pō-* > слав. *pra-*, *pa-* и преобразование и.-е. **prō-*, **pō-* > балт. **prā-*, **pā-*, иначе ожидалось бы регулярное балт. (литов.) **pruo-*, **puo-*, см. [47, S. 57].

балтийском и славянском сатемизация рефлексов палатальных задненебных, причем прабалтийский рефлекс и.-е. *k̂* → *š*, не известный праславянскому, проделавшему развитие *k̂* > **c* > *s*[5]. Найти здесь "общую инновацию системы согласных" элементарно невозможно, и недавняя попытка Шмальштига прямо соотнести *š* в слав. *pišetь* 'пишет' (из *sj*!) и *š* в литов. *piẽšti* 'рисовать' [53] должна быть отвергнута как анахронизм.

Еще более красноречивы отношения в морфологии. Именная флексия в балтийском более архаична, чем в славянском, впрочем, и здесь отмечаются праславянские архаизмы вроде род. п. ед. ч. **ženy* < **g^uenōm-s*[6]. Что же касается глагола, то его формы и флексии в праславянском архаичнее и ближе индоевропейскому состоянию, чем в балтийском [55]. Даже те славянские формы, которые обнаруживают преобразованное состояние, как, например, флексия 1-го л. ед. ч. наст. времени *-ǫ* (и.-е. *-ō* + вторичное окончание *-m*?), вполне самобытны и не допускают объяснения на балтийской базе. Распределение отдельных флексий резко отлично, ср., например, *-s-* как формант славянского аориста, а в балтийском – будущего времени [14, с. 20]. Старый аорист на *-ē* сохранен в славянском (*мьнѣ*), а в балтийском представлен в расширенных формах (литов. *minė́jo*) [56]. Славянский перфект **vědě*, восходящий к индоевропейскому нередуплицированному перфекту **u̯oi̯da*(*i̯*), – архаизм без балтийского соответствия [57]. Славянский императив **jьdi* 'иди' продолжает и.-е. **i-dhí*, не известное в балтийском. Славянские причастия на *-lъ* имеют индоевропейский фон (армянский, тохарский); балтийский не знает ничего подобного [14, с. 211]. Целую проблему в себе представляют флексии 3-го л. ед. – мн. ч. [58], причем славянский хорошо отражает форманты и.-е. *-t*: *-nt*, полностью отсутствующие в балтийском; если даже считать, что в балтийском мы имеем дело с древним невключением их в глагольную парадигму, то тогда в славянском представлена ранняя инновация, связывающая его с рядом индоевропейских диалектов, за исключением балтийского. Ясно, что славянская глагольная парадигма – это индоевропейская модель, не сводимая к балтийскому[7]. Реконструкция глагола в славянском имеет большую глубину, чем в балтийском [60].

Что касается именного словообразования, то на его глубокие отличия как в балтийском, так и в славянском обращали внимание и сторонники, и противники балто-славянского единства [61–63].

---

[5] См., вслед за О.Н. Трубачевым [52].

[6] См., вслед за Кноблохом [54].

[7] Естественный вывод об индоевропейской самобытности и большей, сравнительно с балтийским, архаичности славянского глагола, несводимости его к балтийскому состоянию в работе [59], к сожалению, не сделан.

ПОЗДНИЕ БАЛТЫ В ВЕРХНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ

После такой краткой, но как можно более конкретной характеристики балто-славянских языковых отношений, естественно, конкретизируется и взгляд на их взаимную локализацию.

Эпоха развитого балтийского языкового типа застает балтов, по-видимому, уже в местах, близких к их современному ареалу, т.е. в районе Верхнего Поднепровья. В начале I тыс. н.э. там во всяком случае преобладает балтийский этнический элемент [64, с. 236]. Считать, что верхнеднепровские гидронимы допускают более широкую – балто-славянскую характеристику [65], нет достаточных оснований, равно как и искать ранний ареал славян к северу от Припяти. Развитый балтийский языковой тип – это система форм глагола с одним презенсом и одним претеритом, что весьма напоминает финские языки [66][8]. После этого и в связи с этим можно привести мнение о гребенчатой керамике как вероятном финском культурном субстрате балтов этой поры; здесь же уместно указать на структурные балто-финские сходства в образовании сложных гидронимов со вторым компонентом '-озеро' прежде всего[9].

ПОДВИЖНОСТЬ БАЛТИЙСКОГО АРЕАЛА

Но к балтийскому ареалу мы должны подходить с тем же мерилом подвижности (см. выше), и это весьма существенно, поскольку ломает привычные взгляды в этом вопросе ("консервативность" = = "территориальная устойчивость"). При этом вырисовываются разные судьбы этнических балтов и славян по данным языка.

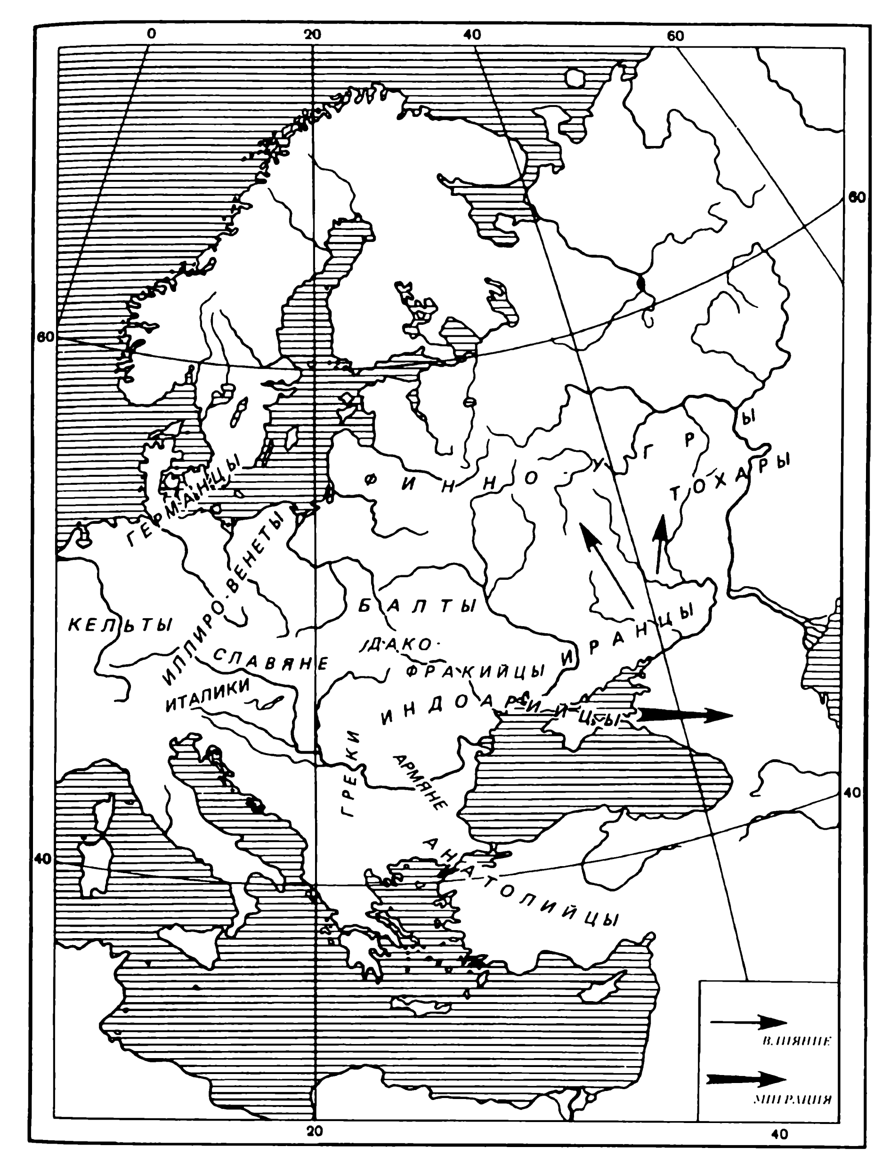
БАЛТО-ДАКО-ФРАКИЙСКИЕ СВЯЗИ III ТЫС. ДО Н.Э. (славянский не участвует)

"Праколыбель" балтов не извечно находилась где-то в районе Верхнего Поднепровья или бассейна Немана [68], и вот почему. Уже довольно давно обратили внимание на связь балтийской ономастической номенклатуры с древней индоевропейской ономастикой Балкан. Эти изоглоссы особенно охватывают восточную – дако-фракийскую часть Балкан, но касаются в ряде случаев и западной – иллирийской части Балканского п-ова. Ср. фрак. Σέρμη – литов. *Sérmas*, названия рек, фрак. Κέρσης – др.-прусск. *Kerse*, названия лиц [69, с. 93, 100]; фрак. Ἔδεσσα, название города, – балт. *Ведоса*, верхнеднепровский гидроним, фрак. Ζάλδαπα – литов. *Želtupė* и др. [70].

---

[8] Автор указывает на глагольную систему финского (один презенс – один претерит) в связи с упрощением системы времени в германском. О финском субстрате теперешнего балтийского ареала см. [67].

[9] Ср. литов. *Akležeris, Baltežeris, Gùdežeris, Juodežeris, Klẽvžeris*, лтш. *Kalnezers, Purvezers, Saulezers* и другие сложения на *-ežeris, -upe, -upis* "финского" типа, ср. *Выгозеро, Пудозеро, Топозеро* на русском Севере; см. [64, с. 169–171].



Карта 1. I период, III тысячелетие до н.э.

Из апеллативной лексики следует упомянуть близость рум. *doină* (автохтонный балканский элемент) – литов. *dainà* 'песня' [71]. Особенно важны для ранней датировки малоазиатско-фракийские соответствия балтийским именам, ср. выразительное фрак. Προῦσα, название города в Вифинии – балт. *Prūs-*, этноним [72]. Малоазиатско-фракийско-балтийские соответствия могут быть умножены, причем

за счет таких существенных, как Καῦνος, город в Карии, – литов. *Kaũnas*[10], Πριήνη, город в Карии, – литов. *Prienai*, Σινώπη, город на берегу Черного моря, – литов. *Sampė* < **San-upe*, название озера. Затронутые фракийские формы охватывают не только Троаду, Вифинию, но и Карию. Распространение фракийского элемента в западной и северной части Малой Азии относится к весьма раннему времени (вероятно, II тыс. до н.э.), поэтому можно согласиться с мнением относительно времени соответствующих территориальных контактов балтийских и фракийских племен – примерно III тыс. до н.э. [69, с. 100]. Нас не может не заинтересовать указание, что славянский в этих контактах не участвует [69, с. 100].

Раннюю близость ареала балтов к Балканам позволяют локализовать разыскания, установившие присутствие балтийских элементов к югу от Припяти, включая случаи, в которых даже трудно различить непосредственное участие балтийского или балканско-индоевропейского – гидронимы *Церем, Церемский, Саремский* < **serma-* [75, с. 284]. Западно-балканские (иллирийские) элементы необходимо также учитывать (особенно в Прикарпатье, на верхнем Днестре), как и их связи с балтийским [75, с. 276 и сл.; 76]*.

КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПРАСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК?

Решить или во всяком случае поставить вопрос, когда появился праславянский язык, наиболее склонны были те лингвисты, которые связывали его появление с выделением из балто-славянского

---

[10] См., вслед за Студерусом и Френкелем [73–74].

* На этот счет в современной науке представлены как концепции, утверждающие и развивающие мысль об изначальном (с III тыс. до н.э. и ранее) обитании древних балтов в Центральной России (напр. З. Голомб, см. о его работах у нас ниже), так и достаточно основательная критика исконности древнебалтийского ареала в указанном регионе. См. специально: *Kilian L.* Mittelrußland Urheimat der Balten? (Sine loco). September 1988, passim. Известный западногерманский археолог последовательно указывает, что так называемым "балтам Подмосковья" стратиграфически предшествуют признаки достаточно интенсивного финно-угорского заселения, далее – что днепровская культура также не может считаться прабалтийской (здесь же – о спорности балтийской принадлежности милоградской культуры). Сам Килиан убежден в исконно-балтийском характере береговой культуры Южной Прибалтики (Haffküstenkultur), находя единомышленников в археологе М. Гимбутас и лингвисте В.П. Шмиде. Отсюда – из Южной Прибалтики (предполагает Килиан) – начинается юго-восточная миграция пруссов и других балтов, приводящая их в "Южную Россию". Здесь уместно четко обозначить наше естественное расхождение с Л. Килианом, ибо наиболее южная локализация балтов (напр. к югу от Припяти), которая, по Килиану, есть вторичный этап, по нашим данным – древнейший установимый балтийский ареал, и против этого вряд ли можно возражать, если не упускать из виду хотя бы балто-палеобалканских (дако-фракийских) связей предположительно III тыс. до н.э. (по Дуриданову). Если верно, что балто-иллирийские отношения были реальны и в более северных районах, учитывая первоначально более северное расположение иллирийцев (см. и *Kilian L.* Op. cit. S. 27), то утверждать то же самое о дако-фракийцах мы не можем. Следы последних не заходят севернее Среднеднепровского Правобережья и Припяти.

единства, приурочивая это событие к кануну новой эры или за несколько столетий до него (так – Лямпрехт, см. [33], а также Лер-Сплавинский, Фасмер). В настоящее время отмечается объективная тенденция углубления датировок истории древних индоевропейских диалектов, и это касается славянского как одного из индоевропейских диалектов. Однако вопрос сейчас не в том, что древняя история праславянского может измеряться масштабами II и III тыс. до н.э., а в том, что мы в принципе затрудняемся даже условно датировать "появление" или "выделение" праславянского или праславянских диалектов из индоевропейского именно ввиду собственных непрерывных индоевропейских истоков славянского. Последнее убеждение согласуется с указанием Мейе о том, что славянский – это индоевропейский язык архаического типа, словарь и грамматика которого не испытали потрясений в отличие, например, от греческого (словаря) [14, с. 14, 38, 395].

СЛАВЯНЕ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА
(балты не участвуют)

Для древнейшей поры, условно – эпохи упомянутых балто-балканских контактов, видимо, надо говорить о преимущественно западных связях славян, в отличие от балтов. Из них древнее других ориентация праславян на связи с праиталийскими племенами. Эти связи в лексике, семантике и словообразовании отражают несложное хозяйство и общие моменты условий жизни и среды обитания на стадии раннепраязыкового развития без признаков заметного превосходства партнера или четкого одностороннего заимствования. Ср. соответствия лат. *hospes* – слав. **gospodь*, *favēre* – **gověti* (общество, обычаи), *struere* (**stro̯i-u̯-*?) – **strojiti* (домохозяйство), *palūdes* – **pola voda* (среда обитания)[11], *pōmum* 'плод, фрукты' < **po-emom* 'снятое, сорванное' – **pojьmo* (русск. *поймо* 'горсть; сколько колоса жнея забирает в одну руку', Даль; сельское хозяйство). В этих отношениях, как правило, не участвуют балты, собственные отношения которых к италийскому (латинскому) характеризуются такими признаками, как полигенез, совпадение явлений, т.е. отсутствие непосредственных контактов [88], несмотря на наличие отдельных (более поздних?) культурных заимствований вроде литов. *áuksas* 'золото', если из италийского **ausom* [23, с. 8], так и не ставшего общебалтийским термином. Более позднему времени, видимо, эпохе развитой металлургии, принадлежат западные контакты праславян, охватывающие не только италийцев, но и германцев, обозначаемые понятием центральноевропейского культурного района [79, с. 331 и сл.]. Ср. праслав. **ěstěja* (: герм.), **vygnь* (: герм., кельт.), **gъrnъ* (: итал.), **kladivo* (: итал.), **moltъ* (: итал.). Эти фрагменты германо-

[11] См., с использованием работ О.Н. Трубачева и др. [77].

славянских отношений, возможно, древнее (и сохранились хуже) тех более известных германо-славянских языковых отношений, которые представлены большим числом слов (германизмов в славянской лексике) и отражают эпоху после проведения германского передвижения согласных, а в плане этнической истории – симбиоз (тесное сосуществование) германцев и славян, принимаемый некоторыми учеными для пшеворской археологической культуры [80, с. 71, 74]. Но этому предшествовали другие контакты славян на других территориях.

СЛАВЯНЕ И ИЛЛИРИЙЦЫ

II тыс. до н.э. застает италиков на пути из Центральной Европы на юг (вот почему нам трудно согласиться с отождествлением италиков с носителями лужицкой культуры и с утверждением, что в XII в. до н.э. именно италики с западными балтами генерировали праславян). В южном направлении двигаются около этого времени и иллирийцы, не сразу превратившиеся в "балканских" индоевропейцев. Я в основном принимаю теорию о древнем пребывании иллирийцев к югу от Балтийского моря [81; 82, с. 169] и считаю, что она еще может быть плодотворно использована[12]. Вполне возможно, что иллирийцы прошли через земли славян на юг, а славяне, в свою очередь, распространяясь на север, находили остатки иллирийцев или остатки их ономастики. Это дает нам право говорить об иллирийско-славянских отношениях. Иначе трудно объяснить несколько собственных имен: *Doksy*, местное название в Чехии, ср. *Daksa*, остров в Адриатическом море, и глоссу δάξα·θάλασσα. Ἠπειρῶται (Гесихий) [84][13], *Дукля*, перевал в Карпатах, ср. *Дукља* в Черногории, Δόκλεα (Птолемей) [75, с. 282], наконец, гапакс ранней польской истории – *Licicaviki*, название, приписываемое славянскому племени, но объяснимое только как иллир. **Liccavici*, ср. иллирийские личные имена *Liccavus, Liccavius* и местное название *Lika* в Югославии [84]. На основании названия **местного** ветра, дующего в Апулии, – *Atābulus* (Сенека), ср. иллир. **bul-*, βύριον 'жилье', сюда же Ἀταβυρία, (Ζεὺς) Ἀταβύριος, реконструируется иллир. **ata-bulas*, аналитический препозитивный аблатив **"от/из дома"**, ср. параллельное слав., др.-русск. (ѿ рода Рускаго (Ипат. лет., л. 13), наряду с постпозитивной конструкцией аблатива и.-е. **u̯lku̯o-at* 'от волка'. Здесь представлена иллирийско-славянская изоглосса, ценная ввиду неизвестности иллирийской именной флексии [84].

---

[12] Отрицание значительного распространения иллирийцев и их соседства со славянами см. [83].

[13] См. подробнее об этимологии δάξα [85]. Автор приводит сближение Будимира эпир. глосс. δάξα 'море' (вар. δάψα) с ζάψ 'прибой' и именем морской богини Θέτις < *Θέπτις, сюда же алб. *det/dejet* 'море' – как иллир. и догреч. продолжение и.-е. **dheu̯p/b-* 'глубокий'.

КЕНТУМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПРАСЛАВЯНСКОМ

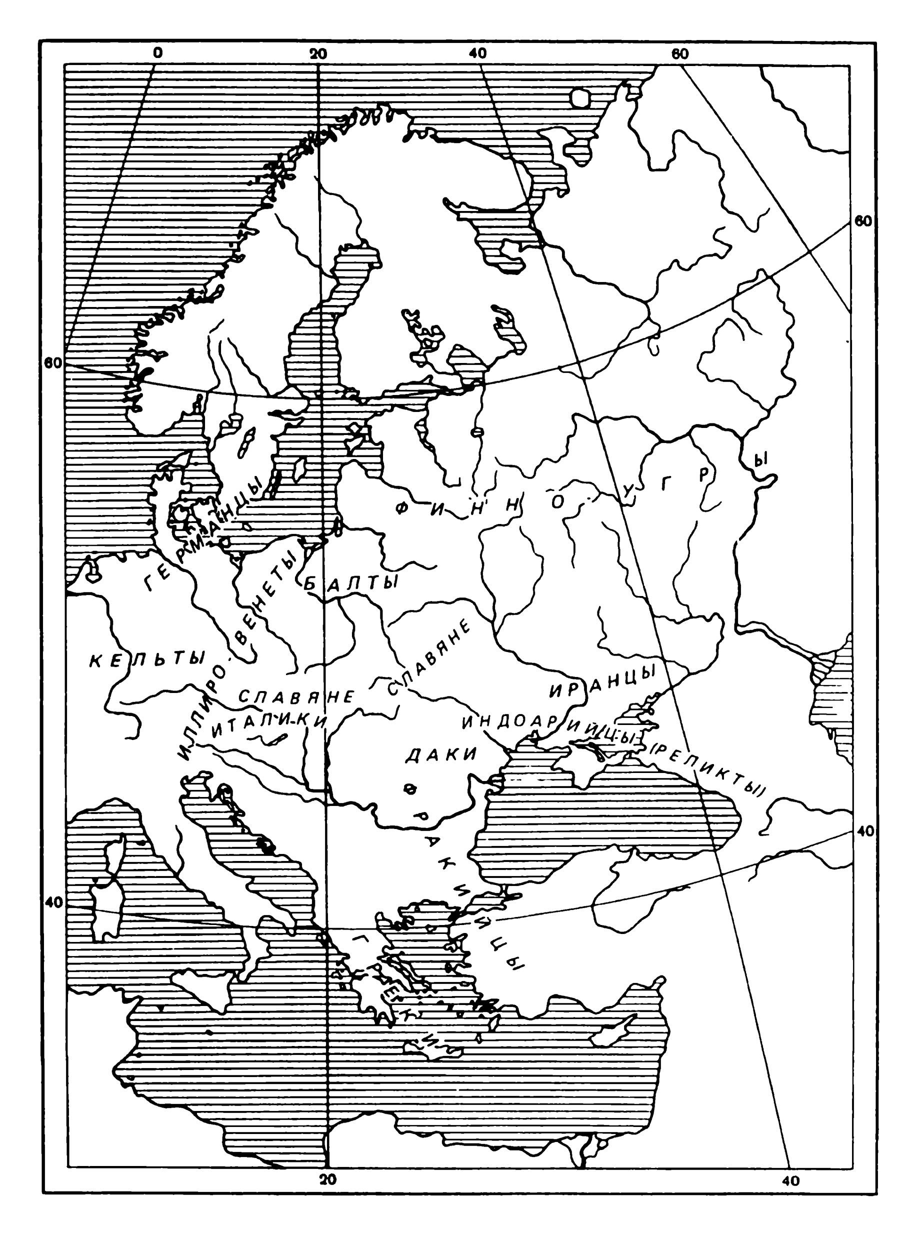
Кроме ранних италийско-славянских связей, участия в общих инновациях центральноевропейского культурного района и других изоглоссах (например, иллирийско-славянских), именно в Центральной Европе праславянский язык обогатился рядом кентумных элементов лексики, носящих бесспорно культурный характер [86–87]. Ответственность за них несут, видимо, в значительной степени контакты с кельтами. Так, праслав. **korva*, название домашнего животного, восходит, видимо, через стадию **kărăvā*[14] к форме, близкой кельт. *car(a)vos* 'олень', исконнославянское слово ожидалось бы в форме **sorva*, с правильным сатемным рефлексом и.-е. *k̂* [4, с. 18–19], который в славянском есть в форме **sьrna*, обозначающей дикое животное, что придает эпизоду с **korva* культурное звучание. Праславянский передал, видимо, далее, свое **kărăvā* или **korəvā* вместе с его акутовой интонацией балтийскому (литов. *kárvė*), в котором это слово выглядит тоже изолированно.

БАЛТЫ НА ЯНТАРНОМ ПУТИ

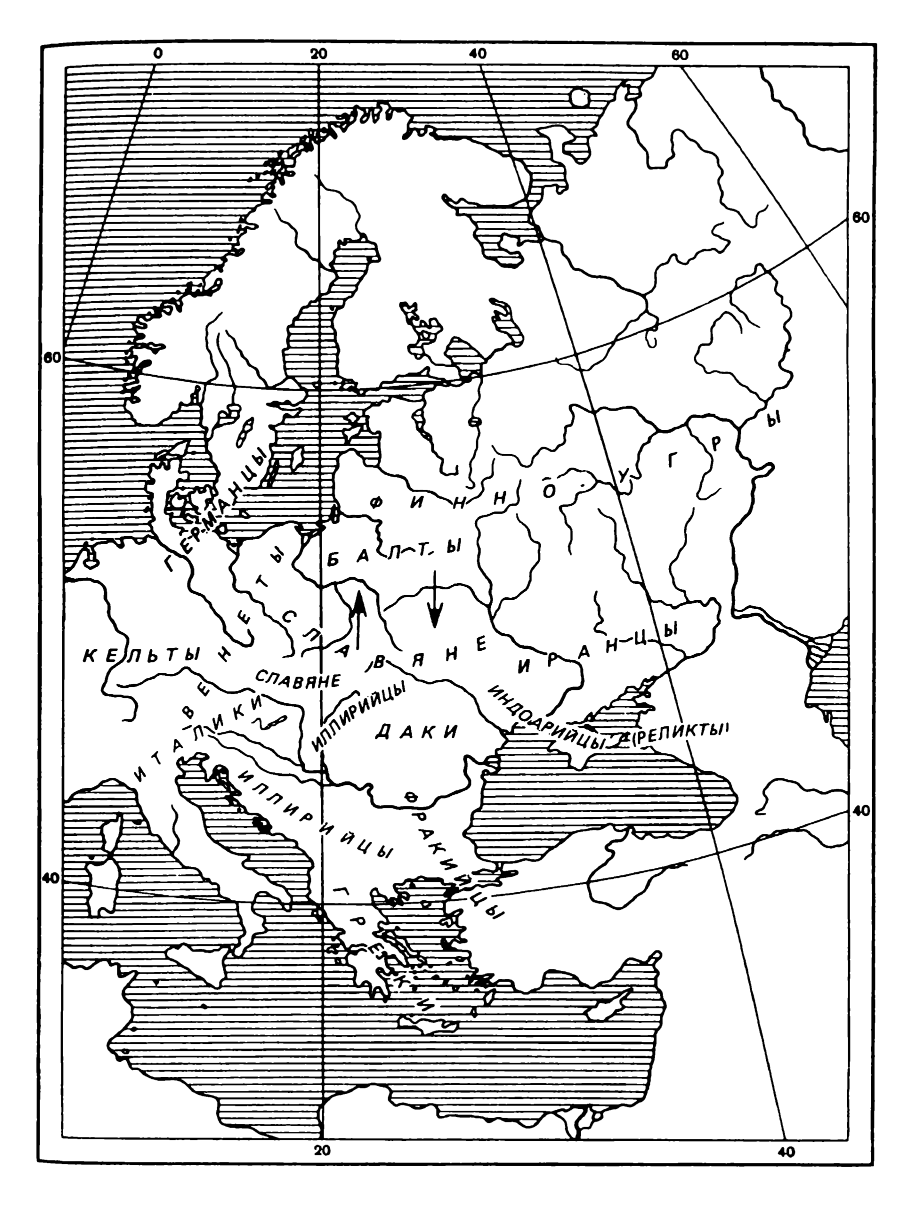
Что касается балтов, то их контакт с Центральной Европой или даже скорее – с ее излучениями, не первичен, он начинается, видимо, с того, впрочем, достаточно раннего времени, когда балты попали в зону Янтарного пути, в низовьях Вислы. Только условно можно датировать их обоснование здесь II тыс. до н.э., не раньше, но и едва ли позже, потому что этрусск. ἄριμος 'обезьяна' могло попасть в восточнобалтийский диалект (лтш. *erms* 'обезьяна'), очевидно, до глубокой перестройки самого балтийского языкового ареала и до упадка Этрурии уже в I тыс. до н.э. Прибалтика всегда сохраняла значение периферии, но благодаря Янтарному пути по Висле двусторонние связи с Адриатикой и Северной Италией фрагментарно проявлялись и могут еще вскрываться сейчас. Любопытный пример – предлагаемое здесь новое прочтение лигурийского названия реки По в Северной Италии – *Bodincus*, которое приводит Плиний, сообщая также его апеллативное значение: ...Ligurum quidem lingua amnem ipsum (scil. – Padum) Bodincum vocari, quod significet fundo carentem, cui argumento adest oppidum iuxta Industria vetusto nomine Bodincomagum, ubi praecipua altitudo incipit (C. Plinius Sec. Nat. hist. III, 16, ed. C. Mayhoff). Таким образом, Bodincus или *Bodinco-* значило по-лигурийски 'fundo carens, бездонный' и может быть восстановлено по снятии вероятных кельтских (лепонтских) наслоений как

---

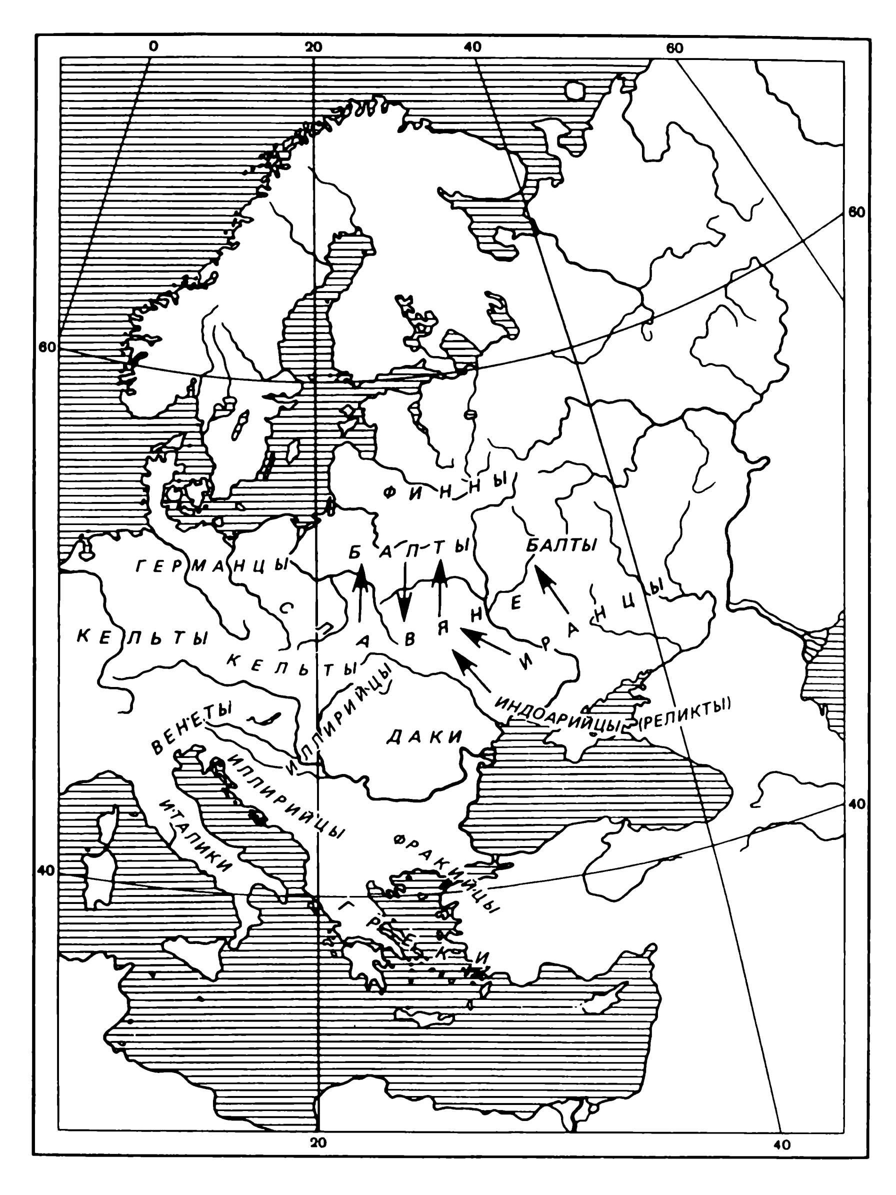
[14] Такие раннеполногласные варианты для нерусских территорий см. [88].



Карта 2. II период, II тысячелетие до н.э.



Карта 3. III период, 1-я половина I тысячелетия до н.э.



Карта 4. IV период, 2-я половина I тысячелетия до н.э.

bo-dicno-/*bo-digno-* < **bo-dugno-* ‘бездонный, **без дна’, что довольно точно соответствует литов. *be dùgno* ‘без дна’, *bedùgnis* ‘бездна’, также в гидронимии – *Bedùgnė*, *Bedùgnis* и позволяет внести корректив в известную географию соответствий балт. *be(z)*, слав. *bez* (и индо-иран. параллели).

БАЛТИЙСКИЙ И "ДРЕВНЕЕВРОПЕЙСКАЯ" ГИДРОНИМИЯ

По долине Вислы к балтам распространялись и изоглоссы древнеевропейской гидронимии, обрывающиеся к западу (– лакуна между Одером и Вислой). Краэ отмечал добалтийский характер древнеевропейской гидронимии [89], и, я думаю, этот тезис сохраняет свое значение, имея в виду не столько додиалектный, сколько наддиалектный статус этой гидронимии (выработка различными контактирующими индоевропейскими диалектами общего гидронимического фонда). В.П. Шмид плодотворно расширил понятие "древнеевропейской" гидронимии до объема индоевропейской, но он допускает явное преувеличение, стремясь в своих последних работах утвердить идею ее центра в балтийском и даже выдвигая балтоцентристскую модель всего индоевропейского [90][15]; [91; 93, с. 11; 94][16]. Однако кучность "древнеевропейских" гидронимов на балтийской языковой территории допускает другое объяснение в духе уже изложенного нами ранее. Балтийский (исторически) – не центр древнеевропейской гидронимии (В.П. Шмид: "Ausstrahlungszentrum"), а фиксированная вспышка в зоне экспансии балтов на восток, куда они распространялись, унося с собой и размноженные древнеевропейские гидронимы.

СБЛИЖЕНИЕ БАЛТОВ И СЛАВЯН

Лишь после самостоятельных ранних миграций балтов и славян стало намечаться их последующее сближение (ср. установленный факт наличия в балтийском раннепраславянских заимствований до окончательного проведения славянской ассибиляции и.-е. *k̂* > **c* > *s*, например, литов. *stirna* < раннепраслав. **cirna*, праслав. **sьrna* и др. [95]. Хронологически это было близко к славянскому переходу *s* > *x* в известных позициях, который некоторые авторы рассматривают даже как "первый шаг" на пути обособления праславянского от балтийского, что из общей перспективы выглядит очень странно. В плане абсолютной хронологии эти балто-славянские контакты (сближения) относятся уже к железному веку (см. выше "аргумент железа"), т.е. к последним векам до новой эры.

Этому предшествовала длительная эпоха жизни праславян в Центральной Европе – жизни, далекой от герметизма в ареале с размытыми границами и открытом как западным, так и восточным влияниям.

---

[15] Карта – см. с. 11, с. 13 – досадная ошибка: гидронимы *Tain* в Шотландии и *Tean* в Англии возводятся автором к **Taniā*, которое он этимологизирует с помощью слав. *tonja* 'tiefe Stelle im Wasser', но последнее происходит только из **top-nja* и к остальным европейским названиям отношения не имеет.

[16] Между прочим, балтоцентристскую теорию индоевропейской прародины отстаивал уже Poesche более ста лет назад [3, с. XXXII].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Копечный Фр.* О новых этимологических словарях славянских языков // ВЯ. 1976. № 1. С. 3 и сл.
2. Словник гідронімів України /Ред. кол.: Непокупний А.П., Стрижак О.С., Цілуйко К.К. Київ, 1979.
3. *Mallory J.P.* A short history of the Indo-European problem // Hehn V. Cultivated plants and domesticated animals in their migration from Asia to Europe (= Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series I. V. 7). Amsterdam, 1976.
4. *Moszyński K.* Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław; Kraków, 1957.
5. *Lehr-Spławiński T.* O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946.
6. *Udolph J.* Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. (= Beiträge zur Namenforschung. Neue Floge. Beiheft 17). Heidelberg, 1979.
7. *Rudnicki M.* O prakolebce Słowian // Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4. Językoznawstwo. W-wa, 1973.
8. *Лер-Сплавинский Т.* – ВЯ. 1958. № 2. С. 45–49.
9. *Кипарский В.* – ВЯ. 1958. № 2. С. 49.
10. *Vasmer M.* Die Urheimat der Slaven // Der ostdeutsche Volksboden. Hrsg. von Volz W. Breslau. 1926. S. 118–143.
11. *Labuda G.* Alexander Brückner und die slavische Altertumskunde // Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen. Bd. 14, I. Fragen der polnischen Kultur im 16. Jahrhundert. Vorträge... zum ehrenden Gedenken an A. Brückner. Bonn, 1978. Bd. I. Giessen, 1980. S. 23, примеч. 28.
12. *Solta G.* Gedanken zum Indogermanenproblem // Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968.
13. *Королюк В.Д.* К исследованиям в области этногенеза славян и восточных романцев // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976. С. 19.
14. *Мейе А.* Общеславянский язык. М.. 1951.
15. *Pătruţ I.* О единстве и продолжительности общеславянского языка // RS. 1976, t. XXXVII. Cz. 1. C. 3 и сл.
16. *Stieber Z.* Problem najdawniejszych różnic między dialektami słowiańskimi // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, IX. 1965. Wrocław etc., 1968. S. 97.
17. *Порциг В.* Членение индоевропейской языковой области. М., 1964. С. 84.
18. *Pisani V.* Indogermanisch und Europa. München, 1974, passim.
19. *Polák V.* Konsolidace slovanského jazykového typu v širších východoevropských souvislostech // Slavia. 1973. Ročn. XLVI.
20. *Филин Ф.П.* О происхождении праславянского языка и восточнославянских языков // ВЯ. 1980. № 4. С. 36, 42.
21. *Silvestri D.* La varietà linguistica nel mondo antico // AIΩN. 1979. 1. P. 19, 23.
22. *Рыбаков Б.А.* Новая концепция предыстории Киевской Руси (тезисы) // История СССР. 1981. № 1. С. 57.
23. *Hirt H.* Die Heimat der indogermanischen Völker und ihre Wanderungen // Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968.
24. *Kossinna G.* Die indogermanische Frage archäologisch beantwortet // Die Urheimat der Indogermanen. S. 97.

25. *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938. С. 59.
26. *Pokorny J.* Substrattheorie und Urheimat der Indogermanen // Die Urheimat der Indogermanen. S. 209.
27. *Трубачев О.Н.* Принципы построения этимологических словарей славянских языков // ВЯ. 1957. № 5. С. 69 и сл.
28. *Popović I.* Les noms slaves de 'printemps' // Annali [del] Istituto universitario orientale. Sez. lingu. I, 2. Roma, 1959. P. 184.
29. *Polák V.* Slovanská pravlast s hlediska jazykového // Vznik a původ Slovanů. I. Pr., 1956. S. 13, 23.
30. *Никонов В.А.* – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. М., 1962. С. 478.
31. *Dickenmann E.* – Onoma, 1980, XXIV, S. 279. – Рец. на кн.: *Udolph J.* Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Heidelberg, 1979.
32. *Кипарский В.* – ВЯ. 1958. № 1. С. 50.
33. *Lamprecht A.* Praslovanština a jeji chronologické členění // Československé přednášky pro VIII. mezinárodni sjezd slavistů v Zahřebu. Pr., 1978. S. 150.
34. *Karaliūnas S. – Frenkelis E.* Baltų kalbos. Vilnius, 1969. P. 13.
35. *Соболевский А.* Что такое славянский праязык и славянский пранарод? // Известия II Отд. Росс. АН. 1922. Т. XXVII. С. 321 и сл.
36. *Pisani V.* Baltisch, Slavisch, Iranisch // Baltistica. 1969. V (2). S. 138–139.
37. *Горнунг Б.В.* Из предыстории образования общеславянского языкового единства. М., 1963. С. 49.
38. *Иванов В.В., Топоров В.Н.* К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961. С. 303.
39. *Топоров В.Н.* К проблеме балто-славянских языковых отношений // Актуальные проблемы славяноведения (КСИС 33-34). М., 1961. С. 213.
40. *Mažiulis V.* Apie senovės vakarų baltus bei jų santykius su slavais, ilirais ir germanais // Iš lietuvių etnogenezės. Vilnius, 1981. P. 7.
41. *Мартынов В.В.* Балто-славяно-италийские изоглоссы. Лексическая синонимия. Минск, 1978. С. 43.
42. *Мартынов В.В.* Балто-славянские лексико-словообразовательные отношения и глоттогенез славян // Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом: Конференция 11–15 дек. 1978 г. Предварительные материалы. М., 1978. С. 102.
43. *Мартынов В.В.* Балто-славянские этнические отношения по данным лингвистики // Проблемы этногенеза и этнической истории балтов: Тез. докл. Вильнюс, 1981. С. 104–106.
44. *Schall H.* Südbalten und Daker: Väter der Lettoslawen // Primus congressus studiorum thracicorum. Thracia II. Serdicae, 1974. S. 304, 308, 310.
45. *Schmid W.P.* Baltisch und Indogermanisch // Baltistica. 1976. XII (2). S. 120.
46. *Mayer H.E.* Kann das Baltische als Muster für das Slavische gelten? // ZfslPh. 1976. XXXIX. S. 32 и сл.
47. *Mayer H.E.* Die Divergenz des Baltischen und des Slavischen // ZfslPh. 1978. XL. S. 52 и сл.
48. *Булаховский Л.А.* – ВЯ. 1958. № 1. С. 41–45.
49. *Трост П.* Современное состояние вопроса о балто-славянских языковых отношениях // IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. М., 1962. С. 422.

50. *Бернштейн С.Б.* – ВЯ. 1958. № 1. С. 48–49.
51. *Лер-Сплавинский Т.* [Выступление] //IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. М., 1962. С. 431–432.
52. *Pohl H.D.* Baltisch und Slavisch. Die Fiktion von der baltisch-slavischen Spracheinheit // Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft. 1980. 6. S. 68–69.
53. *Schmalstieg W.* Common innovations in the Balto-Slavic consonantal system // IV Всесоюзная конференция балтистов 23–25 сент. 1980 г.: Тез. докл. Рига, 1980. С. 86.
54. *Топоров В.Н.* Несколько соображений о происхождении флексий славянского генитива // Bereiche der Slavistik. Festschrift zu Ehren von J. Hamm. Wien, 1975. S. 287 и сл., 296.
55. *Топоров В.Н.* К вопросу об эволюции славянского и балтийского глагола // ВСЯ. Вып. 5. М., 1981. С. 37.
56. *Курилович Е.* О балто-славянском языковом единстве // ВСЯ. Вып. 3. М., 1958. С. 40.
57. *Kuryłowicz J.* The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg. 1964. P. 80.
58. *Kortlandt F.* Toward a reconstruction of the Balto-Slavic verbal system // Lingua. 1979. 49. P. 64 и сл.
59. *Иванов Вяч.Вс.* Отражение в балтийском и славянском двух серий индоевропейских глагольных форм: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Вильнюс, 1978.
60. *Савченко А.Н.* Проблема системной реконструкции праязыковых состояний (на материале балтийских и славянских языков) // Baltistica. 1973. IX (2). С. 143.
61. *Meillet A.* Etudes sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave. 2-e partie. P., 1905. P. 201–202.
62. *Эндзелин И.М.* Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911. С. 1. (= Endzelīns J. Darbu izlase. II. Rīgā, 1974. 170).
63. *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. IV. La formation des noms. P., 1974. P. 13–14.
64. *Топоров В.Н., Трубачев О.Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
65. *Birnbaum H.* O możliwości odtworzenia pierwotnego stanu języka prasłowiańskiego za pomocą rekonstrukcji wewnętrznej i metody porównawczej // American contributions to the Seventh International congress of Slavists. Warsaw. Aug. 21–27. 1973. V. I. P. 57.
66. *Pokorny J.* Die Träger der Kultur der Jungsteinzeit und die Indogermanenfrage // Die Urheimat der Indogermanen. S. 309.
67. *Prinz J.* – Zeitschrift für Balkanologie. 1978. XIV. S. 223.
68. *Milewski T.* Dyferencjacja języków indoeuropejskich // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 1965. Wrocław etc., 1968. S. 67–68.
69. *Duridanov I.* Thrakisch-dakische Studien. I. Die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen (= Linguistique balkanique XIII, 2). Sofia, 1969.
70. *Топоров В.Н.* К фракийско-балтийским языковым параллелям // Балканское языкознание. М., 1973. С. 51, 52.
71. *Pisani V.* Indogermanisch und Europa. München, 1974. S. 51.
72. *Топоров В.Н.* К фракийско-балтийским языковым параллелям. II // Балканский лингвистический сборник. М., 1977. С. 81–82.

73. *Топоров В.Н.* К древнебалканским связям в области языка и мифологии // Там же. С. 43.
74. *Топоров В.Н.* Прусский язык. Словарь. I – K. M., 1980. C. 279.
75. *Трубачев О.Н.* Названия рек Правобережной Украины. M., 1968.
76. *Топоров В.Н.* Несколько иллирийско-балтийских параллелей из области топономастики // Проблемы индоевропейского языкознания. M., 1964, C. 52 и сл.
77. *Pohl H.D.* Slavisch und Lateinisch (= Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft. Beiheft 3). Klagenfurt, 1977.
78. *Ademollo Gagliano M.T.* Le corrispondenze lessicali balto-latine // Archivio glottologico italiano, 1978, 63. P. 1. и сл.
79. *Трубачев О.Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. M., 1966.
80. *Седов В.В.* Происхождение и ранняя история славян. M., 1979.
81. *Krahe H.* Die Sprache der Illyrier, I. Teil: Die Quellen. Wiesbaden, 1955. S. 8.
82. *Krahe H.* Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954.
83. *Georgiev V.I.* Illyrier, Veneter und Urslawen // Linguistique balkanique. 1968. XIII. 1. S. 5 и сл.
84. *Трубачев О.Н.* Illyrica // Античная балканистика.
85. *Katičić R.* Ancient languages of the Balkans. Part I. The Hague; Paris, 1976. P. 64–65.
86. *Gołąb Z.* "Kentum" elements in Slavic // Lingua Posnaniensis. 1972. XVI. C. 53 и сл.
87. *Gołąb Z.* Stratyfikacja słownictwa prasłowiańskiego a zagadnienie etnogenezy Słowian // RS. 1977. XXXVIII, 1. S. 16 (Warstwa "kentumowa").
88. *Mareš F.V.* The origin of the Slavic phonological system and its development up to the end of Slavic language unity. Ann Arbor, 1965. P. 24–25, 30–31.
89. *Krahe H.* Vorgeschichtliche Sprachbeziehungen von den baltischen Ostseeländern bis zu den Gebieten um den Nordteil der Adria // Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Mainz. 1957. N 3. S. 120.
90. *Schmid W.P.* Baltische Gewassernamen und das vorgeschichtliche Europa // IF. 1972. Bd. LXXVII. S. 1 и сл.
91. *Schmid W.P.* Baltisch und Indogermanisch // Baltistica. 1976. XII (2).
92. *Schmid W.P.* Alteuropäisch und Indogermanisch // Probleme der Namenforschung im deutschsprachigen Raum. Darmstadt, 1977. S. 98 и сл.
93. *Schmid W.P.* Indogermanistische Modelle and osteuropäische Frühgeschichte // Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 1978, Nr. I. Mainz; Wiesbaden, 1978.
94. *Schmid W.P.* Das Hethitische in einem neuen Verwandtschaftsmodell // Hethitisch und Indogermanisch. Hrsg. von Neu E. und Meid W. Innsbruck, 1979. S. 232–233.
95. *Трубачев О.Н.* Лексикография и этимология // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. M., 1973. C. 311.

ГЛАВА 2

СЛАВЯНСКИЙ И “ДРЕВНЕЕВРОПЕЙСКАЯ” ГИДРОНИМИЯ

Далеко еще недостаточно изучен вопрос об отношении славян к “древнеевропейской” гидронимии. Автор этой концепции Краэ несколько априористически, на основании неполноты сведений выразил в своих работах тенденцию как бы вытолкнуть славян из “древнеевропейского” гидронимического ареала [95]. В последнее время это положение коренным образом пересматривается в науке и выдвигаются данные, свидетельствующие об участии славянского в древнеевропейской гидронимии [96, 97], о вхождении также топонимии Правобережной Украины в центральноевропейский топонимический ареал к северу от Альп [98]. В свое время мы уже указывали на это, приводя конкретные соответстеия: др.-европ. *Oumena* – укр. *Умань* [75, с. 113–114]; *Talamone* (Италия), *Tolmin* (Словения) – *Телемень* / *Товмень* (Украина) [75, с. 232]; др.-европ. **Arman-tia, Armeno* (Триент), литов. *Armenà* – Ромен (Украина) [75, с. 209]. Название *Солучка* на верхнем Днестре реконструирует как др.-европ. **Salantia* с соответствием в Швейцарии Удольф вслед за Трубачевым [6, с. 635]. Некоторые факты в этом духе можно найти в работах В.П. Шмида, однако к его преувеличенной балтоцентристской ориентации всей древней индоевропейской гидронимии Европы следует сделать некоторые критические замечания, отметив в первую очередь наличие в наиболее фондовом минимуме “древнеевропейской” гидронимии (еще у Краэ) ряда случаев, которые в ответ на дилемму – балтийский или славянский – соотносятся только со славянскими апеллативами, причем в балтийском точные лексические соответствия отсутствуют, например, др.-европ. **alisā*, **amā* – слав. “Wasserwörter” **olьxa* (**alisā*), **(j)amā*). К отмеченному В.П. Шмидом на балтийской территории важному гидрониму *Venta*, который он в общем верно относит к русск. (“Fluß im Gebiet von Minsk”) *Вяча* < **Ventiā* [93, с. 16], необходимо добавить, что предыдущие исследователи убедительно указывали на небалтийское, славянское происхождение данного гидронима [4, с. 309 и примеч. 10]. Лакуна между древнеевропейской гидронимией и славянским постепенно заполняется, и вместе с тем обогащается само понятие древнеевропейской (= древнеиндоевропейской) гидронимии Европы. Одновременно крепнет сознание древних связей славян с Центральной Европой, с локализацией и судьбами всего древнеиндоевропейского языкового конгломерата.

ПРАИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ АРЕАЛ

Несмотря на неутихающие споры вокруг “древнеевропейской” гидронимии (это понятие введено в научный оборот в 1962 г.), нам ясно принципиальное значение этого достижения и связанные с ним

далекоидущие перспективы, их важность в решении вопроса всего индоевропейского лингвоэтногенеза. Поскольку последний, в свою очередь, теснейшим образом связан со славянским лингвоэтногенезом и пространственной локализацией праславянского (отныне не скованной схемами балто-славянского языкового единства или постулируемых отношений западнобалтийского "отца" – праславянского "сына"), здесь уместно высказаться кратко и по этому вопросу вопросов, ограничившись лишь самым главным. Дело в том, что для древней локализации славян вовсе не безразлично, как казалось бы, откуда задолго до того пришли индоевропейцы и приходили ли они вообще в Европу издалека. Небезразличны, например, теории вторичной "курганизации" (= индоевропеизации) якобы первоначально неиндоевропейской Европы с Востока в V тыс. до н.э. [99]; по этому поводу мы не станем повторять, что культура и этнос не идентичны, а напомним лишь, что распространение культурных волн (которые всегда были больше сродни моде [100], чем обычно думают) не предполагает всякий раз перемещения самих носителей культуры, самой среды. Обязательно ли с перемещением, скажем, боевых топоров перемещались и сами этносы – носители культуры? Может быть, здесь типологически уместно вспомнить опыт теории волн в сравнительном языкознании и подобно распространению языковых явлений и слов при сохранении устойчивых языковых границ представлять себе распространение артефактов благодаря моде, культурному обмену при сохранении границ этносов? Небезразличны для нас, далее, и новые или реновированные теории малоазиатско-передневосточной прародины индоевропейцев [101–104]. Индоевропейский и даже архаический характер отдельных хеттских гидронимов древней Анатолии мало что меняет, и он не может отменить дохеттской (западнокавказской?) принадлежности субстратного языка хаттов. Допускаемая и по этой теории вторичная северопонтийская, европейская прародина индоевропейцев Европы, пришедших сюда очень давно будто бы в результате миграции путем West by East в обход Каспийского моря или через Кавказ, тоже не удовлетворит нас, потому что при этом не объясняется главное: образование древнеевропейской гидронимии. Существенно, что ничего отдаленно напоминающего этот компактный ономастический ландшафт нет ни в Малой, ни в Большой Азии, хотя там ее зафиксировали бы древнейшие письменные традиции передневосточных цивилизаций[17]. Компактный древнеиндоевропейский ономастиче-

---

[17] Спор о том, повторяется или нет древнеевропейский гидронимический ландшафт в древней Анатолии (contra – А. Шерер и pro – [105]), не может считаться оконченным, т.е. решенным в положительном смысле, как это попытался представить Б. Розенкранц в указанной статье. Трудолюбиво собранные им материалы дают повод для несколько иных заключений. Во-первых, бросаются в глаза серьезные отличия: присутствие в древней Анатолии редуплицированных, или итеративных гидро-

ский ареал мы находим только в Европе, и диагностическое значение этого факта трудно переоценить в вопросе древней локализации индоевропейцев. Его не могут ослабить попытки отыскать доиндоевропейские элементы в индоевропейском слое [106–108], сами по себе не очень убедительные (почему, например, нужно считать **kar*- 'камень' доиндоевропейским?), хотя, как мы теперь знаем (выше), инородные включения в праязыковом ареале – нормальное явление. Его не могут дискредитировать, с другой стороны, наивные попытки найти "das letzte Indogermanisch" в "северо-западном блоке" на нижнем Рейне (ареал гидронимов на *-apa*, некельтских и негерманских), который (Indogermanisch) якобы не выдержал трудных условий жизни в зоне германско-римских военных действий к началу н.э. [109].

ДУНАЙСКИЙ РЕГИОН

Предполагая, таким образом, тесную взаимосвязь и значительное совпадение ареалов древнеевропейской гидронимии и собственно праиндоевропейского ареала заселения, мы считали бы целесообразным прислушаться к мнениям тех ученых разных специальностей, которые давно обратили внимание на дунайский регион, ср. констатируемую антропологами иррадиацию дунайского круга еще в неолите [110], вскрываемые археологами балканско-дунайские влияния и распространение отсюда в Северное Причерноморье злаков, скота, металла в V–IV тыс. до н.э. [111]. Существенно, что на Среднем Дунае и на Украине отмечается раннее одомашнивание лошади (V–IV тыс. до н.э.) [112]. Конечно, здесь ведутся споры, причем по самому главному вопросу – считать древний придунайский (дунайско-балканский) очаг цивилизации этнически индоевропейским

нимов (*Sigašiga, Ululuua*), совершенно чуждых гидронимии древней Европы. Во-вторых, почти половина древнеевропейских гидронимических основ, конкретно – 12–13, из 28, отсутствует в древней Анатолии [см. 105, с. 143, таблица], причем богатство хеттской письменной документации делает случайные пропуски маловероятными. В-третьих – и это главное – находят соответствие в Анатолии те из древнеевропейских форм, которые имели живую опору в хеттской грамматике (парадигма *-r-/-n-/-nt-*), словообразовании (суф. *-ii̯a*, *-l-*, *-s-*), и лексике (*ḫapa-* 'река'), и, наоборот, отсутствуют анатолийские соответствия важнейшим др.-европ. гидронимическим основам **adu-*/**adru*, **aku̯ā*, **dreu̯-*/**dru-*, **ned-*/**nod-*, **neid-*/**nid-*, **pol-*, **u̯eis-*/**u̯is-*, **albh-*, **arg-*, **ag-*, **oudh-*, **ner-*/**nor-*. И.-е. основа **danu-* выразительно размещается только на нехеттском западе Малой Азии, а также в возможной южной зоне и.-е. проникновении с Запада в Палестине ("морские народы"? пеласты/ пеласги/ филистимляне?), ср. *Jor-dan* при др.-европ. *Rho-danus*, *Danubis*, *Tanais*, и в Передней Азии. Бросается в глаза то, что в случае с древнеевропейской гидронимией факт прямой мотивировки ее со стороны конкретного языка отсутствует и о последнем возможны лишь косвенные суждения на базе самой гидронимии Древней Европы, а это, в наших глазах, показатель большей древности древнеевропейской гидронимии, чем явно вторичной индоевропейской гидронимии Анатолии, с чем, кажется, соглашается и Розенкранц [105, с. 144].

или доиндоевропейским. Однако мнения об индоевропейской принадлежности, скажем, ареала линейно-ленточной керамики V–IV тыс. до н.э. (в том числе – трипольской культуры) не единичны. Наиболее радикальное выражение этих взглядов – теория дунайской прародины индоевропейцев [113, с. 19]. Разумеется, сознаваемая ныне с особенной остротой сложность проблемы реконструкции древних лингвоэтнических отношений, а также сложность самих этих отношений (а не простота и исходное единство, о чем – выше) побуждают не идти дальше признания несколько расплывчатого древнего ареала обитания, т.е. иными словами, допущение древнего индоевропейского дунайско-балканского ареала отнюдь не исключает отнесения сюда же части территории Украины и, возможно, других соседних областей, как не исключает оно и присутствия неиндоевропейских элементов хотя бы в части этого ареала. Но дилемма – праиндоевропеиская Европа или Азия – лингвистически решается все-таки в пользу Европы. Центральноевропейская локализация отвечает и структурно-типологической характеристике индоевропейского – между уральскими и севернокавказскими языками [114][18]. Весьма существенные ограничительные критерии получаем мы и с другой стороны. До тех пор, пока датировка индоевропейской дифференциации и расселения не шла вглубь дальше II–III тыс. до н.э., археологи и индоевропеисты особенно немецкой школы (или школ) всерьез считались с возможностью североевропейской (прибалтийской) прародины, полагая, что конец оледенения на Севере очень далек и его можно не принимать в расчет [115]. Но сейчас индоевропейские датировки углубляются и удревняются, они практически современны концу очищения Северной Европы ото льда – около 4000 г. до н.э., а это делает просто невозможной северную локализацию прародины. Север стал заселяться только после этой даты и только с юга [116], что лишь увеличивает шансы Центральной Европы.

ПРАСЛАВЯНЕ НА ДУНАЕ

С концепцией центральноевропейского ареала древних индоевропейцев связана и теория дунайской прародины славян, как она традиционно называлась и по распространенному мнению отвергалась наукой нового времени. Между тем заложенное в ней рациональное ядро дает право возвратиться сейчас к рассмотрению ее фактической возможности и к исторической увязке с другими разновременными ареалами обитания славян. Дунайская теория, впрочем, никогда не утрачивала полностью своей привлекательности, и голоса в пользу ее реабилитации раздавались и прежде, и недавно в нашей литературе, но это были, например, выступления этнографов,

[18] Аналогично раньше Трубецкой.

слабо или просто недоброкачественно обоснованные лингвистически [117, 118]. Предмет объективно труден, и не приходится думать о едином решении всех сложных вопросов, но материал для конкретных суждений и для пересмотра все-таки накопился, и не в интересах науки надолго откладывать его обсуждение.

СЛАВЯНЕ ВОСТОЧНЫЕ, ЗАПАДНЫЕ, ЮЖНЫЕ

О восточных славянах справедливо сказано (Б.А. Рыбаков), что для них история начиналась на юге. В самом начале мы уже говорили о народной памяти о Дунае, все еще живущей среди восточных славян. Конечно, вопрос о древнем среднеднепровском ареале славян продолжает стоять и сохраняет свое значение, особенно как исходный ареал для дальнейшего развития собственно восточного славянства. Единственное, на чем, видимо, не следует настаивать, – это (в свете изложенного ранее) на его четкой отграниченности и универсальности для всех времен и для всех славян. Не исключено, что для каких-то предшествующих периодов (см. отчасти выше) среднеднепровский ареал славян был лишь частью (периферией) более крупного, иначе локализованного пространства[19].

Польские (и шире – лехитские) территории были освоены славянами лишь вторично, и обратного не удалось доказать польской этногенетической и лингвистической школе, несмотря на наличие здесь ярких достижений и эффектных разработок, включая введение сравнительного частотного анализа текстов. Есть серьезные доводы, которые сводят на нет результаты польского автохтонизма. Меньше всего могут рассчитывать на успех крайние точки зрения, например, стремление обязательно доказать славянское происхождение названий рек *Wisła*, *Odra*, *Noteć* и др. [7, с. 323]. Впрочем, и среди польских сторонников прародины славян по Одеру и Висле признается спорность происхождения и вторичная славизация ряда гидронимов этого района, указывается на неоспоримость единственно того факта, что гидронимия по Одеру и Висле носит индоевропейский характер, а это равносильно допущению возможности пребывания здесь также других племен [120]. Конечно, мы далеки от мысли прибегать в этом дискуссионном вопросе о висло-одерской прародине славян к старой (и не оправдавшей себя) аргументации, доказывавшей автохтонность этноса через отсутствие инородных названий в ареале обитания; мы знаем, что и присутствие таковых не исключает само по себе возможной исконности пребывания данного этноса. Просто ставка Лер-Сплавинского и его школы на исконнославянскую принадлежность макрогидронимов Польши оказалась вдвойне ненадежной: 1) гидронимы эти допускают более широкую

[19] Ср. указание антропологии на высокий процент средиземноморского типа у восточных славян [119], как, впрочем, и в Польше.

индоевропейскую (скорее всего – не славянскую) мотивацию, 2) макрогидронимы, как указывается в последнее время, этногенетически не показательны. Таким образом, возможность исконнославянского пребывания и тем более – конституирования славянского этноса на польских землях – не самая вероятная из возможностей. В этой связи приобретают значимость различные сигналы о вторичности появления славян на польских и шире – большей части западнославянских земель, ср., например, выдвинутый нами ранее тезис о *вторичной окцидентализации* серболужицких языков, прослеживаемой на составе лексики, отличном от других западнославянских [79, с. 391–392]. Серболужицкие территории заселялись славянами в значительной степени с юга [121], а не с востока, как ожидалось бы по висло-одерской теории. Видимо, и польские земли заселялись славянами с юга, как об этом рассказывает Повесть временных лет в эпизоде о волохах, древним характером которого мы займемся ниже. Отношение этнонима вислянских (польских) полян и схожего, но темного, дославянского племенного названия *буланы*, Βούλανες (Птолемей) (ср. [122, с. 45]) говорит о славизации, а не об автохтонности. Тем более сомнительны попытки трактовать северо-западное славянство как родину сначала восточных, а потом – южных славян [123–124]. Отсутствие пражской керамики, земляночных жилищ и урновых погребений-сожжений между Одером и Вислой [125] довершает сомнительность изначально славянского характера именно этих территорий.

СЛАВЯНСКАЯ ОНОМАСТИКА ПОДУНАВЬЯ; СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЭТНОНИМИИ И АНТРОПОНИМИИ

Южные славяне – пришельцы на Балканах, но пришли они, по-видимому, из относительно ближайших мест, откуда они могли проникать путем ранней инфильтрации и на Восток и на Север. Еще Копитар думал о праславянах на Дунае и о Паннонии как центре их миграции [126]. Ср. любопытное высказывание из его "Патриотических фантазий славянина":

"IV. Berührungspunct der zwey Hauptäste.

Unterhalb Wien ist's an der Pannonischen Donau zwischen Presburg und Komorn, wo sich die zwey Äste *geographisch* und (linguistisch-) *genetisch* mittelst der *Slovaken* und der *Slovenen* die Hände reichen. Dieses linguistische Datum, und der Umstand, daſs gerade diese zwey Zweige allein sich mit dem bloſsen *allgemeinen* Stammsnahmen (*Slovak* und *Slovenez*, bloſs mit verschiedener Bildungsendung) begnügten, während die jüngern Zweige *besondere* Nahmen, Tschechen, Lechen (Polen), Horvaten, Serben, Russen, sich beylegten, begünstigt auffallend die alte Tradition, daſs die *Pannonische* Donau der Stammsitz der Slaven sey" (Vaterländische Blätter

fur den ӧsterreichischen Kaiserstaat. Dritter Jahrgang. Nr. IX. Dienstag den 5. Juni 1810." – Цит. по факсимильному воспроизведению в: Papers in Slavic philology 2. To honor Jernej Kopitar 1780–1980. Ed. by R.L. Lenček and H.R. Cooper, Jr. Ann Arbor, 1982, P. 222).

Считается, что Нидерле положил конец этой старой теории, хотя, строго говоря, ни археология, ни историческое языкознание (ономастика) не могли тогда (да вряд ли смогли бы и позже) предоставить в распоряжение Нидерле систематическую и полную отрицательную аргументацию. Впрочем, и Нидерле готов был допустить существование островков славян среди иллирийцев и фракийцев с первых веков нашей эры и признавал славянское происхождение названий *Vulka, Vrbas, Tsierna, Pathissus* [127], как и опровергаемый им Шафарик [122, с. 118 и сл.]. Версия о приходе славян "откуда-то" родилась в свое время из неправильно истолкованного молчания греческих и римских авторов о славянах как таковых. Шафарик справедливо оспорил ложный вывод о том, что славян в ту эпоху не было вообще [128]. Мы сейчас в состоянии достаточно конкретно оценить эту ситуацию, считая, что этноним (аутэтноним) *славяне* (который, кстати, уже у Шафарика правильно связан со *слово* при помощи аналогии др.-русск. *кличане* [129]) – категория историческая, он существовал не всегда, был естественный период в жизни праславян, когда такой макроэтноним еще не требовался, без него прекрасно обходились. Этнонимия моложе антропонимии и вообще представляет собой относительно самый молодой раздел ономастики, потому что предполагает развитое коллективное самосознание. Здесь уместно напомнить, что у славян и антропонимия оказывается более новой, молодой по составу и образованию на индоевропейском фоне [130], что вполне уживается с архаической характеристикой языка славян. Эту историческую особенность антропонимии, пожалуй, упускают из виду даже сами ономасты, делая прямые заключения на основе, скажем, отсутствия славянских личных имен в античной северопонтийской эпиграфике об отсутствии в этих местах самих славян. Точнее было бы теперь сказать так: славянская антропонимия в нашем понимании тогда еще не сложилась, а сами славяне бывали и в этих местах, о чем, кажется, говорят славяно-иранские связи скифского времени, а также возможные славяно-индоарийские связи приблизительно той же эпохи. Молодость славянской антропонимии удобна для нас своей датирующей потенцией: наличие в ней иранских влияний говорит о том, что эти влияния (славяно-иранские контакты) не следует слишком рано датировать. Относительно неустоявшийся характер как этнонимии, так и антропонимии дунайских славян уже в довольно позднее время явствует из примера личного имени моравского князя *Pribina*, которое мы реконструируем и этимологизируем как кличку **prijěbina*, поскольку о Прибине доподлинно известно, что он – *filius ex alia coniuge* [131], ср. сюда же словен. *prijebiš* 'внебрачный' (Pleteršnik).

Таким образом, в жизни славян (на Дунае и в прилегающих землях) был период, когда этноним **slověne* отсутствовал, и это зафиксировали античные писатели. Когда писатели византийского времени упоминают о славянах-склавенах, они связывают это имя опять-таки с населением околодунайских районов; особенно четко это представлено у Иордана, где говорится, что севернее склавен живут венеты, а к востоку, за Данастром, – анты. Периферийные венеты, венеды и анты – тоже славяне, но они названы заимствованными именами, как часто бывает в пограничных районах, а срединные склавены-славяне носят свой исконный аутэтноним.

Венгры, осваивая свою страну, застали там густое славянское население и славянскую топонимию. Разнообразие типов последней показывает ряд примеров из книги Я. Станислава (в венгерской, румынской графике и реконструкции автора): *Tirnava, Sztruga*, **Bъrzъ*, **Rěčina*, **Bystrica*, **Sopot*, **Toplica*, **Kaliga*, **Bělgrad*, **Prěvlak*, **Konotopa*, **Dъbricinь*, **Požega*, **Črъnъgrad* [132]. Эти и подобные им названия распространены в Паннонии и Потисье, т.е. по обе стороны Дуная. Особенно обращает на себя внимание водная номенклатура, топонимия Потисья, ее преемственность с давнего времени. Основной гидроним района – название реки *Тиса*, левого притока Дуная, затем группа территориально и структурно близких гидронимов – *Марош*, левый приток Тисы, *Самош*, также приток Тисы, *Темеш*, река в Банате. Название Тиса (венг. *Tisza*, рум. *Tisa*, нем. *Theiß*) – очевидно, продолжает форму **Tīsā*, индоевропейского происхождения, скорее всего неславянского [133, с. 87 и сл.]. Весьма любопытно, что древняя запись *Pathissus, -um* у Плиния (I в. н.э.) отражает не столько название реки, сколько название местности на ней, типично славянское сложение с префиксом *pa-* = *po-*, ср. *Поморье, Полабье, Подунавье, Посулье* [122, с. 118 и сл.] (прочие записи, скорее дефектные, и иные объяснения здесь опускаем). *Марош* (венг. *Maros*, рум. *Mureş*) известен, начиная с геродотовской формы Μάρις и в общем единогласно возводится к и.-е. **mori* 'море' [133, с. 92; 134, с. 408], а суффикс, также индоевропейского происхождения, имеет, по-видимому, славянскую огласовку (*-is-i̯o-* > *-išь*), к тому же, объединяющую несколько гидронимов только этого района, а именно упомянутые также *Темеш* (венг. *Temes*) с не вполне ясной историей, но, по-видимому, через промежуточное слав. **tьm-išь* 'темная (река)', связанное с близким иноязычным индоевропейским названием, ср. англ. *Thames*, древнее, доанглосаксонское *Tamesis*; наконец, Самош (венг. *Szamos*, рум. *Someş*), без соответствий за пределами славянского; в последнем случае Георгиев допускает образование от слав. **somъ* 'сом, Silurus glanis' [133, с. 93].

Древний возраст этой гидронимической группы очевиден, а также вероятно конкретное участие славянских основ и формантов в ее образовании, как, впрочем, и тесное славянско-индоевропейское взаимодействие, затрудняющее даже различение разноязычных

компонентов и их атрибуцию (балканско-индоевропейский? кельтский?). Необходимо отметить, что современный исход на *-š* (*Марош, Самош, Темеш*) унаследован венграми от прежде живших здесь славян [135; 132, с. 162], в языке которых он явился преобразованием более древнего *-sjo-*.

К славянскому топонимическому фонду относится, вероятно, название населенного пункта "на границе Венгрии и Валахии" *Tsierna* (римская надпись II в. н.э.), Διερνα (Птол.), *Tierna* (Tab. Peut.), на что обратил внимание уже Шафарик в связи с местонахождением *Tsierna* на реке *Черна* [122, с. 118 и сл.], хотя Георгиев видит здесь дакское *Tsierna, Tierna* < и.-е. **k*ʷ*er(ə)sna* 'черная' [136].

Совершенно особую проблему в этом ряду представляет венгерское название исторической области в верховьях Тисы – комитата *Máramaros, Мармарош*, рум. *Maramureş*, первоначально – название небольшой местной реки. Высказывалось мнение, что здесь представлено удвоение все того же и.-е. **mori* 'море' [134, с. 404]. Конечно, близость вышеназванного гидронима *Maros* бросается в глаза, но состав целого требует объяснения, которое может оказаться несколько иным. Невольно вспоминается тут загадочное название "северного океана", которое Плиний, с чужих слов, приписывает кимбрам – *Morimarusa*: *Philemon Morimarusam a Cimbris vocari, hoc est mortuum mare* 'Филемон ⟨сообщает⟩, что он (северный океан) у кимбров называется *Morimarusa*, то есть мертвое море' (C. Plin. Sec. Nat. hist. IV, 13). Кимбры – германское племя, но выражение *Morimarusa* – явно негерманское. Описываемые Плинием здесь же "берега Скифии" и выбрасываемый волнами янтарь свидетельствуют о том, что речь идет о Балтийском море, а сведения получены с Янтарного пути, который пролегал через Среднеё Подунавье. Отсюда, видимо, и происходит в результате неточно паспортизованной информации и плиниевское *Morimarusa*, о котором можно довольно уверенно сказать, что это выражение на индоевропейском (негерманском) языке и глоссируется оно у Плиния весьма правдоподобно: "*mortuum mare, мертвое море*". На основании глоссы членить его следует как *mori marusa*, выражение из двух слов, первое из них – и.-е. **mori*, а второе, видимо, носитель значения 'мертвое', без натяжек идентифицируется как прич. прош. на *-us-* ("умершее"). Название моря в этой форме могло быть у кельтов, которые бывали на Среднем Дунае, но в кельтском не было причастий на *-u̯es-*, *-u̯os*, *-us*, известных в индоиранских, греческом, балтийских, славянских [137]. Нам остается лишь высказать гипотезу, что *Máramaros* = *Morimarusa* и что здесь отражено праслав. **mor'e mьrъše* (или раннепраслав. **mari mrŭsja*?) 'умершее море'. Исследователи отмечают существование в Потисье значительного района затопления вплоть до недавнего времени [132, с. 164][20]. Очень близкую к славянской форму названия моря

[20] Со ссылкой на Э. Моора.

имел, по-видимому, также фракийский, ср. сложный этноним Μαριανδυνοί, *Mariandyni*, название обитателей приморского района Малой Азии – от **marian* 'море', но *Morimarusa* – не фракийское название. Морская семантика и.-е. **mori* применена в нем к внутриконтинентальному разливу фигурально, ср. и (фигуральное) употребление здесь причастия 'умершее'.

Мнение о том, что праславянская территория была значительно ближе к балканско-анатолийским культурам, чем принято обычно думать, высказывал Будимир [138]. Вообще проблема дунайской прародины славян имеет сторонников в югославской исторической и археологической науке[21]. К этому следует добавить отмечавшееся и в нашей литературе большое совпадение ареала пражской (достоверно славянской) керамики и распространения склавен по Иордану в основном на Среднем Дунае [140; 118, с. 77].

КЕЛЬТЫ И СЛАВЯНЕ

С середины I тыс. до н.э. для славян, как и для других племен, живших в Дунайской котловине, возникла кризисная ситуация в связи с экспансией кельтов. На территорию Чехии и Подунавья проникли бои и вольки-тектосаги (вольки-"любители странствий"). Последние, выйдя из Галлии и двигаясь на восток вдоль южных границ тогдашнего германского ареала, приобрели известность под германизированным именем (герм. **Walhōz* < галльск. *Volcae*) [82, с. 43]. Экспансии кельтов сопутствовал их культурный подъем в гальштатское и позднее – в латенское время IV–III вв. до н.э. В Чехии, Моравии и Паннонии возник симбиоз местного населения с кельтами. С этого момента начался контакт славян с волохами, как назвала кельтов начальная русская летопись, отразив германскую форму. Верную мысль Шафарика о том, что волохи – это кельты [122, с. 80, 99, 103; см. еще 117, с. 13, 37], не смогло расшатать позднейшее комментаторство. Помимо культурного влияния кельтов в условиях мирного симбиоза, дело не обошлось и без военного нажима, в результате чего значительная часть славян была потеснена на север. Этот важнейший фрагмент славянской и европейской истории запомнила славянская народная традиция и отразила спустя больше тысячи лет в русской летописи. Лаврентьевская летопись. Повесть временных лет (ПСРЛ, 2-е изд. Т. 1. Л., 1926), л. 2 об. – л. 3: Волхомъ бо нашедшемъ на Словѣни на Дунаискиꙗ. [и] сѣдшемъ в ниˣ. и насилѧ-

---

[21] О находках в Северной Венгрии и на средней Тисе материальных следов культуры "скифского характера" см. [139, с. 260]; симбиоз Urnenfelderkultur и элементов скифской культуры в Паннонии, откуда – народ, "называющий себя паннонцами" (Dio Cass. XLIX, 36), в котором автор видит славян, сопротивляющихся римской оккупации I в. н.э., частично остающихся или уходящих из этого района; отсюда – стремление ушедших вновь вернуться в старую отчизну, см. [139, с. 267].

щемъ имъ. Словѣни же ѡви пришедше сѣдоша на Вислѣ. и // прозвашася Лѧхове. Ипатьевская летопись (ПСРЛ, 3-е изд. Т. II. Вып. 1, Пг., 1923), л. 4: Волохомъ бо нашедшим на Словены. на Дунаискые. и сѣдшимъ в нихъ. и насилѧющимъ имъ. Словѣни же ѡви пришедше и сѣдоша. на Вислѣ. и прозвашасѧ Лѧховѣ. – Ушли не все славяне, и летопись, далее, рассказывает, что угри (венгры), придя сюда долгое время спустя, – (Лавр. лет., л. 8 об): ... почаша воевати на жиоущаꙗ ту. Волхі. и Словѣни сѣдѧху бо ту преже Словѣни. и Волъхве. приꙗша землю Словеньску посемь же Оугри прогнаша Волъхи. и наслѣдиша землю [ту]; Ипат. лет., л. 10: ... и почаша воевати на живущаꙗ ту сѣдѧху бо ту преже Словене. и Волохове. переꙗша землю Волыньскую (вар. словенскоую).

Ко времени венгерского пришествия содержание этнонима *волохи*, конечно, могло измениться, но сводить его только к обозначению романизированного населения [141–142] было бы не совсем верно, как о том свидетельствуют возможные кельтские остатки в языке самих венгров. Так, в венгерском сохранилось старое обозначение славян, живущих в Венгрии, словом, *tót* < **tout*, первоначально '(простой) народ', ср. др.-ирл. *tūath* 'народ, племя, страна', кимр. (уэльсск.) *tūd* 'страна' (**teutā*); слово прослеживается и в иллирийской ономастике, но венграми вполне могло быть перенято у кельтов-волохов, обозначавших им местных славян. Другой возможный реликт – венг. *mén* 'жеребец', стар. *Menu-*, считаемое неясным [143]; ср. *mannus*, галльское название низкорослой лошади (в латинском), также с возможными иллирийскими связями.

Славяне, отступившие к северу, на Вислу, увлекли за собой кельтов. В Южной Польше констатируются сильные кельтские влияния, в частности, в металлургии, следы сосуществования кельтов со славянами [144], топонимия кельтского происхождения, например, название гор *Pieniny*, которое происходит, конечно, не от славянского названия *пены*, а занесено кельтами и этимологически тождественно названию гор *Pennine* в Англии от кельт. *pennos* 'голова'. Археологи связывают прямо с кельтами наблюдаемый в погребениях пшеворской культуры обычай сгибания загробных даров и прежде всего – оружия, мечей [145, 146]. Невольно при этом вспоминается лексическая группа слав. **gybnǫti*, **gybělь* 'гибнуть', 'гибель' из первоначального 'сгибать', 'сгибание'. Не ограничиваясь этим районом, кельты и кельтские влияния шли также на восток, на территорию Правобережной Украины и Северного Причерноморья. Галатов, т.е. галлов, упоминает буквально у стен Ольвии эпиграфический декрет Протогена III в. до н.э. [147]. Спицын обнаружил много предметов гальштатской культуры на Немировском городище скифского типа в Подолье, уместно вспомнив при этом, что Эфор называл кельтов соседями скифов [148]. Не удивительно поэтому наличие на Украине древних следов кельтов в географических названиях, как, например, Καρροδοῦνον (буквально 'камен-

ный город', кельт.), отождествляемое с *Каменец*-Подольском [149]. В этой связи название *Галич, Галичина, Галиция* вероятно сближать с именем галатов[22]. Присутствие определенного латенского компонента также в среднеднепровской зарубинецкой культуре [152] вызывает у исследователей предположение о ранней инфильтрации кельтов вместе со славянами и в пределы Правобережной Украины.

Кельтско-славянские языковые и этнические отношения – традиционно весьма дискуссионная проблема. Для их обсуждения явно недоставало реальной исторической базы, чем была вызвана неудача обширных построений Шахматова [153], отождествившего кельтов с венедами древних авторов и поместившего кельтско-славянские контакты у Балтийского моря. Висло-одерская теория Лер-Сплавинского тоже, скорее, противоречила его же допущению кельтско-славянских контактов, которые могли стать тесными только на более южных территориях. В результате можно сказать, что мы все еще плохо представляем себе эти отношения. Выше уже говорилось кратко, что "кентумными" элементами своего словаря славянский обязан в значительной степени кельтам, что было продемонстрировано на вероятном примере кельт. *carvos* 'олень' – праслав. **korva* 'корова'. Еще одним возможным случаем этого рода является праслав. **konь* 'конь, лошадь', до сих пор не имеющее удовлетворительной этимологии (каковой едва ли можно считать попытку объединить в одной парадигме **kom(o)nь*, **kobnь, kobyla*). Кажется более перспективным привлечь кельт. (галльск.) **kankos*/**konkos* 'лошадь', сохранившееся в остаточных формах и в антропонимах и родственное др.-исл. *Há-* 'лошадь', *hestr*, др.-в.-нем. *hengist*, нем. *Hengst* 'жеребец'[23], сюда же литов. *šankùs* 'проворный, быстрый', все вместе – из и.-е. **k̂a(n)k-* 'скакать', с носовым инфиксом. Кельт. **kanko-*/**konko-* 'скакун' было интерпретировано при заимствовании как славянский деминутив на *-к-* суффиксальное, почему первичными можно считать славянские формы **konikъ*, **konьkъ*, откуда лишь вторично, на славянской языковой почве – слав. **konь*. Кельтский мир не однажды обогащал своих соседей лошадиной терминологией, ср. уже упоминавшееся галльско-латинское название пони – *mannus* из кельт. **mandos* и, конечно, нем. *Pferd* из греческо-кельтского гибрида *paraverēdus*.

---

[22] Об обнаружении в Галиции кельтского археологического комплекса, со ссылкой на работу Л.И. Крушельницкой, см. [150]; объяснение др.-русск. *Галичь* от *галица* (Фасмер, I, с. 388) все-таки не бесспорная этимология; еще более сомнительна этимология *Галиция* < балт. **gal-* 'предел', см. [151].

[23] Отнесение к кельт. **konko-*, вслед за А. Шерером, laetum equino sanguine Concano у Горация, Carm. III, 4, 34 см. [154, с. 428]; к галльск. **kankos* 'лошадь' тот же автор относит собственные имена *Cancius, Cancilus, Cancia*, см. [154, с. 429, примеч. 1150].

ПРОБЛЕМА НЕВРОВ

Без обращения к кельтскому, видимо, не решить важнейшую проблему древней истории и этногенеза славян – проблему невров. Кто были невры? В ответах на этот вопрос царит удивительное разнообразие.

В древней этногеографии Северного Причерноморья, дошедшей до нас благодаря Геродоту, невры располагались на запад от скифов, на рубеже с агафирсами, т.е. балканским миром. Это определяло этническую идентификацию невров последующими учеными. Шафарик видел в них "виндов", т.е. славян [122, с. 125], как и в наше время – Лер-Сплавинский, Мошинский, ряд советских археологов [5, с. 13; 4, с. 98 и сл.; 155, с. 175; 156]. Кипарский и вначале Чекановский, сопоставив названия Νευροί и *ziemia Nurska* на границе Польши и Украины, сочли невров неразделившимися балтославянами эпохи до перехода дифтонга *eu* в балт. *jau* и слав. *(j)u*, причем Кипарский даже проэтимологизировал название этих балтославян как 'понурый, печальный', ср. литов. *niaurus* [157][24]. В последнее время все больше видят в неврах балтов, даже – восточных балтов [159]. А между тем после изложенного выше о кельтах и их передвижениях всего естественнее допустить кельтскую принадлежность геродотовских невров, указав на связь их названия с названием племени *Nervii* в Галлии [160; 118, с. 30], тем более, что ни у балтов, ни у славян мы не знаем этнонима, близкого имени невров. Различие форм Νευροί и *Nervii* – скорее диахронического и диалектного характера. К тому же в литературе уже указывалось, что у Аммиана Марцеллина упоминаются нервии у истоков Борисфена (Припяти?), а у Плиния в тех же местах – невры [155, с. 172, примеч. 38].

Кроме того, из античной поэзии известно весьма любопытное и показательное описание невра: te modo viderunt iterates Bactra per ortus,/te modo munito Neuricus hostis equo. Sex. Propertii. Elegiarum IV, 3, 7 – 8 (recensuit M. Schuster. Lipsiae, MCMLIV, p. 142); в русск. переводе: Видели Бактры твое многократное в них появленье. Видел и невр-супостат, в броню одевший коня... – Согласимся, что невр, восседающий на бронированном коне (munitus equus), о котором пишет "нежная Аретуза" в письме своему Ликоту на восточный фронт, – мало похож на раннего славянина, по данным, которыми располагает наука. Зато известно, что кельты латенского времени были искусными металлургами, железоделателями и кузнецами. И германцы и, затем, славяне переняли кельтское название нагрудного панциря [161, 162].

---

[24] Со ссылкой на [158, с. 124], где Чекановский о своей точке зрения 1927 г. относительно невров как недифференцированных балто-славян; с. 116: невры – предки восточных балтов, ср. также с. 123: невры – балты по языку, по мнению "большинства ученых".

Как уже было сказано выше, из Галлии в Подунавье проникают бои и вольки-тектосаги. Дальше – на Висле и в Галиции, на Волыни – вольки прямо уже не прослеживаются, выступают невры, племя под другим названием. Однако вот что рассказывает о неврах Геродот: "Скифы и эллины, живущие в Скифии, говорят, что раз в год каждый из невров превращается в волка на несколько дней и снова обратно становится тем, чем был" (Herodoti historiae IV, 105. Recognovit C. Hude. Oxonii, 1976). Можно, конечно, как это нередко и делается, находить здесь корни славянских поверий о волколаках, вурдалаках. Но вполне вероятно, что дело здесь не столько в суевериях вокруг ликантропии, сколько в ритуально поддерживаемой и обновляемой памяти этноса о своих родственных связях. Периодическое "превращение" невров в волков обращает наше внимание на тот факт, что кельтский этноним *Volcae* этимологически значил 'волки' (иные объяснения, например, к ирл. *folg* 'проворный, живой' [163], неубедительны), и это несмотря на то, что и.-е. **u̯l̥kᵘ̯os* 'волк' почти повсеместно и очень рано вытеснено в кельтских языках, очевидно, по мотивам табуизации, за вычетом слабых реликтов в антропонимии и т.д., а также несмотря на то, что собственно кельтское (древнеирландское) продолжение индоевропейского слова для волка имело бы форму **fiich-/*flech-* [154, с. 380]. Табуизация и вообще маркированность этнонимии объясняют присутствие в таких случаях как бы "перекрестных изоглосс" (термин В.И. Абаева), объясняющих построение термина "волк" и этнонима "волки" как бы не совсем по правилам своего языка (вспомним "неправильное" лат. *lupus*, вместо правильного **volcus*, **vulcus*). *Вольки-тектосаги* распространились в Подунавье неподалеку от племен даков (этимологически – тоже "волки"). У даков, как позднее и у румын, видимо, на эту почву легли представления о волках-оборотнях [164]. Не лишено интереса то, что слав. **vьlkъ* 'волк', полностью отсутствующее в антропонимии большинства славянских языков, выступает в личных именах части южных славян – у сербов, хорватов[25].

ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ И КУЛЬТУРА (СЛАВЯНЕ, КЕЛЬТЫ, ИРАНЦЫ, ИНДОАРИЙЦЫ)

Кельты к северу и к востоку от Карпат совершенно растворились среди славян. В этом конечный смысл эпизода невров, в котором не участвовали балты. Очень многое сгладилось за тысячелетия, прошедшие с тех пор, хотя несколько слов, которые породило кельтское влияние, до сих пор занимают важное место в славянском словаре. Эта лексика и это влияние, как мы отчасти рассмотрели выше, касались почти исключительно материальной культуры, не

---

[25] Ср. серб.-хорв. *Vukobrat, Vukoman, Vukomil, Vukomir, Vukosav, Vukovoj, Bjelovuk, Dobrovuk, Milovuk*, см. [130, с. 73].

затронув идеологии, и в этом – полное отличие от славяно-иранских контактов, которые, сохраняя также свою проблематичность в ряде вопросов, несомненно затронули в первую очередь идеологию, религиозную и социальную сферу жизни праславян, но не их материальную культуру. Не очень отличаясь по времени от кельтско-славянских отношений (особенно если учесть реальность даже непосредственных кельтско-скифских контактов, как бы перекрывающих славянское пространство, ср. выше свидетельство Эфора и данные археологии), славяно-иранские отношения не только фиксировались на восточной периферии славянства, где постепенно, как полагают, дело дошло до симбиоза славян и иранцев в черняховской культуре первых веков нашей эры [80, с. 100], но и проявлялись в результате глубоких проникновений иранских племен в славянский ареал, что ярким образом, хотя и косвенно, продемонстрировало существование ранних праславянских диалектов задолго до того времени, для которого о них считала возможным говорить славистика 50–60-х годов (ср. [165]). Часть древних иранизмов не вышла за пределы (части) предзападнославянских диалектов. В этом смысл феномена, который был в свое время мной описан и приблизительно обозначен как "polono-iranica" [166], когда, например, лексический (социальный) иранизм **(gъ)panъ* 'господин' охватил только часть западно-славянского (без серболужицких). Иранских влияний ожидали только с востока и на востоке, поэтому понятна реакция Кипарского, который в беседе о моих polono-iranica сказал мне: "Вы поставили все с ног на голову". Однако археологии давно известны набеги скифов в область лужицкой культуры (заходившей и на территорию современной Чехословакии), которые были вызваны, как полагают, походом персидского царя Дария на скифов в 512 г. до н.э.[26]

Славяно-иранские отношения начались, по-видимому, в основном около середины I тыс. до н.э. Они заметно коснулись славянской антропонимии, которая в это время только еще конструировалась, отделяясь от апеллятивной лексики; во всяком случае, если в славянском и существовали унаследованные древние индоевропейские двухчленные антропонимические модели, их лексическое наполнение (и грамматическая модификация) испытали в эту эпоху иранское влияние [130, с. 63, 99, 206, 218]. Характер этого влияния отражал воздействие религиозно-социальной сферы, свойственной иранцам, скифам того времени. Но до глубокого воздействия на строй и звуковой состав праславянского языка дело, по-видимому, не дошло. Славянское *x*, которое нередко рассматривают как продукт славяно-иранских контактов [168], в значительной степени случайно совпало с иранским *h*, *x*. Достаточно сказать, что в иранском

---

[26] О кладе скифских вещей начала V в. до н.э. в Феттерсфельде (Нижняя Лужица), исследованном Фуртвенглером, см. [167]; о скифских находках в области лужицкой культуры, даже в Чехии и Моравии, см. [5, с. 112].

это результат **абсолютного** перехода старого *s* (аспирация), в славянском – **позиционно обусловленный** процесс, объяснимый только условиями славянского языкового развития, которое привело к возникновению новых согласных, причем отчасти – в условиях сходных (стадия аффрикаты): *ks* > *x*; (и.-е. *k̂* >) *ts* > *s*. Тенденция к постепенному повышению звучности, впоследствии так ярко выразившаяся в гласном облике славянской речи, задолго до того проявила себя в праславянских консонантных инновациях (здесь – дезаффрикация).

Правобережная Украина по крайней мере в I тыс. до н.э. уже была частью (периферией) праславянского лингвоэтнического пространства. Поскольку сейчас сложность древней этногеографии Скифии вырисовывается все более настойчиво и мы приходим к констатации реального сохранения на части (частях) ее территории, наряду с иранским (скифским), индоарийского (праиндийского) ее компонента или его реликтов, встает уместный вопрос о реальности также славяно-индоарийских контактов приблизительно в скифское время [169, 170]. Это констатация, опирающаяся на систематизированные аргументы и факты, при всех спорах, которые она породила и еще может породить, способна продвинуть науку вперед в этом вопросе, проливая новый свет на известные факты и выявляя новые. Достаточно назвать славянский теоним **Svarogъ* и его выразительно древнеиндийское соответствие (источник) *svarga-* 'небо'[27]. Отмечается, таким образом, индоарийский вклад в праславянскую теонимию, что само по себе характеризует уровень этих контактов, отчасти напоминающих славянско-иранские; далее, отмечается такой индоарийский компонент в составе ранней славянской этнонимии, как название народа **sьrbi, сербы* [172], его возможное вхождение (при сколько угодно крутой смене этнического состава самих носителей) в праславянский ареал со стороны Побужья (геродотовская Старая Скифия с ее индоарийскими, "староарийскими" связями). Иную крутую траекторию проделал славянский этноним **xъrvati, хорваты* – от иранского (сарматского) Приазовья до Адриатики, от иранского антропонима – до славянского этнонима. Основной корпус остальных славянских этнонимов своими структурными особенностями (*-n-*, *-t-*суффиксация) тяготеет к иллирийской и фракийской этнонимии, возвращая нас, таким образом, в Подунавье [173].

В славяно-иранских (и славяно-индоарийских?) отношениях был возможен момент симбиоза. Иначе складывались пограничные кон-

---

[27] М. Энриетти отводит обычно принимаемую версию об иранизме **Svarogъ* (ожидалось бы начальное *h-*, *x-*) и говорит о возможности прямого заимствования в славянский из индоарийского в Северном Причерноморье, ср. др.-инд. *svarga-* 'небо'; при этом он опирается на мою теорию об индоарийском лингвоэтническом компоненте Скифии, давая довольно полный и объективный обзор моих работ на эту тему, см. [171, с. 75]. Сближение **Svarogъ* – *svarga-* в духе заимствования из индоарийского в Северном Причерноморье уже давно у меня в статье в журнале Ponto-Baltica (1981. N 1. P. 127).

такты балтов, обосновавшихся в Верхнем Поднепровье, и иранцев, – контакты, лингвистически и археологически вполне реальные [64][28] как финал относительно поздней экспансии балтов в юго-восточном направлении, но в чем-то отличные, скажем, от славяно-иранских (схождения в лексике материальной культуры, высокая сфера не затронута).

На этом можно закончить предварительный обзор некоторых аспектов древних и древнейших языковых и этнических отношений праславян, с установкой на максимальную конкретность и выяснение отдельных узловых моментов, например, балто-славянских отношений и некоторых других, от которых подчас зависело решение всего комплекса вопросов. О решении всех вопросов говорить, естественно, не приходится, но можно сказать, что проблему собственного индоевропейского прошлого славян мы ставим более уверенно.

Хотя праславянские индоевропейцы видятся нам прежде всего как носители языка, и мы, лингвисты, выявив древнюю языковую ситуацию, можем считать свою задачу выполненной, было бы крайне неутешительно остановиться только на этом, когда так велик соблазн пойти дальше. Конечно, идти в глубь веков целесообразно, на каждом шагу отдавая себе отчет в достижимости реконструкции, возможностях метода (или методов). Эти возможности велики, ответим мы охотникам их преуменьшать, но пока не беспредельны. В общем я согласен с мнением, что "для палеолита и мезолита... нет оснований допускать образования языковых общностей, следы которых дожили до исторических времен" [113, с. 16].

Спорность определенного (значительного) числа этимологий – не повод для скепсиса или иронического неверия, но лишь обычная ситуация для наук объясняющих (не описательных). А для нас это сигнал, что надо упорно искать дальше. Конечно, в случаях диаметрально противоположных выводов прав скорее всего кто-то один, например, и.-е. *g^{u}er-n- 'жернов' – классический пример исконной лексики ввиду комплектности аблаута и полной мотивированности (Дресслер [176]) или и.-е. *g^{u}er-n- менее мотивировано, чем его предполагаемое соответствие в семитском и потому заимствовано оттуда (Гамкрелидзе – Иванов [103, с. 13])? Этимология апеллативной лексики и ономастики может очень многое и уже сделала многое, поэтому мы должны быть внимательнее и бережливей к традиции, чем это имеет место. Например, в современной индоевропеистской литературе мы едва ли встретим указание, что славянский сохранил следы и.-е. **ak̑u̯a* 'вода' или **ek̑u̯os*, *-ā* 'лошадь', а между тем еще Розвадовский довольно убедительно показал наличие слав. **osva* 'вода', а также вероятность связи **ek̑u̯os* и **ak̑u̯ā*, причем и то и дру-

---

[28] Против теории балто-иранских контактов – [175, с. 73 и сл.] (мнение автора о том, что археологи до сих пор не нашли в Посемье следов скифов, устарело, ср. работы В.В. Седова).

гое – к и.-е. *ōk̂u- 'быстрый'; эти следы были выявлены в гидронимах *Осва, Освица* на балтийской периферии от Припяти до Западной Двины, но ничто не мешает принять славянский характер **osva* из и.-е. **ak̂u̯ā*, поскольку древний балтийский рефлекс и.-е. *k̂* был шипящим [177][29]. Не требует особых доказательств, что название реки *Ока* [178] сюда не относится.

В случае с некоторыми другими словами традиция, наоборот, упорно держится неверного пути или ищет неверный выход из тупиковой ситуации, как например с этимологией слав. **korabjь* 'преимущественно морское судно' – из греч. καράβιον [179], из семитских [180]. Единственно вероятное здесь – предположить развитие ложного полногласия **kor-a-bjь* <- **korb-i̯o* – 'корзиночный', ср. лат. *corbita* 'грузовое судно' < *corbis* 'корзина'. Относительно названного фонетического и словообразовательного явления могут быть приведены такие примеры, как серб.-хорв. *корак* 'шаг': *крак* 'нога', польск. *kołatać*: *kłócić* и др., предполагающие еще и праславянский возраст явления – до метатезы плавных. Это – из области отношений праславян к воде, морю. На суше жили праславяне в селениях нередко круглой формы, о чем наряду с археологией [181] свидетельствует этимология **obьtjь* из первоначального "круглый" [182].

НАЧАЛЬНЫЕ ГОРОДА СЛАВЯН (КИЕВ)

Актуален вопрос о городах у славян. Точка зрения, согласно которой лишь с X в. у них стабилизируется оседлый образ жизни, а с ним и топонимы, обозначающие города [183], устарела. Сейчас наличие славянских городов, вернее – укрепленных городищ, предполагается уже в VI в. [184], в науке активно разрабатывается понятие зародышей городов ("предгорода"), "протогородских" поселений, ранних городов у славян [185, 186]. Весьма перспективными представляются проблема "начальных городов" у славян, понятие "полицентрического типа" этих городов. Ситуация "полицентрического типа", конечно, возникала при образовании старых крупных центров – например, Киева. Это объясняет – на первый взгляд, странные – показания древней ономастики, когда вначале до нас доходят (довольно смутные) сведения как будто о нескольких названиях древнего города, по крайней мере двух (**Kyjevъ* – **sǫvodъ*), потом второе рано исчезает и остается единое – *Киев*. Объяснение может быть одно: первоначально это были обозначения топографически разных мест, **Kyjevъ* – городище Кия, а **sǫvodъ* – Σαμβατάς Константина Багрянородного – местности близ слияния Десны с Днепром (ср. там гидроним *Сувид*). Слившись, они (а, вероятно, еще и другие с ними) образовали единый город, один из ранних городов славян, проблема названия которого будет нас занимать также в дальнейшем.

---

[29] Розвадовский вскрывает следы др.-инд. **aśvā*, иран. **aspā* 'вода'.

95. *Krahe H.* Unsere ältesten Flussnamen. Wiesbaden, 1964. S. 33.
96. *Udolph J.* Alteuropa an der Weichselmundung // Beiträge zur Namenforschung. 1980. 15. S. 97.
97. *Udolph J.* Ex oriente lux. Zu einigen germanischen Flußnamen // Beiträge zur Namenforschung. 1981. 16. S. 105.
98. Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв'язках / Відп. ред. Стрижак О.С. Київ, 1981. С. 32.
99. *Gimbutas M.* The first wave of Eurasian steppe pastoralists into Copper Age Europe // The Journal of Indo-European studies. 1977. 5. P. 277 и сл.
100. *Мерперт Н.Я.* Древнеямная культурно-историческая область и вопросы формирования культур шнуровой керамики // Восточная Европа в эпоху камня и бронзы. М., 1976. С. 121–122.
101. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* Проблема определения первоначальной территории обитания и путей миграции носителей диалектов общеиндоевропейского языка // Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков: Предварительные материалы. М., 1972. С. 19 и сл.
102. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* Древняя Передняя Азия и индоевропейские миграции // Народы Азии и Африки. 1980. № 1. С. 64 и сл.
103. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* Древняя Передняя Азия и индоевропейская проблема. Временные и ареальные характеристики общеиндоевропейского языка по лингвистическим и культурноисторическим данным // ВДИ. 1980. № 3. С. 3 и сл.
104. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* Миграция племен – носителей индоевропейских диалектов – с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии // ВДИ. 1981. № 2. С. 11 и сл. См. также наиболее подробное изложение в: *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I–II. Тбилиси, 1984.
105. *Rosenkranz B.* Fluß- und Gewässernamen in Anatolien // Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge. 1966. Bd. 1. S. 124 и сл., с библиографией.
106. *Tovar A.* Krahes alteuropäische Hydronymie und die westindogermanischen Sprachen. Heidelberg, 1977.
107. *Schmid W.P.* – IF, 1977. 82. S. 314 и сл. – Rec.: *Tovar A.* Krahes alteuropäische Hydronymie und die westindogermanischen Sprachen. Heidelberg, 1977.
108. *Udolph J.* – Kratylos, XXII. S. 123 и сл. – Rec.: *Tovar A.* Krahes alteuropäische Hydronymie und die westindogermanischen Sprachen. Heidelberg, 1977.
109. *Kuhn H.* Das letzte Indogermanisch (= Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jahrg. 1978, Nr. 4). Mainz; Wiesbaden, 1978. S. 22, 26.
110. *Kóčka W.* Zagadnienie etnogenezy ludów Europy. Wrocław, 1958. S. 100.
111. *Кузьмина Е.Е.* О балканском или центральноазиатском пути миграции индоевропейских народов // Античная балканистика. Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Предварительные материалы: Тезисы докладов. М., 1980. С. 35.

112. *Bökönyi S.* The earliest waves of domestic horses in East Europe // The Journal of Indo-European studies. 1978. 6. P. 17 и сл.
113. *Горнунг Б.В.* К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности (Протоиндоевропейские компоненты или иноязычные субстраты?). М., 1964. С. 19 (с литературой).
114. *Scherer A.* Das Problem der indogermanischen Urheimat vom Standpunkt der Sprachwissenschaft // Die Urheimat der Indogermanen. Darmstadt, 1968. S. 301.
115. *Neckel G.* Die Frage nach der Urneimat der Indogermanen // Die Urheimat der Indogermanen. Darmstadt, 1968. S. 160–161.
116. Slovenská archeológia. Ročn. XXIX. C. 1. (Bratislava). 1981. S. 28, 33, 34; 105 и сл., 177 и сл.
117. *Толстов С.П.* "Нарцы" и "волхи" на Дунае (Из историко-этнографических комментариев к Нестору) // Советская этнография. 1948. № 2. С. 8 и сл.
118. *Кобычев В.П.* В поисках прародины славян. М., 1973.
119. *Алексеева Т.И.* Этногенез восточных славян по данным антропологии. М., 1973.
120. *Rysiewicz Z.* O praojczyźnie Słowian // Rysiewicz Z. Studia językoznawcze. Wrocław, 1956. S. 81.
121. *Eichler E.* Die slawische Landnahme im Elbe/Saale- und Oder-Raum und ihre Widerspiegelung in den Siedlungs- und Landschaftsnamen // Onomastica Slavogermanica. 1976. X. S. 70.
122. *Шафарик П.И.* Славянские древности. Т. I. Кн. II. М., 1837.
123. *Eichler E.* Beziehungen zwischen Sudslawisch und Westslawisch im Lichte der Toponomastik // Македонски jазик, 1974. XXV. S. 87 и сл.
124. *Eichler E.* Westslawisch-südslawische Beziehungen im Lichte der Toponomastik // Onomastica Jugoslavica. 1976. 6. S. 71 и сл.
125. *Herrmann J.* Probleme der Herausbildung der archäologischen Kulturen slawischer Stämme des 6. – 9. Jh. // Rapports du III-e Congrès International d'archéologie slave. Bratislava. 7–14.IX.1975. Bratislava, 1979. S. 53.
126. *Куркина Л.В.* Некоторые вопросы формирования южных славян в связи с паннонской теорией Е. Копитара // ВЯ. 1981. № 3. С. 85 и сл.
127. Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956. С. 56.
128. *Шафарик П.И.* Славянские древности. Т. I. Кн. 1. С. 77, 79.
129. *Шафарик П.И.* Славянские древности. Т. II. Кн. 1. М., 1848. С. 73.
130. *Milewski T.* Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław etc., 1969. S.216.
131. *Гавлик Л.* Моравская народность в эпоху раннего феодализма // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976. С. 170.
132. *Stanislav J.* Slovenský juh v stredoveku. I. diel. Turčiansky sv. Martin, 1948, passim.
133. *Georgiev V.* Theiss, Temes, Maros, Szamos (Herkunft und Bildung) // Beiträge zur Namenforschung. 1961. XII. N 1.
134. *Kiss L.* Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1978, 408 old.
135. *Moór E.* Die slawischen Ortsnamen der Theissebene // Zeitschrift fur Ortsnamenforschung. 1930. VI. N 2. S. 131.
136. *Georgiev V.* Sur l'ethnogenèse des peuples balkaniques: le dace, l'albanais et le roumain // Studie clasice, 1961. III. P. 24.
137. *Brugmann K.* Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1904. S. 316.

138. *Будимир М.* Protoslavica // Славянская филология. II. IV Международный съезд славистов. М., 1958. С. 134.
139. *Trbuhović V.* Južne kulture i narodi prema lužičkoj kulturi, Praslovenima i Slovenima // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 14–18. IX. 1965. Wrocław etc., 1968.
140. *Седов В.В.* Ранний период славянского этногенеза // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976. С. 106–107.
141. *Королюк В.Д.* Волохи и славяне "Повести временных лет" // Сов. славяновед. 1971. № 4. С. 41 и сл.
142. *Королюк В.Д.* К вопросу о месте известий о волохах в "Повести временных лет" // Сов. славяновед. 1972. № 1. С. 76 и сл.
143. A magyar nyelv történeti-etymológiai szótár. II. k. Budapest, 1970, 887 old.
144. *Филип Я.* Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага, 1961. С. 115.
145. *Kostrzewski J.* Celtyckie elementy w kulturze słowiańskiej // Słownik starożytności słowiańskiej. T. 1. S. 228.
146. *Третьяков П.Н.* Восточнославянские племена. 2-е изд. М., 1953. С. 132–134.
147. *Latyschev B.* Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini. V. I. Petropoli, MDCCCLXXXV. P. 38. (N 16), 39–40.
148. *Спицын А.* Скифы и Гальштатт // Сборник археологических статей, поднесенный Д.А. Бобринскому. СПб., 1911. С. 160–161, 164, 166.
149. *Vasmer M.* Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde // Hrsg. von Bräuer H. Bd. II. Berlin, 1971. S. 565–566.
150. *Мачинский А.Д.* Кельты на землях к востоку от Карпат // Кельты и кельтские языки. М., 1974. С. 35, 36.
151. *Иванов В.В., Топоров В.Н.* О древних славянских этнонимах // Славянские древности. Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980. С. 43–44.
152. *Максимов Е.В.* Зарубинецкая культура // Проблемы этногенеза славян. Киев. С. 55 (с литературой).
153. *Schachmalov A.* Zu den ältesten slavisch-keltischen Beziehungen // AfslPh, 1911. XXXIII. S. 51 и сл.
154. *Birkhan H.* Germanen und Kelten bis zum Ausgang der Römerzeit. Wien, 1970.
155. *Мельниковская О.Н.* Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. М., 1967.
156. *Рыбаков Б.А.* Геродотова Скифия. М., 1979. С. 146, 189.
157. *Кипарский В.* – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. Проблемы славянского языкознания. М., 1962. С. 488.
158. *Czekanowski J.* Wstęp do historii Słowian. Wyd. 2. Poznań, 1957.
159. *Седов В.В.* Славяне верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970. С. 36.
160. *Менгес К.Г.* Восточные элементы в Слове о полку Игореве. Гл. 1. Очерк ранней истории славян. Л., 1979. С. 30.
161. *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Aufl. Bearb. von Mitzka W. Berlin, 1975.
162. ЭССЯ. Вып. 3. С. 55.
163. *Holder A.* Alt-celtischer Sprachschatz. Bd. III. Graz, 1962. Sp. 436.
164. *Свешникова Т.Н.* Волки-оборотни у румын // Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979. С. 208 и сл.

165. *Бернштейн С.Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. С. 68.
166. *Трубачев О.Н.* Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология. 1965. М., 1967. С. 78 и сл.
167. *Minns E.H.* Scythians and Greeks. Cambridge, 1913. P. 150, 236, 237.
168. *Gołąb Z.* The initial *x-* in Common Slavic: a contribution to prehistorical Slavic-Iranian contacts // American contributions to the Seventh International congress of slavists. Warsaw. Aug. 21–27. 1973. V. 1. P. 129 и сл.
169. *Трубачев О.Н.* Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье // ВЯ. 1977. № 6. С. 24 и сл.
170. *Трубачев О.Н.* "Старая Скифия" ('Αρχαίη Σκυθίη) Геродота (IV, 99) и славяне. Лингвистический аспект // ВЯ. 1979. № 4. С. 41–42.
171. *Enrietti M.* Slavo *Svarogŭ* // Studi in onore di Ettore Lo Gatto (отд. отт.).
172. *Трубачев О.Н.* Некоторые данные об индоарийском языковом субстрате Северного Кавказа в античное время // ВДИ. 1978. № 4. С. 41–42.
173. *Трубачев О.Н.* Ранние славянские этнонимы – свидетели миграции славян // ВЯ. 1974. № 6. С. 59.
174. *Абаев В.И.* Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада. М., 1965. С. 134.
175. *Arumaa P.* Baltes et Iraniens // Studi linguistici in onore di V. Pisani. Brescia, s.a.
176. *Dressler W.* Methodische Vorfragen bei der Bestimmung der "Urheimat" // Die Sprache. 1965. Bd. XI. S. 43–44.
177. *Rozwadowski J.* Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kraków, 1948. S. 176 и сл.
178. *Фасмер* III. С. 127.
179. *Фасмер* II. С. 321.
180. *Hyrkkänen J.* und *Salonen E.* Über die Herkunft des slawischen **korabjь*, griechischen *karabos/karabion* (отд. отт.)
181. *Рыбаков Б.А.* Новая концепция предыстории Киевской Руси (тезисы) // История СССР. 1981. № 1. С. 60.
182. *Трубачев О.Н.* История славянских терминов родства. М., 1959. С. 168.
183. *Шмилауэр В.* – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. Проблемы славянского языкознания. М., 1962. С. 483.
184. *Королюк В.Д.* "Вместо городов у них болота и леса..." (К вопросу об уровне славянской культуры в V–VI вв.) // Вопросы истории. 1973. № 12. С. 198.
185. *Котляр Н.Ф.* К вопросу о генезисе восточнославянских городов (на материалах Галичины и Волыни) // Славянские древности. Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980. С. 132.
186. *Седов В.В.* Конгресс по славянской археологии // Вестник АН СССР. 1981. № 5. С. 98, 101.

ГЛАВА 3

Нет ничего удивительного в том, что исследование особо сложной проблемы этногенеза славян в наше время синтеза наук протекает в духе острой дискуссии и пересмотра очень многого из того, что сделано предшественниками. Тем выше наша благодарность классикам славяноведения – именно тем из них, с которыми пришлось коренным образом разойтись по основным положениям, потому что, перечитывая их труды, мы встречаем мысли, покоряющие нас глубиной и верностью видения именно в современных аспектах науки: "... не существует народа, происхождение и генезис которого удалось бы в достаточной степени выяснить на основании непосредственно сохранившихся исторических источников" [1, с. 5]. "... Этнографические факты констатируют, что уже в "первобытных" условиях жизни и даже при очень редкой заселенности взаимное перекрещивание культурных влияний было очень сильным либо благодаря интенсивному обмену культурными ценностями посредством примитивной, но порой удивительно интенсивной меновой торговли, либо благодаря постоянным войнам, приводившим к обмену женщинами..." [2, с. 13].

Этими высказываниями польских зачинателей науки об этногенезе славян я хотел бы продолжить свое рассмотрение проблемы, начатое в предыдущих главах (см. также [3, 4]). Прошли годы с начала первых моих публикаций на эту тему, которые принесли новую литературу и новую пищу для размышлений. Думаю, будет естественно, если в нижеследующем изложении я попытаюсь отразить некоторый первоначальный дискуссионный обмен мнениями, в частности – на "круглом столе" по этногенезу славян, времен IX Международного съезда славистов в Киеве (сентябрь 1983 г.) и даже – наиболее интересные места из тогдашней переписки с друзьями. Итак, мы уже обращали внимание на бесспорное древнее знакомство славян с (Средним) Дунаем, на методологическую уязвимость традиционных разысканий о прародине славян, под которой в них неоправданно понималось первоначально ограниченное стабильное пространство, будто бы обязательно свободное от других этносов и первоначально бездиалектное; самоограничение исследователей внутренней реконструкцией приводило к воссозданию "непротиворечивой" модели праязыка, по-видимому, весьма отдаленной от реального, некогда живого праславянского языка с внутренним диалектным членением и собственными индоевропейскими истоками, что весьма затемнялось разнообразными балто-славянскими теориями, в том числе той из них, по которой праславянская языковая модель производна от балтийской. Широкое понимание сложного пути праславянского не совместимо, как мы думаем, с этой концепцией, и, кажется, только такое понимание обеспечивает адекватное рассмот-

рение динамичных, самобытных судеб древних носителей славянских, балтийских, а также других индоевропейских диалектов, что и было изложено нами кратко, но на конкретных данных этимологии, изоглосс (балто-фракийских, славяно-италийских, славяно-иллирийских, славяно-кельтских, лигурийско-балтийских, славяно-балтийских). В проблему праславянского ареала и лингвоэтногенеза нами намеренно был включен вопрос о праиндоевропейском ареале с характерной для последнего древней гидронимией. Речь шла о Центральной Европе и бассейне Среднего Дуная и в одном, и в другом случае. Размытые границы и сильные ранние иррадиации в сторону периферий признавались нами как характерные особенности древнего языкового и этнического ареала славян в Европе.

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ИСТОКИ ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА И ЭТНОГЕНЕЗА

В настоящей главе из всего этого комплекса достаточно актуальных вопросов я намерен выделить наиболее общий и актуальный. Таким является (в чем, я думаю, со мной согласятся) вопрос об **индоевропейских истоках праславянского языка и славянского этногенеза**. Речь идет, таким образом, об истории языка и – через его посредство – об истории носителей языка. Известно, что применительно к дальним эпохам в этом вопросе основная "тяжесть доказательства" возлагается на языкознание; это признается не только лингвистами и, между прочим, не только относительно дальних эпох, так, например, замеченная диспропорция между реконструируемой развитой праславянской терминологией (и, без сомнения, стоявшей за ней сложной социальной организацией и культурой) и примитивными представлениями письменной истории времен конца античности и раннего средневековья заставляет также современных историков решительно отдать предпочтение косвенным (реконструированным) данным языкознания перед прямыми, но скудными или даже превратными, пристрастными данными из исторических источников [5].

СВИДЕТЕЛЬСТВА АРХЕОЛОГИИ

Такая глубинно историческая дисциплина, как археология, тоже далеко не всегда дает однозначные ответы. Ср. тот факт, что общей, единой индоевропейской археологической культуры не существовало [6; 7, с. 87]. По мнению ряда археологов, не существует, оказывается, и единой достоверно славянской материальной культуры, которая была бы древнее VI в. н.э., когда появляются памятники так называемого пражского типа [8; 9]. Пессимистично заключение археологии относительно непрерывной культурной преемственности, вернее – ее отсутствия в Карпатско-Дунайской котловине, посколь-

ку, оказывается, уже для VIII–IX вв. не могут назвать в этой области ни одной культуры, которая бы уходила корнями в римскую эпоху [10]. Есть и противоречивые суждения, исходящие, к тому же, от авторитетов. Так, сторонников теории балто-славянского единства (которых, правда, сейчас осталось не так много) должно огорчать заявление такого археолога, как Костшевский, что "с археологической точки зрения нахождение такой культуры, которая могла бы представлять еще не разделенных предков балтов и славян, до сих пор невозможно, и, если бы достаточно было опереться только на исторические данные, то нужно бы было признать, что настоящей эпохи балто-славянской языковой общности никогда не существовало" [цит. по 11]. Впрочем, приверженцев этой теории может утешить противоположное мнение другого археолога – В. Хенселя, который выступил на I Международном съезде по славянской археологии с докладом "Балто-славянская культурная археологическая общность", где он прямо утверждает, что "археологические источники не противоречат возможности балто-славянской общности", и даже датирует эту общность временем с 1800 по 1200 гг. до н.э., видя в ней часть ареала шнуровой керамики [12].

Очевидно, не следует спешить с общими выводами на базе археологических свидетельств, во всяком случае не стоит толковать их прямолинейно, и это пожелание мы просили бы расценивать как проявление нашей оппозиции против всякой прямолинейности в целом (ср. об этом также ниже). Археология добилась огромных успехов, и несправедливо говорить, что ее материалы немы; напротив, они слишком многозначны. Обычно говорят, что археология превосходит лингвистику точностью датировок, но это верно далеко не всегда, и сами археологи признают, что основой их датирования все-таки служит не столько стратиграфия (залегание объекта в определенных слоях, куда он мог попасть в принципе и случайно), а типология формы и материала, т.е. **та же относительная хронология, что и в лингвистике**. Абсолютно точных дат ждут от радиоуглеродного анализа, но и их абсолютность также признается нередко спорной. Наконец, знамением современной науки является и то, что в археологии тоже практически заговорили о "диалектологии" в смысле неоднородности древних культур, и как раз в этом последнем пункте сказывается наиболее плодотворно обмен идеями между современным языкознанием и современной археологией.

"КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПРАСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК?"

Именно поэтому, например, вопрос "когда появился праславянский язык?" следует признать некорректным, на него никогда не сможет точно и однозначно ответить наша наука, как бы ни утончались ее методы (неслучайно, что и на киевском съезде славистов – в докладе В.К. Журавлева – вновь говорилось о нелингвистическом

характере абсолютной хронологии, а прогресс лингвистических знаний связывался с относительной хронологией как отражающей внутренние взаимосвязи). Не буду говорить об этом подробно, но всякие утверждения об обособлении праславянского с точностью до века или до года (например, с 500 г. до н.э.), с моей точки зрения, представляются беспредметными. Подобной "точности" ответа, в сущности – мнимой, не надо требовать от нашей науки. Ссылки на опыт археологов в указанном выше смысле тоже не вполне правомерны. Археологи, как уже сказано, сами оперируют **типологической** классификацией и хронологией, а их обсолютная хронология производна от типологии. Правда, когда я высказал это мнение на уже упоминавшемся "круглом столе" по этногенезу славян (Киев, 12 сент. 1983 г.), выступивший затем археолог В.В. Седов возразил, что археологические датировки достигают большой степени точности и бесспорности; для примера он сослался на абсолютные датировки зарубинецкой культуры, и все же думается, что значительное количество археологических датировок, подаваемых как абсолютные, сохраняет спорность. Попутно замечу, что не обоснованы упования на лексикостатистику Сводеша и его продолжателей, оперирующую куцым списком из 200 или 100 основных слов и совершенно не доказанным тезисом о **равномерности** их убывания во всех языках, на чем построены вычисления лексикостатистикой дат "распада" праязыков. Языки и их лексика развиваются неравномерно, в этом их самобытность и прелесть. И все же жадный интерес – особенно молодых – читателей и слушателей (как на том, IX, съезде), которые уверены, что "начало праславянского языка будет найдено", вынуждает нас возвращаться к рассмотрению вопроса, "когда появился праславянский язык?"

С другой стороны, я заметил, что всякое принципиальное углубление славянской языковой хронологии, акцентирование индоевропейских истоков праславянского конфузит и опытных, и молодых лингвистов, привыкших думать иначе. К сожалению, умами многих исследователей еще владеет психология привычки поздно датировать все собственно славянское в языке и культуре. Этой психологии отдавали дань и некоторые участники киевского съезда славистов. Например, словацкие археологи Б. Хроповский и П. Шальковский явно не сочувствуют попыткам "искать славян в глубокой древности" [13]. Для югославского лингвиста Д. Брозовича праславянский "моложе других праязыков" [14]. В дискуссионном выступлении В.Н. Чекмана был выдвинут тезис о праславянском как новом, недавно родившемся языке; в письменном сообщении Г. Лиминга (Великобритания) "Некоторые проблемы сравнительной славянской лексикологии" праславянский тоже фигурирует "не как прямой наследник (индоевропейского. – *О.Т.*), а как совершенно новое целое" [15].

Ф. Копечный, ознакомившись с моим "Языкознанием и этногенезом славян" [3, 4], написал мне тогда же, вскоре, три письма; я по-

зволю себе процитировать отдельные места из его письма от 10 июля 1983 г. Он называет это чтение волнующим, однако делится со мной своими несогласиями: “Вряд ли можно говорить в III тысячелетии до н.э. или даже раньше о славянах, германцах, балтах и т.п.; но я знаю, что Вы под этими названиями понимаете их предков. Для меня славяне и праславянский начинается монофтонгизацией дифтонгов, т.е. – скажем – началом VII ст. н.э.” Ясно, что мы с покойным Францем Францевичем видели по-разному некоторые вещи, причем устами Ф. Копечного говорит лингвист starej daty, как сказали бы поляки. Я вообще не считаю возможным ставить вопрос о появлении славянского в зависимость от такой фонетической особенности, как монофтонгизация, хотя сам тоже занимаюсь реконструкцией праславянского языка эпохи проведенной монофтонгизации дифтонгов в нашем Этимологическом словаре славянских языков. Однако для меня это лишь удобная форма, наиболее близкая к ранней письменной фиксации, но не точка отсчета. Иначе, рассуждая логично, мы, пожалуй, должны будем снова перестать называть чешский язык славянским с того момента, как в нем “опять” дифтонгизировались монофтонги в определенных условиях. Этот пример показывает нам относительность якобы строгих фонетических критериев, помогает понять, что методика, преувеличенно опирающаяся на эти критерии, может оказаться недостаточно тонкой в вопросах лингво- и этногенеза, для которых требуются более широкие и гибкие категории и допущения (последнее касается в немалой степени и терминологического содержания этнонимов, традиционно употребляемых в этногенетических исследованиях). Когда я огласил в устном докладе на съезде славистов в Киеве слова Ф. Копечного и свои мысли по этому поводу, то во время обсуждения мне возразили, что Ф. Копечный “наверное, так не думал”, впрочем, едва ли я понял Ф. Копечного менее точно, чем выступавший дискутант (Г.А. Хабургаев), который в своем выступлении явно преувеличил возможности “стадиальной” концепции вхождения разных этнических компонентов, прежде якобы не бывших, а затем ставших праславянами.

Имеет место определенная недооценка также славянской культурной хронологии. Возвращаясь к киевскому съезду славистов, приведу еще один пример. Ш. Ондруш (ЧССР), выступая на обсуждении докладов, говорил о большом славянском влиянии на балтов в терминологии торговли, ср. литов. *tur̃gus* ‘базар’ < слав. **tъrgъ*. В ответ на это Вяч.В. Иванов счел возможным высказать сомнения в существовании торговли в праславянскую эпоху вообще. Неверие в возможность древнего обмена, конечно, неоправданно и противоречит данным истории древней культуры, о которых на этот счет хорошо сказано в нашей вводной цитате (в начале главы) из крупнейшего славянского этнолога К. Мошинского [2, с. 13].

Углубляя, удревняя внешнюю и внутреннюю историю праславянского, мы пересматриваем разные аспекты славянско-неславян-

ских отношений, понимаем необходимость разрабатывать их стратиграфию. При этом не все отношения оказываются релевантными в плане этногенеза славян. Так, мы говорим в этом плане положительно о славянско-италийских отношениях (см. о них кратко в предыдущих главах), тогда как, скажем, славянско-восточнороманские отношения можно обозначить как постэтногенетические. Определить в этих терминах балто-славянские отношения, т.е. решить, релевантны ли они для славянского этногенеза или, скорее, постэтногенетичны или, возможно, параэтногенетичны (в смысле независимого параллельного развития языков и этносов) – в этом суть балто-славянской проблемы, одной из центральных по-прежнему для славистики вообще. Теорию балто-славянского единства, как известно, продолжает отстаивать Ф. Славский. Однако эта теория явно не выдерживает напора фактов, говорящих скорее о самобытности славянского языкового развития. В дискуссиях, в частности – на IX Международном съезде славистов со всей серьезностью указывалось, что палатализация согласных, столь характерная для славянского, протекает в балтийском иначе или отсутствует там совсем (З. Зинкявичюс), эволюция долгих гласных осуществлялась в балтийском и славянском в противоположных направлениях (Э. Станкевич, США). Как я уже говорил в другом месте, несходным путем шла в них сатемизация индоевропейских палатальных согласных. А. Ванагас показал, что со стороны гидронимического анализа нет оснований для сохранения положения о балто-славянском языковом единстве [16].

Из числа сторонников известной теории развития славянского из балтийских диалектов упомяну В. Мажюлиса, который в выступлении на киевском "круглом столе" сказал, что "праславянский резко повернул по небалтийскому эволюционному пути", но сама идея "поворота" и имплицируемая ею предшествующая эволюция будто бы по балтийскому пути представляются нам недоказанными. В связи с этим можно упомянуть обмен мнениями между В.В. Мартыновым и Ю.В. Откупщиковым, причем последний высказался по поводу теории ингредиентов (праславянский = протобалтийский + италийский) у В.В. Мартынова [17], констатируя большое количество славянско-индоевропейских изоглосс, не известных балтийскому и заставляющих признать праславянский самобытным индоевропейским языком [18].

Что касается киевского съезда славистов в целом, он продемонстрировал взлет (В. Хенсель, выступление на "круглом столе" по этногенезу: "renesans") научных интересов к вопросам о времени и месте формирования славянского языка и этноса и дал новые перспективы взаимообогащения и **сближения** традиционно разных концепций. Например, В.В. Мартынов в своих устных выступлениях отметил актуальность нынешних поисков южных границ праславянского ареала, допуская их паннонскую (придунайскую) локализацию, в ча-

стности – славяно-кельтские контакты именно на этой территории. Это не мешало, правда, другим ученым остаться при привычных убеждениях (В. Маньчак: "...мне трудно поверить в придунайскую прародину славян..."). Споры касались всего комплекса вопросов древней истории славянского. Мои собственные поиски, в частности – в дифференцированных индоарийском и иранском аспектах, получили интересную поддержку (если опять-таки отнестись при этом cum grano salis к абсолютной хронологии), как мне кажется, в выступлении антрополога В.Д. Дяченко на круглом столе по этногенезу: отмечу здесь выделяемый им иллиро-фракийский и индоиранский период I тыс. до н.э. – середины I тыс. н.э. с вхождением в состав древних славян балкано-центральноевропейского комплекса (карпатский и понтийский антропологические типы), а также степных – древнеиндийского (индо-днепровского длинноголового мезогнатного типа) и перекрывшего его иранского компонента.

Картина сегодняшних балто-славянских контроверз останется неполной, если не упомянуть еще более острый обмен – пятью годами позже – между Э. Станкевичем и группой московских акцентологов, которым американский славист противопоставил развернутую критику теории Хр. Станга и некоторых из его московских последователей, в частности – таких их крайних идей, как отношения славянской и балтийской акцентуации как **младшего** варианта к **старшему**, далее – отрицание (Стангом и др.) действия закона Фортунатова–де Соссюра в славянском, если говорить только о наиболее существенном. Лично мне как исследователю глубоко импонирует главная идея Станкевича о разных путях развития литовской и славянской акцентуации*.

МИФЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

Однако для того, чтобы полнее использовать свои преимущества в деле исторической и этнической реконструкции, языкознанию необходимо еще много работать над совершенствованием своих методов и над преодолением ряда своих постулатов, которые стали привычными (порою – по причине ассоциации с методами, одно время считавшимися передовыми в науке), оставаясь недоказуемыми. Речь идет о мифах сравнительного и общего языкознания, впрочем, как и о мифах истории культуры. Наука остро нуждается в их демифологизации, т.е. в преодолении традиционных прямолинейных заключений в исследованиях. Здесь затронуты,

---

* *Stankiewicz E.* The nominal accentuation of Common Slavic and Lithuanian // American contributions to the Tenth International Congress of Slavists. Sofia, September 1988. Linguistics. Ed. by A.M. Schenker, passim. О соответствующей дискуссии см.: *Трубачев О.Н.* О работе секции языкознания X Международного съезда славистов // ВЯ. 1989. № 3.

бесспорно, интересы целого круга дисциплин, изучающих историю культуры, поэтому обмен опытом должен быть обоюдным (примеры – ниже), вместе с тем серьезный методологический урок негативного влияния идеи изоморфизма разных уровней (языка) должен исходить от языкознания. Напомню такие мифы сравнительного языкознания, как (1) "додиалектное" единство каждого праязыка, (2) "небольшая прародина" ("Keimzelle"), (3) одновременность появления этноса и этнонима, (4) балто-славянские отношения (любые) как terminus post quem для славянской языковой эволюции. Сюда же, далее, надо отнести порожденный современными направлениями языкознания миф о существовании "совершенных систем". Против последнего уже раздаются голоса критики с разных сторон, причем указывалось, что и структурализм, и генеративизм повинны в конструировании "совершенных систем", которые по самой своей природе "не подлежат сравнению" (are noncomparable), тогда как именно сравнимость – пробный камень всякого исторического анализа [19]. Это, конечно, верно, но еще важнее то, что конструируемые "совершенные системы" (пример: "непротиворечивые модели" праславянского или праиндоевропейского языка) противоречат главному мотиву языковой эволюции, каковым является **асимметрия**.

ПРОТИВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Потребность проверки и преодоления прямолинейных заключений в историческом языкознании ощущается в настоящее время, хотя, возможно, далеко не всеми и не во всех случаях, где в этом назрела необходимость. К тому же, это отнюдь не простое дело, поскольку преодолевать при этом приходится иногда эффектные построения авторитетных исследователей. Например, Семереньи удалось показать неверность одного такого эффектного положения Мейе (1912 г.) об исключительно ускоренном (быстрее романского) развитии и упадке среднеиранского языка в условиях его крайнего распространения в мировой державе ахеменидов. Критически проверив реальные данные, Семереньи получил фактически иную картину: интенсивное развитие вплоть до упадка языка имело место в сердце тогдашнего иранского пространства – на территории современного Ирана, а на периферии Севера и Востока был отмечен характерный консерватизм [20]. Запомним этот пример, который лишний раз показывает, что политическая и территориальная экспансия этноса не синонимична ускоренному развитию в языковом плане. По крайней мере столь же неоправданным является очень живучее убеждение, что – vice versa – оседлость и малая территориальная подвижность этноса находит выражение в неразвитости, архаичности его языка. Эту концепцию может оправдать только все еще недостаточное развитие этнолингвистики и социолингвистики, осо-

бенно применительно к ранним периодам эволюции этносов и языков. Так, по нашему мнению, в указанном выше смысле неоправданной прямолинейности уязвимо заключение авторов теории ближневосточной прародины индоевропейцев: "Смещение общеанатолийского по отношению к первоначальному ареалу распространения общеиндоевропейского языка было сравнительно небольшим. Этим и объясняется исключительная архаичность анатолийских языков..." [21]. Для нас совершенно очевидно, что из этой же самой посылки – **архаичность** хеттского и других анатолийских языков – может быть с гораздо бóльшим основанием сделан вывод о дальней миграции, приведшей эти языки на **периферию** некоего ареала...

Некоторые методологические предостережения сходного характера можно почерпнуть и из опыта смежных наук исторического цикла. Так, например, в очевидную для всех связь, которая существует между строительством укреплений и военным временем, чешские археологи Шимек и Неуступный внесли существенную поправку: "строительство укрепленных поселений производилось не во времена битв, а наоборот – в период спокойствия и стабилизации" [22]. Другой пример: европейская карта бронзового века обычно представляется археологу расчерченной миграциями и походами, которые как будто документируются этнически характерной керамической посудой. Не зная подлинных имен этих этносов, археолог привычно обозначает их Schnurkeramiker, sznurowcy, носители культуры шнуровой керамики и т.д. Шнуровая керамика встречается от Северного Причерноморья до Скандинавии, но для того, чтобы совершать такие дальние походы и миграции, надо отличаться особой воинственностью и подвижностью, короче говоря, надо вести кочевую жизнь, а нам указывают, с другой стороны, что кочевой образ жизни и производство керамики плохо совместимы по причине хрупкости глиняной посуды! [23]. Поэтому время от времени раздаются голоса, рекомендующие видеть в распространении изделий именно распространение изделий (через торговлю, заимствование, культурное влияние, моду и т.д.), а не делать поспешных выводов о распространении людей [24, 25]*. К сожалению, и сейчас авторы этих здравых суждений остаются пока в меньшинстве, и до сих пор говорят больше о нашествии носителей лужицкой культуры на бал-

---

* Чрезвычайно поучительно суждение английского археолога Кр. Хокса: «Моим собственным термином для этого является сейчас "иммобилизм". Он удерживает доисторические популяции в основном на месте, предоставляя передвижение только торговцам. Обновление или изменение в обычаях или структуре общества оказываются либо стихийными, либо внедряются путем мирного влияния со стороны других народов – далеких и близких, осуществляющих обмен идеями... Многие доисторические культуры представляются по сути дела неподвижными (immobile)» (*Hawkes Chr.* Archaeologists and indo-europeanists. Can they mate? Hindrances and hopes // Proto-Indo-European. The archaeology of a linguistic problem. Studies in honor of M. Gimbutas. Ed. by S. Nacev Skomal and E.C. Polomé. Washington, D.C. 1987. P. 203, 204).

тийскую территорию с Запада [1, с. 98; 26], чем о лужицком культурном влиянии [27, с. 48]. Таким образом, культурные влияния, культурный обмен, столь важный для человечества во все времена, скорее преуменьшаются, отчего картина древних этнических отношений невольно подвергается искажению. Предубеждения коснулись и ассортимента предметов культурного обмена, того, что в специальной литературе именуется "импортами". Недооценка ведет к излишней категоричности суждений, которые оказываются рискованными, как, например, утверждение М. Гимбутас: "Burial practices are not loaned" [28, с. 293]. Однако всесильная мода и культурные течения не обходят стороной и погребальный ритуал, который также может заимствоваться от этноса к этносу [29].

СТАТИЧНОСТЬ ПОПУЛЯРНЫХ КОНЦЕПЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ

Определенной критики заслуживают некоторые влиятельные концепции, стройность которых достигается ценой их собственной статичности. Известно, например, каким широким признанием пользуется теория трехчастной социальной организации и соответствующей ей идеологии у индоевропейцев (Дюмезиль). Можно сказать, что эта трехчастность, трехклассовость (жрецы, воины, скотоводы) имплицируется названным учением уже у ранних индоевропейцев, хотя в такой общей и абстрактной форме это сомнительно и обращает на себя внимание отсутствием идеи эволюции. Теория Дюмезиля не нова и насчитывает не один десяток лет, но современная критика ее, можно сказать, только еще делает первые осторожные шаги. Ср. сомнения, высказанные Поломе по поводу реальности существования упомянутой четкой социальной дифференциации уже у ранних индоевропейцев IV–III тыс. до н.э., если известно даже о древних германцах по письменным источникам, т.е. около начала н.э., что они жили преимущественно бесклассовым обществом, далее – что у них имелись не жрецы, а жрицы, что само развитие общественных отношений могло быть неравномерным у германцев и прочих индоевропейцев, ср. сюда же полное отсутствие трехфункциональной социальной модели у анатолийских индоевропейцев*. Наконец, и это важно как самый серьезный исторический корректив к трехчастной социальной теории – для ряда индоевропейских культур необходимо считаться с наличием четвертого класса – ремесленников [30]. О ранней специализации ремесленников по обработке дерева, камня, глины, стекла, янтаря и металла у индоевропейцев бронзового века см. [31, с. 9–10], впрочем, о выделении ремесленни-

---

* Дальнейшие доводы против дюмезилевской трехчастности и.-е. общества см.: Studien zum indogermanischen Wortschatz. Herausg. von W. Meid (= Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 52). Innsbruck, 1987, passim. См. также рецензию на эту книгу: *Anttila R* // Language. 64. № 1. 1988. P. 198–199.

ков говорят как о феномене неолита, во всяком случае – с неолитической революции, ознаменовавшейся зарождением производящей экономики [32, с. 17–18]. Совершенно очевидно, что вопрос о "диалектологии" индоевропейской социальной организации и культуры еще только предстоит поставить в полный рост. Думается, что со временем крайняя неразработанность хронологии в этой области будет более определенно оценена как неудовлетворительная. Так, неучет хронологии феномена дает повод для ложной этнической атрибуции; например, трудно вместе с Гимбутас [33, с. 7] противопоставлять социально нерасчлененное население "Древней Европы" V тыс. до н.э. (по Гимбутас – неиндоевропейское) социально якобы дифференцированным пришлым индоевропейцам, потому что для столь раннего времени (V тыс. до н.э.!) трудно поверить в факт социальной дифференциации последних на фоне постулируемой автором бесклассовости более цивилизованной "доиндоевропейской" Древней Европы, а также в свете того, что известно о реликтах бесклассовости и социального синкретизма у самих индоевропейцев даже в несравненно более поздние эпохи, по данным письменной истории (выше). Имеет место и негативное давление индоевропейской трехчастной схемы, проявляющееся в готовности некоторых исследователей перекодировать в терминах этой теории весьма различные этнические отношения, особенно если в последних фигурируют **три** племени или **три** части этноса, как, например, делается в одном недавнем опыте с тремя русскими центрами – Куяба, Славана, Артания – в арабской традиции X в.

Еще один яркий пример статичной концепции, парадоксальный ввиду внешней динамичности самой концепции, – это теория вторжения в Европу извне (с Востока) индоевропейской курганной культуры. Американский археолог литовского происхождения, Мария Гимбутас, в ряде своих публикаций 60–80-х годов выдвинула теорию, согласно которой Европа не является прародиной носителей индоевропейских языков, которые, будучи всадниками и скотоводами, вселились сюда в результате ряда вторжений ("волн") со второй половины V до начала III тыс. до н.э. Индоевропейцы были степными скотоводами с характерным **курганным** погребальным обрядом, патриархальной организацией, воинственностью и даже "безразличием к искусству" (indifferent to art). Их культура представляется Гимбутас противоположной культуре неиндоевропейских обитателей "Древней Европы" (термин в этом употреблении также принадлежит Гимбутас) с их оседлым бытом, матриархатом, миролюбием, высоким уровнем ремесла, искусства и всей цивилизации, хотя, при всем этом высоком уровне развития и проистекающего от него богатства среднего класса (a rich middle class), доиндоевропейцы будто бы не имели антагонистических классов. Их культура легла субстратом в основание культуры позднейших индоевропейских завоевателей [34, 28, 33, passim]. Последователи Гимбутас называют индоев-

ропейское расселение как "1600 лет курганной экспансии" [7, с, 102]. Одна из "курганных волн" (вторая, конец IV тыс. до н.э.) якобы достигла Восточного Средиземноморья [35]. Концепция Гимбутас получила широкое распространение, причем среди языковедов – не меньше, чем среди археологов [36, с. 122]. Сама исследовательница настроена очень решительно и не видит иной альтернативы для решения индоевропейской проблемы: "Если курганная традиция не тождественна с индоевропейской прародиной, чего тогда мы можем ожидать от археологии в решении вопроса пространственной и временной базы праиндоевропейского?" [28, с. 294]. Однако невозможность иных серьезных точек зрения явно преувеличена у Гимбутас. Курганная традиция IV тыс. до н.э. тянется в Сибири до верхнего Енисея [28, с. 295], что зарождает сомнения в ее тождестве с индоевропейской традицией, больше того – вызывает резко критическую реакцию со стороны некоторых археологов, например, Килиана [27, с. 28], который прямо говорит, что выведение индоевропейских племен из-за Нижней Волги и из Казахстана элементарно противоречит европеоидной антропологической характеристике. Отождествление индоевропейцев и поздненеолитической курганной культуры встретило отрицательное отношение и у других археологов, которые считают, что все дело – в точности абсолютных датировок и что якобы производные культуры в Европе практически оказываются одновременными с южнорусскими ямными погребениями, а не более поздними и не производными от последних [31, с. 6, 7]. Далее английские археологи Коулз и Хардинг высказывают также свои сомнения в правомерности чрезмерного обобщения одной культурной черты – типа погребений и использования ее как показателя расового родства; они допускают, что погребальный курган – это своеобразная мода эпохи, а не признак какого-то "курганного народа", тем более, что курганные погребения широко известны "во времени и пространстве". В целом концепция смены населения и прибытия народа курганной культуры обязательно с Востока представляется этим авторам "квази-исторической интерпретацией" [31, с. 102]. Они располагают и конкретным материалом, свидетельствующим, что как раз **Восток** в существенных моментах сохранял значение **архаической периферии**, а не источника культурной инновации; так, в то время, когда на территории Западной Украины уже встречается культура курганных погребений в сочетании с культурой шаровидных амфор и шнуровой керамики, на Нижнем Днепре и в задонских степях все еще функционирует культура ямных погребений [31, с. 117]. Но наиболее серьезный критический анализ концепции М. Гимбутас с отрицательным результатом дал немецкий археолог А. Хойслер (ГДР), который пришел к выводу, что погребальные курганы архаических культур Греции не связаны с курганами Северного Причерноморья и допускают локальное объяснение, что подтверждается также косвенно [37]. Так же обстоятельно разбирает и затем отвер-

гает он "курганизацию" извне других районов, показывая, вслед за другими исследователями, автохтонность курганной культуры в Восточной Европе, ее вырастание из культур **местных охотников и рыболовов**; шнуровая керамика, известная в Центральной Европе и Скандинавии, возникла отнюдь не в ходе экспансии скотоводов ямной культуры с Востока, а тем более – целого ряда миграций (вариант: трех волн), что не находит и антропологических подтверждений для разбираемых М. Гимбутас неолитических культур (например, на территории Венгрии), во время чего Гимбутас прибегает к явно произвольным социальным интерпретациям (проверка не обнаруживает там признаков социального расслоения и господствующего положения воинов и вообще не находит связи этих культур с севернопричерноморскими). Наблюдаемые в европейских культурах изменения домостроительства, положения мужчин представляют собой "чисто стадиальное явление, итог определенных социально-экономических перемен, которые объяснимы и без нашествий из восточных степей" [36, с. 126]. Хойслер акцентирует возможную эндемичность культур и культурных явлений; он выступает против воззрений на одомашнивание лошади, шнуровую керамику и культуру боевых топоров как обязательный индоевропейский культурный набор. Выводы Хойслера немаловажны для решения индоевропейской проблемы: он считает, что его анализ показал отсутствие оснований для выведения неолитических или раннебронзовых культур Центральной и Северной Европы из Восточной Европы (а также из Западной Сибири или Средней Азии); в Европе имело место непрерывное развитие культуры и населения ("eine kontinuierliche Entwicklung der Kultur und Bevölkerung") вплоть до исторически засвидетельствованных индоевропейских культур и языков [36, с. 139]*.

---

* Вновь обращаясь к проблеме в самое последнее время, Хойслер специально акцентирует непрерывное развитие и.-е. групп при малой вероятности как западных, так и восточных вторжений в неолит и эпоху бронзы. Он указывает, что культура шаровых амфор восходит к автохтонной неолитической культуре воронковидных кубков Центральной Европы. Существенно также антропологическое отличие от Востока, на что обращает внимание и И. Швидецки. Не связаны, далее, распространение и.-е. шнуровой керамики, с одной стороны, и воинственных скотоводов – с другой. В самих пресловутых "боевых" топорах автор усматривает невоенный смысл (ср. аналогично Роулетт, см. у нас далее). См. *Häusler A.* Protoindo-europäer, Baltoslawen, Urslawen. Bemerkungen zu einigen neueren Hypothesen // ZfA Z. Archäol. 22. 1988. S. 1 и сл.

Относительно более мягкую оппозицию встречает концепция Гимбутас у нашего археолога Н.Я. Мерперта, см.: *Merpert N.Ja.* Ethnocultural change in the Balkans on the border between the Eneolithic and the Early Bronze Age // Proto-Indo-European... Studies in honor of M. Gimbutas. Ed. S. Nacev Skomal and E.C. Polomé. Washington, D.C. 1987. P. 122 и сл. Автор говорит о самобытности Балканско-Дунайского региона, о древнем сосуществовании индоевропейских групп с неиндоевропейскими, о неприемлемости "простых" решений путем допущения **однородного** вторжения с Востока. Вторжение кочевников-скотоводов **не вело к полной смене населения**, причем **местные** элементы оставались **главенствующими**. Именно Центральная Европа была ареной **интеграции** и.-е. групп.

К сожалению, среди лингвистов не удалось заметить особого желания детально критически разобраться в теории Гимбутас, отдельные краткие критические реплики [38] фигурируют на фоне преимущественно положительного приема. Но, в конце концов, критика этой теории изнутри археологии, пожалуй, для нас не менее важна, поэтому мы изложили выше аргументы Хойслера и других археологов. Все говорит о том, что в концепции Гимбутас имеет место **феноменальная недооценка внутренних стадиальных потенций** (см. выше о статичной сущности этой концепции).

НЕПРЕРЫВНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ЕВРОПЫ

Альтернатива теории вторичной "курганизации" – индоевропеизации Европы существует; она представлена теориями, утверждающими на основе различных данных возможность непрерывной эволюции индоевропейских этносов и их языков в Европе. Из числа сторонников этой концепции может быть назван испанский археолог, каталонец по происхождению, П. Боск-Жимпе́ра, работавший в Мексике. Он указывал на возможность возводить зачатки индоевропейского этноса, при всех мыслимых оговорках, к мезолитическим группам населения Европы: о начальных группах индоевропейцев можно более уверенно говорить для неолита, конкретно – V тыс. до н.э. Ареалом (одним из ареалов) этого раннеиндоевропейского группообразования Боск-Жимпера считал территорию Чехословакии и примыкающие районы, иными словами – район дунайской культуры [39, passim]. Эти выводы звучат довольно обобщенно, но следует согласиться с их главной идеей. Неслучайно среднедунайские районы привлекли и наше внимание. Вряд ли можно считать, что при этом смешиваются собственно индоевропейские древности и доиндоевропейские культурно-этнические субстраты, как их понимает, например, Гимбутас. Наблюдаемая ниже известная концентричность культурных и лингвистических ареалов разных эпох в Центральной Европе говорит скорее о том, что здесь действовал механизм преемственного развития с устоявшимся центром и собственными перифериями. Всего этого, пожалуй, не было бы при наслоении чужих пришельцев на чуждый субстрат, когда складываются случайные по своему характеру отношения, если принимать хотя бы постулируемую Гимбутас противоположность укладов (мирные оседлые жители – воинственные завоеватели-кочевники), при которой, как мы знаем из аналогий разных времен, должны бы были преобладать ограбление и уничтожение покоренной культуры, а не нормально функционирующая преемственность, к тому же обнаруживающая свой древний ареал с центром и периферией.

Отмеченный выше как недостаток статизм концепции (или концепций), неразработанность представлений о собственной внутренней стадиальности эволюции и ее временной глубине толкают ис-

следователей на поиски внешних импульсов, примером чего может послужить вопрос о зарождении культурного коневодства. Не рассматривая его здесь подробно, отметим лишь, что некоторые авторы допускают и для него разумную альтернативу своеобразного параллельного полицентризма возникновения, причем не в одних только степных районах (Хойслер), а другие настаивают на однозначном решении и причем обязательно на импорте извне, ср. предположение о заимствовании колесной повозки с Востока на Запад в связи с тем, что одним из очагов распространения колесных повозок была протоиндская культура III тыс. до н.э. [40]. Но в древнеевропейском культурном ареале, на Балканах (Караново), известны неолитические глиняные модели колеса V тыс. до н.э. [33, с. 7], и нет серьезных оснований отрицать здесь наличие своего древнего очага домашнего коневодства и строительства колесных повозок, а также вероятную причастность к этому индоевропейцев, ср. [41]. Для нас знаменательно указание о заселении индоевропейцами, уже имевшими при себе лошадей, Анатолии, не знакомой прежде с этим животным, причем заселение шло с Запада, очевидно, из районов древнего домашнего освоения лошади, каковыми считаются не только причерноморские степи, но и неолитическая езеровская культура в Болгарии с IV тыс. до н.э. [42]. И все же не последний штрих в картину древней культуры и истории вносит также здесь язык, который заставляет задуматься над степенью адекватности того стереотипного образа раннего индоевропейца – всадника и скотовода, кажется, основательно уже поселившегося на страницах многих научных исследований. Конь помогает этому реконструированному индоевропейцу преодолевать значительные расстояния на картах миграций, приложенных к этим исследованиям (некоторые сомнения по поводу реальности всех этих миграций см. отчасти выше). Культ коня, как и солнечного неба, кажется ученым неотделимым от духовного мира индоевропейца. Однако, если в греческих личных собственных именах классической эпохи (Гомер) насчитывают около 230 сложных имен, включающих ἵππος 'лошадь, конь', при 19 именах с компонентом βοῦς 'бык' и только двух – с αἴξ 'коза', то в более древней – раннегреческой микенской антропонимии перед нами предстает обратная картина: чаще всего (6 раз) встречаются имена с *Aigi*- 'коза', одно имя – на *gᵘow*- (XV в. до н.э.), и нет ни одного имени, которое наверняка включало бы название лошади [43]. Понятно, что микенский (II тыс. до н.э.) ближе к праиндоевропейскому, и это отчасти наводит на подозрение, что упомянутая выше стереотипная культурная реконструкция содержит некоторые преувеличения. По этому случаю я нахожу нужным процитировать слова из своей книги 1960 г.: "Что касается великих миграций III тысячелетия до н.э., то основной тягловой силой в их осуществлении были быки, а не лошади, хотя, может быть, в глазах отдельных ученых это и наносит ущерб блистательности индоевропейской экспансии" [44].

К ВОПРОСУ ОБ ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ КОНСОНАНТИЗМЕ

Касаясь некоторых особых тем с вынужденной краткостью, я не стану специально разбирать теорию переднеазиатской индоевропейской прародины Гамкрелидзе–Иванова, спор о которой развертывается в литературе, полагая вместе с тем, что сообщаемые мной наблюдения и материалы могут быть использованы в дискуссии. Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванов предприняли также полную ревизию праиндоевропейского консонантизма, где на месте традиционных чистых звонких согласных фигурируют глоттализованные и в целом отношения и состав согласных напоминают языки с передвижением согласных (германский, армянский). Можно сказать, что именно эта глава праиндоевропейской реконструкции Гамкрелидзе–Иванова приобрела наибольшую популярность, ср. [45]. И этот вопрос как бы остается в стороне от избранного здесь аспекта праславянского и предславянского индоевропейского, что обязывает нас к краткости, хотя вероятность компенсирующего отношения между состояниями консонантизма и вокализма (см. у нас далее о последнем) и потенциальная важность учета очень многого из праиндоевропейского для лучшего понимания собственно славянской эволюции не позволяют полностью обойти также этот вопрос. Авторы ревизии индоевропейского консонантизма в значительной мере основываются на сопоставительной типологии, в том числе неиндоевропейской. Нельзя не отметить при этом, что не кто иной, как П. Хоппер, пришедший к аналогичному пересмотру индоевропейского консонантизма независимо от наших авторов, питает до последнего времени сомнения как раз в типологической стороне этой концепции, поскольку смена глоттальных обычными звонкими смычными на всей индоевропейской территории типологически уникальна; ожидалось бы (Гринберг) glottalized → unvoiced [46]. Правда, американский ученый все-таки отыскивает такой случай в северо-западном кавказском – кабардинском, вернее, отдельных его диалектах, где глоттальные смычные могут переходить в звонкие, но малость этой типологической базы обращает на себя наше внимание. Попытки найти эти повсюду утраченные глоттальные в индоевропейском дали пока небольшие результаты: обнаруженные в индоарийском языке синдхи, эти глоттальные, оказывается, не отличаются индийской графикой от чистых звонких и, возможно, имеют поздний фонематический характер [47, 18]. Поэтому осторожные исследователи по-прежнему избегают включать глоттализованные согласные в число известных индоевропейских фонологических особенностей и, кроме того, принимают во внимание крайнюю лабильность именно германского и армянского консонантизма (– языков, в которых традиционно предполагается передвижение согласных), делающую проблематичным сохранение первоначального состояния именно в этих языках [48, passim]. Симптоматично, напри-

мер, мнение специалистов, что "в Скандинавии, и прежде всего – в Дании, и сейчас происходит передвижение согласных" [49]. Такой поныне синхронно наблюдаемый и живой статус передвижения согласных в германских языках серьезно ущемляет концепцию индоевропейской архаичности этого явления. Недавно было также высказано мнение, что праиндоевропейско-пракартвельские контакты уже отражают наличие праиндоевропейского звонкого ряда *b*, *d*, g^w, *ǵ* [50].

СЕМИТСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ИНДОИРАНСКИЙ ВОКАЛИЗМ?

Сосредоточившись на консонантизме, Гамкрелидзе и Иванов касаются индоевропейского вокализма только в одном важном случае – слиянии и.-е. *е–о–а* в одном гласном *а* индоиранских языков. Здесь их ближневосточной теории импонирует гипотеза Семереньи о перестройке индоиранского вокализма из классического индоевропейского под семитским влиянием после 2000 г. до н.э. на Ближнем Востоке [21, с. 19; 45, passim; 52]. С семитским происхождением унифицированного индоиранского вокализма решительно нельзя согласиться. По версии Семереньи, этому влиянию индоиранцы подвергались порознь – сначала митаннийские индоарийцы, позднее – иранцы, что само по себе делает мысль методологически уязвимой: вместо сложного и сомнительного предположения, что и те, и другие, прибывавшие, очевидно, разными и разновременными потоками в Переднюю Азию с Севера, проходили точно одну и ту же обработку вокализма, уже априори проще и убедительнее считать, что ввиду единообразия этой перестройки индоарийский и иранский **уже провели ее** прежде, чем появиться в Передней Азии. Ни лингвогеографически, ни хронологически, ни, как увидим далее, типологически, гипотеза Семереньи не выдерживает критики. Особенно важны здесь севернопричерноморские свидетельства; кроме иранских – скифских примеров слияния *е–о–а* → *а*, которые легко почерпнуть в "Словаре скифских слов" В.И. Абаева (никто ведь не станет всерьез утверждать, что скифы принесли с собой этот феномен как семитское влияние, вернувшись из своего двадцативосьмилетнего похода в Азию), не менее красноречив индоарийский материал к северу от Черного моря. Допуская, что он все еще не очень широко известен в науке, назову по крайней мере несколько примеров из своей картотеки северопонтийских indoarica, выбирая по возможности такие случаи, где, не прибегая к реконструкции, по одной только античной письменной передаче севернопричерноморских indoarica, а также их звуковому соответствию древнеиндийским именам и апеллативам можно документировать наличие *а* ← *е–о–а* без какой бы то ни было связи с семитской Передней Азией: *Asandi* ~ др.-инд. *āsandī*; Βουτουνατος ~ др.-инд. *bhūtanātha-*; Δανδάκη ~ др.-инд. *Daṇḍaka-*; Καδουίδας ~ др.-инд. *kovida-*; Κοροκονδάμη ~

др.-инд. *dhāman*; Μαγαδαυα ~ др.-инд. *mahā-deva*; Ἀνάχαρσις ~ др.-инд. *maha-*; *ṛṣi-*; Πάλακος ~ др.-инд. *Pālaka-*; Σάσας ~ др.-инд. *śaśa-*; Σουαρνοί ~ др.-инд. *suvárṇa-*; Τάξακις ~ др.-инд. *takṣaká-*; Τιργαταώ ~ индоар. (Алалах) *Tirgutawiya-*. Даже при несовершенстве античной письменной фиксации бросается в глаза значительная частотность гласного *a* в этих примерах, где есть продолжения и.-е. *e* (**dhē-*, **meĝh-*, **tek̂s-*), не говоря об и.-е. *o*. Есть и индоарийская изоглосса, охватывающая Северное Причерноморье (Τιργαταώ) и митаннийский индоарийский (*Tirgutawiya-*, из Алалаха), но допускающая только интерпретацию как занесенная с Севера в готовом виде, с отражением отглагольного прилагательного форманта и.-е. *-teu̯-* как индоар. *-tav-*. Еще менее правомочна здесь семитская версия генезиса индоир. *a* ← *e–o–a* у Гамкрелидзе–Иванова, поскольку иначе пришлось бы принимать это явление южнее Кавказа, в арийских диалектах, предположительно обитавших в искомой там индоевропейской прародине в IV–III тыс. до н.э. [21, с. 21], откуда они затем будто бы мигрировали в Северное Причерноморье с другими индоевропейскими диалектами, вокализм которых почему-то не испытал названного семитского влияния и продолжал сохраняться в виде *e–o–a* или *e–a*.

Весьма перспективна в этом отношении проблема влияния индоарийских диалектов на севернокавказские языки. Вероятность индоарийских лексических заимствований в этих языках после моих работ допускает Г.А. Климов [53, с. 172]. Так, например, адыг. *шы* 'лошадь', абх.-абаз. *а-чъы/чъы*, убых. *чы* то же правомерно связывать с др.-инд. *aśva-* то же, ср. [54, с. 88; иначе ср. 55, т. II, с. 141], при этом существенно не только наличие *e* > *a*, как в обеих индоиранских ветвях, но и индоарийский шипящий рефлекс и.-е. *k̂* в **ek̂u̯o-*, в отличие от иран. *asva-*, *aspa-*, *assa-*. Аналогичную дифференциальную характеристику можно увидеть в адыг. *ажэ/ачъэ* 'козел-производитель', объяснявшемся и ранее как заимствование из индоевропейского, ср. др.-инд. *ajá-*, пехл. *azak* 'коза', см., вслед да Дюмезилем, [49, т. I, с. 58], но мы здесь отметим, кроме индоиран. *a*, специфически индоарийский (*ǰ*), а не иранский (*z*) консонантизм.

О РУССКОМ АКАНЬЕ

Упрощение вокализма *e–o–a* → *a*, несомненно, совершилось в Европе и – главное – без затруднений может быть объяснено за счет внутренних средств индоевропейских диалектов. Семереньи заблуждался, полагая, вслед за Хаммерихом, что переход *e* > *a* уникален, лишен аналогии в индоевропейском и что внутренние, структурные аргументы исчерпаны [51, с. 15]. Наука давно располагает данными, позволяющими точно локализовать этот переход как эндемичный в Центральной и Восточной Европе. При этом достаточно сослаться на наличие фонологически тождественных случаев от-

крытого (краткого) *e* = *ä* (коррелирующего с закрытым – долгим – *ē*) в таких разных языках, как литовский и близкий для Семереньи венгерский язык. Далее, сюда имеет самое прямое отношение феномен русского яканья, т.е. *e* > '*a* в безударном положении. Поскольку понятна органическая связь последнего явления с феноменом аканья, т.е. *o* = *a* в безударной позиции (русский, белорусский), реальность и органичность перехода *e* > *a* станут ясными без дальнейших доказательств и без внешнего импульса вроде семитского. Если взвесить, к тому же, серьезное вероятие, что краткое слав. *e*, как и *o*, наоборот, возможно, сменило предшествующее *a* в определенных позициях, например, по концепции Вайяна [56, с. 108 и сл.], ср. опыты записи праслав. *e–o* как *ä–a* у Мареша (правильнее, видимо, было бы '*a–a*), то постепенно начнет вырисовываться подлинная грандиозная картина циклической эволюции вокализма индоевропейских диалектов Восточной и Центральной Европы, эволюции, в которой переходы *e* > *a* получают смысл нормальных рецидивов (обратных переходов) всякого развития. Существенно, что славянский и его диалекты играют в этой общей картине не последнюю роль и, кажется, помогают понять не одни лишь славянские факты. Я имею в виду то, что в ряде русских (южновеликорусских) диалектов практически функционирует – в безударных позициях – вокализм "индоиранского" типа *a*/'*a* на месте *e–o*, но из этого ровным счетом ничего не следует ни о возможности индоиранского, ни тем более – семитского влияния, ни, разумеется, о проживании предпраносителей наших диалектов на Ближнем Востоке. Я упомянул выше о рецидивах *e* > *a* не случайно, но с желанием привлечь внимание к этим всплывающим на поверхность потока эволюции реликтам древних данностей. Точно так же мы, например, наблюдаем вторичную тенденцию передней артикуляции иран. *a* > осет. *æ*, *ä* в осет. *xumællæg* 'хмель' и в его отражении в слав. **xъmelь*, иначе было бы **xъmolь* из иран., осет. **xumal-*, см. [57]. Все это вместе говорит об исконности и эндемичности описываемого феномена для Центральной и Восточной Европы.

При обсуждении проблемы на съезде славистов в Киеве мне возражали (К.В. Горшкова), что мое сближение южновеликорусского аканья и унификации индоиранского вокализма носит панхронический характер, а также, что существуют изоглоссная, типологическая, историческая интерпретации аканья, которое, к тому же, принято считать поздним явлением. В мои задачи не входило обозрение русистской литературы по аканью, кроме того, я намеренно затронул аспекты, обычно оставляемые в русистике без внимания. Верно, что аканье фиксируется в относительно поздние века, но это еще ничего не говорит о его генезисе. Симптоматичны поэтому поиски истоков аканья в балтийском субстрате, имея в виду слияние и.-е. *o*, *a* в балт. *a*. Как бы мы ни относились к этому решению (лично я – скорее отрицательно), одно это уже углубило бы

потенциально хронологию поисков на несколько столетий. Ясно, что нельзя смешивать случаи первой фиксации аканья на письме и возможное **зарождение** этого явления в языке, во всяком случае называть такую интерпретацию исторической мы не вправе. История и этого явления начинается раньше его письменной истории. Не будут удовлетворительны также изоглоссная и типологическая интерпретации, если они замыкаются в восточнославянском ареале. Недаром новые подходы славистики к проблеме аканья формулируются как "Общеславянское значение проблемы аканья" (именно так названа известная книга В. Георгиева, В.К. Журавлева, С. Стойкова, Ф.П. Филина, вышедшая в Софии в 1968 г.). Слависты указывают параллели русскому аканью на периферниях славянского ареала (родопское аканье болгарского, словенских диалектов), а это подсказывает мысль, что и русское аканье есть **периферийное** явление (в терминах лингвистической географии), т.е. по-видимому, явление архаическое. Вообще целый ряд восточнославянских языковых (фонетических) явлений целесообразно рассматривать как периферийные для всего славянского ареала и архаические. Нужно допустить, что истоки аканья уходят в древность, причем нет веских причин видеть в нем действие балтийского или других субстратов. Исследование генезиса явления дописьменной эпохи требует типологического подхода, а типология вообще дает нам право на известную панхронию. В этих условиях значительная дистанция по временнóй вертикали между русским аканьем и индоиранским преобразованием вокализма должна не шокировать, а, напротив, располагать к размышлению (на реплику В.Н. Чекмана – в дискуссии "круглого стола" сентября 1983 г. (см. выше) – о том, что данные об аканье еще не готовы для использования в исследованиях по этногенезу, пришлось ответить, что в принципе вряд ли наступит время, когда анализ той или иной важной проблемы будет полностью завершен, поэтому нельзя откладывать синтез до столь неопределенного будущего).

Вообще не исключено, что частотность краткого *a* в древнем индоевропейском была гораздо выше, чем обычно думают, к этому подводят некоторые новые продуктивные и смелые разработки генезиса индоевропейского вокализма [58, passim; 59, с. 36–38]. Неапофоническое и фонологически не дифференцированное *a* нам представляется реальной ипостасью древнего неопределенного гласного призвука Λ, постулируемого А.С. Мельничуком до начала всякой апофонии. Разумеется, регулярная *e/o*-апофония – продукт вторичного развития, вытеснившего и.-е. *a* на вторичные (экспрессивные и т.п.) функции. Но эта эволюция никогда не была прямой и полной, она знала и знает возвраты, по которым нужно уметь читать ее прошлое. Мы здесь касаемся только наиболее архаичного – краткостного (а у восточных славян – mutatis mutandis – безударного) вокализма, оставляя в стороне долгие гласные и возможное участие в них ларин-

гальных. В целом же рассмотрение вокалических процессов в тесной связи с консонантными было бы весьма желательно и притом – в большей степени, чем это делалось в нашей науке до сих пор.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Lehr-Spławiński T.* O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946.
2. *Moszyński K.* Pierwotny zasiag języka prasłowiańskiego. Wrocław; Kraków, 1957.
3. *Трубачев О.Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // ВЯ. 1982. № 4.
4. *Трубачев О.Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // ВЯ. 1982. № 5.
5. *Королюк В.Д.* К исследованиям в области этногенеза славян и восточных романцев // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976. С. 25.
6. *Jażdżewski K.* Etnogeneza Słowian // Słownik starożytności słowiańskich. Wrocław etc., 1961. T. 1. S. 456.
7. *Alexander S.M.* Was there an Indo-European art? // The Indo-Europeans in the Fourth and Third millenia. Ed. by Polomé E.C. Ann Arbor, 1982 (со ссылкой на Мэллори).
8. *Кухаренко Ю.В.* Полесье и его место в процессе этногенеза славян // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 14–18. IX. 1965. Wrocław etc., 1968. S. 245.
9. *Kurnatowska Z.* [Dyskusja] // Etnogeneza i topogeneza Słowian. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Komisję Slawistyczną przy Oddziale PAN w Poznaniu w dniach 8–9. XII. 1978. W-wa, 1980.
10. *Forstinger R.* Rec.: Győrfy Gy., Hanák P., Makkai L. és Móczy A. A Kárpátmedence népei a honfoglalás előtt. Budapest, 1979 // Zpravodaj Mistopisné komise ČSAV. 1981. Ročn. XXII. Č. 1–2. S. 121.
11. *Топоров В.Н.* Новейшие работы в области изучения балто-славянских языковых отношений (библиографический обзор) // ВСЯ. 1958. Вып. 3. С. 145–146.
12. *Hensel W.* La communauté culturelle archéologique balto-slave // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. P. 81.
13. *Chropovský B., Šalkovský P.* Novšie archeologické poznatky k riešeniu etnogenézy Slovanov // Československá slavistika. Pr., 1983. S. 152.
14. *Brozović D.* O mjestu praslavenskoga jezika u indoevropskom jezičnom svijetu // Radovi [Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet – Zadar]. Razdio filoloških znanosti. Sv. 21 (12), Zadar, 1983. S. 12.
15. *Leeming H.* Some problems in comparative Slavonic lexicology // The Slavonic and East European review. 1983. V. 61. № 1. P. 38.
16. *Ванагас А.П.* Проблема древнейших балто-славянских языковых отношений в свете балтийских гидронимических лексем. Препринт. Вильнюс, 1983. С. 23–24.
17. *Мартынов В.В.* Становление праславянского языка по данным славяно-иноязычных контактов. Минск, 1982, passim.
18. *Откупщиков Ю.В.* Балтийский и славянский // Сравнительно-типологические исследования славянских языков и литератур: К IX Международному съезду славистов. Л., 1983. С. 53 и сл.

19. *Markey T.L.* Introduction // On dating phonological change. A miscellany of articles. Ed. by Markey T.L. Ann Arbor, 1978. P. VIII–IX.
20. *Szemerényi O.* Sprachverfall und Sprachtod, besonders im Lichte indogermanischer Sprachen // Essays in historical linguistics in memory of J.A. Kerns. Ed. by Arbeitman Y.L. and A.R. Bomhard (= Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. IV). S. 296 и сл., особ. S. 304.
21. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* Миграции племен – носителей индоевропейских диалектов – с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии // ВДИ, 1981. № 2.
22. *Neustupný J.* A propos de la naissance des enceintes fortifiées des Slaves tcheques // Rapports du III[e] Congres international d'archéologie slave. Bratislava, 7–14 septembre 1975. Br., 1980. T. 2. P. 313.
23. *Meyer E.* Die Indogermanenfrage // Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968. S. 260.
24. *Labuda G.* Udział Wenetów w etnogenezie Słowian // Etnogeneza i topogeneza Słowian. Warszawa; Poznań, 1980.
25. *Thomas H.L.* Archaeological evidence for the migrations of the Indo-Europeans // The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia. P. 63.
26. *Мартынов В.В.* Балто-славяно-иранские языковые отношения и глоттогенез славян // Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981. С. 16.
27. *Kilian L.* Zu Herkunft und Sprache der Prußen. Bonn, 1980.
28. *Gimbutas M.* An archaeologist's view of PIE in 1975 // The journal of Indo-European studies. 1974. 2.
29. *Winn Sh.M.M.* Burial evidence and the Kurgan culture in Eastern Anatolia c. 3000 B.C.: an interpretation // The journal of Indo-European studies. 1981. 9. P. 113.
30. *Polomé E.C.* Indo-European culture, with special attention to religion // The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia. Ann Arbor, 1982. P. 162 и сл. 169.
31. *Coles J.M., Harding A.F.* The Bronze Age in Europe. An introduction to the prehistory of Europe c. 2.000 – 700 BC. L., 1979.
32. *Журавлев В.К.* Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982.
33. *Gimbutas M.* Old Europe in the Fifth milliennium B.C.: the European situation on the arrival of Indo-Europeans // The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia.
34. *Gimbutas M.* Die Indoeuropäer: archäologische Probleme // Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968.
35. *Zanotti D.G.* The effect of Kurgan wave two on the Eastern Mediterranean (3200–3000 B.C.) // The journal of Indo-European studies. 1981. 9. P. 275 и сл.
36. *Häusler A.* Zu den Beziehungen zwischen dem nordpontischen Gebiet, Südost- und Mitteluropa im Neolithicum und in der frühen Bronzezeit und ihre Bedeutung für das indogermanische Problem // Przegląd archeologiczny. 1981. 29.
37. *Häusler A.* Die Indoeuropäisierung Griechenlands nach Aussage der Grab- und Bestattungssitten // Slovenská archeológia. 1981. XXIX. S. 61, 65.
38. *Schmitt R.* Proto-Indo-European culture and archeology: some critical remarks // The Journal of Indo-European studies. 1974. 2. P. 279 и сл.

39. *Bosch-Gimpera P.* Die Indoeuropäer. Schlußfolgerungen // Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968 (перевод заключения в книге 1961 г.)
40. *Иванов Вяч.Вс.* К этимологии некоторых миграционных культурных терминов // Этимология. 1980. М., 1982. С. 166.
41. *Maringer J.* The horse in art and ideology of Indo-European peoples // The journal of Indo-European studies. 1981. 9. P. 177 и сл.
42. *Mellaart J.* Anatolia and the Indo-Europeans // The journal of Indo-European studies. 1981. 9. P. 137.
43. *Milewski T.* Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław etc., 1969. S. 149–150.
44. *Трубачев О.Н.* Происхождение названий домашних животных в славянских языках (этимологические исследования). М., 1960. С. 15.
45. *Bomhard A.R.* A new look at Indo-European (1) // The journal of Indo-European studies. 1981. 9. P. 334 и сл.
46. *Hopper P.J.* Areat typology and the Early Indo-European consonant system // The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia. P. 130.
47. *Kortlandt F.* Glottalic consonants in Sindhi and Proto-Indo-European // IIJ. 1981. 23. P. 15 и сл.
48. *Erhart A.* Nochmals zum indoeuropäischen Konsonantismus // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. 1981. 34.
49. *Стеблин-Каменский М.И.* Скандинавское передвижение согласных // ВЯ. 1982. № 1. С. 48.
50. *Дьяконов И.М.* О прародине носителей индоевропейских диалектов. I. // ВДИ, 1982. № 3. С. 20.
51. *Szemerényi O.* Structuralism and substratum. Indo-Europeans and Aryans in the Ancient Near East // Lingua. 1964. 13.
52. *Szemerényi O.* Language decay – the result of imperial aggrandisement? // Recherches de linguistique. Hommages à M. Leroy. Bruxelles [б.г., отд. отт.]. P. 214.
53. *Климов Г.А.* Несколько картвельских индоевропеизмов // Этимология. 1979. М., 1981.
54. *Кварчия В.Е.* Животноводческая (пастушеская) лексика в абхазском языке. Сухуми, 1981.
55. *Шагиров А.К.* Этимологический словарь адыгских (черкесских) языков: [I] А–Н. М., 1977; [II] П–I. М., 1977.
56. *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Phonétique. Lyon; Paris, 1950.
57. Этимологический словарь славянских языков / Под ред. Трубачева О.Н. Вып. 8. М., 1981. С. 144.
58. *Мельничук А.С.* О генезисе индоевропейского вокализма // ВЯ. 1979. № 5–6.
59. Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Современное состояние и проблемы. М., 1981. С. 36–38.

ГЛАВА 4

ИЗОГЛОССЫ ВНУТРИ АРЕАЛА САТЭМ. DACO-SLAVICA

Оценив в предыдущем отнюдь не периферийную и не внеиндоевропейскую природу процесса *е–о–а* → *а* в индоиранском, мы коснемся в интересующем нас плане консонантной проблемы кентум/сатэм. Собственно говоря, в силу занятий славянскими древностями мы уделим внимание лишь некоторым аспектам сатэмизации и положению группы сатэм в первую очередь. Вполне вероятно, что группа языков сатэм занимала не периферийное, а скорее центральное положение в индоевропейском ареале, тогда как языки кентум с давних пор расположились на дальних и ближних перифериях [60]. Сатэмизация, а точнее – ассибиляция первоначального индоевропейского палатального задненебного *k̂* (а также *ĝ*, *ĝh*), есть по самой своей природе инновация, т.е. наиболее продвинутое состояние, которое обычно имеет смысл ассоциировать с центром соответственного ареала. Естественно, однако, и в очаге инновационного явления ожидать сохранения архаизмов, им не затронутых, тем более, что речь должна идти не о чистой фонетике, но и о лексике (лексикализация). В каждом языке-сатэм есть элементы кентум – либо в виде собственных архаизмов разного рода, либо иноязычных заимствований. Такого рода отклонения еще не дают оснований для того, чтобы говорить о переходных языках или переходных зонах (как иногда делают, говоря о древних индоевропейских языках Балканского п-ова), но отражают лишь вкратце отмеченную выше суть явления. Наоборот, наличие элементов сатэм в языках-кентум или совершенно не отмечается, что представляется вполне естественным, или же проблематично и требует особого объяснения. Таким образом, проблема кентум/сатэм остается по-прежнему проблемой этнолингвистики и лингвистической географии, именно в этих областях она плодотворно комментируется современными исследованиями и обретает определенную актуальность, в которой ей одно время отказывали, а некоторые упорно отказывают и сейчас (например, В. Георгиев, И. Дуриданов в Болгарии). Соображения о связи этой проблемы с разными стилями речи, в частности сатэмизации – с аллегровым, быстрым стилем, а сохранной кентумности – с медленным, тщательным стилем речи [61, passim] в чем-то верны, но не раскрывают сути явления, кроме той, что уже известна (инновация), и вряд ли могут оказаться особенно перспективными. Дальнейший прогресс изучения проблемы кентум/сатэм может обеспечить углубленная разработка изоглоссного метода. Так, если до сих пор довольствуются, как и в лингвистике XIX в., выделением двух основных изоглоссных зон – кентум и сатэм, то теперь это уже не может считаться достаточным, поскольку накопился материал и для более

новых обобщений. Все в общем признают наличие при сатэмизации стадии аффрикаты, но споры насчет характера аффрикаты ведутся, скорее, в бескомпромиссном духе: или это была аффриката ряда *č*, или *c*(*ts*) [44, с. 5]. Однако распространять одну или другую стадию на весь ареал сатэм было бы насилием, которому сопротивляются уже известные языковые факты. Эти последние как раз диктуют необходимость компромиссного решения, а точнее – констатации дальнейшего внутреннего изоглоссного деления в рамках самой изоглоссной зоны сатэм. Так, например, сатэмизация типа *k̂* > *č* > *š*/*ś* характеризует древнеиндийский и вообще индоарийский, но уже иранский с его *s*, *z* < *k̂*, *ĝ* прошел, видимо, стадию другой аффрикаты – ряда *c*, которая сохранилась в кафирских языках. Стадия аффрикаты *č* прослеживается еще в армянском и балтийском (литовском), тогда как "кафирская" стадиальная изоглосса *c*(*ts*) < *k̂* отличала, очевидно, также славянские языки, существенно отграничивая их от балтийских [62]. У инновации *k̂* > *c*(*ts*) был, по-видимому, кроме стадиального, также ареальный аспект. Во всяком случае инновационная изоглосса *k̂* > *c*(*ts*), отграничивая, как уже сказано, славянский от балтийского, **сближает его с балканско-индоевропейским.** Так, указывалось, что алб. *th*, восходящее к и.-е. *k̂*, определенно свидетельствует о промежуточной аффрикате *tś* [63]. Возможно, близкую к раннепраславянской стадию аффрикаты *c*(*ts*) < *k̂* знал дакский, ср. рассуждения относительно субстратного в таком случае рум. *ţarca* 'сорока' [64]. Неслучайными поэтому могут показаться попытки определить центральное положение славянского в языках сатэм, как, например, в [65, passim], но взгляд автора на славянский как на некий "сатэмный остров со звуком *o*, целиком окруженный *a*-сатэмными языками" представляется не вполне соответствующим действительному положению вещей, в котором мы попытались разобраться выше в связи с индоиранским переходом *e*–*o*–*a* → *a*.

Однако из общего вероятия периферийного расположения кентумных языков еще не следует делать вывод о наличии языка-кентум в древней Восточной Европе [66]. Это была преимущественно сатэмная зона с кентумными элементами разного статуса (см. выше). Один такой эпизод, достаточно интересный в лексическом, ареальном и культурноисторическом плане, представляет название конопли и его этимология (подробнее см. в [67]).

НАЗВАНИЕ КОНОПЛИ В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ САТЭМ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Название конопли охватило многие языки Европы с раннего времени, но в большинстве из них оно обнаружило чужеродные характеристики, например, попав в германский еще до I германского передвижения согласных, оно все же сохраняло негерманский вид (*hanapis*), точно так же греч. κάνναβις имело негреческий вид, что

все вместе способствовало “неиндоевропейской” репутации этого слова [68]. Однако традиционное мнение сейчас можно считать предубеждением, мешавшим видеть истоки слова. Греческое, латинское, славянское, германское названия конопли заимствованы, но не из Передней и не из Малой Азии. В Грецию конопля пришла вместе с названием непосредственно с севера. Возможно, промежуточным посредником явился фракийский язык с его неустойчивостью консонантизма, поскольку первоисточником греческого и фракийского слов была, видимо, форма **kan(n)apus-*, как это подсказывает инверсионный вариант **puskana-*, известный в Восточной Европе (ср. русск. *посконь* и другие формы). При этом отмечается возрастающее богатство форм и значений по мере продвижения на Восток, а не на Запад, что объективно противоречит этимологии Мейе из латинского. Далеко не все ясно относительно словообразовательно-этимологического гнезда **konopja* в славянском. Так, сюда же еще, возможно, относится слав. **kǫpati (sę)* ‘купать(ся)’, если из первоначального **kan(a)p-* в связи со скифской (восточноевропейской) культурной традицией парной бани с применением испаряющегося конопляного семени (Herod. IV, 75).

Главным отправным пунктом в истории конопли как слова и вещи должно служить точное указание Геродота, что конопля характерна для Скифии, где она “и растет сама, и сеется”. Положения не меняет и то, что соседствующие со Скифией с запада более культурные фракийцы даже делают из конопли одежду (Herod. IV, 74). Финно-угорская праформа **kanapis* и вообще версия о происхождении из нее славянского и других (выше) названий конопли [69, т. 1, с. 559] нереальны, соответствующие формы отдельных финно-угорских слов – полностью или частично – сами заимствованы из северопонтийских районов. Есть основания считать название конопли местным, восточноевропейским словом индоевропейского происхождения, в конечном счете – из индоиран. **kana-* ‘конопля’, ср. сюда же, с одной стороны, др.-инд. *śaṇá-* ‘сорт конопли Cannabis sativa или Crotolaria juncea’ [70], с другой стороны – осет. *gæn/gænæ* ‘конопля’, продолжающее скиф. **kana-* то же [71, т. 1, с. 512–513]. Здесь – в вариантах одного слова – представлены сатэмные (сатэмизированные) формы и исконно велярные формы. Сюда относятся, далее, осет. *sæn/sænæ* ‘вино’, др.-инд. *śaṇa-* также в значении ‘опьяняющий напиток’, ср. топонимическое сложение Κινσάνους в средневековом Крыму, название Алуштинской долины, что-то вроде ‘страна вина’, ‘винная’, толкуемое нами из индоар. (тавр.) **kim-śana-* ‘винное’. Аналогию можно наблюдать в частично сатэмизированном др.-инд. *śarkara-*, безусловная редупликация более простой основы **kar-* ‘камень’, пережиточно сохранявшейся в Европе. Последующая лексикализация закрепила в индоиранском оба варианта – сатэмный **śana-* и кентумный **kana-*, хотя архаичная велярность просматривается, причем – в сочетании с архаичной семантикой: др.-инд. *káṇa-*

‘зерно, семя, крошка’, которое Майрхофер [72, т. 1, с. 146] считает неясным. Женская конопля – семенное растение, откуда название дано по семени в местных индоиранских языках Северного Причерноморья. При этом любопытно, что для обозначения дикой конопли было использовано в сущности доземледельческое название семени. Индоиран. **kana-*, возможно, родственно греч. κόνις ‘пыль’, лат. *cinis* ‘зола’, далее – экспрессивному греч. κόκκος ‘зернышко, семечко плода’. Экспрессивная геминация в последнем, как и в греч. κάνναβις, позволяет понять церебральность др.-инд. *kaṇa-*, *śaṇa-* тоже как экспрессивную. Несколько труднее обстоит дело с интерпретацией другого компонента исходного сложения **kana-pus-*, давшего все прочие европейские названия конопли: может быть, в связи с др.-инд. *púmān* ‘мужчина, самец’, т.е. как ‘конопля мужская’? Последующие смешения названий мужской – бессемянной – и женской конопли возможны. Или мужская конопля названа как ‘пыльниковая, опыляющая’ – от и.-е. **pu-s-* ‘дуть, веять’? (От этой основы произведена древнеиндийская лексика цветов и цветения: *púṣkaram* ‘лотос’, *púṣpam* ‘цветок’, *púṣyam* то же, *púṣyati* ‘цвести, процветать’; в иранском словарном составе эта основа представлена очень слабо).

ОБ ОТРАЖЕНИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО КОНСОНАНТИЗМА В СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ-САТЭМ

Споры вокруг проблемы кентум/сатэм продолжаются; они захватывают порой всю проблематику консонантизма, особенно в сатэмных языках (а подчас также и вокализма), и это не случайно, потому что инновационная природа ряда процессов в языках-сатэм представляется как бы эманацией их – по ряду признаков (выше) – срединного положения в индоевропейском языковом пространстве. Опасность прямолинейных умозаключений подстерегает, впрочем, лингвистов и здесь. Рассматривая славянский консонантизм под углом зрения сатэмной инновации, они нередко склонны недооценивать присутствующие рядом архаизмы, трактуют, например, упрощенно проблему отражения индоевропейских лабиовелярных заднебных *g*$^{u̯}$, *k*$^{u̯}$, приходят к выводу о полном их исчезновании, делабиализации при сатэмизации. При этом обычно оставляются без внимания факты выделения (не исчезновения) губного тембра $^{u̯}$ в особую артикуляцию в ряде примеров славянского: **gъrdlo* – и.-е. **g*$^{u̯}$*r̥-*; **gъnati* –и.-е. **g*$^{u̯}$*hen-*, **ghun-*; **gъrnъ* – и.-е. **g*$^{u̯}$*hr̥no-*. Вайян, который видел здесь продолжение в славянском названных индоевропейских форм [50, с. 171], вероятно, был прав, в отличие от своих оппонентов, ср. [73, 74]. Очевидно, внимательная ревизия соответствующих фактов славянского могла бы укрепить и развить концепцию преемственного развития, или, иначе говоря, более комплектного отражения индоевропейского консонантизма в славянском языке-сатэм.

ЦЕНТР ПРАСЛАВЯНСКИХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ – В ПАННОНИИ

В послевоенной славистике, кажется, не привлекла особого внимания одна небольшая публикация Т. Милевского [75], которая такого внимания в полной мере заслуживала и представляется нам теперь симптоматичной в плане наших нынешних интересов. Польский лингвист указал на выделение в позднепраславянский период (начиная с VII–VIII вв.) центра ряда важных фонетических инноваций, а заодно и центра славянской территории, каким оказался район к югу от Карпат, в частности Паннония. Милевский считает, что именно отсюда исходили семь новых фонетических процессов позднепраславянского языка: 1) метатеза плавных (интересно отметить, что восточнославянское состояние *tolrot* характеризуется им как дометатезное, с передвижением границы слога из первоначального *tar/t*, т.е. по сути дела как периферийный архаизм); 2) переход носовых гласных в губные ("за вычетом трех периферий", куда он относит лехитский, а также словенский и болгаро-македонский); 3) победа узкой артикуляции *ě = e/ė/i* (кроме лехитского и восточноболгарского ареалов); 4) переход праслав. *y > i*; 5) падение праславянской интонации; 6) диспалатализация мягких согласных перед передними гласными (с убыванием по мере продвижения со славянского Юга на славянский Север; при этом автор указывает на наилучшую сохранность палатальности на славянском Севере – в поморских, мазовецких и далее – белорусских диалектах, т.е. на перифериях славянского языкового пространства, в терминологии Милевского; не можем не обратить внимания на то, что Мартынов [76] называет именно лехитскую территорию, "на север и на запад от Подляшья", эпицентром аккомодации в праславянском духе); 7) переход *g > h* в XI–XII вв. в центре Славии, т.е. в.-луж., чеш., словац., укр., белорусск., ю.-в.-р. (здесь интересна тенденция внутриславянского объяснения *g > h*, которое В.И. Абаев несколько ранее попытался, как известно, тоже опираясь на ареальные данные, отнести на счет иранского – скифского субстрата). Можно сказать лишь, что нам не кажутся убедительными заключительные собственные выводы самого Милевского о том, что в конце праславянского периода состоялся перенос центра славянских инноваций на юг из более северных районов. Подобное умозаключение как бы логически превращает земли к югу от Карпат (Паннонию и соседние с ней) в периферию предшествующего славянского ареала, а от периферии мы, как и сам Милевский, были бы склонны ожидать устойчивых архаизмов, но отнюдь не инноваций, да, к тому же, столь комплектных. Вообще центр ареала – величина весьма стабильная, в его мобильность и нормальное функционирование при этом именно как центра ареала, resp. инноваций, плохо верится. Инновации и миграции на периферию ареала все-таки плохо совместимы. Единственно правильный

вывод из наблюдений Милевского – это тот, что **центр праславянской территории и ранее традиционно находился к югу от Карпат**.

Между прочим, и археологи называют центром доподлинно славянской пражской керамики моравско-словацкую территорию в бассейнах Вага и Моравы [77, с. 26]. На всем ареале керамики пражского типа, за характерным исключением висло-одерского региона, отмечается в качестве типичного раннеславянского жилища прямоугольная полуземлянка с печью или очагом в углу. Такая форма жилища встречается на территории Словакии и Моравии, т.е. на непосредственно придунайских землях, с достаточно раннего времени [78]; присутствие полуземлянок славянского типа в карпато-дунайских землях констатируется в III–IV вв. н.э., т.е. в эпоху черняховской культуры [79]. В отличие от господствовавшего прежде убеждения о хронологическом разрыве между культурами римского времени и раннеславянской культурой, исследователи начинают говорить о контакте и сосуществовании этих культур [80]. Правда, цитируемые археологи мыслят себе среднедунайское пространство как славянизированное вторично со стороны Правобережной Украины и Южной Польши, но для нас здесь важнее выделить практическую современность придунайских раннеславянских культурных остатков черняховской эпохе и позднеримскому времени.

В наших глазах и в свете отстаиваемой нами концепции придунайского ареала древних славян большое значение приобретают результаты археологического обследования, которые привели к выводу, что не только славянская керамика великоморавских поселений VIII–IX вв., но **и раннеславянская пражская керамика IV и последующих веков приблизительно этих же районов изготовлялась в точном соответствии с римскими мерами жидких и сыпучих тел** [81, с. 121 и сл., 136, 137, 138]. Любопытно, что метрологическое единство великоморавской славянской керамики и раннеславянской придунайской керамики пражского типа и римскую основу этого единства авторам приходится объяснять как знакомство славян с римскими мерами "еще до ухода с прародины" [81, с. 140], хотя наиболее очевидным здесь был бы аргумент непрерывности не только техники производства, но и придунайского ареала обитания, а концепция прихода славян на Дунай с прародины к северу от Карпат лишь затруднила бы понимание вещей. Экскурс в раннеславянскую гончарскую метрологию по римскому образцу предпринят нами ввиду интердисциплинарного интереса, который представляют эти данные. Для общей картины важно иметь в виду существование отличного фона; например, те же исследователи отмечают, что керамика тисского типа, видимо, принадлежавшая кочевникам, изготовлялась в соответствии с другой системой мер; на Западе распространенную римскую систему мер реформировал Карл Великий.

Таким образом, то, что теории славянской прародины на север от Карпат до последнего времени объясняют как "относительно

раннюю славянизацию" Моравии и Словакии [82], допускает в связи с притоком новых фактов квалификацию как **центров** языкового и культурного развития древних славян. Неудивительно также, что и в отношении Паннонии наука возвращается и еще будет возвращаться к пересмотру вопроса о присутствии там славянского элемента в древности, в частности, на материале ономастики, ср. весьма прозрачное название племени *озериаты* близ озера Пельсо (Балатон) и название реки *Bustricius* (географ Равеннский), которое неотделимо от многочисленных славянских гидронимов *Быстрица* [83]. Территориальная привязка озериатов к Паннонии, как и связь этого названия со славянским названием озера, достаточно конкретно свидетельствуют против попытки вывести последнее из балтийского, ср. [84].

О ЦЕНТРЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО АРЕАЛА

Лингвистические судьбы праславян неразрывно связаны с лингвистическими судьбами праиндоевропейцев, и эта точка зрения все-таки постепенно прокладывает себе путь – не как предвзятая идея, а как вывод, вытекающий из растущих численно фактов, которые сопротивляются и теории балто-славянского языкового единства и относительно новой концепции, рассматривающей славян как индоевропейцев как бы в третьем поколении. Все более тесное слияние задач и материалов праславистики и индоевропеистики побуждает одних и тех же исследователей почти с равной интенсивностью решать вопросы славянского и индоевропейского глотто- и этногенеза, что нашло, естественно, отражение и в настоящей работе. Западногерманский славист Ю. Удольф после своей большой книги о славянской гидронимии и прародине славян 1979 г. (см. о ней нашу рецензию [85]), где он, как известно, пришел к спорной локализации праславян на ограниченной территории в Прикарпатье, обратился также к проблеме раннего членения индоевропейского на материале гидронимии [86, passim]. Заранее замечу, что меня не удовлетворили и на этот раз выводы автора и основное направление его мыслей, но собранный им материал, а главное – его картографическая проекция представляют немалый интерес и дают новую пищу для праязыковых штудий и локализаций, правда, совсем не в том смысле, в каком представлял Удольф. Эти данные удобно отражены на карте в его статье [86, с. 60], которую мы используем и далее, на своей карте. Суть наблюдений Удольфа сводится к тому, что на древней карте Европы отмечаются три крупных скопления индоевропейских гидронимов: так называемый "северо-западный блок" (в низовьях Рейна и междуречье Везера и Эльбы), затем – в Италии и, наконец, в Прибалтике, не говоря о редких гидронимах, рассеянных без видимых скоплений в промежуточном пространстве описанного треугольника (у нас далее опускаются). В этих трех гидронимиче-

ских скоплениях древней Европы Удольф видит непосредственное отражение ранних индоевропейских диалектных групп. Балтийскую гидронимическую группу он считает основной, центральной (в чем он следует балтоцентристской модели своего учителя В.П. Шмида), мысленно протягивая от нее линии к соответствиям в обеих других группах. Не буду повторяться о кучности гидронимов как явлении, характерном для зоны экспансии (периферия), а не для исходного центра, скажу только, что балтийская зона не может быть центром, поскольку это классическая периферия. То, что итальянская группа гидронимов – это другая такая же периферия индоевропейского ареала на юге, в Средиземноморье, а нижнерейнско-везерская группа – это тоже периферийная зона на северо-западе, надеюсь, не станет оспаривать и сам Удольф. Уже это одно сопоставление должно бы навести на мысль об аналогичном статусе балтийской группы. Важность сопоставления всех трех групп у Удольфа – в том, что они помогают четко очертить внутреннее пространство между ними, которое нас интересует, надо сказать, больше всего. Если соединить балтийскую и итальянскую группы гидронимов условной линией, ее средняя часть ляжет примерно на Подунавье. Из этого полученного нами центра другая условная прямая линия может быть проложена в сторону "северозападного блока". Это и был старый языковой и этнический центр индоевропейской Европы, выведенный нами в Подунавье как бы с помощью векторного определения. Разумеется, и наша попытка схематична, но схематизм этот другой, он построен на учете динамики этнического и лингвистического (гидронимического) освоения новых пространств. Интересно попутно отметить, что из трех крупных ранних индоевропейских гидронимических периферийных групп две обращены к северу. Это согласуется с тем вероятием, что индоевропейское освоение шло с юга на север, что Север был освоен вторично и притом – не до конца, ср. все еще зияющую, несмотря на усилия заполнить ее, "лакуну Краэ" на запад от Вислы и Одера.

СЛАВЯНСКИЙ АРЕАЛ – В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ

Кажется, что вряд ли будет правильно – в свете современных изложенных выше данных, дописав тезис о праиндоевропейском ареале, отложить его и приняться определять праславянский ареал в каком-то совершенно другом месте. Так следовало бы сделать, если бы для того имелись серьезные данные, но их нет. Конечно, все зависит от интерпретации нередко одних и тех же данных, которые разным исследователям говорят разное. И все же уточнение и совершенствование методов должно увеличивать число однозначных решений. Так, традиционно продолжают сомневаться в славянстве варварского племени первой половины V в. н.э., упоминаемого Приском примерно на территории современной Воеводины и говоряще-

го на отличном от германского языке, а также пьющего напиток *medos* [77, с. 25]. Автор названного исследования думает при этом о сарматах, засвидетельствованных в V в. на этих же территориях, но мы раз и навсегда отклоним такую приблизительную атрибуцию, потому что у сарматов-иранцев название напитка звучало бы как *madu-*, а не *medos*. Равным образом, несмотря на упорное стремление аргументировать неславянское происхождение глоссы *strava* в описании погребения Аттилы V в. на среднем Дунае у Иордана, как раз славянская версия с чертами западнославянской фонетической эволюции – *strava* < **jьztrava* – является наиболее правдоподобной, как мы показываем в другом месте [87].

Но история славянских древностей, в том числе языковых, связанных со Средним Подунавьем, уходит в глубь времен. На это было обращено внимание в связи с терминами обработки металлов, металлургии, которые объединяли славян с иными древними индоевропейскими племенами, соседствовавшими с запада, – германцами, кельтами и италиками. За прошедшие тысячелетия изменилось очень многое – ареалы контактировавших этносов и даже их состав (кельты, давшие так много европейской металлургии и культуре вообще, давно исчезли в Центральной Европе). Изменились и ареалы некоторых слов из этой области; так, слав. **gъrnъ* и **moltъ* распространились вместе с носителями славянских языков по Балканскому полуострову и Восточной Европе. Но и они сохранили навсегда связь с Центральной Европой, как о том говорят их исключительные терминологические соответствия в латинском языке. Что же касается других важных и не менее древних и самобытных металлургических терминов – праслав. диалектн. **ěstěja* 'отверстие печи', **vygnь* 'горн, кузница', **kladivo* 'молот, молоток', то они до сих пор так и остались, так сказать, в "придунайских" славянских языках[1], не распространившись даже в польских землях, не говоря уж о восточнославянских. Эти важные архаичные кузнечные термины наиболее полно символизируют принадлежность к центральноевропейскому культурному району, если иметь в виду, в первую очередь, близость этих славянских слов и соответствующих германских, латинских и кельтских слов. Связи этих слов столь древни и своеобразны, с чертами собственного давнего развития, что необходимо отметить незаимствованный характер славянских форм [89]. В дальнейших исследованиях было уделено внимание этому тезису нашей книги о ранней ориентации славян на Центральную Европу, при незначительности древних терминологических связей славян с балтами [90; 26, с. 27]. Сторонники тесных балто-славянских языковых отношений иногда, правда, находили эти наши положения "странными", но я не думаю, что это серьезно повлияло на убедительность самих

---

[1] Существенные дополнения о распространении **vygnь* в болгарском и македонском, включая ср.-болг. *выгнии* 'кузница' в Скитском патерике XIII в., см. [88].

положений. Следует иметь в виду мощное культурное основание, на котором зиждется кратко охарактеризованная выше славянская терминология обработки металлов и связанная с ней лексика других индоевропейских языков Центральной Европы. Археологи-исследователи европейского бронзового века специально указывают: "Не следует забывать значение европейской металлургии при сравнении с данными с Ближнего и Среднего Востока; на Ближнем Востоке есть все: медь, олово и золото..., но их обработка не была ни в коем случае более ранней, чем на европейском континенте" [31, с. 8]. М. Гимбутас подошла, естественно, к этим культурно-историческим данным с позиции своей теории о цивилизованной доиндоевропеиской Древней Европе, "курганизированной" позднее индоевропейскими кочевниками. Оставив в стороне эту атрибуцию древнеевропейской цивилизации, возьмем у Гимбутас лишь карту "древнеевропейской металлургической провинции" [33, с. 34, рис. 9], представляющую интерес в любом случае. Мне показалось полезным завершить эту часть рассуждений совмещенной картой, на которую последовательно положены контуры "древнеевропейской металлургической провинции" (Гимбутас, 1982), зоны концентрации древних индоевропейских гидронимов (Удольф, 1981) и мой центральноевропейский культурный район (Трубачев, 1966). Чтобы не усугублять схематизм, не проведены лишь линии векторов, но их каждый может провести мысленно, как предложено выше. Здесь также совмещен (и тоже сознательно) наш вариант ответа на вопрос о центрах индоевропейского и праславянского ареалов[2].

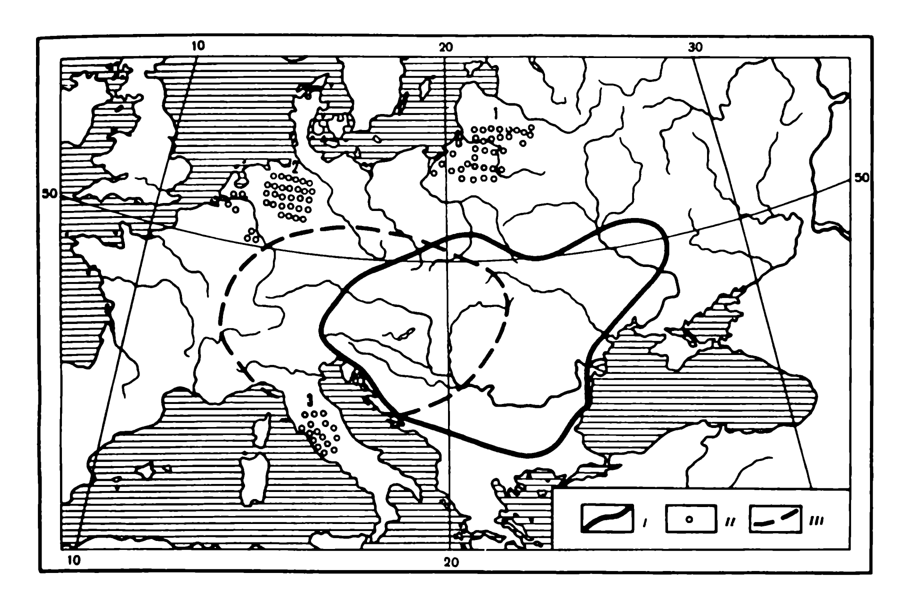
Локализация центральной или значительной части древнего индоевропейского ареала в придунайских районах не нова, имеет свою значительную традицию, на которой нет возможности останавливаться. Можно сказать, что она выдержала испытание временем. К ней постоянно обращаются, споря с более новыми теориями, см. [44, с. 12; 91, 92].

Традиция обитания славян на Среднем Дунае, видимо, не прерывалась никогда. Об этом может косвенно свидетельствовать немаловажное указание, что "продвижение славян к берегам Дуная и освоение ими огромной цветущей долины дунайского левобережья" прошло "незаметно для глаза историка" [93].

В исследованиях В.Т. Коломиец о славянских названиях рыб [94, 95] постоянно звучит тема раннего проживания славян и других индоевропейцев в южной части Центральной Европы, ср. хотя бы факт знакомства с форелью и обозначение ее производными от праслав. **pьstrъ* 'пестрый' практически во всех славянских языках.

---

[2] Пользуюсь случаем, чтобы отметить выступление А.В. Десницкой в поддержку моей идеи концентричности расположения праиндоевропейского и праславянского ареалов в Подунавье (при обсуждении моего доклада на IX Международном съезде славистов в Киеве).



Карта 5. I – "древнеевропейская металлургическая провинция" (Gimbutas 1982); II – концентрация в Прибалтике (1), "северо-западном блоке" (2) и Италии (3) (Udolph 1981); III – центральноевропейский культурный район (Трубачев 1966)

Поиски паннонскославянских и дакославянских остатков языка, хотя и затрудняются в высокой степени спецификой венгерского языка и другими трудностями, очевидно, не должны прерываться и могут принести определенный результат, ср. личное имя собственное *Bichor* (Паннония, 1086 г.), сюда же название гор *Бихар* (венг. *Bihar*, рум. *Bihor*) в Трансильвании, а также некоторые соответствия в южнославянской ономастике*, при полном отсутствии продолжений апеллативного праслав. **bухогъ*, реконструируемого на основании этих данных суффиксального производного от **byti* 'быть', ср. польск. *znachor* 'знахарь', белорусск. *жыхар* 'житель'; ср. [96]; дославянский субстрат предполагает [97].

Еще двадцать лет тому назад Георгиев указывал на соседство праславянского языка с дакским (у Георгиева – дакийский, дакомизийский), распространенным в Восточной Венгрии и Румынии [98]. Археологи констатируют около начала нашей эры даже дакскую экспансию в Среднем Подунавье [99]. Древнее соседство не могло обойтись без языковых, изоглоссных и других связей. Выше мы кос-

* Ср., впрочем, также среди ономастических реликтов древнего славянского Запада: *Bichore, Bichure* (XIII в.) < **Bychori*, ср. еще чеш. *Býchoři*, польск. *Bychorz*. См.: *Trautmann R.* Die Elb- und Ostseeslavischen Ortsnamen. T. 1 (= Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Philos.-historische Klasse. Jg. 1947, Nr. 4). B. 1948. S. 106.

нулись одной из языковых daco-slavica – общей стадиальной изоглоссы *c (ts) < k̂*. К концепции центральноиндоевропейского, дунайского положения праславянского возможны, таким образом, подходы и с этой стороны. Вообще существует вероятие весьма большой близости славянского и древних индоевропейских языков Балкан, проявившейся, как полагают, в полной славянизации автохтонного балканского населения [100]. Поиски на этом пути надо продолжать, и нас ждут, возможно, новые находки. Например, довольно убедительно показано, что старое название **лесистого** острова Лесбос – Ἴσσα – происходит из **id-sa* < и.-е. **u̯idhu̯* 'дерево', 'лес', 'лесистая гора', ср. в соседней (фракийской) Троаде гора по имени Ἴδη, см. [101], с дальнейшими ссылками на работы Л.А. Гиндина. Однако случайно ли при этом остров Исса носит еще и "новое" название Λέσβος, Лесбос? Или мы вправе предположить здесь особое, тоже негреческое, индоевропейское название **lē̆su̯os*, **lēsou̯os* с той же внутренней формой '**лесной**', что и Ἴσσα (выше), идущее с индоевропейских Балкан и удивительно напоминающее праслав. **lě̆sovъ*? Ср. равнооформленный топоним *Berzovia* с территории античной Дакии и праслав. **berzovъ* 'березовый'.

В этой связи стоит упомянуть о прослеженной В.А. Городцовым народной орнаментальной композиции (женщина между двумя всадниками), общей для дакских свинцовых табличек и для русских вышивок [102]. Естественно, что, этимологизируя в пограничье, иногда приходишь к выводу о необходимости пересмотреть свои предыдущие толкования в пользу другого языка и этноса. Я имею в виду свое предположение [4, с. 8–9]** о происхождении плиниевской глоссы *Morimarusa* 'mortuum mare' в конечном счете из ранне-праславянского выражения с тем же значением 'мертвое, умершее море', о разливах в Потисье. Теперь я думаю, что это, скорее, был остаток дакского языка, ареал которого входил и в Восточную Венгрию, бассейн Тисы. Дакский язык, видимо, располагал также причастиями прошедшего времени на *–u̯es*, *–u̯os*, *–us* (*-marusa* 'умершее, –ая') подобно индоиранским, греческому, балтийским и славянским. В атрибуции плиниевского *Morimarusa* дакскому языку нас укрепляет довольно вероятная морфологическая параллель дакского топонима *Sarmizegetusa* (Птолемей), столица Дакии, древний город в Южных Карпатах. Название *Sarmizegetusa* не получило удовлетворительного объяснения (ср. попытку прочесть его как 'город с частоколом' [103]). Можно попытаться истолковать *Sarmizegetusa* как выражение, значившее что-то вроде 'горячий источник', с постпозицией определения (как и в *Morimarusa*!), причем первый компонент – к апеллативно-гидронимическому *serm-/sarm-* 'поток', известному в балканскоиндоевропейских языках, а второй – причастие действ. прош. на *–us-* от глагола с корнем *zeg-* < **di̯eg-* < **deg-* 'жечь'. В Сар-

---

** См. также выше, с. 44.

мизегетусе, которая была не только царской столицей, но и религиозным центром со святилищами, обнаружены остатки канала, который подводил из близкого источника воду, использовавшуюся при священнодействиях [104]. В деталях близко этимологизирует *Sarmizegetusa* Шаль [105] – через сравнение с эпиграфическим именем *Salmo-deg-ikos* (Истрия) 'солевар' (?), откуда якобы *Sarmizegetusa* 'солеварный канал', но сомнительность формальных деталей довершает культурноисторическая и социолингвистическая сомнительность целого: у нас нет данных о солеварении в Сармизегетусе, но достоверно известны там культовый центр, храмы, вероятно и культовое назначение источника.

СОЦИОЛИНГВИСТИКА И ЭТНОЛИНГВИСТИКА ЭТНОГЕНЕЗА

И в малых этюдах и в больших работах по лингвоэтногенезу должна совершенствоваться социолингвистическая и этнолингвистическая мысль, которая нередко в действительности сильно отстает от формального анализа, отчего последний может получать неверное направление и осмысление. Так, все еще недостаточно учитываются особенности и потребности древнего этнического самосознания, для которого главное – идентификация по принципу "мы" – "они" [106, passim], тогда как развитое самообозначение отнюдь не принадлежит к числу наиболее ранних потребностей[3]. В последнее время в целом возобладала этимологическая концепция самоназвания **slověne* 'славяне' как первоначально означавшего 'ясно говорящие' [108, 109]. Думается, что она более адекватно отражает древнее этническое самоназвание с его первостепенной актуальностью самоидентификации по принципу "мы" – "они", поэтому другая попытка, исходящая от историка Восточной Европы Г. Шрамма, с осмыслением **slověne* как **Sloven(t)-n-* от **Slovǫta* 'Днепр', т.е. 'днепряне' [110], не может встретить нашего сочувствия ни с формальной стороны, ни со стороны этнолингвистической, чем, видимо, и вызвано то, что Шрамм до сего времени, к его огорчению, не получил положительного отклика (Widerhall). Все исследователи интуитивно понимают, что название **slověne* не было изначальным[4]; значит, был период времени, когда этого названия у славян не было. Что же было тогда? Эта пустота вместо этнического самоназвания у славян

---

[3] Поэтому выглядит поспешным утверждение теоретика-этнографа: "Нет и не было ни племени, ни народности, ни нации, ни национальности, у которых бы оно (самоназвание. – *О.Т.*) отсутствовало" (см. [107]).

[4] Хотя, очевидно, не все понимают правильно природу этого явления и его распространения, ср. объяснение искусственным насаждением и распространением названия одного племенного союза – *склавен, славян* – как общего наименования всех родственных этносов "не в последнюю очередь благодаря византийской историографии", см. [111].

действует на исследователей угнетающе, и они – в убеждении, что в этой функции должно было быть что-то еще более древнее – продолжают свои поиски и приходят, например, к тому, что древнейшим именем славян было *Veneti/Venedi* [112]. Примерно такой же точки зрения придерживаются В. Георгиев и И. Дуриданов (выступление на IX Международном съезде славистов). В такой форме это утверждение, конечно, неверно, а верно лишь то, что, как известно, имя венетов-венедов было вторично перенесено на славян главным образом их западными соседями после того, как славяне заполнили "этническую пустоту", оставшуюся после ухода венетов, бывших прежде к востоку от германцев (содержащееся, далее, в статье Голомба отождествление имени венетов и вятичей, наконец, попытка подвести под и.-е. **u̯enét-* понятие "воин" в духе трехчастной социальной структуры индоевропейцев по Бенвенисту–Дюмезилю – все это, скорее, сомнительно).

Один из центральноевропейских этносов, лишь значительно позже усвоивший самоназвание **slověne*, говорил на языке (или группе диалектов), архаичность которого (правда, весьма специфическая, поскольку она представляет собой сочетание продвинутости, т.е. центральности, славянской языковой эволюции со специфически славянским – преобразованным архаизмом) и в наше время вызывает удивление, в том числе и у неславистов: "Так, можно с полным правом удивляться по поводу того, как, несмотря на раннюю письменную фиксацию ст.-слав. *лѣвъ* "левый", русск. *левый* до наших дней не обнаруживает ни малейших признаков забвения, тогда как его латинский родственник, а именно *laeuus*, полностью угас в старой романской речи" [113][5].

И последнее – и главное, что упорно забывают, когда говорят в новейших исследованиях о едином и неразделенном праиндоевропейском или даже общеиндоевропейском языке: праиндоевропейский с самого начала был группой диалектов, точно так же с самого начала был группой диалектов и праславянский язык. Это имеет методологическое значение для правильных представлений о праязыковом словаре, лексике, ибо "весь праиндоевропейский лексический фонд не мог возникнуть в одном и том же месте в одно и то же время" (В. Пизани) [цит. по 114]. Важный, как кажется, вывод отсюда – это то, что, скажем, праславянский словарный состав в силу своей естественной полидиалектности не мог и не должен был быть достоянием одного (индивидуального) праславянского языкового сознания. Надо исходить из с о б и р а т е л ь н о г о характера носителя праиндоевропейского, праславянского, как, впрочем, и любого другого лексического фонда.

---

[5] Архаичность слав. **lěvъ* едва ли удачно объясняется в духе новой концепции италийского проникновения, см. [84, с. 73].

60. *Барроу Т.* Санскрит. М., 1976. С. 18.
61. *Shields K.* Jr. A new look at the centum/satem isogloss // KZ. 1981. 95.
62. *Трубачев О.Н.* Лексикография и этимология // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1973. С. 305 и сл.
63. *Solta G.R.* Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und des Balkanlateins. Darmstadt, 1980. S. 41.
64. *Rădulescu M.-M.* Daco-Romanian-Baltic common lexical elements. Ponto-Baltica. 1981. 1. P. 71.
65. *Mayer H.E.* Zur frühen Sonderstellung des Slavischen // ZfslPh. 1981. 42. S. 300 и сл.
66. *Schmid W.P.* Die Ausbildung der Sprachgemeinschaften in Osteuropa // Handbuch der Geschichte Russlands. Hrsg. von Hellmann M. [et al.]. Bd. 1. Lf. 2. Stuttgart, 1978. S. 106.
67. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. Трубачева О.Н. М., 1983. Вып. 10. С. 188 и сл., s.v. **konopja*.
68. *Kluge F.* Aufgabe und Methode der etymologischen Forschung // Etymologie / Hrsg. von Schmitt R. Darmstadt, 1977. S. 110.
69. *Berneker E.* Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908 – .
70. *Böhtlingk O.* Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung. Lf. 6. S. 197.
71. *Абаев В.И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.; Л., 1958.
72. *Mayrhofer M.* Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1956.
73. *Курилович Е.* О балто-славянском языковом единстве // Вопросы славянского языкознания. М., 1958. Вып. 3. С. 33.
74. *Горнунг Б.В.* Из предыстории образования общеславянского языкового единства // V Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1963. С. 74.
75. *Milewski T.* Archaizmy peryferyczne obszaru prasłowiańskiego // Sprawozdania z posiedzeń komisji PAN, Oddział w Krakowie, styczeń – czerwiec 1965. Kraków, 1966. S. 134–137.
76. *Мартынов В.В.* Славянская и индоевропейская аккомодация. Минск, 1968, с. 27, 37, 62.
77. *Kurnatowska Z.* Słowiańszczyzna południowa. Wrocław etc., 1977.
78. *Баран В.Д.* Сложение славянской раннесредневековой культуры и проблема расселения славян // Славяне на Днестре и Дунае: Сб. научн. трудов. Киев, 1983. С. 45.
79. *Приходнюк О.М.* К вопросу о присутствии антов в карпато-дунайских землях // Там же. С. 187.
80. *Вакуленко Л.В.* Поселение позднеримского времени у с. Сокол и некоторые вопросы славянского этногенеза // Там же. С. 179.
81. *Bialeková D., Tirpáková A.* Preukázatel'nosť používania rímskych mier pri zhotovovaní slovanskej keramiky // Slovenská archeológia. 1983. XXXI – 1.
82. *Udolph J.* Gewässernamen der Ukraine und ihre Bedeutung für die Urheimat der Slaven // Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongress in Kiev 1983 / Hrsg. von Olesch R. Köln; Wien, 1983. S. 594.

83. *Колосовская Ю.К.* Паннония в I–III веках. М., 1973. С. 23.
84. *Мартынов В.В.* Язык в пространстве и времени: К проблеме глоттогенеза славян. М., 1983. С. 70.
85. *Трубачев О.Н.* Рец. на кн.: Udolph J. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. Heidelberg, 1979 // Этимология. 1980, М. 1982. С. 170 и сл.
86. *Udolph J.* Zur frühen Gliederung des Indogermanischen // IF. 1981. 86.
87. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. Трубачева О.Н. М., 1983. Вып. 9. С. 81.
88. *Rusek J.* Średnbg. *vygnii* "kuźnia" // Македонски јазик. 1979. XXX. S. 225 и сл.
89. *Трубачев О.Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. Этимология и опыт групповой реконструкции. М., 1966. С. 331 и сл., рис. 10 на с. 342.
90. *Birnbaum H.* The original homeland of the Slavs and the problem of early Slavic linguistic contacts // The journal of Indo-European studies. 1973. 1. P. 415.
91. *Янюнайте М.* Некоторые замечания об индоевропейской прародине // Baltistica. 1981, XVII (1). С. 66 и сл.
92. *Горнунг Б.В.* К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности (Протоиндоевропейские компоненты или иноязычные субстраты?). М., 1964. С. 19.
93. *Рыбаков Б.А.* Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982. С. 50.
94. *Коломиец В.Т.* Ихтиологическая номенклатура славянских языков как источник для исследования межславянских этнических взаимоотношений. Киев, 1978. С. 8.
95. *Коломиец В.Т.* Происхождение общеславянских названий рыб. Киев, 1983. С. 138.
96. *Šmilauer V.* Původ místního jména Býchory // Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. 1981. XXII, s. 359–360.
97. *Schramm G.* Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. Stuttgart. 1981. S. 207–208.
98. *Георгиев В.И.* Праславянский и индоевропейский языки // Славянская филология. София, 1963. Т. III. С. 7.
99. *Kuzmová K.* Nížinné sídliská z neskorej doby laténskej v strednom Podunajsku // Slovenská archeológia. 1980. XXVIII – 2. S. 334.
100. *Илиевски П.Х.* Лексички реликти од стариот балкански јазичен слој во јужнословенските јазици // Реферати на македонските слависти за IX Меѓународен славистички конгрес во Киев. Скопје, 1983. С. 12.
101. *Яйленко В.П.* Ἴσσα – "лесистый" остров: к этимологии названия // Славянское и балканское языкознание. Проблемы языковых контактов. М., 1983. С. 66 и сл.
102. *Рыбаков Б.А.* Язычество древних славян. М., 1981. С. 472.
103. *Homorodean M.* Vechea vatră a Sarmizegetusei în lumina toponimiei. Cluj-Napoca, 1980, p. 51.
104. *Daicoviciu H.* Dacii. Buc., 1972, p. 228, 230.
105. *Schall H.* Die Kelmis-Sprache. Eine antike Grund-Sprache im Bereich Dakothrakisch: Baltoslawisch // Onoma. 1978. XXII (1–2). S. 306.

106. *Mahapatra B.P.* Ethnicity, identity and language // Indian linguistics. Journal of the Linguistic society of India. 1980. 41. P. 61 и сл.
107. *Бромлей Ю.В.* Очерки теории этноса. М., 1983. С. 45.
108. *Maher J.P.* The ethnonym of the Slavs – Common Slavic **Slověne* // The journal of Indo-European studies. 1974. 2. P. 143 и сл.
109. *Трубачев О.Н.* Из исследований по праславянскому словообразованию: генезис модели на *–ěninъ*, **-janinъ* // Этимология. 1980. М., 1982. С. 13.
110. *Schramm G.* – Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 30. Wiesbaden, 1982, s. 264. – Rec.: Славянские древности. Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980.
111. *Havlík L.E.* Přeměna společenských formací a etnogeneze Slovanů // Československá slavistika. Pr., 1983, s. 158.
112. *Gołąb Z.* Veneti/Venedi – the oldest name of the Slavs // The journal of Indo-European studies. 1975. 3. P. 321 и сл.
113. *Malkiel Y.* Semantic universals, lexical polarization, taboo. The Romance domain of "left" and "right" revisited // Festschrift for O. Szemerényi. Ed. by Brogyanyi B. Pt. II. Amsterdam, 1979. P. 514.
114. *Лелеков Л.А.* К новейшему решению индоевропейской проблемы // ВДИ. 1982. № 3. С. 36.

ГЛАВА 5

САМОНАЗВАНИЕ И САМОСОЗНАНИЕ

При всем множестве вопросов, встающих перед языкознанием, когда оно поднимает проблему этногенеза славян, главнейшие из них, бесспорно, – те, которые интересуют не одних только языковедов, но и самую широкую общественность, имея в виду прежде всего сами славянские народы, для которых, для их нынешнего национального самосознания небезразлично, откуда – в глубокой древности – появились и кто такие первоначально были славяне.

И хотя все согласны в том, что эти вопросы из области истории явления требуют ответов в историческом духе, все же случается, что при этом картину исторической эволюции подменяют исторической тавтологией, а реконструкцию отношений – неоправданной транспозицией, переносом нынешних отношений в исследуемое прошлое. Тогда искомое – история явления – остается нераскрытым, поэтому, как и прежде, важно различать между историзмом фактическим и декларированным. Последовательный историзм помогает понять, что многие самоочевидные современные явления не изначальны, но занимают лишь свое место в исторической эволюции.

Так, привычное деление славян (и их языков) на восточных, западных и южных – лишь продукт длительной и непрямолинейной перегруппировки более древних племен и их диалектов. Иордан (VI в.) знает славян под тремя именами – венедов, склавен и антов, и

некоторые современные ученые соблазнились совпадением этой древней тройственности названий и современного тройственного членения славянства [1]. Но на самом деле было иначе. Ни венеды, ни анты не были никогда **самоназваниями** славян и первоначально обозначали другие народы на славянских перифериях (венеды/венеты – на северо-западе, анты – на юго-востоке) и лишь вторично были перенесены на славян в языках третьих народов (*венеды* – в языках германцев, *анты* – в языках индоиранских этносов Юго-Востока)*. Другое дело – *склавены* Иордана (в византийской традиции – *склавины*, современное русское *славяне* и т.д.), общее самоназвание славянских племен и народов. Таким образом, большое значение имеет проблематика древнего самоназвания (а через него и самосознания), проблематика в своей сущности лингвистическая.

О том, что в этой области остается преодолеть еще немало устоявшихся прямолинейных воззрений, мешающих правильному видению проблемы, уже говорилось в предшествующих главах. Сюда относится и пресловутое молчание о славянах античных источников. На таких фактах и неправильном их истолковании возникали своеобразные научные мифы, – сначала миф о том, что, следовательно, славян не было вообще в тогдашней Европе (против чего одним из первых выступил П.И. Шафарик) или, по крайней мере, в поле зрения античной, греко-римской ойкумены. Дальнейшим научным мифом оказывается принимаемое отдельными этнологами и этнографами и по сей день обязательное одновременное появление этноса и этнонима. Здесь мы вступаем в область общих этноисторических категорий, которые затрагивают не одних только славян. Приходится настойчиво напоминать, что этноним – категория историческая, как и сам этнос, что появляется он не сразу, чему предшествует длительный период относительно узкого этнического кругозора, когда народ, племя в сущности себя никак не называют, прибегая к нарицательной самоидентификации 'мы', 'свои', 'наши', 'люди (вообще)'. Кстати, такая идентификация очень удобна и применима как оппозитивная в случаях типа 'свои' – 'чужие'**. Что касается 'своих', то можно, как известно, привести ряд примеров, когда этнонимы обнаруживают именно эту этимологическую внутреннюю форму: *шведы (свеи)*, *швабы (свебы)*. Чужих, иноплеменных оказалось удобным и естественным обозначать как "невнятно бормочущих", а также – с некоторым преуве-

---

* Соображения относительно того, что для готов-германцев описываемого Иорданом времени (VI в.) связь между славянами-венедами и славянами-антами не составляла тайны, ср. имя готского короля Винитария, этимологизируемое на германской языковой почве как '*потрошитель **венедов**' (при том, что король этот вошел в историю прежде всего как победитель **антов**), см. также: *Трубачев О.Н.* Germanica и Pseudo-Germanica в Северном Причерноморье // Этимология. 1986–1987. М., 1989. С. 51.

** О глубокой древности и мировоззренческом статусе дихотомии 'свое'–'не свое' см. довольно подробно у нас дальше, в части II и III.

личением – как "немых". Ясно в таком случае, что 'своих' объединяла в первую очередь взаимопонятность речи, откуда правильная и едва ли не самая старая этимология имени *славяне* – от *слыть, слову/слыву* в значении 'слышаться, быть понятным'. Только неучетом излагаемых исторических и социолингвистических аспектов можно извинить появление до недавнего времени этимологий имени всех славян из первоначального 'жители влажных долин' [см. 2].

Такая этимология столь же неудачна, как и формально корректная и весьма популярная этимологизация Розвадовского – Будимира: **slověne* < 'жители по реке Slova'. Никакими балтийскими аналогиями, поисками гидронимов и апелляциями к поэтическому эпитету Днепра – *Словутич* – не удается сейчас оградить эти остроумные версии от критики.

Знакомя однажды со своими соображениями на этот счет своих коллег, я вдруг отчетливо уяснил, что с определенного момента эти сюжеты воспринимаются как бы на веру – как результаты чересчур глубинной реконструкции, этимологизации. Аудитория, состоящая из лиц русской языковой и национальной принадлежности, воспринимает эту ситуацию слишком абстрактно, т.е. как бы не до конца, поскольку на практике мы у себя не сталкиваемся со случаями существования народов без названий и с вынужденной идентификацией 'мы', 'свои', 'наши'. Когда меня попросили разъяснить на экзотических примерах, то, наверное, полагали, что подобная архаическая стадия, если и сохранилась, то скорее где-нибудь у туземных племен Центральной или Южной Америки. А между тем ("Не по што ходить в Перъсиду, а то дома Вавилонъ", как сказал протопоп Аввакум) достаточно внимательного взгляда на языковое и этническое положение в нынешней Югославии, и перед нами, mutatis mutandis, всплывает аналогичная ситуация с потенциальным отсутствием этнонима. Разумеется, там есть весьма древние этнонимы *сербы* и *хорваты*, но один и тот же – в принципе – язык у хорватов до сих пор называется *хорватский или сербский*, у сербов – *сербский или хорватский*, до сих пор решающий дифференциальный признак между обеими нациями – культурный (католик – синоним хорвата, православный – синоним серба), далее, на том же языке говорят магометане Боснии и Герцеговины, т.е. в духе культурных противопоставлений – ни сербы и ни хорваты, наконец, там же есть известный процент лиц (носителей сербохорватского языка), которые – ни то, ни другое и ни третье ("neodređeni" – "неопределенные"). К чему приводит такое исключительно сложное положение? Оно приводит к стихийному возрождению практики архаической доэтнонимической стадии, и в Югославии, стране развитых современных наций, приходится встречать обозначения типа "naš jezik" как в бытовой речи ("Kako lijepo govorite na našem jeziku!"), так и в научной (ср. журнал под названием "Наш језик"), чем как бы снимаются упомянутые противоречия.

ТИПОЛОГИЯ ЭТНОГЕНЕЗА: БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Конечно, на историзм и свой вклад в Историю заявляет права ряд общественных дисциплин, которые изучают соматического праславянина, праславянина – носителя культуры (культур), (пра)славянина – субъекта исторических анналов. Не повторяя здесь общих мест об известном примате языкознания в вопросах происхождения славян и вообще – в вопросах этногенеза, все же отметим, что этногенетическая метрика славянства восстановима прежде всего лингвистически. Лингвистически удается доказать, что славяне, образно говоря, не "внуки" скифов и не "дети" (западных) балтов, поскольку скифы были иранцами по языку, как это доказано достижениями сравнительного языкознания еще в прошлом веке, а славяне представляют свою собственную эволюцию индоевропейского лингвистического типа, отличную от балтийской, как это показывают современные фронтальные исследования славянского и балтийского словарного состава и словообразования, хотя бы по опыту подготовки нашего Этимологического словаря славянских языков (ср. об этом в предыдущих главах[1]). Важен учет не только балто-славянских лексических схождений (иногда называют внушительную цифру – 1600 таких соответствий), но и многих десятков и сотен коренных различий такого рода между балтийским и славянским. Разный инвентарь лексем для выражения одинаковых понятий, а подчас и различие самих принципов номинации в балтийском и славянском подтверждает правильность современного подхода, согласно которому словарные (и ономастические) данные весьма показательны для исследования лингво- и этногенеза (противоположное мнение сейчас можно встретить все реже и реже, так, на IX Международном съезде славистов с выражением недооценки лексических изоглосс для этногенетических исследований выступил, пожалуй, только П. Ивич). Правда, в этой массе нелегко ориентироваться, тогда как необходимо не только ориентироваться, но и найти объяснение фактам того и другого рода во времени и пространстве. Балто-славянские языковые и лексические отношения необходимо исследовать в

[1] Еще одно изложение ингредиентной теории см. в [4]. Автор – В.В. Мартынов – утверждает, что в период до установления отношений между западнобалтийским субстратом и "италийским" (венетским?) суперстратом "трудно говорить о существовании славянского языка". Однако этому отрицанию более глубокой собственной праславянской самобытности противоречит хотя бы выявление самим автором ряда таких древних элементов славянской лексики (проникших и в словарь древнегерманских диалектов), которые (правда, автор не высказывает сам этого наблюдения) не находят параллелей ни в балтийской, ни в италийской лексике. Ср. праслав. **xvatъ*, **plugъ*, **sedъlo*, **skopъ* 'баран, овца', **skotъ*, если держаться в основном списка Мартынова. Стоит обратить внимание и на культурную значимость ряда перечисленных слов.

ареальном плане, хотя для отдаленных эпох это очень трудно. Однако важно реальное допущение, что феномен родства и исконно родственного соответствия может оказаться потенциальным ранним заимствованием из одного близкого контактирующего диалекта в другой диалект. Большая близость балтийского и славянского не случайна, ее причина (одна из причин) коренится в давнем ареальном соседстве обоих, по крайней мере – с железного века, ср. прежде всего название железа, общее у славян и балтов, чем мы еще займемся в дальнейшем. Но, во-первых, при столь длительном соседстве (можно сказать, рекордном по длительности на фоне других эпизодов славянско-индоевропейских отношений), благоприятствовавшем сближению, эта близость могла бы быть даже большей, если бы тому не препятствовала исходная самобытность контактирующих языков. Во-вторых, именно большая ареальная и контактная близость тех и других языков как раз оборачивается помехой для суждений о генезисе явлений в смысле затруднительности разграничения исконного родства от вторичного (заимствованного) происхождения.

Поэтому, при всем богатстве темы балто-славянских отношений, балто-славянский случай явно проигрывает в смысле чистоты по причине означенных помех, если нас заинтересует т и п о л о г и я э т н о г е н е з а как путь к раскрытию неуникальности славянской языковой и этнической эволюции и динамики ввиду неконтролируемости и сомнительности всякой уникальности как таковой.

ТИПОЛОГИЯ ЭТНОГЕНЕЗА: ГЕРМАНО-СЛАВЯНСКИЕ АНАЛОГИИ

Более доказательными (и более чистыми) являются относительно более свободные аналогии, например, германо-славянские параллели, к которым мы намерены обратиться тем более, что предмет исследован в этом плане еще совершенно недостаточно. Этнокультурный и языковой планы при этом переплетаются. Следы древних германцев в северной части Германии, а также в Дании (территории, обычно принимаемые за их прародину) обнаруживаются четко не сразу, о них считают возможным говорить лишь с появлением ясторфской культуры середины I тыс. до н.э. Однако при этом разумно считается, что появление четких культурных признаков само по себе еще не означает никакого terminus post quem, поэтому археологи **отказываются от попыток датировать появление германского этноса** в пользу признания идеи непрерывности развития местной культуры начиная с бронзового века.

Славянские археологи, ретроспективно изучающие эволюцию славянской культуры, сходятся как будто на том, что четкие славянские этнические признаки прослеживаются только с пражской

культуры середины I тыс. н.э. Истоки этой культуры пока неясны, и в целом в славяноведении еще не получили должного развития представления о культурной непрерывности. Однако типологические соображения (приведенная выше германская аналогия) подсказывают нам элементарную неприемлемость стремлений датировать также появление славянского этноса. В предыдущих главах мы уже высказывали сомнения в возможности определять абсолютные хронологические даты в этом вопросе; и ранние, и тем более – поздние даты такого рода не заслуживают доверия, поскольку, помимо общего неправдоподобия, опираются на случайные показания. В принципе случайный факт последнего упоминания племенного имени антов в первых годах VII в. н.э. еще не дает никакого основания для того, чтобы датировать точно этим временем, как это делал покойный историк В.Д. Королюк, не только распространение имени склавен (славян) на всех славян, но и "консолидацию" славянского этноса [5]. **Для славян тоже все более очевидным становится вырастание из культур римского времени** (как о том говорят, в частности, археологические работы последних лет [6]), **железного века и более ранних, с локализацией этого процесса вблизи от центральной Европы.** Методика абсолютных датировок, с точностью до года, вообще выглядит грубовато, будучи не более как имитацией точного знания. Важно исходить из положения, что языковое и этническое развитие славян – это непрерывный процесс. Концепция непрерывности эволюции побуждает славистов пытливее изучать индоевропейскую проблему; она имеет непосредственное отношение и к такому феномену, как глубина этнической памяти, привлекающему сейчас внимание ученых [ср. 7, passim].

ЭТНИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ВОПРОС О ДРЕВНЕМ ДВУЯЗЫЧИИ

Дистанцию во времени и пространстве, которую дают нам типологические свободные германо-славянские аналогии, представляется иногда полезным – в духе сказанного выше – дополнить аспектом их общего прошлого, отступив, так сказать, в глубь праиндоевропейской древности. Мы достаточно подробно для наших целей реферировали ранее одну из крайних индоевропейских теорий – теорию вторичной индоевропеизации Европы с Востока в V–III тыс. до н.э., принадлежащую М. Гимбутас. Здесь остановимся только на одном аспекте – на том, что, согласно этой теории, носители индоевропейских диалектов пришли в "Древнюю Европу", имевшую иноязычное население. Проверяя эту теорию индоевропеизации якобы неиндоевропейской Европы, мы вправе ожидать от языка (языков) сохранения следов давней памяти естественного при этом двуязычия

(индоевропейско-доиндоевропейский билингвизм)[2]. Но оказывается, что таких следов нет, например, в германских языках. Пример с германским тут не случаен, потому что к неиндоевропейскому субстрату уже пытались отнести и германское передвижение согласных, и ряд германских слов, не имеющих индоевропейской этимологии (З. Файст), но это не подтвердилось и объясняется, по-видимому, прежде всего еще недостаточной исследованностью самой этимологии. Во всяком случае неиндоевропейская структура этимологически темных германских слов не доказана [9].

Некоторые пытаются, далее, представить древнеисландский миф о войне между асами (*Asir*) и ванами (*Vanir*) как "реминисцепцию поглощения туземного населения в новом обществе, установленном в германском мире индоевропейскими завоевателями" [10, с. 21]. Но и эта "первая война на свете" между асами и ванами слишком органически связана с собственно скандинавскими, германскими перестройками в мифологии, а, возможно, и в обществе, следовательно, видеть в асах древних внешних завоевателей у нас не больше оснований, чем у Снорри Стурлусона – выводить асов буквально из созвучной Азии [11]. Вряд ли удачно поступают авторы, которые склонны разгадывать следы упомянутого древнейшего двуязычия в тех частях Эдды, где речь идет о разнящихся названиях предметов в языке людей и языке богов [10, там же]. Ни о чем подобном эта богатая метафорами поэзия, по-видимому, не свидетельствует, сильно напоминая похожую мифологизацию синонимов – тоже в языке богов и в языке людей – у Гомера. В конце концов, и автор используемой нами здесь специальной статьи с характерным названием "Двуязычие и смена языков в отражении некоторых из древнейших текстов на индоевропейских диалектах" тоже заключает: "...я сказал бы, что в германском нет надежного свидетельства в пользу доисторического двуязычия!" [10, с. 22]. Еще менее вероятны следы упомянутого древнего индоевропейско-доиндоевропейского двуязычия в славянских языках. Имеющие сюда отношение попытки В. Махека вскрыть "праевропейский" слой дославянской лексики оказались безуспешными, тем более, что в ряде случаев речь шла о словах,

---

[2] Надо сказать, что теории первоначальной двуязычности (а также двуэтничности) занимают определенное место в проблематике и литературе этногенеза, ср. [8]. Справедливо считая предрассудком представление об этнической однородности древнейших народов, автор этой – скорее архивной – публикации, изданной через тридцать с лишним лет после написания, постулирует (в целом голословно) наличие монгольского и тюркского суперстрата, племенной и военной верхушки, над покоренными славянами: к этому восточному суперстату он возводит и скандинавское племя русов "из бассейна реки Рось" (?), Л. Новак полагает даже, что более или менее значительные переселения славян были возможны только под командованием монгольской и тюркской правящей верхушки. В целом мы констатируем здесь возврат (в общетеоретическом плане) к теории Я. Пайскера, также постулировавшего эпоху тюркского ига у древнейших славян, несмотря на то, что Л. Новак отмежевывается от этой старой теории и ее "сомнительных аргументов лексического характера".

вполне удовлетворительно объясненных или объясняемых традиционным путем. Думается, что "праевропейские" этимологические сближения явно не связанных друг с другом слов **věža* и нем. *Schweige*, **glogъ* и греч. κράταιγος вряд ли пережили своего автора. Вывод отсюда может быть один: никаких следов древнего двуязычия нет и у славян.

Возможные ссылки при этом на забвение таких следов в языковой и этнической памяти не могут быть приняты. Не следует недооценивать ни глубину памяти языка и народной традиции, ни – соответственно – важности события (в данном случае – события, постулируемого теорией М. Гимбутас: покорения чужой страны, переселения в чужие земли). До нас дошла память этноса и языка об арийском разделе на иранцев и индоарийцев (не позднее II тыс. до н.э.). Следы индоевропейско-неиндоевропейского общения возможны, например на такой периферии, как Эгейское Средиземноморье, судя по неиндоевропейским догреческим элементам греческого словаря. Значительные события (крупнейшие войны, природные катаклизмы) помнятся чрезвычайно долго. Например, античные источники еще хранят память о прорыве морскими водами пролива Босфора (Боспора Фракийского), случившемся за 4–5 тыс. лет до н.э. [см. 12]. Упомянутое гипотетическое древнейшее двуязычие было бы не старше образования Босфора, и то обстоятельство, что оно не оставило следов ни в языке, ни в древней традиции, делает приход индоевропейцев в Европу откуда-то извне маловероятным.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОИСКОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ

Мы все больше обращаемся к концепции центральноевропейского, среднедунайского ареала индоевропейцев и славян – как продолжения части древнеиндоевропейских племен. В свете того, что известно о сложности именно индоевропейского этнического состава древней Центральной Европы, трудно согласиться с мнением, что "Западная и Центральная Европа еще долго после гибели древнебалканских культур в IV тыс. до н.э. остается неиндоевропейской, возможно, вплоть до II тыс. до н.э., когда начинается постепенное распространение по Европе "древнеевропейских" диалектов – процесс "индоевропеизации" Европы" [13, с. 118]. Определенно индоевропейские носители фатьяновской культуры проникли не позднее II тыс. до н.э. с территории Польши и других центральноевропейских районов в междуречье Оки и Волги [см. 14, 15] (через две с лишним тысячи лет этим же, по-видимому, традиционным путем прошли с Запада на Восток восточнославянские вятичи). Точно так же, видимо, еще в бронзовый век переселились с Балканского п-ова на Апеннинский индоевропейские племена иллирийцев-мессапов, тоже как бы оставляя у себя в тылу среднедунайский центр Европы (и их, очевидно, традиционный путь в точности повторили затем в

новое время их иллирийские соплеменники – албанские переселенцы в Южной Италии). Эти центробежные отселения из внутриевропейских регионов, правдоподобно датируемые II тыс. до н.э. и характеризуемые, к тому же, надежной индоевропейской атрибуцией (а примеры такого рода и близкие по эпохе можно было бы умножить), наглядно опровергают мысль об "индоевропеизации" Европы лишь со II тыс. до н.э.

Неслучайно поколения индоевропеистов продолжают искать начальную область формирования индоевропейских диалектов в Центральной Европе. В предыдущих главах говорилось о теории Боск-Жимперы о первоначальном индоевропейском группообразовании в районе нынешней Чехословакии. Из современных советских (преимущественно археологических) работ можно указать сводки В.А. Сафронова о первоначальном ареале индоевропейской прародины в зоне распространения культуры Лендьел от Карпат и Судет на севере до Дуная на юге [16, с. 83; 17].

Из совершенно других – статистических посылок изучения лексической близости родственных языков исходит в. Маньчак, который помещает в междуречьях Одера, Вислы и Немана не только прародины славян и балтов (в общем – в соответствии с положениями польской школы автохтонистов), но и прародину всех индоевропейцев, вместе взятых [18, с. 29], с чем, конечно, нам трудно согласиться, ср. аргументы, приводимые также далее и свидетельствующие о вторичном освоении как славянами, так и – до них – другими индоевропейцами пространств к северу от Судето-карпатской гряды.

СРЕДНЕДУНАЙСКИЙ АРЕАЛ

Для нас одинаково важно и отсутствие памяти и ее наличие в других случаях. В древнерусской "Повести временных лет" Нестора написаны слова, которым навсегда суждено остаться краеугольным камнем теории славянского этногенеза: "По мнозѣхъ же времянѣхъ сѣли суть Словѣни по Дунаеви гдѣ есть нынѣ Угорьска земля и Болгарьска". Эти слова, к которым мы обращаемся неоднократно, слишком долго подвергались критике в новое и новейшее время со стороны школы Нидерле и других направлений. Всячески оспаривали древность пребывания славян на Дунае и толковали на все лады хотя бы этот знаменитый зачин *по мнозѣхъ же времянѣхь* ("а по прошествии многих времен)", усматривая здесь указание то на предшествующую средневековую миграцию славян, то на целиком книжные, библейские ассоциации. Суть же дела довольно проста. Нестор был добрым христианином, и его слова, внесшие такую смуту в ученые умы, – это всего лишь верность традиционному библейскому рассказу (книга Бытия, гл. II) о Вавилонском столпотворении: бог рассеял языки, после чего, действительно, разумно оказалось

предположить немалое время для того, чтобы славянам оказаться на Дунае. Для нас важен не этот библейский фон, а действительная история, отраженная у Нестора. То, что эта история была реальной, поддается, несмотря на трудности, доказательству разными дисциплинами. Интересно привести здесь некоторые новые доводы современных историков, причем материалом для аргументации послужили **те же исторические документы, которые Нидерле в свое время привлекал для опровержения Нестора.** Одно из первых мест принадлежит при этом анонимному автору "Космографии" предположительно VII в. – Равеннскому Анониму, который повествует о том, что племя склавинов вышло из Скифии, которая помещается "в шестом часу ночи (т.е. севера)" (Sexta ut hora noctis Scytharum est patria, unde Sclavinorum exorta est prosapia. Ravennatis Anonymi Cosmographia, I, 11–12). Слишком прямолинейная идентификация наукой нового времени оригинального деления Земли на часовые пояса у этого анонимного автора и отнесение Скифии к северо-востоку Европы, предложенные Нидерле, получили теперь вескую критическую оценку в работе современного историка Я. Бачича [19], который вскрыл зависимость этого Анонима от Иордана вообще ("Iordanus sapientissimus cosmographus", Rav. An., там же) и в частности – в его представлениях о Скифии. Иордан представлял северную часть ойкумены из двух частей – Германии и Скифии, которые встречались у Мурсианского озера (в нынешней Хорватии); при этом по Иордану, самым западным народом Скифии были германцы-гепиды, жившие в долине Тисы, притока Дуная. Кроме того, Бачич обращает внимание на дальнейший контекст самого Анонима, который помещает, далее, к востоку, "в седьмом часу ночи" сарматов и карпов, причем о последних известно, что они были обитателями горных карпатских склонов, обращенных к дунайскому бассейну. Все отмеченное делает вероятной не только по Нестору, но и по Равеннскому Анониму локализацию древних славян на Среднем Дунае. Бачич привлекает также свидетельство такого раннего автора, как Псевдо-Цезарий (между IV и VII вв.), о славянах, живущих рядом с фисонитами на Дунае (Danubiani); фисониты – это балканские и дунайские христиане, прозвавшиеся по мифической райской реке Фисон, метафорически отождествленной с Дунаем, и их соседство со славянами (именно соседство, а не подверженность набегам со стороны отдаленных славян) было бы невозможно, если бы славяне обитали к северу от Карпат [19, с. 153–154] [ср. и 20, с. 85].

Для реабилитации несторовского предания делается и уже сделано, таким образом, много, но, конечно, многое также предстоит сделать, чтобы преодолеть этот бесплодный скептицизм. Порой аргументы приходится собирать по крохам, как, например, по вопросу о племенных названиях среднедунайских славян. Оспаривая дунайскую прародину славян, указывают, в частности, на то, что Нестор не назвал ни одного славянского племени на Дунае. Конечно,

жизнь славян на Дунае знала свои потрясения, они, подвергшись давлению со стороны волохов-кельтов, частично ушли на Вислу. Вероятно, эти славяне или их часть (возможно, уже в своем перемещенном состоянии, а быть может, и до перемещения) звались какое-то время дунайскими славянами – название, имеющееся у Нестора именно в эпизоде о нашествии волохов. Это название по большой реке могло поддерживаться окрестными народами, ср. и Δανούβιοι у Псевдо-Цезария, относящееся к фисонитам*, но, вполне вероятно, применимое и к склавенам. Из того, что еще дошло до нас по этнонимии славян на Дунае, кроме дунайцев, дунайских славян, можно назвать *нарци*: "Нарци еже суть словѣне". Повесть временных лет (Лавр. лет., л. 2 об.). Вполне вероятно, что так одно время обозначалась часть славян Паннонии, возможно, в непосредственной близости к римской провинции Noricum, Норик (часть современной Австрии). Ясно, что это был первоначально кельтский этноним Norici, зафиксированный у Полибия и Страбона [21]. Но вряд ли справедливо, вместе с тем, было бы подозревать нашего Нестора, назвавшего нарцев славянами, в каких-то политических амбициях; можно поверить, что Нестор отразил традицию того времени, когда этот первоначально кельтский этноним действительно был перенесен на славян. Вырисовывается вполне правдоподобная картина некоего этнонимического (и лежащего в его основе этнического) расслоения и противопоставления: *нарци* "славяне западной Паннонии и Норика", вероятно, к западу от оз. Балатон и с Дунаем непосредственно не связанные, и *славяне дунайские*. Поскольку эти племенные названия впоследствии были забыты, свидетельства Повести временных лет и в этом вопросе трудно переоценить**.

Исследователи древней истории области Норик, территориаль-

---

* Caesarii sapientissimi viri Dialogi quatuor // Patrologiae cursus completus. Series graeca. Accurante J.-P.Migne. T. XXXVIII. Lutetia Parisiorum, 1858. Col. 985: πῶ δ'ἐν ἑτέρῳ τμήματι ὄντες οι Σκλαυηνοί και Φυσονῖται, οἱ καὶ Δανούβιοι προσαγορευόμενοι...

** Вообще, при всей своей мимолетности, *дунайцы, дунайские славяне* летописи Нестора продолжают традицию региональной этнической номинации, которой трудно отказать в устойчивости, даже несмотря на скудные свидетельства, ср. выше Δανούβιοι 'Danubiani, дунайцы', в "Диалогах" Псевдо-Цезария, предположительно относимые к IV в. Сюда же мы отнесем, далее, Danaorum, род. мн. в памятнике IX в. – так называемом Баварском географе, вопреки преобладающей эмендации в Danorum 'датчан'. В соответствии с этим начало этого небольшого памятника нами читается как: Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii. Isti sunt, qui propinquiores resident finibus Danaorum... 'Описание городов и областей по северному берегу Дуная. ⟨Вот⟩ те, которые сидят ближе к пределам дунайцев'. – Обращает на себя внимание соседство и сопряженность Danubii и Danaorum, то есть 'Дуная' и 'дунайцев', что труднее утверждать о "датчанах". Изложение идет в Descriptio с севера на юг, при этом ориентация всякий раз – на Дунай, о чем говорит и характер контекстного употребления слова fines 'пределы' (3 раза). Нами использовано издание: *Horák B., Trávníček D.* Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam Daubii // Rozpravy ČSAV. Ročn. 66. Řada SV. Seš. 2. 1956.

но в значительной части совпадавшей с нынешней землей Нижняя Австрия и некоторыми другими районами к югу, отмечают, что название *Norici* вначале принадлежало одному местному кельтскому племени и явилось производным от местного названия *Noreia* или вместе с последним – от имени богини *Noreia*. Вассальное в отношении Рима Норикское царство обладало в местных масштабах значительной силой и весом, следствием чего явилось распространение племенного названия *Norici* на все население провинции Норик (было вытеснено, например, имя племени *Taurisci*). К началу новой эры Норикское царство распространилось до оз. Балатон, захватив, таким образом, северо-западную Паннонию. Расширительное употребление этнонима *Norici* в такой, судя по свидетельствам специалистов, этнически смешанной зоне, какой был Норик, вмещавший венетов, иллирийцев, позднее – кельтов [22], испытало тем самым еще большую инфляцию, потому что оказалось с какого-то момента перенесено и на часть славянских племен (в западной Паннонии?).

Сигнал связи славянских нарцев с кельтскими нориками не случаен, но целиком созвучен эпизоду о волохах, занимавшему нас уже ранее в настоящей работе. Если говорить о традиции этнической памяти (см. выше), то эпизод о волохах у Нестора внушает почтение своей относительной давностью, потому что речь должна вестись при этом о событиях еще I тыс. до н.э., причем в правильной лингвистической (этимологической) интерпретации несторовские волохи – это не римляне, не итальянцы и не соплеменники румын (молдаван), как чаще всего приходится читать в исторической литературе, опирающейся на поздние восточноевропейские значения слов *волохи, влахи,* а кельты-вольки [23]. Между кельтами и славянами было много различий – языковых, этнических, культурных. Еще одно существенное различие заключалось в том, что для кельтов Подунавье было ареной экспансии, а для славян это была своя земля. Если античные авторы еще знают здесь (скорее в Норике, чем в Паннонии) ряд кельтских названий племен и населенных мест, весьма богата античная латинская эпиграфика (с частыми вкраплениями преимущественно кельтских собственных имен) прежде всего Норика, затем Паннонии, то потом эти традиции адекватного продолжения не имеют; слишком тонок и недолговечен был этот языковой и этнический слой, стертый последующими наслоениями. Славянский слой в ономастике Подунавья существенно отличался тем, что непрерывно наличествовал здесь с древних времен, несмотря на иноязычные наслоения разных эпох, а также несмотря на предубеждения интерпретаторов (достаточно сослаться при этом на разноречивые суждения вокруг названия паннонской реки Bustricius, известного начиная с Равеннского Анонима, которое то приписывают иллирийцам, то робко догадываются о его полной славянской принадлежности ввиду изобилия рек и речек с названием *Быстрица* во

всем славянском мире [24][3]), и в общем никогда полностью не прерывался, вопреки самым неблагоприятным условиям. Освоенная венграми вот уже более тысячи лет назад страна до сих пор имеет все же в значительной степени славянскую реликтовую гидро- и топонимию, хотя по установившейся антишафариковской традиции слависты нашего времени редко дерзают датировать славянские названия в Подунавье временем до "славянских миграций", ср. характерный в этом отношении тезис Яна Станислава: "Словаки сидят в дунайской котловине самое позднее с начала VI в." [26].

Нам уже приходилось ранее [см. 27] приводить мнение югославского археолога Трбуховича о славянской принадлежности паннонцев I в н.э., описываемых Дионом Кассием. В литературе отмечается отличие явно кельтской ономастики надписей римского времени в Норике от антропонимии эпиграфики, распространенной в большей части Паннонии [28]. Четкие прямые свидетельства о языке и этносе паннонцев в источниках отсутствуют. Только у Тацита (Germania) содержится упоминание о *lingua Pannonica* 'паннонском языке', на котором якобы говорило племя Osi [29, с. 59–60]. Исследователь древней истории Паннонии А. Мочи представил распространение языков и племен в Паннонии на карте, где западнее, а отчасти и восточнее оз. Балатон нанесен ареал кельтского языка и этнонимы Arabiates и Hercuniates, с юга – ареал иллирийского языка (племена Varciani, Colapiani, Oseriates, Cornacates); опуская здесь менее существенный для нас юго-запад (Истрия, венетский язык) и юго-восток с фракийским языком, обратим внимание на то, что исследователь оставил на карте непосредственные окрестности оз. Балатон как бы этнически незаполненными [29, с. 64, рис. 11].

Паннонцы характеризуются догосударственными особенностями социальной организации, чем, как думают, вызвано слабое и позднее упоминание их на политической арене. Может показаться не лишенным интереса, что черты их быта, которыми история обязана в основном Аппиану, напоминают нам то, что другие древние авторы (Иордан, Псевдо-Маврикий) рассказывают о славянах – отсутствие городов, племенное разновластие [29, с. 21, 27].

В связи с этим, а также с крайней скудостью языкового материала той эпохи (эпиграфика, надо думать, была здесь, как, впрочем, и всюду, в руках культурно и политически преобладающих этносов, т.е. в данном случае – римлян и кельтов) полезно вновь обратиться к одной надписи II–III вв. нашей эры с территории Паннонии (точнее – из города *Intercisa* в Нижней Паннонии), которую в нашей литературе исследовал монографически О.В. Кудрявцев [30, с. 103 и сл.]: DEo DoBRATI. EUTICES. SER(vus).DE(dit). Надпись латинская, читается и переводится (уточнения – ниже) как: 'богу Добрату Евти-

---

[3] "Bustricius, река в Паннонии, по древнеримским картам и дорожникам, из коих Гвидо Равеннский выписал это имя (Anonym. Rav. od. Gronov. P. 779)" [25].

хий раб воздал (посвятил)'. Надпись на барельефе, изображающем бога на лошади [30, с. 57]. Кельтская этимология имени данного бога (из *dobrato-, *dubr-ato-? 'водяной, водный?', ср. кельт. *dubro- 'вода') маловероятна (автор ее и не рассматривает), поэтому можно согласиться в общем с мнением Кудрявцева, что здесь представлено образование от слав. *dobrъ* 'добрый, хороший' в связи с наличием (по Кудрявцеву – проникновением) в Паннонии II–III вв. славян. В отличие от автора, мы полагаем, что *Dobrat-* отражает не славянскую форму с постпозитивным артиклем болгарского типа *добро-тъ (Кудрявцев приводит для сравнения ст.-слав. *рабо-тъ*, *домо-тъ*), а праслав. *dobrotь, вариант на *-i*-основу к *dobrota, ср. западнославянские формы: чеш. диалектн. *dobrot'* 'добро, благо', слвц. диалектн. *dobrot'* 'доброта, добро, благо', н.-луж. *dobroś* 'доброта, добродушие, честность, годность', польск. *dobroć* 'доброта; хорошее качество, состояние' (ЭССЯ, вып. 5, с. 44). Сказанное согласуется и с морфологическим наблюдением самого автора, что латинизированную форму им. пад. надо восстанавливать (по дат. пад. *Dobrati*) скорее как *Dobrates* или *Dobratis*. Последнее же вполне могло передавать праслав. *dobrotь или раннепраслав. *dăbrătĭ-. Наконец, надпись в целом, кажется, дает нам в руки то, что можно счесть глоссирующим контекстом. Имя раба – *Eutices*, т.е. греч. Εὐτυχής, достаточно распространенное в Римской империи и, видимо, понятное в своем буквальном значении – 'счастливый', 'благополучный', образует неслучайно смысловую пару с именем божества *Dobrates/Dobratis*, т.е. по-видимому, персонифицированное 'Благо, Добро'. Кем был этот раб по происхождению, неизвестно, но оставленная им надпись говорит о той степени осведомленности и понимания им местного языка, которая позволила ему обратиться к туземному божеству как к своему эпониму ('Благо' – 'благополучный').

Разумеется, следует продолжать изучение структуры и динамики славянской ономастики Венгрии и прилегающего чешско-словацкого Подунавья. Но уже по богатым собраниям материалов в монографии Станислава "Словацкий юг в средневековье" бросается в глаза ее разнообразие, включающее различные славянские (не только словацкие) словообразовательные типы и апеллативные связи. Нам уже приходилось обращать внимание на то, что критика древнего дунайского ареала славян ("донаучные воззрения" и т.п.) все больше обнаруживает свои инерционные качества. Сейчас наука способна противопоставить оппонентам в данном вопросе вполне зрелую и реалистическую концепцию, согласно которой от древнего ареала (топонимического, гидронимического) явления, вообще – от центра распространения не следует ожидать ни яркого изобилия, ни кучности чисто славянской ономастики, ни четкой продуктивности разных ее типов: и то, и другое характерно для зон экспансии. Локализация древнего ареала славян в Венгрии, Словакии, Моравии и некоторых прилегающих районах вовсе не влечет за собой утвер-

ждения, что там должна иметь место кучность однородных славянских географических названий; насколько нам известно, ее там нет, а, взамен нее представлена та неяркая, как бы смазанная картина пестроты исходного славянского апеллативного и словообразовательного инвентаря, которой как раз и следовало ожидать в центре распространения языка и этноса. На фоне этой характеристики дунайскославянской ономастики и Северное Прикарпатье, и Великопольша, и – само собой разумеется – сгустки славянской гидронимии на главных путях балканской миграции славян – все это периферийные вспышки колонизационного происхождения. Сосуществование славян в Среднем Подунавье также с другими индоевропейскими этносами отнюдь не исключается предыдущими рассуждениями и нашим положением о древности славянского ареала на Дунае. Ряд гидронимов, например в восточной части этого ареала, в бассейне Тисы, аллоэтничен (а, возможно, и в других местах, ср., например, определенно неславянское индоевропейское происхождение названия реки Nitra в Западной Словакии). Само название реки *Тиса*, далее – название реки *Темеш* обладают не славянскими, но явно индоевропейскими признаками происхождения, без четкой языковой характеристики, возможно даже, что они принадлежат к тому потенциально наддиалектному гидронимическому слою, который носит название "древнеевропейской" гидронимии: **tīsā* или **tīsi̯ā* 'спокойная' или 'просторная', 'прямая', **təmisi̯ā* 'темная' (тот факт, что эти названия характеризовали природные особенности объекта, позволяет отнести их к наиболее ранним из числа древнеевропейских гидронимов).

По-прежнему также оправданы поиски прямых следов и продолжений дакского языкового адстрата вроде уже идентифицированных нами ранее местных названий *Morimarusa*, *Sarmizegetusa*. В этом же ряду может быть поставлено название города и ручья *Abrud* в Трансильвании, к юго-западу от Клужа: вероятно, из дак. **apa ruda* "aqua rubra". Цветообозначение связано, возможно, с золотоносностью, которую пытался осмыслить иначе – в связи с греч. ὄβρυζον – Г. Шрамм [31, с. 187], что неубедительно. Этому же автору принадлежит мысль о сохранении в Трансильвании еще в XI в. дакского населения [31, с. 160].

Примерную карту древнего славянского среднедунайского ареала очертить трудно, потому что у нас недостаточно данных относительно его границ, да их, видимо, и не было в современном понимании. Ср. весьма показательное мнение специалиста по аналогичному вопросу: «Границы остроготской "империи" не могут быть определены по той причине, что она таковых не имела» [32]. Можно лишь очень схематично попытаться изобразить этот ареал с древним ядром в Среднем Подунавье и наиболее ранними иррадиациями на Север и Северо-Восток. Ясно, что наша карта древнейшего славянства принципиально отличается от большинства современных карт славянской прародины, помещающих эту прародину (начиная с Ни-

дерле) к северу от Карпат, с ее крайними вариантами – верхнеокским, средне-днепровским, припятско-полесским, висло-одерским, включая компромиссный вариант Т. Лер-Сплавинского – от Одера до Днепра. Думается, что только центральноевропейская, среднедунайская концепция праславянского ареала полнее соответствует этимологически вскрываемым древним общениям с древними италиками, германцами, кельтами, иллирийцами.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ О СРЕДНЕДУНАЙСКОМ ЦЕНТРЕ ПРАСЛАВЯНСКИХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

В предыдущей главе [см. также 33] было обращено внимание на ценные наблюдения Т. Милевского о центре позднепраславянских фонетических инноваций в Паннонии. В том же направлении ориентируют нас и разыскания других ученых по самостоятельным, хотя и смежным (фонетическим) вопросам. Здесь уместно назвать работы И. Марвана над генезисом стяжения (контракции) в славянском, в которых говорится о праславянской древности явления. И если мнение автора о стяжении как одном из главных факторов разделения праславянского языка кажется преувеличенным и в принципе едва ли удачным, то его главный вывод о том, что фокусом (географическим центром) явления была территория исторической Великой Моравии, т.е. чешские и примыкающие к ним говоры, интересен в плане наших поисков [см. 34, 35]. Современная научная критика с вниманием отнеслась к лингвогеографическому решению проблемы Марваном, а также к его хронологии явления, согласно которой "зарождение праславянского стяжения приходится на вторую половину IX века" [36].

Не оставляя фонетического аспекта, мы вправе обратить внимание, далее, на то обстоятельство, что наша более южная локализация праславянского ареала позволяет лучше осмыслить природу некоторых схождений славянского и латинского, которые иначе пришлось бы в лучшем случае трактовать как чисто типологические. Однако теперь имеются основания для более реального объяснения этих схождений как ареальных. Я имею в виду близкое переходное смягчение (палатализацию) задненебных, на что уже указывалось и раньше, ср. [37, с. 112–113]: "На большей части народнолатинского ареала велярные смычные *k* и *g* подверглись аффрикации перед передними гласными *e* и *i*, аналогичной так называемым палатализациям в славянском". Балканская латынь адриатического побережья и позднейший далматинский не знали этого переходного смягчения, как и архаичный в этом отношении сардинский[4], в остальном ареальное распространение этого явления весьма очевидно, причем в

---

[4] Ср. [38], впрочем, автор, похоже, недооценивает эти различия внутри романского ареала.

ряде случаев – под влиянием славянского, например в румынском [37, с. 121]. Можно здесь напомнить, что подобные палатализации "славянского типа" в принципе несвойственны для таких близкородственных языков, как балтийские, и их появление там (ср. палатализации задненебных в латышском) есть результат вторичного славянского (русского) влияния*.

Вообще, надо сказать, латынь, в том числе латынь народная, в глазах одних (все реже) – конкретная и реальная благодаря наличию письменности, а в глазах других (все чаще и чаще) – неосязаемая, зыбкая, непознаваемая (В. Маньчак: «миф о "народной" латыни»), спорная, как оказывается, по причине вскрываемого отсутствия единства и однородности [см. 39, passim], – всемогущая латынь и ее история, как подсказывает опыт последних десятилетий, не только учит нас, славистов, но и сама могла бы обогатиться уроками праславянской диалектной сложности, чтобы с их помощью преодолеть собственный кризис концепции стабильного древнего "языка-мумии".

ТИПОЛОГИЯ ЭТНОГЕНЕЗА. ГЕРМАНО-СЛАВЯНСКИЕ АНАЛОГИИ: ПОДВИЖКА ЮГ ↔ СЕВЕР

Но вернемся к германо-славянским аналогиям. Эти аналогии позволяют понять динамику славянского ареала, иначе во многом неясную. Речь идет прежде всего о древней своеобразной подвижке ареала Юг ↔ Север, которая коснулась не одних только славян (о ней отчасти помнит и повествует Нестор в своей летописи: "Когда волохи совершили нашествие на дунайских славян и расселились среди них и притесняли их, славяне те пошли и поселились на Висле"), но и германцев. Например, Скандинавия, юг которой часто включают в прародину германцев, была освоена ими вторично, с Ютландского п-ова и материка, недаром герм. **skadin-aujō* (откуда латинизированное *Sca(n)dinavia* со времен Плиния) этимологически значит 'пагубный остров', или 'пагубный берег', 'Schaden-au'. Так свою исконную родину не называют, а называют вновь освоенные, чужие, неприветливые места. Раньше германцы сидели южнее, об-

---

* К разительным схождениям романского (позднелатинского) и славянского наука обращалась неоднократно, как это делал, например, Н. Ван-Вейк, один из замечательных славистов XX в., в частности, тогда, когда он затруднялся объяснить "тенденцию к повышению звучности, которая столь мощно действовала и в славянском, и в романском. Надо надеяться, – писал Ван-Вейк, – что сравнительное исследование таких поразительных сходств, какие мы констатируем между романским и славянским, поможет прояснить наши мысли относительно причинности в жизни языков. Сходные явления должны иметь сходные причины; следовательно, можно ожидать, что разительное сходство между двумя языками не должно ограничиваться единичным явлением" (*Van Wijk N.* Les langues slaves. De l'unité a la pluralité. 2ième éd, corrigée. 'S-Gravenhage, 1956. P. 23).

щаясь с кельтами, древняя прародина которых, вероятно, помещалась на юге современной Западной Германии. Но потом и германцы, и сами кельты, и иллирийцы (иллиро-венеты), следы которых в географических названиях находят вплоть до южных берегов Балтийского моря, двинулись на Север. Почему? Возможно, для освоения новых пригодных для жизни пространств после отступления последнего оледенения. Возможно, что были и другие причины. Не на все вопросы пока можно ответить сейчас. Ясно одно: подвижка Юг ↔ Север (символ ↔ передает у нас как поступательный, так и возвратный характер этой подвижки, о чем – ниже) была крупнейшим историческим эпизодом в жизни древних индоевропейских племен Центральной Европы. Ясно также другое. Пока предельный возраст образования индоевропейских диалектов измерялся округленными датами не древнее 2000 г. до н.э., индоевропеистов сравнительно мало интересовала история древнего климата, и некоторые гипотезы включали Север Германии в искомую индоевропейскую прародину. Но в наше время вся индоевропейская датировка пересматривается в сторону удревнения, причем III и IV тыс. до н.э. не кажутся предельно древними в жизни индоевропейских диалектов. Поэтому сейчас уже трудно не считаться с указаниями, что на север от Судет и Карпат простиралась первоначально зона оледенения, заселение которой, как предполагают, началось лишь с 4000 г. до н.э. [40]. В западную (эльбско-везерскую) часть этого ареала достаточно рано проникают древнегерманские племена. Кельты, по всей вероятности, никогда не заходили так высоко на север, поэтому тезис Шахматова (в цитируемой нами статье) о кельтах на берегах Балтийского моря звучит сейчас неправдоподобно. То же можно утверждать о древнеиталийских и прагреческих племенах, а также о некоторых других индоевропейских группах. С другой стороны, достаточно рано распространились на европейский Север (его одерскую часть) древние иллирийцы (иллиро-венеты), называвшие море особым диалектным словом **daksā* (< **dapsā* < **daub-s-ā*), следы которого отыскиваются в германской Прибалтике и в Чехии, и в исторической Иллирии (на юг – вплоть до Эпира), о чем я уже писал ранее. Разумеется, на означенном европейском Севере выявляются и другие географические названия иллиро-венетского происхождения, и само имя этого этноса – венеты – свидетельствуют об исторической достоверности этого древнего народа, по которому позднее германцы с запада прозвали новых насельников этих мест – славян. Важно иметь в виду, что славяне были не первыми колонизаторами висло-одерского региона, так как они пришли сюда (помимо конкретного политического давления, как в случае с волохами, могли сказаться и общие тенденции в духе европейской подвижки Север ↔ Юг), когда эти земли уже имели индоевропейское население. Любопытно, что это признают и представители польской автохтонистской школы славянского этногенеза. В качестве примера можно сослаться на

С. Роспонда, который в специальном обобщении на тему "Праславяне в свете ономастики" [41], неизменно отстаивая висло-одерскую теорию, допускает неславянское, точнее – дославянское, венетское, "загадочное" происхождение многих гидронимов на этих территориях: *Drawa, Drama, Nisa, Kwisa, Wisa, Osa, Wierzyca, Noteć, Nieca, Gwda, Kwa, Wkra, Bzura, Jana, Nida, Ina, Mroga, Śrem*. В число дославянских названий этих мест, безусловно, попадают и названия "древнеевропейского" вида, без четкой языковой характеристики, как, например, *Drwęca*, приток Вислы, которую еще Шахматов сближал с кельт. *Druentia*. Только признав наличие дославянского индоевропейского слоя в междуречье Вислы и Одера, можно правильно объяснить отмеченные на этих землях Птолемеем (II в. н.э.) совершенно не славянские, но явно индоевропейские названия народов, как, например, Κάρβωνες и др. При этом вовсе не обязательно связывать приблизительно "похожие" племенные названия – птолемеевских буланов и польских полян и как-то пытаться объяснить одно из другого; они принадлежат разновременным и независимым индоевропейским потокам.

То, что вислинские славяне шли от истоков к устью главной польской реки, постепенно осваивая висло-одерское междуречье на север и северо-запад, подтверждает, как нам представляется, территориальное распределение названий *Małopolska* (юг) и *Wielkopolska* (вторично освоенный Северо-Запад). Таково обычно типологическое свидетельство географических названий с атрибутом "Велико, Великая": это, как правило, зоны экспансии. Интересно, что ***Wielkopolska*** 'Великопольша', в какой-то мере покрывается с такой вторично освоенной германской периферией, как ***Magna*** *Germania*, название земель к востоку от Одера, ср. сюда же, видимо, приуроченное название страны *Mægþaland* 'великая страна?' (ср. др.-в.-нем. *maht*, гот. *mahts* 'сила, мощь, величина') в описании Германии англосаксонского короля Альфреда (IX в.), – все вместе применительно к стране, которая в разное время была зоной экспансии как для германцев, так и для славян.

Таким образом, продвижение славян из Подунавья на Вислу, а также в сторону Правобережной Украины укладывается в широкие рамки северной подвижки многих индоевропейских племен, из которых часть предшествовала славянам, часть шла следом. Весь этот древний индоевропейский этап наиболее закономерно смотрится из Центральной Европы и со Среднего Дуная.

Изложенные выше соображения оказываются весьма созвучными археологическим данным о проникновении культуры воронковидных кубков с территории Чехии и Моравии вторично в Малопольшу (откуда позднее – на Украину). В общей перспективе для нас важно, что для ассоциируемых с индоевропейцами воронковидных кубков как в Чехии, так и в Средней Германии "имеет место расширение культуры на север", что археология при поддержке радиоуг-

леродной датировки свидетельствует "о продвижении носителей культуры воронковидных кубков на север и восток", что "ранний период культуры воронковидных кубков в Дании и Южной Швеции датируется в пределах 3000–2300 гг. до н.э.", а также то, что в этих северных германских странах у этой пришлой культуры нет корней, и главное – что наиболее древним ядром этой культурной экспансии является соответствующая культура на территории Чехии IV тыс. до н.э., где она коренится в еще более древней местной культуре Лендьел в Венгрии, Словакии, Моравии, Верхней Силезии V–IV тыс. до н.э., соотносимой с индоевропейской пракультурой [см. специально 16, с. 60–66]*.

Как и следовало ожидать, и германцы, и иллирийцы, и сами славяне, **храня память о своих древних местах обитания**, а также, возможно, под воздействием более сложного комплекса причин, пытались вернуться потом назад, на Юг. Некоторые индоевропейские племена (италики, иллирийцы, греки) углубились при этом в прежде чуждое для индоевропейцев Средиземноморье. Возвратная южная миграция славян развернулась уже на глазах письменной истории около середины I тыс. н.э. и тоже сопроводилась занятием прежде чужих земель на юг от Дуная. Важно то, что эта южная миграция славян была в своей первоначальной сущности возвратной. Рассматриваемое в общей перспективе неоднократное движение славян к северу и к югу делается понятнее и утрачивает загадочность и произвольность в свете кратко приведенных выше германских и других индоевропейских аналогий.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Georgiev V.I.* Illyrier, Veneter und Urslawen // Балканско езикознание. 1968. XIII. 1. С. 12.
2. *Rospond S.* Etnogeneza Słowian w świetle stratygrafii leksykalnej i strukturalno-onomastycznej // Z polskich studiów slawistycznych. W-wa, 1983. S. 314.
3. *Трубачев О.Н.* Языкознание и этногенез славян // ВЯ. 1984. № 2. С. 19.
4. *Martynov V.V.* Vprašanje glotogeneze Slovanov // Slavistična revija. 1984. Letnik 32. St. 2. S. 69 и сл.
5. *Королюк В.Д.* Пастушество у славян в I тысячелетии н.э. и перемещение славян в Подунавье и на Балканы // Симпозиум по структуре балканского текста. М., 1976. С. 24.
6. *Седов В.В.* Конгресс по славянской археологии // Вестник АН СССР. 1981. № 5. С. 99.
7. *Рыбаков Б.А.* Язычество древних славян. М., 1981.
8. *Novák L'.* Vznik Slovanov a ich jazyka (Základy etnogenézy Slovanov) // Slavica Slovaca. 1984. Ročn. 19.3.

* Подробное изложение см. теперь: *Сафронов В.А.* Индоевропейские прародины. Горький, 1989. – Там же, в приложении, см. рецензии на эту работу, в том числе, с. 394–397 – рецензия О.Н. Трубачева.

9. *Polomé E.C.* The etymological dictionary of Dutch: an analysis of the work of Jan de Vries // Eichstätter Beiträge, 8 (= Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung. Hrsg. Bammesberger A.). Regensburg, 1983. P. 218–219.
10. *Polomé E.C.* Bilingualism and language change as reflected by some of the oldest texts in Indo-European dialects // Northwestern European language evolution. V. 1. Odense, 1983.
11. *Piekarczyk S.* Mitologia germańska. W-wa, 1979. S. 110.
12. *Топоров В.Н.* Фрак. Βυζάντιον в индоевропейской перспективе // Этимология, 1976. М., 1978. С. 145.
13. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* К проблеме прародины носителей родственных диалектов и методам ее установления (По поводу статей И.М. Дьяконова) // ВДИ. 1984. № 2.
14. *Крайнов Д.А.* Древнейшая история Волго-Окского междуречья. Фатьяновская культура. II тысячелетие до н.э. М., 1972, passim.
15. *Häusler A.* Zu den Beziehungen zwischen dem nordpontischen Gebiet, Südost- und Mitteleuropa im Neolithikum und in der frühen Bronzezeit und ihre Bedeutung für das indo-germanische Problem // Przegląd Archeologiczny. 1981. 29. С. 119.
16. *Сафронов В.А.* Проблемы индоевропейской прародины. Орджоникидзе, 1983.
17. *Сафронов В.А.* Кавказ в раннебронзовую эпоху и проблема локализации индоевропейской прародины: Тезисы и доклады конференции "Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока". М., 1984. Ч. 1. С. 85.
18. *Mańczak W.* Sur l'habitat primitif des Indo-Européens // Baltistica. 1984. XX. 1.
19. *Bačić J.* The emergence of the Sklabenoi (Slavs), their arrival on the Balkan peninsula, and the role of the Avars in these events: revised concepts in a new perspective: Columbia university Ph. D. 1983 // Ann Arbor (Michigan), 1984. P. 167 и сл.
20. *Новаковић Р.* Одакле су Срби дошли на Балканско полуострво (Историјско-географско разматрање). Београд, 1978.
21. *Holder A.* Alt-celtischer Sprachschatz. Bd. II.Graz, 1962. Стлб. 762.
22. *Alföldy G.* Noricum. London; Boston, 1974. P. 15, 17, 27, 41.
23. *Schachmatov A.* Zu den ältesten slavisch-keltischen Beziehungen // AfslPh. 1911. XXXIII. S. 54.
24. *Колосовская Ю.К.* Паннония в I–III веках. М., 1973. С. 23.
25. *Шафарик П.И.* Славянские древности. Пер. с чеш. И. Бодянского. М., 1837. Т. 1. Кн. II. С. 120–121.
26. *Stanislav J.* Slovenský juh v stredoveku. I. diel. Turčiansky sv. Martin, 1984. S. 7.
27. *Трубачев О.Н.* Языкознание и этногенез славян // ВЯ. 1984. № 5. С. 9, примеч. 22.
28. *Polomé E.* The linguistic situation in the Western provinces of the Roman Empire // Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. Hrsg. von Temporini H. und Haase W. II. Berlin; New York, 1983. P. 536.
29. *Mócsy A.* Pannonia and Upper Moesia. A history of the Middle Danube provinces of the Roman Empire. London and Boston, 1974.
30. *Кудрявцев О.В.* Исследования по истории балкано-дунайских областей

в период Римской империи и статьи по общим проблемам древней истории. М., 1957 (см. специально раздел “Deus Dobrates”).
31. *Schramm G.* Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. Stuttgart, 1981.
32. *Maenchen-Helfen O.J.* The world of the Huns. Studies in their history and culture. Los Angeles; London, 1973. P. 25.
33. *Трубачев О.Н.* Языкознание и этногенез славян // ВЯ. 1984. № 3. С. 21.
34. *Marvan J.* Prehistoric Slavic contraction. The Pennsylvania State University Press, University Park and London, 1979. P. 166.
35. *Марван И.* Русское стяжение и славянская доисторическая контракция // Melbourne Slavonic studies. 1973. № 8. P. 5 и сл.
36. *Moszyński L.* – Rocznik Slawistyczny, t. XLIII, cz, I, s. 38. – Rec.: Marvan J. Prehistoric Slavic contraction, 1979.
37. *Bidwell Ch.E.* The chronology of certain sound changes in Common Slavic as evidenced by loans from Vulgar Latin // Word. 1961. V. 17. N 2.
38. *Mańczak W.* Les langues centum et satem // Langues et cultures. Mélanges offerts a Willy Bal. 3. Linguistique comparative et romane (= Cahiers de l'Institut de linguistique de Louvain 10, 1984). P. 179.
39. *Väänänen V.* Préroman – protoroman – latin vulgaire // Neuphilologische Mitteilungen. 1984. LXXXV. 1.
40. *Nalepa J.* Miejsce uformowania się Prasłowianszczyzny // Slavica Lundensia. 1973. 1. S. 60.
41. *Rospond S.* Prasłowianie w świetle onomastyki // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 1965. Wrocław etc., 1968. S. 134–135.

ГЛАВА 6

ДАЛЬНЕЙШИЕ ГЕРМАНО-СЛАВЯНСКИЕ АНАЛОГИИ И НАЗВАНИЕ ЖЕЛЕЗА

В последнее время много пишут о культуре металлов и о названиях металлов. Наше внимание привлекают названия железа в силу важности самого железа как металла и железного века, который, раз воцарившись в I тыс. до н.э., в сущности продолжается до сих пор и определяет культурную жизнь наших народов (о том, какой важной – датирующей – балто-славянской контактной инновацией является именно название железа, уже было упомянуто выше, о самом материале названий нам еще предстоит говорить).

Оказывается, что германцы сначала знали только **бурый** болотный железняк, откуда объясняется раннее германское название железа, хорошо засвидетельствованное в фин. *rauta* ‘железо’ (древнее заимствование из германского), далее – в др.-исл. *rauði* ‘железо’, ‘болотный железняк, руда, Raseneisenerz, Erz’ [42], буквально ‘красное’, ср. др.-исл. *rauða* ‘красный’, нем. rot, англ. red.

В принципе так же шли дела у славян. Еще в молодости, при чтении книги Б.А. Рыбакова “Ремесло Древней Руси”, мне запомнилось

указание, что славяне, Древняя Русь, не зная еще открытых позднее горнорудных месторождений и не завися даже от привозных источников сырья, начиная со скифской эпохи добывали железо в том виде, в котором оно встречалось буквально под ногами в лесной, лесостепной, болотной местности – **в виде болотного железняка** [43, с. 38, 123–124]. Этот источник добычи сохранял промышленное значение до XVIII в., но потом забылся, уступив место разработке горнорудных месторождений. Однако следует помнить, что наша древнейшая терминология железа, включая название самого металла, порождена эпохой болотного железняка, потому что, забыв об этом, мы повторим ошибку историков, которые настаивают на привозных источниках сырья ввиду удаленности месторождений ископаемых железных руд (впрочем, как удостоверяют археологи, криворожские железорудные залежи разрабатывались уже в скифское время). Но, как верно сказал Б.А. Рыбаков по этому поводу, "подход к древнему производству с мерками современной нам крупной промышленности не может дать точных результатов" [43, с. 38].

Дальше требуется этимологический комментарий. Наше слово *руда*, слав. **ruda* формально и семантически было первоначально прилагательным женского рода со значением 'красная, бурая, рыжая'; принадлежность к женскому роду была обусловлена употреблением в составе устойчивого словосочетания – праслав. **ruda zemja* 'красная, бурая земля' – о буром железняке. Эта исходная адъективность формы и функции **ruda* поддается проверке на примере близкого, но самостоятельного субстантивированного употребления русск. диалектн. *руда* 'кровь', на табуистический характер которого обратил внимание Фасмер. Последнее (название крови) тоже, видимо, восходит к особому двучлену **ruda voda* 'красная вода' (иносказательно о крови). Таким образом, применительно к древней металлургии наших предков праслав. **ruda* обозначало бурую земляную породу, иначе – болотный железняк, из которого добывалось железо. До сих пор, например, в.-луж. *ruda* значит не только 'руда', но и 'железняк, бурая земля', н.-луж. *ruda* – 'болотный (или луговой) железняк; руда из болотного железняка; сырая, бурая железистая земля', а *Ruda* в качестве местного названия обозначает луг с болотным железняком [44]. Вообще у славян, в частности, восточных славян, немало местных и водных названий *Ruda*, *Руда* того же происхождения. Ясно, что слово **ruda*, *руда* изначально относилось только к железистой, железоносной земле и к другим металлам, особенно к меди, не имело первоначально никакого отношения. "Интересно отметить, что главная масса болотных железных руд залегает именно там, где отсутствует медная руда" [43, с. 38].

В данном случае проявился независимый, но очень яркий и близкий германо-славянский параллелизм, причем – как в культурном плане (древние славяне, как и древние германцы, имели дело первоначально с железом из болотного железняка), так и в плане сходной

языковой инновации, лексико-семантического новообразования: и.-е. *roudh- 'красный' именно в языках древних германцев и древних славян было употреблено как обозначение болотной железной руды, болотного железняка.

Неприемлемо поэтому толкование русск. *руда*, праслав. *ruda как заимствования из шумер. *urudu* 'медь'. Это старое и случайное сближение вызывало сомнения в общем всегда, что со стороны фонетической формы убедительно показал еще Брюкнер: "Ошибочно выводят название *rudy* 'рыжий' из шумерского *urudu* 'медь'; гласные этого корня *rŭd-*, *reud-*, *roud-*) доказывают его принадлежность к арийской (индоевропейской. – *О.Т.*) общности, а *urudu* случайно звучит похоже" [45]. Несмотря на давний интерес к шумер. *urudu*, фигурировавшему в перечнях ближневосточно-индоевропейских лексических схождений, следует признать, что здесь все-таки преобладали слишком беглые взгляды и кривотолки (заимствовано как культурное слово из шумерского в индоевропейские языки или наоборот – из индоевропейского в шумерский [см. 46, 47]). Кроме совершенно недвусмысленных лингвистических показаний в пользу исконности происхождения русск. *руда*, праслав. *ruda, которое можно считать вполне удовлетворительно объясненным словом, против сближения *ruda-urudu говорит семантическая эволюция праславянского слова, весь культурный фон. Очевидно, что праслав. *ruda 'болотный железняк, бурая железистая земляная порода' и шумер. *urudu* 'медь' не имеют ничего общего между собой. Номенклатура железа, железной руды, с одной стороны, и меди – с другой стороны, явно гетерогенны, как гетерогенны и разноместны месторождения болотного железа и медной руды (о чем – выше). Нельзя считать удачными поэтому новые попытки возродить толкование русск. *руда*, слав. *ruda из шумер. *urudu* [см. 13, с. 111; 48, с. 22], тем более, что авторы этой новой попытки не добавили никаких новых конкретных лингвистических аргументов в пользу старого формального сближения и – что вызывает особенное сожаление – не уделили внимания резервам внутриславянского и индоевропейского объяснения слав. *ruda и родственных слов, о которых мы рассказали несколько подробнее выше.

Очерченный кратко эпизод германо-славянского культурно-языкового параллелизма в использовании болотного железняка и применения к этому виду железной руды местного продолжения индоевропейского обозначения красного цвета не затушевывает, однако, самобытных, различных путей дальнейшего формирования лексики железа у германцев и у славян. Здесь мы, действительно, имеем возможность говорить о свободной германо-славянской аналогии. Положение усложнилось тем, что в игру вступил третий мощный этнос, повлиявший как на германцев, так и на славян именно в области культуры железа. Как раз на эту эпоху приходится расцвет культуры, которая, будучи этнически кельтской, получила название

гальштатской по месту находки Hallstatt в альпийской части Австрии, неподалеку от Зальцбурга. Эти районы были ареной восточной экспансии кельтов, охватившей затем территориально близкие Норик[1], Паннонию, Среднее Подунавье, т.е. древний праславянский ареал, о чем с разных сторон мы уже говорили. Похоже, что праславяне, придя в движение под воздействием этой кельтской экспансии, увлекли кельтов за собой в Южную Польшу, на Вислу, и даже дальше на северо-восток, в Среднее Поднепровье, ср. отмечавшееся археологами наличие предположительно кельтских предметов гальштатской культуры в Поднестровье (ср. в общем там же, кстати, и кельтский топоним Καρροδοῦνον ~ *Каменец-Подольский*), а также предметов латенской культуры в составе зарубинецкой археологической культуры Среднего Поднепровья.

Для германцев кельты также были в течение длительного времени мощным культурным соседом с юга. Это привело к ряду важных культурно-языковых заимствований, которые практически всегда шли в одном направлении: с кельтского Юга на германский Север. И германская терминология железа подпала под кельтское влияние: название металла железо германцы заимствовали у кельтов – нем. *Eisen*, англ. *iron*. Славяне также многим обязаны культуре кельтов; опуская здесь прочие свидетельства разностороннего влияния кельтской культуры на славян (см. о них отчасти в предыдущих главах книги), упомянем о деятельности кельтов как прекрасных металлургов своего времени. Существует даже мнение, что распространение знакомства с железом, добытым из болотного, лугового железняка, – дело рук кельтов [49]. Следы железоделательного промысла кельтов находят и в Южной Польше, в непосредственной близости от современного металлургического комбината Новая Гута. Однако, в отличие от германцев, славяне не переняли у кельтов название этого металла, а образовали свое собственное, из исконнославянских элементов: праслав. **želězo*, русск. *железо* и т.д. (близкие формы во всех славянских языках).

Этимология славянского названия железа, которой посвящено наше дальнейшее изложение, прекрасно укладывается в эпизод культуры болотного железняка и сто́ит того, чтобы на ней остановиться особо. До самого недавнего времени выходят публикации со все новыми гипотезами о происхождении слав. **želězo*, тогда как давно уже имеется возможность в этом вопросе резко сократить число вероятных решений и остановиться на одном из них как единственно отвечающем требованиям языкознания и истории культуры.

Славянское название железа входит в число старых, праславянских названий семи основных металлов (золото, серебро, железо,

---

[1] Здесь было сосредоточено производство особого сорта железа – "норикского железа" (Ferrum Noricum античных авторов), о чем специально – в цитированной нами ранее книге Альфёльди о Норике, см. [22, с. 113, 284].

медь, свинец, олово, ртуть), которые были известны праславянам [50]. Все индоевропейские названия металлов исключительно ареальны, и, если, например, посмотреть на них из славянской перспективы, то родственные соответствия охватывают в лучшем случае три-четыре древних диалектных группы. Наиболее распространенными при этом оказываются соответствия славянскому названию золота – в германском, диалектно – в восточнобалтийском (латышском) и, по-видимому, во фракийском, что, возможно, позволяет усмотреть территориальную близость к древнему центру добычи золота в Трансильвании. Близкие формы названия серебра объединяют славянский, балтийский и германский (несколько напоминая отношения названий золота), но это отношения не родства, а древнего заимствования.

Так, восточнобалтийские названия серебра восходят к архетипу **sudrab-*/**sidabr-*, германские – к **silubr-*/**silabr-* и славянские – к **sirabr-*, представляя собой разные (самостоятельные) преобразования некоего исходного, вероятно, индоарийского, **śub(h)riapa* 'светлая вода', с проведенной уже сатэмизацией и предположительной локализацией в Предкавказье, на Кубани, важном перевалочном центре при импортировании серебра с Востока на Запад, в Северное Причерноморье и Центрально-Восточную Европу. Результаты исследования на эту тему были опубликованы мной более десяти лет тому назад, см. [51, с. 95 и сл.]. Эта работа осталась неизвестной авторам новейшего опыта о "протоиндоевропейском серебре" [52, с. 1 и сл.], хотя их вывод ("...ясно, что серебро распространилось либо из Прикубанья, либо через Прикубанье в Северное Причерноморье...") в сущности дублирует мою мысль "о кубанском происхождении восточноевропейских названий серебра" [51, с. 99]. Говорить о "протоиндоевропейском" названии серебра можно также лишь с оговоркой, что **все эти** названия региональны, имея, при этом в виду и названия с корнем **arĝ-* 'светлый, блестящий', ср. диалектный характер суффиксальных производных от него: ** arĝ-ent-o-*/** arĝ-n̥t-o-* (индоиран., арм., лат., кельт.), **arĝ-ur-o-* (греч., иллир.), есть и переходные между ними типы (тохар.). Таким образом, в отличие от золота, серебро импортировалось в Древнюю Европу извне, причем в Северной Европе вплоть до эпохи железа оно вообще отсутствовало (см. [52, с. 9] и карту там же, на с. 1, где районы распространения древнейшего серебра в Европе III–IV тыс. до н.э. находятся в основном на юг от Карпат). Известные диалектные индоевропейские прототипы названий серебра распределяются в остальном на южные (**arĝn̥to-*, **arĝuro-*) и восточные (**sibrap-*/**subrap-* < индоар., см. выше). Оба древних диалектных прототипа обнаруживают исходное для термина "серебро" значение 'светлый, белый'.

В заключение экскурса о серебре представляется полезным в методологическом отношении напомнить произведенное в моей работе [51, с. 97–98] сопоставление исторической и лингвистической

моделей решения проблемы "серебро у славян". Из них первая (**историческая**) более близка к горизонту собственно письменной истории; излишне опирается на фактор римской торговли, европейского ювелирного и монетного дела и в итоге не может решить загадку происхождения славянского названия и реалии серебра, ключ к которой лежит не на европейском Западе, а на Востоке (и в гораздо большей древности), что давно предполагала вторая (**лингвистическая**) модель проблемы "серебро у славян", хотя до недавнего времени не удавалось конкретизировать этот восточный источник, о котором – у нас, выше.

Встречающиеся иногда высказывания о картвельском (грузинском) происхождении славянского, балтийского и германского названия серебра совершенно невразумительны.

Вообще, разумеется, названия металлов – это культурные слова, которые вполне могут служить предметом заимствования, как и сама реалия – металл. Однако подобную возможность нет оснований чрезмерно обобщать, так как это может увести на неверный путь. Ясно, что терминология металлов обладает первостепенным значением при решении не только лингвистических, но и этнолингвистических вопросов. Не случайно, возможно, славянское название железа оказывается общим или близким с соответствующим балтийским названием металла (ср. у нас ранее о потенциальной датирующей способности этого названия в вопросе балто-славянских отношений*), а название меди (слав. **mědь*) совершенно различно у балтов и славян, как бы сигнализируя большие различия в языковых переживаниях между теми и другими в соответствующую более древнюю эпоху – эпоху бронзы, при всей, впрочем, недостаточной ясности этимологии славянского названия меди (к диалектн. праслав.

---

* К сожалению, та модель древних германо-балто-славянских языковых отношений, которую предложил польско-американский лингвист З. Голомб, локализующий эти и.-е. диалекты "в бассейне Верхнего Днепра и Верхнего Дона до реки Оки на севере" около 3000 г. до н.э., кроме других возможных возражений, не выдерживает как раз тестирования "аргументом железа", поскольку согласно Голомбу предки германцев, балтов и славян ("предгерманцы", "предбалты" и "предславяне"), взаимно контактировавшие около этого времени, вскоре начинают мигрировать на Запад: сначала – германцы, за ними – балты и затем славяне, причем не позднее II тыс. до н.э. близкие контакты "предбалтов" и "предславян" окончательно прекращаются (*Gołąb* Z. Etnogeneza Słowian w świetle językoznawstwa // Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośrednio-wiecznej / Pod red. G. Labudy i S. Tabaczyńskiego. Wrocław etc., 1987. T. 1. S. 73).

А между тем очевидно, что у балтов и славян **общим** оказывается именно название такого "позднего" металла, как железо, что реально означает лишь эпоху **после 1000 г. до н.э.** как terminus post quem соответствующего культурно-языкового переживания и, наверное, для множества других балто-славянских ареальных схождений. Если бы в истории балто-славянских контактов все обстояло так, как себе это представлял Голомб, то мы имели бы скорее всего **общее балто-славянское** название такого металла, как медь (III–II тыс. до н.э.!). Но в действительности, как известно, все как раз наоборот.

**smědъ/-*snědъ* ‘желтоватый’? Известная этимология В.И. Абаева, выводящая слав. **mědь* из иранского названия страны *māda-* ‘Мидия’ через греческое посредство, все-таки сомнительна).

В книге Вяч.Вс. Иванова “История славянских и балканских названий металлов” читаем: «Балт. **gʰelĝh-* (лит. *geležìs* ‘железо’, диал. жем. *gelžis*, латыш. *dzelzs* ‘железо’, прус. *gelso*), как и слав. *gʰelĝh-*, русск. *железо* и т.п., закономерно соответствует греч. kʰl̥k- > χαλk-, что позволяет возвести данное общее заимствование к исключительно раннему времени, когда соответствующие “восточные” индоевропейские диалекты представляли единое целое. В свете приведенных данных возможной датой заимствования представляется III тыс. до н.э.» [48, с. 99]. Итак, предлагается гипотеза о заимствовании славянского названия железа из слова хаттского (малоазийского неиндоевропейского) языка *ḫapalki* или *ḫawalki* (с вероятным чтением *xaflki*) ‘железо’, откуда таким путем объясняется название меди – греч. χαλκός, микен. греч. *ka-ko* [48, с. 95, 98]. Автор подробно говорит о структуре хатт. *ḫawalki*, а также о структурно близких древних словах этого языка, но практически не останавливается на лингвистической характеристике интересующих нас славянских и балтийских слов. Впрочем, хаттская словообразовательная характеристика для нас тоже по-своему поучительна. Так, оказывается, что слово *ḫawalki* ‘железо’ – это образование с префиксом *ḫa-*. Далее, интересно узнать, что груз. *r̥kina* ‘железо’ и арм. *erkat* то же, которые, по-видимому, действительно заимствованы на Южном Кавказе из малоазийского хаттского языка, не имеют отражений этого префикса вообще. Напомню, что и в слове *барс*, которое Вяч.Вс. Иванов правдоподобно объясняет как восходящее к хаттскому *ḫapraššun*, начальное *ḫa-* тоже не передается при заимствовании. После этого мы можем усомниться в том, что χαλκός является “греческой передачей хатти *xaflk*” [48, с. 98].

Если верно, что индоевропейцы были носителями металлургии бронзы и бронза была единственным металлом древних индоевропейцев [48, с. 32], то **маловероятно постулировать неиндоевропейское заимствованное происхождение названия железа для времени, по сути предшествующего даже бронзовому веку, каким было III тысячелетие до н.э.** В эпоху, когда не было еще хозяйственного использования металлов вообще, не было необходимости в заимствовании названия железа, с добычей и применением которого познакомились едва только в I тыс. до н.э. Этот контраргумент действителен и против Мейе и его последователей, которые видели в слове **želězo* неиндоевропейское либо восточное заимствование.

Таким образом, толкование слав. **želězo* из хатт. *ḫapalki* можно оправдать лишь верой в примат древней ближневосточной культуры (в частности, металлургии), но эти мотивы не могут нам заменить лингвистической аргументации. Названная этимология не выдерживает проверки известными лингвистическими фактами, как впро-

чем, и данными местной (европейской) культурной ситуации. Слав. **želězo* и балт. **gel(e)ž-* элементарно не соответствуют фонетически хатт. *ḫapalki/ḫawalki* и не могут быть получены из него путем заимствования, ср. звонкое согласное начало в и.-е. диал. **ghel(e)ĝh-*, лежащем в основе славянского и балтийского слов, при начальном [ха] в упомянутом малоазийском термине, не говоря уже о том, что, как выяснилось по вероятным параллелям заимствований из хеттского, префиксальное *ḫa-* при **достоверных** заимствованиях в другие языки не сохраняется.

Но имеются и другие веские возражения. Самым слабым местом этимологий, объясняющих слав. **želězo*, русск. *железо* как культурное заимствование из другого языка, является то, что авторы таких этимологий всякий раз забывают нам сказать, как же они в таком случае объясняют слово *железá*. А это упущение, характерное, кстати, для всех старых и новых сторонников заимствования названий железа[2], можно сказать, все решает: от правильной оценки слова *железá* зависит (как говорят немцы: steht und fällt damit) правильный вывод о происхождении названия металла. Именно так, а не наоборот: этимологию слова *железо* надо начинать с этимологии слова *железá*. Лишь на этом пути возможен выход из тупиковой ситуации, в которую зашла этимологизация названия железа. Поскольку при этом убедительно демонстрируется случай, когда культурное слово (название хозяйственно важного металла) получается не через межъязыковое заимствование, а как бы "рекрутируется" из местной обиходной лексики, пример этот может, кажется, представить и общеметодологический, а не только узкоспециальный этимологический интерес.

Наша этимология строится, как видно, на постулате родственной связи (исторического тождества) слов *железо* и *железá*, против которой не имеет смысла спорить. Древний, очевидный характер

---

[2] Так, например, железóй (в животном организме) совершенно не интересуется и Генри Лиминг, когда он предлагает нам свою особую этимологию слав. **želězo* из первоначального сложения **žel-ěz-*, где первый компонент **žel-* – цветообозначение, родственное **žьltъ*, *желтый*, а второй компонент **ěz-*, "если *ě* (ять) – дифтонгического происхождения" (мы пытаемся показать далее, что здесь имела место долгота-продление, не совместимая с дифтонгом), связан, по мнению Лиминга, с гот. *aiz* 'бронза, медь' в том смысле, что слав. **ěz-* заимствовано из гот. *aiz* [53], В целом все очень сомнительно, поскольку семантическая реконструкция **želězo* как 'желтая медь' или 'желтая руда' (Лиминг) противоречит всему, что известно о металле железо и способах его номинации. Железо – это не цветной, а "черный" металл, и металлургия железа – "черная" металлургия, и это нельзя игнорировать при этимологизации названия. Сам Г. Лиминг приводит примеры именно такой номинации железа – др.-инд. *śyāmam áyas, kālāyasa, kṛṣṇāyas* 'черный, темный, темно-синий металл', в отличие от ясного, блестящего красного металла – меди, *lohitam áyas, lohitāyas*, в соответствии с толкованиями М. Моньер-Уильямса и О. Шрадера, но, к сожалению, Лиминг не заметил, что этот материал противоречит его собственной этимологии и реконструкции **želězo* как 'желтая руда'.

связи слав. **želězo*: **žel(e)za* виден из самобытного полного параллелизма этим отношениям в литов. geležis 'железо': *geležuonys*, *geležuones* мн. 'железа (в теле)'. Слово *железá* (в животном теле) среди русских словарей нашло, кажется, самое лучшее и выпуклое толкование у Даля, бывшего, кстати, не только лексикографом, но и медиком: "клубочек, зернистый снаряд, через который проходят сосуды для выработки каких-либо соков" (ясно, что этимолог предпочтет недостаточно характеризующему и вместе с тем неэкономному толкованию современного четырехтомного словаря русского языка: *железá* – "орган у человека и животных"... (следуют лингвистически менее релевантные научные сведения о секреции) – именно далевское толкование как более характерное). О заимствовании названия железы (животной) с Ближнего Востока не может быть и речи, в то же время родство слов *железо* и *железá* (животная) совершенно очевидно. Оно имеет свои лингвистические и культурно-исторические основания, к рассмотрению которых мы переходим.

Название металла *железо* производно на исконнославянской языковой почве от названия животной железы, а не наоборот. Об этом говорят все лингвистические данные, составляющие семасиологию, акцентологию и этимологию (образование) слова *железо*. Продуктом первичной номинации явилось значение 'железá животного организма'; от этого термина и значения вторично мотивировано искомое нами значение 'железо-металл'. Чтобы понять, почему состоялась эта семантическая деривация, надо учитывать неоднократно упоминаемую нами выше архаическую культурную стадию добычи и обработки болотной железной руды, болотного железняка. Прийти к такому пониманию не всегда легко, даже историков культуры и археологов озадачивала ситуация, когда они сталкивались с наличием раннего железоделательного промысла при отсутствии следов горнорудного промысла, например, в раннесредневековой Польше.

Между значениями 'металл железо' и 'железá животная' не было непреодолимой пропасти, во всяком случае – в начальной стадии: образ клубочка, комочка (кстати, сюда же, но с другим суффиксом принадлежит слово *желвак*, что знал уже Даль) был использован для фигурального обозначения железа именно в том виде, в котором им впервые заинтересовались славяне (и не только они одни – на ранней стадии), – в виде болотного железняка. "По внешнему виду болотная руда представляет собой плотные тяжелые землистые комья красно-рыжего оттенка" [43, с. 125]. Кстати, в упоминавшейся нами книге [48], где собрана масса информации о добывании и металлургии метеоритного и земного ископаемого железа, ни словом не упоминается как раз культура болотного железняка, без чего просто невозможно понять древнюю европейскую (славянскую, балтийскую, германскую) лексику железа и ее истории, а без соблюдения этого условия, в свою очередь, несколько иной оказывается карти-

на славянской языковой и этнической древности; она невольно подвергается искажению.

Принимая членение слова **žel-ězo*, где *ěz-* – суффикс, а корень восходит к и.-е. **ghel-*, выступающему в разных названиях шишек, желваков, камешков, ср. сюда **žely* 'черепаха', русск. *желвак* – с расширением *-й-*, мы тем самым во всем существенном остаемся при своей давней этимологии, см. [54]. Разумеется, сейчас многое стало яснее (культурный аспект болотного железа), есть еще что добавить; так родился нынешний новый этюд по номенклатуре железа. Тогда, давно (год первой публикации – 1957), не была еще продумана связь с названием животной железы. Попутно заметим, что нет принципиальной разницы в обозначении желваков органических (животных) и неорганических. Прочая старая литература отражена у Фасмера (см. [55, с. 42–43]), где имеется и (сомнительное) сближение с именем железоделателей тельхинов.

В плане наших изучений исключительно интересно темное до сих пор латинское название железа – *ferrum*. И здесь поиски, вероятно, следует продолжать не в направлении установления крайне сомнительного древнего заимствования (см. [56], с древнееврейскими, сирийскими и ассирийскими параллелями), а в плане реконструкции культурно-языковой ситуации, пережитой также другими индоевропейскими племенами Европы, – культуры болотного железа и его комковатой, сыпучей, земляной породы, в связи с чем наиболее вероятная реконструкция из возможных – *ferrum* < **fersom* < **dhersom*. Эта последняя праформа отнюдь не изолирована среди индоевропейского словарного состава и для нее могут быть указаны родственные формы и значения, весьма перспективные как для древней индоевропейской диалектологии, так и для культурно-исторической реконструкции, занимающей нас здесь. Так, лат. *ferrum* (**dhersom*), по-видимому, этимологически родственно нем. *Druse* 'verwittertes Erz' (откуда заимствован наш минералогический термин *друза* 'группа кристаллов, сросшихся в основании') < герм. **drōs-* < и.-е. **dhrōs-*/**dhrās-*. Очень поучительно для нас здесь тесное родство этого минерального *Druse* и немецкого названия животной **железы** – *Drüse*, др.-в.-нем., ср.-в.-нем. *druos*, ср.-н.-нем. *drōse, drāse* (см. [57], где дается несколько отличная реконструкция герм. **prōs*, а лат. *ferrum* не привлечено совсем). Между тем родство и.-е. **dher-s-om* и **dhr-ōs-* (с допустимыми вариациями огласовки корня и суффикса) довольно правдоподобно, и оно, к тому же, позволяет углубить дометаллическую семантику лат. *ferrum* 'железо' в направлении, обследуемом нами на примере слав. **želězo*: 'конгломерат кристаллов; комочек', откуда тоже лексикализовалось побочно 'железа' (*Druse*: *Drüse*), что определяется комочкообразным видом как соответствующей минеральной породы, так и соответствующего животного органа. Далее, сюда же, видимо, следует все-таки отнести такое название крупного песка, гравия, т.е. осадочных пород, как русск. *дресвá*,

словен. *dŕstev*, польск. *drzą-stwo*, чеш. *drst* 'мусор' – из праслав. **dresva*/**drъsva* (это слово, обескураживающее неустойчивостью своих вариантов, например, русск. диал. *гверста́, хверсть, грества́, жерства́, жерста*, сербохорв. *зврст*, было признано неясным у Фасмера, ср. и вторичные созвучия с явно звукоподражательными, в свою очередь, литов. *gar̃gždas* 'крупный песок, гравий', *žvir̃gždas* то же; по этим соображениям оно не было в свое время включено в Этимологический словарь славянских языков, что, впрочем можно сейчас пересмотреть в пользу вывода о древности особого праслав. **dresva* – не из и.-е. **der-* 'драть', а из и.-е. **dhre-s-* в названиях осадка, осадочных пород ср. [58: *dher-*, *dherə-*]). В итоге мы получаем немаловажную культурно-историческую изоглоссу (изолексу), связывающую германский, славянский и латинский на уровне индоевропейских диалектов: **dhrōs-* (*Druse*/*Drüse*) 'комочкообразная порода; животная железа' – **dhres-* (*дресва*) 'осадочная, крупнозернистая порода' – **dhersom* (*ferrum* 'железо' <) 'комочкообразная порода'. **Это сближение приоткрывает средствами языкознания завесу над предысторией европейской черной металлургии, каковой для ряда индоевропейских племен древней Европы была эпоха болотного железняка в районах, где, видимо, были привычны и болота, и луговые пространства** (можно при этом вспомнить нашу латинско-славянскую параллель *pal-ud-* ~ **pola voda*).

Во всяком случае, не более предпочтительно (особенно в свете констатаций, выше, что железо, судя и по его разным старым обозначениям, – не "цветной" металл) спорное толкование Георгиева, который в свое время предполагал в лат. *ferrum* первоначальное цветообозначение *gh^{w}el-ro-m-* 'желтоватое' [59].

Собственно говоря, для наших целей (этимология слова *железо*) не так важен дальнейший словообразовательный анализ **žel-ěz-o*, сколько отношение слов *железо* и *железа́* и способы выражения мотивации одного из этих слов другим. Средствами выражения мотивации *железа́* → *железо* послужили (кроме семантической деривации, см. о ней выше) вокализм и акцентология. Оба слова скорее имитируют восточнославянское полногласие, причем *железа́* и его соответствия – в большей степени (церк.-слав. жлѣза 'glandula', русск. диал. *залоза́*, *золо́за*, укр. *зало́за*, белорусск. залоза, чеш. *žláza*, слвц. *žlaza*, болг. *жлеза́*, сербохорв. *žlijèzda*, словен. *žléza*; в стороне остаются редукционные варианты – польск. *zołza*, в.-луж., н.-луж. *žałza*, укладывающиеся в характеристику исходной краткости, см. ниже), чем продолжения праслав. **želězo*, где "полногласие" представлено повсюду. Но важно другое: слово *железа* последовательно обнаруживает более архаичный – **краткий вокализм корня**, т.е. праслав. **zě-l(ě)zā*, с закономерным старым наконечным ударением в русск. *железа́*, ср. сербохорв. *žlijèzda* [60], с правильным переносом ударения с краткого или циркумфлектированного (вин. пад. *же́лезу*), слога на акутовый (исконно долгий слог окончания). В слове *желе́зо* мы

видим постоянное ударение на корне, совпадающее с долготой гласного (*želězo), что можно трактовать как акутовую долготу – продление в **производном слове.** Отношения *želězo < *žel(e)za напоминают при этом известный пример *воро́на* (акутовая долгота в производном *vőrnā) ← *во́рон* (циркумфлекс *vornъ), при имеющихся отличиях в деталях (в *ворона*: *ворон* представлена чистая формула tort). Важно главное: долгота *ě* в *želězo инновационна (об этом догадывались и раньше, это видно и по вокализму балтийских соответствий), эта долгота носит характер деривационного продления *e* → *ě* (на этот счет ясность отсутствовала, как и насчет родства *железо*: *железа́*). Дифтонгическое происхождение *ě* в *želězo исключается. Балтийские формы представляют последовательно краткий вокализм корня – в вариантах *gelž- и *gelež-. Весьма любопытно, что отношения между "железой" и "железом" выражены в балтийском совсем не так, как в славянском, а весьма своеобразно: на производную суффиксальную форму *geležōn- (литов. *gẽležuonys, geležũnės*) перенесено непроизводное (исходное) значение 'железа́, желвак', а за непроизводной, исходной формой *gel(e)ž- (литов. *geležìs*, диалектн. *gelžìs*) закреплено производное, инновационное значение 'железо', т.е. в духе нередко встречаемой нами в старых производных автономии (разнонаправленности, анизоморфизма) деривации словообразовательной и деривации семантической.

КОНЦЕНТРИЧНОСТЬ КУЛЬТУРНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ АРЕАЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ

Не вдаваясь здесь в обсуждение большого круга вопросов, связанных с известной новой гипотезой о ближневосточной прародине индоевропейцев, все же считаем очевидным, что в основе ее лежит серия преувеличений вроде только что разобранного нами критически в случае с железом, который при более детальном лингвистическом анализе, напротив, заставляет нас вернуться в древнюю индоевропейскую Европу, жившую и развивавшуюся в своих самобытных условиях.

Таким образом, ни Восток (вопреки Гимбутас), ни Средиземноморье (с этим как будто согласны все), ни Север Европы (древний климат!) не подходили для обитания древних индоевропейских племен. Так называемая Западная Европа была освоена индоевропейцами тоже вторично, причем отчасти – уже на глазах письменной истории (Британские острова – сначала кельтами, потом германцами, не считая других завоевателей). Остается – Центральная Европа. Напомним, что на ней же мы остановились и в поисках ареала древнейших славян. Мы возвращаемся, таким образом, к идее концентричности древнейшего славянского и индоевропейского ареалов – идее, которая не раз уже возникала в ходе нашей работы и которая, кажется, наиболее адекватно соотносится с лингвистической аргу-

ментацией (например, с проблемой кентум – сатэм, которую, вероятно, имеет смысл решать в понимании центрального положения наиболее продвинутого – сатэмного состояния, а не периферийного – юго-восточноевропейского генезиса языков-сатэм, как до сих пор еще представляют дело некоторые авторы, например, [61, с. 411], и, разумеется не игнорируя эту проблему вообще, как считают иногда возможным делать другие).

Однако при этом важно видеть не одно лишь обострение споров и умножение проблем, но и перспективы сближений и общих решений, разумные выходы из трудных ситуаций, созданных более слабыми или проблематичными сторонами концепций. Так, Т. Лер-Сплавинскому, М. Рудницкому (и всей польской автохтонистской школе), а также между прочим, нашим А.А. Шахматову и А.И. Соболевскому славяне виделись с древнейших (догерманских) времен на Балтийском море. Сейчас языкознание способно противопоставить этим воззрениям ряд аргументов. О вторичном освоении Висло-Одерского бассейна с юга на север говорит наличие здесь ряда индоевропейских гидронимов без четкой славянской языковой характеристики, с чем, в сущности, согласны и польские автохтонисты, во всяком случае – некоторые из них (например, Роспонд). Выдвигается тем самым тезис о том, что славяне здесь не первые индоевропейцы (см. об этом также выше). В связи с этим может представить интерес один культурно-языковой ареал, полученный на основе синтеза согласных свидетельств археологии, письменной истории и языкознания. Ареал этот также простирается на более древнем Юге, в основном не захватывая Висло-Одерский бассейн. Он касается типов жилищ и их номенклатуры. Вопрос заслуживает внимания, поскольку типы жилищ обычно стойко сохраняют свою традиционность и могут служить весьма характерными отличиями этноса. Например, традиционное праславянское жилище – прямоугольная (полу)землянка с печью в углу наглядным образом отличает также восточных славян на Верхнем Днепре от соседних балтов с их столбовыми наземными жилищами (ср. [62]). Соответствующий пример почерпнут из 12-го выпуска Этимологического словаря славянских языков, где под реконструированной праславянской формой **kǫtja* объединено характерное название дома или помещения с печью, прослеживаемое в языках южных и отчасти восточных славян, ср. прежде всего болг. *къща*, сербохорв. *кућа* и др. Этимологически и словообразовательно праслав. **kǫtja* интерпретируется как первоначальное прилагательное женского рода, производное с суф. *-j-* от **kǫtъ* '(внутренний) угол'; допустимо думать, что это прилагательное было устойчиво согласовано со словом **pekt'ь* 'печь', т.е. **kǫtja pekt'ь* значило 'угловая печь, печь в углу'. В связи с широко представленным значением отдельных славянских продолжений **kǫtja* – 'дом' и 'помещение с печью' можно реконструировать более раннее (промежуточное) значение: 'прямоугольное помещение с пе-

чью в углу' (известные нам особенности происхождения, состава и семантики слова **kǫtja* не могли относиться, например, к жилищу овальной или круглой формы). Древний ареал слова **kǫtja*, практически неизвестного западным славянам, близко соответствует археологически устанавливаемому ареалу прямоугольных землянок с очагом или печью в углу, типичному жилью древних славян, который, в свою очередь, накладывается на область примерного распространения склавен = славян по Иордану (VI в.): от Среднего Подунавья до Днестра и на север до Вислы. Ни типичное жилище древних славян, ни соответствующее ему название практически не представлены на позднейшей западнославянской (по Иордану – венедской) территории на Одере и Висле. Славяне, к этому времени, по-видимому, освоившие также и этот регион, приспосабливались к новым видам жилищ, как приспособились они вторично и к бывшей здесь до них индоевропейской гидронимии и прочим новым условиям. Это еще один довод в пользу вторичной славянизации данного пространства на Севере, которое польским ученым-автохтонистам видится, наоборот, как извечная праславянская родина на Одере и Висле.

К сожалению, в основном повторение на удивление старых истин мы находим в новой, адресованной широкому читателю и, надо сказать, роскошно изданной книге компетентного чешского археолога Зденека Вани – "Мир древних славян" [63], где встречаем на каждом шагу утверждения, с которыми неизменно полемизируем, а именно – что "до этногенеза славян дело дошло гораздо позднее, чем у кельтов и германцев", что их этногенез протекал "на отдаленных окраинах Восточной Европы", что славяне выделились из первоначального индоевропейского единства (?) последними и поэтому они – "самая молодая" индоевропейская ветвь. З. Ваня примыкает также к висло-одерской теории прародины славян в общем – без новых аргументов, потому что утверждение о "чисто славянских названиях" между Одером и Вислой не является ни новым, ни верным (полным) аргументом. Говоря о пражском типе славянской керамики, "находки которого покрывают южную часть нынешней Польши и ГДР и всю чехословацкую территорию с ответвлениями в австрийское Подунавье", автор делает вывод: "Из этого только южную часть Польши и, может быть, восточную оконечность Словакии можно относить к первоначальному исходному ареалу славян; заселение остальной территории – это уже следствие славянской экспансии" [63, с. 22]. Однако "пражская" керамика в Подунавье – не изолированный феномен, она территориально согласуется с распространением типично славянских прямоугольных земляных жилищ с печью в углу и с распространением склавен по Иордану (на север – до Вислы!). Совокупность этих явлений не получила объяснения в книге З. Вани. Факт позднего появления единообразной пражской (пражско-корчакской) керамики у славян – в VI в. н.э. – автор толкует очень упрощенно, видя в этом доказательство поздней датиров-

ки славянского этногенеза – IV–V вв., гуннское время! Он забывает при этом, что наука давно располагает фактами славяно-иранских и славяно-кельтских языковых отношений, которые **нельзя датировать позднее середины – второй половины I тыс. до н.э. Славянский этнос и язык тогда уже достоверно существовали.** В широком распространении славянской керамики единообразного пражского типа в VI в. н.э. надо видеть только то, что есть, – распространение популярной моды в подходящих условиях, но уж, конечно, не символ завершения этногенеза славян. Некоторые высказывают мнение, что пражская культура VI в. н.э. – это свидетельство вторичного возрождения славянского единства [64], но и здесь содержится сильное преувеличение и, в конечном счете, неточность.

Во всяком случае именно в Подунавье и чешских землях древние славяне смешивались не только с более поздними германцами, но и с более древним неславянским темноволосым населением, видимо, кельтского происхождения, как это выявляют чехословацкие археологи в Средней Чехии (Podřípsko). И, хотя интерпретации все еще расходятся, лингвистическое исследование уже считается с фактом наличия относительно более развитой ранней металлургической терминологии именно в славянских языках дунайского ареала, например, в чешском, с соответствиями в кельтском и латинском (см. [65]).

Однако мне не хотелось бы быть понятым только в том смысле, что единственное, что меня заботит, – это одолеть во что бы то ни стало висло-одерскую концепцию прародины славян. Продолжая считать ее крайней концепцией, я все же думаю, что отметать начисто точку зрения оппонентов было бы и в данном вопросе едва ли плодотворно и полезно для науки. Поэтому целесообразно внимательнее присмотреться к тому, что не только не вызывает противоречий, но и может быть плодотворно развито: это южный фланг висло-одерского ареала, который приблизительно совпадает с северной периферией среднедунайского славянского ареала по нашей концепции. Уже на киевском съезде славистов в 1983 г. в дискуссии было высказано мнение, что наиболее проблематичен – в понимании сторонников висло-одерской теории – как раз южный фланг этого ареала, т.е. он как бы открыт и допускает ту или иную коррекцию. Надеюсь, я не очень удивлю читателя, если предложу одну такую кардинальную коррекцию в духе всего того, что уже высказано мной по этногенезу, а также в итоге длительного изучения трудов польской автохтонистской школы: примирение висло-одерской и дунайской теорий древнейшего славянского ареала возможно, если гипотетический висло-одерский праславянский ареал как бы "осадить" по широтной шкале к Югу, **не меняя его меридиональных параметров, которые у него фактически оказываются близкими к аналогичным параметрам дунайского ареала славян,** разрабатываемого в настоящей работе. Современная висло-одерская концепция, как

она есть, фиксирует, скорее всего, не извечную прародину славян, а их **раннюю северную миграцию** в духе уже рассмотренной нами традиции общеевропейской подвижки Север ↔ Юг. Не следует особенно настаивать (как это делают отдельные сторонники висло-одерской теории) на том, что висло-одерская локализация праславян якобы продиктована ранними германо-славянскими связями. И эти, и другие контакты логично мыслить также на более южных широтах. Особенно же это относится к кельтам, которые далеко на север вообще не проникали. Кельтско-славянские контакты предполагала и висло-одерская теория (Лер-Сплавинский), но это оставалось слабым местом данной теории, по которой эти контакты в географическом отношении как бы повисали в воздухе, а довольствоваться их локализацией лишь в Южной Польше, периферийной для кельтской экспансии (ср. и "Повесть временных лет" о волохах), недостаточно.

Продолжается, разумеется, диалог и с другими концепциями древнего славянского ареала, например, с предкарпатской теорией Удольфа, который в новых своих выступлениях (см. [66]) выдвигает попытки исторического объяснения единообразия исходного ономастического ландшафта и славянской преемственности в нем. Однако археологи, например, на основании данных о влиянии позднезарубинецких, черняховских и собственно славянских древностей VI–VII вв., говорят "о заселении Северо-Восточных Карпат на протяжении I тыс. н.э. выходцами из восточнославянских земель" [67], что тоже скорее свидетельствует против теории Удольфа.

ИЗ ЗАГАДОК НА БУДУЩЕЕ

Трудный путь к воссозданию этнолингвистической картины древнего славянства складывается, как это легко понять, далеко не из одних твердых находок и обобщений достигнутого, но из вереницы догадок, которыми обрастают любые поиски во времени и пространстве; они тревожат и смущают исследователя, а порой даже кажутся незрелыми и зыбкими. Но пройти мимо не задумываясь, быть может, равносильно добровольному отказу от разгадки новой тайны, новой информации не только и не столько о прародине, но и о масштабах мысленной ойкумены древних и древнейших славян, о которой прежде и не подозревали, как о том проблеске возможной синонимичности древнеиндийского названия Молочного моря 'Северного Ледовитого океана' (*Kṣīra-samudra-*, *Kṣīradhi-*, *Kṣīr(amah)ārṇava-*, *Kṣīravāri*, *Kṣīrasāgara-*, *Kṣīrasindhu-*, *Kṣīrābdhi*, *Kṣīrāmbudhi* [см. 68–70]) и названия *Amalchius Oceanus* 'mare congelatum, замерзшее море' в "Естественной истории" Плиния (Plin. NH IV, 95). Плиний, опираясь в своих сведениях на греческую традицию и записи, не дает ясного представления о локализации и идентификации, и отождествление *Amalchius Oceanus* = *Morimarusa* (см. [71]; относительно второго названия и его принадлежности мы

неоднократно писали выше) может вызвать сомнения в свете других данных. Не отражено ли в форме *Amalchius* искаженное в греческой передаче праслав. **melčь, *melčьnъ* или даже предпраславянское **mălkjă* = 'молочный'? (близкое название молока известно еще в германском и тохарском, но словообразовательная модель прилагательного с суф. *-j-* все-таки, скорее всего славянская[3]. Значит ли это, что славяне древности знали самый северный океан планеты или до них по крайней мере доходили глухие предания о нем? Кому они обязаны этим знанием и какую роль играла при этом древнеиндийская традиция (в которой удивительно много сведений о Крайнем Севере и Молочном море "Северном Ледовитом океане" [72]).

ЛИТЕРАТУРА

42. *Birkhan H.* Germanen und Kelten bis zum Ausgang der Römerzeit. Der Aussagewert von Wörtern und Sachen für die fruhesten keltisch-germanischen Kulturbeziehungen. Wien, 1970. S. 141, примеч. 141.
43. *Рыбаков Б.А.* Ремесло Древней Руси. М., 1948.
44. *Schuster-Šewc H.* Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Bautzen, 1985. Hf. 16.
45. *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1957. S. 272–273.
46. *Kilian L.* Zum Ursprung der Indogermanen, Forschungen aus Linguistik, Prähistorie und Anthropologie. Bonn, 1983. S. 34.
47. *Scherer A.* – Die Urheimat der Indogermanen / Hrsg. von A. Scherer. Darmstadt, 1968. S. 296.
48. *Иванов Вяч.Вс.* История славянских и балканских названий металлов. М., 1983.
49. *Bukowski Z.* Celtowie // Mały słownik kultury dawnych Słowian / Pod red. L. Leciejewicza. W-wa, 1972. S. 62.
50. *Mareš F.V.* Die Metalle bei den alten Slaven im Lichte des Wortschatzes // RS. 1977. T. XXXVIII. Cz. 1. S. 31 и сл.
51. *Трубачев О.Н.* Серебро // Восточнославянское и общее языкознание. М., 1978.
52. *Mallory J.P., Huld M.E.* Proto-Indo-European "Silver" // KZ. 1984. 97.
53. *Leeming H.* A Slavonic metal-name // RS. 1978. T. XXXIX. Cz. 1. S. 7 и сл.
54. *Трубачев О.Н.* Славянские этимологии 1–7 // Вопросы славянского языкознания. М., 1957. II. С. 29 и сл.
55. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1967. Т. II.
56. *Walde A.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch / Hrsg. von Hofmann J. B. 4. Aufl. Heidelberg, 1965. Bd. 1. S. 485–486.
57. *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Spache. 20. Aufl. Berlin, 1967. S. 145.
58. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959. Bd. 1. S. 251.

---

[3] Ср. и ту сложную семантическую связь, которая установима при этом, с одной стороны, с названием молока – праслав. **melko* и, с другой стороны, с названием замерзающего водоема, ср. сербохорв. *мла̂ква* 'лужа, которая замерзает зимой' (см. [55, с. 645–646]).

59. *Georgiev V.* Lat. ferrum, griech. χαλκός, abg. želězo und Verwandtes // KZ. 1936. LXIII. S. 250 и сл.
60. *Kiparsky V.* Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. Heidelberg, 1962. S. 205.
61. *Schmid W.P.* Griechenland und Alteuropa im Blickfeld des Sprachhistorikers. Θεσσαλονίκη, 1983 (отд. отт.). С. 411.
62. *Третьяков П.Н.* По следам древних славянских племен. Л., 1982. С. 89.
63. *Váňa Z.* Svět dávných Slovanů. Artia. Praha, 1983.
64. *Півторак Г.П.* Праслов'янська епоха у світі сучасних наукових даних // Мовознавство. 1982. № 2. С. 41.
65. *Němec I.* Nejstarší české kovářské termíny // Listy filologické. 1984. 107. S. 167 и сл.
66. *Udolph J.* Kritisches und Antikritisches zur Bedeutung slavischer Gewässernamen für die Ethnogenese der Slaven // XV Internationaler Kongreβ für Namenforschung. Resümees der Vorträge und Mitteilungen. Leipzig, 1984. S. 197.
67. *Балагури Э.А.* Этно-культурная карта Северо-Восточных Карпат на рубеже нашей эры // Rapports du IIIe Congrès International d'archéologie slave". Т. 2. Bratislava, 1980. S. 39.
68. *Böhtlingk O.* Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung. St. Petersburg, 1881. T. II. S. 127.
69. *Monier-Williams M.A.* Sanskrit-English Dictionary. New ed. Oxford, 1964. P. 329, 330.
70. *Кочергина В.А.* Санскритско-русский словарь. М., С. 182.
71. *Kowalewicz H.* Amalchijskie Morze // Słownik starożytności słowiańskich . I. Wrocław etc., 1961. S. 21.
72. *Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А.* От Скифии до Индии. М., 1983, passim.

ГЛАВА 7

Итак, как это явствует из предыдущего, суть нашей концепции в том, что славяне уже в очень раннюю эпоху должны были быть знакомы со среднедунайским регионом и что, следовательно, необходимо предполагать их раннее пребывание в непосредственной близости к Дунаю в Центральной Европе. При этом выдвигаются принципиальные вопросы теории, важные отнюдь не только для языкознания, но, возможно, в еще большей степени – для теории этноса и этнической истории, поэтому едва ли будет лишним напомнить их здесь еще раз: это **подвижность** праславян относительно исходных мест обитания, **чересполосица** мест обитания различных неславянских этнических групп и самих славян, в том числе – в самом центре **праславянской территории** и т.д.

Сознание неразрывной связи задач языкознания и истории, а также археологии при решении общих проблем позволяет нам, исходя из средств и возможностей нашей науки, говорить об **этногене-**

зе, а, скажем, не о **глоттогенезе**, так как последнее означало бы искусственное отграничение судеб языка от судеб его носителей.

Что побудило нас говорить о древнейших местах обитания праславян в Среднем Подунавье? Это в первую очередь многолетние исследования по славянско-индоевропейским лексическим (этимологическим) изоглоссам, определяемым в целом как двусторонние языковые отношения, а также выявление древних заимствований. Мы пришли к такому убеждению лишь постепенно, в процессе подготовки Этимологического словаря славянских языков (Праславянский лексический фонд), двадцать восемь выпусков которого вышли в свет с 1974 г. На базе этих исследований составилось представление, с одной стороны, о сложности (неоднозначности) балто-славянских отношений, а с другой стороны – о важных взаимосвязях изоглосс праславянского и западных индоевропейских языков. Отношения древнейших славян к древнеиталийским племенам до миграции (ухода) последних на Апеннинский полуостров, отношения древней славянской металлургической терминологии к соответственной лексике не только латинского, но и германского, и кельтского в рамках предположенного нами центральноевропейского культурного района – таковы были общие культурные и языковые предпосылки, предшествовавшие по времени известным заимствованиям из германского и кельтского в праславянский. Впрочем, что касается мест, где происходили эти последние заимствования, то имеются основания также предположить, что они осуществлялись славянами значительно южнее и западнее, чем это обычно представляли себе до сих пор, то есть (по нашему мнению) в Паннонии и в придунайских землях.

Сюда же примыкает такое существенное в плане нашей концепции положение, как самобытный генезис праславянского в качестве индоевропейского диалекта (или группы диалектов) и в принципе – вероятность более ранней датировки его собственного существования (хотя, разумеется, при этом говорить о какой-то "датировке" можно только cum grano salis и следовательно – без претензий на абсолютную хронологизацию). Что же касается оригинальности и самобытности славянского языкового типа, то это положение приходится защищать – не по причине слабости самой концепции, но, как увидим далее, из-за непрекращающихся тенденций всячески оспорить и подвергнуть сомнению эту самостоятельность славянского. Например, А. Эрхарт отдает предпочтение концепции, которая производит праславянский "из протобалтийского диалектного континуума", а праславянские языковые отличия объясняет контактами с иранским [1].

Акцентируя западные контакты праславянского, мы не упускаем из виду также его восточные контакты, подразумевая под последними ранние, и возможно, неоднократные миграции центральноевропейских этнических группировок, населявших Среднее Подуна-

вье, на Север и Северо-Восток, на Украину. Это подтверждают как археологические материалы, так и результаты лингвистических (этимологических) исследований применительно к славянско-иранским и славянско-индоарийским отношениям скифского времени. На основании этих фактов мы говорим о достаточно раннем расселении славян в Поднепровье, хотя споры на этот счет продолжаются. В связи с этим существуют, например, разные мнения о том, является ли название города Киева славянским по происхождению. Но об этом специально – ниже.

"Возврат Трубачева к теории Шафарика" о дунайской прародине славян (примерно так формулируют это чешские и словацкие коллеги) имеет свои истоки в успехах лингвистической теории, индоевропеистики и этимологии. Здесь уместно упомянуть о сатэмном характере славянского, который в этой своей фонетической характеристике продвинулся дальше по сравнению с кентумными языками и их более архаическим состоянием. В соответствии с этим сам процесс сатэмизации рационально мыслить где-то вблизи инновационного центра [2], а не на периферии предполагаемого индоевропейского языкового ареала, как это практикуется, вопреки успехам лингвистической географии, в самых новых работах, в которых сатэмные языки ассоциируются по-прежнему главным образом с восточной и юго-восточной индоевропейской периферией. Далее, в соответствии с принципиальной важностью положения, уже разбиравшегося нами, следует выделить возможности социо- и этнолингвистики, которые позволяют нам интерпретировать относительно позднее появление этнонима **slověne* как естественный феномен – я имею в виду известное молчание классических греческих и римских источников о славянах, над которым в свое время бился Шафарик, и многое другое. Нельзя попутно не отметить того обстоятельства, что, хотя этому нашему славному предшественнику явно недоставало многих современных сведений и критериев, имеющихся в нашем распоряжении сейчас, по сей день дело выглядит порой так, что и сейчас отстаивать эти идеи не намного легче, чем в эпоху Шафарика. Все это отнюдь не по причине слабости положительной аргументации, суть дела объясняется скорее склонностью человеческого ума видеть все в традиционном свете.

Таким образом, в предыдущих главах настоящей книги я предпринял попытку развить и подкрепить дальнейшими аргументами (в своей основе – шафариковское) положение об очень раннем начале славянства в Европе, чему послужили поиски специальных этнолингвистических доказательств реального характера продолжительности древней (доэтнонимической) стадии существования этноса, когда последний обходился элементарной самоидентификацией типа 'мы', 'наши', 'свои' и стал называться **славянами** далеко не сразу. Вот причина, почему этнос остался, так сказать, "не замеченным" греческими и римскими авторами (хотя едва ли можно с уве-

ренностью поручиться, что под названием **паннонцев** в сочинениях античной литературы первых веков нашей эры не скрываются именно славяне). Мой западногерманский оппонент Ю. Удольф все это прочел и, тем не менее, остался при своем убеждении, как это явствует из нижеследующей цитаты: "...Если бы славяне действительно уже в доисторическую эпоху населяли крупную область к северу или (согласно О.Н. Трубачеву в последнее время –) к югу от Карпат, нам должно было бы быть известно об этом из античных источников" [14]. Не смахивает ли научный диалог иногда, к сожалению, на разговор двоих, каждый из которых слышит только самого себя?

Идея изначального диалектного членения праславянского постепенно прокладывает себе дорогу в современной науке, но ученым оказывается нелегко привыкнуть к этой идее, и причина вовсе не в недостатке фактов (таких фактов имеется большое количество). Причина в том, что взамен приходится расставаться с привычными идеями, на которых выучились целые поколения исследователей. Например, югославская лингвистка В. Цветко-Орешник значительную часть своей диссертации посвятила моим исследованиям славяно-иранских лексических отношений, причем она отнеслась с одобрением к феномену, обозначенному мной как polono-iranica (имеются в виду такие явления, когда лексические иранизмы обладают явно праславянским характером, но концентрируются при этом главным образом в польском языке). И все же она, со своей стороны, оставила открытым главный вопрос: "Возможно ли для эпохи, когда были осуществлены эти заимствования (в последнем случае явно еще в древнеиранскую эпоху), считаться со столь сильной или столь географически четкой дифференциацией праславянского?" [4].

Тем не менее ясно одно – методологическое и, даже можно сказать, интердисциплинарное значение этого взгляда на древнейшее членение языка, а возможно – и культуры. Правда, на этом пути наши надежды на однозначно археологические параллели убывают, но их никогда не было много, а тем более – сегодня, когда расчлененности внутриязыковой реконструкции потенциально противостоит внутренняя (собственная) расчлененность картины, которую рисует археология. То обстоятельство, что былой постулат первоначального единства (языка и культуры) воспринимается как все более сомнительный с точки зрения обеих дисциплин, сам по себе может рассматриваться как возможный источник положительной информации. **Неоднозначные корреспонденции языкознания и истории культуры заслуживают нашего особого внимания.**

Возвращаясь к нашей основной теме – Среднее Подунавье как область древнего обитания славян, укажем на то, что эта теория иногда характеризуется как "вызов" археологии, ср.: "...это вызов, на который археология должна будет ответить – положительно или

отрицательно" [5]. Собственно говоря, в любой новой работе, новой концепции можно обнаружить нечто напоминающее вызов, хотя лично я меньше всего здесь думал о том, чтобы адресовать вызов археологии. В конце концов, это надо было бы рассматривать скорее как вызов языкознанию... Но и это не самое важное. Насколько я знаю, существуют весьма взвешенные и заинтересованные суждения о моей дунайской концепции таких лингвистов, которые сами занимаются праславянским и которые, кстати сказать, многое видят иначе [6]. Самым важным мне представляется то, что дух перемен уже проник во многие – прежде тихие – заводи науки о праславянском языке, и это есть самый настоятельный вызов нам всем – вызов науки. О праславянских диалектах заговорили. Н.И. Толстой извлек из своей богатой библиотеки малоизвестную карту праславянских диалектов Д.П. Джуровича 1913 г. Достоянием общественности это сделалось, заметим, не тогда, в конце 50-х годов, когда этот раритет был обнаружен Н.И. Толстым на книжном рынке, но лишь в нынешние, 80-е годы [7]. В своей статье "Из истории славистики" он отметил, между прочим, тот факт, что Джурович, как и спустя полвека после него Трубачев в своей схеме праславянских диалектов 1963 г., говорят о древнем соседстве лужицких сербов и предков восточных славян. В действительности же сейчас можно было бы назвать еще больше лингвистических пространственных схем и моделей праславянских диалектов. Так, кроме моделей Фурдаля и Шевелева, приводимых также Толстым и основанных на сравнительной фонетике, можно еще упомянуть "схему возможного диалектного членения позднепраславянского накануне великой миграции славянских племен" Х. Шустер-Шевца 1977 г. [8].

Поскольку дунайская гипотеза действительно означала вызов традиционным теориям славянской прародины к северу от Карпат, она, естественно, встретила со стороны представителей этих теорий споры и возражения. По словам моего уже упоминавшегося выше оппонента Ю. Удольфа, "О. Кронштайнер и О.Н. Трубачев уже при беглом осмотре гидронимов древней Паннонии могли бы увидеть, что они при сравнении с современными формами помогают обнаружить, что последние были славянизированы довольно поздно; так, например, название реки *Enns* не обнаруживает ничего похожего на развитие нормальной славянской формы **Onьsa*, а в случае с *Mur*/*Mura*, названием одной из крупнейших рек этого региона, обращает на себя внимание отсутствие славянского развития **-o- > -a-*" [9].

Это возражение мы не оставим без ответа. Начнем с того, что река Эннс, впадающая в Дунай справа к западу от Вены, протекает по территории бывшей римской провинции Норик (Noricum), **а не Паннонии**. Разумеется также, что в мои намерения не входило отрицать потенциальное соседство славянских названий с неславянскими, какими являются в данном случае гидронимы *Enns* и также *Mur*.

Перейдем теперь к Паннонии, точнее говоря – к римской провинции Pannonia prima, локализуемой вокруг озера Балатон и давшей, по всей видимости, названия прочим римским провинциям на восток и на юг от нее, – *Pannonia Valeria, Pannonia Savia, Pannonia Secunda.* Название исторической области *Pannonia* давно убедительно объяснено как производное от предполагаемого местного названия **Pannona*, иллирийского соответствия названию болота в нескольких индоевропейских языках, ср. прежде всего др.-пруск. *pannean* 'болото' [10]. Следовательно, на иллирийском языке **Pannona* означало примерно 'Болотный город', и, по всей вероятности, этот город был идентичен резиденции славянского князя кирилло-мефодиевских времен – **Блатьнъ градъ*, с точным древневерхненемецким семантическим соответствием последнему в *Mosa-purc* [11]. Если древний главный город страны носил название 'Болотного города' или 'Города на болоте', то нужно предположить, что само озеро *Балатон* называлось 'Болотом' (сильнее всего заболочены берега его южной части – Малого Балатона, близ которых и находился **Блатьнъ градъ* = *Mosa-purc* = (венг.) *Zalavár*). Опуская детали (в том числе и довольно любопытные, как напр. то, что в венгерской форме названия озера *Balaton* отражено не само старое славянское название озера – в качестве последнего скорее употреблялось апеллативное слав. **bolto* 'болото', как это подсказывает название города **boltъnъ gordъ* – в его праславянском варианте), остановимся на том факте, что название *Pannonia*, таким образом, первоначально значило 'Страна Болота' (или даже – 'Страна Болотного города'; названия страны по городу – не редкость в древности) и что эта иллирийская номинация нашла непосредственную преемственность в местной старой славянской номинации. Можно ли после этого продолжать говорить о "поздней славянизации" Паннонии?*

---

* Вполне возможно, что науке все-таки придется возвратиться к старому отождествлению названия озера Балатон у Плиния – *lacus Pelsonis* – со слав. **pleso* (русск. *плёсо* 'открытая широкая часть течения реки', укр. *плéсо*, чеш., слвц. *pleso* 'глубокое место в воде, озере', **в Словакии также специально в качестве названия озера**, ср. *Štrbské pleso* и ряд других озер в Татрах), которое, кажется, считается уже настолько преодоленным, что мы, например, не найдем данного сближения у Фасмера s.v. *плёсо*. Мне представляется возможным допустить здесь следы довольно четкой древней гидрографической комбинаторики в том смысле, что **Bolto* и **pleso* (последнее отражено Плинием несколько дефектно в виде *Pelsonis*, вар. *Peisonis)* обозначили – каждое – **не всё озеро**, а его разные характерные части, причем слав. **Bolto* относилось первоначально к действительно заболоченному Малому Балатону (см. выше), а **Pleso* – к основному "плесу" Балатона. Если мы попутно сочтем возможным поставить вопрос о том, что славянская принадлежность имени **прибалатонских** озериатов, *Oseriates*, все-таки тоже не может полностью сбрасываться со счетов, то мы получили бы в данном конкретном районе среднедунайского правобережья двухтысячелетней давности топонимический славянский контекст (ландшафт) в виде ансамбля таких несомненно древних славянских Wasserwörter индоевропейского генезиса (**bolto*, **pleso*, **ozero*), комплектность которого удивительна в сложившихся там исторически неблагоприятных условиях.

Мой лейпцигский коллега Э. Айхлер недавно высказался довольно скептически об обсуждаемой здесь дунайскославянской гипотезе: "...по моему мнению, в дунайском регионе отсутствуют типично праславянские гидронимы" [12]. При этом, однако, осталось неясно, что он понимает под "типично праславянскими гидронимами". Если имеются в виду развитые гидронимические модели, то их, возможно, не следует ожидать в такой специфической реликтовой зоне, как Среднее Подунавье, давно переставшее быть славянским. И все же в Подунавье имеются действительно славянские водные названия, которые нужно отнести к простейшему, а значит – **древнейшему** типу "Wasserwörter" ("водяная лексика", как называл их Краэ, подразумевавший под этим, как известно, древнейшие гидронимы), апеллативы, употребленные как гидронимы: праслав. **struga* 'струя', **bъrzъ* 'быстрый', **bystrica* 'быстрая река', **potokъ* 'поток', **sopotъ* 'источник, ключ', **toplica* 'теплая вода', **kaliga* 'тина', **bolto* 'болото' и др. Мы наблюдаем здесь подчас полное тождество гидронимов с соответствующими нарицательными словами, что как раз характерно для древней номинации водных объектов. Кроме того, по обе стороны Среднего Дуная вплоть до нашего времени (и притом – с первых веков венгерской письменности) встречаются характерные словообразовательные типы и модели славянской гидронимии: 1) суффиксальные производные (**berzьnica*, **lěšьnica*, **ščavica*, **rěčina*, **niža* < **nizja*, **tьrnava*), 2) префиксальные сложения (**perstegъ*), 3) двуосновные сложения (**konotopa*). Само собой разумеется, что при этом заслуживают нашего внимания также надежные примеры исконно славянских гидронимов с примыкающих моравских и словацких территорий Подунавья, ср. слвц. *Poprad* < **po-prędъ* [13], чеш. (морав.) *Punk-va* < праслав. **ponikъva*, праславянское образование которых едва ли может вызвать сомнения.

Что касается дальнейшего развития концепции упоминавшегося выше праславянского диалектного членения, то, я думаю, соответственно возрастет и интерес исследователей к славянским племенным названиям. Уже сейчас мы можем констатировать заметное обострение этого интереса. Но племенные названия (этнонимы) в состоянии дать нам еще значительную информацию для более глубокого понимания их собственной структуры как со стороны самого языка, так и со стороны внеязыковых данных, их происхождения и дальнейших преобразований. Яркий пример этого – этноним ободритов, его существующие этимологии и действительное положение вещей.

Название ободритов (*Abodriti, Obodriti* у западных хронистов) обычно объясняют в связи с названием реки *Oder, Odra* (так думали раньше и мы: **ob-odr-iti* 'по обе стороны Одры живущие'). Но дело в том, что как раз наиболее известные – западнославянские – ободриты локализуются в стороне от Одера, а именно – на нижней Эль-

бе. Нецелесообразно принимать объяснение, согласно которому форма *Obodriti* с точки зрения словообразования представляет собой производное от **obodr'ane*/**obodrěne* (955 г.: *Abatareni*), которое первоначально будто бы значило 'живущие по Одеру' [14], а связь с самим Одером и его названием, в котором скорее следует предполагать вторичное освоение славянами на крайнем Северо-Западе, становится со временем все менее вероятной. Между прочим, франкские анналы начала IX в. знают также ободритов (*Abodriti*, род.мн. *Abodritorum*) на Дунае, "по соседству с болгарами в Дакии". Эти последние ободриты получают в анналах эпитет *Praedenecenti*, единственным возможным и недвусмысленным – латинским – значением которого является 'грабители и убийцы'. Этот эпитет получает там в дальнейшем также разъяснение: *Abodriti* (в тексте: legatos Abodritorum) *qui vulgo Praedenecenti vocantur*, что можно понять единственно как 'ободриты, которые на языке народа называются грабителями' (прочие толкования мы здесь опускаем как неудачные, см. о них у И. Бобы [15]). Самое важное при этом – латинское пояснение хрониста – *vulgo* 'на языке (местного) народонаселения': франкские историографы знали своих беспокойных соседей-славян, из племенного языка которых может вести свое начало этот устрашающий эпитет в роли племенного названия, напоминающий – в том, что касается способа образования и смысла – этноним неукротимых лютичей (то есть 'лютых, свирепых'). Разве не ясно после этого, что родство с названием реки Одер, обычно принимаемое в литературе, – это не более как ученая конструкция ad hoc? Тем более сомнительна связь с названием незначительной речушки Odra в бассейне Дуная (точнее – Савы [16]), не говоря о другой речке с таким же названием в Верхнем Поднепровье. Что касается "языка народа", на котором ободриты понимались как 'грабители', то можно предполагать только связь со славянским глаголом **ob(ъ)derti*/**ob(ъ)dьrati* 'ободрать, ограбить', имея в виду словообразовательную модель как в укр. *наймит*, русск. *наймúт* 'наемный работник, наемник', что, собственно, предположил уже А. Брюкнер [17]. Любопытно отметить, что этимологическая прозрачность имени ободритов "на языке народа" как бы убывала по мере удаления от Дуная в направлении Балтийского моря, что отвечало бы нашим представлениям о расселении славян.

В общем контексте итоговых наблюдений, которыми мы перемежаем в настоящей главе диалог с критикой, напомним со всей краткостью о важности, которую представляет для систематических исследований по этногенезу интердисциплинарная этногенетическая типология, перед которой ставится задача раскрыть типичную сущность славянской языковой и этнической эволюции, ибо "уникальность" славянского этногенеза была бы равнозначна бездоказательности наших представлений о нем. Об этом говорится у нас специально выше, в главе 5-й, где привлекаются также типологические

славяно-германские аналогии – по вопросу неудовлетворительности "точных" датировок "начала" этноса, далее – в связи с общей сомнительностью реликтов древнего индоевропейско-неиндоевропейского двуязычия в Европе, с общей для ряда древних индоевропейских этносов миграцией сначала на север и вслед затем – на юг. Очевидно, имеет смысл поставить эти наши наблюдения – особенно последнее из них – в связь с древней экспансией в северном направлении археологической культуры воронковидных кубков, явившейся следствием длительного потепления в послеледниковый период. Но и для относительно более поздних эпох существуют красноречивые свидетельства аналогичных передвижений, конкретно – притока южных по происхождению этнических элементов, причем непосредственно со Среднего Дуная в бассейн Одера в эпоху бронзы. Выше уже шла речь о лингвистических аргументах в пользу вторичного освоения германцами Скандинавии с юга. Существенна также вскрытая польским археологом четкая дифференциация западной (одерской) зоны и восточной (вислинской) зоны в том смысле, что упоминавшийся приток населения с Дуная был как раз направлен в одерскую зону в течение бронзовой эпохи [18], – констатация, серьезно затрагивающая польские теории праславянского автохтонизма на Одере и Висле.

Своеобразие подробно рассмотренного в предыдущей главе эпизода культуры железа состоит, пожалуй, именно в самобытности отражения, которое получила в языке (языках), стадия развития материальной культуры, столь общая для больших взаимно контактировавших друг с другом этносов древней Европы – германцев, кельтов, славян: **культура болотного железа**. Весьма оригинально то, что несмотря на это **общее культурное начало**, достаточно четко зафиксированное в исходной германской и славянской лексике для (железной) руды и железа как названиях 'красного (вещества)', дальнейшее языковое развитие и языковое отражение привело славянскую номенклатуру железа к отличному результату – созданию "своего" термина для железа. Ссылка на сильное и длительное кельтское культурное влияние, приведшее, как известно, к принятию германцами **кельтского** названия железа, явно недостаточна, ибо не меньшее влияние кельтов и кельтской металлургии распространялось, как это тоже известно, также и на славян. "Аргумент железа", который мы выше зачислили в ряд небезынтересных славяно-германских аналогий языка и культуры, а еще ранее отнесли в число датирующих показателей балто-славянских отношений, поворачивается к нам, таким образом, еще одной своей не менее яркой стороной – как пример **сохранения самобытности языкового выражения в условиях этнической смежности и сильного инокультурного влияния.**

Это побуждает нас повторить также уже высказывавшееся ранее наблюдение, что сегодня не имеет смысла оспаривать, а тем бо-

лее отрицать принципиальную возможность сосуществования иных, неславянских этносов в пределах области праславянского расселения. Настаивать на противоположном решении, на "чистоте" ареала означало бы предпочесть нереалистичный вариант. Было бы, однако, упрощением и досадной вульгаризацией воспринимать это как призыв сменить прежнее классическое монолитное единство и "чистоту" в понимании праславянского языка, этноса и ареала на некий нарочитый гетерокомпонентный синтез. Я понимаю, что это был бы психологически оправданный, так сказать, "демонстративный" и одновременно – наиболее легкий способ "порвать" с устаревшей схемой единства, но у меня нет ни оснований, ни, следовательно, желания устремляться по этому легкому пути и приглашать читателей сделать то же. Хотя именно таким, пожалуй, вульгарным способом некоторые исследователи уже давно решили "круто покончить", например, с восточнославянским (древнерусским) единством. Лично я придерживаюсь и в этом последнем вопросе да и в вопросе праславянского языкового прошлого иной концепции, как мне представляется, более адекватно отвечающей прежде всего фактическому материалу и положению, – концепции сложного единства, не уклоняющейся от признания древности **диалектных различий**, но вместе с ними не отменяющей и **объемлющего их единства**. Это не самый легкий путь. Напротив, на этом пути задачи научной критики делаются труднее. Говоря кратко об этих задачах, укажем, что одна из них – квалифицированно противостоять (порой не очень квалифицированным) искушениям рассматривать славянский (праславянский) почти исключительно как мишень для культурных и языковых влияний. Думаю, что свою "отрезвляющую" роль могли бы выполнить детально разработанные этимологии вроде примера с "железом", к которому мы отнюдь не случайно неоднократно обращались. На IX Международном съезде славистов в Киеве К. Горалек выступил с докладом, специально посвященным критике теории восточных влияний на праславянский язык [19]. И, действительно, это было очень своевременно, поскольку о влияниях такого рода в последнее время любят писать, и вопрос этот нуждается в критической оценке. В этом отношении особенно повезло славному городу Киеву, в котором, кстати, проходил IX Международный съезд славистов. Тогда торжественно отмечалось 1500-летие Киева. Время тысячу пятьсот лет назад – это уже, собственно говоря, праславянская эпоха, а значит, наша тема, и поэтому наши замечания на этот счет будут вполне уместны, тем более, что "тема Киева", его древних названий в плане общекультурного процесса градообразования у славян уже звучала у нас в начальных главах книги. Там подтверждалась – в согласии с предшествующими славистическими исследованиями – убедительная этимология названия Σαμβατάς у Константина Багрянородного (середина X в.) как славянского названия **Sǫvodъ*, собственно 'стечение вод'. Это толкование имеет надеж-

ную опору в местной микротопонимии бесспорно славянского происхождения. Аналогичных оснований лишена новая попытка прочесть упомянутое Σαμβατάς как 'суббота, субботний', древнееврейское название праздничного, отдохновенного дня недели, причем сближение это подкрепляется ссылками на еврейско-хазарские влияния [20]. Таким образом, предлагается видеть в этом названии Киева след религиозного иудаистского влияния, и, больше того, тот же характер влияния предполагается в нескольких названиях рек Киевского региона – *Субот, Субодь, Субодъ, Соботъ, Соботь, Суботъ* и близкие, которые якобы первоначально значили 'субботние реки, не текущие в субботу'. Правда, мы имели бы в таком случае дело с чем-то из ряда вон выходящим. Речь идет даже не о том, что подобное религиозное влияние в гидронимии вызывает сомнения. Для появления иноязычной гидронимии необходима предпосылка в виде наличия соответствующего этнического пласта населения в продолжении достаточно долгого времени (ср. например тюркоязычные гидронимы Юга Украины); иначе само отложение в гидронимии оказывается под вопросом. Понятно, что для заметного участия в формировании местной гидронимии далеко не достаточен действительный факт существования в Киеве X в. еврейской городской общины (см. об этом ниже). Другой, тоже недавний, опыт неславянской этимологизации коснулся наиболее известного названия этого города – *Киев*. Автор, по-видимому, счел, что общее правдоподобие появления на Украине за последние примерно полторы тысячи лет тюркских названий дает право *Ky-jevū* производить от тюркского племенного названия *Kūn*, что будто бы подкрепляется такими иноязычными именами Киева, как др.-исл. *Kœnugarđr* и нем. (стар.) *Chungard* [21]. Между прочим, одной справки в специальной литературе хватило бы для того, чтобы понять, что, например, скандинавское *Kœnu-garđr* – не что иное, как передача вполне славянского **Kyjanъ* (– род. мн.) *gordъ* то есть 'город киян (= людей Кия)' [22]. В украинском до сих пор существует древнерусская форма *кияни* мн., обозначающая киевлян, но исторически продолжающая именно это более древнее значение (и обозначение) 'люди Кия'. Так что отменить старое толкование *Киев* < *Кий* не так просто, и для этого мало общих (и справедливых) деклараций о нереальности этнической чистоты славянства.

Только упорство новых атак на славянскую этимологию имени *Киев* побуждает меня попутно останавливаться на таких известных фактах средневековой общеевропейской графики, как передача звука [j] графемой *g*, что не дает ни малейшего основания видеть в написаниях *Cygow, Kygiouia* что-либо еще, кроме всего лишь неловкой записи все тех же живых славянских форм – *Киев*, *Kijów* (с отдельными моментами книжной латинизации – исход на *-ia*). Ни о какой связи с тюрк. *kuγu* 'лебедь' [21] серьезно думать, разумеется, при

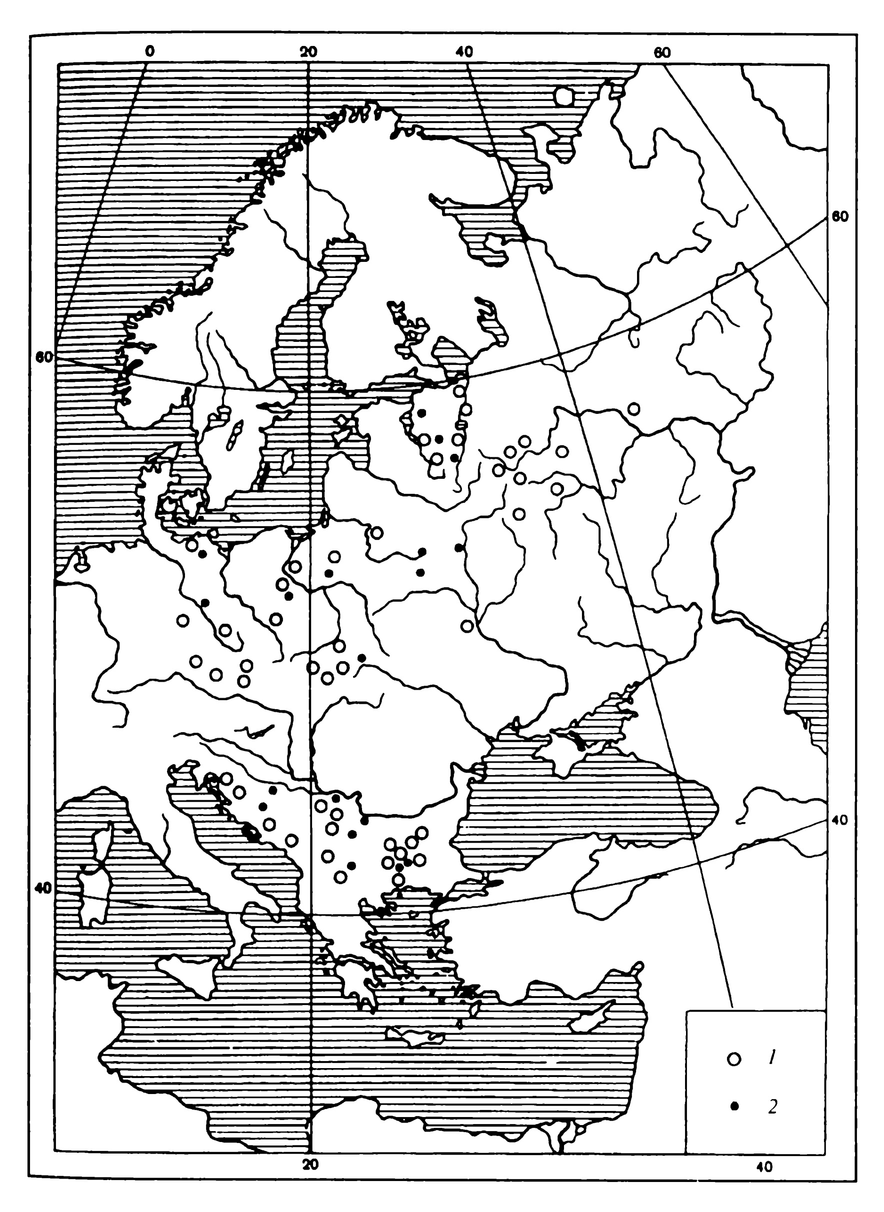
этом нельзя, как нельзя обогащать – на том же уровне – науку о славянском этногенезе, вовлекая в общий поток своих рассуждений о Киеве и тюрок, и ...древних венгров.

Сначала мне этот экскурс в новые этимологии названия Киева казался излишне детальным отвлечением, хотя никогда не лишне вскрывать ошибки, даже мелкие, особенно в этимологии. Но появление некоторых открытий в 80-е годы неожиданным образом внесло дополнительное оживление и в эту проблематику. Специально я занимаюсь этимологическим вопросом "откуду есть пошел Киев" в другом месте, здесь же изложу свои результаты кратко, чтобы они по возможности не выпадали из определяющих для меня рамок праславянской проблематики, куда, как я все больше убеждаюсь, принадлежит и Киев со своим названием, хотя в последнее время – и с высоких научных трибун в том числе – охотно преподносится нечто другое*. Лично я мог бы ограничиться утверждением, что с названием Киева и его исконнославянским языковым статусом все более или менее в порядке (уже затронутая выше архаичная форма названия жителей – *кияне* (укр. *кияни*) – как бы на уровне описания документирует производство от личного имени *Кий*, обнаруживая ценную в этом смысле для нас "позицию нейтрализации" противопоставления форм *Киев* и *Кий*), и остается пожелать, чтобы остальные проблемы древнейшего праславянского и в целом – славянства были бы ясны в такой же степени. Но ...

Семитолог Н. Голб и алтаист О. Прицак издали и всесторонне прокомментировали важный письменный памятник – написанное около 930 г. на древнееврейском языке рекомендательное письмо еврейской общины Киева [23]. Письмо, характеризуемое как важный документ хазарской эпохи, замечательно содержащимся в нем древнейшим **упоминанием Киева**, а именно – <u>*qāhāl*</u> *šel qiyyō<u>b</u>* 'община Киева' (имеется в виду еврейская община). Историко-лингвистические данные этого письма имеют безусловно выдающееся значение. Прежде всего надо отметить, что древнееврейская форма 1-ой половины X в. практически тождественна нашей нынешней, иными словами, она отражает славянское состояние уже после перехода *kū-* > *ky-* и даже – после *ky-* > *ki-*. Принципиальную важность этого можно во всей полноте осмыслить, лишь оценив тот факт, что примерно современное данному древнееврейскому письму арабское свидетельство Аль-Истахри *Kūyāβa* и тем более – позднейшее (XI в.) латинское свидетельство Титмара Мерзебургского – *Cuiewa* – это не

---

* Так, в своем публичном докладе Отделению литературы и языка АН СССР (январь 1989 г.) В.Н. Топоров некритично целиком воспринял и пропагандировал хазарскую версию О. Прицака, совершенно не учитывающую славистических реальностей, как это будет показано ниже. Так сказать, еще одно проявление нынешнего эпигонства на всех эшелонах...



Карта 6. 1 – *Киев, Киева, Киево* и т.п.; 2 – *киевец, киевичи* (*kijowice*) и т.д.

более как субституции и притом – приблизительные. Их исключительное якобы значение для этимологии названия Киева после публикации еврейско-хазарского письма X в. резко падает; во всяком случае отныне эти явно вторичные формы – записи на *-и-* уже не могут с прежней свободой привлекаться для подтверждения якобы родства с польск. *kujawa* и т.п. и одновременно – для отвода этимологии *Kyjevъ* < *Kyjь*, и наоборот – эта последняя усиливается. Курьезно при этом, правда, что издатели, скорее, игнорируют эти показания формы *qiyyōḇ* и оперируют (О. Прицак) реконструкцией **Kūyāwa*, считая ее иранской, производной от хорезмийского имени *Kūya*, действительно упоминаемым у Аль-Масуди (точнее – *Aḥmad ben Kūya*, вазир хазарских войск примерно того же времени). Так, и исходное имя, и даже суф. *-awa* признаются, следовательно, в названии Киева не славянскими, а восточноиранскими. И нам оставалось бы только согласиться, как это уже и делают, не смущаясь соображениями, которые не позволяют согласиться нам. Хазарское владычество в Киеве, само по себе проблематичное, измеряют по самым щедрым подсчетам временем не более ста лет, при этом Киев был, как полагают, пограничным городом, а граница шла в общем по Днепру (?). Обращает на себя внимание во всем этом странное и почти полное умолчание о **сопредельном этническом элементе**, прежде всего – обо всех аргументах, аналогиях и признаках влияний, потенциально идущих с **Запада, который (NB !) был славянским.** Не ставится вопрос и об этнической принадлежности коренного населения Киева, которое не могло быть хазарским, но напротив, упорно говорится о захвате, завоевании (conquest) Киева Игорем Старым. При этом совершается, скорее, подмена обычного для Руси захвата киевского "стола" этническим освоением будто бы чужого славянам Киева, хотя (vice versa) и уже известные нам пограничность Киева для хазар, и Днепр как сама эта граница (так у Голба – Прицака!) вполне говорят непредвзятому исследователю о нехазарской принадлежности населения. Как уже отмечено выше, славянский, славистический фон с Запада для Прицака-интерпретатора в вопросе с Киевом как бы не существует. Так, **ни словом** не упомянута тождественность племенного названия киевских полян более западному этнониму полян польских. У нас здесь нет возможности развертывать некоторые более специальные польско-полянские аналогии, в том числе такую отнюдь не банальную аналогию, как лексико-семантическая и ономастическая параллель древнерусского имени *Кий* и польского *Piast*, оба – 'дубина, колотушка, пест' (думаю, их как бы додинастический и ощутимо некняжеский статус – *Piast* определенно называется "chłopem" (крестьянином), а спор о том, был Кий князем или перевозчиком, читателям наших летописей известен – доносит до нас еще не оцененную архаику). Но, пожалуй, здесь необходимо сказать об одном славистическом аспекте – лингвогеографическом, который сразу делает почти ненужными все осталь-

ные pro и contra, ибо для этого достаточно отослать читателя к карте (у нас – карта 6: *Киев, Киева, Киево*), как и делаю – для краткости – я, выражая попутно сожаление, что не все названия удалось на карту нанести с гарантированной точностью, что, впрочем, извинялось объективными трудностями да и скрадывалось масштабами, ведь речь идет буквально обо всем относительно раннем славянском ареале. Ибо – и это важно напомнить тем, кто с легким сердцем связывает *Киев* днепровский и имя отца Ахмеда бен *Куя* – **ареал Киева – это одновременно и весь славянский ареал** (может быть, только за вычетом одной Словении). И те полсотни или больше Киевов, которые рассеяны по славянским землям, включая безвестные или как у нас, "неперспективные", **все лежат в основном строго на запад от Днепра**. Это и есть ответ – даже не этимологии, а – лингвистической географии, мы лишь беремся его здесь расшифровать, или "декодировать": эпицентр и источник славянских Киевов – не в хазарских степях (градостроительство хазар вообще можно не преувеличивать) и уж, конечно, не в Хорезме; в частности, Киев приднепровский, так сказать, крайний Киев на юго-востоке старого славянского ареала, – тоже "приграничный", причем сразу видно, откуда он занесен – и название в целом, и его корень, и суффикс, и вся эта свобода первоначального употребления – *Киев / Киева / Киево*, легко приложимая к главному слову (**Киев город*, **Киева весь*, **Киево село*, *озеро* и т.п.) и показывающая до сих пор с максимально возможной ясностью, что перед нами – славянское прилагательное, описывающее принадлежность славянскому личному имени в духе славянского словообразования. И еще, конечно, многое другое может прочесть специалист в этой дописьменной лингвистической истории Киева, который оказался в "блестящем одиночестве" на днепровском Правобережье (на Украине, в сущности, Киев – один, но – крупный, из всех пятидесяти и более довольно мелких Киевов славянских...), но наш Киев не остановился на этом высоком днепровском берегу, а в числе других путевых примет обозначил древний поход за освоение русского Северо-Запада. Ибо, как это ни парадоксально на слух, именно приднепровский Киев пришел в незапамятные времена в Псковскую и Новгородскую земли, в Верхнее Поволжье, чтобы раствориться там добрым десятком малых – безвестных и "неперспективных" Киевов.

Для выявления характера формирования праславянского, в частности – его словаря и ономастики уже сделано довольно много. Трудно поэтому отделаться от удивления, когда читаешь, как американский славист Г. Лант в своей коротенькой статье, носящей всеобъемлющее название "On Common Slavic", неожиданно заявляет, что ранний праславянский, реконструируемый в этимологических словарях, "абсолютно гипотетичен" (is entirely hypothetical), а протославянский (я сохраняю терминологию автора) – это "чистая абстракция" (a pure abstraction) [24]. Так – одним махом – разделывается

автор с фундаментальными трудами (даже не упоминая, впрочем, их), собравшими и исследовавшими огромный материал. Но, может быть, суровый критик предлагает нам собственную более перспективную программу, скажем – более основательную реконструкцию? Ничего этого нет, что не может не вызвать глубокого нашего разочарования, тем более, что в стране, где писались столь удивившие нас строки, современный уровень сравнительного языкознания бесспорно высок. Автор статьи "On Common Slavic" явно путается в диалектной характеристике праславянского, впадая в противоречия с самим собой: с одной стороны, он воюет – с известным опозданием – против положения о бездиалектности праязыка, а с другой стороны – говорит о каком-то "абсолютном единстве до VIII века". Будучи не удовлетворен гипотезами и абстракциями других исследователей, он предлагает нам несколько странную концепцию славянского этногенеза (если это можно вообще так назвать): "Группа от 500 до 1000 человек, живущих укромно", или несколько таких групп (охотников, скотоводов), плененных кочевыми аварами, сделались из угнетенных земледельцев стражами границ (на Востоке – анты, на Западе – венеды). За период времени с 550-го по 800-й год благодаря их успеху (успеху славян? – *О.Т.*) и их подвижности во всей Восточной Европе распространилась единая (homogenized) lingua franca. – Таков итог Г. Ланта.

Даже относительно киммерийцев рискованно утверждать, что они никогда не существовали как этнос в собственном смысле и были всего лишь "подвижными кавалерийскими отрядами", хотя о киммерийцах мы не знаем почти ничего, по крайней мере в сравнении с тем неизмеримо большим, что мы знаем о древних славянах, о которых нам тут пишут похлеще, чем о киммерийцах.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Erhart A.* U kolébky slovanských jazyků // Slavia. Ročn. 54. Seš. 4. 1985. S. 337 и сл.
2. Ср. *Diebold A.R., Jr.* Linguistic ways to prehistory // Proto-Indo-European: the archaeology of a linguistic problem. Studies in honor of M. Gimbutas / Ed. by S. Nacev Skomal and E.C. Polomé. Washington, D.C., 1987. P. 44.
3. *Udolph J.* Kritisches und Antikritisches zur Bedeutung slavischer Gewässernamen für die Ethnogenese der Slaven // ZfslPh XLV. 1985. S. 33 и сл.
4. *Cvetko-Orešnik V.* Zu neueren iranisch-baltoslawischen Isoglossen-Vorschlägen // Linguistica XXXIII, Ljubljana, 1983, S. 242.
5. *Bialeková D.* IX medzinárodný zjazd slavistov // Slovenská archeologia. XXXII. 1984. S. 241.
6. *Birnbaum H.* A typological view of Serbo-Croatian: some preliminary considerations // Зборник Матице Српске за филологиjу и лингвистику XXVII–XXVIII. Нови Сад, 1984–1985. С. 79, примеч. 7.
7. *Толстой Н.И.* Из истории славистики. Опыт карты праславянских диалектов Д.П. Джуровича 1913 г. // Зборник Матице Српске... XXVII– XXVIII. С. 789 и сл.

8. *Schuster-Šewc H.* Zur Bedeutung des Sorbischen und Slovenischen für die slawische historisch-vergleichende Sprachforschung // Slovansko jezikoslovje. Nahtigalov zbornik ob stoletnici rojstva. Ljubljana, 1977. S. 444.
9. *Udolph J.* Op. cit. S. 51 (у автора: **-o-* > *-a-*).
10. *Vasmer M.* Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Bd. II. Berlin, 1971. S. 892.
11. *Kiss L.* Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1978, s.v. Balaton.
12. *Eichler E.* [Рец. на кн.]: G. Schramm. Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr., Stuttgart, 1981 // ZfSl. 30. S. 298.
13. *Ondruš Š.* Meno rieki Poprad je slovansko-slovenské // Slovenská reč. 50. 1985. S. 102 и сл.
14. *Moszyński L.* Z zagadnień słowotwórstwa prasłowiańskich nazw plemiennych // Etnogeneza i topogeneza Słowian. Warszawa; Poznań, 1980. S. 65 и сл.
15. *Boba I.* "Abodriti qui vulgo Praedenecenti vocantur" or "Marvani Praedenecenti"? // Palaeobulgarica / Старобългаристика VIII/2, 1984. S. 29 и сл.
16. *Dickenmann E.* Studien zur Hydronymie des Savesystems II. Heidelberg, 1966. S. 55.
17. Ср.: *Kunstmann H.* Zwei Beiträge zur Geschichte der Ostslawen. 1. Der Name der Abodriten // Die Welt der Slaven 26, 1981. S. 399. Точка зрения самого Кунстмана о происхождении этого славянского племенного названия из греч. ἄπατρις, мн. ἀπάτριδες; 'безродные люди' (ср. там же, S. 402 и сл.) сомнительна в высшей степени, как, собственно говоря, и другие "греческие" этимологии, предложенные этим ученым в изобилии для славянских племенных и местных названий. См. еще: *Kunstmann H.* Beiträge zur Geschichte der Besiedlung Nord- und Mitteldeutschlands mit Balkanslaven (= Slavistische Beiträge, Bd. 217). München, 1987, passim.
18. *Bukowski Z.* Problematyka osadnicza dorzecza Odry, Wisły i Bugu w II i w I poł. I tysiąclecia p.n.e. jako jeden z elementów poznawczych dia badań nad topogenezą Słowian // Archeologia Polski XXIX. 1984. S. 298.
19. *Horálek K.* K etnogenezi Slovanů. Příspěvek ke kritice teorie orientálnich vlivů v praslovanštině // Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie. Pr., 1983. S. 169–178.
20. *Архипов А.А.* Об одном древнем названии Киева // Вопросы русского языкознания. М., 1984. Вып. V. С. 224 и сл.
21. *Яйленко В.* П. Тюрки, венгры и Киев: к происхождению названия города // Этногенез, ранняя этническая история и культура славян. М., 1985. С. 40 и сл.
22. *Schramm G.* Die normannischen Namen für Kiev und Novgorod // Russia mediaevalis V. 1. München, 1984. S. 76 и сл.
23. *Golb N.* and *Pritsak O.* Khazarian Hebrew documents of the Tenth century. Cornell university press. Ithaca and London, 1982.
24. *Lunt H.G.* On Common Slavic // Зборник Матице Српске... XXVII–XXVIII. С. 417 и сл., особенно с. 420–422.

ГЛАВА 8

Всем понятен смысл индоевропейской проблемы, центральной и труднейшей проблемы сравнительного языкознания, но сформулировать ее нелегко, и притом каждая эпоха вносит свое в эту формулировку. Образ индоевропейского генеалогического древа с единым стволом и отходящими от него ветвями, очевидно, устарел, хотя на практике служит и по сей день. Более адекватной кажется сумма этногенезов, или образ более или менее близких параллельных стволов, идущих от самой почвы, т.е. подобие **куста**, а не дерева; этот образ неплохо передает древнюю полидиалектность, но и он не вполне удовлетворителен, поскольку недостаточно выражает то, что придает индоевропейскому характер **целого**. Это целое не ограничивается корнями, но существует, существовало и в виде объединяющих слоев. Таким образом, мы должны изучать частные этногенезы славян, германцев, балтов, греков, армян, фракийцев, иллирийцев, индоиранцев, анатолийцев и других на индоевропейском фоне, а также эти объединяющие их слои.

Узколингвистический подход к индоевропейской проблеме не выдержал испытания временем; индоевропейцы – это не только имя, глагол, аблаут, синтаксис, это и выраженная в языке культура. Значит, задача не только в том, чтобы сополагать независимые результаты языкознания и археологии, но и в том также, чтобы типологию языкового материала продолжить на типологических аналогиях за пределами языка, т.е. в **широкотипологическом подходе** к этногенезу и к индоевропейской проблеме. Общеметодологическое значение этих исследований не оставляет сомнений, их результат в перспективе призван стать частью нашего самосознания.

Вместе с тем сложность предмета такова, что сохраняют силу и такие слова, сказанные лингвистом: “Наука – это диалог, и никто из нас не может претендовать на то, что он сказал последнее слово”.

Один из недавних обзоров происхождения индоевропейцев по итогам языкознания, археологии и антропологии констатирует, что “истоки индоевропейства еще не уловимы археологически” [1, S. 111]. Следом идут признания вроде того, что археология одна не может разгадать начало прагерманских этнических групп [2, p. 16]. Наконец, при всей вероятности соответствующих этнических перемещений, уже давно высказывалось мнение, что “в археологических материалах, обнаруженных на территории к северу от Альп и относящихся к периоду предполагаемых переселений, нельзя найти следов того, что какие-то племена с этой территории ушли” [3, с. 96], и т.д. и т.п.

Сторонникам исходного индоевропейского “единства” полезно привести мнение об отсутствии в Центральной Европе единой культуры при эпипалеолите (к которому иногда относят зарождение ин-

доевропейских языков) [1, S. 156]. Напротив, несравненно ближе к нашему времени, в эпоху поздней бронзы, специалисты находят однородность центральноевропейской культуры [4, p. 336]. Мы далеки от мысли прямолинейно связывать явления эволюции языка и культурной эволюции, и все-таки факт появления однородности культуры как поздний, иначе – **вторичный** – итог подкрепляет естественную мысль о вторичности выработки, например, единообразной "древнеевропейской" гидронимии.

Напрасно некоторым ригористам-языковедам уже одно признание интеграции языков представляется пережитком марризма [5, с. 13]. Напротив, очень здраво и сейчас звучит суждение, что образование "ветвей" индоевропейской языковой семьи шло преимущественно через интеграционные процессы [6, с. 11], как и указание, что образование крупных племен и народов – сравнительно позднее явление [7, S. 135].

Для нас совершенно естественными представляются поэтому следующие слова: "...Любая концепция или метод, которые принимают во внимание и оперируют исключительно одним из этих процессов (конвергенцией или дивергенцией. – *О.Т.*), то есть, не учитывая также одновременного и/или последующего действия противоположного фактора языкового развития, будут неизбежно узкими и тем самым – нереалистичными. Это, скорее, исказит, чем прояснит действительный диахронический процесс языкового изменения". И дальше, там же: "В действительности языковое изменение характеризуется, конечно, постоянным и тонким взаимодействием (interplay) дивергенции и конвергенции, с преобладанием то одной, то другой из них" [7-а, р. 2, 3]. Поскольку вся эта исследовательская процедура прямо подводит нас к проблеме реконструкции праязыков, приведем оттуда же суждения и о праязыках, тем более что автор этих суждений весьма внимательно учитывает в дальнейшем и наши критические наблюдения, направленные против унитаристских концепций праязыка как "непротиворечивой модели". Итак, [7-а, р. 3]: "Одна из более серьезных ошибок, все еще совершаемых время от времени в ряде областей генетического языкознания, и, в частности, связанных с восстановлением утраченных праязыков, состоит в воззрениях на исходный праязык как на нечто чисто абстрактное, статичное, само по себе не подверженное изменению ... Но было бы грубой ошибкой не признавать того, что эта теоретически предельная стадия – частный праязык – сама является всего-навсего результатом, или конечным продуктом, более или менее длительного развития этого же самого праязыка".

Конференция по индоевропейской проблеме (Институт археологии АН СССР, 1986 г.) весьма явственно продемонстрировала живучесть многих старых представлений. С одной стороны – очевидное, заметное и для археологов накопление **разнородного** материала, приурочиваемого к исходной языковой стадии, побуждающее неко-

торых задать вопрос "Праязык ли это?"; с другой стороны – продолжающаяся апелляция части лингвистов к "условно унифицированному праязыку", постулирование "исходного единства" этого языка, которое способно лишь усугубить идеально понятые характеристики реконструируемого праязыка и тем самым – лишь затруднить его понимание, состоящее, между прочим, и в продуктивном соотнесении множащихся в ходе исследований потенциальных древних диалектизмов с искомым праязыком. Накопление фактической базы неизбежно влечет за собой потребность в теоретическом переосмыслении. Концепция самого праязыка как **продукта** развития вменяет идею нивелировки изначальной сложности; считать, что в этом случае "реконструкция теряет смысл", значило бы лишь неоправданно ограничивать возможности реконструкции, у которой в новых условиях возникают новые задачи и новые потенции. Кажется, что новый обмен мнений по индоевропейской проблеме не случайно акцентировал и эту конфронтацию сложного праязыка и более традиционных убеждений в духе "de l'unité à la pluralité" ("слияния допустить невозможно", иначе "невозможно верифицировать" т.п.).

Выступивший на упомянутой конференции по индоевропейской проблеме О.С. Широков поддержал отстаиваемые мной положения о важности и жизненности конвергенции в истории и развитии языков, сославшись при этом на пример южнославянской группы языков, которые достоверно **не представляли исходного единства,** но лишь вторично, **в ходе консолидации,** развили ряд "общеюжнославянских" особенностей. Продолжая размышлять над предметом, я вновь вспомнил Югославию, эту страну типологически интереснейших языковых судеб, и подумал, что пример с южнославянской языковой группой можно в этом смысле сузить и заострить, как то предполагает настоящая серьезная дискуссия. Уж если и сегодня находятся лингвисты, которые полагают, что "без генеалогического древа нам не обойтись", я бы предложил им, вместо ответа, югославский тест, иными словами, попросил бы их – целиком в духе их убеждений – возвести ныне существующие сербохорватские диалекты **прямо** к прасербохорватскому языковому единству. Специалисты свидетельствуют, что это затея не только трудная, но и практически невозможная и ее сводили бы на нет многократные вторичные слияния и влияния прежде самостоятельных древних диалектов, чему причиной – характерные особенно для сербохорватской языковой территории в средние века переселенческие движения (метанастичка кретања), которые приводили и к таким серьезным результатам, как приращение сербохорватского за счет части словенского языка (проблема кайкавских хорватов; об этом и о других подобных явлениях см. сейчас в компактной и легкообозримой форме: П. Ивић. Српски народ и његов језик[2]. Београд, 1986).

Заслуживает, далее, внимания обозначившаяся склонность ряда исследователей говорить скорее о торговле, обмене, распростране-

нии моды на те или иные произведения культуры, чем о смене населения, миграциях во всяком случае – при неолите и в эпоху бронзы [8, p. 63; 4, p. 16; 9, S. 41]. Дальние пути древности представляются прежде всего торговыми путями, по которым могли следовать и смешанные торгово-военные экспедиции [10, с. 50]. Естественно было бы вследствие этого не преувеличивать масштабы древних завоеваний, вообще – этнических передвижений, ср. упоминавшийся нами выше тезис о древнем "иммобилизме", к которому пришел английский археолог. Для подлинных этнических передвижений, наверное, требовался этнический взрыв вроде того, о котором говорят для эпохи железа [2, p. 4], раньше же имели место скорее малолюдные инфильтрации (так, к инфильтрации первоначально малочисленных этнических групп сводят сейчас, например, индоевропеизацию Малой Азии).

Как свидетельствуют соответствующие исследования, древний климат благоприятствовал раннему освоению индоевропейцами Севера Европы, за который упорно цеплялись некоторые исследователи предыдущих поколений: появление человека на южнобалтийском побережье Польши датируется методами палеоботаники около 5500 лет назад, т.е. серединой IV тыс. до н.э. [11]. Имеются сведения, что послеледниковое заселение районов на север от Судет и Карпат началось лишь с 4000 г. до н.э. [12, с. 60], причем, надо полагать, это была terra nova как для индоевропейцев, так и для неиндоевропейцев, если существование последних здесь вообще реально. Области более древнего заселения лежали южнее, в Центральной Европе. С середины V тыс. до н.э. засвидетельствована добыча золота в Трансильвании [13, p. 6], производившаяся, по-видимому, индоевропейцами, точнее, их частью, что косвенно говорит об их раздельных племенах с раннего времени. Археолог Е.Н. Черных, выдвинувший несколько сложное понятие Циркумпонтийской металлургической провинции IV–II тыс. до н.э., относит к западному флангу этого региона, населявшегося предположительно индоевропейцами, и золотоносную Трансильванию. Так, к этим золотодобывающим центрам были, видимо, близки германцы времен своей этногенетической консолидации, отнюдь не синонимичной и не синхронной появлению "типичных" (пра)германских формально-фонетических особенностей конца I тыс. до н.э. (см. также ниже), ср. общегерманский характер названия золота – **gulþa-* (гот. *gulþ*, нем. *Gold*, англ. *gold*). Очень близко и праславянское название – **zolto* (ст.-слав. *злато*, русск. *золото*, есть во всех славянских языках). Древняя изоглосса 'золота' захватывает, далее, лишь частично балтийский (лтш. *zelts*, общебалтийского названия золота нет), возможно, также фракийский. Исконноиндоевропейская этимология этого названия металла по желтому цвету прозрачна до деталей (сюда, кстати, примыкают некоторые другие родственные, но образованные с другим суффиксом, например, индоиранское название золота

**źharanya- < и.-е. диал. *ĝhel-en-i̯o-, при *ĝhel-t-o-/*ĝhl̥-t-o- в других упомянутых выше индоевропейских диалектах). Эта лексика не заимствована из языка другой цивилизации, но создана самими индоевропейцами, которые добывали золото в Среднем Подунавье и Трансильвании.

Как интерпретируется пространственный аспект этногенеза, так называемый топогенез? Вероятно, и здесь должен тщательно разрабатываться типологический подход. Имеющие место в исследованиях апелляции к маленькой латинской прародине, Лациуму [14, с. 108, сн. 8], заметно ослабляются тем, что в Италии индоевропейские диалекты оказались в чужих, средиземноморских, отчасти навеянных ближневосточными культурными влияниями (наличие их в Этрурии известно) условиях, в которых пришлые индоевропейцы-италики развивались и дальше, – в условиях города-государства. Думается, что более перспективна лингвистическая концепция пространственного индоевропейского диалектного континуума, кстати, лучше согласующаяся с изложенными выше представлениями о взаимодействии дивергенции и (особенно на ранних стадиях развития) конвергенции.

Положение о сходстве индоевропейской цивилизации и древневосточных цивилизаций [15, т. II, с. 884–885] вызывает различные ответные соображения и прямые сомнения. Археология и лексика свидетельствуют о наличии у индоевропейцев земляночных и малых срубных наземных жилищ, а также об отсутствии храмов, что существенно отличается от ближневосточной модели с ее храмами и храмовыми городами-государствами.

Как и следовало ожидать, четкие элементы ближневосточного устройства находим только у тех индоевропейских и неиндоевропейских обществ, которые оказались далее других углублены в Восточное Средиземноморье, как микенское и минойское бюрократические общества с их централизацией вокруг дворца и храма [16] и этруски с их городами-государствами и другими культурными особенностями, идущими из Малой Азии [17].

Нетрудно заметить уже из предыдущего, правда, крайне сжатого изложения, что мы придерживаемся дунайско-севернобалканской концепции индоевропейского протоэтнического ареала, которая уже давно имеет своих сторонников в нашей и зарубежной литературе [6, с. 11; 12, с. 58–59; 18, с. 19; 19, с. 12]. Между прочим, переднеазиатские культурные влияния на индоевропейский могут находить удовлетворительное объяснение при локализации индоевропейского очага в севернобалканских и придунайских районах через природный мост между Европой и Малой Азией [6, с. 12].

Два слова о методе. Современная индоевропеистика имеет возможность опереться на интегрированный сравнительный метод,

включающий, кроме уже упомянутой типологии, прежде всего **сравнение (этимологию) и внутреннюю реконструкцию**. Незаменимым резервом лексико-семантической реконструкции служат собственные имена, ономастика, за которыми стоят утраченные лексемы сплошь и рядом забытых языков, что все вместе сопряжено с немалыми трудностями атрибуции (я говорю это, потому что иногда раздавались голоса, призывавшие не включать ономастику в аппарат индоевропейской проблемы ввиду описанных трудностей интерпретации; но, при всех трудностях, обойтись в праязыковых исследованиях без ономастики невозможно, и мы также приводим примеры важности ее свидетельств). В исследованиях формальной структуры индоевропейского корня – пусть медленно и непоследовательно – все же наметился прогресс, выразившийся в том, что не остановились на Бенвенисте, на его трехбуквенной теории индоевропейского корня (при этом, правда, многие не идут дальше этой "канонической" модели), которая опиралась на аналогию семитского трехбуквенного корня и подкупала своей стройностью на определенной стадии, но не охватывала все разнообразие индоевропейской корневой структуры от двухбуквенных до пятибуквенных корней типа **spend-* 'совершать жертвенное возлияние', кроме того, эта теория статична и не объясняет раннеиндоевропейское состояние с двухсогласными корневыми словами до появления развитого чередования гласных [20, с. 35–36]. Что же касается реально-семантической и культурной реконструкции, то должен признать, что тут дело обстоит гораздо менее удовлетворительно, здесь давно остановились на Дюмезиле, на его теории трехчастной картины (структуры) мира людей и мира богов, остановились, явно не желая замечать статичности и неадекватности этой теории*.

---

* Не будучи сторонником концепции изоморфизма разных уровней языка, автор этих строк, тем не менее, придает большое значение тому, что можно назвать **синхронизацией реконструкции различных уровней.** Применительно к индоевропейскому праязыку нерешенность этой проблемы как традиционной, так и новой индоевропеистикой стала особенно очевидной именно после выхода известной фундаментальной двухтомной монографии Гамкрелидзе–Иванова в 1984 г. Известная несинхронность реконструкции при этом наблюдается в том, что, например, реконструкцию индоевропейского консонантизма названные исследователи доводят до критически предельного архаического уровня ("глоттальная" стадия), тогда как реконструкция структуры индоевропейского корня у них в основном останавливается на типологически **более поздней** – классической ("трехбукввенной") стадии. Равным образом без ответа остается вопрос, насколько этап мышления и культуры, реконструируемый в книге Гамкрелидзе–Иванова (развитая трехклассовая социальная структура, воинственность, вождизм, наличие храмовых городов-государств, наблюдаемые преимущественно в отдельных классических развитых, то есть тем самым – **поздних,** индоевропейских культурах), **синхронен** праиндоевропейскому этапу, программному именно для труда обоих ученых, насколько адекватно реконструируемому праиндоевропейскому языку и праиндоевропейской культуре проводимое в этом труде следование теории трехчастной индоевропейской картины мира Ж. Дюмезиля.

А между тем сама реальность восстановимой картины мира подсказывает другое – то, что можно назвать диалектологией индоевропейской социальной организации и культуры, имея в виду неравномерность ее развития, ведь не только сакраментальные три класса (жрецы – воины – скотоводы/земледельцы), но и наличие классов вообще маловероятно у ранних индоевропейцев, зато, с другой стороны, бывает рано представлен четвертый класс (ремесленники), у анатолийских же индоевропейцев трехфункциональная модель полностью отсутствует, а у германцев вплоть до римской эпохи были святые женщины-жрицы. Хотелось бы, чтобы наши ученые не так послушно следовали западным шаблонам, неудовлетворительность которых сознается и критикой на Западе. Постулируемое нередко в современных трудах по индоевропеистике наличие развитой социальной иерархии и в целом высокого уровня культуры праиндоевропейского этноса производит стойкое впечатление статичности. Невозможно говорить об адекватности этого "развитого" и "высокого" уровня не только ностратическим – дальним предпраязыковым связям индоевропейского, обычно также постулируемым при этом, но и – собственно **ранне**праиндоевропейской ретроспективе, с которой уместно ассоциировать все же более **примитивное** состояние культуры и общества. Все сказанное вынуждает думать об известном отставании теории индоевропейской культурной реконструкции подобно тому, как это выше пришлось констатировать и относительно теорий индоевропейского топогенеза (– пространственно-географического аспекта этногенеза), наблюдая и в этом случае торможение теоретической мысли модернизирующими или схематизирующими построениями. Диспропорция такого отставания становится особенно явной, если вспомнить, что в области наиболее продвинувшейся – формально-фонетической реконструкции – индоевропейская теоретическая мысль ушла рискованно далеко, ища, например, истоки индоевропейского звонкого консонантизма в типологически неиндоевропейских звукотипах (глоттальная теория).

Верно, что лингвистика не имеет аналога радиоуглеродной датировке археологии (к последней пытаются иногда приравнять глоттохронологию, или лексикостатистику Сводеша, хотя ни она, ни ее усовершенствованные варианты не могут серьезно приниматься в расчет, поскольку исходят из равномерности темпов убывания лексики, что не доказано и неприемлемо для разных языков), но лингвистов тоже постоянно занимает глубина реконструкции языкового состояния. Типологически небезынтересно, что, например, достижимая глубина тюркского реконструируемого состояния – всего 550–560 годы н.э. [21, p. 385]. Не берусь судить о тюркском, но когда один славист заявляет, что и в славянском глубина реконструкции такая же, приходится возразить, что при этом, видимо, не учитывается лексическая (этимологическая) реконструкция; в осуществляе-

мой через последнюю реконструкции индоевропейского времени разной глубины славянский выступает, напротив, как равноправный индоевропейский партнер. Это можно видеть в случае с праслав. *ognь как самостоятельным рефлексом и.-е. **n̥gnis*, названия огня, известного не во всех индоевропейских языках (нет в германском, греческом) и представляющего собой вероятное новообразование языка и культуры, связанное с древним нововведением обряда кремации (**n̥-gnis* 'не гниющий'?). Ср. об этом также ниже. Праслав. **berza*, русск. *берёза*, может быть, еще более яркий пример сохранения современным живым словом восстановимых примет индоевропейского слова (место ударения, количество гласного) и индоевропейского времени, ибо с того момента, как известное дерево стало называться в ряде древних диалектов за свою уникальную кору 'яркая, ослепительно белая' (**bherəĝos*, **bherəĝā*), счет времени ведется на многие тысячелетия. Вообще о березе сказано много, но далеко не все, в том числе как об аргументе при определении праиндоевропейского ареала: она распространена широко, но с неизменным нарастанием признаков рецессивности, деградации с севера на юг [22], с фактами перерождения, или подмены наименования именно на Юге ('береза' → 'тополь' на Армянском нагорье) [23, с. 351] и при неизменной высокой роли березы в поэзии Северной Европы – в широких пределах [24, р. 27], а последнее – явный архаизм культуры. В различных индоевропейских диалектах, в том числе в славянском, наблюдается живое и активное употребление лексического гнезда **u̯ei̯-* 'вить' и его производных **u̯ei̯-n-*, **u̯oi̯-n-*. **u̯ei̯-t-*, **u̯oi̯-t-*, обозначающих что-то вьющееся, витое – 'ветвь', 'лозу', 'иву', 'венок' и лишь вторично – виноградную лозу, постепенно уже в глубокой древности распространившуюся вплоть до Центральной Европы из своего первоначального южнопонтийско-южнокаспийского ареала.

Основная терминология лошади в индоевропейском исконная. Это относится к и.-е. **eku̯os* 'лошадь', которое вместе с и.-е. **ākuā* 'вода', очевидно, родственно и.-е. **ōkus* 'быстрый', см. об этом у нас выше (в воззрениях массагетов, лошадь – "быстрейшее из всех смертных животных", Herod. I, 216). Кельто-германская изоглосса одного из названий лошади – **markos*, **markā* также лишена приписываемых ей неиндоевропейских ассоциаций (с монгольским, локализуемым в древности в Забайкалье, т.е. в немыслимой дали от индоевропейского, во всяком случае – от индоевропейских языков Европы). Более оправдано видеть и здесь древнюю инновацию европейского очага коневодства (возможно, конкретно – фракийско-карпатского? Ср. царское имя *Thia-marcus* у агафирсов, явно включающее также упомянутый конский термин), ср., с другим суффиксом, др.-инд. вед. *márya-* 'жеребец' [25, Sp. 1010]. То, что, например, славянский участвует не во всех этих изоглоссах, говорит лишь о древней диалектности индоевропейского. Напротив, и.-е. **su-s* 'сви-

нья' хорошо представлено в славянском, как и в других диалектах, подтверждая тем самым наличие развитого свиноводства у индоевропейцев, причем данные о **сокращении** его у индоевропейцев на Ближнем Востоке [15. т. II, с. 595–596] уже сами по себе (наряду, разумеется, с другими фактами) указывают на исходный очаг как свиноводства, так и свиноводов-индоевропейцев в другом месте, в умеренных широтах (этому тезису пытаются противопоставить контраргумент, осмысливающий сокращение свиноводства как **стадию культуры,** замыкая при этом и начало, и конец свиноводства переднеазиатским ареалом, но основания для подобной универсализации отсутствуют, – вспомним популярность разведения свиней в высокоразвитой земледельческой культуре Китая, которой трудно было бы вменить некоторую "отсталость", скажем, сравнительно с Передней Азией).

Я неоднократно уже поднимал вопрос о необходимости типологии этногенеза. Сейчас кажется своевременным поставить интереснейший вопрос о взаимной типологии частных индоевропейских этногенезов в свете существующих популярных концепций, ибо, поступив так, мы получим уже хотя бы ту выгоду, что при этом в совокупной картине проступает сразу некая монотонность или шаблонность затронутых концепций, едва ли способствующая раскрытию своеобразия явления. Дело в том, что предыдущие поколения исследователей, отправляясь в своих суждениях от модели "единого" праязыка, испытывали явный дефицит в объяснении причинности реального своеобразия индоевропейских языков или ветвей и находили его – faute de mieux – во внешнем воздействии субстрата или суперстрата. Так, весьма распространенной является теория германского этногенеза как напластования индоевропейской шнуровой керамики на доиндоевропейскую мегалитическую культуру. Соответственно популярна теория славянского этногенеза как наслоения индоевропейской лужицкой культуры с запада на часть балтийского языкового ареала.

Что нам мешает в таком случае распространить эту схему и на балтийский этногенез, интерпретировав его как приход с юга индоевропейских племен и наслоения их на восточноевропейскую финно-угорскую культуру гребенчатой керамики? Как известно, очень аналогичная концепция прихода фракийцев-фригийцев в Литву Басанавичуса была давно отвергнута за дилетантские этимологии, но ведь в последние десятилетия на материале вполне научных соответствий вновь обосновываются фракийско-дакско-балтийские связи не позднее III тыс. до н.э. (причем, кстати, и в массе безнадежно дилетантских сближений Басанавичуса находятся такие, которые пришла пора реабилитировать, например, названий литовских городов Каунас, Приены и их этимологических дублетов в античной Малой Азии, о чем уже говорилось специально в предыдущих главах). Осуществляться эти связи могли лишь в **относительной близости к вос-**

точной части Балканского полуострова (ареал фракийских и дакских племен)*, и только после этого протобалтийские диалекты могли начать перемещаться на север.

Мы исходим из постулата древней диалектной множественности и поэтому не возлагаем ответственность за все на субстрат-суперстрат. Поучительная пестрота мнений, например, о субстрате германского говорит о зыбкости этого понятия, причем одни ограничиваются признанием этого субстрата, другие относят к нему 30% германской лексики [26, с. 67], третьи считают, что он огромен [27, р. 200], тогда как четвертые, напротив, уверены, что он вообще маловероятен [1, s. 60]. В одном варианте ответа на вопрос "Кто такие германцы?" [14, passim], помимо различных археологических аргументов, о которых бегло см. выше, делается упор на "архаическую лексику неиндоевропейского происхождения", куда автор относит герм. **hrugna-* 'икра (рыбья)', **dūbōn-* 'голубь' и ряд других слов. Однако давно известно родство первого из них с такими названиями лягушачьей икры из первоначального обозначения крика этих земноводных в брачный период, как русск. диал. *крек*, *крёк* 'лягушачья икра', лит. *kurkulaĩ* то же, т.е. элементарно ясно, что это исконная лексика повседневных понятий, которую не было надобности брать из субстрата, как равным образом и германское название голубя (**dūbōn-*, нем. *Taube*), давно объясненное из первоначального названия темного цвета (подобный принцип называния голубя также известен в разных языках). Необходимость этимологической проверки этих субстратных атрибуций, таким образом, очевидна. Проверка этимологий тем более важна, что сейчас все больше признается этногенетическая важность лексических свидетельств, сравнительно с фонетическими различиями, которые конституировались относительно поздно, в славянском – начиная с I тысячелетия нашей эры, в германском – не ранее середины I тыс. до н.э., тогда как лексические изоглоссы 'золото', 'серебро', 'рожь', 'свинья', 'поросенок', 'рало', 'сеять', 'серп' и многие другие насчитывают к этому времени не одно тысячелетие, а с ними и языковая, и культурная самобытность соответствующих индоевропейских племен.

По этой линии – начало или отсутствие лексических связей, общих новообразований – идет изучение древнеевропейских диалектов. Констатируется, например, отсутствие соседства древних германцев и древних греков [28]. Греки – это особая глава индоевропейской проблемы. Утверждения, что греки направлялись в Эгеиду из Малой Азии (15, т. II, с. 899), кажутся сомнительными ввиду стой-

---

* Этого момента относительной локализации, кажется, совершенно не учитывают ни Х. Бирнбаум (см. его "Славянская прародина: новые гипотезы". – ВЯ 1988, № 5, с. 36), ни реферируемый им З. Голомб, который поселяет древних балтов в верховьях Днепра и Дона, – а главное – заставляет их уйти "оттуда прямо на запад, в направлении Балтийского моря".

кой античной традиции ионической миграции, наоборот, – в Малую Азию из Аттики XI–X вв. до н.э., которая подтверждается археологически [29, Bd. 2, Sp. 1436–1437] и, возможно, лингвистически, ср. Ἀττική(γῆ) – **'Отцовская** (земля)', если от ἄττα 'отец' (любопытен фамильярный статус производящего и производного)*, аналогично μητρόπολις – 'главный город, город-мать' (тоже в отношении к колонии). Греки пришли в Грецию, очевидно, с севера, одно из их полулегендарных названий – Δαναοί, данайцы – указывает прямо на Дунай, сохраняя архаичную форму названия среднего течения этой реки [30, S. 408]. Есть мнение, что традиция о походе аргонавтов на север – это раннее предание о "возврате греков" [31, p. 65]. Археологические следы важной проблемы прихода греков в Грецию и Эгеиду, конечно, еще предстоит изучать специалистам.

Армяне – столь же обособленная индоевропейская ветвь, как и греки, но их пути и контакты затрагивают многие другие индоевропейские группы. И опять-таки мнение, что протоармянский лишь незначительно перемещался внутри Малой Азии, наталкивается на лингвистические противоречия. Даже если оставить пока в стороне крайние концепции – о встрече праславян и праармян на Украине [32, p. 142] или о соседстве армян с индийцами к северу от Черного моря [3, с. 239], не говоря уже о киммерийской теории генезиса армянского [33, S. 165, 204, 217], то палеобалканские связи и истоки армянского до его появления в Малой Азии и на Армянском нагорье остаются вне всяких сомнений. Достаточно сослаться на известную традицию Геродота о том, что "армяне – фригийские колонисты" (Ἀρμένιοι Φρυγῶν ἄποικοι). Сами фригийцы, бывшие, видимо, следующей волной балканских переселенцев, известны в Малой Азии уже со II тыс. до н.э. Все это население имеет прочные корни среди балканских индоевропейцев, где оставались близко родственные бригийцы и пеоны. Для предыстории армян особенно интересны последние, чей этноним Παίονες, продолжающий древнее **pa̯i(u̯)es* 'луговые (жители)', ср. более краткую старую форму в составе близкого этнонима Παιό-πλαι [34, II, S. 85], проливает новый свет на самоназвание армян *Hayk'* < **pa̯ies*, в результате чего армяне, эти записные жители гор, тоже оказываются первоначально '**луговыми, долинными**' (связь с названием страны *Ha̯iasa* менее вероятна, как, впрочем, и с этнонимом *Hatti*, что побуждает некоторых вообще признавать этноним *Hayk'* неясным). **Пеоны**, мизийско-фригийское племя, владели **речными долинами** Фракии [35, s. 8], они сидели и на реке Ἐρίγων (современная *Црна река*, т.е. 'черная река', в Македонии, бассейн Вардара), что этимологически тождественно (Ἐρίγων)

---

* См. еще: *Трубачев О.Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959. с. 25. Прочие объяснения Ἀττιμή – из Ἀθηναική 'афинский, -ая' или от ἀκτή 'берег' (?) – кажутся просто малоубедительными.

арм. *erek* 'вечер' (т.е. 'темнота') [36, s. 26–27, 353; 37, I, p. 147]. От рек Вардара и Струмы следы протоармян восходят еще дальше на север, где в Дунай в Румынии впадает река Vedea, этимологически – 'вода', в своей огласовке взаимно покрывающаяся с фриг. βέδυ и арм. get 'река'. Ареной известных науке сепаратных изоглосс армянского с греческим и с древнеиндийским реально могло быть древнее Подунавье с примыкающими районами.

Значительное количество общих изоглосс обнаруживают также армянско-славянские языковые связи. Из них мы выделим соответствие названий железы: арм. *gełj* – слав. **železa* [23, с. 132]. Если из этого же этимологического материала славянские и балтийские языки развили общее новообразование – название железа, что позволяет датировать интенсивные балто-славянские контакты с эпохи железа, т.е. около 500 г. до н.э., то армянско-славянские контакты фиксируют лишь дометаллическую семантику этого корня – 'комочкообразная субстанция, железа', что свидетельствует о времени до начала интенсивной разработки болотного железа – эпоха бронзы или неолит (II тыс. – начало I тыс. до н.э.).

Западнобалканские индоевропейские племена – иллирийцы – простирались довольно далеко на Север – до Силезии, временами – до Балтийского моря. Концом II тыс. до н.э. датируют их перемещение (обратное?) к Югу [3, с. 131]. Возможно, что это как-то сказалось и на уходе италийских племен в Италию из относительно более северных мест в Центре Европы. Наверное, именно северные иллирийцы, или иллиро-венеты, причастны к созданию лужицкой культуры. Именно эти племена с такой особой лексикой, как **delm-* 'овца' (апеллативно сохранилось в албанском, а в ономастике – *Dalmatia* и близкие названия – от собственно Далмации на юге до следов в Восточной Германии), **daksā* 'море' (от Эпира на юге и Адриатики до следов в Германии и Чехии), племенными названиями типа *Liccavici* (сохранилось до средневековья на западнопольских землях), местными и водными названиями типа **arson-*, **serm-*, **tarā*, оставили следы так называемого "третьего этноса" на позднейшей границе германцев и славян. Ясно одно, что носителями ископаемой лужицкой культуры не были ни кельты, ни италийские племена. Ввиду присутствия северных иллирийцев (венетов) в роли упомянутого пограничного "третьего этноса" их участие одновременно в славянском этнообразовании трудно вообразимо. Еще менее реален "лужицкий" суперстрат иной этнической принадлежности (например, италийской), принимаемый некоторыми учеными для объяснения славянского этногененеза, поскольку уже во II тысячелетии вероятно продвижение италийских племен из Центральной Европы в Италию (см. выше).

Начиная с Лер-Сплавинского, существует теория этногенеза славян как результата наслаивания этих загадочных археологических "лужичан" на протобалтов. Лингвистически здесь многое спор-

но, вплоть до позиции самого балтийского (не центральная, а, видимо, относительно периферийная). Чистота и бессубстратность балтийского мнима, ср. указание на финноугорский как древний субстрат балтийского [38, с. 869]. Противоречия протобалтийской концепции возникновения праславянского обозначались еще у Лер-Сплавинского, который указал на более тесные западно-индоевропейские связи славян, чем балтов [39, с. 38, 42]. Последующие разыскания углубили этот аспект, что вызвало необходимость "развести" балтов и славян в том, что касается их этнообразования.

Таковы, в самых скупых чертах, предпосылки современной дунайской теории праистории славян [40; 41; 42; 43; 44]. Ее обоснований – этимологических, конкретно-лингвистических – в действительности много больше, чем можно представить здесь, поэтому приходится ограничиться самыми общими и выборочными. Возражения против дунайской теории славянского этнообразования необходимо и дальше изучать, однако вряд ли прав В.В. Седов (устное высказывание), датирующий инфильтрации с Дуная на север от Карпат не древнее IV в. до н.э. и полагающий при этом, что эти инфильтрации уже застали славян на польских землях, чему там противоречит уже одно наличие неславянской индоевропейской номенклатуры (гидронимии), очевидно, более древней, чем появление на этих же землях славян.

Мы разделяем мнение, что "проблема прародины славян самым тесным образом связана с теориями о прародине индоевропейцев" [45, с. 92], хотя существуют и прямо противоположные суждения [46, с. 161]. Будучи языками-сатэм, и славянские, и балтийские языки развили инновацию в виде ассибиляции палатальных задненебных согласных. Судя по этой инновационной особенности, они находились внутри индоевропейского ареала. Однако и здесь серьезные различия: слав. *s* < **ts* < **k̂*, балт. *š* < **tš* < **k̂* (попытки примирить и объединить обе линии развития следует признать неудачными).

Балты позднее стали распространяться на Запад и вышли на Янтарный путь. О Дунае они узнали еще позже и притом – от славян. Славяне рано стали пользоваться известным кельтско-германским названием **dunajь*/**dunavь*, относившимся к Среднему и Верхнему Дунаю, однако замечательно, что они не знали древних названий **Нижнего** Дуная, например, Ἴστρος. Из поля зрения древних славян выпал, таким образом, фракийский сектор реки. Это соответствует уже отмечавшимся преимущественным древним связям между фракийским, дакским и балтийским [47, passim, особенно с. 100]. Славяне ориентировались с древности на связи с германцами, кельтами, италиками, иллирийцами, т.е. с западными индоевропейцами. В последние десятилетия удалось выявить важные свидетельства древних латинско-славянских связей в названиях окружающей природы типа *paludem* – **polovodьje* и др. и названиях культуры [48, с. 392–393; 49, с. 123–124; 24, р. 173–174; 50].

В отличие от западных связей праславян, их связи с восточными индоевропейцами как бы постэтногоничны, взять хотя бы известные славяно-иранские отношения (не древнее середины I тыс. до н.э.), которые отражают религиозное влияние на славян, но совершенно не затрагивают элементарные понятия и природу. Есть признаки аналогичного индоарийского влияния на славян. Распад индоиранцев на две ветви носит в Северном Причерноморье окончательный характер, хотя каждый "распад" лишь закрепляет и старое диалектное членение и новую консолидацию. Любопытно, что некоторые индоарийские (праиндийские) изоглоссы, возможно, выступают еще в Карпатском регионе. Так, уже Соболевский связал название притока Тисы Hornád с др.-инд. *nadī* 'река' [51, с. 173]; мы можем сейчас добавить ряд местных названий с элементом *-nad*, известных исключительно в Трансильвании и Банате: *Pănade, Tăşnad, Tuşnad, Cenad* [52, с. 152]. Известная *Nitra* в Словакии находит теперь объяснение как восходящая к древней форме **neitra*, родственной др.-инд. *netrá-* 'проход' [53, с. 44].

Реальнее всего представлять себе распространение этих этносов из Карпатского бассейна на Восток, т.е. как движение центробежное. Ярчайшим примером такого **центробежного** ухода на Восток из Центральной Европы служат очевидно индоевропейские носители фатьяновской культуры междуречья Волги и Оки. Время, место и направление их ухода, а также контакт с финно-угорскими культурами делают заманчивым предположение в фатьяновцах крайневосточных кентумных индоевропейцев – тохаров. Это оправдывалось бы и наблюдениями лингвистов об особо длительных сношениях именно тохаров с финноуграми, наложивших отпечаток на тохарский консонантизм; эти контакты, будучи древними и долгими, следует локализовать к западу от Урала, вблизи от древнего финно-угорского ареала (предположительно – Волго-Камье). Другие индоевропейцы в роли фатьяновцев, напр. балты, маловероятны, ввиду связей фатьяновцев с Центральной Европой и территорией Польши, тогда как протобалты до II тыс. до н.э. ориентировались на связи с древними племенами Восточных Балкан (см. выше).

В то время как ряд исследователей разделяет мнение о движении с Востока на Запад как основном направлении индоевропейских племен, мы бы выделили мысль о характерности именно центробежных распространений из некоторого центральноевропейского ареала. Особенно показательны здесь разнонаправленные движения приблизительно из одного и того же центра: италики – на Юг, упомянутые безымянные археологические фатьяновцы – на Восток (и те, и другие предположительно – во II тыс. до н.э.). Эта древняя тенденция жила долго и даже породила любопытную в плане культурно-лингвистической типологии этнонимическую модель, к которой мы в разное время уже обращались ранее и которую мы назо-

вем ‘Великая страна’. Эта модель никакой великодержавности и шовинизма в себе не таит, хотя так подчас охотно думают, начиная с Плиния, который связывал название *Magna Graecia* с “кичливостью” греков, пришедших якобы в восторг по поводу красот вновь освоенной страны. На самом деле Magna Graecia выражает ориентацию “новой” Греции (Нижней Италии) относительно старой метрополии, Эллады. Равным образом **Велико**британия названа так относительно материковой Бретани, **Велико**россия – относительно Руси изначальной, лишь под воздействием своего коррелята ставшей **Мало**россией, далее ср. **Велико**польша и ее оппозит – более южная (и раньше освоенная) **Мало**польша; закончим довольно древней и потому интересной для нас парой **Малая** Фригия – на ближайшем к Европе малоазиатском берегу Пропонтиды – и **Великая** Фригия – дальше на юго-восток вглубь Малой Азии (да и сама **Малая** Азия, Asia Minor, Μικρὰ ’Ασία, разумеется, представляет собой вторичное название страны, за освоением которой последовало расселение по Азии дальнейшей, иногда действительно называемой – гл. обр. в ученых трудах – Asia Maior, **Великая** Азия). В глазах искушенного читателя эти названия – неплохие дорожные указатели миграций из мысленного центра Европы.

Что же еще дает индоевропейская проблема, особенно – такого, что может интересовать не одну только индоевропейскую проблему? Индоевропейская проблема – это также индоевропейская диалектология, что, впрочем, мы старались показать с самого начала, и, кажется, из всех диалектологий индоевропейская диалектология первой столкнулась наиболее явственно с непреодолимостью феномена изначального диалектного членения. Можно, конечно, проглядеть и этот урок, но лучше – усвоить его с вниманием и пользой. Я имею в виду по-прежнему ощутимый вред унитаристской исходной концепции всякого, особенно – древнего языка. Когда крепко верится в идеальное (как бы монолитное) единство, любое накопление фактов известной самобытности диалекта, скажем, древненовгородского диалекта, способно вызвать, говоря кратко, две реакции (обе, заметим, в общем неправильные): одна из них, с легкостью зачисляемая в ретроградные настроения, – это, если усматривать здесь посягательство на единство древнерусского языка; и вторая, тоже неоправданная – с ее поспешной готовностью интерпретировать феномен в духе “всего прогрессивного”, – это когда оживляются толки о “гетерогенном” образовании русского языка вообще или о “двух” слившихся в нем языках (такие утверждения, кстати, уже проникли в широкую печать). Язык не бывает бездиалектным, самобытность древних диалектов может быть и большей, а язык существует – один, олицетворяя реальное единство в сложности, если пространственный континуум диалектов перекрывается выработанным ими же междиалектным и наддиалектным объединяющим слоем, с постулата которого мы и начали настоящую главу.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Kilian L.* Zum Ursprung der Indogermanen. Forschungen aus Linguistik, Prähistorie und Anthropologie. Bonn, 1983.
2. *Polomé E.* Methodological approaches to the ethno- and glottogenesis of the Germanic people // Mannheim Symposium 1984: Entstehung von Sprachen und Völkern.
3. *Порциг В.* Членение индоевропейской языковой области. М., 1964.
4. *Coles J.M., Harding A.F.* The Bronze Age in Europe. An introduction to the prehistory of Europe c. 2000–700 BC. London, 1979.
5. *Mańczak W.* W sprawie czasu i miejsca zapożyczeń germańskich w prasłowianskim // International journal of Slavic linguistics and poetics. Vol. XXIX. 1984.
6. *Горнунг Б.В.* Из предыстории образования общеславянского языкового единства // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1963.
7. *Pisani V.* Baltisch, Slavisch, Iranisch // Baltistica V (2). 1969.

7a. *Birnbaum H.* Divergence and convergence in linguistic evolution // ICHL 6 (отд. отт.).

8. *Thomas H.* // The Indo-Europeans in the IV and III millennia / Ed. by E. Polomé. Ann Arbor, 1982.
9. *Häusler A.* Kulturbeziehungen zwischen Ost- und Mitteleuropa im Neolithikum? // Jschr. mitteldt. Vorgesch. 68, 1985.
10. *Oždáni O.* Zur Problematik der Entwicklung der Hügelgräberkulturen in Südwestslowakei // Slovenská areheológia. XXXIV. 1. 1986.
11. *Latałowa M.* Warunki przyrodnicze osadnictwa prahistorycznego w okolicach jeziora Żarnowieckiego w świetle badań paleobotaniŁznych //Areheologia Polski. T. XXX. Zesz. 2. 1985. С. 261 и сл.
12. *Nalepa J.* Miejsce uformowania się Praslowiańszczyzny // Slavica Lundensia 1. Lund, 1973. S. 60.
13. *Polomé E.C.* Who are the Germanic people? // Studies in honor of Marija Gimbutas. Washington, D.C. 1987.
14. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* К проблеме прародины носителей родственных диалектов и методам ее установления (По поводу статей И.М. Дьяконова в ВДИ 1982, № 3 и 4) // ВДИ. 1984, № 2.
15. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984. I–II.
16. *Ilievski P.Hr.* Pisani podaci o zemljoposedničkim odnosima na Balkanu iz kasne bronzane epohe // Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Godišnjak XXIV (Centar za balkanološka ispitivanja. Knjiga 22). Sarajevo, 1986, passim.
17. *Socha J.* [Рец. на кн.:] А.И. Немировский. Этруски. М., 1983 // Eos, vol. LXXIII. fasc. 2. 1985. S. 372.
18. *Горнунг Б.В.* К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности (Протоиндоевропейские компоненты или иноязычные субстраты?). М., 1964.
19. *Дьяконов И.М.* О прародине носителей индоевропейских диалектов. I // ВДИ 1982, № 3.
20. *Андреев Н.Д.* Раннеиндоевропейский праязык. Л., 1986.
21. *Pritsak O.* The Slavs and the Avars. Estratto da: Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo XXX. Spoleto, 1983.

22. Atlas linguarum Europae. Vol. 1, 2-ième fascicule. Assen / Maastricht, 1986, carte 24: 'bouleau'.
23. *Сараджева Л.А.* Армяно-славянские лексико-семантические параллели. Ереван, 1986.
24. *Friedrich P.* Proto-Indo-European trees. The arboreal System of a prehistoric people. Chicago and London, 1970.
25. *Grassmann H.* Wörterbuch zum Rig-Veda[5]. Wiesbaden, 1976.
26. *Milewski T.* Dyferencjacja języków indoeuropejskich // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 1965; Wrocław etc., 1968.
27. *Gimbutas M.* Primary and secondary homeland of the Indo-Europeans // The Journal of the Indo-European studies. Vol. 13. Nos. 1–2. 1985. P. 200.
28. *Polomé E.C.* Some comments on Germano-Hellenic lexical correspondences // Festschrift Alinei (отд. отт.) passim.
29. Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in funf Bänden. München, 1979.
30. *Schmid W.P.* Griechenland und Alteuropa im Blickfeld des Sprachhistorikers. Θεσσαλονικη, 1983 ('Ανατυπο 'απο την 'Επιστημονικη 'επετηριδα της Φιλοσοφικης σχολης...), S. 408.
31. *Bačić J.* The emergence of the Sklabenoi (Slavs), their arrival on the Balkan peninsula, and the role of the Avars in these events: revised concepts in a new perspective. Columbia university Ph. D. 1983. University microfilms International. Ann Arbor, Michigan, 1984.
32. *Gołąb Z.* The ethnogenesis of the Slavs in the light of linguistics (отд. отт.).
33. *Schramm G.* Nordpontische Ströme. Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des europäischen Ostens. Göttingen, 1973.
34. *Mayer A.* Die Sprache der alten Illyrier. Bd. I–II. Wien, 1957–1959.
35 *Tomaschek W.* Die alten Thraker. Nachdruck. Wien, 1980.
36. *Duridanov I.* Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle. Köln; Wien, 1975.
37. *Katičić R.* Ancient languages of the Balkans. Part I–II. Mouton, The Hague; Paris, 1976.
38. *Ванагас А.* Хронологические пласты иноязычных топонимов Литвы // Zeitschrift für Slawistik 30, 6, 1985.
39. *Lehr-Spławiński T.* O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946.
40. *Трубачев О.Н.* Языкознание и этногенез славян. [I–VI] // ВЯ. 1982. № 4–5; 1984, № 2–3; 1985, № 4–5.
41. *Birnbaum H., Merrill P.T.* Recent advances in the reconstruction of Common Slavic (1971–1982). Slavica Publischers, Columbus, Ohio, 1985. P. 78 и сл.
42. *Birnbaum H.* Indo-Europeans between the Baltic Sea and the Black Sea // The Journal of Indo-European studies. Vol. 12. № 3–4, 1984. P. 253–255.
43. *Birnbaum H.* Noch einmal zu den slavischen Milingen auf der Peloponnes // Festschrift für H. Bräuer. Köln, Wien, 1986. S. 24–25.
44. *Kunstmann H.* Die Namen der ostslavischen Derevljane, Poločane und Volynjane // Die Welt der Slaven, Jg. XXX, 2. München, 1985. S. 235.
45. *Rysiewicz Z.* O praojczyźnie Słowian // Z. Rysiewicz. Studia językoznawcze. Wrocław, 1956.
46. *Walczak B.* [Рец. на кн.:] W. Mańczak. Praojczyzna Słowian. Wrocław etc., 1981 // Lingua Posnaniensis XXVII, 1984.
47. *Duridanov I.* Thrakisch-dakische Studien. I. Die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen. Sofia, 1969.

48. *Трубачев О.Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.
49. *Gołab Z.* Kiedy nastąpilo rozszczepienie językowe Bałtów i Słowian? // Acta Baltico-Slavica XIV, 1981.
50. *Schelesniker H.* Die Schichten des urslavischen Wortschatzes // Anzeiger für slavische Philologie. Bd. XV/XVI. 1984–1985. S. 77 и сл.
51. *Соболевский А.* Славяно-скифские этюды. XVII // ИРЯС. Т. I. Кн. 2.
52. *Трубачев О.Н.* Indoarica в Скифии и Дакии // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984.
53. *Трубачев О.Н.* "Старая Скифия" ('Αρχαίη Σκυθίη) Геродота (IV, 99) и славяне. Лингвистический аспект // ВЯ., 1979. № 4.

Часть II

СЛАВЯНСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ И ПРАСЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА

О важности изучения языка для понимания культуры сказано много. Все разделяют мнение, что по мере углубления в древность эта важность возрастает. Известная крайняя гипотеза Сэпира–Уорфа о том, что язык **вообще** моделирует представления людей, т.е. их культуру (ср. новую работу [1]), вызвала не только интерес, но и энергичные возражения. Сейчас положение в науке сбалансировалось в том, скорее негативном, смысле, что мы по-прежнему не очень хорошо знаем объяснительную силу данных языка и прежде всего – его лексики для исследования истории и культуры народа. То, что значение этих данных реально и даже очень велико, обычно допускается – как бы за неимением лучшего (этим "лучшим" всегда считались письменные памятники) – для древних эпох. Но кажется все-таки необходимым отстаивать мысль, что значение данных языкознания, лексикологии, этимологии для подлинного понимания культуры абсолютно во все времена, в том числе и **в современную эпоху, изобилующую письменными источниками.** Вышесказанное уместно подкрепить примером из современного языка, не обязательно из славянского, даже лучше не из славянского, что поможет яснее увидеть эту универсальную важность раскрытия состава и смысла слова для понимания любой культуры. Для затравки нам послужит пример – название романа Мопассана "*Bel-ami*", собственно, прозвище его главного героя. У нас это произведение давно перевели под названием "Милый друг", хотя такой перевод, по-моему, вызывает некоторое смущение у лиц, знающих французский язык, потому что франц. *bel, beau* значит только 'красивый, прекрасный' и в сочетании с ami 'друг', казалось бы, ничего другого не должно было означать, кроме как 'прекрасный друг'. Но это настолько не подходило в данном случае, что переводчик стал искать выход из положения и прибег к приблизительному переводу 'милый друг'. Переводчик ошибся. Он не понял слова, словообразования, которое здесь явилось выразителем особой культуры понимания отношений между людьми. *Bel-am*i – индивидуальное образование в речи одного из персонажей, но социально-культурная обусловленность этого новообразования очевидна. Это название в романе дает главному его герою девочка-подросток. Девочка сознавала различие возрастных рангов, существовавшее между ней и обаятельным взрослым мужчиной, она хотела, но не могла назвать

его "*ami*", и она прибегла к способу, который диктовала окружающая французская языковая и культурная действительность – я имею в виду способ выражения противопоставления **подлинно** родственных и **неподлинно** родственных отношений между людьми *père* 'отец', *mère* 'мать', *fils* 'сын', *fille* 'дочь', *frère* 'брат', *soeur* 'сестра' и *beau-père* 'тесть, свекор, отчим', *belle-mère* 'теща, свекровь, мачеха', *beau-fils* 'пасынок, зять', *belle-fille* 'падчерица, сноха, невестка', *beau-frère* 'шурин, свояк, деверь', *belle-soeur* 'невестка, золовка, свояченица'. Французский язык, называя свойственных, брачных, т.е. некровных родственников, обозначает их **как бы** отцом, матерью, сыном, дочерью, братом, сестрой, причем эту их неподлинность он знаменует в своем, французском духе лестным, учтивым эпитетом *beau, bel,* что значит вообще только 'прекрасный', но в данной системе культурно-языковых отношений это прежде всего значит **'неподлинный, ненастоящий'**, сигнализирует дистанцию между отцом и "прекрасным отцом", т.е. попросту 'не-отцом'. Тот же способ учтивого обозначения **неподлинности** отношений представлен и в мопассановском *bel-ami* (обратим внимание в связи с перечисленными терминами свойства и на полуслитное написание *bel-ami* у Мопассана!). Теперь нам понятна его языковая и связанная неразрывно с ней – культурная сущность. Для окончательного понимания полезно иметь в виду, что при этом нашел выражение аналитизм французского языка, который может иметь в русском иноструктурный – синтетический эквивалент, и, дабы покончить с устаревшим буквализмом передачи *bel-ami* – 'милый друг', мы переведем "*Bel-ami*" Мопассана русским обозначением неподлинного друга – "*Дружок*". Сила традиции велика, и роман будет продолжать выходить под прежним неправильным названием. Но для нас важен главный результат: безотносительное значение данных языка для понимания культуры. Впрочем, эта вступительная французская притча, возможно, еще пригодится нам в дальнейшем и своей антитезой *ami* – *bel-ami* для правильного понимания других подобных противопоставлений ('подлинный' – 'неподлинный') и их имплицитного смысла 'свой' – 'не свой', включая и случаи эксплицитного выражения этого основополагающего смысла противопоставления, особенно интересные для нас.

ГЛАВА 1

Тема **праславянской** культуры (на базе славянской этимологии и ономастики), можно считать, восходит, по крайней мере, что касается меня, к теме состава праславянского словаря, представленной мной в качестве доклада на V Международный съезд славистов (София, 1963 г.) [2].

Тогда реально-семантический подход был для меня подчиненным, второстепенным, а в центре изложения находились структурно-словообразовательные и изоглоссные исследования.

Сейчас мы обращаемся к реально-семантическому аспекту и берем за его основу не категории внешнего мира и вытекающие из них абстракции, как это делали цитировавшиеся нами тогда Дорнзайф и Бак (за более подробными справками позволю себе отослать читателя к тексту своего доклада 1963 г.), и начинаем не с бога и религии (как это сделал Касарес). Последнее представляется определенной идеологической передержкой даже для современного языка (или, может быть, испанский составляет здесь исключение?), но и для древности, в частности – для праславянской, этот второй подход (последовательность, иерархизация), как это ни странно, обернулся бы определенной модернизацией и анахронизмом.

Мы начинаем с **человека** и выражений (праславянских и более древних) **его отношения** к главным моментам его жизни (рождение, смерть), к его статусу среди себе подобных – прежде всего – и в окружающем мире вообще. Разумеется, не приходится и думать о том, чтобы охватить в едином обзоре сразу **все** отношения человека ко **всем** моментам и объектам, да это и не было нашей задачей. Задача состоит в том, чтобы выявить главное, что в известной степени гарантируется правильным определением **ключевого слова**, каким для древних славян и их культуры было слово (и гнездо) 'свой'. Как мы можем представить себе это сейчас, древний славянский человек стремился понять себя и все с собой связанное. Таким образом, цель наших далеких предков не так уж далека от неизменной высшей цели самой высокой науки также нашего настоящего и будущего – **познать самого себя**. Не зная этого завета **современной** им античной греческой учености, носители праславянского языка выражали приблизительно те же стремления.

Выбор такого именно аспекта – взгляд древнего славянина на себя самого и на свои отношения к остальному окружающему миру – позволил уделить одно из центральных мест гнезду слов и понятий 'свой', многообразно манифестирующемуся на славянском и индоевропейском материале. Если добавить, что при этом достигается хотя бы в какой-то степени взгляд на праславянскую культуру **изнутри,** глазами и умами ее носителей, то можно согласиться, что это предмет, достойный внимания науки.

Несколько предвосхищая часть дальнейших рассуждений, все же отметим, что при рассмотрении темы "Культура" аспект, выраженный кратко противопоставлением 'свое' – 'не свое', приобретает основное значение, ибо что такое культура (лат. *cultura* буквально – 'возделывание', а у чехов до сих пор есть хороший пуристический синоним-калька *vzdělanost, vzdělání* 'культурность, культура') как не возделывание, культивация своих отношений, потребностей, возможностей ко всем мыслимым объектам. При взгляде на культу-

ру как на 'свой' комплекс представлений, отношений, навыков применительно к себе и к окружающему миру становится доступнее мысль о важности не только эксплицитной, но и имплицитной, всепроникающей культурной дихотомии 'свое' – 'не свое'. Вместе с тем при всей кажущейся универсальности этого культурного противопоставления имеет смысл сосредоточиться на его наиболее ярких – эксплицитных проявлениях, которые отмечаются для индоевропейского, а в рамках индоевропейского, по-видимому, наиболее полно – в славянском. Это не может не вызвать у нас в памяти все тот же образ **концентричности** в отношениях между славянским и всем остальным индоевропейским этноязыковым пространством – концентричности, к которой мы приходили и в продолжающихся разысканиях по **этногенезу славян.**

Как и исследования по этногенезу славян, так и исследования в области праславянской культуры в немалой степени вырастают из нашей многолетней работы над праславянским лексическим фондом при подготовке Этимологического словаря славянских языков*, 13-м выпуском которого заканчивается праславянская лексика на К-. Однако трудно да и необязательно ограничивать свои суждения о праславянской культуре несколько произвольными рамками словарного алфавита, скажем, от А до К (хотя это и имеет свои удобства, поскольку есть возможность опереться на законченную часть алфавита и притом – достаточно оригинальные этимологически, а также построенные, это следует отметить специально, с постоянным вниманием к культурному аспекту выпуски нашего ЭССЯ). Больше того, хотя нечто подобное и планировалось нами первоначально, соблюсти это не удалось, и читатель, надеюсь, нас не осудит за то, что он не получит педантичный отчет об итогах исследования культуры праславян в ЭССЯ от А до К. Это не означает, конечно, что мы полностью избегаем говорить о "культурных" итогах ЭССЯ А–К, если они покажутся нам заслуживающими читательского интереса. Мы равным образом привлекаем спорадически и славянский материал от L до Ž, опираясь на свой опыт прежних исследований в области происхождения славянской лексики материальной и духовной (специально – языческой) культуры. Однако, даже если читатель и уверился в том, что интерес к истории культуры не был чужд автору этих строк раньше (ср. и итоговую статью [3], где уже выдвигалась проблема этимология и история культуры), мы все же не вправе затушевывать наметившееся различие между исследованиями по лексико-семантической реконструкции (этимологии), где реконструкция культуры сводится в основном к наличию культурного фона (план реалий), и исследованиями, где главный сюжет – реконструкция самой культуры. Существуют различные градации сочетания одного и другого, но преобладают все-таки работы по этимоло-

* В 1991 г. вышел из печати выпуск 18-ый ЭССЯ (*М*-, продолжение).

гии с моментами культуры при практически полном отсутствии, скажем, лингвистических опытов реконструкции целых фрагментов культуры или таких же работ, претендующих на **раскрытие духа древней культуры.**

Только в отношении прозрачных поздних слоев культурной лексики можно утверждать (хотя и это представляется не вполне основательным оптимизмом), что "анализ и комментирование связи между историей языка и историей общества – это легкое, увлекательное и часто весьма поучительное дело" [4]. Большинство же исследователей слишком хорошо знает, как затрудняется это "легкое" дело сложностью семантических изменений, в которых, по распространенному мнению, преобладает отсутствие регулярности и закономерности. Однако все изменения значений слов (даже так называемые "окказиональные") по-своему закономерны, все дело в нашем знании или, чаще, незнании всего семантического контекста, который состоит не только из лингвистических, но и из культурных звеньев. Естественно, что лингвисту приходится трудно в тех случаях, когда семантическая мотивация носит интердисциплинарный характер, т.е. не только и не столько языковой, сколько культурный (kulturbedingt). К этому надо присовокупить и не всеми в нужной степени сознаваемую непрямолинейность собственно языкового отражения внеязыковой действительности. Так, с точки зрения "однонаправленной" языковой семантической эволюции непонятно, например, как получилось значение нем. *nüchtern* 'трезвый', которое заимствовано из лат. *nocturnus* 'ночной', ведь 'трезвый' – это попросту 'непьяный', ср. лат. *sobrius* в отношении *ebrius,* или – 'сухой, давно не пивший, жаждущий', как допускают для слав. **terzvъ*. Когда не помогает и лингвистическая типология такого рода, остается прибегнуть к культурной истории (которая, к счастью, известна в данном случае); последняя подсказывает, что *nüchtern* – слово монастырское, ср. развитие в той же среде у смежного лат. *matutinus* 'утренний' значения 'неевший, голодный' [5]. Еще скромнее выглядят собственно лингвистические возможности раскрытия эволюции семантики, например, нашего слова *токсический, токсичный* 'ядовитый, отравляющий'. Это в общем международное слово попало в русский, по-видимому, через франц. *toxique* из греческого. Но в греческом оно прочно связано с гнездом τόξον 'лук, arcus' – τοξικός 'лучный'. Впрочем, у Аристотеля отмечается употребление τοξικόν в значении существительного – 'яд, которым смачивают стрелы' [6], вторичность этого употребления ясна из формы среднего рода по причине согласования этого первоначального прилагательного с субстантивом φάρμακον: τοξιὸν φάρμακον, буквально 'лучный яд, яд для лука'. Это тот случай, когда лингвистически "окказиональное" семантическое изменение обретает полную закономерность в контексте культурной семантики.

ГЛАВА 2

Прежде чем вступить in medias res, необходимы некоторые методологические уточнения. Поскольку в дальнейшем придется так или иначе касаться обсуждаемых в литературе проблем классификации и хронологии, необходимо заранее разъяснить свое априори сдержанное к ним отношение, на первых порах – не вдаваясь в детали, а с общеметодологических позиций. Классификационные и периодизационные схемы обычно занимают видное место в исследованиях, эффект точности особенно усиливается, если, например, периодизация выражается в точных датах летосчисления. Но ведь и здесь позволительно робкое сомнение вроде того, что обязательно ли, например, считать век XIX в истории культуры абсолютно идентичным календарному XIX в. И это, пожалуй, не самое главное. Склонность к классификациям и схематизму побуждает исследователя делить факты на релевантные и иррелевантные (несущественные, менее важные), причем последние он подчас опускает и тем самым как бы превышает собственную компетенцию, моделируя и – обедняя предмет исследования, и кончает тем, что изучает уже не объективную данность, а собственную схему. Потому что и хорошая схема, и правильный закон беднее самой плохой и неправильной действительности. Теперь, пожалуй, о наиболее важном – о границах предпринимаемой в исследованиях сегментации изучаемого объекта. Нередко изучаемый объект не умещается в рамках, отведенных ему исследователем, и при этом не всегда можно сказать, что исследователь закрывает на это глаза или просто не видит этого несоответствия; нет, он соглашается с этим и просит смотреть на свою схему (или классификацию) как на "рамочную конструкцию" (есть теперь такой удобный термин), а ниже (как, впрочем, и выше) исследователь забывает об оговорках и ограничениях и уже хочет, чтобы читатель верил в реальность рамок его рамочной конструкции.

Конечно, многим из этих упрощений мы обязаны прошедшей эпохе структурализма, который учил резко делить все на релевантное – нерелевантное, оппозиции ставить выше субстанций, а превыше всего ценить "строгость" описания*. Но что такое строгость? – Это опять все такая же контрастная черта схемы там, где реальная

---

* Неоправданный, преувеличенный примат "строгости" **одного** метода, верности этому одному методу даже в несомненный ущерб полноте и всесторонности раскрытия предмета – бесспорно одно из негативных последствий эпохи господства формализующих методов. В действительности же, к нашему глубокому удовлетворению, давно назрела и уже наступила пора критики лингвистических "отвлеченных начал", заранее односторонних и обреченных на предельность собственного применения в этой беспредельно богатой жизни (языка, общества). Нам отрадно опереться при этом на такой блистательный аналог, как "Критика отвлеченных начал" Вл. Соловьева, на то, что еще принято называть русской школой "**всеединства**".

картина сплошь и рядом предъявляет полутона и нечеткий переход. Здесь уместно вспомнить слова Витгенштейна: "Является ли вообще смазанное понятие понятием? Является ли неясный снимок фотографией человека? Да и всегда ли полезно заменять неясную фотографию четкой? Не окажется ли зачастую неясная именно тем, что нам нужно?" [7]. Поэтому, вероятно, заранее лучше допустить, что нечеткость очертаний, границ, классов по крайней мере не менее реальна, чем четкость, и даже встречается в действительности гораздо чаще; в особенности это относится к так называемым хронологическим периодам, их смене и принципиальной, как мы полагаем, нестрогости их границ. Оперируя такими понятиями, как "нестрогость", трудно выглядеть убедительным, но это уже скорее феномен из области исследовательской (и читательской) психологии, когда резкая смена (весьма условных) этикеток, например, (1) "индоевропейский" – (2) "праславянский" как бы имплицирует столь же резкую смену одного соответствующего периода другим, чего на самом деле, конечно, не было. Как было на самом деле, трудно сказать, и, чем больше об этом пишут и публикуют, тем все труднее. Создается впечатление, что пробиться к истинному пониманию можно, лишь преодолев большинство устоявшегося, канонизированного в этой области. Здесь, чтобы не повторять кое-что из положений предыдущих глав настоящей книги (критика теорий "непротиворечивой модели" праславянского, исходного славянского единства, reductio ad unum и т.д.), скажу лишь, что по-прежнему рассматриваю индоевропейский праязык как фон и предысторию славянского. В соответствии с этой лингвистической концепцией направление реконструкции от славянской и праславянской культуры к праиндоевропейской представляется мне естественным. Надеяться, что спорные вопросы, поднятые, в частности, мной, очень скоро будут решены в желательном для автора духе, вряд ли можно. Я, например, писал и считаю, что не совсем корректно продолжать постулировать (постпонировать) какое-то одноразовое начало диалектного членения. Членение на диалекты изначально, а в книге Гамкрелидзе и Иванова [8, II, с. 865] по-прежнему говорится о начале диалектного членения общеиндоевропейского языка и делается попытка датировать это членение V–VI тысячелетием до н.э., – время, конечно, отдаленное, но ведь постпозиция диалектного членения сомнительна в принципе. По-прежнему исследования в основном протекают в направлении прямолинейной реконструкции общей древности. К славянскому языковому и культурному материалу подходят, имея в руках предварительно заготовленный индоевропейский вопросник (questionnaire, inventory, Fragebogen) и проверяют, соответствует ли славянский образ культуры, например, в мифологии, общеиндоевропейской модели, с сожалением отмечая при этом некоторые лакуны в индоевропейском наследии славян [9]. Можно почти с уверенностью утверждать, что во всей новейшей литерату-

ре вопроса мы вряд ли найдем попытку проекции (пра)славянских "лакун" в праиндоевропейскую древность, а между тем введение именно этого аспекта, наверное, весьма освежило бы исследование, обогатив его проблематику тем, что можно назвать **диалектологией культуры.** Обращает на себя внимание то, что, например, о региональных славянских микрокультурах или культурных ландшафтах считают возможным говорить применительно к позднему средневековью (ср. ряд работ Х. Бирнбаума, Лос-Анджелес, приуроченных к IX Международному съезду славистов). Что же касается праславянской эпохи, то по-прежнему, казалось бы, consensus omnium можно выразить словами Р. Якобсона: "Относительное языковое единство и незначительная диалектная дифференциация славянского мира вплоть до конца I тысячелетия н.э. и, в частности, значительное лексическое единообразие славянских дохристианских верований подтверждает предположение существенного единства культа первобытных (Primitive) славян" [10]. Едва ли можно в настоящее время продолжать некритично принимать это заключение, в котором почти каждый пункт нуждается в корректировке.

Исследование культурного выражения посредством специальной лексики (Kulturwörter, культурные слова) известно уже давно. При этом речь идет о массе слов, нередко – ограниченного веса и употребления. Этим объясняются поиски, проводимые наукой последнего времени по выявлению словарных единиц более высокого порядка, которые, несмотря на свою малочисленность, помогали бы достижению основной цели – раскрытию духа культуры: **ключевые слова.** Можно говорить о типах ключевых слов и о типах культур, что делает понятной важность первых для изучения последних. В качестве примера ключевого слова и культурного понятия полезно привести др.-инд. *ṛtá-*, само толкование значения которого вырастает в философскую проблему, поскольку речь идет об универсальном космическом законе, всеобщей истине, мировом порядке [11, с. 139, 142 и сл.]. Ясно, что такое сложное и обобщенное понятие предполагает долгое предшествующее развитие и поэтому сочетается с утонченно развитым мировоззрением. Тем самым отсутствуют данные, которые бы оправдывали, скажем, реконструкцию ключевой позиции др.-инд. *ṛtá-* и его праформы для индоевропейской древности. Несмотря на существующие догадки о корневом родстве *ṛtá-* и праслав. **rędъ* 'ряд, порядок' [11, с. 152], ни это последнее, ни родственное слав. **porędъkъ* 'порядок' не претендуют на роль ключевого слова славянской культуры, что распространяется вообще на всю терминологию порядка и закона в славянском лексиконе и славянской культуре: все это слова нужные, но не поднимающиеся выше ограниченной сферы употребления. Раньше подобные факты однозначно толковали как доказательство славянского анархизма, чему способствовали и предания самих славянских этносов, с огорчением констатировавшие наличие у них того, что, скорее, подходит под ру-

брику **ne-rędъ*, чем **rędъ*. Но в том, в чем другие ничего, кроме анархизма, видеть не желали, мы видим архаизм, древность, много большую, чем *ṛtá-* в соцветии своих вселенских смыслов, формирование которых современно, конечно, более развитому и, тем самым, более позднему обществу. Впрочем, среди употреблений древнеиндийского (или – несколько шире – индоиранского) *ṛtá-* хочется обратить внимание на некоторые, если не ошибаюсь, не нашедшие места в обстоятельнейшем очерке В.Н. Топорова. При этом выделяются, как нам кажется, в качестве наиболее древних значений этого слова не вышеперечисленные и не "истина в самом широком плане", а довольно конкретные: *ṛtá-* 'подлинный, настоящий' и его оппозит *anṛta-* 'неподлинный, ненастоящий'. Сюда относятся этнические названия 'Αναρōτοι (Ptol.), Anartes (Caesar) на территории Дакии, в северной Венгрии, там же – 'Αναρτο-φράκτοι (Ptol.) и, наконец, след, по-видимому, уже чисто индоарийского (праиндийского) **ṛtá-bṛ(i)tá-* 'настоящие наемники', реконструируемого нами на основании Eteobroton у Равеннского Анонима, собственно – греч. 'Ετεο-βροτον в азиатском Боспоре, где индоар. *ṛtá-* калькировано греческим 'Ετεός 'истинный, верный'. Любопытна здесь э т н и ч е с к а я сущность *ṛtá-/ arta-*, которая отличает – в еще большей степени – и его греческий синоним ἐτεός (что касается анартов в Дакии, то они, по сведениям древних авторов, напр. Caes., De bello Gallico, – кельты или смешанные племена, но со времен Эфора известно, что Скифия граничила с Кельтикой, а зона этих контактов примыкала, по-видимому, к Карпатам). Еще в начале настоящей части II-ой нашей книги мы заинтересовались, правда, при совсем иных обстоятельствах (хотя и тогда, как и сейчас, речь шла о человеческих отношениях) противопоставлением 'подлинный' – 'неподлинный', а также его имплицитно выраженной сущностью 'свой' – 'не свой'. Думается, именно эту уловимую семантику др.-инд. *ṛtá-* можно, в первую очередь, относить к (преобразованным) архаизмам индоевропейского, причем скорее его семантики, чем лексики. Эксплицитно-лексически этот архаизм представлен в и.-е. **su̯e-*, на совершенно особую роль которого уже обращали неоднократно внимание другие исследователи, ср., напр. [12] (с авторами можно полностью согласиться, когда они указывают на архаизм оборотов, сохранившихся в современных славянских языках: *свои, свои люди,* но приписываемая ими (а ранее них Бенвенистом) индоевропейскому **su̯e-* семантика 'свой брачный класс' выглядит излишне специализированной). Прямым продолжением и.-е. **su̯e-* является слав. **svojь*, ключевая позиция которого в славянской лексике и культуре представляет собой удивительный степенью своего сохранения архаизм. Собственно, именно лексико-понятийное гнездо слав. **svojь* дает возможность аналогичной реконструкции и и.-е. **su̯e-* как ключевого слова еще более древней культуры. Таким образом, если считается возможным говорить о **ключевых терминах отдельных тематических групп лексики,**

как это делают применительно к словам **sǫdъ*, **rędъ* в языке древнего славянского права [13], то слав. **svojь* представляется нам **ключевым словом славянской и праславянской культуры** в целом, принимая во внимание его уникальное сочетание, синкретизм прономинальных функций и различимых родоплеменных терминологических истоков (с развитием также в терминологию родства, жизненного статуса, самосознания и праведной смерти, подробности в силу их значительности для исследуемого предмета будут обсуждены ниже), т.е. фундаментальную архаичность, в соединении со столь же редкостной неугасающей активностью и по-прежнему живыми связями с категориями **самосознания** и **мировоззрения** славян как древнего, так и нового времени. Достаточно вспомнить страстное обращение к болгарам Паисия Хилендарского (XVIII в.) в его "Истории славеноболгарской": "Ты, болгарине, не прелащаи се! Знай свои родъ и "зикъ". Модель 'свой род' – несомненно, праславянская и праиндоевропейская, и даже если индоевропейская реконструкция слав. **rodъ* (**ordъ?*) вызывает ряд затруднений и если праславянскому словосочетанию **svojь rodъ* предшествовало в том же значении и.-е. **su̯o-ĝeno-* (что не представляется обязательным для всех ветвей индоевропейского), то абсолютна лишь сохранность члена **su̯o-*. Неугасающая активность слав. **svojь* вплоть до современных славянских языков – это тоже не пустые слова. Замечательно, что и в современном русском словарном составе **слово *свой* входит в первые три десятка наиболее частотных слов** (А.Ф. Журавлев в Институте русского языка АН СССР проделал по моей просьбе соответствующую проверку по частотным словарям Э.А. Штейнфельдт и Л.Н. Засориной; результат: 27/28 позиция слова *свой* в общем частотном списке)*. По всей видимости, мы имеем здесь дело со словом огромной не только языковой, но и социально-культурной значимости, и атрибуция этому слову функции ключевого слова культуры в целом не будет преувеличением. В праслав. **svojь* – и.-е. **su̯o-* никогда не стиралась адресованность к человеку, заданная этимологией слова (об этом см. ниже). То, что вышеизложенное далеко от банальности, доступно определенной, хотя и косвенной проверке. Проблема ключевых слов на протяжении ряда лет занимала участников боннского лингвистического коллоквиума, издавшего затем серию "Европейские ключевые слова" [14; 15]. Вся серия посвящена примерно пятидесяти отобранным важнейшим словам "нашей европейской современности", духовной и общественной сферы, иссле-

---

* В этой связи, думаю, любопытно сослаться на весьма близкие данные о высокой частотности сербохорватского местоимения *svoj* по двум современным хорватским частотным справочникам И. Фурлана и З. Шолта, указывающим 22-ю позицию (Фурлан) и 24-ю позицию (Шолт) для этого важного слова. См.: *Bujas Ž.* Neka svojstva čestotnog ustrojstva hrvatskog leksika // Filologija. Knj. 16. (Zagreb), 1988, S. 55. – Следует иметь в виду ограниченный объем выборки обоих названных справочников (100–300 тыс. словоупотреблений в современных текстах).

дуются слова и понятия 'благородный', 'работа, труд', 'культура' и др. Отдельные наблюдения представляют несомненный общий интерес, в частности в плане теории языкового отражения действительности; так, мы узнаем, что именно выражение *common sense* 'здравый смысл' поднялось до уровня ключевого слова английского языка [14, с. XII]. Предостеречь от прямолинейных заключений поможет, далее, вывод, что ни в одном из высококультурных западноевропейских языков в роли ключевых слов не выступает ни англ. *intelligence* 'разум', ни его синонимы [14, с. 18]. Но главный для нас вывод сделаем мы сами: насколько можно судить по доступным мне томам серии "Europäische Schlüsselworter", в обследованных языках Западной Европы нет никакого намека на ключевую позицию слова и понятия 'свой' и чего-либо отдаленно напоминающего преемственность и.-е. **sue-*, и это вдвойне любопытно в сравнительном и типологическом отношении, поскольку мы там имеем дело с индоевропейскими языками, а относительно некоторых из этих языков в последнее время даже выдвигаются с разных сторон положения об особой их архаичности в индоевропейском плане (здесь отметим кратко лишь работы Поломе о германских языках).

ГЛАВА 3

Таким образом, не лишне указать на различия между исторической лексикологией и историей, особенно реконструкцией культуры. Для исторической лексикологии характерна ориентация на культурные слова, термины, практически вообще всю лексику. Отсюда в идеале историческая лексикология языка – это прежде всего исчерпывающая инвентаризация и классификация его словарного состава. Ср. труд В. Кипарского с довольно подробными списками Erbwörter – Fremdwörter – Neubildungen [16]. Этого недостаточно (см. выше) для реконструкции древней культуры, потому что, если историческая лексикология – инвентарь, то **реконструкция древней культуры – это реконструкция духа культуры.** Здесь многое решает уже упоминавшаяся установка на ключевые слова, а отнюдь не полнота инвентаря всех лексических средств выражения культуры, что позволяет пойти на преднамеренную, допустимую неполноту и избирательность в отношении последних. Раскрытие духа культуры приближает нас к проблеме реконструкции древней идеологии, убеждает в том, что аспект самосознания и мировоззрения – главнейший аспект человеческой культуры, в том числе культуры древних славян. Поэтому мы и впредь будем реагировать критикой или конструктивной контраргументацией на рассуждения, подобные нижеследующим: "Не существовало единого праславянского народа, а также мы не можем допустить существование чувства славянской этнической

общности" [17, с. 414]. "Носители этой новой lingua franca начали теперь усваивать профессиональное название склавин (неславянского происхождения) в качестве самообозначения, в результате чего создалась иллюзия, что этническое сознание существовало давно, в отдаленные праславянские времена" [17, с. 423]. Мы располагаем сейчас фактами, говорящими о том, что не только в средневеково-праславянскую эпоху, но и в предшествующие эпохи существовало и получало разные выражения этническое и – его предшественник – родовое самосознание.

Капитальная индоевропейско-славянская культурная оппозиция 'свое' – 'не свое' побуждает нас ближе заняться обоими членами оппозиции и их древними истоками и осмыслением. Средоточием индоевропейского самосознания было **sue-*/**suo-*, а его оппозит воплощал как бы отрицательное самосознание, в иных (лингвистических) терминах – был функционально и семантически маркирован. Это порождает быструю смену, вообще – неустойчивость, пестроту выражения данного члена оппозиции, которому незыблемо противостоит, прослеживаясь до самых древних времен, положительное и.-е. **sue-*/**suo-*. Определенным непониманием этой лингвистической маркированной сущности отличается рассуждение Дюмезиля об оппозитах ведийского *sva* 'suus' с их главным значением 'чужой' и более специальными 'гость', 'враг', 'дикарь' (*arí, árana, dāsa, dāsyu* и т.д.). Он теряется в догадках о понятии 'чужой', готов искать в нем "оппозитивный смысл", но ввиду разошедшейся терминологии, а также по общим соображениям допускает, что 'чужой' – поздний продукт ума [18, с. 178–179]. Но это, конечно, ошибочный путь с самого начала; 'чужой' – это прежде всего не позитивная семема, он издревле воплощает негативное самосознание ('не свой'), а остальное – упомянутую пестроту – взгляд современного лингвиста быстро распознает как естественную недолговечность, стираемость, быструю сменяемость экспрессивно отмеченного оппозита 'чужой, не свой и т.д.' Надо сказать, что недостаточно конструктивными оказываются и суждения Бенвениста на эту тему, когда он приходит к выводу, что "нет "чужого" самого по себе", что 'чужой' всегда предстает в более конкретной ипостаси 'врага', 'чужестранца' или 'гостя' [19, с. 368]. Но с еще большим правом, особенно после сказанного выше, мы можем констатировать, что 'враг', 'чужестранец', 'гость' (список ипостасей 'чужого' можно продолжить и дальше: 'дикарь', см. Дюмезиль, выше) – это всякий раз вторичные конкретные манифестации фундаментального значения 'чужой' = 'не свой', выражающего отрицательное самосознание человеческого рода.

Мы не случайно заговорили о роде, scire licet своем роде, продуктом идеологии которого является функционально-семантическое содержание и.-е. **sue-*, слав. **svojь*. Отмечаемая до сих пор такая черта слав. **svojь*, русск, *свой* как **отсутствие противопоставления коллективности и индивидуальности** (*я – свой*, *мы – свой*, при

нем. *ich – mein, wir – unser*) представляет собой выдающийся и еще не в полной мере оцененный **индоевропейский архаизм славянского языка и культуры,** знаменующий собой живую традицию первоначальной этимологии и.-е. **su-* и изначальной идеологии рода, о которой см. также ниже. Таким образом, и.-е. **suo-s* 'свой' "лежит вне категории лица", как верно отметил Бенвенист [19, с. 361], больше того, оно может быть правильно понято лишь при признании **примата коллективности.** Это подводит нас к этимологии и.-е. **sue-* как расширения первоначального **sŭ̆-* 'род, рожать', обоснованной, например, у Семереньи [20, с. 42 и сл.]. Правда, эта концепция еще нуждается в дальнейшем развитии, скажем, постулат "существования имени **sŭ̆-*" у Семереньи [20, с. 45; ср. еще 21, с. 187] может показаться голословным ввиду наличия откровенно **отглагольных,** причастных названий сына и.-е. **sūnu-*, **suto-* с корнем **sŭ̆-*. Эта **глагольная** сущность и.-е. **sŭ̆-* позволяет иначе оценить и доместоименную адъективность и.-е. **suo-s* 'свой' ← 'родной, родовой' ← 'родить', рассматривая **suo-s* как стадию pronomen = praenomen (ср. то, что говорится у нас далее о первоначальной атрибутивности).

ГЛАВА 4

Реконструкция постоянно демонстрирует относительность категорий и границ, "строгие" классы оказываются при реконструкции довольно лабильными группировками и, вместо непримиримого противостояния, сообщаются между собой и мирно уживаются, четкое разделение труда всегда вторично и, как правило, проблематично. **Огромное большинство феноменов культуры и их языковых выражений производно и вторично** (что прямо относится к методике избирательности в истории и реконструкции культуры и методике ключевых слов, ср. выше). Сама языковая номинация реалий при детальном рассмотрении способна обескуражить своими проявлениями некой цикличности. Так, в споре о том, какой принцип номинации вернее – "имя раньше вещи" (nomina ante res, A. Goetze apud Knobloch [22]), причем имеется в виду ситуация, когда слова первоначально обозначали другие вещи, а не те, которые они стали обозначать потом, – или принцип "имя после вещи" (nomina post res, см. Кноблох [22], близкие мысли о естественном "отставании" традиционной терминологии культуры от реального прогресса самой культуры развивались и в нашей книге "Ремесленная терминология славянских языков", 1966 г.), – в этом споре, как кажется, не остается другого выхода, кроме как признать относительную справедливость обоих принципов.

Древние славяне, продолжавшие жить в стадии индоевропейской родоплеменной организации, были, несомненно, земледельца-

ми, и реконструкция культуры почерпнет при этом больше из данных языка, свидетельств лексики, а также ономастики, чем из позитивистской истории, принимающей на веру рассказы византийских историков, церковных и военных деятелей о славянах как бездомных бродягах, лесных жителях и грабителях (ср. исследования по славянской топонимии в Греции, убедительно показавшие, что славяне здесь занимались корчеванием, земледелием и даже торговлей для сбыта излишков своего земледельческого производства, см. [23; 24]). Добавим, что всю соответствующую культурную терминологию славяне принесли с собой на крайний юг Балканского полуострова как уже готовую. Преимущественно земледельческая культура славян оказывала влияние на формирование также других, неземледельческих культурных понятий и терминов, что ведет свое начало в принципе еще к индоевропейскому (примеры того и другого будут даны ниже). Но говорить о славянах только как о земледельцах нельзя, правильнее сказать, что это земледельцы-скотоводы. Но и это определение будет неполным, если не упомянуть о сезонном собирательстве славян (примеры – ниже), занятии, безусловно, более древнем, чем земледелие. Занятия доземледельческого периода продолжали сохраняться у славян наряду с земледелием. То же и в еще большей степени можно утверждать о древних индоевропейцах, скотоводах и земледельцах. Отрицание Марией Гимбутас самобытных корней земледелия индоевропейцев ("The hypothetical PIE language does not reflect pre-agricultural conditions" [25, с. 193]) объясняется недостаточным знанием свидетельств языка и произвольным толкованием свидетельств археологии.

Земледелие у славян принадлежит к числу индоевропейских традиций, т.е. носит очень древний характер. Исследователи отмечают, что среди основных славянских земледельческих терминов нет ни одного надежного балто-славянского новообразования [26, с. 131]. Уже указывалось, что древнейшее славянское производное с суф. -'an- – это **sedl'ane*, которое обозначает оседлую, преимущественно земледельческую группу населения [27, с. 15]. При всей древности земледельческой культуры славян и наряду с ней, сохраняется еще более архаичная культура собирательства, терминология которой у славян обнаруживает даже относительные новообразования, в частности среди лексики заготовки впрок листьев и веток деревьев и кустарников на корм скоту, ср. **brъščьl'anъ* (и варианты), название плюща и бересклета, **brъsati*, **brъskati* 'счесывать, сбрасывать' (ЭССЯ, вып. 3, с. 59–61). В общем только славянское распространение имеет одно специальное название породы дуба – **česminъ*/**česmina*, хотя на его базе даже реконструировали и.-е. **kesmo-s* 'обрывание листьев', сюда же, в конечном счете **česati*, русск. *чесать*, в смысле 'обрывать, счесывать (листья)' (ЭССЯ, вып. 4, с. 88). Из этой терминологии собирательства, пожалуй, только название дерева **grab(r)ъ* соотносимое со слав. **grebti* в указанном выше значении

'сгребать, срывать', имеет также индоевропейские диалектные соответствия в близких названиях деревьев: др.-прусск. *wosi-grabis* 'бересклет', умбр. *Grabovius,* собственно 'дубовый', эпитет Юпитера, макед. γράβιον 'факел' (<'дубовый'?) (ЭССЯ, вып. 7, с. 99). Кроме этой лексики собственно собирательства как занятия, более древнего, чем земледелие, имеются языковые, лексические следы специально доземледельческих значений, в том числе и в земледельческой терминологии. Они имеют в наших глазах принципиальную важность, потому что могут показать самобытную природу земледелия (вырастание из доземледельческих занятий), например, у индоевропейцев. Ведь известно, что, если кто-либо желает, как Гимбутас, обосновать приход индоевропейцев в Европу извне и их чисто кочевнический быт, то этот исследователь будет стремиться сделать акцент на том, что индоевропейцы переняли земледелие и его лексику у других; Гимбутас, в частности, как мы цитировали выше, отрицает в праиндоевропейском языке отражение "доземледельческих условий" [25, с. 193]. Однако такие отражения есть, и они нуждаются в дальнейшем изучении. Ярко земледельческий, культурный отпечаток несет на себе индоевропейское название семени – **sēmen-*, собственно, 'сеемое, то, что сеют', прекрасно сохранившееся в слав. **sěmę*, русск. *се́мя*, мн. *семена́*, ср. новообразование праслав. диал. **nasěnьje* (польск. *nasienie,* укр. *насíння*) с тем же корнем. Ясно, что доземледельческое название "несеемого" семени растения должно было быть принципиально другим, и мы находим его в заимствованных истоках слав. **konopja* 'конопля' – др.-инд. *káṇa* – 'зерно, семя, крошка', индоир. **kana-*, сюда же греч. κόνις 'пыль', лат. *cinis* 'зола, пепел', ср. далее, греческое название семени, семечка, зернышка, с чертами экспрессивности – κόκκος (ЭССЯ, вып. 10, с. 191). Семантика доземледельческого названия семени ясна (насколько само наличие такого названия установимо, потому что в ряде случаев его просто нет): 'пылинка, порошинка'.

Но особенно показателен случай с и.-е. **aĝ-* 'гнать и т.д.' и его гнездом, будучи прямым свидетельством в пользу самобытности, незаимствованности индоевропейского земледелия и существования собственных доземледельческих истоков индоевропейской культуры земледелия и его терминологии. Эта лексика с корнем **aĝ-*, правда, полностью отсутствует в славянском, но данное обстоятельство лишь служит примером диалектной сложности индоевропейского словарного состава. Р.Анттила продемонстрировал в своем этюде, что корень **aĝ-* объединяет не только земледельческую и скотоводческую терминологию (**aĝ-ro-* 'скотоводческий выгон' и 'пахотное поле'), но и лексику собирательства и охоты [28]. После этого нельзя видеть в и.-е. **aĝro-* земледельческий термин без собственной предыстории; еще меньше оснований считать этот индоевропейский термин ближневосточным заимствованием (ср. шумер. *agar* 'орошаемая территория, нива') или постулировать на таком материале

"связь и.-е. земледелия с методами обработки земли в Шумере" (см. [8, т. II, с. 877], где дается и.-е. *ak̂'ro- 'поле', 'нива', но ср. [8, т. II, с. 868], где называется *Hak̂'ro- 'невозделанное поле').

Индоевропейско-славянская эволюция терминологии земледелия отразила как чисто языковые процессы, так и развитие самих реалий. Достаточно вспомнить эпизод с бороной, для которой в ряде индоевропейских (западных) языков имелось название *oketā или *ok̂etā, ср. др.-в.-нем. *egida*, лит. *ekėčios*, неизвестное в славянском, который имеет свое, только славянское название *borna [29, с. 285–286]. Такая смена, если она, действительно, имела место, могла бы опереться и на данные культурной типологии, и на показания этимологии. Ясно, что более древнее название бороны можно было бы синхронизировать с более древним типом реалии, каким была примитивная борона, а вернее – ствол ели в качестве бороны. Более новой и сложной технически бороной оказалась, как известно, четырехугольная рама с решеткой, усаженной многими зубьями, обеспечивавшими более эффективное размельчение почвы, для чего потребовалось производное от более экспрессивной глагольной основы *bher- 'резать, вспарывать'. Перенос 'борона' → 'решетчатая дверь' косвенно подтверждает реальный аспект реконструкции, т.е. то, что праслав. *borna обозначало более совершенную четырехугольную борону (подробнее см. ЭССЯ, вып. 2, с. 204–206). Смелое предложение В. Борыся считать живым продолжением вышеупомянутого и.-е. *ok̂etā славянское *osetь, которое он восстанавливает на базе блр. *асéць* (и т.д.) 'сушильня для снопов', русск. диал. *осéть* то же, польск. диал. *jesieć* 'решето, сито' (см. [30; 31], как раз упирается в реальносемантические трудности, поскольку лексическому архаизму (славянское продолжение и.-е. *ok̂etā?) приписывается **инновационное значение** 'четырехугольная борона-решетка с зубьями', надо сказать, нигде у слав. *osetь не засвидетельствованное.

Здесь нет ни возможности, ни необходимости равномерно обозревать славянскую терминологию, например, злаковых, однако имеет смысл выделить отдельные эпизоды или связи, на которые следует обратить внимание в реконструкции древней земледельческой культуры славян. Недостаточно исследовано русское название невымолачиваемой пшеницы Triticum spelta – *пóлба*, которое, при всей скудности (и даже отсутствии) данных по истории слова, очевидно, продолжает еще праслав. диал. *pъlba, особое суффиксальное производное на *-b- от того же корня, что и лат. *puls* (основа *pult-*) 'каша из полбы', *pultare* 'толочь' (отношение к нем. *Spelt, Spelz* 'полба, Triticum spelta' не совсем ясно, но ср. ссылку Иеронима, IV–V вв., на происхождение лат. *spelta* "из паннонского", а также указание специалистов на невымолачиваемость зерна как на характерный признак полбообразных сортов пшеницы, см. [5, с. 723]). Присутствие здесь – в связанном виде – особого индоевропейского глагола 'толочь, молотить', отличного от распространенных в сла-

вянском **telkt'i*, **pьxati*, **moltiti*, а именно – и.-е. **pel-*/**pl-*, было бы, в случае правильности сближения, еще одной изоглоссной связью праславянского языка и культуры с культурой Центральной Европы.

Вообще в освещение вопроса об отношении индоевропейцев и их культуры к (центральной) Европе внесено немало путаницы, так сказать, общими усилиями археологов и лингвистов последних десятилетий. Достаточно сослаться на уже упоминавшуюся М. Гимбутас, которая в пределах одной небольшой журнальной статьи отмечает сначала, что овца и коза господствуют в домашнем скотоводстве всего неолита Юго-Восточной Европы и что там наличествует в то же время шерсть [25, с. 188]; в этих констатациях она, вероятно, права как археолог, выступая против Гамкрелидзе и Иванова, утверждающих обратное относительно овцы-козы-шерсти в Европе. Как известно, по Гимбутас, цивилизация доиндоевропейской Европы ("Древней Европы") носила **земледельческий** характер. Естественно поэтому наше удивление, когда чуть дальше [25, с. 192] Гимбутас говорит опять о "хозяйстве с наличием овец и коз" (ovicaprid economy) в очагах зарождения отнюдь не земледельческой, по ее концепции, – курганной индоевропейской культуры на Востоке. Куда проще и в соответствии с существованием исконноиндоевропейских слов, обозначающих овцу и шерсть-вóлну, допустить без лишнего скепсиса вероятие древнего пребывания индоевропейцев именно в Центральной части Юго-Восточной Европы. Что касается названия козы, то общего индоевропейского названия нет, имеются региональные, и такое положение можно объяснить отчасти древней диалектологией, отчасти – запретами языка. Табуизацией мотивируют отсутствие единого и вообще – древнего названия охоты, хотя наличие и важность самой охоты в древности неоспорима. Правда, на этот феномен отсутствия **древнего имени "охота"** можно взглянуть также иначе, с позиций языковой эволюции, попытавшись, скажем, понять это отсутствие как стадиальное явление, в данном случае – невыработанность общих, родовых обозначений. Процесс формирования общего названия протекает, в свою очередь, так, как это можно наблюдать на примере с индоевропейским названием рода (человеческого): появлению субстантива предшествует появление атрибута.

Влияние земледелия, земледельческой культуры проникло еще в древности в другие области культуры и жизни. Если взять только гнездо славянского глагола **kopati*, то в нем оказывается и название земли, суши – **kopьna*/**kopьno*, буквально 'то, что (легко) копается', первоначально земледельческий термин, как и италийское **tr̥sā* (лат. *terra* 'земля'), собственно 'сухая', как полагают, ирригационный термин (см. ЭССЯ, вып. 11, с. 43). Естественно, что в этом же гнезде находится слово **kopakъ*, обозначающее раскорчеванный лес; поучительно, что именно из него получено румынское *copac* 'дерево (вообще)', что говорит о важности корчевания леса для сла-

вянского земледелия и о том, какое воздействие это имело на соседних носителей балканской латыни – прарумын (см. ЭССЯ, вып. 11, с. 13–14). Вторжением земледельческой терминологии и системы понятий уже в социальную сферу оказывается судьба слова *kopylъ/*kopylь/*kopylo 'ненужный, лишний отросток (который отрубают, вырывают)', а также '**внебрачный ребенок**' – тоже от *kopati*, здесь – 'отрубать' (см. ЭССЯ, вып. 11, с. 30 и сл.).

Порождением земледельческой идеологии оказывается, в свете новой этимологии, русск. *колдун* 'чародей', первоначально 'тот, кто **закручивает колосья** (со злым умыслом)', вместе с другим словом *колтун* – из *kъltunъ* (см. ЭССЯ, вып. 13, с. 185, 191).

Характерно, что глагол **grebti*, русск. *грести*, истоки которого уходят еще в практику собирательства – 'сгребать, срывать' (ср. то, что выше кратко сказано о **grabrъ*, дерево граб), попал в терминологию гребли, передвижения по воде с помощью весел непосредственно из понятийной сферы обработки земли, ср. об этом Мейе у Фасмера [33, 1, с. 454]. Но случаются и обратные влияния и притом значительные, например, – со стороны терминологии передвижения по воде на терминологию обработки земли. Это оказалось возможным при введении усовершенствования в способ обработки земли. Так, колесный плуг показался человеку древности **плывущим** при сравнении с сохой, которая тащилась с трудом. Отсюда – слав. **plugъ* (**plu-g-*: **pluti*, **plovǫ* 'плыть', ср. **stru-g-*), послужившее источником герм. **plōga-* [32, с. 175 и сл.]. Обратный путь заимствования – из германского в славянский [5, с. 545; 33, III, с. 287] все-таки маловероятен, в частности, по формально-фонетическим причинам, поскольку герм. **plōga-* в таком случае необъяснимо в плане германского передвижения согласных, а для немецких слов, содержащих *pf* (Pflug), еще Хирт предполагал заимствованное происхождение. В немецкой литературе в связи с этим говорили о герм. **plōg-* как о слове "доримского происхождения, полученном из дунайского региона" [5, с. 545], что вполне согласовалось бы с нашей концепцией среднедунайского праславянского ареала. Предположение о кельтском источнике [34, с. 437] отпадает ввиду сохранения и.-е. *p-* в начале слова, хотя такое предположение и могло бы опереться на Плиния, который приводит слово *plaumorati*, название двухколесного устройства на языке местного населения in Raetia Galliae. Сюда же примыкает и *plovum aut aratrum* в лангобардских законах VII в. Оба эти слова (*plaumorati*, где *rati* pl. – 'колеса', и *plovum*) имеют отчетливо индоевропейский, но не германский облик (ср. выше) и вместе со слав. **plugъ* образуют изоглоссную зону в Центральной Европе, где культура земледелия носила древний характер (ср. сказанное выше о полбе и ее названиях) и постоянно совершенствовалась. Вообще древнейший деревянный плуг, как считают, был найден в Восточной Фризландии (север ФРГ) и отнесен к середине IV тыс. до н.э. [35; 36], после чего трудно согласиться с мнением, что "в Европу

плуг проникает из Древнего Востока лишь не ранее середины II тысячелетия до н.э.” ([8, т. II, с. 690], с литературой).

Занимаясь изучением архаизмов и инноваций культурной эволюции, среди которых при реконструкции культуры видное место занимают **архаизмы мышления,** мы, со своей стороны, приходим к идее **изначальности идеологии рода** у славян (ср. об этом [37, passim]). Сюда, к идеологии рода, восходит и из нее объясняется древняя индоевропейская антитеза двух глаголов ‘знать’, во многом сглаженная и трудно восстановимая и вместе с тем сохраняющая весьма отчетливые следы своей первоначальной природы, в частности, в славянском. Речь идет о слав. **vědati* ‘знать (главным образом – вещь)’ < и.-е. **u̯oi̯d-* ‘знать’ < ‘воспринимать зрением’, с одной стороны, и слав. **znati* ‘знать (главным образом – человека)’ < и.-е. **ĝnō-* ‘знать’, которое мы считаем этимологически тождественным и.-е. **ĝen-*, **ĝnō-* ‘родить, быть в родстве’ [38, с. 154 и сл.]. Повторяя сейчас это положение о единстве **ĝen*-I и **ĝen*-II, мы хотели бы подчеркнуть его происхождение из идеологии рода и подкрепить это ссылкой на гениальность формулы Паисия Хилендарского – *знаи свои родъ*, которая воспроизводит существеннейший – еще индоевропейский – контекст (**ĝno- su̯ō- ĝenom*). Сюда же относится свидетельство словоупотребления активного до сих пор русск. *знаться* (с кем-либо) с значением – не ‘знать, scire’, а ‘быть в близких отношениях, общаться (о людях)’, в котором, на удивление, до сих пор прощупывается позиция нейтрализации между **ĝen*-I ‘быть родственным’ и **ĝen*-II ‘знать’, что говорит об их этимологическом единстве. В общем сюда же относится слав. **priznati*, русск. *признать*, которое – особенно в контекстах типа *признать своё*, *признать своим, признать за собой, признаться*, будучи, с одной стороны, продолжением и.-е. **ĝen*-II, обнаруживает, с другой стороны, и несомненные связи с **ĝen*-I и его родовой идеологией. К. Уоткинс, специально занимавшийся русским *признаться* [39], к сожалению, совершенно не касается ни этой последней, ни проблемы **ĝen*-I – **ĝen*-II, хотя не без основания заключает свои рассуждения следующими словами: “Современное русское высказывание *Он признался* продолжает, таким образом, непрерывно и с замечательной точностью словесное поведение общества, возможно, давностью в семь тысяч лет” [39, с. 523].

Касаясь некоторых дальнейших архаизмов мышления, обратим внимание на коренное различие славянско-индоевропейских названий дня и солнца. Речь идет о том, что белый свет, свет, не имеющий прямого источника (рассеянный свет, как мы бы сказали сейчас), воспринимался как нечто совершенно отличное от солнечного света. Наблюдения по этому поводу содержатся у Б.А. Рыбакова [37, с. 248, 368]. Белый небесный свет, дневной свет и вообще день имеют названия – слав. **dьnь*, и.-е. **di-/*dei̯-*, тогда как солнце обозначается иначе – слав. **sъlnьce*, и.-е. **sul-/*sau̯əl-*. Для современного че-

ловека противопоставление между обоими понятиями практически отсутствует, но для наших предков оно имело фундаментальный характер, кажется, недооцениваемый современной мифологической наукой. Я имею в виду утверждения о том, что представление о боге ясного неба у индоевропейцев – **dieus* – развивалось в представление о боге солнца [40, с. 2]. Видимо, осторожнее и правильнее будет говорить о Зевсе/Юпитере только как о боге (ясного) неба. То, что здесь имеет место некое индоевропейско-славянское своеобразие, а отнюдь не универсалия, следует из сравнения с финноугорскими языками, где известно одинаковое обозначение дня и солнца, ср. венг. *nap* 'день; солнце', фин. *päivä* 'день; солнце'.

На одно главное название ясного неба (выше) у индоевропейцев приходился целый ряд различных названий облачного, пасмурного неба, которые впоследствии часто становились, в свою очередь, названиями неба вообще. Здесь остановимся на одной модели, обозначавшей предмет экспрессивно, через отрицание. Сюда, как мне кажется, можно отнести слав. **nebo* (**nebes-*), и.-е. **nebhos-*/**nebhes-*, сложение отрицания *ne-* с корнем **bhos-* 'сияющий, сверкающий' (откуда **bhoso-* 'обнаженный, босой', слав. **bosъ*), собственно, расширение на *-s-* корня **bho-*/**bhā-* 'сиять, сверкать', далее, сюда же – арм. *amp, amb* 'облако' < и.-е. **n̥-bh-o-* с отрицанием в ступени *n̥-* и нулевой ступенью того же корня *bh-*, наконец, и.-е. **ne-bhel-*/**ne-bhl-* (корень тот же, что в слав. **bělь*, русск. *белый*), откуда герм. **nebula-* (нем. *Nebel* 'туман'), лат. *nebula* то же. Остается добавить, что слова эти обычно объясняются иначе, от и.-е. **nebh-* 'влажный' [41, с. 315], но нам представилась типологически более заманчивой идея предполагаемого сложения и противопоставленности 'неясного', пасмурного неба 'ясному' небу. Древнее воззрение на звезды как на 'стоячие светила', отраженное в и.-е. **(ə)ster-* 'звезда', возможно, оставило свой след в слав. **gvězda*, если последнее – из и.-е. **ĝhuoi-stā* (см. гипотезу в ЭССЯ, вып. 7. с. 182). Какая из двух семантических реконструкций и.-е. **menes-*/* *mens-*, слав. **měsęcь* 'месяц, луна' адекватнее древней культуре и ее идеологии: 'уменьшающийся' (от известных повторяющихся фаз возрастания-уменьшения, свойственных только этому небесному телу) или 'измеритель' (от способа счисления времени, в основу которого положена упомянутая периодичность луны)? Нам кажется более вероятным первое [42, с. 5–6], в то время как в литературе по-прежнему популярно второе решение [43].

За чертой видимого мира – неба и земли – древнему человеку виделся иной мир, куда уходили свои и чужие. Это рождало образ труднодолимого рубежа на безвозвратном пути. Глубоко укоренились воззрения, согласно которым в тот мир переправляются **через воду** [44]. Опираясь на эти моменты типологии, попытаемся пересмотреть соответствующие случаи, которые также имеют самое прямое отношение к архаизмам мышления. Еще Мейе отмечал народность

славянского названия рая – **rajь*, его дохристианскую, языческую природу [45, с. 411]. Очень популярная этимология слав. **rajь*, объясняющая его как заимствование из иранского, ср. авест. **rāy-* 'богатство, счастье' [33, т. III, с. 435], вызывает все больше сомнений. Иранское слово не обладает признаками религиозного термина (кстати, греческое название рая, ставшее впоследствии интернационализмом с этим значением, – παράδεισος – продолжает совсем другой иранский прототип). Напротив, одна исконнославянская этимология, встретившая критику Фасмера, кажется нам заслуживающей внимания: речь идет о родстве **rajь* и **rojь*, **rěka*. Следует только уточнить отношение ближайшеродственных форм **rojь* и **rajь*; вокализм **rajь* обнаруживает продление, а оно указывает на производность, т.е. **rajь* (**rōj-*) не 'течение', а '**связанный** с течением', возможно, что-то в смысле 'заречный', что лучше отражает существо представления. Это одновременно ответ на критическое замечание Фасмера, что "в русской гидронимии не сохранилось никаких следов употребления *рай* в значении 'река, течение'". Их и не нужно было ожидать, во-первых, учитывая вышесказанное о том, что **rajь* – не 'река', а производное от такого названия, а, во-вторых, потому что перевод слова **rajь* в termina sacra мог уже тем самым повлечь за собой запрет на первичные апеллативные употребления. И последнее: **rajь* принадлежит к гнезду исходно глагольной лексики с развитой апофонией **rei̯-/*roi̯-/- *roi̯-/*jь-rъjь* (можно внести соответствующую поправку в толкование **jьrъjь* < **jьr-ьjь* < **jur-* в ЭССЯ 8, с. 237; что касается польск, *wy-raj* 'место, куда улетают птицы на зиму', то оно может быть белорусизмом, из **vy-rъjь*, а его приставка вариантна в отношении к **jь-rъj*ь)*.

Через водный поток, за которым находился "заречный" **rajь*, перевозили мертвых, обозначавшихся, похоже, именно в этой ситуации с помощью слав. **navь* или **navьjь*, которое объясняют преимущественно в связи с чеш. *unaviti* 'убить, уморить', но последнее само производно от **navъ*. В этих обстоятельствах приходится вспомнить о забытой мысли Котляревского, упоминаемой с сомнением еще у Нидерле [46, с. 211, примеч. 2, и с. 363, примеч. 1], о связи слав. *навь* 'мертвый' с названием корабля – греч. ναῦς, лат. *navis*, ср. образ лодки перевозчика Харона. В последнее время вторичное осмысление и.-е. **nāu̯-s* 'корабль, судно' → 'смерть' допускают (без

---

*Здесь я считаю уместным привести выдержку из А.Н. Афанасьева на тему связи представлений о **рае** и **водных источниках** у славян: "Два братца (вёдра) пошли в рай купаться" (вариант – "в воду")". Цит. по: *Шапир М.И.* // Проблемы поэтического языка: Конференция молодых ученых. Тез. докл. МГУ, 1989. С. 64.

После этого понятно, что я не могу принять "возможной связи слав. **rajь* с обозначением мирового дерева", как см.: *Топоров В.Н.* Язык и культура: об одном слове-символе // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988. С. 36.

Ср. далее, в старочешском языке и культуре образ "райских потоков" как непременный атрибут рая. См.: *Němec I., Horálek J. a kolektiv.* Dědictví řeči. Pr, 1986. S. 25.

упоминания Нидерле и Котляревского) Гамкрелидзе и Иванов [8, т. II, с. 825]. Поломе считает и.-е. *nāu̯-s 'корабль, лодка' и *nāu̯-s 'смерть, мертвый' абсолютными омонимами [47, с. 14], однако это еще не окончательное решение вопроса. Обращают на себя внимание удивительно тождественные производные от *nāu̯-s I и *nāu̯-s II, ср. напр. и.-е. *nau̯i̯o- 'корабельный' (есть в крито-микенском*) и формально тождественное слав. *navьjь 'мертвец' (см. выше), может быть, последнее восходит к значению 'лодочный' ~ 'в лодке погребаемый'? Думается, что и.-е. *nāu̯-s было первоначально обозначением не всякого корабля или лодки, оно было более высоким словом, чем и.-е. *plou̯i̯om 'судно' (греч. πλοῖον, гл. обр. – 'грузовое, транспортное, торговое судно'). Более высокая стилистическая функция *nāu̯-s 'корабль' находит подтверждение в однокоренных обозначениях храма – греч. ναός и в связях с христианской церковной архитектурой и ее терминологией, ср. слова *неф* (< франц. *nef* (стар.) 'корабль', *nef d'église* 'церковный неф', лат. *navis* 'корабль'), *корабль* применительно к части храма. Если храм – это в каком-то смысле 'дом мертвых', то *nāu̯-s, возможно, **прежде всего – корабль мертвых,** так что лексика, обозначающая корыта и прочую домашнюю утварь – кимр. *noe*, норв. *nō* [47, с. 14] здесь не поможет прояснению.

ГЛАВА 5

Изучая мировоззрение древних славян, мы должны не покидать единственный верный путь – все время возвращаться к точке отсчета – человеку и его месту в окружающей действительности, к этой основной дихотомии 'свое' – 'не свое'. Это, как кажется, даст нам возможность хотя бы немного продвинуться в изучении ряда проблем, в частности социальной организации самих славян, а также откроет некоторые непосредственные выходы к проблемам индоевропейской мифологии. Понятно, что средоточием 'своего' был для славянина род и терминология родства. Этим словом охватывались издревле те, которые отчасти и до нашего времени входят в понятие *свои, свои люди*. Поскольку 'свой', *svojь, *su̯o- – это атрибут 'родной, родовой' (см. выше), сюда, к *su-/*su̯o-, относятся и сугубо этимологические индоевропейские случаи *synъ (*su-nu-, см. также выше), *sestra (*su̯e-sr-, и.-е. 'своя женщина, женщина рода'), и, так сказать, собственно славянские случаи, в которых наличие *su̯o- легко читается без этимологии и наблюдается семантика как бы "приравнивания" к своим, своему родству, – то, что мы привыкли обозна-

* Однако, по мнению микенолога П. Илиевского, Скопие (устное сообщение), последнее значило скорее 'храмовый', а не 'корабельный'.

чать, может быть, не совсем верно исторически, словом *свойство, брачное родство* – слав. **svekry*, **svekrъ*, **svьstъ* 'свояченица', **svatъ*.

Особенно показательно и близко, думается, к первоначальной семантике и.-е. **su̯o-* такое праславянское относительное новообразование, как обозначение свободы в смысле '(полноправного) состояния своего (человека)': **svoboda*. Близкое, но в деталях отличное обозначение свободы как **своей** особенности ср. в др.-инд. **svadhīnatā*, ср. сюда несколько более самобытное семантически греч. ἔθος (**su̯edho-*) '(свой) обычай' и ἔθνος 'племя, народ'. Совершенно иная природа названий свободы в балтийском, ср. лит. *laisvė*, собственно 'дозволенность', и даже в германском, ср. гот. *freis* и др. 'свободный' < 'приятный, любовь', хотя именно в германском имелось название **большой** семьи, рода – гот. *sibja* < и.-е. **su̯e-bh-*, близкое и слав. **svojь*, и слав. **svoboda* (характеристику индоевропейских синонимов 'свободный' см. [48, с. 1336–1337]). На этот способ формирования понятия 'свободный' – не из 'освобожденный, избавленный', а 'принадлежащий к этнической группе' уже указывали в литературе (ср. напр. [19, с. 356]). Правда, несмотря на ясную семантическую характеристику и.-е. **su̯e-bho-*, лежащего в основе **svoboda*, а также некоторых индоевропейских племенных названий (свебов/швабов и др.), все – с первоначальным значением этнической совокупности 'своих (людей)', приходится встречать интерпретации, которые идут вразрез с этой характеристикой. Я имею в виду довольно популярную (хотя и маловероятную) этимологию **slověne* < **svoběn-* 'член родственной группы', в частности – вариант этой этимологии, согласно которому реконструируется исходное **su̯e/obho-* с значением 'особый, особняком стоящий' [49], нечто совершенно невероятное для семантики племенного названия эпохи **родового** строя, а равно и для семантики **su̯e-*. 'Особенность, отдельность' – поздняя, во всяком случае – вторичная семантическая черта гнезда **su̯e-*, **su̯ebho-*, ст.-слав. *собь* и т.д. Далее, не случайно упоминаемая нами неоднократно дихотомия всего видимого и воображаемого мира на 'свое' и 'не свое' уже одной своей сущностью налагает запрет на попытки выявить следы **su̯ebh-* в теонимии (как это делают в случае с хетт. *-šĕpa-*, выступающим в сложных названиях духов, богов, авторы [8, т. 1, с. 303, примеч. 1]). Ergo, **нельзя о боге сказать 'свой'**; этот запрет, вероятно, действовал и в славянской и в индоевропейской древности. Наоборот, о смерти, благовидной с точки зрения 'своих' родовых и этических норм, можно было сказать 'своя смерть', ср. русск. *умереть своей смертью*, лит. *savo mirtimi mirti*, с помощью которых восстанавливается бесспорно индоевропейская фраземa и этическая норма **su̯o-* + **mr̥tm̥* + + **mer-/*mor-*. На это уже давно обратили внимание, реконструируя наряду с и.-е. **mr̥t-* 'смерть' (лит. *mirtìs*, лат. *mors/mortis*) также и.-е. **su-mr̥t-* 'своя смерть' (слав. **sъmьrtь*), см. [33, т. III, с. 686], с литературой. Своя, естественная смерть была взыскуемым и не всегда достижимым благом, с точ-

ки зрения индоевропейской древности, а то, что отдельные ветви индоевропейцев, например германцы, особенно скандинавы, развили религию пессимистического толка, по которой лучшая смерть – это смерть на поле брани, не может считаться индоевропейским архаизмом. Полезно отметить тонкий, едва заметный переход и.-е. *sŭ-mr̥t- от значения 'своя смерть' к значению 'хорошая смерть' – переход всегда вторичный, как вторична и сама эволюция этого противопоставления (см. далее). Здесь только отметим, что *sŭ-mr̥t- представляет собой как бы позицию нейтрализации взаимоотношений и.-е. *su-/*su̯o- 'свой' и *su- 'хороший, добрый', т.е. тем самым свидетельствует об этимологическом тождестве обоих *su-.

Экспансия и трансформация *su- 'свой' → 'хороший' – не единственный случай эманации первоначального и.-е. *su-, глагольной основы, обозначавшей деторождение и плодовитость, давшей также индоевропейское название свиньи (как плодовитой свиноматки) – *sū-s, слав. *svinьja, скот оседлого земледельца. Хотя существует мнение о связи индоевропейского диалектного названия дождя *su- (греч., тохар., др.-прусск., алб.) с глаголом *seu-/*su- 'выжимать, выдавливать' (см. в последнее время [8, т. II, с. 679]), все-таки трудно исключить языковую и понятийную связь с рождением (из первоначального 'рождать влагу'?). Здесь вспоминаются относимые к трипольской и старобалканской культуре **женские** фигуры с чашей, выражающие, вероятно, **моление о дожде.** Точно так же к др.-инд. *sunóti* 'давить, выжимать' относят название божественного растения и напитка – др.-инд. *sóma-* [50, III, с. 505], хотя высокий религиозный статус растения и сока из него тоже не позволяет, возможно, ограничиваться одними техническими значениями (принадлежность сюда и др.-инд. *sūte* 'рождать' в отдаленной перспективе?).

В предыдущем изложении неоднократно упоминалась важность оппозиции 'свой' – 'не свой' для понимания праславянской и индоевропейской идеологии и культуры. Важность эта состоит еще и в том, что эксплицитная пара 'свое' – 'не свое' открывает собой целый ряд еще должным образом не раскрытых аналогичных импликаций, пронизывающих культуру. Поскольку оперирование оппозициями неизменно популярно в лингвистике и в культурологии со времен структурализма, сами оппозиции отмечаются достаточно часто, но, кажется, не раскрыт дух и генезис этих оппозиций. Во всяком случае в новом труде Гамкрелидзе–Иванова не отмечена как раз оппозиция 'свое' – 'не свое', которая представляется нам исходной. Дело в том, что она не просто более важна, чем оппозиция 'хороший' – 'плохой', она лежит в основе последней, как более относительной типологически. Относительность оппозиции 'хороший' – 'плохой' хорошо понимала русская народная мудрость: что русскому здорово, то немцу – смерть. Ergo, хорошо то, что свое.

Индоевропеисты рассматривают противопоставление домашних и диких животных, культурных и дикорастущих растений, но при

этом упускают из виду, что здесь перед ними всего лишь реализация (импликация) главного противопоставления 'свое' – 'не свое'. Правда, дихотомия формировалась не всегда в духе противопоставления 'своего', 'домашнего' и 'не своего', 'дикого'. Перед лицом яркого культурного импорта – а таковыми были **заимствованные** культурные породы животных и т.п. – привычная "дикая" фауна окружающей природы оказалась в положении 'своей'. Ср. ряд случаев, когда дикие животные носят исконно славянские названия, а домашние животные, особенно (вначале) новые их породы имеют названия, заимствованные из других языков: слав. **korva,* кельтского или иллирийского происхождения (ЭССЯ, вып. 11, с. 106 и сл.), при исконном **sьrna*, обозначающем дикое рогатое животное леса; **kotъ*, европейский импорт около середины I тысячелетия н.э., при исконно славянском названии дикой кошки **stьbjь* (см. ЭССЯ, вып. 11, с. 209 и сл., s.v. **kotъ*; в дополнение к старославянской и польской формам можно теперь назвать болг. диал. *сте́бал* 'дикая кошка', открытое несколько лет тому назад [51]).

Мировоззренческая важность оппозиции 'свой' – 'не свой' настойчиво переводит нашу реконструкцию древних представлений в план антропоцентрической картины мира, побуждая нас критически взглянуть на известные трехчастные построения индоевропейской картины мира, ср. в последнее время Гамкрелидзе и Иванов – о "Верхнем", "Среднем", и "Нижнем" мире [8, т. II, с. 490, 537, 538]. Упомянутые ученые преследуют цель выявления древнейших представлений индоевропейцев, но, говоря о названиях птиц, они относят самих птиц к существам "Верхнего мира" на основании реконструкции 'птица' → 'летающее по воздуху', которую имеет смысл признать умозрительной и модернизирующей. Так, этимология не подтверждает приписываемых древнему человеку воззрений на птиц как на существа "Верхнего мира". Напротив, есть данные для того, чтобы построить совсем иную типологию, основываясь на последовательных показаниях этимологии: слав. **pъtica, *pъtъka, *pъtakъ* ~ лат. *putus* 'мальчик, детеныш', *putillus* 'птенец'; слав. **orьlъ*, сюда же греч. ὄρνις 'птица' – к и.-е. **er-/*or-* 'рождаться, происходить, возрастать, подниматься'; авест. *vīš* 'птица', 'курица', сюда же лит. *vištà* 'курица' – не к и.-е. **u̯e(i̯)-* 'дуть' [8, т. II, с. 537: **Hu̯e(i̯)-*], а к и.-е. **u̯ei̯-s-* 'высиживать, выводить'. Реконструируемый выше этимологически принцип номинации 'птицы' как 'детеныша' свидетельствует, что праславянин (и древний индоевропеец) воспринимал птиц **со своей точки зрения,** как бы приравнивая их к себе, к своему опыту, и наделяя эти отличные существа чертами антропоморфизма ('птицы' = 'детки').

Если мы, например, встречаем довольно многочисленные употребления слова *борода* в названиях различных растений или выражение *завить бороду* – о народном обычае окончания полевых работ ("последний сноп не сжинается, а вяжется на корню и убирается

цветами". Даль ²I, с. 116), то нам представляется ясным, что все это антропоморфные метафоры, основанные на первичном обозначении человеческого подбородка – несколько заостренной нижней части лица и растительности на ней – и.-е. **bhardhā* от **bher-*/**bhor-* 'острый, резать'. Считать, что праслав. **borda*, и.-е. **bhardhā* образовано от **bhar-* 'ячмень' (так см. [52], вслед за Т. Марки) едва ли верно. Аналогичный изложенному способ номинации допустим и для др.-инд. *śmaśru-* 'борода', если из **sm-aśru-*, где *sm-* – служебная частица (префикс), а *aśru-* (**aќru-*) – опять-таки 'острое' (иначе – [52]). Весьма древней антропоморфной метафорой в сфере хозяйственной деятельности может быть и слав. **dolnь* 'ладонь', а также 'ток, гумно' (см. ЭССЯ, вып. 5, с. 64). Широко известны антропоморфические переносы названий частей человеческого тела на объекты земного ландшафта. К этому следует добавить возросшее вероятие широкой метафоричности древнего словоупотребления [53], более того – глубокую метафоричность всего языка [1, с. 8, 23].

Вышеизложенной концепции антропоцентрической метафоричности древних представлений об окружающем мире определенно противостоит в современной научной литературе то, что можно назвать преувеличенной космизацией человеческих и этнических отношений, а главным образом – традиции о них (я имею в виду утверждения, что скифская генеалогическая легенда Геродота полностью лишена этнической семантики и представляет собой космогонический миф [54]).

В общем актом слишком категорической атрибуции выглядит популярная в сравнительной мифологии теория Дюмезиля и его школы о трехчастной древней картине мира и трехклассовости древнего общества, ср. [18, passim]. Фактическая реальность явно не умещается в эти схемы сакраментальной троичности. Собственные утверждения Дюмезиля о единстве цивилизации ариев существенно ослабляются его же признаниями, что религия даже внутри Ригведы не могла быть единообразной, трехфункциональность в мире богов то и дело вынужденно признается стирающейся и расщепляющейся, троичная структура общества (жрецы, воины, скотоводы-земледельцы), оказывается, просто не соответствует действительному разнообразию вариантов его структуры, когда число классов то равняется двум, то четырем (перечисленные выше плюс ремесленники), то, наконец (и это наиболее реальный древнейший вариант) – налицо крайняя нечеткость, вплоть до отсутствия классовой общественной структуры. Троичное структурирование индоевропейского общества и индоевропейской картины мира все меньше удовлетворяет запросам науки, которая испытывает острую нужду в раскрытии эволюции названных выше феноменов – в историческом плане и в более последовательном допущении того, что можно назвать диалектологией мифологии и диалектологией социальной структуры – в плане описания традиций.

ГЛАВА 6

Трезвые голоса против “шаблонной организации религии”, неизменно трехчленного деления общества сквозь тысячелетия и слишком большого упрощения схемы по Дюмезилю раздаются и из среды приверженцев “новой сравнительной мифологии”, ср. [47, с. 1 и сл.]. Наиболее распространенная методика состоит в соотнесении и наивозможно полном совмещении частных индоевропейских пантеонов и общего индоевропейского пантеона. Поскольку это не только не удается осуществить полностью, но при этом вскрываются также значительные лакуны в частных пантеонах, имеется стойкая тенденция рассматривать эти лакуны как “утраты” индоевропейских древностей в латинском, греческом и др. Применительно к **perk$^{u̯}$uno-* ‘индоевропейское божество походов и военного дела’ это расценивается как “полное исчезновение в греческом пантеоне” и “полная утеря в италийском” [8, т. I, с. 793, 797]. Заметим, что именно латинский и его мифология признается в современной индоевропейской сравнительной мифологии наиболее архаичной стадией, что априори допускает мысль распространить эту архаичность и на эти лакуны.

Что касается так называемого славянского пантеона, то трудности его реконструкции и возведения к индоевропейскому пантеону происходят не от дефектности источников, а от того, что уместно считать **культурной стадией**. Божества (и их названия) в принципе – продукт культурной и идеологической **сублимации** (имеется в виду то, что скрывается за мифологическим феноменом “рождения богов”). Поэтому в тех нередких случаях, когда мы имеем дело у славян с означенными выше “лакунами”, методологически важно избегать поспешных заключений об “утратах” и других подобных натяжек. Гораздо естественнее и логичнее предположить у праславян в этих случаях отражение архаической стадии. Несмотря на настойчивые поиски “индоевропейского наследия” в славянском пантеоне, все-таки наиболее реалистично считать, что у славян продолжалась, причем так и не завершилась сублимация более низовых антропоморфных анимистических представлений и их обозначений. Поэтому для древнеславянских верований более присуще наличие относительно примитивной магии, колдовства (ср. выше о **kъldunъ*/**kъltunъ*), которые имеют свои индоевропейские корни, напр. лексическое гнездо *čara* ‘колдовство’ < и.-е. **k$^{u̯}$er-* ‘делать’ (см. ЭССЯ, вып. 4, с. 22–23, s.v. **čara* III), **kobь* ‘гадание, (злой) рок’ (ЭССЯ, вып. 10, с. 101). Характерны для славян также сезонные обряды вроде того, который обозначается названием соломенной куклы на проводах весны – **kostrǫba*, **kostrъba*, **kostroma* (см. ЭССЯ, вып. 11, с. 163). Естественно, что процветали суеверия, которые выражались в вере в злых духов – **kykymora*, **kukumora* (ЭССЯ,

вып. 13, с. 94, 261), в приметы, ср. например **kъšь*, русско-церковнославянское название жребия, судьбы из первоначального 'чох', сюда же **kъšiti*, **kyxati* (ЭССЯ, вып. 13, с. 247). Эти суеверия могли проявляться порой неожиданным для нас образом, что немало затрудняет работу этимологов. Так, в слав. **kъrma* 'корма судна, puppis', **kъrmidlo* 'кормовое, рулевое весло', не получивших до сих пор убедительной этимологии, просматривается теперь связь с **kъrmiti* 'кормить, давать корм, пищу' (более глубокое погружение главного – кормового – весла воспринималось в духе магии кормления водной стихии).

Что касается бога Перуна, то необходимо с осторожностью воспринимать попытки прямо связывать его славянское имя с другими индоевропейскими теонимами. Наряду с теонимом **Perunъ* в славянских языках представлено нарицательное, апеллативное **perunъ* 'тот, кто бьет, поражает', мотивированное глаголом **perti*, **pьrǫ* и выступающее в качестве конкретного, **вещественного** (с элементами одушевления, ср. суффикс имени деятеля *-unъ*) обозначения грома с молнией. Никогда не следует забывать, что официальное утверждение древнерусского сонма языческих божеств во главе с Перуном всего на восемь лет опередило официальное принятие христианства на Руси. Унификация языческого культа, придание ему вида единоначального пантеона были безусловным нововведением для создания (запоздалого) противовеса христианству, а также для упорядочения нестройной массы архаических локальных культов сил неба и земли, бытовавших у славян с давних времен.

Еще менее основательны попытки увидеть индоевропейский архаизм в имени **stribogъ*, выделяя в первом компоненте продолжение и.-е. **pəter* 'отец'; впрочем, и объяснение всего имени **stribogъ* как иранизма [55] тоже опрометчиво. Это имя – славянское новообразование с использованием слова **bogъ* **после** соответствующего древнеиранского (скифского) религиозного влияния в сложении с типичной для славянских сложных имен императивной формой славянского глагола **sterti*, **stьrǫ* 'распространять, простирать', ср. аналогичную структуру другого праславянского теонима-неологизма **dadjьbogъ* (тоже глагольный императив в соединении с именем **bogъ*). Под ними подразумевались одушевленные силы природы. Анимизм в названиях ветра проявляется вообще довольно ярко в разных индоевропейских языках, ср. и.-е. **u̯ent-*, **u̯ētr-*, собственно 'веятель, дующий', производные с агентивными суффиксами *-nt-*, *-tr-*. Воображение древнего человека наделяло душой, анимизировало всю окружающую природу. Человек не отделял себя от природы, напротив, ему виделись узы родства, которые связывали его прежде всего с другими "живыми душами" – животными. Индоевропейцы не составляли в этом исключения, лучшее тому доказательство – известные названия индоевропейских племен, образованные от названий животных, ср. 'Αρκάδες 'аркадяне', родственное греч. ἄρκτος

'медведь', Cheruscі, название германского племени, родственное герм. *herut- 'олень', название народа даков – Δᾶοι, Δᾶκοι, ср. фригийское δάος 'волк' [56, с. 117], Σάκαι, скифское племя, собственно – 'принадлежащий к тотему оленя', ср. осет. *sag* 'олень' [57, с. 179]. Можно привести и другие примеры, но и этих достаточно, чтобы показать причастность древних индоевропейцев к тотемизму, однако в современной западноевропейской науке существует удивительная боязнь тотемизма, сравнимая лишь с боязнью матриархата; ср. подробнее [58, с. V и сл.].

Возвращаясь к соотношению архаизмов и инноваций в мировоззрении славян, отметим, далее, что принадлежность теонимов **stribogъ* и **da(djь)-bogъ* к **культурным инновациям** славян, а не к индоевропейским архаизмам явствует из их современности интенсивным иранским культурно-лингвистическим влияниям, которые нельзя датировать старше скифской эпохи (VII–V вв. до н.э.). Наличие в составе этих теонимов семантически уже готового к этому времени компонента – **bogъ* 'deus' показывает также, что их образование близко ко времени расцвета соответствующей развитой славянской антропонимии типа **bogu-xvalъ*, **bogo-danъ* и т.п. (ср. о них как о теофорных именах [59, с. 206, 218]). Таким образом, развитая славянская теонимия – своеобразный продукт развития славянской антропонимии, имен людей, и благодаря четкому выявлению иранских влияний в последней можно в известном смысле датировать первую. Трезвое разграничение архаизмов и инноваций позволяет не допустить недооценки одних за счет других. Собственно говоря, и индоевропейские классические антропонимы типа **u̯esu-k̑leu̯es-*, хотя их обычно реконструируют в праиндоевропейской форме, – тоже продукт относительно позднего развития и региональных изоглосс. Уместны, наконец, сомнения в праязыковой древности сложного теонима и.-е. **di̯eu̯s-pətér* 'небесный отец'*; идентификации последнего с праслав. **stribogъ* (из **pətri-* ?) более чем сомнительны. Инновацией-заимствованием скифского времени оказывается и слав. **svarogъ*, принадлежность которого к культу солнца, а также сохранность *s-* этимологического позволяют принимать только этимологию из др.-инд. **svarga-* 'небо' (как 'солнечный путь').

Сказанное делает понятным наш острый интерес к антропонимии, в частности – праславянской, поскольку она проливает свет не только на развитие языка, но и на формирование культуры и при-

---

* Ср. *Euler W.* Gab es eine indogermanische Götterfamilie? // Studien zum indogermanischen Wortschatz / Hrsg. von W. Meid. Innsbruck, 1987 (= Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Bd. 52), с. 39, 49, 51: автор судит несколько противоречиво, допуская, с одной стороны, наличие древнего представления о небе как суровом "богеотце" (Vater-gottheit), а с другой стороны соглашаясь, что и.-е. семья не была абсолютно патриархальна, ср. специальные термины для госпожи (др.-инд. *pátnī*, греч. πότνια), царицы (**rēgnīnā*). На вопрос о существовании у индоевропейцев "семьи богов" (eine Götterfamilie) автор статьи все-таки склонен ответить отрицательно.

чем – не в меньшей степени, чем изучение лексики, обозначающей культурные реалии, не в меньшей, – если иметь в виду вскрытие духа культурной эволюции. Последняя находит выражение в эволюции позиции имени собственного (и прежде всего – имени человека) как в языке, так и в культуре (специально см. [60]).

Следовательно, формирование религиозных понятий – не обязательно древнейшее явление в культурной эволюции, равным образом изоглоссы из области религиозной терминологии – это нередко относительно поздние или вторичные феномены. Так, для славяно-иранских языковых отношений отмеченного выше времени (грубая датировка – около середины I тыс. до н.э.) как раз свойственно формирование понятий из религиозной сферы и соответствующих влияний, из которых мы для краткости выделили выше только **bogъ* 'deus'. С другой стороны, исследователи наблюдают отсутствие славяно-иранских соответствий в названиях природы (вода, тина, дождь, времена года) [61]. Такие очевидно древние соответствия, обозначающие явления природы, напротив, встречаются, например, в латинско-славянских языковых отношениях, ср. такое значительное соответствие как лат. *pal-ud-*: слав. **polo-vodьje*. Древность латинско-славянских культурных и языковых отношений весьма значительна (предположительно – III тыс. до н.э.). Что касается религии, то к этому отдаленному времени относятся древнейшие ее формы, например молчаливое почитание, но подробнее об этом – ниже.

ГЛАВА 7

Итак, проблема индоевропейского наследия и славянского развития остается одной из главных для нас. По ряду причин предметом особенно напряженного внимания становится именно индоевропейское наследие, ибо, не будучи засвидетельствованным, праиндоевропейское состояние, вернее – его картина, подвержены наибольшему изменению в науке, что связано всякий раз с пересмотром материала. Этот пересмотр индоевропейского наследия необходим не только сам по себе, он нужен для правильного понимания славянского развития.

В труде Гамкрелидзе–Иванова выдвигаются положения о сходстве индоевропейской цивилизации с ближневосточными цивилизациями, о наличии у праиндоевропейцев ранга жрецов, иначе говоря – жреца-царя, "священного царя", "как в древних восточных цивилизациях"; специально говорится о 'славе' воина и об индоевропейцах как воинственных племенах [8, т. II, с. 751–752, 834, 884–885; 62, с. 26].

При этом уже априори уместен вопрос, – является ли эта картина подлинной праиндоевропейской реконструкцией или, скажем,

транспозицией в праиндоевропейское прошлое письменных традиций отдельных развитых индоевропейских культур? То, что мы имеем здесь дело с последним, вытекает, кроме наших собственно лингвистических наблюдений, из самостоятельных наблюдений некоторых археологов, которые трезво предостерегают против популярных преувеличений в современных воззрениях на древнюю индоевропейскую культуру. В этом смысле очень поучительна недавняя статья Роулетта "Свидетельства археологии о раннеиндоевропейских племенных вождях" [63]. Автор подвергает сомнению реконструкцию института 'царей' у древних индоевропейцев, полагая, что значением и.-е. **reĝ-* было 'вождь', но еще более древним, исходным состоянием было наличие безначальной (acephalous) социальной группы; любопытно, что автор приравнивает топоры к предметам регулярного обмена (trade axes), отмечает существование захоронений **вождей без воинских атрибутов** (боевых топоров), напротив, в ряде случаев – с наличием ремесленных орудий. Автор приходит к выводу, что в большинстве групп индоевропейской культуры шнуровой керамики Европы отсутствует **четко выделенный класс воинов**, зато ремесленное, неземледельческое производство наличествует в больших размерах, "чем палеолингвисты отмечали до сих пор". Вряд ли возможно игнорировать следующее заключительное положение: "Относительная несвязанность (disassociation) боевых топоров с вождями и высокое положение женщин предполагает, что производная модель царей-воинов, возглавляющих общественные группы, подвластные мужчинам, не может быть точным представлением об индоевропейском обществе" [63, с. 214].

"Царь-жрец", или "священный царь" – это, по-видимому, такое же преувеличение, излишне прямолинейная транспозиция в праиндоевропейскую древность, как только что упомянутые "царь-воин", его "слава" и "воинственность" в ее классическом понимании. Наличие царя-героя, прославляемого поэтическими традициями "героического века" (ср. гомеровская, арийская и другие частные классические индоевропейские традиции) а также жреца, громко прославляющего небесное воинство как некий аналог воинства земного, и в целом весь этот "героический век" до сих пор, как кажется, больше тормозили, чем углубляли наше понимание истинной индоевропейской общественно-культурной эволюции, побуждая принимать за исконную древность то, что было лишь рядом инноваций. Так, именно инновационный смысл терминологии восхваления и прославления, в частности жреческого, выпукло отражает праславянское новообразование **pěti*, **pojǫ* 'петь' на базе **pojǫ*, **pojiti* 'поить, давать пить', resp. 'совершать возлияния' [64]. Эта славянская этимология полезна тем, что методом внутренней, парадигматической реконструкции (**pojǫ* 'даю пить' → **pojǫ* 'восхваляю, воспеваю') демонстрирует принципиальную вторичность ритуальной практики жертвоприношения-восхваления, тем самым подготавливая нас к

принятию исторически очевидного положения, что **ритуал восхваления – отнюдь не самая древняя стадия общения славян и индоевропейцев с божеством.** Отпечаток вторичности лежит и на других древних синонимах такого рода, ср. отношения др.-инд. первичного *juhóti* 'лить' и вторичного *hávate* 'призывать'. Восстанавливаемая нами в итоге лакуна на месте будущих индоевропейских глаголов 'восхвалять, прославлять, воспевать' объективно свидетельствует против изначальности песнопений и славословий*. Вместо нее мы нащупываем иную, несомненно, более архаичную **стадию безмолвного почитания.** Воспоминания об этой древней эпохе и ее отличной идеологии находятся в глухих намеках Библии на неизначальность прославления имени божьего, ср. Быт. 4: У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа [Бога].

Идеология молчаливого почитания божества нашла выражение в замечательной исключительной славяно-латинской изоглоссе, которую по праву можно считать стадиально древнейшей изоглоссой религиозной терминологии: слав. **gověti* с его набором значений 'поститься', 'хранить почтительное молчание', 'воздерживаться', 'благоприятствовать' – лат. *favēre* 'благоприятствовать, быть милостивым; хранить молчание' (см. ЭССЯ, вып. 7, с. 72–73). Важность этого старого лексического соответствия состоит в том, что оно является далеко еще не использованным наукой свидетельством о **древнейшей,** видимо, стадии религиозной практики и соответствующих представлений, которую уместно для краткости назвать **стадией *favere*,** отметив ее современность другим – **элементарным** славяно-латинским соответствиям и новообразованиям из лексики природы, что важно в плане относительной хронологии и не противоречит условной абсолютной датировке славяно-латинских изоглоссных связей III тысячелетием до н.э. Для нас ясно, что и в сфере религии славяно-латинские отношения древнее и элементарнее более развитых и потому более поздних славяно-иранских и славяно-индоарийских отношений в сфере идеологии и религиозной лексики; последние уже созвучны духу упоминавшейся выше героической эпохи. Терминология молитвы, гимна, песнопения, как прави-

---

* Я предвижу, что в числе возможных возражений против излагаемых здесь взглядов и даже – на одном из первых мест будет, скорее всего, приведена такая известная изоглосса, претендующая, к тому же, на праиндоевропейскую древность, как греч. κλέος ἄφθιτον = др.-инд. (ведич.) *śrávo... ákṣitam*, что-то вроде 'неувядаемой славы', или, точнее, 'неиссякаемой славы'. В связи с этим даже реконструируется праиндоевропейское **k̂lewos n̥-dhgʷhitom*. 'Неиссякаемость' как образ при этом вторично перенесена на 'славу' с 'воды', что же касается 'славы героев (после их смерти)', то здесь в целом приходится констатировать **вторичное** (метафорическое) употребление, ср. четкое указание, что слово ἄφθιτος в раннем греческом **"никогда не употребляется о лицах"** (H. Schmeja). См.: *Risch E.* Die ältesten Zeugnisse für κλέος ἄφθιτον // KZ. Bd. 100. H. 1, 1987. S. 3–11.

ло, вторична. Это мы наблюдали на этимологическом выявлении судьбы слав. **pěti*, русск. *петь*. Другие ученые на другом индоевропейском языковом материале также поднимали вопрос о том, что семантика 'молитва, молиться' восходит обычно к иной, более элементарной, так, лат. *precāri* 'молиться' значит, собственно, 'просить'. Более запутан случай с разветвленным соответствием хетт. *mald-*, лит. *meldžiù*, *melsti*, арм. *malt'em* и слав. **modliti*, и все-таки и здесь есть очевидные выходы в предрелигиозную семантику ввиду значения (хетт.) 'торжественно заявлять', а особенно – герм., др.-в.-нем. *meldōn* 'заявлять, обнаруживать', и едва ли прав исследователь, считающий, что "пресловутое религиозное содержание в германском совершенно поблекло" [47, с. 11]. Правильнее считать, что его кристаллизация еще не осуществилась в данном германском verbum dicendi. Сказанное несколько меняет и воззрения на природу языкового табу: ученые, кажется, больше привыкли считать, что языковые запреты практикуются относительно уже существующей лексики. В этом допустимо усомниться, выдвинув в духе развиваемых здесь мыслей положение о том, что **запреты старше слов.** Может быть, именно примату табуистичности, его преодолению и обыгрыванию с древних времен язык обязан своей глубоко имманентной метафоричностью, которую на каждом шагу помогает вскрывать этимология (**mus-* 'муха' ← 'серая', **mus-* 'мышь' ← 'серая', **mus-* 'мох, плесень' ← 'серое', **(e)dont-* 'зуб' ← 'едящий' и т.д. и т.п.).

В полном соответствии со сказанным мы считаем боязнь или нежелание прямого именования людей стадией, **предшествующей** развитой антропонимии. Для нас относительная бедность славянской и латинской антропонимии знаменует тем самым более архаическую культурную стадию, а богатство греческой, древнеиндийской и "хвастливой" кельтской антропонимии уже целиком принадлежит к более поздней в культурно-типологическом отношении героической эпохе. Восхваление богов и героев, вместо популярного преувеличения этого феномена в научной литературе, как и преувеличиваемая воинственность – объект прославления, должно занять свое место в общей культурной типологии и эволюции. Образно говоря, стадия *favēre* сменилась стадией *hávate* (ср. выше также о слав. **pěti*) и, дабы посеять вполне уместный, как нам кажется, скепсис в отношении незыблемости и изначальности индоевропейской воинской 'славы', эту часть своих рассуждений закончим, указав читателю на загадку двух (омонимичных?) и.-е. **k̂leu̯-*: **k̂leu̯-*I 'слышать' (**k̂leu̯os-* 'слава', **k̂lutos* 'знаменитый, прославленный') и **k̂leu̯-*II 'струить, смывать', и, заканчивая данный эпизод, спросим, долго ли можно еще довольствоваться решениями Покорного, если их можно вообще считать "решениями": "Erweiterung einer Wurzel *k̂el-*" (ad **k̂leu̯-*I) и "Vielleicht Erweiterung eines **k̂el-* 'feucht, na?'" (ad **k̂leu̯-*II) см. [41, с. 605, 607].

Проблема индоевропейского наследия или индоевропейских "утрат" в славянской терминологии и культуре предстанет в совершенно недвусмысленном свете, если мы полностью отдадим себе отчет в реальности древней безымянности божеств, духов и в ее намеченной кратко выше древней идеологической, табуистической, в целом – общекультурной основе. И здесь нам также приходит на помощь латинский, прежде всего – со своим термином и понятие *nūmen* '**молчаливый** знак, кивок, проявление божественной воли' → 'божество'. Если даже *nūmen* – собственно латинское производное от *nuo*, все равно оно как бы знаменует собой древнее **отсутствие** (запрет на употребление) термина, а значит – архаизм в духе стадии *favere*. Что касается лат. *deus* 'бог', то оно этимологически и по показаниям родственных соответствий в других языках с их значениями 'день', 'небо', 'дневной, небесный (свет)' исторически совершенно не претендует на универсальность, т.е. в своем общем значении 'бог' несомненно вторично (даже в тех языках, где абсолютно представлено только значение 'бог', как в балтийских, ср. лит. *diẽvas,* имеются косвенные следы древнейшего небожественного значения, ср. заимствованное из балтийского фин. *taivas* 'небо'). Все это равносильно признанию, что единого общего индоевропейского термина 'бог' нет и не могло быть. Только в этом – твердо отрицательном смысле следует решать проблему слав. **divъ*, которое некоторые исследователи до последнего времени считают деградировавшим семантически ('злой дух') первоначальным славянским названием бога (см. [65], дальнейшую литературу и анализ, отделяющий это *дивъ*, напр. в "Слове о полку Игореве", от исконного **divъ/*divo* 'чудо', см. ЭССЯ, вып. 5, с. 35). В какой-то мере прояснению здесь, действительно, мешает абсолютный омоним слав. **divъ/*divo*, этимологически – 'зрительное чудо, miraculum' (при слав. **čudo* – 'чудо, воспринятое на слух'). В остальном редкое и достаточно позднее др.-русск. *дивъ* 'птица, предвещающая несчастье' (Слово о полку Игореве) не может претендовать на собственные индоевропейские истоки; нереален здесь и древний иранизм скифского времени, который, скажем, отражал бы зороастрийский дуализм *daiva-* 'злой дух' – *ahura-* 'всесильное божество', поскольку ни ир. *daiva-*, ни зороастризм не засвидетельствованы для скифского и осетинского (ср. труды Абаева, цитируемые в [66, с. 79]). Единственное, что остается, – это признать в др.-русск. *дивъ* с отмеченным значением заимствование через тюркское посредство западно-иранского, персидского слова *dēv* 'демон' [33, т. 1, с. 512].

Значительный материал по проблеме оппозиции 'называемое, названное, то, что можно назвать' – 'неназванное, неизреченное, невыразимое, т.е. священное', имеющей самое прямое отношение к архаической стадии *favere*, представляет этимология славянского названия вещи: **vĕktь* (ст.-слав. вѣшть πρᾶγμα, чеш. *věc*, русск. *вещь* – из церковнославянского, родственное гот. *waíhts* 'вещь', нем. *Wicht*

'существо', далее – греч. ἔπος 'слово', лат. *vox* 'голос' [33, т. 1, с. 309]. Точнее, слав. **věktь* продолжает **u̯ek-to-**, преобразованное из **uk-to-*, ср. причастие др.-инд. *uk-tá-* 'сказанный'. Все, что охватывается понятием **uk-to-*, – это то, что названо или что можно назвать, и сама природа такого именования подразумевает наличие еще и других сущностей, которые назвать нельзя, даже если это oppositum не сформулировано вроде отрицательного др.-инд. *anukta-* 'несказанный, невысказанный'. Даже если в оппозиции к **uk-to-* мы получим практическое отсутствие термина, что очень возможно, ясно, что именно под этим подразумеваются высшие, священные понятия, в наибольшей степени окруженные запретом упоминания. В этом позволительно усмотреть еще одну импликативную оппозицию 'свое' – 'не свое' (здесь: 'неизреченное, неназываемое') и дополнительную аргументацию невозможности приложения 'своего' (напр.: **su̯ebh-*) к высшему, запретному, т.е. к теонимии. И вся эта картина противопоставленности сферы вещей названных и сферы высоких, умалчиваемых понятий, в свою очередь, хорошо укладывается в древнюю стадию молчаливого почитания, *favere* (отметим большую самобытность славянского способа обозначения вещи как 'названного', в чем отразился архаизм мышления, иной способ наблюдается в нем. *Ding* или франц. *chose* 'вещь' из первоначального '(судебное) решение, решение совета').

Эпоха молчаливого, благоговейного почитания высоких сущностей должна породить чувство высокой ответственности слова, называющего вещь, а тем более – имени и самого акта наречения, который формулировался как 'возлагание имени', насколько это явствует из этимологии слав. **jьmę* в его отношении к и.-е. **en-men/*(a)nō-men-* (см. ЭССЯ, вып. 8, с. 227–228). Критики такой этимологии указывали на отсутствие здесь глагольного корня (Семереньи, письменно), имея в виду, вероятно, сочетания типа и.-е. **nō-men* + **dhē* 'класть имя / нарекать', тем не менее, аномалия словообразования позволяет видеть здесь, в сочетании предлога-приставки *en*, *anō* и суффикса *-men-*, значительный архаизм. Другой, еще более важный архаизм из числа разобранных выше, – это, конечно, вторичный и производный характер 'славы' в упомянутую древнюю эпоху, а равно и сопряженной с ней воинственности. Напротив, древнее ремесло порождало очень ранний обмен, весьма заинтересованный в наличии путей, дорог, обнаруживающих разнообразную и развитую терминологию (см. [67]). Мы не будем входить в детали этих довольно разнообразных индоевропейских названий путей сообще-

---

* Ср. также: *Hamp E.P.* Old Church Slavonic vešti [так у автора! Надо věšti – *O.T.*] 'thing' // – Comments on etymology, by G. Cohen, University of Missouri–Rolla. Vol. VIII. N. 6. 1978, P. 1–2: "Пока что, похоже, у нас нет лучше реконструкции, чем германо-славянское **uekti-*" (дальнейших корневых связей которого автор, впрочем, не знает, "как и Покорный 1136").

ния, отметим лишь то, что представляет для нас интерес. В названиях дорог и путей нередко просвечивает техника их создания, прокладывания, связь с рельефом (ущелья, горные проходы), почти нет случаев, основанных на терминологии звериных троп или путей прогона скота, значит, особое наименование охотничьих путей или дорог скотоводов практически отсутствует. Важно и то, что практически отсутствует понятие 'военная дорога', и это надо понимать так, что военные походы всегда направлялись по путям, уже разведанным и проложенным торговцами. Следовательно, древние дороги – это торговые дороги по преимуществу.

Идеи древнего обмена в смысле обоюдного одаривания воплотились в архаической индоевропейской глагольной и именной лексике: **dō-* 'давать/брать' (ср. [8, т. II, с. 725–753]), производное **dōrom* 'дар'. Самый древний наш глагол купли – слав. **kriti*/**krъnǫti* (русск.-цслав. *крити* 'купить'), вполне возможно, представляет собой расширение очень емкого индоевропейского слова-понятия **kᵘ̯er-* 'делать' (ср. форму греч. πρίαμαι 'покупать', отражающую и.-е. лабиальный задненебный *kᵘ̯*), как известно, выступающего в высоких сферах **поэзии** и **магии**, что само по себе уже говорило бы о древнем престиже торговли (идея об исходном **(s)ker-* 'резать', имеющая в виду зарубки как способ учета, см. ЭССЯ, вып. 12, с. 161, ослабляется характером реконструируемого задненебного в и.-е. **kᵘ̯rei̯-*/**kᵘ̯rī-*). Кроме данного древнейшего индоевропейского глагола купли, унаследованного славянским, можно отметить другой достаточно старый глагол **věniti* 'совершать выкуп', 'давать выкуп', обладающий ареальными латинско-славянскими связями. Завершить это перечисление, свидетельствующее о богатстве терминологии и о древности занятия, можно наиболее поздним из праславянских терминов – **kupiti*, заимствованным из германского. Обращение к древнему обмену, торговле для нас отнюдь не случайно, так как оно дает возможность шире взглянуть на то, что поколениями ученых трактовалось только в одном смысле – в духе "воинственности" древних индоевропейцев, взять хотя бы эти "боевые топоры" (battle axes, Streitäxte западной литературы по индоевропеистике), которые теперь допускают трактовку и как модные единицы торгового обмена (trade axes) в общем, как и керамика. Древнейшие формы торгового обмена интересны для нас еще и потому, что по своему способу в чем-то примыкают к уже разобранной выше архаической стадии молчаливого религиозного почитания. Я имею в виду потенциальную внешнюю аналогию с примитивной **молчаливой** торговлей, практиковавшей обоюдное **выставление** товаров, артефактов. Здесь весьма поучителен факт существования уже в хеттском языке глагола *ištaḫḫ-* – '**стоить, иметь цену**', собственно, тождественного и.-е. **steH-*/**stā* 'стоять' [68, с. 323, 332], что уполномочивает нас трактовать вообще производную семему 'стоить' как восходящую к исходному 'стоять (напоказ, для обоюдного обмена)', ко-

гда словесный торг еще не вошел в силу. Понятно, что это несколько меняет взгляд и на наше русск. стоить, позволяя углубить его оригинальную хронологию, а не сводить все дело к поздним культурным влияниям и калькам, напр. лат. *constāre* 'стоить' (ср. так [33, т. III, с. 769]).

Чем больше думаешь о тезисе изначальной "воинственности" индоевропейцев, который объединяет сейчас таких разных индоевропеистов, как М. Гимбутас и Гамкрелидзе–Иванов, тем больше остается впечатления, что мы этим обязаны в немалой степени терминологическому гипнозу (нем. "Kriegerstand" и т.п.) и мощному обаянию классических литературных традиций вроде древнеиндийской с ее нескончаемыми повествованиями о подвигах кшатриев. Определяло древнюю жизнь индоевропейцев все же нечто совсем другое – то, что пока остается в тени, по крайней мере – для многих исследований по индоевропеистике. Ремесленное производство, берущее свое начало в неолите, культурный обмен с его сетью дорог – вот, что было главным, а не военные походы и даже не миграции. Инфильтрации отдельных групп населения, конечно, происходили, но и для них, как и для культурного обмена, первым условием было то, что сейчас принято обозначать словами **мирное сосуществование.** Даже для Малой Азии, которая явно была вторично индоевропеизирована (по традиционной терминологии – "завоевана" индоевропейцами), специалисты считают более реальным говорить об **инфильтрации** малочисленных групп людей. Тем более это относится к областям старого заселения в Европе, что и будет пояснено ниже на одном примере, более близком к славянам. Пример этот небезынтересен также тем, что принадлежит к области сотрудничества языкознания и археологии – сотрудничества, которое в глазах многих необходимо, но стоит только спросить, **как** его осуществлять и **чего** от него ожидать, сразу откроются либо слишком разнообразные, либо чересчур упрощенные представления. Чересчур упрощенные – это когда и от языкознания, и от археологии ждут в принципе одинаковых ответов на одни и те же вопросы. Но обе науки достаточно специфичны, чтобы надеяться получить от них одни и те же ответы. Заранее можно сказать, что ответы языкознания и археологии на одни и те же вопросы будут по большей части неоднозначными, и методологически важно уметь работать с этими разными ответами, уметь извлекать из них объективную информацию.

На V Международном конгрессе археологов-славистов в сентябре 1985 г. в Киеве в одном из докладов рассматривалась этническая принадлежность носителей чернолесской археологической культуры в Среднем Поднепровье. Докладчик-археолог склонялся к тому, что носители этой культуры, скорее, не были славянами, но просочились сюда из Карпато-Дунайского бассейна. Для большей убедительности археолог ссылался также на мою книгу "Гидронимия Правобережной Украины" (М., 1968), потому что в этой книге допу-

скается происхождение ряда украинских речных названий из древних индоевропейских языков Балкан – иллирийского, фракийского. Но коварная память подсказывает тут другой случай, когда другой виднейший археолог доказывал в 1979 г. славянскую принадлежность той же самой чернолесской культуры, подкрепляя это ссылками на ту же самую книгу по гидронимии Правобережной Украины, где для Среднего Поднепровья приводится довольно много славянских водных названий древнего вида. Ситуация может показаться довольно щекотливой, особенно для любителей ригористических ответов: или балканские индоевропейцы, или славяне. А дело в том, что на таком древнем этническом перекрестке, каким была Правобережная Украина, было и то, и другое, и третье. Ведь где-то здесь, по-видимому, осуществлялись также древнейшие палеобалканско-балтийские контакты, относимые Дуридановым к III тысячелетию до н.э., в которых не участвовали славяне (сидели тогда значительно западнее). В результате разновременных инфильтраций все эти этносы или их части оказались рядом друг с другом. Сосуществование языков, этносов и культур – вот чему учит нас сравнительный, совокупный опыт наших наук, древнее мирное сосуществование имело место гораздо чаще, чем обычно думают, предпочитая говорить о миграции целых этносов и об испепеляющих военных походах. Вместе с тем отрадно, что сейчас все больше говорят о полиэтничности ископаемых археологических культур, например, если иметь в виду более близкие к славянам, – о трех этнических компонентах пшеворской культуры, о полиэтничности черняховской культуры.

Ремесло развивалось, и в I тысячелетии до н.э. у славян началась металлургия железа, сначала – на базе повсеместного болотного железняка; культурные импульсы здесь могли исходить от западных соседей (напр. в кузнечном деле), но основная терминология складывалась почти исключительно оригинальная – **želězo*, **dъmьna*, **blizna* – в значении ‘сталь, наваренные полосы металла’, ср. об эпизоде железа у славян [69, с. 7 и сл.]. Напротив, название серебра вместе с его культурой пришло к славянам более длинным путем – от восточных индоевропейцев, с Северного Кавказа [69, с. 5–6]. Знакомство с металлами – как хозяйственно важными, так и благородными (ср. слав. **zolto*, исконный индоевропейский диалектный термин для золота) – не меняло основного характера культуры славян, которая оставалась “деревянной”, как и у большинства древних индоевропейцев Европы, в отличие от более южной, средиземноморской каменной культуры. Не было общего древнего родового названия металла вообще, но из этого не следует делать какие-то выводы по характеру культуры. Были, правда, родовые термины со значениями ‘дерево’ и ‘камень’ – праслав. **dervo* и **kamy/-mene*, но уже второе из этих двух древних слов оказывается при этимологической проверке весьма специальным названием, по-видимому, не всякого камня,

а камня острого: и.-е. **akten-/ *akton- < *ak-* 'острый' [70]. В сущности нет ничего странного в признании того, что индоевропейский, по-видимому, **не имел родового названия камня вообще,** а то название, которое довольно широко распространено и реконструируется в форме **ak̂(ə)men-* 'нечто острое', скорее всего обозначало конкретный острый и твердый камень – кремень, важнейший камень эпохи камня. В таком случае и.-е. **ak̂(ə)men* и слав. **kamy* лишь вторично стали обозначать камень вообще, а освободившееся место лексемы для кремня было занято в славянском более новым словом **kremy/-mene* (образованным по той же модели, см. ЭССЯ, вып. 2, с. 121); кстати, местными диалектными образованиями оказываются слова со значением 'кремень' и в других индоевропейских языках. Здесь мы сталкиваемся с явлением, которое требует осторожности, поскольку трудно трактовать его однозначно. Более или менее уверенно можно утверждать, что вряд ли отсутствие общего, родового термина свидетельствует об отсутствии соответствующей реалии во внеязыковом плане культуры; перед нами один из случаев недостаточности терминологии и в целом – непрямолинейного языкового отражения действительности. Так, индоевропеисты отмечают, что нет индоевропейского названия врага вообще, но мы сейчас, можем более или менее удовлетворительно истолковать эту пестроту и нестабильность обозначений врага в духе развернутых выше положений о маркированности, экспрессивности и известной неустойчивости этих частных импликаций базового значения 'не свой, чужой', знаменующих негативное самосознание. Иначе обстоит дело в случае с отсутствием индоевропейского названия оружия вообще. Здесь суть, по-видимому, не в том, что постоянно совершенствовалось оружие-реалия [8, т. II, с. 739], да и сам процесс этого совершенствования был, кажется, наоборот, медленным и оружие тысячелетиями оставалось традиционным. Дело в том, что потребность в родовых терминах пришла далеко не сразу или вообще долго отсутствовала и нужды номинации и коммуникации вполне удовлетворяли атрибутивы 'острое', 'колющее', 'режущее'. Но мы еще вернемся ниже к этому принципиальному вопросу отнюдь не одних только терминов вооружения.

ГЛАВА 8

Подвижность и оседлость – капитальная культурная оппозиция, в то же время нет ничего более относительного, чем эта оппозиция. И у кочевников-скотоводов подвижность отнюдь не имеет характера беспредельных миграций, но укладывается в рамки сезонных отгонов и ограничивается традиционными этническими ареалами. Со своей стороны, "оседлость" древнего подсечного земледения то-

же весьма относительна. Только чрезвычайные обстоятельства могли побудить любой этнос – кочевнический или оседлый – покинуть привычный ареал ради дальней миграции. То, что произошло в первой половине I тыс. н.э. и осталось в истории как "великое переселение народов", принадлежит своему времени и не может быть распространено на все эпохи, тем более – включая неолит, как это умозрительно происходит в ученых исследованиях. Соответственно этому в научной литературе наметились две противостоящие версии – в основном немецкая, которая постулирует безотносительные извечные миграции, и, как ее противоположность, итальянская, которая миграции практически исключала [29, с. 95]. Любая крайняя концепция оставляет необъясненными или неправильно объясненными часть фактов, и все-таки до сих пор немалое из того, что относили на счет миграций, обязано своим перемещением обороту артефактов, изделий древнего ремесла, т.е. **обмену,** который мог далеко заносить топоры, керамику, но также и обычаи, т.е. моду, тогда как люди, производители и покупатели, оставались жить на своих местах.

Все изменялось, в том числе, казалось бы, самые укоренившиеся и священные обычаи, в их числе такой важнейший, как погребальный ритуал. Собственно, речь может идти о двух основных обрядах – ингумации (трупоположении в землю) и кремации (трупосожжении) и их взаимоотношении. При всем разнообразии взглядов, даже те из исследователей, кто предпочитает говорить об очень древнем зарождении кремации – в IV тыс. до н.э. и относит ее к характернейшим признакам древнеиндоевропейского ареала в Центральной Европе [71], в общем склонны видеть в ней новшество. Может быть, что эта датировка непомерно удревнена, а динамика самого явления при этом затемнена. Обратим внимание на указание археолога-слависта на "резкое изменение" погребального обряда, а именно – на смену трупоположения на сожжение трупов в предскифское время – IX–VIII вв. до н.э. [37, с. 267]. В общем, даже из скудных сведений составляется довольно ясная картина возникновения кремации в более южных странах и постепенного продвижения ее – как рациональной моды – на север: "В Риме сосуществовали обычаи ингумации и кремации трупов, причем, по свидетельству Плиния, кремация считалась нововведением..." [8, т. II, с. 829]; "...кремация, сменяющая ингумацию... распространяется постепенно преимущественно из более южных, придунайских районов, где она известна с начала бронзового века, по направлению к северу"... [8, т. II, с. 830]. "Сожжение не только умершего, но и его скота и имущества, предполагаемое обрядом кремации, могло бы первоначально представлять собой необходимую защитную меру против распространения чумы" [8, т. II, с. 831]. Следовательно, санитарно-гигиеническое назначение кремации ясно, ср. и [47, с. 15]. Во все времена очагом губительных эпидемий была Азия, ее южные рай-

оны, там же естественно предполагать и первоначальное возникновение такой меры против вспышки эпидемий, как сожжение трупов. Но в общих культурно-исторических и этногенетических связях, интересующих нас, важно видеть **рассредоточенность** этих двух центров – азиатского, южного центра возникновения обряда кремации и центра обитания индоевропейских племен **в Европе,** куда кремация пришла с юга и успешно распространилась как полезное новшество вторично. Таким образом, не имеет смысла сомневаться в существовании давних и дальних культурных связей и влияний между (Передней) Азией и индоевропейской Европой, но характер этих связей (как в эпизоде с кремацией) не дает оснований для внеевропейской локализации самого индоевропейского ареала. Что касается кремации как культурного новшества, то ее идеологические последствия могли быть значительными, и кажется, что язык сохранил нам свидетельства этого. Речь идет о названиях огня, точнее – о том из них, которое, видимо, возникло в индоевропейском как неологизм, реакция языка на культурную инновацию. Мы имеем в виду слав. **ognь* и его родственные соответствия в лит. *ugnìs*, лтш. *uguns*, др.-инд. *agní-*, хетт. *agni-*, лат. *ignis* – слово, как видим, представленное широко, хотя и не повсеместно, если принять во внимание заметное отсутствие в греческом и германском. Несмотря на большую близость отдельных форм между собой, между ними имеются и различия в вокализме, которые влияют на реконструкцию общей праформы и на этимологию, которой, оказывается, до сих пор практически нет. Последнее обстоятельство у "первичной вокабулы", каковой можно считать индоевропейское название огня, могло бы не удивлять, но есть соображения относительно более корректной реконструкции, которые как будто помогут нам продвинуться и в вопросе этимологии этого важного слова. Начнем с реконструкции общей праформы, в качестве которой предлагают и.-е. **egnis/*ognis* [33, т. III, с. 118–119; 41, с. 293]. Ясно, что такая праформа не может объяснить всех перечисленных форм; так, совершенно неубедительно истолкование начального балт. *u-* как "редукции" исходного балт. *a-*(= и.-е. *o-*), как, впрочем, и лат. *i-*< *e-* (даже по чисто внешнему рисунку *ignis* напоминает нам, скорее, случайно созвучное *ignotus* < *in* + *gnotus*, позволяя допустить предшествование **ingnis*). Понятно поэтому возвращение к реконструкции и.-е. **n̥gni-s*, см. [72]. Но возврат этого автора в то же самое время и к старому этимологическому сближению с праслав. **ǫglь* 'уголь' не представляется перспективным в содержательном отношении и побуждает продолжать поиски. Ряд лингвистов принял, вслед за Мейе, культурно-историческую характеристику *ognь*, *ignis* как названия культового, религиозного, почитаемого, жертвенного огня, в отличие от другого индоевропейского названия огня как простого явления природы, представленного якобы в греч. πῦρ, ср. [73, с. 410]. Но и эта характеристика оставляет нас в неведении

относительно собственной этимологии *ognь; кроме того, возможны и сомнения относительно очерченных у Мейе первоначальных функций двух индоевропейских названий огня хотя бы в том смысле, что второе из них (греч., арм., герм., хетт., частично – в слав.) тоже не чуждо ритуально-религиозных связей, ср. его родство с лат. *pūrus* '(ритуально) чистый', др.-инд. *punā́ti* 'очищать' [74, т. II, с. 390–391]. Последняя этимологическая связь позволяет осмыслить название огня и.-е. **peu̯or/*punos* как первоначальный атрибутив 'чистый, очищающий'.

Возвращаясь к слав. **ognь* и т.д., отметим новую попытку двух наших индоевропеистов проэтимологизировать его как древнюю диссимилированную редупликацию **gn̥-gn-i* (у авторов – **k'n̥-k'n-i-*) → **n̥-gn-i* (у авторов – **n̥-k'n-i-*) [8, т. I, с. 257, примеч. 4], однако я и здесь не вижу существенного прогресса в прояснении состава слова. Можно согласиться с Хэмпом, Гамкрелидзе и Ивановым, что непротиворечиво объяснить тождество форм слав. **ognь*, лит. *ugnis*, лат. *ignis*, др.-инд. *agni-* удается, лишь приняв диссимилятивную утрату назального элемента в первом слоге, т.е. соответственно – слав. **o[n]gnь*, лит. **u[n]gnis*, лат. *i[n]gnis*, не говоря о древнеиндийской форме, которая в данном случае правильно отражает предшествующее **n̥gnis*, лежащее в основе также всех остальных форм этого названия огня. Не требуется большого воображения, чтобы идентифицировать этот носовой слогообразующий сонант в начале слова со словообразовательной точки зрения как отрицание 'не-'. Данная констатация налагает определенные ограничения на идентификацию второго, основного члена этого словосложения, которым мог быть, по нашему мнению, индоевропейский корень, представленный в слав. **gniti*, русск. *гнить*. Наше сравнение затрудняется тем, что корень обычно восстанавливается в форме и.-е. **ghnei̯-*, с придыхательным задненебным, откуда др.-в.-нем. *gnītan* 'растирать', греч. χνίει ·ψακάζει (Гесихий), однако наверняка существовал другой, более древний вариант с чистым звонким задненебным (очевидно, что речь идет об экспрессивной лексике, и введение придыхательности здесь означало усиление экспрессивности), который, как это бывает с более древними формами, сохранился в древнем сложении – **n̥-gni-s*, и в виде остатков – в германской лексике с корнем **kni-* (обычно с расширениями) в значениях 'жать, давить, щипать, резать', ср. [75, с. 49 и сл.; 5, с. 381–382]. После этого семантическая реконструкция этого названия огня будет как бы 'не-гниющий', и нам остается здесь вспомнить о тех культурных предпосылках, которые вызвали **такое** обозначение огня: так мог называться, вероятнее всего, ритуальный огонь, пожиравший останки умершего, и вполне возможно, что первоначально так назывался только огонь погребального костра. Вывод культурно-исторический: и.-е. **īgnis*, явилось языковым неологизмом, отразившим нововведение кремации. Вместе с этим напрашивается другой вы-

вод, не менее значительный в плане характеристики мышления древнего человека: оба индоевропейских ареальных обозначения огня – **īgnis*, и **peṷor*, которые обычно трактуются как общие (родовые) термины 'огонь', таковыми вначале не были, поскольку этимология обнаруживает у них природу атрибутивов ('не-гниющий', 'очищающий').

Мы возвращаемся к дихотомии подвижность – оседлость (которую собственно говоря, мы и не покидали, разбирая выше случай, когда культурный феномен – обряд кремации и его языковые отражения – распространился через сложившиеся этнические пределы, аналогии чему известны и из лингвистической географии нового времени). Мы стремимся показать реальный неригористический характер этого противопоставления, подобно тому как реально нечеткими оказываются некоторые из рассмотренных выше делений и классификаций. Иными словами, гораздо чаще приходится наблюдать вместо укладов в чистом виде – оседлость с чертами подвижности и подвижность с чертами оседлости. Показательно, что оба общественнокультурных уклада имеют с древних времен свои понятия и термины 'дом' и даже 'город'. Конечно, – и эта мысль является одной из главных во всем нашем анализе проблем этимологии в связи с проблемами культуры – этимологическая реконструкция и тут выявляет вместо родовых субстантивов первоначальные специализирующие атрибутивы. Есть примеры названия построек, в том числе жилых, где рядом с идеей **недвижимости** сосуществует идея первоначальной подвижности, ср. слав. **jata* 'хижина, шалаш, сарай', а также 'стая, стадо', этимологически тождественное др.-инд. *yatám* 'ход' (см. ЭССЯ, вып. 8, с. 182), далее – слав. **věža*, название дома, башни и т.п., этимологически – производное от **vezti* 'везти', обозначавшее повозку, дом на колесах [33, т. I, с. 285; 76, с. 470]. В качестве курьеза можно указать на то, что, например, русск. стадо, стая – достаточно древние названия подвижной по преимуществу группы животных и птиц – образованы от и.-е. **stā-* 'стоять', как и слав. **stanъ*, русск.*стан*, одно из древнейших названий стоянки, жилья человека (и.-е. **stāno-*). У слав. **domъ* (русск. *дом* и т.д., и.-е. **domos)* очень сильны социальные коннотации, что побудило в свое время Бенвениста высказаться отрицательно о связи с греч. δέμω 'строить', но, собственно, и у продолжений такого явно строительного названия, как и.-е. **ghordho-* (ср. ниже о названиях города), встречается значение 'семья' (гот.).

Древнее славянское домостроительство отличалось наличием прямоугольных землянок и полуземлянок с печью в углу, что хорошо документируется не только археологией, но и словообразовательно-этимологическим анализом такого праславянского названия дома, как **kǫtja* с его четкой семантической связью с углом, даже специально – с печным углом (см. подробно ЭССЯ, вып. 12, с. 70 и сл., там же – карта 2 с совмещением лингвогеографических и ар-

хеологических данных). Впрочем, традиции полуземляночных жилищ возводятся еще к индоевропейскому [25, с. 189, 197]. Сходные и очень красноречивые свидетельства языка о земляночном и даже ямном характере древних жилищ мы получаем и со стороны германского материала, ср. гот. *badi*, нем. *Bett*, англ. *bed* 'постель, ложе' из первоначального 'вырытая яма' (ср. совершенно иную семантическую мотивацию славянских синонимов **lože*, **postel'a*, **o(b)drъ* [76, с. 478]). Ср. и недавно предпринятый опыт словообразовательно-семантической реконструкции англ. *open*, нем. *offen* 'открытый' как наречия **upo-nē* "в то время, когда германские двери открывались не сбоку, а вверх" [77]. Земляной, земляночный дом обозначает и слав. **xata*, что подтверждается всем комплексом сведений о нем, начиная с этимологии от иранского 'выкопанное (в земле)' и кончая разнообразными 'земляными' коннотациями украинской хаты (см. ЭССЯ, вып. 8, с. 21–22). Довольно интересна тема "окно дома", потому что индоевропейского названия окна не было, как не было и самой реалии, а главным и единственным отверстием примитивного индоевропейского дома была дверь, древнее индоевропейское название которой хорошо засвидетельствовано. У германцев окна появились, видимо, поздно, поскольку отсутствует общегерманское название окна, а позднее часть германцев прибегла к метафорическому обозначению окна как 'глаза' (англ. *window*), другая же их часть переняла реалию вместе с названием у римлян (нем. *Fenster*) [78, т. 2, с. 534]. Общеславянское название окна, напротив, существует с праславянского времени (**okъno*), но и оно является местной инновацией, в принципе напоминающей английское название (**okъno*: **oko*).

С праславянского времени сохранились языковые свидетельства о наличии у славян жилищ с двускатной кровлей, ср. истолкованное еще Брюкнером **kroky/*krokъve* 'конструкция из кровельных балок в форме А' как производное от **krokъ* 'шаг' (см. ЭССЯ, вып. 12, с. 183–184). Помимо землянок, существовали и наземные постройки, ср. представленное в части слав. языков **kolьna*, собственно прилагательное из вероятного **kolьna xyša*, производное от **kolъ*, т.е. что-то вроде 'дом на столбах' (см. ЭССЯ, вып. 10, с. 168–169). Свидетельством достаточно древней техники наземного, столбового строительства может служить выявленное нами праслав. **kuna* II со значением 'столб', 'колода', но также и 'оковы', 'кузница', которое допускает интерпретацию как старое (нетематическое) причастие прошедшего времени страдательного залога **kunъ* < **kou̯no-*, при более распространенном причастии **kovanъ* от **kovati*; к этому и.-е. **kouno-* 'вбитый (кол, свая)' мы относим такие древнейшие названия городов, как лит. *Kaũnas*, греч. ("парагреческое") Καῦνος (в Карии и на Крите) (ЭССЯ, вып. 13, с. 104–105; важно отметить индоевропейскую ценность свидетельства праслав. **kuna* II ← **kunъ*, помогающего раскрыть этимологию этих назва-

ний городов из первоначального ‘столбовая/свайная постройка’, древность этих отношений видна из отсутствия -*n*-ового причастия в литовском; существующие этимологии *Kaũnas*, о которых см. [79, I, с. 231], крайне неубедительны). Даже такая реалия, как ключ (от дома) реконструируется не только для праславянского (**kl’učь*, см. ЭССЯ, вып. 10, с. 50–52), но и – диалектно – для праиндоевропейского, ср. **klēu̯is* на базе лат. *clavis* и греч. κληΐς с этим значением, хотя речь могла идти только об очень примитивном ключе, который был сродни клюке и форму которого лучше всяких реконструкций можно восстановить с помощью выражения: *журавли ключом летят*.

На фоне подавляющего большинства праславянских жилищ-землянок наземная бревенчатая постройка выглядела ‘высоким домом’, была культурно маркирована, и если должна была возникнуть необходимость более или менее эквивалентно передать инокультурное понятие ‘дом бога‘, то таким эквивалентом, разумеется, не могла быть земляночная **kǫtja* (о которой см. выше), для перевода иноязычной лексемы ‘дом бога’ предпочиталось название высокой постройки, а именно праслав. **xormъ* – др.-русск. *хоромъ*, русск. *хоро́мы* мн., в диалектах обозначающее жилое деревянное строение (с дополнительным семантическим оттенком –‘высокое’), крышу, навес на столбах (см. ЭССЯ, вып. 8, с. 74, 75). Но поскольку и это домашнее слово не очень подходило,особенно на первых порах, прибегли к заимствованию, так появилось слово **cьrky*. Христианизация застала у древних славян ситуацию, известную, с отличиями, и у других древних индоевропейцев, живших вдалеке от Ближнего Востока и в своих культах сил природы еще не знавших храмовых зданий. Хотя некоторые этнические культуры начали потом выражать это понятие синтетическим способом – ‘дом бога, Gotteshaus’, первоначально идея храма зародилась, по-видимому, на открытом пространстве, независимо от жилого дома, во всяком случае у индоевропейцев. Это хорошо видно на всем различии семантики и идеологии лат. *templum* и *domus*. Первое из них – это, скорее, как бы храмовое пространство, освященное, огражденное пространство, ничего общего с домом – первоначально – не имеющее, а этимологически продолжающее, вероятно, и.-е. **ten-tlo-m* ‘натянутая основа ткани, сеть’, ср. др.-инд. *tántram* ‘основа ткани’, также с развитием религиозно-этических значений ‘учение, правило’, лит. *tiñklas* ‘сеть’ (существующая корневая этимология *templum* < и.-е. **temp-* < **ten-* [74, II, с. 659] представляется уже недостаточной). Таким образом, у индоевропейцев были дома людей, но не было домов бога, и это представляет собой одно из крупных отличий их древнейшей культуры от древневосточных цивилизаций, где существовали не только храмы, но даже храмовые города-государства (о других различиях, выражающихся во **вторичном** появлении как раз у индоевропейцев выраженного жречества, института вождей

и сжигания трупов было сказано выше). Отметить это представляется важным, потому что сейчас настаивают на сходстве древней индоевропейской цивилизации и древневосточных цивилизаций [8, т. II, с. 884–885].

Одним из наиболее замечательных культурных феноменов является история термина ‘город’. Его реально-семантическая эволюция беспрецедентна, она, можно сказать, не имеет себе равных, особенно, если взять крайние, уродливые формы урбанизации и ее дистанцию от первоначального ядра понятия. Работать над реконструкцией древней основы такого понятия нелегко, здесь слишком бросаются в глаза и охотно отмечаются местные различия. V Международный конгресс археологов-славистов 1985 г. обсуждал положение о том, что единого пути градообразования не было даже в рамках восточнославянского ареала. В пользу этого положения был приведен значительный конкретный материал, который нельзя игнорировать, но все-таки почему же тогда не только у восточных, но у **всех** славян результат градообразования при всем его местном различии, был обозначен одним и тем же праславянским словом **gordъ*, откуда правильные рефлексы *город, град, gród* и т.д. Эту общность нельзя недооценивать, ее смысл, во-первых, в **одинаковом** именовании всеми славянами результата градообразования (региональные вторичные, главным образом западнославянские термины-кальки с немецкого *Stadt/Statt* ‘место’ вроде *město, miasto, місто* и влияние магдебургского права я считаю возможным здесь игнорировать, так как и они не смогли целиком заслонить и вытеснить древнее славянское название, хотя и сузили его функционально иногда до объема понятия ‘Schloß, Festung’), во-вторых, смысл общности славянского наименования города – в общности представлений, относящихся к этому феномену культуры. Но термин праслав. **gordъ* ‘город’, как известно, имел значительную индоевропейскую историю и соответствия, по крайней мере, в некоторых индоевропейских языках, объединяющиеся вокруг **ghordh-/*ĝhordh-*: фригийское *-gordum/-zordum* ‘город’ в сложении *Manegordum, Manezordum*, др.-инд. *gṛha-* ‘дом, жилище’ (замечательно функционирование новоиндоарийского *-garh* в роли, близкой нашим *-город, -град*, в урбонимии Индостана), алб. *garth, -dhi* ‘изгородь’, гот. *gards* ‘дом’, др.-исл. ‘*garðr* ‘ограда, двор’, др.-сакс. *gard* ‘огороженный участок’. Таким образом, при всех возможных оговорках, приходится признать, что к индоевропейской древности восходит, как это ни парадоксально, не только название **дома** человека, но и название **города;** последнее не следует модернизировать, как, впрочем, и скептически недооценивать тоже. В отдельных примерах значения ‘дом’ и ‘город’ как бы нейтрализуются (см. выше), но возможно, что это вторичные явления. Любопытно, далее, отметить наличие триады ‘дом’ – ‘село’ – ‘город’ не только в праслав. **domъ–*vьsь–*gordъ*, но (в задатках) уже в праиндоевропейском, причем в роли

названия села, селения выступают иногда сливающиеся с понятием 'дом, жилье', но никогда не смешиваемые с понятием 'город' продолжения и.-е. *u̯ei̯k̑-, *u̯ik̑-, *u̯oi̯k̑o-: др.-инд. *víś-* 'жилище', авест. *vis-* 'деревня, род', греч. οἶκος 'дом', алб. *vis* 'место', лат. *vīcus* 'селение, деревня', гот. *weihs* 'деревня', слав. **vьsь*. То, что четко характеризовало индоевропейское название города, или, как сейчас иногда говорят, – "предгорода", "начального города", было этимологическим значением 'огороженный, ограда'. Сходный признак, но только не ограждения, а насыпного вала наличествует у другого древнего индоевропейского регионального названия города: лит. *pilìs* 'замок, город', лтш. *pils* 'замок', др.-инд. *pur-* 'укрепленный город', греч. πόλις 'город'. Совершенно очевидно, что этот семантический признак укрепления, ограждения с самого начала отсутствовал в названиях селения, куда относятся уже приведенные и.-е. *u̯ei̯k̑-/*u̯ik̑- и другая древняя региональная группа названий, представленная в лит. *káimas* 'деревня', лтш. *cìems*, греч. κώμη 'деревня', гот. *haims* 'деревня'. Открытость, неогражденность селения, деревни, в противоположность городу, с самого начала подчеркивалась производностью названий от глаголов, обозначавших 'входить, пребывать в гостях' (*u̯ei̯k̑-/*u̯ik̑-), 'покоиться' (*koi̯m-) (попутно отметим наличие не только праславянских, но и индоевропейских корней такого института сельской жизни, как община, ср. праслав. **gromada*/**gramada*, др.-инд. *grā́ma-* 'толпа, деревня, община', см. ЭССЯ 7, С. 103). Так что нынешнее противостояние города и деревни коренится еще в индоевропейских временах. К тому же, обычно связываемое с выделением города **ремесло** датируют теперь так называемой неолитической революцией.

Славянский город не монолитен; в его составе намечаются почти всюду две части: особое укрепленное ядро (город в собственном смысле) и более аморфное окружающее поселение (выше это было вскользь упомянуто на примере западнославянских пар *miasto – gród* и близких, иная номинация двухчастных городов как 'городов-двойников' встречается на Востоке, на Кавказе, ср. древний двойной город на месте Темрюка, Цхум – древний Сухум, Диоскуриада, двойная крепость Тавриз, см. подробнее [80, с. 115–117]. Нечто подобное наблюдается и у восточных славян, только здесь общий термин *город* сохранил свою позицию и не оттеснен неологизмом 'место', как на западе, соответственно иначе именуется и срединное городское ядро.

Не стремясь охватить все различные его наименования, остановимся на одном из них, так сказать, характерном русском слове *кремль*, истоки которого тоже уходят в праславянскую древность, хотя слово это выразительно диалектное даже для восточнославянского ареала. Собственно, этимологически со словом русск. *кремль*, праcл. диал. **kremjь* как названием города в городе, отгороженного пространства, откуда связь с корнем **krem-*/**krom-*, все яс-

но (см. ЭССЯ, вып. 12, с. 117–118). Противоположных попыток, скажем, объясняющих *кремль* как иноязычное заимствование, скорее, немного, ср. одну из них, относящую слово к балтизмам (литературу см.: ЭССЯ, вып. 12, там же). Лично мне пришлось столкнуться еще с одной подобной версией, толковавшей слово *кремль* как культурное заимствование. Я вступил в дискуссию с автором версии и, возможно, сумел убедить его в противном, судя по тому, что в печатном варианте его доклада то, против чего я выступил в дискуссии, отсутствует (см. [81]). Инцидент можно было бы считать исчерпанным, но я думаю, что научная сторона спора может представить общий интерес, а публичный характер диспута дает мне право на его изложение. Венский профессор К.Г. Менгес в своем докладе на 3-ем зальцбургском славистическом коллоквиуме по проблемам этимологии (Зальцбург, ноябрь 1984 г.) высказал, между прочим, предположение, что слово *кремль* представляет собой "алтаизацию" (ср. тюрк. *kärmän* 'крепость, город') слова, восходящего к древнеанатолийскому названию обожженного кирпича. В устной дискуссии по докладу я указал на ряд лингвистических несоответствий в авторских построениях. Некоторое проникновение тюркского термина *kärmän* имело место главным образом на древнерусском юге, начиная с известного *Аккермана* (Белгород-Днестровский) и кончая парой *Mankermen* 'большая крепость, большой город', – название, данное степняками Киеву (на Руси не привилось), и *Kermenčik* буквально 'городок, малая крепость', которое сохранилось как остаточный коррелят с забытым *Mankermen*, ср. отсюда и сегодня город *Кременчуг* ниже по Днепру. Но как раз на (древне)русском юге слово и название *кремль, Кремль* неизвестны, ареал *кремль* размещается значительно севернее, где нет, в свою очередь, никаких признаков проникновения в русскую географическую номенклатуру или апеллативную лексику данного тюркского слова (к русскому языковому ареалу не имеет никакого отношения факт некоторого распространения интересующего нас тюркского слова в тюркских и нетюркских языках Поволжья, ср. чувашское *karman*, откуда черемисское (марийское) *karman* [82, с. 256], ср., далее, марийское *Uγarman*, буквально 'Новый город', калька русского названия *Нижний Новгород* [33, т. III, с. 73]).

Этими немногими и по необходимости скупыми штрихами я стремился показать возможности этимологии для реконструкции внешней и внутренней жизни, т.е. материальной и духовной культуры, древних славян. То, что вся наша нынешняя культура в основе своей есть продолжение длинного ряда предшествующих стадий культуры, в общем известно, хотя **общекультурная** важность наших исследований, как приходилось уже с сожалением констатировать в самом начале, порой не слишком очевидна и для специалистов, не говоря уже о широкой общественности. Необходимо и дальше разъяснять не исчерпанные еще возможности нашей науки. Я приведу в

связи с этим один крайний пример из области славянской этимологии и ее воздействия на **массовые** представления о древних славянах и их культуре. Мне лично этот простой пример кажется и убедительным, и актуальным. В Киеве, в парке на берегу Днепра стоит скульптурная группа – памятный знак в честь 1500-летия основания города Киева, сооруженный в 1982 г.: летописные братья Кий, Щек и Хорив и сестра их Лыбедь стоят на ладье (автор монумента – скульптор В. Бородай). Девушка Лыбедь раскинула руки, как крылья в полете; ее имя художник-скульптор осмыслил в связи со словом *лебедь*, и это продиктовало ему образ птицы. Сравнить имя *Лыбедь* и слово *лебедь* значит предложить этимологию. Весь вопрос в том, что скульптор пошел на поводу неверной этимологии, и тысячи людей, гуляя, созерцают теперь результат этой неверной этимологии, воплощенный в скульптуре. Если бы скульптор знал правильную этимологию, то изобразил бы не "царевну-лебедь" а Улыбу (*Лыбедь – улыбаться*, суффикс, как в *чернядь* и под.), т.е. скорее – круглолицую девушку-славянку, и это было бы в согласии не только с этимологией имени (к сожалению, не зафиксированной пока даже в наиболее полном словаре, см. [33, т. II, с. 538–539])*, но и с антропологией, изучающей мезокранных брахикефальных славян – обитателей Поднепровья.

Как мы уже заявляли вначале, нас в большой степени интересует взгляд древнего человека на себя и свою культуру, возможность воссоздания древней, во многом антропоцентрической и антропоморфной картины мира праславянской эпохи. В итоге мы можем сказать, что видим древнего славянина, праславянского индоевропейца как человека, мыслящего себя только в связи со своим родом и видящего все вокруг в свете этой необходимой дихотомии 'свое' – 'не свое' и все свои знания о внешнем мире измеряющего собой и своим опытом ('птицы'-'детки') и наделяющего своими особенностями все предметы и явления. Здесь еще нет острого осознанного интереса человека к самому себе (античные и общечеловеческие достижения "человек – мера всех вещей" и "познай самого себя" лишь дремлют в этой ранней идеологии), но здесь нет еще и развитой религии. При всем антропоцентризме и антропоморфизме мышления, знания древнего славянина о себе как о человеке были, естественно, невелики и приблизительны. Характер этих знаний и обозначений, касающихся человеческого организма, обнаруживает все ту же всепроникающую метафоричность, которая, как уже отмечалось, вообще свойственна человеческому языку и которая неизменно раскрывается при этимологизации. Если, например, старочешская письменная культура уже знала теорию Галена о кровообращении [83, с. 70], то праслав. **kry*/**krъve*, как, впрочем, и исходное и.-е.

---

* В последнее время см.: Этимологический словарь славянских языков... Вып. 17 (М., 1990). С. 12: **lybědь*.

*krŭ- – это прежде всего ‘(кровь) **сочащаяся** (из раны)’, т.е. ‘кровь **видимая**’, и только в этом смысле можно понимать наличие явной индоевропейской рифмы *kru-~*sru- ‘струиться’; кровообращения праславянская древность не знала (ЭССЯ, вып. 13, с. 69–70). Глубоко метафоричным было представление о здоровье здорового человека; оно основывалось либо на лестном сравнении с ‘хорошим, добрым деревом’ (праслав. *sъ-dorvъ), либо на идее единства, как в случае с праслав. *cělъ, и.-е. *kai̯-l-u-, где *kai- – ‘один, единственный’, ср. также праслав. *cěglъ ‘один, единственный’, (см. ЭССЯ, вып. 3, с. 176, 179–180). Сходную природу метафоры, иногда даже гиперболической, обнаруживают названия костей, частей скелета человека; так, праслав. *bedro, название бедра, бедренной кости, этимологизируется из первоначального прилагательного *bedrъ ‘бьющий, колющий’), к тому же, речь идет о самой длинной кости человека (см. ЭССЯ, вып. 1, с. 179). Праслав. *bъrkъ ‘плечо’ и *bъrkъ ‘ус’ оказываются этимологически тождественными и основанными на идее гиперболической метафоры (“усы до плеч”) и, кроме того, вообще на вторичности появления особой идеи, понятия ‘усы’ (см. ЭССЯ, вып. 3, с. 128–129). Эта идея как бы инновационна в праславянском, поскольку в индоевропейском понятия ‘усы’, вероятно, не было вообще, а главный термин для усов – праслав. *ǫsъ – как оказалось, восходит к и.-е. *oməsos ‘плечо’.

Древний славянин слабо дифференцировал внутренние болезни, так, праслав. *dъbna, этимологически тождественное *dъbno ‘дно’, квалифицирует просто как “донные, нижние” самые различные суставные, кишечные и другие заболевания (см. ЭССЯ, вып. 5, с. 173). Зато в отношении внешних частей тела и их заболеваний наш древний предок порой проявлял большую наблюдательность и располагал очень детальной терминологией даже в сравнении с современным человеком, ср. очень специальный термин *gluzъkъ ‘уголок глаза’ (чеш. *hluzek*, русск. *глузг*, ЭССЯ, вып. 6, с. 156), более того – специальными древними названиями нагноений в этом уголке глаза, ср. праслав. *grъměždžь (сербохорв., словен., русск.-цслав., см. ЭССЯ, вып. 7, с. 158), а также *kapra (см. ЭССЯ, вып. 9, с. 148–149).

Сказанное дает основание для вывода о преобладающей атрибутивности древнего мышления и его языкового, в нашем случае – раннепраславянского, индоевропейского языкового выражения в полном соответствии с идеологическими предписаниями иносказательности, запретов, умолчания; субъектное воплощение атрибутивов и соответственно – субстантивация в языковом плане – носили начальный характер или отсутствовали (обращает на себя внимание, что субстантивы, как правило, этимологизируются как атрибутивы). В согласии с этими наблюдениями и примат функции или синкретичных функций выступает на первый план перед ее субъектным и классовым воплощением (при начальном отсутствии послед-

него, т.е. имеет место нечто противоположное постулируемому Дюмезилем "расщеплению" первоначально единых классовых функций). Четкость классовой структуры – поздняя черта культуры. Трехчастная общественная структура (жрецы – воины – земледельцы/скотоводы), к тому же, понятая в духе статичности новой сравнительной индоевропейской мифологии, совершенно не адекватна изучаемому объекту в его сложности.

Статичность классификаций и "строгость" структурных схем нанесла уже значительный ущерб исследовательской мысли в области выявления индоевропейской эволюции тем более, что уже успела выработаться привычка к этим "классическим" методам и понятиям и преодолевается вся сложившаяся таким образом традиция воззрений не без большого труда. Взять хотя бы язык в целом, основу всех наших реконструкций древнейшей культуры. Важно видеть, что он развивался и развивается в общем согласии с развитием других аспектов культуры, а именно: основа языка всегда демократична, но в ходе развития она обязательно (в том или ином объеме и маштабе) подвергается сублимации (чтобы не быть голословным, вспомним – из вышеизложенного, что сублимация – это тенденция развития также верований человека от примитивных культов к развитой религии). Коммуникационные потребности людей обязательно выдвигают задачу создания наддиалектной формы языка, этой предтечи письменного, литературного языка, в отличие от последнего существовавшего всегда – и в праславянскую эпоху, и регионально – в индоевропейскую эпоху (так называемая "древнеевропейская" гидронимия – это продукт древнеевропейской наддиалектной формы языка, откуда и ее "бездиалектность"). Всякий язык развивается циклично (в том числе литературный, т.е. наиболее рафинированный наддиалектный, и это важно отметить, поскольку из-за обилия узкопрофессиональных исследований в проблематике генезиса литературного языка неясностей накопилось побольше, чем разъяснений): первоначальная магистраль развития ведет к **аристократизации** (которая неизменно сопряжена с выработкой наддиалектной формы), аристократизация же в определенный момент завершается кризисом, после чего возникает обратная, уравновешивающая тенденция развития – к **демократизации** языка. Сейчас все труднее становится понимать идею Мейе о как бы раз навсегда данной аристократической индоевропейской лексике. Понятие эволютивности категории в ней отсутствует, как отсутствует оно и в теории Дюмезиля о трехчастной структуре идеологии и общества древних индоевропейцев. **В любом аристократизме в конце концов наличествует и просматривается демократическая основа.**

ГЛАВА 9

Мы завершаем свое изложение двумя-тремя наблюдениями по социальной истории древних славян в надежде, что это не будет понято как недостаток внимания с нашей стороны к социальному аспекту языка; в языке все социально, и на этом понимании построено наше предшествующее изложение проблем славянской этимологии и праславянской культуры. Социальные наблюдения, на которых мы намерены сосредоточиться здесь, должны показать специфику славянской (праславянской) ситуации, а одновременно с этим – рискованность слишком поспешного выдвижения универсалий на базе неполного лексико-семантического материала. Возьмем, например, проблему обозначения раба, при этом – для удобства – сополагая славянские данные с достаточно общим этюдом на тему "раба" у Бенвениста [19, с. 369]. Совершенно справедливо его наблюдение, что "единого обозначения для понятия раба нет ни в индоевропейской семье в целом, ни даже в некоторых диалектных группах". Раб поставлен вне общества, он всегда "чужой". Уже в этом видна недостаточность или односторонность базы наблюдений Бенвениста с характерным для него отсутствием славянских данных. Он привлекает опыт тех индоевропейских и неиндоевропейских культур, которые получали рабов из военнопленных (попутно называемые им ст.-слав. *плѣнъ*, *плѣнити*, *плѣньникъ* лишь очень косвенно относятся к славянской терминологии рабства, суть которой состоит в другом). Далее Бенвенист становится особенно категоричен: "...раб обязательно чужестранец: у индоевропейских народов была лишь экзодулия". Дальше идут примеры лат. *servus* 'раб' – вероятно, из этрусского, франц. *esclave* 'раб' < 'славянин' и англосакс. *wealh* 'раб' < 'кельт' и окончательный приговор автора: "Итак, каждый язык заимствует название раба у другого". Но ведь универсальное заключение может рушиться, если окажется, что не "каждый". Так оно, собственно, и есть. Обращаясь к славянскому материалу, мы понимаем, что на него (а возможно – не только на него, ср. и исконно балтийское название раба лит. *vérgas*, связанное с *var̃gas* 'нужда, бедность') это правило не распространяется; таковы показания истории и этимологии славянских слов **orbъ*, **otrokъ*, **xolpъ*, которые **все** являются этимологически названиями детей, малолетков, подростков, т.е. возрастными обозначениями из сферы терминологии родства и все они, подчеркнем, – исконные, незаимствованные слова. Праслав. **xolpъ*, например, находясь в теснейшем родстве с праслав. **xolkъ* и **xolstъ*, названиями холостого, неженатого, представляет собой суффиксальное производное от глагола **xoliti* в значении 'стричь очень коротко' (см. ЭССЯ, вып. 8, с. 61, 62–63, 64–65). Аналогии этому возрастному обозначению могут быть найдены и в античном мире, ср. греч. κόρος, κοῦρος 'мальчик, сын' от κείρω)

‘стричь’, как и сам древний обряд острижения волос у подростков, см. [84, с. 117]. Ср. и сведения о детстве и юности св. Вячеслава (Вацлава), князя чешского, в его Житии: Й взрасте ѿрокъ ꙗкобы оꙋѧти ѐму волосъ [85, с. 142]. Ясно, что мы имеем здесь дело со следами обряда инициации – посвящения подростка в юноши. Обряд этот целиком коренится в идеологии и практике древнего рода. Ясно также, что древний род, целиком занятый своими жизненными проблемами, еще не приобщился к позднейшему миру войн, военных грабежей и захвата пленных. Похоже, что и здесь, как и в других рассмотренных выше случаях, индоевропейский “героический век” ослепил западных (и некоторых из наших) индоевропеистов, отождествивших его с древнейшим, праиндоевропейским состоянием. Но древнейшим было другое, и это другое, кажется, лучше сохранил славянский. Свое мнение на этот счет я изложил до сих пор только во внутреннем отзыве на работу историка М.Б. Свердлова; автор любезно отразил это в своем печатном тексте, поэтому позволю себе процитировать оттуда [86, с. 22 (сноска)]: “В отзыве на нашу работу О.Н. Трубачев сделал очень важное замечание, которое свидетельствует о больших возможностях лингвистики в дальнейшем изучении имманентного генезиса отношений господства и подчинения в праславянском обществе: “Генезис термина *xolpъ* – ‘холоп’ из явно возрастного обозначения и некоторые другие связи с терминологией родства помогают дополнительно понять проблему рабства или, вернее, квазирабства у славян и в Древней Руси. Мы не найдем у славян обозначения ‘раб’ из первоначального ‘иноплеменник’, как в некоторых других языках...”.

Другой пример – слова **pravьda* и **krivьda* – показывает, как легко историки языка и компаративисты проходят мимо реально-семантической динамики слова, не замечая ее и как, наоборот, важно, а главное – возможно выявление именно динамического смысла, а не приблизительно-абстрактного значения, если мы ставим задачу реконструкции древней культуры. Соответствующие сведения в общем уже изложены в статье **krivьda* в нашем ЭССЯ, вып. 12, с. 175–177. Там же достаточно подробно толкуется и слово **pravьda*, поскольку между ними наличествует очень тесная взаимосвязь и оппозиция, без учета которой просто нельзя правильно понять ни одно, ни другое в отдельности. В литературе преобладает тенденция считать **krivьda* производным от прилагательного **krivъ* и соответственно **pravьda* – от прилагательного **pravъ*. Это можно объяснить лишь непониманием отглагольности модели производных с суф. *-ьda*, а также формальной, словообразовательной связи этого *-ьda* с глагольной темой *-iti*. Следовательно, **krivьda* и **pravьda* – производные от глаголов **kriviti* и **praviti*. Здесь особенно помогает свидетельство слова и значения **krivьda*, сохранившего очень четко свою первозданную **процессуальность** (‘проступок’, ‘неправедное деяние’). Это очень важно, потому что у слова **pravьda* эта процес-

суальность со временем несколько пригасла, что послужило поводом для не вполне адекватных толкований праслав. **pravьda* и его продолжений как слов с несколько абстрактным значением 'истина' или 'справедливость' [87], умозрительность чего слишком очевидна для нас теперь. Во всяком случае это не только нельзя назвать семантической реконструкцией, но и для относительно позднего хронологического уровня древнерусской юридической терминологии подобное толкование не подходит как адекватное семантическое **описание.** А это очень существенно, потому что точное семантическое описание хотя бы др.-русск. *правьда желѣзо* как '**испытание** (каленым) железом' уже открывает прямой путь к реконструкции праслав. **pravьda* как 'правеж', т.е. процессуальный термин древнего славянского права. Лишь забвение древних понятийных и словопроизводных связей постепенно привело к тому, что современному человеку-носителю языка даже нелегко теперь понять суть отличий значений, скажем, русских слов *правда* и *истина*. Но современный лингвист обязан увидеть вторичность этой синонимизации между ними, должен уметь "снять" ее как лишнее напластование с тем, чтобы увидеть за ним древние, прикрытые связи.

Реконструкция древней культуры – тема слишком обширная даже для большой книги, и автор настоящей работы хорошо понимал это, видя свою задачу в том, чтобы обратить внимание читателя не только (и не столько) на конкретные факты языка и культуры, но и на важнейшие узловые вопросы, без пересмотра которых можно продолжать топтаться на месте, даже имея в руках первоклассный фактический материал. Наука об индоевропейцах курьезным образом напоминает нам временами практику самих индоевропейцев древности, которые опутывали себя традиционными запретами на слова. В немалой степени это относится к западной индоевропеистике, где некоторые важные темы табуизированы или встречают дружное отрицание. Специалист по социолингвистике М. Алинеи в своей уже цитированной нами книге специально говорит о нежелании англосаксонской научной литературы обсуждать проблему тотемизма, поскольку она ассоциируется с марксизмом и историческим материализмом и связана с матрилинейностью родства, т.е. матриархатом [58, с. V и сл.]. Действительно, сейчас – и притом не только на Западе – преимущественно пишут об индоевропейской патриархальной семье, хотя думается, что и в этом сложном вопросе "героический век" заслонил индоевропеистам более древние индоевропейские реальности. Это касается и новых больших исследований по индоевропеистике, а временами даже находит выход в научную публицистику вроде статьи в "Вестнике АН СССР", которая недавно попалась мне на глаза [88]. Автор явно путает собственное раздражение и тон научной полемики, его контраргументы либо вульгарны (античные сведения о женовладеемых савроматах он пытается ослабить сравнениями с наличием императриц в России и ко-

ролев в Западной Европе), либо могут быть пересмотрены (напр. об отсутствии экономического доминирования женщин в древности). Вывод автора как нельзя более категоричен: "У историков нет фактов, позволяющих говорить, что матриархат существовал в прошлом". Что же, таким историкам можно порекомендовать расширить круг чтения, сославшись, по крайней мере, на уже называвшуюся нами статью американского археолога Роулетта [63, с. 202, 204], который, обследуя разные группы индоевропейской культуры шнуровой керамики, находил неоднократные подтверждения высокого общественного положения женщин, сравнительно с мужчинами, причастности женщин к ремеслу (craftswoman), о чем свидетельствовали орудия ремесла в качестве загробных даров женских погребений (– это к вопросу об отсутствии экономического доминирования женщин в древности).

Реликты древнего матрилинейного счета родства, вероятно, обнаруживает анализ лексико-семантического гнезда индоевропейской глагольной основы **su-* 'рождать (прежде всего – о женщине)' (см. у нас выше), и постепенный переход на патрилинейность и патриархальность не умаляет важности иной предшествующей стадии. Иногда, впрочем, существование этой матриархальной стадии допускают, но с оговоркой, что это не так уж важно, потому что было в "додоиндоевропейские времена" [20, с. 158]. Но мы сейчас являемся свидетелями того, как стремительно углубляет современная индоевропеистика свою хронологию, что заставит пересмотреть и утверждение о "додоиндоевропейском" возрасте матриархата.

Заканчивая главу, отметим, что, несмотря на большую проделанную работу и интерес исследователей к проблеме, все еще слишком сильна традиция анахронической модернизации, давление схемы на понимание фактического материала (привычное распространение отдельных развитых или хорошо изученных относительно поздних традиций – древнеиндийской, латинской, греческой – на **всех** индоевропейцев), и слишком еще недостаточно выявлено то, что должно быть специальной целью исследования – реальная исходная база и динамика развития духовной, материальной и социальной культуры индоевропейцев, в их числе славян.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Friedrich P.* The language parallax. Linguistic relativism and poetic indeterminacy. Austin, 1986. P. 16.
2. *Трубачев О.Н.* О составе праславянского словаря: (Проблемы и задачи) // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1963.
3. *Трубачев О.Н.* Этимология славянских языков // Вестн. АН СССР. 1980. № 12. С. 80.

4. *Herman J.* The history of language and the history of society. On some theoretical issues and their implications in historical linguistics // Acta linguistica Academiae scientiarum Hungaricae. XXXIII. 1–4. 1983. P. 5.
5. *Kluge F.* Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache. 20. Auflage. B., 1967. S. 515–516.
6. *Chantraine P.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. P., 1977. T. IV-1. P. 1124.
7. *Wittgenstein L.* Philosophical investigation. Oxford, 1953. P. 34.
8. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I–II. Тбилиси, 1984.
9. *Polomé E.C.* The Slavic gods (отд. отт.).
10. *Jacobson R.* Slavic mythology // Funk and Wagnalls Standard dictionary of folklore, mythology and legend/Maria Leach, ed. N.Y., 1972[2]. P. 1025.
11. *Топоров В.Н.* Ведийское ṛtá-: к соотношению смысловой структуры и этимологии // Этимология. 1979. М., 1981.
12. *Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н.* К истокам славянской социальной терминологии // Славянское и балканское языкознание: Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984. С. 96.
13. *Иванов В.В., Топоров В.Н.* О языке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевых терминов) // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1978. С. 221 и сл.
14. Europäische Schlüsselwörter. Wortvergleichende und wortgeschichtliche Studien, herausg. vom Sprachwissenschaftlichen Colloquium (Bonn): J. Knobloch et al. München, 1964. Bd. II, Kurzmonographien. I. Wörter im geistigen und sozialen Raum.
15. Europäische Schlüsselwörter, Herausg. vom Sprachwissenschaftlichen Colloquium (Bonn): J. Knobloch et al. München, 1967. Bd. III. Kultur und Zivilisation.
16. *Kiparsky V.* Russische historische Grammatik. Heidelberg, 1975. Bd. III. Entwicklung des Wortschatzes.
17. *Pritsak O.* The Slavs and the Avars // Estratto da: Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo. XXX. Gli Slavi occidentali e meridionali nell'alto medioevo. Spoleto, 1983.
18. *Дюмезиль Ж.* Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.
19. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
20. *Szemerényi O.* Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages (=Acta Iranica. Textes et mémoires. Téhéran; Liège, 1977. V. VII).
21. *Трубачев О.Н.* [Рец. на:] Szemerényi O. Studies in the kinship terminology... // Этимология. 1979. М., 1981.
22. *Knobloch J.* Nomina post res // Festschrift tur Hugo Moser. Düsseldorf, 1969.
23. *Malingoudis Ph.* Zur frühslavischen Sozialgeschichte im Spiegel der Toponymie // Etudes balkaniques. 1985. N 1.
24. *Малингудис Ф.* За материалната култура на раннославянските племена в Гръция // Исторически преглед. Год. XLI. Кн. 9–10. 1985.
25. *Gimbutas M.* Primary and secondary homeland of the Indo-Europeans // The Journal of Indo-European studies. V. 13. Nos. 1–2. 1985.
26. Gołąb Z. Kiedy nastąpiło rozszczepienie językowe Bałtów i Słowian? // Acta Baltico-Slavica. XIV. 1981.

27. *Трубачев О.Н.* Из исследований по праславянскому словообразованию: генезис модели на *-ěninъ, -janinъ* // Этимология. 1980. М., 1982.
28. *Anttila R.* Deepened joys of etymology, grade a (and *ä*) // Journal de la Société finno-ougrienne, 80. 1986. P. 15 и сл.
29. *Порциг В.* Членение индоевропейской языковой области. М., 1964.
30. *Boryś W.* Słowiańskie relikty indoeuropejskiej nazwy brony (wsch. słow. *osetь*, pol. *jesieć* a ide. **oketā*) // Acta Baltico-Slavica. XVI. 1984. S. 57 и сл.
31. *Popowska-Taborska H.* Z dawnych podziałów Słowiańszczyzny. Słowiańska alternacja (j)e-: o-. Wrocław etc., 1984. S. 59–60.
32. *Мартынов В.В.* Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. Минск, 1963.
33. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка / Пер. с. нем. и доп. О.Н. Трубачева. М., 1964–1973, Т. I–IV.
34. *Hehn V.* Cultivated plants and domesticated animals in their migration from Asia to Europe. New ed. Amsterdam, 1976.
35. *Neckel G.* Die Frage nach der Urheimat der Indogermanen // Die Urheimat der Indogermanen. Herausg. von A. Scherer. Darmstadt, 1968. S. 174–175.
36. *Meyer E.* Die Indogermanenfrage // Die Urheimat der Indogermanen. Herausg. von A.Scherer. Darmstadt, 1968, S. 277.
37. *Рыбаков Б.А.* Язычество древних славян. М., 1981.
38. *Трубачев О.Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
39. *Watkins C.* On confession in Slavic and Indo-European // Indo-European studies III. Cambridge, Massachusetts, 1977.
40. *Polomé E.C.* The study of religion in the context of language and culture // The Mankind quarterly (отд. отт.).
41. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959. Bd. I.
42. *Трубачев О.Н.* Реконструкция слов и их значений // ВЯ, 1980. № 3.
43. *Ivănescu G.* Numele lunii în limbile indoeuropene // Studii şi cercetări lingvistice. XXXVI, 5. P. 416 и сл.
44. *Polomé E.C.* Muttergottheiten im alten Westeuropa. H. Jankuhn-Festschrift (Bonner Jahrbücher 1985). S. 15.
45. *Мейе А.* Общеславянский язык. М., 1951.
46. *Нидерле Л.* Славянские древности. М., 1956.
47. *Polomé E.C.* Der indogermanische Wortschatz auf dem Gebiete der Religion // Studien zum indogermanischen Wortschatz / Hrsg. von W. Meid. Innsbruck, 1987.
48. *Buck C.D.* A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages[3]. Chicago; London, 1971.
49. *Gołąb Z.* About the connection between kinship terms and some ethnica in Slavic (The case of **Sĭrbi and *Slověne*) // International journal of Slavic linguistics and poetics. XXV–XXVI. 1982. P. 168.
50. *Mayrhofer M.* Kurzgefaβtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1956–1976. Bd. I–III.
51. *Балкански Т.* Стéбал – древно и съвременно название на дивата котка // Български език. XXVII. 4. 1977. С. 343 и сл.
52. *Иванов Вяч.Вс.* Индоевропейские этимологии. 3. К индоевропейским названиям бороды // Этимология. 1983. М., 1985. С. 162–163.
53. *Цыхун Г.А.* К реконструкции праславянской метафоры // Этимология. 1984. М., 1986. С. 211 и сл.

54. *Раевский Д.С.* Модель мира скифской культуры. М., 1985. С. 48.
55. *Cornillot F.* L'origine iranienne du nom générique de "dieu" en slave // Die Sprache. 27.2.1981. P. 167 и сл.
56. *Detschew D.* Die thrakischen Sprachreste. 2. Aufl. Wien, 1976.
57. *Абаев В.И.* Осетинский язык и фольклор. М.; Л., 1949. 1.
58. *Alinei M.* Dal totemismo al cristianesimo popolare. Sviluppi semantici nei dialetti italiani ed europei. Torino, 1984.
59. *Milewski T.* Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław etc., 1969.
60. *Трубачев О.Н.* Праславянская ономастика в Этимологическом словаре славянских языков. Вып. 1–13 // Этимология. 1985. М., 1988.
61. *Schelesniker H.* Die Schichten des urslavischen Wortschatzes // Anzeiger fur slavische Philologie. Bd. XV–XVI. 1984–1985. S. 77 и сл.
62. *Gamkrelidze T.V.* and *Ivanov V.V.* The Ancient Near East and the Indo-European question: temporal and territorial characteristics of Proto-Indo-European based on linguistic and historico-cultural data // The Journal of Indo-European studies. V. 13. Nos. 1–2. 1985.
63. *Rowlett R.M.* Archaeological evidence for early Indo-European chieftains // The Journal of Indo-European studies. V. 12. Nos. 3–4. 1984. P. 193 и сл.
64. *Трубачев О.Н.* Следы язычества в славянской лексике. 1. *trizna*, 2. *pěti*. 3. *kobь* // ВСЯ 1959. Вып. 4. С. 135 и сл.
65. *Rudnyćkyj J.* Slavic terms for 'god' // Antiquitates Indogermanicae. Innsbruck, 1974. P. 111–112.
66. *Трубачев О.Н.* Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология, 1965. М., 1967.
67. *Коломиец В.Т.* Названия дорог в индоевропейских языках // Этимология. 1984. М., 1986. С. 95 и сл.
68. Języki indoeuropejskie / Pod. red. L. Bednarczuka. W-wa, 1986. T. I.
69. *Трубачев О.Н.* Языкознание и этногенез славян. VI // ВЯ. 1985. № 5.
70. *Hamp E.P.* On the notions of 'stone' and 'mountain' in Indo-European // I.L. V. 3. N1. 1966. P. 85.
71. *Янюнайте М.* Некоторые замечания об индоевропейской прародине // Baltistica XVII (1). 1981. С. 66 и сл., passim.
72. *Hamp E.P.* Lithuanian *ugnis*, Slavic *ognь* // Baltic linguistics / Ed. Magner and Schmalstieg. University Park and London, 1970. P. 75 и сл.
73. *Machek V.* Etymologicky slovnik jazyka českého². Pr., 1971.
74. *Walde A.* und *Hofmann J.B.* Lateinisches etymologisches Worterbuch. Heidelberg, 1965–1972. Bd. I⁴–II⁵.
75. *Falk Hj.*, *Torp A.* Wortschatz der germanischen Spracheinheit. 5. Auflage. Göttingen, 1979.
76. Trubačev O.N. Die urslawische Lexik und Dialekte des Urslawischen // Zeitschrift fur Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Bd. 34. H. 4. 1981.
77. *Szemerényi O.* English *open*, German *offen*, and a problem for the Wörter und Sachen theor // Festschrift für Johann Knobloch (=Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Bd. 23.) Innsbruck, 1985. P. 469 и сл.
78. Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in 5 Bänden. München, 1979.
79. *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg; Göttingen. Bd. I–II.
80. *Трубачев О.Н.* Indoarica в Северном Причерноморье // Этимология. 1979. М., 1981.

81. *Menges K.H.* Das Problem der "gelehrten Volksetymologie". Einige slawische und altaische Etymologien // Die slawischen Sprachen. Salzburg, 1984. Bd. 6. S. 45 и сл.
82. *Räsänen M.* Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki, 1969 (=Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVII. 1.).
83. Slova a dějiny / Pod vedením I. Němce. Pr., 1980.
84. *Трубачев О.Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
85. Medieval Slavic lives of saints and princes, ed. M. Kantor. Ann Arbor, 1983 (-Michigan Slavic translations 5).
86. *Свердлов М.Б.* Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. Л., 1983.
87. *Цейтлин Р.М.* О значениях старославянских слов с корнем *прав-* // Этимология. 1978. М., 1980. С. 62.
88. *Першиц А.И.* Матриархат: иллюзии и реальность // Вест. АН СССР. 1986. № 3. С. 59 и сл.

Часть III

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДРЕВНЕЙШЕЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН

ГЛАВА I

Долголетний уже опыт привел меня к убеждению, что надо стремиться преодолевать **монографизм** темы и, наоборот, всячески развивать то, что можно обозначить как **полигональность** исследования, то есть действовать примерно так, как советовал добрый советчик – создатель "науки о хорошей работе" – праксиологии – польский академик Тадеуш Котарбинский: не взирать на предмет все время из одного и того же окна, а вглядываться в него каждый раз из нового окна...

Ближе к своему личному опыту могу засвидетельствовать, что оправдал себя полностью и, кажется, нашел понимание примененный в свое время подход к проблеме реконструкции состава праславянского словаря через реконструкцию праславянского состояния лексики каждого славянского языка. Я избрал этот путь и для исследований славянского этногенеза, рассматривая его как **частный этногенез** в отношении **совокупного – индоевропейского этногенеза.** Не могу, правда, сказать, что избранный путь вызвал дружное одобрение, однако не думаю, что это должно меня остановить. Сейчас ставится вопрос о реконструкции праславянской культуры как диалектного варианта древней индоевропейской культуры, следовательно, задача воссоздания элементов, или фрагментов обеих культур, одной как бы через другую.

Этимология всегда стремится к реконструкции того, "jak słowo się czyta w sobie samem?"*, как сказал поэт. Естественно поэтому ожидать от этимологии информации как бы изнутри праславянской идеологии и в каком-то приближении воссоздавать взгляд древнего славянина **на себя** и окружающий мир. В этой посылке уже дана по-

---

* Имеются в виду стихи польского поэта Циприана Норвида, которые А. Брюкнер избрал эпиграфом к своему "Этимологическому словарю польского языка":

И хоть все говорим, но не все мы готовы,
Чтоб спросить себя, **как же читается слово**
Изнутри, и судьбы его дальний полет
Разглядеть, полюбить только редкий дерзнет
(перевод мой. – *О.Т.*).

становка вопроса о ключевой важности слова ‘свой’, по сведениям этимологии, действительно пронизывающего древнейшую и социальнокультурно весомую лексику славянского и других индоевропейских языков, особенно на древней стадии. Известная **концентричность** аспектов ‘славянский’ – ‘индоевропейский’ проявляется, таким образом, уже здесь. Но в то время как для ряда языков то, что можно назвать ключевой позицией и.-е. **sue-*, давно утратило актуальность и стало мертвой архаикой, для славянского и русского это остается жизненным, пусть и преобразованным явлением языка и культуры. Так, русск. *свой* характеризуется до сих пор выдающейся частотой употребления, входя в первые три десятка наиболее частотных русских слов. Лингвистам известна выделяющаяся своим архаизмом особенность местоимения ‘свой’ в славянском – отсутствие оппозиции ‘коллективное’ – ‘индивидуальное’, то есть возможность говорить я – *свой, ты – свой, мы – свой*, столь отличная от узуса древних и новых языков индоевропейской Европы, что всякое отступление от нее обязано чужому влиянию: Нынѣ отпущаеши раба т в о е г о, владыко (книжное, евангельское. Лук. II, 29) обнаруживает воздейстие иноязычных образцов типа – Nunc dimittis servum t u u m, Domine. Балтийскому тоже известно древнее индоевропейское недифференцированное употребление местоимения ‘свой’ (лит. *savo*) во всех лицах и числах, и все же в балтийском амплитуда участия слова ‘свой’ в социальной лексике несколько у́же, чем в славянском; достаточно взять этносоциальную этимологическую природу славянского названия свободы – **svoboda* – как принадлежности к кругу **своих**, к **своему** роду, уводящего нас в идеологию древнего рода и столь отличного идейно от лит. *laisvė* ‘свобода’.

Постепенное развертывание главной культурной оппозиции ‘своё’ – ‘не своё’ погружает нас в **самосознание** и мировоззрение древнего человека, поскольку, с одной стороны, доместоименная этимологическая реконструкция слав. **svojь*, и.-е. **sue-/*su-* воссоздает семантику ‘род, свой род’, а, с другой стороны, капитальная и еще недооцениваемая нашими индоевропеистами и культурологами дихотомия всей картины мира прежде всего на ‘своё’ – орр. ‘не своё’ подводит к пониманию этой картины нашими предками как выразительно **антропоцентрической** и во многом **антропоморфной**. Известное учение о трех мысленных мирах древнеиндоевропейской культуры (Гамкрелидзе – Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы, passim) утрачивает свою актуальность, переставая в нашем мнении быть единственным принципом, конституирующим древнее мировоззрение.

В бесхитростном сочинении XVIII в. – “Истории славено-болгарской” Паисия Хилендарского содержится призыв: Ты, болгарине, не прелащаи се! **Знаи свои родъ** и ѩзикъ. Этот призыв замечателен тем, что в нем, как в едином сгустке, запечатлена квинтэссенция всей нашей реконструкции, вплоть до такой интимной и почти забытой осо-

бенности глагола *знать*, как первоначальная отнесенность к человеку, **кровному родственнику.** Перед нами **первая заповедь** еще **древнеродового устройства** праславян – **знаи свои родъ**; более того, нельзя не видеть очевидного индоевропейского прошлого этого текста, после снятия славянского новообразования или древнего диалектизма, каким представляется слав. **rodъ*. В итоге довольно простой реконструкции мы получаем правило жизни, сформулированное в виде индоевропейской figura etymologica: **ĝnō- su̯om ĝenom* 'знай свой род'.

Кем же были по преимуществу эти древние племена славян, живших родовым укладом? Нестройной массой людей, бездомными бродягами, жителями лесов, как их рисуют древние хронисты и историки-позитивисты нового времени? Здесь вступают в вопиющую коллизию чужие письменные источники с их "образом врага" – богомерзкого грабителя-славянина – и данные языкознания, топонимии. Последние говорят нам, что даже в Греции, которую славяне безусловно ограбили и "отняли у римлян", согласно ламентации одного современника, они не забыли навыков корчевания, земледелия, способного торговать излишками своего производства. Они были и остались **земледельцами**.

Конечно, мы не вправе преувеличивать уровень древнего славянского земледелия. Он был низким. Это очень важный момент славянской культурной истории. Суровая необходимость гнала славян на Балканы, на юг, причем не одна только жажда нажиться грабежом, но и **экстенсивный** характер их земледелия [1]. Вынужденно подвижный образ жизни, в свою очередь, лишь содействовал сохранению относительно примитивного уровня земледельческой культуры. Эта многократно воспроизводимая ситуация приобретала как бы смысл "славянского рока", в связи с чем один западный исследователь пишет: "При этом лучше понимаешь скудость материальной культуры славян этой эпохи. Речь идет прежде всего о земледельцах, скотоводах, занятых поисками новых пространств. Эта потребность в территориях, связанная с земледелием, которое было оседлым только наполовину, истощало тогда их ресурсы. Точно так же впоследствии русский народ истощит в значительной степени свои возможности в обширном колонизаторском движении, которое подвигнет его на освоение в течение нескольких веков огромных просторов Евразии. Это одна из основных причин, объясняющих задержку его развития и медленность его созревания по отношению к народам Западной Европы"[2, с. 161].

В эпоху, современную праславянскому, довольно низкий уровень земледелия был более или менее общим для всех. Мы должны рассматривать его, в частности, по доступным свидетельствам лингвистической реконструкции, не с высоты последующего развития, а в плане древнего состояния, тогдашних успехов, которые были посвоему велики, тогдашних центров земледелия, которые определяли эти успехи.

С разных сторон поступают указания на то, что вероятным центром применения и распространения плуга был бассейн Дуная в Европе, ср. [3, с. 250]. Названия, близкие слав. **plugъ*, распространяются первоначально только в языках дунайско-приальпийской области [4, с. 48 и сл.]. Герм. **plōg-* явилось инновацией (более старые названия сохранялись на перифериях германского ареала), а источником, по-видимому, послужило славянское название, новообразование, пришедшее на смену более древнему слав. **ordlo*, русск. *ра́ло*, ср. также любопытное тематизированное *ора́ло* (– по теме глагола *орать*), тематизация которого очень напоминает лат. *arātrum* (– по теме глагола *arāre*). Славянский объединяет с балтийским только древнейшее индоевропейское обозначение пахотного орудия **arətlom*/**arətrom*, то есть а р х а и з м, общий также для ряда других языков. В центральноевропейском новообразовании **plou̯o-*/**plou-g*-балтийский не участвовал. Новообразование это запечатлело какое-то техническое усовершенствование, скорее всего – 'рало на колесах', "плывущее (рало)"*, хотя это вовсе не означало отказа от простейшего древнего рала – крюковатого сука, попрежнему, видимо, популярного у славян в эпохи миграций и в годину обнищания (ср. [5, с. 309 и сл.]). Способ выпадения индо-иранских языков из индоевропейской номенклатуры рала, пожалуй, выгодно показывает сразу и европейское происхождение древнейшей культурной инновации (древнеиндийский сохранил и.-е. **arətrom*, названное выше, но до того как произошла терминологизация последнего в качестве обозначения рала, а именно – тогда, когда оно обозначало лишь кусок дерева, которым можно делать подобие гребных движений, – др.-инд. *áritra-* 'весло', см. сейчас [6, с. 32]), и показывает также европейскую исходную область индо-иранцев.

Придунайское происхождение слова и реалии 'плуг' не случайно, оно совпадает также с вероятным центром древнего земледелия в Подунавье. С Подунавьем и Паннонией связаны, видимо, очаг разведения древнего вида пшеницы – по́лбы Triticum spelta и такие ее названия, как лат. *spelta*, *puls*/*pultis* 'каша из по́лбы', русск. *по́лба*. Позволительно в связи с этим высказать наблюдение, что общего термина 'пшеница' у индоевропейцев первоначально не было, а постулируемое в этой функции и.-е. **pūr-* [7, II, с. 657], судя по упорно повторяющемуся значению 'полба' у продолжений праслав. **pyrъ*, **pyro* в разных славянских языках, было тоже вначале одним из специальных названий Triticum spelta 'невымолачиваемая пшеница, полба' и этимологизировать его можно в связи с и.-е. **pūr-* 'огонь'.

---

* А.Б. Страхов обратил мое внимание на реликтовые (доземледельческие) моменты значения, законсервированные в очевидно старых румынских заимствованиях из славянского лексического гнезда *plug-*, включающих, в частности, румынское название **обряда вызывания дождя,** где у *plug-* допустимо даже предположить не значение 'плуг', а – 'плывущий, поплавок', ср. русск. диал. *плуга́*.

Это объясняется дополнительным просушиванием **на огне**, которому подвергалась именно невымолачиваемая пшеница-полба. Перенос и.-е. **pūr-* на другие сорта пшениц вторичен. Относительно поздними оказываются и другие случаи с общим значением ‘пшеница’, как например слав. **pьšenica* (: **pьxati*), прозрачно противопоставленная, видимо, пшенице **невымолачиваемой**, хотя смысл этого противопоставления нами уже забыт.

Замечательна история слов и реалии ‘рожь’ с ее откровенной ролью сорняка на Юге, далее – с ее сопутствованием пшенице к северу и наконец – выдвижением как полноправного культурного злака на Севере, где пшеница отступает. Исследования исторического районирования ржи, проведенные Н.И. Вавиловым, еще не в полной мере использованы лингвистами и этимологами. Между прочим, именно ботаник Вавилов обратил внимание на тот лингвистический факт, что у многих народов Среднего Востока сорная рожь называется как ‘**терзающая** пшеницу или ячмень’ [8, с. 19, 85]. Есть вероятие, что этот принцип номинации ржи распространился и на Север, где рожь выдвинулась уже как культурный злак, а к северу от Альп и Дуная – даже как злак, возобладавший над пшеницей. Мотивы наименования ржи-сорняка там забылись, остались сами названия, утратившие этимологическую прозрачность. Это лат. *secăle* ‘рожь’ (откуда франц. *seigle* и другие романские формы названия ржи) и “гиперборейские”, как определил их В. Ген, распространенные “в настоящей вотчине ржи” [9, с. 434]: праслав. **rъžь*, лит. *rugiaĩ* pl. t., др.-исл. *rugr*, нем. *Roggen* ‘рожь’. Итак, лат. *secale* ‘рожь’ (начиная с Плиния) и и.-е. диал. **rugh-* – названия, на первый взгляд, не имеющие между собой ничего общего, в действительности оказываются **переводами, семантическими кальками** на разных языках все того же застарелого, идущего с Юга взгляда на рожь как на сорняк, “рвущий” добрые злаки: лат. *secale* – в связи с *secāre* ‘резать, сечь’ (иначе см. [10, II, с. 504], но там эта связь оспаривается в смысле, действительно, чисто умозрительного толкования *secale* ‘рожь’ как ‘сжинаемое, Schnittfrucht’), а праслав. ** rъžь*, и.-е. **rugh-* (выше) – в связи с **rū-* ‘рвать’. Любопытен контактный (ареальный) характер лат.-герм.-слав.-балт. связи*. Тем самым отменяется этимологический конструкт **ūrughi̯o-*, сохраняемый по сей день новейшими исследователями индоевропейского [7, II, с. 658], навеянный старыми сближениями с фрак. βρίζα ‘рожь’ и др.-инд. *vrīhi-* ‘рис’.

Для нас здесь важно, что, при всей скромности материальной культуры древних славян, нередко отмечаемой исследователями

* В общем контексте представляют интерес наблюдения археолога, обращающего наше внимание на то, что рожь, например, не встречается в ясторфской культуре, отождествляемой с прагерманцами, а также на возможность заимствования культуры выращивания ржи германцами у славян, см.: *Ябжевский К.* О значении возделывания ржи в культурах железного века в бассейнах Одры и Вислы // Древности славян и Руси. М., 1988. С. 98–99.

(а скромность культуры и погребального инвентаря характерна как будто именно для земледельцев), остается несомненной ее преемственная связь с индоевропейским земледелием и его европейскими центрами – связь, поучительная и для индоевропеистики в собственном смысле и получающая новые подтверждения со стороны этимологии.

Земледелие – это не только совокупность навыков и орудий, это еще и свой, крестьянский взгляд на окружающее. Наличие земледельческой идеологии у праславян доказывается также употреблением у них ранних племенных названий земледельческого происхождения, ср. пару этнонимов **pol'ane – *lędjane*, первый из которых был самоназванием части западных славян (восточнославянское употребление здесь опускаем), а второй – прозвищем, которое древним полякам дали соседи. Оба названия производны от понятий, связанных с землей: **pol'ane* – 'жители полей', а **lędjane* – 'жители **целинных земель**' (от **lędo*, **lęda* 'целина, необработанная земля'). Из них особенно интересно последнее: кличка, данная соседями, напоминает полянам-полякам, что они **новоселы на своей земле**. Как пишет исследователь проблемы, "назва *лях-* (або інша похідна форма від **lęděn-*) ніколи не була засвідчена в джерелах як самоозначення для пізніших поляків" [II, с. 353]. Весьма существенный попутный штрих к вопросу о польской автохтонистской теории! Существенно и то, что полная форма **lędjan-/*lęděn-* шла, видимо, с Юга, с Дуная, где ее сохранили венг. *lengyel* и греч. Λενζενιν-/Λενζανιν- середины X в. у Константина Багрянородного.

К скромности материальной культуры добавим еще скудость письменных свидетельств о древних славянах, особенно контрастирующую с давностью и богатством греческой, латинской, древнеиндийской письменности и стоящих за ней великих культур древности. Идея языкового родства носителей этих культур со славянами, особенно при известной недооценке самобытных путей и разных темпов развития, то есть всего того, что мы называем древней **диалектологией культуры**, рождала соблазн вывести одно из другого **как если бы из своей собственной предшествующей стадии**. Нетрудно увидеть, чем это оказалось чревато. Как трезво судит сейчас Мартине, "мы поймем феномен индоевропейского только в том случае, если перестанем трактовать его исключительно под углом зрения великих культур прошлого, каждая из которых представляет собой уже амальгаму" [3, с. 16]. Значит, ни праиндоевропейское состояние из древнеиндийского или древнеримского, ни праславянское из этих упомянутых выводить методологически недопустимо. Присущую великим древним культурам развитость, сложность приписывать и нашей небогатой славянской древности и общему индоевропейскому исходному состоянию означает встать на путь модернизации. С легкой руки французского мифолога-индоевропеиста Ж. Дюмезиля теперь повсеместно ищут и "находят" атрибуты "трипартит-

ной" системы древнего общества. Но уже двадцать с лишним лет назад, на VI международном съезде славистов в Праге К. Горалек, выступая в дискуссии по докладу Р. Якобсона "Сравнительная индоевропейская мифология в свете славянских показаний", имел основание сказать: "По Дюмезилу (так в тексте. – *О.Т.*) трипартитная система в верованиях древних индоевропейцев отражает трипартитное членение общественного строя. По Топорову следы трипартитной системы сохранились также в религии древних славян. Но потом возникает вопрос о трипартитном характере общественного строя праславян. По-моему, это очень сомнительно" [12, с. 120–121].

"Трипартитная" концепция древней индоевропейской культуры имплицирует как бы изначальное наличие дифференциального признака **воинственности** и **патриархальности**. Однако мы не вправе оставлять без внимания то, что ломает эту привычную жесткую схему. Вопреки этой схеме, которой подчас придерживаются и наши индоевропеисты, археолог Роулетт, уже цитировавшийся нами в этой связи (см. часть вторую нашей книги), в своей более новой работе 1987 г. о погребальном инвентаре одной прикарпатской группы индоевропейской культуры шнуровой керамики вновь выступил с фактической критикой концепции воинственного образа жизни ранних индоевропейцев, возбуждающего своей престижностью лингвистов и филологов. Он отметил скромность загробных даров в погребениях **шнуровой керамики**, причем вновь – **с наличием среди них более богатого захоронения женщины**, как полагает автор, – "почитаемой ремесленницы" (an honored craftsperson). Погребению женщины при этом сопутствует внушительное количество кремневых орудий, в их числе боевые топоры, причем один неоконченный (unfinished), так что речь может идти о производительнице или торговке боевыми топорами [13, с. 191 и сл.].

ГЛАВА 2

Культура раннепраславянского родоплеменного общества является продолжением и во многом – сохранением **архаичной** модели индоевропейской культуры с минимальным социальным расслоением и примитивной религией. Не славословящий культ божеств и героев, а архаическое **молчаливое почитание** высших сил. Последнее коренится в имманентной метафоричности языка, с его приматом табу над изреченным словом, при определяющем в целом значении слов типа Naturwörter и слабом еще развитии технической терминологии. Соответствие этому уровню мы обнаруживаем в **древнейших** славяно-латинских лексических связях, ср. слав. **polo-vodьje*: лат. *pal-ud-*(природные объекты), слав. **gověti*: лат. *favere* (молчаливое

почитание). Сюда же принадлежит вскрываемая важная изоглосса слав. **manъ*, **mana* ~ лат. *mānēs*, на которой мы остановимся.

Праслав. **mana* (русск. диал. *мана́* ж.р. 'соблазн, наваждение', Даль), 'призрак' (зап.-брян.), укр. *мана́* ж.р. 'призрак, видение; то, что внушено злым духом', блр. *мана́* 'призрак' (Носов.), диал. **'наваждение, колдовство'**, **manъ* (польск. диал. *man* м.р. 'наваждение, галлюцинация', русск. диал. ман м.р. 'нечистый дух, живущий в бане, доме или на колокольне', новг., Филин 17, 354), несомненно, продолжают, в конечном счете и.-е. **mā-* 'махать рукой', в чем в общем все согласны. Однако при этом недостаточно еще изучена, как кажется, **собственная древняя жизнь именных образований**, производных с *-n-* формантом (и.-е. **mā-n-*), тем более важная, что за этими очевидно древними образованиями языка стоит древний фрагмент культуры. Описываемые отношения вдвойне интересны тем, что обнаруживают выразительно диалектную индоевропейскую конфигурацию, подтверждая другие неоднократно наблюдавшиеся ранее диалектные явления языка и культуры.

Семантика и форма слав. **manъ*, **mana* дают право на сближение его с лат. *mānēs* мн. 'души умерших', сюда же *māniae* мн. 'призраки мертвых, страшные приведения'. Латинское слово до сих пор удовлетворительно не проэтимологизировано. Относительно сближения с др.-лат. *mānus* 'добрый' (откуда *mānēs* первоначально – 'добрые духи') скажем ниже, остальные этимологии достаточно случайны, см. их сводку в: Walde–Hofm. II, 26–28: к фриг. μήν 'душа покойного' (Кречмер); к греч. μῆνις (дорич. μᾶνις) 'гнев'; к и.-е. **manu̯-* 'муж, мужчина, человек'. Сказанное в полной мере может быть отнесено и к новой попытке возвести лат. *mānēs* к и.-е. **manu-* 'малый, меньший' (G. Radke. Manes. – Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike . Bd. 3. München, 1979, Sp. 951–952), что, конечно, элементарно произвольно, поскольку противоречит известной фонетике (долгота корня *mānēs*) и морфологии (раннее отсутствие у основы *mānēs*, *māniae* исхода *-u-*). С другой стороны, и фонетика, и (в еще большей степени) семантика позволяют нам ставить вопрос о специальном родстве латинских и славянских слов, ср. латинские значения 'души умерших, призраки, привидения' и славянские значения 'призрак, видение; наваждение, колдовство; нечистый дух' (примеры – выше, там же – более детальная семантическая спецификация). Особенно ярким и многоярусным представляется соответствие лат. *māniae* 'призраки мертвых, страшные привидения' и слав. **manьja*, реконструируемое на базе русск. диал. *манья́* ж.р. 'призрак, привидение; безобразная старуха, которая, по поверью, бродит по свету, ища погубленного ею сына' (Даль; Филин 17, 366), укр. диал. *маня́* ж.р. 'привидение, призрак' (Гринченко), блр. диал. *ма́нія* ж.р. 'привидение, призрак'. К фонетическому (общая долгота корневого гласного) и семантическому соответствию ('призрак мертвого, в том числе – предка') тут прибавляется словообразова-

тельное соответствие: и *māniae*, и **mānьja* – производные от **man-* с суффиксальным *-i-*.

Рассмотренное соответствие носит только латинско-славянский характер, так как сюда не относится, например, внешне близкое греч. μανία 'бешенство, безумие' (из **mn̥-i̯ā*, о чем позволяет заключить – в плане внутренней реконструкции – этимологическое родство последнего с греч. μαίνομαι 'безумствовать, неистовствовать'). Лит. *mõnas* 'привидение', мн. *mõnai*, объяснено как заимствованное из блр. *мана*, ср. также характерный вердикт Брюкнера о балто-славянских отношениях в данном фрагменте лексики: "Litwie brak wszelkich tych słów" (Brückner, s.v. *manić*). Имея в виду этимологическую ясность слав. **manъ*, **mana*, **manьja* и производного от них глагола **maniti*, а именно – происхождение от и.-е. **ma-* 'делать знак (рукой)', мы вправе использовать это преимущество славянского слова перед лат. *mānēs*, *māniae*, считающегося, как упомянуто выше, до сих пор не проэтимологизированным удовлетворительно. Предпринимаемое нами этимологическое отождествление слав. **mana*, **manъ* и лат. *mānēs* позволяет распространить этимологию славянских слов и на латинские. Соответствующее славянское лексическое гнездо, как видим, полнее (представлен также глагол, чего нет в латинском) и семантически богаче, а именно: не выходя за рамки славянского, можно с достаточной наглядностью наблюдать разные стадии семантической эволюции – 'манящее движение (руки)', 'соблазн, наваждение', 'призрак, привидение', '(злой) дух'. Типологически более примитивным и первоначальным (что интересно и важно) представляется простое значение 'манящее движение'. Более сложное значение 'дух, призрак', очевидно, вторично. Здесь уместно вспомнить о др.-лат. *mānus* 'добрый', а также о догадках, что оно "vom Lallwort **mā-*... ausgegangen ist" (Walde–Hofm. II, 28). Возможно, и тут более оправданно допускать уже упоминавшееся и.-е. **mā-* 'махать, делать знак рукой'. Данная деталь показывает реальность остатков в латинском разрушенного гнезда этого и.-е. **mā-*. Но главное, к чему сводятся наши поиски, это вскрываемая общность значения 'призрак мертвого (предка) у лат. *mānēs*, *māniae* и слав. **mana*, **manъ*, **manьja* как общность инновационная. Разумеется, говорить при этом об инновации можно лишь с обязательной оговоркой, что речь идет о глубоко архаичной культурной стадии, которую мы фигурально определили – как раз применительно к древнейшим латинско-славянским отношениям – как "стадию *favere*", стадию безмолвного почитания (см. часть вторую настоящей книги). В качестве типологической (как лингвистической, так и культурной) параллели описанному выше случаю (лат.-слав.) **mān-* 'знак, кивок' → 'призрак мертвого' можно указать приводимое также у нас выше (часть вторая) лат. *nūmen* 'молчаливый знак, кивок, проявление божественной воли; божество' как собственно латинское производное от

глагола *ниӧ* 'кивать, делать знак'. Теперь этот ряд отношений можно считать существенно пополненным собственными этимологическими связями слав. **тапа*, **тапъ*, до сих пор остававшимися в тени однозначно гнездовой этимологии слав. **maniti* < и.-е. **mā-* 'махать'.

Вскрывая родство слав. **mana/manъ* и лат. *mānēs*, мы как бы присутствуем при з а р о ж д е н и и к у л ь т а п р е д к о в в рамках упомянутой архаической "стадии *favere*" в диалектном индоевропейском выражении.

Вопрос о составе, месте и времени древнейших славянско-индоевропейских лексических связей, изоглосс принадлежит уже к проблематике исследований этногенеза, не будучи посторонним и для лингвистической реконструкции древней культуры, как это было ясно с самого начала. Поэтому и мы, затронув некоторые вопросы культурной реконструкции, не станем искусственно отделять ее от реконструкции этногенетического прошлого славян, споры о котором кипят, можно сказать, с еще большей силой, причем нередко фактический материал у этих споров и у обеих этих реконструкций – культурной и этногенетической – остается общим.

Древнейшие славяно-латинские (италийские) связи отмеченного выше характера имеет смысл локализовать на Западе, вблизи Среднего Дуная, и датировать примерным временем III тысячелетия до н.э.* Отмечавшееся уже мной раньше неучастие в этих контактах балтов аргументируется тем обстоятельством, что в э т о ж е в р е м я балты находились в преимущественном контакте с другой группой индоевропейских племен – дако-фракийцами (ср. исследования Дуриданова). Вероятным местом этих последних контактов была Правобережная Украина, земли к югу от Припяти, как о том, в частности, свидетельствуют наши собственные разыскания в книге (1968 г.) по гидронимии Правобережной Украины.

В свете древних балто-балканских отношений ранние балтийские гидронимы к югу от Припяти не являются результатом переселений балтов с севера на юг через Припять, как думалось прежде, а, скорее, **предшествуют всему остальному балтийскому ареалу, расположенному севернее Припяти, где балты – пришельцы, как и в Верхнем Поднепровье. Иными словами, древний балтийский этноязыковой ареал располагался, по всем вероятиям, южнее Припяти.**

Славянская (русская) колонизация шла в I тыс. н.э. на север по долине Днепра. Балтийская миграция на север задолго до славян переваливала на левый берег Припяти; именно так, по-видимому, следует толковать **наличие пар балтийских гидронимов по обе стороны Припяти** (напр. *Случь – Случь, Мытва – Мытвица*) и отсутствие там таких же повторов славянских гидронимов. Подчеркнуто балто-

---

* Ср. также: *Schelesniker H.* Die Schichten des urslavischen Wortschatzes // Studien zum indogermanischen Wortschatz. Herausg. von W. Meid. Innsbruck, 1987. S. 229 и сл.

центристские исследования последних десятилетий (напр. работы В.П. Шмида), как это ни парадоксально, не способствовали правдоподобной реконструкции балтийской древности, в особенности – реконструкции древнего балтийского ареала, может быть, как раз тем, что всякий раз слишком безотносительно ставили во главу угла и в центр индоевропейской эволюции балтийские данности, отчего страдала и скрадывалась реальная картина индоевропейского полицентризма и полидиалектности и место в ней балтов – в конечном счете.

В литературе уже обращалось внимание на то, что во вскрытых наукой древних балто-балканских (дако-фракийских) контактах славяне не участвовали. Спрашивается, почему? И что стоит за формулировкой: "для достаточно раннего времени участием в этих контактах славян можно пренебречь" [14, с. 281]? Возможно, для исследователя, разделяющего теорию производности славянского от балтийского, славян тогда еще не было, потому что тогда еще не выделился их праязык. "Тогда" – это уже упоминавшееся у нас III тыс. до н.э. Но ведь приблизительно к этому же отдаленному времени могут быть отнесены приводившиеся выше архаические параллели между латинским и славянским, которых нет в балтийском и которые все же требуют правильной атрибуции. Можно ли и на этот раз "пренебречь участием славян"? И можно ли будет при этом счесть правильной атрибуцию этих славянских слов "вкладу носителей лужицкой культуры" в "западно-балтийский", как в подобных случаях выходят из положения некоторые исследователи балто-славянских отношений, оказавшись перед необходимостью объяснить целый ряд древних лексических с л а в я н о-латинских схождений, **не имеющих собственно балтийских соответствий?** Перечень трудных вопросов может быть продолжен. Например, как быть лингвисту, скажем, уверовавшему в позднюю "явленность" славян миру, с приводившимися нами выше важными славянскими земледельческими терминами круга **pъlba* (*полба*), **plugъ*, не известными балтам (о позднем заимствовании названия плуга из соседних славянских языков в балтийские здесь речь не идет) и связанными с Центральной Европой?

Я сомневаюсь в том, что более реалистична не концепция самостоятельного индоевропейского статуса праславянского, а концепция "несуществования" славян независимо от балтов во всех тех контактных эпизодах, которые были приведены мной выше. Чтобы верить в это "несуществование", наверное, не нужны ни "лихость", ни "бесконтрольность" – эпитеты, которыми награждается, видимо, неортодоксальность противной стороны, – нужны особые предвзятость и упорство. Ибо только особое упорство способно по-прежнему считать балтами невров, по-прежнему вероятно, этимологизируя их племенное имя путем сближения ad hoc с лит. *niaurùs* 'унылый' – этимология, которая не имеет ничего общего ни с этнонимией, в том

числе с **известной** нам балтийской этнонимией, ни с этнонимической типологией (случаев называния целого народа “унылым, мрачным, грустным” я просто не могу припомнить), а с другой стороны, закрывает глаза на реальное наличие близкого кельтского **племенного названия** *Nervii*, далее, на важность и естественность такого восстановимого без натяжек фрагмента культуры, как “волчьи” праздники у невров Геродота, воплощающие этническую память о родстве невров с кельтскими вóльками ‘волками’. Таким образом, целый комплекс лингвистических и культурнотипологических аргументов свидетельствует, что датировать появление балтов в истории начиная с геродотовских невров [14, с. 282] по меньшей мере неосторожно.

Все-таки *onus probandi* лежит на той стороне, которая постулирует упомянутое выше “несуществование” славян без помощи балтов. При этом даже такой жест, как удовлетворение, которое мой оппонент нечаянно вынес из моих четырех карт по славянскому этногенезу (“нигде и никогда балты **не отделены** кем-либо от славян”, см. [14, с. 287]), согласимся, настраивает почти оптимистично: речь идет, в том числе и на этих моих картах, **о периоде с III тыс. до н.э.,** но наличием славян на европейском театре этнических отношений пренебрегать неразумно даже “для достаточно раннего времени”, как это делается в [14, с. 281], то есть за несколько страниц до удовлетворенного замечания о картах. Кстати, о картах. Если уж говорить точно, то моя карта № 1 (в “Вопросах языкознания” 1982, № 4, в сборнике докладов к IX МСС и в части I настоящей книги), при всей понятной и сознаваемой мной схематичности этих карт вообще, была охарактеризована выше моим оппонентом не очень корректно, ибо как раз на этой карте, относящейся к III тыс. до н.э., **балты соседят к югу от Припяти с дако-фракийцами, которые совершенно четко отделяют их (балтов) от славян.**

Еще на IV Международном съезде славистов Лер-Сплавинский специально высказывался в том смысле, что, при всем различии темпов балтийского и славянского языкового развития, **“из этого нельзя делать вывод, что древнейшая праславянская модель была продолжением прабалтийской”** [15, с. 432; выделено мной. – *О.Т.*]. Продолжающиеся утверждения, что славянская модель возводима к (пра)балтийской, тогда как балтийская несводима к славянской, уязвимы по причине своей традиционно неполной аргументации. Если критически пересматривать “научную парадигму” и в этой области, то целесообразно раскрыть природу упомянутой традиционной неполноты: она отражает одни только **исчислимые** параметры фонетики, морфологии, оставаясь по существу – с точки зрения современных научных представлений – **неполной (скелетной, ненасыщенной)** моделью. Лишь насытив славянскую и балтийскую модели лексически, мы вынуждены будем согласиться, что ни славянский к балтийскому, ни балтийский к славянскому возвести невозможно.

Можно думать, впрочем, опираясь и на данные других уровней языка, что действительные балто-славянские языковые отношения **постэтногенетичны** для праславянского как уже сложившегося языкового типа с процессами и признаками, отличными от балтийских: палатализация, эволюция долгих гласных, ассибиляция индоевропейских палатальных задненебных согласных и в том, и в другом выглядят и протекают по-разному.

Апелляция к консерватизму балтийской языковой формы, например литовского, рискующая превратиться в рутину, должна, по-видимому, уравновешиваться более критичными попытками найти реальное место этой балтийской специфике в относительной (релятивной) хронологии и языковой стилистике самого литовского языка, опираясь хотя бы на известные литовские факты вторичной активизации и продуктивности традиционно старых, непродуктивных форм, например именных основ на *-u(s)*. Ср. в этом плане мнение: "Возможно, что именно консервативные черты литовского укреплялись и оправдывались сопротивлением сильному влиянию славянских языков" [16].

Считаю необходимым остановиться подробнее на новой публикации Ю.В. Откупщикова "Балто-славянская проблема (лексический материал и методы исследования)" [17], поскольку она прямо относится к затрагиваемому здесь аспекту балто-славянских лексических отношений, а также потому, что она специально направлена против моих работ и против редактируемого (а в значительной части и написанного мной) Этимологического словаря славянских языков. Откупщиков сурово критикует меня, предъявляя целый ряд требований и упреков. Один из них (впрочем, адресованный не только мне, но еще Фасмеру и Славскому) – это недостаточное привлечение **балтийского** диалектного лексического материала и преимущественное ограничение инвентарем словаря Траутмана. Лично ко мне последнее замечание едва ли относится; я всегда считал и считаю словарь Траутмана, хотя и полезный в деталях, явно недостаточным и написанным как бы не на ту тему. Мне осталось неясным, почему словарь Мюленбаха–Эндзелина называется у Откупщикова "диалектным" (между прочим, он привлекался мной при работе над ЭССЯ – в этимологической части статей). Перечня (хотя бы краткого) литовских диалектных словарей у Откупщикова мы тоже не находим, зато выглядит излишним рекомендательное упоминание "Словаря русских народных говоров" под редакцией Ф.П. Филина – этот словарь в ЭССЯ цитируется на каждой странице. Позволю себе попутное замечание этимолога относительно трактовки балтийских диалектных элементов: насколько я знаю, существует (в славистической литературе) традиция не давать сколько-нибудь дифференцированно, скажем, "литовский литературный" и "литовский диалектный". Я не собираюсь при этом кивать на нерелевантность в этимологии антитезы "литературный" – "диалектный", ибо счи-

таю ссылки типа "русск. диал." проявлением не лишней скрупулезности исследователя, однако в отношении литовского это не так релевантно, что отнюдь не свидетельствует о недооценке **диалектных** данных литовского, просто мы имеем здесь пример относительной молодости **литературного языка** и соответственно – зыбкости границ "литературного" и "диалектного". И когда Откупщиков оговаривается, что в дальнейшем он опускает помету диал(ектное) "для краткости", он не совсем точен: дело не в краткости, а в принципиальной трудности.

Разумеется, и с балтийской, и с славянской стороны идет непрерывный процесс пересмотра и пополнения изоглосс новым, в том числе диалектным материалом. Здесь и самого Откупщикова можно, в свою очередь, поправить и дополнить по диалектной части, когда он спешит назвать соответствия для лит. *ragãnė* 'рогатая овца' исключительно южнославянскими [17, с. 14], в то время как здесь надо учесть и близкое восточнославянское – русск. диал. (псковск.) *рогано́к*, по данным В.И. Чернышева, Сказки и легенды Пушкинских мест, см. теперь мои "Дополнения и исправления к томам III, IV издания 2-го "Этимологического словаря русского языка" М. Фасмера (М., 1987, т. IV, с. 854), впрочем, я совершенно точно помню, что обратил лично внимание Откупщикова на эти данные после его доклада на московском симпозиуме по этимологии (май 1984 г., заключительное пленарное заседание). Наконец (чтобы покончить здесь с этой проблемой), я всегда тщательнейшим образом учитываю материалы литовского этимологического словаря Френкеля, который, если и не лишен тоже недостатков, представляет собой энциклопедическое собрание лексики литовского языка, по крайней мере по состоянию на 60-е годы нашего столетия.

Очень строгий к другим, когда они прибегают к реконструированным формам, Откупщиков довольно снисходителен к себе. Чего, например, стоит реконструируемый им лит. **burḗjas* (на базе явно экспрессивного окказионализма русск. диал. *боре́й* 'баран'), включая утверждение об аналогичности словообразовательной модели лит. *auklėjas* [17, с. 13]! Ведь ясно, что *auklėjas* – имя деятеля регулярного типа от глагола *auklėti* и *борей* 'баран' тут ни при чем. Слишком торопливы и этимологически неосновательны, далее, утверждения Откупщикова, что, например, русск, *базю́кать* 'болтать, беседовать' заимствовано из лит. *baziùkas* 'ягненок'. Элементарной справки в словарях достаточно, чтобы обратить внимание на наличие еще укр. *базі́кати* 'болтать', я уж не говорю о русск. диал. *ба́зить*, *базла́ть*, *базли́ть*, *база́нить*, *базурить*, которые все относятся сюда же (сведения о них можно получить и в ЭССЯ, вып. 1) и которые богатством своих форм и словообразования явно говорят о своей собственной исконности. Мне непонятно, почему, говоря о русск. диал. (зап.) форме *дуси́ть* 'душить', можно легкомысленно

игнорировать возможность прежде всего польского заимствования [17, с. 15], ср. теперь и "Słownik prasłowiański", т. V, с. 112. Почему русск. диал. *евнóй* 'съедобный' объявляется заимствованным из лит. *javìnis* 'хлебный'. В "Словаре русских народных говоров" *евнóй* соседит с *éвня*, *ёвня* 'строение для сушки снопов, овин', которое может рассматриваться как литуанизм, но для серьезной этимологии нужно не "алфавитное" соседство, от этимолога требуется широкий горизонт и умение сквозь внешнее подобие увидеть подлинную природу. Поэтому диал. смол. *евнóй* мы объясним как диссимиляцию из **емнóй*, этимологически тождественного диал. псков. *éменный* 'предназначенный для еды'. При этом слово становится в один великолепный этимологический ряд с русск. диал. *éмены* мн. 'то, что предназначено для пропитания, для прокорма' (ср. очевидно древнюю формулу *семены – емены*). Короче, только на этом пути открывается нам действительно яркое балто-славянское соответствие праслав. **ědmę* и лит. *ėdmenẽ* 'valgomieji daiktai', наряду с близким др.-инд. *admа* ср.р. 'пища'. Это балто-славянское соответствие было впервые предложено мной еще в 1963 г. ("Проспект" ЭССЯ), получило одобрение в литературе (Р. Эккерт) и заняло подобающее место в ЭССЯ, вып. 6. Меня вынуждает говорить об этом несколько подробно явно несправедливая тенденция Откупщикова бросить тень на наш ЭССЯ, где будто бы "тщательно" отмечается все славяно-латинское, "а балто-славянские изоглоссы приводятся далеко не во всех случаях" [17, с. 22]. Напротив, – тоже со всей тщательностью и, как мог бы видеть более внимательный и менее предвзятый читатель, – в ЭССЯ существенно пополняются новыми этимологиями также и балто-славянские соответствия. Разумеется, такой читатель, думаю, не ждет от ЭССЯ нетребовательного и некритического подхода, демонстрируемого нам Откупщиковым. Ибо как иначе охарактеризовать уровень этимологии русск. диал. *крёква* из лит. *krekvà* [17, с. 15]? Диал. *крёква*, конечно, всего-навсего гиперкорректная форма с мягким *р* на фоне единственно авторитетного этимологически *кроква* с широко распространенными соответствиями в ряде славянских языков и хорошей этимологией от славянского же **krokъ* 'шаг', причем все еще со времен Брюкнера оказывается продуманным в плане реалий – ввиду шагообразного подобия кровельной конструкции. Можно ли все это игнорировать и избирать при этом менторский тон? Разумеется, что, приняв кратко изложенную выше этимологию слав. **kroky/-kъve*, мы единственно правильно оценим литовские слова *krẽklas*, *krãkė* и другие близкие как заимствованные из соседних славянских языков. Все это уже показано в ЭССЯ, вып. 12.

Переходя к славяно-латинским изоглоссам в моей книге "Ремесленная терминология в славянских языках", Откупщиков подвергает их суровой критике. Его способны удовлетворить только "безукоризненные" сближения "идентичных" слов-терминов, а таких на

поверку почти не оказывается. Естественно, что и я, когда писал книгу, видел эту небезукоризненность, а порой нечистую терминологичность этих старых связей. Ясно, что речь здесь может идти не столько об отношениях, сколько об их остатках, следах. Откупщиков стремится всячески умалить значение этих поисков вообще, с чем нельзя согласиться. Впрочем, иногда суровая его критика сама явно нуждается в проверке. Слав. **moltъ*, по его мнению, не идентично лат. *marculus* < **maltlos*, подобной диссимиляции в корне в латинском, считает он, вообще не встречается, есть только суффиксальная диссимиляция *-clum* > *-crum*. А как быть тогда со случаем франц. *couteau* 'нож', ит. *coltello*, диал. *cortello*, где вероятен первичный звуковой состав корня *cort-* и диссимиляция является корневой?

Надо ли продолжать судорожно цепляться за старые догмы времен Порцига, вроде той, что **особых связей италиков со славянами не было** [17, с. 22] или все же, при всей недоверчивости критики, уже накопилось известное количество веских сближений из этой области, которые никак не сбросить со счетов (например, подробно рассмотренное выше **mana*, **manъ* ~ *manes*)? О латинских соответствиях для слав. **polovodьje* и **gověti* также уже говорилось, они носят, так сказать, характер особо архаической культуры эпохи Naturwörter. Без латинских параллелей просто нельзя объяснить такие славянские ремесленные, технические, хозяйственные слова-термины, как **košь* (сюда же русск. кошель, древность *-l*-суффикса в котором удостоверяется именно с латинской стороны), **moltъ*, **sekyra*, хотя Откупщиков и тут явной очевидности предпочитает придирки и отрицания (ему подозрительна уникальная суффиксация **sekyra* – *secūris* и т.д., и т.п.).

Что сказать в целом об изоглоссах славянского? Славяно-латинских изоглосс было больше, то, что до нас дошло, это остатки, следы, впрочем, и они уцелели, можно сказать, чудом, принимая во внимание огромную временнýю дистанцию, **тысячелетия, прошедшие после прекращения этих связей.** Откупщиков упоен массовым характером балто-славянской лексической, гнездовой, парадигматической близости, видит в ней лишь **генетическую** природу, обходя стороной фактор **контактности**, территориального соседства, **конвергенции (языкового союза),** что определяло балто-славянские отношения не только **нынешнего** белорусско-литовского пограничья, **но и древности**. Здесь Откупщиков о строгости забывает. Возьмем, например, выделяемое им тождество лит. *saũsvėjis* = русск. *суховéй* [17, с. 24]. Если приглядеться внимательнее, тут нет генетической общности: русск. *суховéй* возникло на базе сочетания слов *сухо* х *веять*, а лит. *saũsvėjis* – на базе словосочетания *saũsas vė̃jas* 'сухой ветер'. Как известно, ветер называется в балтийских и славянских языках по-разному. Не продумана у Откупщикова и культурно-экологическая сторона этого сближения: ареал русского языка в избытке

включает на юго-востоке зоны суховеев*, а ареал литовского языка лежит от этих зон в стороне и знает о суховее, так сказать, "понаслышке", "со слов" русского языка. Короче, лит. *saũsvėjis* вызвано влиянием русского языка и является слепком (калькой) с русск. *суховей*.

Водоворот споров затягивает, затянул он и меня. Надо приложить усилие, чтобы подняться над его поверхностью, особенно, если хочешь не упустить из виду великую цель. А цель у нас простая, и она одна. Раздумия об этногенезе славян, сменяемые раздумиями о праславянской культуре – это не более как две стороны одного вопроса: **кто были древние славяне?** Разумеется, то, что мы можем предложить в ответ, удобнее назвать так: "Древние славяне глазами **современного** лингвиста", – и этим будет обозначена вся относительность того, что мы действительно можем. Потребность в ответе на этот вопрос большая; ее ощущали предки славян, потому что этого требовало их самосознание, ее ощущают нынешние славяне, потому что это нужно для их самосознания, ее ощущаем мы, потому что этого требует наука – славянская, европейская, мировая. "Qui sont les Slaves? D'où viennent-ils?" – спрашивает современный французский литератор Франсис Конт, автор новой популярной книги о славянах начиная с первых известий о них: "Кто такие славяне? Откуда они пришли? Образуют ли они вполне определенное этническое, языковое или культурное целое? Закономерно ли говорить о них, как если бы они образовывали единое целое, род блока, лицом к лицу к романским или германским народам? Какие различия отличают их друг от друга: идет ли речь – за пределами возможного начального единства – об особых традициях или обычаях, различных укладах, враждебных религиях, далеких языках? Как они развивались по отношению к Западной Европе или к Востоку?" [2, с. 15]. Нужно признать, что французский популяризатор ставит вопросы правильно и в согласии с хорошей методологией, когда он продолжает: "... Нам следует отказаться от готовых ответов, построенных в расчете на легкость или на опасно редукционистские схемы (des schémas dangereusement reducteurs)".

Заниматься славянскими древностями трудно. Эти простые земледельцы, задержавшиеся дольше других обитателей Европы на родо-племенной стадии, позже других образовали государства, позже применили письменность, позже были замечены и описаны могучими, нередко – враждебными соседями. Слова Гердера: "Славян-

---

* На серьезную угрозу суховеев для нашей экологии обратил внимание даже сосредоточенный на высоких духовных вопросах руский философ Вл. Соловьев, который писал в специальной статье "Враг с Востока" (1891 г.): "На нас надвигается Средняя Азия стихийною силою своей пустыни, дышит на нас иссушающими восточными ветрами, которые, не встречая никакого препятствия в вырубленных лесах, доносят вихри песку до самого Киева..." (*Соловьев Вл.* Сочинения. В 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 480).

ские народы занимают больше места на земле, чем в истории" – впечатляют и сейчас [2, с. 23], а тогда, когда они были сказаны, они слишком хорошо говорили о малой престижности занятий славянскими древностями. Тогда для таких занятий нужна была любовь – та любовь, которая помогает ученому бескорыстно преодолевать трудности и делать свое дело. Одним из пионеров науки нового времени о славянских древностях был славянин, словак, профессор Павел Иосиф Шафарик, наметивший и проблему этногенеза родного словацкого народа. В своем докладе для X Международного съезда славистов Матуш Кучера находит очень верные слова, когда говорит, что Шафарик "urobil tak s nesmiernou láskou k vlastnému národu, pritom s vedeckou korektnost'ou" [18, с. 231]. Запомним эти параметры – láska a vedecká korektnost', **любовь** и **научная точность,** их соседство не случайно, они не исключают друг друга, как в том хотели бы нас уверить. И в наше время славянскими древностями заниматься нелегко, надо любить славян. И в наше время можно прослыть славянофилом. Вот как иронически рассуждает о славянофилах уже цитированный нами француз Франсис Конт: "Среди этих мыслителей выделяются славянофилы, стремившиеся по возможности углубить древность славян как этноса, как это делают в настоящее время некоторые советские исследователи" [2, с. 389]. И это еще не все. Углублять средствами науки индоевропейский аспект славянской древности, оказывается, значит действовать в духе "ложно понятых патриотических интенций" [14, с. 283]. Патриотизм, как видим, тут автоматически удостаивается эпитета "ложный", сама любовь к предмету выставляется как нечто порочное, некая презумпция научной необъективности. (А как же, спрашивается, возможно быть славистом и не любить предмет своих занятий?) Худший враг науки не любовь, но бесстрастие. А любовь... omnia vincit amor... хотя древний поэт имел в виду не amor patriae и тем более – не amor propatriae, как можно попробовать сказать в нашем, в моем случае... Любовь к прародине (?!) – это, пожалуй, единственный патриотизм, в котором меня можно упрекнуть, если очень сильно захотеть, даже скорее – "пропатриотизм", если исходить из новолатинского, итальянского propatria 'прародина'. Это очень смешно, когда "ложно понятый патриотизм" вменяют **русскому** ученому, который ищет славянскую прародину не в Подмосковье, не на Оке и на Дону (как польско-американский славист Збигнев Голомб), даже не на Среднем Днепре, как большинство советских и некоторые иностранные ученые, – который ищет ее вообще не в России, а **на Среднем Дунае.** В научной литературе до сих пор так было не принято, никто не спешил объявить "ложными патриотами", скажем, польских лингвистов и археологов за то только, что они ищут прародину славян в границах новой Польши. Необходимо исходить из презумпции научной добросовестности и польских автохтонистов и тех, кто сейчас рискует поднять вопрос об индоев-

ропейских истоках славянского этногенеза. Я не оговорился, – именно **рискует**, а не подгоняет свои собственные результаты под "communis opinio" или под "престижные", как сказано у моего оппонента, результаты [14, с. 266]. Сказав так, мой оппонент допустил маленькую неточность, ибо, увы, сейчас порой кажется, что гораздо спокойнее и – престижнее – было бы примкнуть – моему словацкому коллеге Матушу Кучере – к ходячим теориям о позднем происхождении словаков из разнородного этнического конгломерата [18, с. 232], а мне – тоже к какой-нибудь модной **гетерогенной** концепции этногенеза славян или русских... Думаю, что не стоит обогащать оппонентскую аргументацию такими атрибутами, как "ложный патриотизм", которым место – в шутках или в научном фольклоре вроде шаржей из книги Славомира Мрожека "Polska w obrazach" [19], где даны две карикатурных версии истории древних славян, первая из них – "патриотичная": "Wersja historyków rodzimych: Dawni Słowianie (Polanie) – cisi, łagodni, ogoleni... Wersja historyków obcych: Słowianie dawni, dzicy, niewychowani, zarośnięci" – "Версия отечественных историков: древние славяне (поляне) – тихие, кроткие, выбритые... Версия иностранных историков: славяне древние, дикие, неотесанные, заросшие".

Призыв не высовываться за шлагбаум V–VII вв. н.э. и археологической пражской культуры того же времени (– пресловутая "явленность" славян миру) лишает всякого смысла занятия реконструкцией как выявлением по косвенным научным данным состояния до "явленности" в литературных свидетельствах. Отпадает, кстати, надобность и в работах на тему "К реконструкции древнейшего состояния праславянского"... Будем надеяться, однако, что странный призыв этот [14, passim] останется втуне, а древнейшая реконструкция давала, дает и будет давать еще много для науки славянских древностей.

Итак, на вопрос, "кто такие славяне", уверенный ответ знали, наверное, только сами славяне. **Однозначная самоидентификация, необходимая для того, чтобы констатировать существование особого этноса,** акцентировала – аналогично тому, что известно об этом у других этносов, – их взаимную родственную связь между собой как **'своих'**, людей **'своего рода'**, одной **'свободы'**. И так было задолго до формирования их макроэтнонима классического вида – *славяне*, **slověne*, который лишь закодировал предшествующую тысячелетнюю норму их самоидентификации, будучи этимологически обозначением **'понятно говорящих'** (**slovǫ*, **sluti*), то есть тоже – 'своих'. Сведения этимологии тут драгоценны, знания древних славян о себе очень важны для нас, хотя априори ясно, что это их знание было неполным и наивным. Мы сейчас знаем несравненно больше, но нам порой так не хватает этих крупиц знания древних славян о себе, мы с таким трудом добираемся до этих крупиц путем реконструкции и заслуженно ставим именно их во главу угла наших современных на-

учных построений, что говорит о непреходящей **ценности наивного знания** (франц. *naïf* 'наивный' – от лат. *nativus* 'природный'...).

Коротко резюмирую, что́ мы знаем и на что можем сейчас опереться, исходя из уже изложенного бегло выше.

Как я уже говорил вначале, мы искали не только предмет, но и наиболее удобный **метод** для исследования предмета и, думается, нашли такой, который обеспечивает полигональность исследования одновременно праславянской культуры и этногенеза славян как части, эпизода индоевропейской культуры и индоевропейского этногенеза, притом, что сберегается самодовлеющая позиция и части, и целого в общем плане исследования, а в центре внимания сохраняется идея **непрерывности** индоевропейско-славянской эволюции и понятие известной концентричности этой эволюции. Понятно, что достойный праславянин рождался и умирал в благом неведении об этих наших ученых усилиях, но зато он завещал нам свое цельное самопонимание и мировоззрение с организующей дихотомией 'свое' – 'не свое'. Оказалось возможным прочесть первую заповедь древнеславянской общественной жизни: "знай свой род!" Печать затянувшегося переселенческого быта на славянском земледелии объясняет нам его невысокий уровень, но его связи с древним земледельческим центром в Центральной Европе очевидны. Славяне, эти земледельцы-переселенцы, мигрировали не только на Юг, но и на Север – в долину Вислы, и та их часть, которая осваивала эти новые земли на север от Дуная и Карпат, прослыла "целинниками" (**lędjane*).

Красивая наука – новая сравнительная индоевропейская мифология – в конечном счете увенчала сама себя созданием нового мифа об индоевропейской монокультуре (трипартитной социально-религиозной культуре, одной для всех – индоиранцев, римлян, кельтов, славян, германцев), в споре с которым (мифом) мы лишь начинаем понемногу понимать, что нельзя славянам отказывать в их скромной, но достойной самобытности. А может быть – это и **есть** общая скромная протокультура и проторелигия?*

---

* Определенный оптимизм внушает обстоятельство, что концепция, близкая к той, которая защищается в нашей книге, также представлена в серьезной научной литературе. В этом отношении заслуживает упоминания книга: *Łowmiański H.* Religia Słowian i jej upadek (w. VI–XII). W-wa, 1979. Вот несколько положений оттуда: С. 25: "В качестве известного по источникам отправного момента религии можно принять полидоксию, состоящую примерно из трех элементов, поскольку наряду с магией и верой в души умерших нельзя не упомянуть древнего "культа природы", столь характерного для собирателей и охотников". С. 33: "Наиболее основательные выводы на основе данных языкознания сделал О. Шрадер, сформулировав общее положение, что фигуры богов, известные по красочным и детальным описаниям литературы, например в гимнах Ригведы и гомеровском эпосе, представляют собой продукты творчества отдельных индоевропейских народов, и их нельзя относить к индоевропейской эпохе, где в лучшем случае существовали зачатки соответствующих верований". Для нас немаловажно, далее (с. 38 и сл.) критическая точка зрения Ловмянского на теорию профессиональной трипартиции и многобожия индоевропейцев у Дю-

Древние языковые и культурные связи славян тянут на Запад, древний прабалтийский ареал со своими языковыми (балканско-индоевропейскими) связями локализуется на юг от Припяти. Тезису о древнем "несуществовании" славян отдельно от балтов противопоставляется самостоятельная лексически насыщенная языковая модель праславянского. Контрольное значение приобретает спор о геродотовых неврах, причем речь идет о вероятной кельтской принадлежности невров, чему балтистская (или панбалтистская) доктрина не может противопоставить ничего, кроме собственной жесткости, которой, разумеется, нельзя закрыть бреши в аргументах.

Стабильные балто-славянские отношения относительно поздни, постэтногенетичны. Ввиду примата контактных связей над чисто генетическими целесообразно говорить о балто-славянском языковом союзе в продолжение последних двух тысячелетий.

Спросив, "кто такие славяне?", естественно после этого задать вопрос: **откуда славяне пришли?** Моя точка зрения по этому вопросу в общем более или менее известна, она отражена в печати начиная с серии статей "Языкознание и этногенез славян" (последняя, седьмая, статья этой серии опубликована в сборнике докладов славистов ГДР к X Международному съезду славистов [20]) и кончая – пока что – настоящей книгой. Суть моей точки зрения в том, что древнейший ареал славян локализуется в Центральной Европе, на Среднем Дунае и в Паннонии (Западная Венгрия). Я пришел к такому пониманию далеко не сразу, под давлением чисто языкового материала. Собственно говоря, положение о преимущественно "западной" ориентации древнего славянского лексикона выдвинуто в нау-

---

мезиля. Автор внимательно отмечает сведения Геродота о том, что пелазги, обращаясь к богам, не называли их по именам, справедливо усматривая за этой безымянностью, отсутствием индивидуализации, в сущности, отсутствие самых богов, при исключительном обожествлении явлений природы (с. 42). Равным образом справедливо, что "Ж. Дюмезиль, подпав под очарование средиземноморско-ближневосточных систем, недооценил информативность систем саморазвитых, которые сохранили индоевропейскую традицию в гораздо более архаичной форме" (с. 46). Нельзя не подписаться, например, под следующим глубоким наблюдением Ловмянского: "Тенденция гуманистов, нашедшая выражение уже у Яна Длугоша, состоявшая в том, чтобы рассматривать религию славян как местное отклонение от классической модели в той форме, которую она приобрела у греков и римлян, произвела глубокое влияние на научную литературу XIX и XX вв., – влияние, не преодоленное до сих пор" (с. 56–57). Автор крайне скептичен в отношении перспектив реконструкции многочисленного восточнославянского пантеона (с. 100). Ср. и тезис о государственном генезисе языческого многобожия на Руси (с. 131). Ловмянский склоняется к тому, что вплоть до эпохи переселения народов (V в. н.э.) славяне не знали ни храмов, ни изображений богов (с. 166), первоначально – только культовые места под открытым небом (с. 229). Вообще политеизация (введение многобожия) у славян акт вторичный, обязанный своим появлением конфронтации с христианством, как, например, в Полабье (с. 204), позднее – в Польше (с. 210). Знаменитый Перун восточных славян (ср. также у балтов) вначале – не что иное, как атмосферное явление и лишь вторично – божество (с. 220).

ке давно. Польские ученые неплохо увязали его с популярной "автохтонистской" теорией прародины славян в бассейне рек Одера и Вислы. На мой взгляд, у польской "автохтонистской" теории **один** недостаток – она локализует славянскую прародину **слишком далеко на север.** И чем больше сравнительное индоевропейское языкознание углубляет свою хронологию, тем ярче проступает этот недостаток. Здесь тоже история начиналась на юге.

Время идет, и новая (или – обновленная, имея в виду труды и идеи нашего великого предшественника Шафарика) теория древнего пребывания славян на Дунае вступила в естественную полосу "критики и антикритики". Я внимательно прислушивался к выступлениям критиков моей дунайской теории, среди которых были видные слависты-ономасты, и старался конкретно отвечать на их сомнения и вопросы. Этот обмен мнениями может представить общий интерес, он важен и для дальнейшего развития самой идеи о древних славянах в Центральной Европе. Так, в ответ на довод Ю. Удольфа (Гёттинген), что **Паннония была освоена славянами поздно,** я указал на существование **непрерывной преемственности** между иллирийским названием страны *Pannonia* и, возможно, города **Pannona*, этимологически – 'Болотная', с одной стороны, и тем славянским (праславянским) названием, которое отразилось в венгерской форме названия озера *Balaton*, то есть тоже 'Болотный', – с другой стороны [20, с. 915]. Раннее исчезновение иллирийского с лингвистической карты Европы делает необходимой идею не менее раннего наличия славян в Паннонии*. Непосредственность этих контактов очевидна.

---

* Полученная мной уже после написания настоящего текста новейшая работа Ю. Удольфа (*Udolph J.* Kamen die Slaven aus Pannonien? // Studia nad etnogenezą Słowian, T. 1. S. 167 и сл.; отд. отт.) представляет собой почти исключительно полемический диалог с моей среднедунайской концепцией праславянского ареала. Упомянув сначала кратко о двух вкравшихся у Удольфа случайных недоразумениях (теория Нидерле локализует прародину славян **не на Дунае,** как можно понять Удольфа, с. 167, а к северу от Карпат; Трубачев допускает приход серболужичан с юга, но не от южных славян, как написано у Удольфа, с. 168), прокомментирую критику Удольфом моих положений. Огульно оспаривать славянскую принадлежность венедов и антов неразумно; для событий IV в., описываемых Иорданом, эта принадлежность очевидна, о чем говорит не только глосса *rex Boz* (то есть слав. **vodjь* 'вождь') – о короле **антов**, но и отождествление самими готами венедов и антов: король гóтов, победивший **антов**, носит имя, или скорее – титул **Winiþ-arja-* 'потрошитель венедов'.

Удольф по-прежнему игнорирует типологические возможности изучения динамики топонимии. По-прежнему для него бóльшая частота славянских названий типа *Trnava, Struga, Bystrica* и других на Украине, чем в Паннонии, решает спор в пользу Украины, но ведь квалификации "mehr" и "quantitativ stärker" могут скорее свидетельствовать об интенсивности освоения зон экспансии, каковыми и были территории севернее Карпат и украинские земли, и таким методом определять **древнейший** ареал нельзя, о чем я уже писал. Специфика ономастического отражения индоевропейского слова **u̯lkᵘ̯-os* 'волк' в кельтском мной была обсуждена всесторонне и гораздо детальнее, чем можно понять из прямолинейных рассуждений Удольфа. Кельтскую версию кентумной формы **korva, корова* Удольф отвергает. Почему, спрашивается, нужно вести при этом сатемизацию из индоиранского? Инновацион-

Что касается сомнений, высказанных Э. Айхлером (Лейпциг) относительно того, что в Подунавье "отсутствуют типично праславянские гидронимы", я ответил тогда же и считаю также сегодня, что в Среднем (Венгерском) Подунавье характерно выявляемое наличие простейших, то есть древнейших, славянских водных названий,

---

ность и – тем самым – центральность явления сатэмной палатализации в индоевропейском ареале обоснована теоретически гораздо лучше.

Я допускаю, что у части названий *Галич, Галичани, Галичица* могут быть сложные связи и уж, конечно, не связываю, например, *гало* (*галое* болото) ни с *галлами* (кельтами), ни с *галкой* – птицей. Оспаривая мои аргументы, Удольф отнюдь не во всем подробен, как может показаться, некоторые из них он просто обходит молчанием. Отвергая древние кельтско-славянские отношения, он почему-то ничего не говорит о моей этимологии кельт. *canco-* > слав. **konьkъ/konikъ*. Корректность спора требует, чтобы оппонент, если он не располагает доводами против того или иного положения, признал бы это прямо, иначе подчеркнуто отрицательный итог создается словно преднамеренно.

Возражения Удольфа против *Pieniny* < кельт. *pennos* 'голова' слишком очевидно слабы: объяснения из славянского здесь не более вероятны, 'гора' из 'пена' (?) также **типологически** менее правдоподобно, чем 'гора' из 'голова', кроме того, откровенно корневая этимология из **pěna* не более предпочтительна, чем этимология, объясняющая все слово (*Pieniny* < *penn-in-*). Сказать, что балто-латинские соответствия "далеко превосходят" славяно-латинские, значит сказать слишком сильно, и статья Адемолло-Гальяно, использованная мной, на которую ссылается и Удольф, прямо говорит о слабо выраженной совместности балто-латинских образований. Объективно оспорить иллирийский генезис *Doksy/Daksa* Удольф не смог (**вторичное** романское осмысление *d-* начального у *Daksa* ни о чем не говорит). Совершенно излишним мне кажется упорство, с которым Удольф отстаивает славянское происхождение балканско-карпатского *Дукля*/Δόκλεα. Неточно квалифицируя мою этимологию *Licicaviki* < иллир. *Liccav-* как "slavisch-illyrische Verbindung" (у меня речь идет об односторонне иллирийском реликте), Удольф вновь, как и в случае *Pieniny*, предпочитает **корневую** этимологию, привлекая слишком широкий круг сравнений – *Elk* в бывш. В. Пруссии, *Lech* в Баварии, тогда как моя этимология и тут объясняет **всё производное** слово. Нельзя не видеть в этой корневой этимологизации шаг назад со стороны моего оппонента.

Относительно Паннонии и преемственности здесь иллирийско-славянской номинации см. у меня уже в ZfS 32, 6, 1987, с. 915. На фоне этой преемственности наименования 'болотной' страны (или 'болотного' города) мне представляется естественной связь паннонского *Bustricius* именно со слав. *Bystrica*, все остальное – явные натяжки (:"...daß ein appellativischer Anschluß vor allem in den germanischen Sprachen existiert"). Короче говоря, Удольф напрасно думает, что он опроверг "индоевропейско-славянскую непрерывность" (eine indogermanisch-slavische Kontinuität) в Паннонии. До окончательных суждений здесь еще далеко и прежде всего далеко – в духе Удольфа; можно ли, например, вместе с Удольфом уверенно утверждать, что славянский апеллатив **ezero* не представлен в Паннонии, пока не решена проблема лингвоэтнической принадлежности паннонских *озериатов*? Лично я давно отдаю себе отчет в реальности древнего этнического сосуществования повсюду и в Паннонии – в том числе, поэтому не вижу причин требовать **славянских** фонетических рефлексов от **явно неславянских** названий типа *Mur*; их там и не должно быть (что, однако, совсем не исключает древнего наличия славянских форм поблизости). Общий итог моих максимально конкретных, Schritt für Schritt, комментариев к критике Удольфа выходит весьма отличным от формулировки Удольфа. Я понимаю, что существует весьма влиятельная исследовательская рутина, которая позволяет исследователям проходить мимо отношений *Pannonia* ~ *Balaton*, *Bustricius* ~ *Bystrica*, *Oseriates* ~ *ezero/ozero*, как с завязанными глазами. И все же будет лучше не спешить с вердиктами вроде: "Die Slaven kamen nicht aus Pannonien" (*Udolph J.* Op. cit. S. 173).

и прежде всего таких, которые представляют собой в сущности славянские "Wasserwörter" в чистом виде: **struga*, **bystrica*, **potokъ* и другие; есть там, кроме того, и все основные словообразовательные модели славянской гидронимии: суффиксальные производные типа **ščavica*, **tьrnava*; префиксальные сложения типа **perstegъ*; двуосновные сложения вроде **konotopa* [20, с. 915]. Так что на вопрос о наличии "типично" праславянских водных названий в Среднем Подунавье сейчас можно ответить положительно.

В целом я не могу упрекнуть большинство моих критиков. Теория, которую до недавнего времени, по преобладающему убеждению, бесповоротно записывали в "средневековые", "устаревшие" и "донаучные" (наш летописец Нестор, XII век, и последующие века), встретила в современном своем варианте довольно серьезный прием, а не огульное отрицание, как я, в конце концов, тоже мог ожидать.

Еще в дискуссии по моему докладу на киевском съезде славистов была высказана поддержка моей точке зрения о концентрической локализации праславянского и индоевропейского ареалов в Подунавье и в целом локализация древних индоевропейских этногенетических очагов в Европе была найдена более обоснованной, чем вновь утверждаемая в последнее время давняя гипотеза о переселении индоевропейских племен из областей Передней Азии [21, с. 16–17]. Разумеется, я далек от стремления создавать иллюзию, будто на IX съезде славистов имело место всеобщее одобрение моего доклада. Достаточно вспомнить тогдашнее выступление и последующие печатные высказывания, например, польского археолога К. Годловского: "Этот же Трубачев в упомянутом докладе возвращается совершенно серьезно к несторовской концепции древнейших мест обитания славян на Дунае" [22, с. 145]. Сам Годловский придерживается восточной локализации прародины славян; к лингвистам он очень строг, поскольку они, по его мнению, игнорируют данные археологии. Но осторожное обращение лингвиста с данными археологии – это не так уж плохо, гораздо хуже бывает, когда лингвист увлекается этими данными и строит свои выводы на базе другой науки, в чем в свое время К. Мошинский имел основания упрекнуть такого первоклассного лингвиста, как Т. Лер-Сплавинский, конкретно его работу "O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian" (1946 г.). Кроме того, как же быть лингвисту, когда из среды самих археологов раздаются голоса о том, что "ни одна археологическая культура не является непрерывной" [23, с. 172]. После признания сменяемости культур имманентной особенностью **каждой** археологической культуры просто несерьезно требовать от лингвистов, чтобы они датировали появление славянского этноса временем пражской культуры (VI в. н.э.), ведь последняя есть всего лишь мода на слабо профилированные глиняные горшки! Не следует также укорять нас, лингвистов, за невежество, если мы, скажем, спокойно относимся к **отсутствию археологической непрерывности в бассейне Среднего Дуная.** В этом

проницаемом для перекрестных мод и культурных влияний регионе иначе и не могло быть.

Несколько своеобразную поддержку получила моя среднедунайская концепция со стороны западногерманского слависта Г. Кунстмана, поскольку собственные идеи последнего о балканском и чуть ли не греческом (!) происхождении многих западных и восточных славянских водных и племенных названий представляются утрированными (см. [24])*.

Но особенно много внимания моим работам по этногенезу славян и специально – дунайской теории в них – посвятил американский славист Х. Бирнбаум (Лос Анджелес). Мне известны по крайней мере восемь его работ, где упоминается, а по большей части довольно подробно реферируется и анализируется эта теория [25; 26; 27; 28; 29; 30; 31]. Американский ученый весьма объективен в изложении и оценке того, что он называет "неортодоксальными идеями" Трубачева, особенно, если учесть, что сам он разделяет другие взгляды [25, с. 253–255]. Едва ли я мог бы пожелать себе более внимательного читателя и критика; критиков и оппонентов обычно отличает нежелание положительно оценить все, что несогласно с их собственным мнением, тогда как Бирнбаум не боится признать, что "смелая, но внушительно обоснованная недавняя гипотеза" О.Н. Трубачева дает коренным образом отличную картину, в частности, также славянского освоения Балкан [26, с. 79, примеч. 5]. Говоря о новейших достижениях в реконструкции праславянского, Бирнбаум отводит исследованиям Трубачева по этногенезу славян особое место, отмечает их широкомасштабность и свежесть (an extremely wide-ranging and fresh look), богатство фактическими данными и мыслями, острый интерес к методологии (размеры прародины, изначальная полидиалектность, неприемлемость редуцированной "непротиворечивой языковой модели" для праславянского, критика "метода исключения" немецкой этногенетической школы). Попутно отметим, что Бирнбаум признает "вторичную индоевропеизацию Анатолии, что является скорее общепринятым" (за вычетом Гамкрелидзе, Иванова, В. Лемана [27, с. 81]). Бирнбаум не проходит и мимо нового прочтения эпизода о неврах Геродота так, как это случается с некоторыми из моих оппонентов, которые единственно по причине расхождения во взглядах не видят ничего положительного и отметают все в принципе. Я не могу не привести здесь полностью очень важный для меня как исследователя небольшой оценочный пассаж из обзорной работы Бирнбаума: "Значительный вклад Трубачева в древнейшую историю славян основан на сжатом, но внушительном пересмотре существующих линг-

---

* Ср., впрочем, еще: *Kunstmann H.* Beiträge zur Geschichte der Besiedlung Nord- und Mitteldeutschlands mit Balkanslaven. München, 1987 (= "Slavistische Beiträge", Bd. 217), S. 204, где сказано буквально, что Трубачев "из остроумных наблюдений" выводит ошибочную концепцию "прародины славян в Иллирии".

вистических данных и гипотез. Этот скорее краткий обзор новой работы советского лингвиста дан здесь в качестве красноречивого примера многочисленных увлекательных путей, открывающихся для будущих исследований даже на нынешнем этапе наших знаний и изощренной методологии" [27, с. 82]. Мне очень жаль, что никто из моих соотечественников-коллег по профессии не проявил такой доброжелательной объективности, как калифорнийский профессор Хенрик Бирнбаум. Больше того, именно этот процитированный мной оценочный пассаж о моих исследованиях по этногенезу славян, завершающий основной текст книги Бирнбаума, был почему-то исключен при издании книги у нас на русском языке (ср. [28, с. 339]). – Случай, я полагаю, неблаговидный для научной этики, тем более, что сокращения в русском переводе никак не оговорены; показательно и отношение издателей к инакомыслию.

В другом месте Бирнбаум с удовлетворением констатирует, что в последние годы инициатива изучения прародины славян вновь перешла от археологов к лингвистам и кратко разбирает работы на эту тему В. Маньчака (Краков), З. Голомба (Чикаго) и уже упоминавшихся Ю. Удольфа и О.Н. Трубачева. При этом можно выделить то обстоятельство, что Бирнбаум недвусмысленно забраковал как недопустимо односторонний метод количественных подсчетов лексических соответствий в текстах на сравниваемых языках, применяемый Маньчаком, при полном игнорировании данных гидронимии и топонимии [29, с. 57 и сл.]. К слову сказать, В. Маньчак игнорирует не только эти данные; если Бирнбаум, как мы сказали, в своих многочисленных работах обсуждает проблему этногенеза и прародины славян с обязательным привлечением работ Трубачева, то Маньчак – как противоположная крайность – регулярно обращаясь все последние годы к прародине славян и индоевропейцев, не упомянул работ Трубачева ни разу, хотя известно участие Маньчака, например, в IX Международном съезде славистов. Впрочем, Маньчак, похоже, не знает и работы Гамкрелидзе–Иванова, судя по такому его недавнему высказыванию: "...в настоящее время уже никто не локализует индоевропейской прародины в окрестностях Вавилона..." [32, с. 115]. Остается сказать, что и прародину индоевропейцев, и прародину славян и балтов Маньчак отождествляет с бассейнами Одера, Вислы и Немана [32, с. 119].

Бирнбаум, критик не только объективный, но и глубоко компетентный, возвращается еще раз к более подробному сравнительному анализу концепций прародины славян четырех лингвистов – Маньчака, Голомба, Удольфа и Трубачева [30, с. 19 и сл., особенно – 22 и сл.]*. И здесь также Бирнбаум говорит о нетрадиционности ду-

---

* Ср. также: *Бирнбаум Х.* Славянская прародина: новые гипотезы // ВЯ. 1988. № 5. С. 35 и сл., где автор вновь рассматривает "четыре новые теории" Маньчака, Голомба, Удольфа, Трубачева с акцентами и оценками, которые нам уже знакомы.

найской концепции Трубачева, отмечая как ее наиболее "революционизирующую часть" (der am meisten umwälzende Teil) положение о сравнительной близости вновь освоенных (южными) славянами балканских территорий и исходных пунктов этих славянских миграций – Среднего Подунавья. Американский ученый, правда, не упускает случая отметить ряд спорных для него моментов у Трубачева, например, "славяноцентристскую тенденцию", но он постоянно отдает себе отчет в том, что с этой новой дунайской концепцией необходимо отныне считаться серьезно: "В случае, если эта новая совокупная картина будет сочтена правильной в своих основных моментах и тем самым убедительной, то это значит, что всякое колебание между двумя традиционными теориями прародины, предполагающими древнейшие места обитания (славян. – *О.Т.*) к северу от Карпат (или в случае западной гипотезы – также к северу от Судет), отпадает раз и навсегда"[30, с. 41]. Но это, возможно, – в будущем, а пока что сам Бирнбаум склоняется к компромиссному варианту, сочетающему теорию Удольфа (праславянская родина – в Галиции) и Голомба (идея промежуточного ареала славян на киевско-волынских землях, якобы после их прихода с верховьев Дона), со старой киевско-пинской (то есть полесской) локализацией прародины славян по Фасмеру.

Обзор известных мне работ Бирнбаума по славянскому этногенезу, так или иначе пересекающихся с моими, будет неполным, если не упомянуть еще об одной его статье, где он разбирает древнейшие судьбы названия деревни *Mlądz* под Варшавой, которое еще З. Штибер остроумно реконструировал как праслав. **Mьlędzь* из более древнего **Miling-*, что сразу открыло возможность идентификации с названием одного из славянских племен – милинги – на Пелопоннесе у Константина Багрянородного. Пересечение с "радикально отличной от всех прочих гипотезой Трубачева", выражается, в частности, в том, что Бирнбауму представляется локализация славянской прародины на юг от Карпат вступающей в противоречие с отмеченным случаем имени милингов в центре Польши [31, с. 24–25]. Но ведь фиксация местного названия *Mlądz* под Варшавой сама по себе значит не так уж много; письменная фиксация, как известно, может быть отделена от акта образования имени немалым временем, и она не дает в данном случае права на то, чтобы именно в районе Варшавы помещать исходный пункт милингов (к тому же, ясно, что имя это не славянское); кроме того, случай с милингами ни на йоту не укрепляет позиции, скажем, висло-одерской теории прародины славян. В центральную Польшу, точнее – Мазовше (Варшава), милинги могли попасть в общем потоке славянской экспансии с юга, из Подунавья. Будучи названием этимологически не славянским (но и не германским! Ср. словообразовательно весьма близкое племенное название силингов **Sĭling-* → праслав. **sьlęzьskъ*, польск. *Śląsk* 'Силезия', как и **miling-*, скорее, иллиро-венетского происхожде-

ния), **mĭling-* обозначало, вероятно, племя, вначале неславянское, но со временем славянизировавшееся. Уже в этом своем вторичном – славянском – качестве племя милингов оказалось волей исторической судьбы заброшено на юг греческого Пелопоннеса. Примеры участия в славянском освоении Греции также явно неславянских этнических элементов, впрочем, известны из топонимии.

Упомяну, далее, "Краткий обзор этногенеза славян от первых известий о них до настоящего времени" югославского археолога Сони Зогович [33, с. 91 и сл.]. Автор положительно реагирует на выдвинутую мной идею среднедунайского ареала древних славян и другие связанные с ней положения (кельтская принадлежность невров Геродота и волохов летописца Нестора). Мне и раньше приходилось отмечать обнаруживаемую именно югославскими учеными – археологами, историками и лингвистами – готовность воспринять концепцию придунайского ареала праславян (археолог Трбухович) и даже концепцию балканско-дунайского ареала обитания древних индоевропейцев (лингвист М. Будимир)*.

В пылу полемики (если можно назвать научной полемикой огульное перечеркивание и отрицание, при полном нежелании вникнуть в аргументацию) некоторые из московских лингвистов хотели бы представить новую дунайскую теорию прародины славян как индивидуальную причуду Трубачева якобы потому, что "никто так больше не думает". Вопрос, однако, далеко не так однозначен, и уже из предшествующего обзора мало-мальски непредвзятому читателю должно бы стать ясно, что даже тех, "кто так не думает", факты и аргументы, излагаемые в пользу дунайской теории, настраивают на серьезный лад, и эти факты нельзя бесконечно игнорировать. Ниже следует краткое изложение некоторых новых работ ведущего польского археолога В. Хенселя, которые демонстрируют готовность также в польской науке рассмотреть дунайский вариант как источник заселения позднейших польских земель. Следовательно, и в польской науке общее мнение не равнозначно скепсису археолога Годловского (см. выше).

В своей статье о роли Вислы в древнейшей истории Хенсель говорит о ранних пришельцах на Вислу с юга, земледельцах и скотоводах, древнейших представителях дунайских культур ленточной керамики. **Человек шел долиной Вислы с юга на север,** вслед за отступлением ледника. И в значительно более позднее время различимо движение в том же направлении, например, латенских кельтов после 300 г. до н.э. в Верхнюю Силезию из Чехии через Клодский перевал [34]. Одновременно выходят сразу несколько работ В. Хенселя

---

* Ср. еще работу американского историка-слависта Якова Бачича: *Bačić J.* The emergence of the Sklabenoi (Slavs), their airival on the Balkan peninsula, and the role of the Avars in these events: revised concepts in a new perspective. Columbia University Ph.D. 1983, passim (University Microfilm International, Ann Arbor, Michigan).

на разных языках под выразительным названием "Откуда пришли славяне?" – включая одноименную книгу "Skąd przyszli Słowianie?" 1984 г., известную мне в кратких печатных изложениях самого автора. Так, годом раньше была издана под таким же названием обстоятельная статья Хенселя на македонском языке в изданиях Македонской академии наук и искусств [35]. Характерно, что автор не только упоминает концепцию древнего обитания славян на Дунае, но и прямо говорит о **современном начале возрождения теории дунайской прародины славян,** имея в виду прежде всего труды археологов – Иоахима Германа* (ГДР) и Воислава Трбуховича (Югославия). Привлекая также данные лингвистов, Хенсель допускает существование группы индоевропейских племен на Дунае и соседних территориях "до кристаллизации – среди прочих – германцев, италийцев и славян" [35, с. 37]. Дальше у него читаем: "Не исключено, что в процессе формирования индоевропейских языков, на одном из первых этапов дошло до создания на европейской территории лабильного древнеевропейского единства с центром на Дунае, восточное крыло которого представляли лингвистически еще недооформленные праславяне в соседстве с германцами, италийцами, венетами и кельтами, а может быть, и с фракийцами, которые все были на том же этапе развития. Будущие балты, не контактировавшие со славянами, занимали территорию, расположенную дальше к северу. Эти процессы могли бы быть связаны с временем существования археологических дунайских культур" [35, с. 42]. – Концепция по-своему замечательная и гибкая; отдельные пункты несогласия (более северное, а не восточное расположение древнейших балтов, как последнее диктуют древние балто-дако-фракийские связи, см. у нас выше) здесь опускаем. Замечательно принятие локализации древнеиндоевропейских диалектов "с центром на Дунае" и среди них – праславян. Правда, это, по автору, как бы "недооформленные праславяне". Здесь нашел выражение определенный компромисс, уступка польской автохтонистской доктрине с ее прародиной славян **к северу от Карпат.** Понимать это надлежит, очевидно, в том смысле, что "дооформляться" эти праславяне будут уже к северу от Карпат. "Откуда же пришли славяне? – спрашивает Хенсель и отвечает: На земли к северу от Карпат прибыли, возможно, с Дуная лишь какие-то группы, которые могут считаться зародышами грядущей праславянской кристаллизации" [35, с. 44]. Что же, на первых порах можно удовлетвориться и такой формулировкой (ср. то же – по-польски в [36, с. 188]), лишь отметив попутно наличие несколько расплывчатой термино-

---

* Правда, последний счел нужным возразить, что в эту интерпретацию его взглядов со стороны В. Хенселя вкралось "недоразумение" (ein Mißverständnis). См.: *Herrmann J.* Die Verterritorialisierung – ein methodisches und historisches Problem slawischer Wanderung, Landnahme und Ethnogenese // = Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej. Wrocław etc., 1987. T. I. S. 88, примеч. 33.

логии, едва ли отражающей адекватные фактические знания, ср. выше "недооформленные праславяне", "зародышевые группы", "праславянская кристаллизация".

В истории всей славянской культуры трудно назвать другую идею, которая знавала бы столькие перипетии, устойчивые взлеты и сокрушительные ниспровержения, как идея дунайской прародины славян. Быв долгое время – ряд столетий – преданием книжным (последнее явилось, естественно, лишь записью предания устного, народного, бытовавшего в древности дописьменной, но, вероятно, и в более поздние времена – параллельно с книжными версиями средневековых славянских хронистов и историков), традиция дунайской прародины славян попала в орбиту славянской науки XIX в., как казалось, только затем, чтобы научное славяноведение начинающегося XX века окончательно рассталось с этой традицией, объявив ее "ненаучной". Несколько поколений славистов XX века, уже приближающегося к своему завершению, привыкли считать ее именно таковой, то есть "ненаучной". Но логика развития всей науки или – всего комплекса наук о славянах, о человеке, населяющем Европу (именно – логика науки, а не "лихость" одного слависта) заставила вернуться к идее, видимо, прежде времени списанной Любором Нидерле в исторический пассив.

Сейчас говорят **о дунайской теории прародины славян** и связывают ее так или иначе с именем Трубачева, но, может быть, правильнее будет выделить здесь идею без автора – эту живучую, великую и вместе – простую мысль, оставив ученым ее научную аранжировку, на нынешнем уровне развития науки – неизбежно сложную. Живучесть основной идеи, сохранившейся сквозь столько перевоплощений (*народное предание → средневековая литературная традиция → научная версия → "ненаучная" версия → научная теория), склоняет к тому, чтобы в основе увидеть здесь *народное предание, то есть этническую память. При этом не так уж важно уличить летописное известие Нестора о первоначальном проживании славян на Дунае в книжной зависимости от средневековой панноно-моравской теории [37, с. 76–77], то есть русское книжное предание XII века возвести к славянскому книжному преданию IX века. Те же 300 лет отводит народной памяти, называя ее "мифопоэтической", другой автор, скептический и в отношении дунайской теории, и в отношении других развиваемых нами здесь сюжетов [14, с. 279]. Может быть, какие-то примеры собственно "мифопоэтической" памяти и имеют относительно короткую продолжительность, но вряд ли необходимо распространять это на все виды народной памяти, ибо таким образом умаляется феномен воспроизводства памяти, с которым надо особо считаться, когда речь идет об этнической памяти как компоненте этнического самосознания, в данном случае – о памяти совместного этнического прошлого.

Таким образом, уместно ставить вопрос не только об изначальном народном субстрате идеи/предания дунайской прародины славян, но и о том непрерывном, из поколения в поколение, потаенном бытовании, которое эта народная идея могла вести (или – влачить) вплоть до самого недавнего времени, если позволительно ее последней вспышкой счесть "Страну **Муравию**", примерещившуюся простому русскому мужику, который вздумал было на телеге уйти туда от коллективизации... Эта прекрасная, как народная этимология, "Страна Муравия" (*Моравия* X русск. *мурава́*) – то ли гениальный вымысел, то ли подслушанная поэтом Твардовским вековая народная мечта? Затронув **народную память и народные предания о древних западных местах обитания,** мы чувствуем, что вступили в область не исследованного наукой. Этнография и этнология могли бы, наверное, здесь еще выявить многое невыявленное и помочь изучению нашего сложного вопроса. Сейчас же, пока ничего подобного еще не сделано, а упоминание о Дунае русских песен и былин лишь утомило бы некоторых наших несогласных читателей, назову только еще один-два подобных примера, которые имеются в моем распоряжении и которых я раньше не приводил. Это, во-первых, русское народное, диалектное слово и понятие *белово́дье* ср. р. 'никем не заселенная, "вольная" земля' (южн.-сиб., том., енис., зап.-сиб.) [38, вып. 2, с. 217]. Слово как бы нехотя просочилось в письменность, отдельные записанные случаи его употребления явно сбивают с толку, например значение 'прежнее название юго-восточной части Томской губ'. (южн.-сиб., том., зап.-сиб.) [38, там же]. Главное же тут – стоящий за этим нарочито лишенным местной привязки названием взыскуемый народный образ обетованной, счастливой страны*. Обращает на себя внимание в слове и понятии *беловодье* отнесение не к сословию (ср. у Даля *белые крестьяне*, свободные от всех податей и повинностей) и вообще не к земле. За словоупотреблением *беловодье* стоят, по-видимому, весьма древние особенности языка и мышления славян. В славистической литературе одно время допускалась какая-то преимущественная связь с водой у географических названий типа *Белград, Белгород*, но тот факт, что все населенные пункты со славянским названием **bělъ gordъ* 'белый город' расположены у воды, ослабляется тем обстоятельством, что у воды по преимуществу строились вообще все населенные пункты, города и веси славян. Заслуживает поэтому рассмотрения типологически иная версия – о первоначальном топонимическом употреблении цве-

---

* Ср. в этом духе: *Чистов К.В.* Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв. М., 1967. С. 279: "Итак, *Беловодье* – не определенное географическое название, а поэтический образ вольной земли, образное воплощение мечты о ней. Это подтверждается и составом слова "*Беловодье*". Первая часть *бело-* несомненно воспринималась не как название цвета, а связывалась с другим значением прилагательного *белый*... – "чистый, свободный от чего-либо, вольный". – Ссылкой я обязан А.Б. Страхову.

тообозначения 'белый' как названия страны света 'западный' (ср. об этом [39, вып. 2, с. 78–79; 40, с. 51]). Цветовая символика обозначения стран света известна в разных языках и культурах и везде принадлежит архаике. Наша *Белоруссия, Белая Русь* – это всего лишь малопонятный теперь остаток целой вышедшей из употребления системы географической ориентации – *Белая Русь* 'западная Р.', *Чёрная Русь* 'северная Р.', *Червон(н)ая Русь* 'южная, волынская Р'. Их приводит еще Даль (под словом *белый*), но и он фиксирует, скорее, уже остаточное употребление, смазанную, утратившую первоначальную четкость географического распределения картину.

Таким образом, русские крестьяне-переселенцы, уходя все дальше **на Восток**, к самому восточному океану, лелеяли смутную заветную мечту о счастливой **западной земле**, *Беловодье* "земле западных вод". Сравнительно-типологический анализ как бы еще глубже раскрывает трагическую несбыточность народной мечты, при всей верности народа своей древней памяти. Этой второй ретроспективно вскрываемой вспышке – времен массовых переселений русского крестьянства – предшествует третий, древнейший доступный нам проблеск все той же этнической памяти, признать который нас вынуждает, пожалуй, необходимость элементарно понять нижеследующий известный летописный текст, в противном случае остающийся в своей основной мысли темным: То есть середа в земли моей, яко ту вся блага сходятся от Грекъ злато паволоки вина ⟨и⟩ овощеве разноличныя и-Щехъ же из Угоръ сребро и комони (Повесть временных лет. Лавр. л. 67) 'это середина земли моей...' – Как известно, это слова князя Святослава, обращенные к его матери, княгине Ольге, недовольной длительными отлучками сына из Киева. Святослав оправдывает свой отъезд необходимостью быть в отвоеванных им городах на Дунае и говорит при этом эти странные слова, почему-то не вызывавшие особенного удивления у наших историков. А между тем остается непонятно, почему "середина" его земли, по его словам, оказывается не в стольном городе Киеве, а практически на военной границе. Ведь не в близости же импортных товаров было дело; золото, дорогие ткани, вина и "различные плоды" из Греции, серебро и лошади из Чехии и Венгрии поступали так или иначе и в Киев, на Русь, а Святослав, как доподлинно мы знаем, был неприхотлив и даже суров в быту. В этих словах (здесь, на Дунае, середина моей земли) – суть княжеской политической доктрины, во всяком случае – ее наиболее заветная часть, которую можно постараться понять таким образом, что воинственный, честолюбивый князь и его ближайшая дружина, его единомышленники знали **предание о древнем проживании славян на Дунае,** пусть не совсем там, не на Нижнем Дунае, на котором стремился закрепиться Святослав. Можно себе представить, что он жил этой памятью и в своих нелегких успехах на Дунае видел как бы залог своей общеславянской миссии и именно эти свои, к сожалению, непрочные, завоевания ценил боль-

ше, чем другие, казалось бы, и более дальние и более блистательные походы. "Это середина земли моей", говорил Святослав, а сам помышлял не больше не меньше, как **о всей славянской земле** и о некогда исходном для нее (Среднем) Подунавье.

Я не собираюсь выдавать наблюдающихся сейчас начатков независимого, с разных сторон, возрождения интереса к теории дунайской прародины славян за самую последнюю по времени вспышку этнической памяти об общем древнем обитании славян на Дунае, но интерес объективно существует, и эта потребность или "вызов" науке не должны остаться без ответа. Существующие модели и концепции праславянской древности адекватного ответа не дают. А предмет между тем действительно интересен и, к тому же, слабо исследован. Понятно, что мы мало что знаем о Среднем Подунавье в древности, но, как это нередко случается, даже те немногие моменты, которые мы, как нам кажется, знаем, неожиданно оборачиваются к нам своей полной проблематичностью и невыясненностью, вызывая не очень приятное ощущение, как если бы почва уходила из-под ног. Остановлюсь здесь на одном только вопросе, но, возможно, важнейшем для Среднего Подунавья в понимании славистики, тем более, что вопрос этот, кажется, еще не в достаточной мере проник в нашу научную литературу. Речь пойдет о Моравии, которую мы выше лишь вскользь задели, упомянув о "стране Муравии", куда так и не добрался бедный Никита Моргунок в начале 30-х годов... Моравия – это как раз классический пример того относительно немногого, что мы, как мы думаем, знаем из Среднего Подунавья, опираясь на письменные источники кирилло-мефодиевской проблематики на разных языках тогдашней Европы IX–X вв. С самого начала, даже до того как вникнуть в литературу вопроса, в глаза может броситься одна деликатная особенность, настолько примелькавшаяся, что ее перестали как-то выделять. В составе чешских земель, входящих в нынешнюю Чехо-Словакию, находится Моравия (чеш. *Morava*). Источники X в. нередко говорят о Великой Моравии. На основе, по-видимому, чисто умозрительного заключения, что эпитет *Великая* мотивирован исключительно идеологией и политикой средних веков и никаких других отличий в себе не заключает, историки нового времени отождествили Великую Моравию той эпохи и современную Моравию. Похоже, что это было заблуждением, которое сейчас только начинает проясняться. Проблема это поучительная, комплексная, вполне заслуживающая внимания как специалистов по историческому источниковедению, так и лигвистов-историков, имеющих вкус к типологии. А в конце концов, может быть, выяснится, что правильное, современное решение этой проблемы открывает нам также один из подходов и к такому аспекту, как этническая динамика Среднего Подунавья тысячелетия назад.

Но сначала – слово историкам-специалистам. Относительно недавно вышел целый совместный сборник работ советских и чехосло-

вацких ученых, целиком посвященный Великой Моравии. В нем мы знакомимся с тем, что является преобладающим или даже – общим мнением в этом вопросе. Наш историк-богемист прямо пишет: «Свое название "Великая Моравия" первое раннефеодальное западнославянское государство IX в. получило со времен Константина Багрянородного, который в 13-й главе своего известного сочинения применил эпитет "Великая" к Моравии» [41]. То же и Л. Гавлик: «Наименование "Великая Моравия" ввел в оборот Константин Багрянородный в сочинении "Об управлении империей" (гл. 13, 38, 40). Это обозначение затем появилось в легенде Успение Кирилла (XIII в.)... Так образовалась в 874–885 гг. Великоморавская держава, что нашло отражение в упоминавшемся сообщении Константина Багрянородного, впервые употребившего название "Великая Моравия"» [42].

Признаюсь, мне как читателю эти высказывания не проясняют суть дела. Если бы я знал только эти две цитаты историков, то и тогда у меня с полным правом зародилось бы сомнение относительно авторства византийского императора, который будто бы "впервые" назвал так государство, заметим, уже просуществовавшее к его времени почти целый век. Кроме того, над страницами историков витает молчаливая презумпция, что прежде страна называлась (как и сейчас) Моравия, потом она возвысилась, и венценосный сочинитель назвал ее за это Великой Моравией.

Константин Багрянородный имел в виду не общеизвестную Моравию, которая всегда была и по-прежнему остается Моравией. Но это отнюдь не означает, что "Великая Моравия" – историческая фикция. Просто дело в том, что, как показывают некоторые новые разыскания, Великая Моравия находилась в другом месте, значительно дальше на юг. Американскому историку Имре Боба (университет штата Вашингтон, г. Сиэтл) удалось заметно продвинуться в этом вопросе и прийти к выводу, что "Моравия Святополка и Мефодия располагалась на юг от Дуная, в Славонии" [43, с. 156]. Ученый обращает внимание на то немаловажное культурно-историческое обстоятельство, что памятник великоморавской эпохи "Закон судный людем" специально говорит о виноградниках, а последних вплоть до самого начала XI в. к северу от Дуная не было, тогда как с очень раннего времени славился своими винами Срем [43, с. 150–151].

В последующие годы И. Боба выпустил еще ряд статей, в которых развернул свою критику традиционных источников и их традиционно неправильных прочтений. Одна из его работ так и называется: «Где была Megale Moravia ("Великая Моравия")?» [44]. Он указывает в ней, что слова греческого жития Климента – Μεθόδιος ἀρχιεπίσκοπος τῆς Πανονίας – точно локализуют епархию Мефодия в паннонском городе Морава. Далее, существенно, что Константин Багрянородный (De adm. imp. 13) помещает впервые упоминаемую

им Μεγάλη Μοραβία, χώρα (страна) Святополка, к югу от Τουρκοι (венгров), то есть (ср. также De adm. imp. 40) в непосредственной близости от Срема (Sirmium) и Белграда. Епархиальный центр Мефодия автор локализует на южном, правом берегу Савы, собирая настойчивые указания разных источников о существовании там города (civitas) *Margus*/ *Maraha*/*Morava* и даже отождествляя этот город и античный Sirmium. О том же, по мнению Бобы, говорит суф. *-ensis* в встречаемой латинской форме названия жителей *Marahenses*(*Marahensium*) – так образовывались в латинском **только** производные от названий городов. Все документы собрания "Magnae Moraviae fontes historici" свидетельствуют, что упоминаемая в связи с Растиславом, Святополком и св. Мефодием Морава или Моравия – это **город и область** в Паннонии. Кроме того, житие Мефодия гласит, что Мефодий наследовал престол св. Андроника, а последний был как раз епископом Сирмиума (Срема), древней столицы провинции Pannonia Secunda и Западной Иллирии [45].

Связь обоих первоучителей славян с Моравией несомненна, но, как указывает нам И. Боба, свидетельства о деятельности Константина **к северу от Дуная** отсутствуют и в целом, например, чешская традиция этого святого носит **посмертный** характер, знает его только как **Кирилла** (монашеское имя Константина!) [46, с. 62, 63]. Немаловажна также констатация, что Нитра (в Словакии) стала епископской резиденцией только начиная с XI в. [46, с. 68]. Все следы Великой Моравии ведут, таким образом, на юг. Новые взгляды И. Бобы влекли за собой, однако, такую ломку в представлениях, что вызывали либо критику и несогласие, либо умолчание со стороны тех специалистов по центральноевропейской истории, которым, несмотря на конкретность всего корпуса данных, развернутого Бобой, оказалось трудно примириться с перенесением Великоморавского княжества из собственно Моравии (Чехо-Словакия), где его локализовали традиционно, **на территорию современной Югославии,** в непосредственное соседство исторического Срема/Сирмиума. Тем не менее, постепенно у этой новой концепции стали появляться сторонники, ср. например [47, с. 5 и сл.], где эта концепция подкрепляется свидетельствами франкских источников о том, что баварские военные операции против Моравии были нацелены, собственно говоря, **на район, где Сава сливается с Дунаем** (то есть Срем, Белград, историческая Нижняя Паннония). Принимая во внимание остроту возникающих при этом дискуссий, идущих по линии споров о чешском versus нечешском характере Великой Моравии кирилло-мефодиевской эпохи [48, с. 56], мы все же думаем, что речь идет о столь значительном пересмотре традиционных взглядов, что наша общая обязанность в интересах правильного развития всей славистики – отнестись к этим фактам и идеям со всей объективностью и вниманием, которого они, разумеется, заслуживают.

Вопрос о “Моравиях” (NB: pl. !) объективно труден, и хотя изложенная выше концепция в основном кажется ценной как раз тем, что помогает нам преодолеть эти трудности, это не значит, что их совсем не остается. Напротив, и в этом случае возникают новые, которые надо как-то разрешать. Между прочим, историки уже давно приводят несколько смутные свидетельства о существовании **двух** Моравий, одна из которых – *Marharii* так называемого Баварского географа начала IX в. – находилась на **Дунае,** якобы близ тогдашней Баварии (?), а вторая Моравия, народ которой называется, согласно тому же Баварскому географу, *Merehanos*, – в современной Моравии [49, 1, с. 164]*. Правда, сюда явно не имеют отношения такие особенности, как плюральность польского названия Моравии – *Morawy*, вопреки мнению автора последней цитированной работы; это обычный, первоначально этнический плюраль (ср., кстати, и нем. *Mähren*, первоначально – мн. ‘мораване’, потом ‘Моравия’), вторично терминологизированный (“территориализированный”) в роли географического названия страны типа польск. *Czechy* ‘Чехия’, *Niemcy* ‘Германия’.

Нельзя отрицать, что в вопросе двух Моравий чрезвычайно важно выяснить динамику – что было сначала и что – потом. Здесь, пожалуй, придется разойтись с И. Бобой, много сделавшим для разъяснения проблемы Великой Моравии и ее локализации, как мы кратко рассказали выше, но природу и смысл самого этого названия и его определения – **Великая** Моравия – он все же не смог понять и разъяснил его неправильно, а именно – ‘более ранняя, первоначальная’ (*älter, früher, zuerst*) [44, с. 10–11, 18]. Неверно толкует при этом Боба и привлекаемые им аналогии, поскольку было бы странно, например, понимать *magna Graecia* в Сицилии и Южной Италии как “более древнюю, первоначальную” Грецию (!), толкование здесь может быть только одно: ‘вторично освоенная’ Греция, это же относится к **Велико**британии versus континентальная Бретань. Такие пары, как *Scotia* ***maior*** ‘Ирландия’ – *Scotia* ***minor*** ‘Шотландия’ интересны тем, что указывают направление породивших их миграций, направление освоения: оно всегда шло в направлении, указанном компонентом ‘великий’ в смысле ‘**новый, вновь освоенный**’. Никакого политического “величия” или возвеличивания этот эпитет, разумеется, не заключает, и мне уже приходилось неоднократно обращать на это внимание читателей. Лингвотипологическое значение этой номинации можно толковать, таким образом, совершенно четко и однозначно, оно проверяется – благодаря счастливому стечению обстоятельств – на исторически достоверных сведениях (пример: *Малороссия → Великороссия* и др.) и, в свою очередь, весьма перспективно типологически там, где возможности исторического контроля оказываются более скудными.

---

* Ср. еще специально: *Horák B., Trávníček D.* Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam Danubii // Rozpravy ČSAV. Ročn. 66. Řada SV. Seš. 2. 1956. S. 20, 21.

Какой урок для собственно этнической истории можно извлечь из отношений пары *Моравия – Великая Моравия*? Бесспорно, из них **первоначально название Моравия**, обозначающее историческую область по течению реки Морава, между Чехией и Словакией. Название *Великая Моравия* обозначало, как выясняется выше, область при впадении Савы в Дунай. Что при этом особенно важно – **Великая Моравия, расположенная значительно южнее вышеупомянутой Моравии sensu stricto, получила название по этой последней, что и отражено (закодировано) в обозначении "Великая", в данном случае – однозначно 'более поздняя, вновь освоенная, вторичная'.** Прочной парности между Моравией и Великой Моравией, однако, видимо, не установилось (отсюда – недостающее закрепление за просто Моравией определения "*Малая") да и обозначение *Великая Моравия* исторически оказалось недолговечным, скорее эфемерным. Тем не менее, номинация эта (*Моравия → Великая Моравия*) имеет несомненную дописьменную предысторию, скрытую от глаз письменной истории. Во всяком случае ни о каком "авторстве" Константина Багрянородного, всего лишь **употребившего** обозначение Μεγάλη Μοραβία, не может быть речи. Перед нами – остаточный след древнего славянского этнического передвижения от Среднего Подунавья на юг, на Балканы.

Эпизод с Моравией и Великой Моравией интересен не одним только тем, что с его помощью многое в кирилло-мефодиевской эпохе нам видится яснее и не так, как прежде. За ним стоит несравненно более глубокий, собственно индоевропейский временной фон, один из бесчисленных конкретных подходов к собственно индоевропейской проблеме, ее динамике, исходным центрам этой динамики.

Я имею в виду то обстоятельство, что обе интересующие нас страны Моравии привязаны к названию (названиям) реки. Моравия в собственном, первоначальном смысле называется точно так же, как и река, на которой она располагается, – *Morava* (чеш., слвц.; мы по-русски употребляем интернационализированную форму на *-ия*, ср. лат. *Moravia*, греч. Μοραβία). Направление функциональной деривации при этом абсолютно ясно: первоначально название реки *Morava*, от него вторично – название страны *Morava*. Кроме этой, северной (моравской) реки Морава, существует еще южная (сербская) Морава, впадающая в Дунай справа, ниже Белграда, то есть неподалеку от новой локализации Великой Моравии (см. о ней выше). Эти обстоятельства едва ли случайны.

Форма на *-ava* определенно связана со славянским расселением и передвижением. Мне и раньше приходилось писать, что *Morava* – преимущественно дунайский центральноевропейский гидроним, а случаи на других территориях (кстати, к северу и к востоку от Подунавья), например *Morawa* в бассейне Вислы, *Мурава* по Днепру, *Murachwa* на нижнем Днестре, восходят к дунайскому ареалу *Morava* [50, с. 51]. *Morava* представляет собой славянизированную форму с

ее характерным исходом *-ava*, подобно тому как известная в старой письменности форма *Marah(w)a* – германизация более древней формы, с тем отличием, что в оформлении герм. *Marah(w)a* явно участвует народная германская этимология, вторичное осмысление в связи с герм. **ahwō*, гот. *ahva* 'река' (см. теперь о нем [51, с. 12–13]). Слав. *Morava* не имеет этой вторичной особенности, и в этом смысле оно архаичнее, чем герм. *Marah(w)a*, поскольку представляет собой прямое словообразовательное развитие (расширение, тематизацию) более древней формы, каковой для северной Моравы является античное *Marus* (Тацит, Плиний), лишенное признаков славянского языка, но несомненно индоевропейское. Южная (сербская) Морава имела несколько отличное классическое название *Margus* (Страбон, Плиний, Иордан), вследствие чего отношения *Marus – Margus* в античное время как бы лишены той парности и преемственности, которые характеризуют слав. *Morava I – Morava II*. Но это не мешает нам все же видеть взаимосвязь также этих древних форм, причем *Margus*, будучи "богаче" на один элемент *-g-*, в остальном идентично более северному *Marus* которое, можно полагать, сохраняет более первоначальную форму. В этом смысле славянская пара *Morava I – Morava II* лучше отражает стоящие за ней более древние, индоевропейские отношения.

Что касается объяснения самих *Marus – Margus*, то их вряд ли следует этимологизировать раздельно, как это имело место в литературе. Скорее всего (особенно в свете славянских показаний), это этимологически единая форма, с вскрываемой динамикой и словообразовательной иерархией *Marus* 'северная Морава' → *Margus* 'южная Морава'. Специалисты свидетельствуют, что о названии *Morava* и близких и об их происхождении накопилась уже огромная литература. Соответственно это затрудняет и выбор этимологии. Единственное, против чего, пожалуй, нужно сразу возразить, это попытка вывести *Marus* из *Margus*, точнее, из "иноязычного" **Maryos*, как предлагал Фасмер [52, II, с. 550], вслед за Розвадовским. Такое заимствование, маловероятное формально-фонетически, сомнительно и в плане лингвистической географии (*Marus* – на севере, *Margos/Margus* – на юге) и противоречит той динамике, которая как будто восстанавливается для *Morava I – Morava II* как направление движения с севера на юг, а не наоборот. Попытки объяснить южное (сербское) употребление славянской формы *Morava* как способ вторичного усвоения местной формы *Margus* повторяются и в последнее время, ср. одну достаточно сложную, предлагаемую в [53, с. 297–298]: *Margus* > слав. **Margvā* >**Marvā*. Может быть, целесообразнее говорить о местном, периферийном, достаточно древнем суффиксальном производном *Mar-g-us* от местного же **Marus*, что предполагает также возможность параллельного существования и этого последнего – **Marus* – в южных районах (тогда именно к этому "южному" случаю *Marus* ближе всего относилась бы форма *Marua* у Па-

влина Аквилейского, цит. по [53, с. 297], где ее предлагается понимать как некую предшествующую слав. *Morava* форму для сербской *Моравы* – *Margus*, но ведь при этом там же признается, что славяне принесли с собой на Балканы с севера **уже готовую** форму *Morava*).

Возможность отнести к "южному" *Margus* также польское название реки *Mroga*, допускаемая Фасмером [52, II, с. 550], вслед за Розвадовским, и потенциально способная тем самым, казалось бы, документировать также северный ареал **marg-* и в целом иллирийскую атрибуцию *Marus–Margus–Mroga*, не очень убедительна ввиду по крайней мере не менее вероятной возможности исконнославянской этимологии польск. *Mroga* < праслав. **morga* как 'луговая, низинная', ср., скорее всего, сюда же русск, диал. *мурóг* 'сенокос, луг', если из **морóг*, ср. укр. *мурíг, морíг* 'дерн, мурава' (другую этимологизацию, основанную на изначальности корневого *-у-*, см. [54, 111, с. 13]).

Теперь – об иллирийской атрибуции гидронима *Marus*, тяготеющего к Среднему Подунавью и в принципе – к западной половине Балканского полуострова. Эта атрибуция, связанная с именем Фасмера [54, II, с. 550], в какой-то мере стала традиционной, ср. [55, с. 433]. Однако позднее у самого Фасмера чувствуется стремление ограничиться более расплывчатой – индоевропейской – атрибуцией названия *Marus* с одновременным признанием неславянского происхождения формы *Morava*, все вместе в конечном счете – к индоевропейскому названию моря, см. [54, II, с. 652, s. v. *Морáвия*], ср., далее, [56; 57]. Характерно, между прочим, что основной компендий по языку древних иллирийцев Майера форму *Marus* не приводит совсем [58], хотя она в принципе могла бы занять там место наряду с *Dravus* 'Драва' и *Savus* 'Сава', также не лишенными проблем. Что касается античной формы названия сербской Моравы – *Margus*, то Майер готов допустить для нее фракийское происхождение [58, II, с. 74], впрочем, кажется, без особо веских аргументов.

Мы не ставим перед собой задачи подробно охарактеризовать все опыты этимологизации, здесь достаточно будет сказать, что в основном существуют три версии происхождения *Marus* и *Margus* – германская, иллирийская и фракийская. **Существенно то, что ни одной из них нельзя отдать предпочтения**, и каждая из этих версий отличается тем, что оперирует индоевропейским корнем и в сущности является **индоевропейской этимологизацией**. Конечно, можно было бы приписать эти трудности слабой и невыразительной оформленности *Marus* и *Margus*. Но это равносильно **признанию отсутствия у этих форм черт, характерных для отдельных индоевропейских языков, при очевидной принадлежности их к индоевропейскому.** Аналогичная характеристика позволила в свое время Краэ выделить особый слой "древнеевропейской гидронимии", см. [59]. Он имел при этом в виду, что этот лингвистически (диалектно) недифференцированный гидронимический слой отражает соответственно

еще не дифференцированный язык собственно европейской группы индоевропейского. Эта интересная идея была противоречива в своей основе с самого начала, о чем уже приходилось писать, одновременно указывая, что так называемая "древнеевропейская гидронимия явилась, скорее, **порождением последующего сглаживания**, нивелировки, наддиалектного (übereinzelsprachlich) развития, а не изначального додиалектного (voreinzelsprachlich) единства, сомнительного в самом себе. Противоречий не устранили и разыскания В.П. Шмида, критика и продолжателя Краэ, который главным образом расширил рамки "древнеевропейского" до "праиндоевропейского" в целом.

Ведь если следовать формально-словообразовательной характеристике "древнеевропейской гидронимии", выдвинутой Краэ, то в число "древнеевропейских" водных названий ("Bildungen auf *-so-s, -sa-, -sia*", см. [59, с. 436]) попадает явно производное *Marisos* (в Дакии), тогда как интересующее нас более простое и, следовательно, **более архаичное** *Marus* туда не попадает, что сразу выказывает противоречивость характеристики "**vor**einzelsprachlich" "древнеевропейской" гидронимии Краэ, хотя архаизм гидронима *Marus* '(северная) Морава' проявляется, помимо его словообразовательной древности, еще и в его принадлежности к уже упоминавшемуся нами, вслед за Краэ, разряду "Wasserwörter", одним из которых является и слово **mor-/*mar-*, обозначающее море и родственные понятия, см. [59, с. 436, 438]. Другой пример, типологически очень близкий своей вскрываемой коллизией **производящего**, относимого большинством авторов к иллирийскому, и **производного**, попадающего – по словообразовательным признакам Краэ – в "древнеевропейский", – это *Savus* 'Сава'. (Майер [58, 1, с. 297] относит название *Savus* к иллирийскому, но на отсутствие его в перечне иллирийских названий у Краэ специально, между прочим, указывает Дикенман [56, с. 101].) Производным, следовательно, имплицитно **вторичным** и потенциально требующим атрибута "übereinzelsprachlich", а не "voreinzelsprachlich" оказывается *Savaria*, название реки в Паннонии, которое по Майеру [58, I, с 296, 297] – тоже иллирийское, а по Краэ ([59, с. 435:] "Bildungen anf *-ra*") выходит, что Savaria "древнеевропейское" гидронимическое образование.

Итак, уяснив попутно зыбкость и противоречивость понимания "древнеевропейского" у Краэ (с одной стороны – архаическая семантика "Wasserwörter", с другой стороны – фактическая смесь простейших первичных с явно вторичными производными образованиями), главное, пожалуй, к чему мы пришли выше, это довольно тесная (словообразовательная) преемственность развития славянского (генетически "дунайского") гидронима *Morava* и словообразовательно и семантически наиболее архаичного и тоже дунайского гидронима *Marus* (*Marus* → *Morava*: *u* → *av* в гетеросиллабической позиции). Обращает на себя внимание, так сказать, **дунайская эндемичность**

индоевропейского названия *Marus*. На юго-западной периферии среднедунайского ареала располагаются и известные, уже упоминавшиеся выше *Savus, Dravus* (слав. *Sava, Drava*), сходная архаичная словообразовательная и семантическая (этимологическая) характеристика которых также оставляет для них, наряду с традиционной иллирийской языковой атрибуцией, вполне реальную чисто индоевропейскую альтернативу. Этого и следовало ожидать, а именно – на этих или на других примерах такого рода – **наличия в таком потенциально праиндоевропейском ареале, каким, по нашему мнению, было Среднее Подунавье,** архаичных языковых форм, не поддающихся однозначной языковой атрибуции и вместе с тем – несомненно индоевропейских. В целом наблюдаемый феномен случаев нейтрализации противопоставления "диалектное" (einzelsprachlich) – "праязыковое" (ursprachlich) именно в Среднем Подунавье и именно на примерах *Marus, Savus, Dravus* побуждает взглянуть шире и на пример *Marus – Morava* не столько как на "славянизацию" (*Morava*) "иноязычного" (*Marus*), сколько как на преемственность индоевропейского развития в славянской форме названия. Сказанное не снимает изначальной сложности языковых отношений также в этом, предположительно – очаговом, районе индоевропейства, а именно: случаи упомянутой нейтрализации противопоставления "диалектное" – "(обще)праязыковое" существуют на фоне этого противопоставления как изначального.

Внутрииндоевропейские междиалектные древние связи остаются определяющим аспектом индоевропеистики в целом и наиболее естественным переходом к проблеме славянского в индоевропейском. Именно на этом пути можно ставить и решать труднейшие задачи не только относительного, но и абсолютного времени и места славянского и его древних диалектных (лексических) отношений, до сих пор очень слабо исследованных. Таковы например армянско-славянские языковые связи, в изучении которых сделаны лишь первые шаги [60]. Можно выделить особое и очевидно древнее соответствие **названий железы**: арм. *gelj(k')* – слав. **železa* [60, с. 132] (балтийский представляет только производную форму с этим значением: лит. *geležuonys*). Если из этого же исходного этимологического материала славянские и балтийские языки совместно развили общее для них новое название металла – железа, что – тем самым – ограничивает датировку интенсивных балто-славянских культурно-языковых контактов эпохой железа, то есть временем не ранее начала – середины I тыс. до н.э., то армянско-славянские контакты архаичны, они отражают еще дометаллическую семантику этого индоевропейского корня – 'комочкообразная субстанция, железа', что, вероятно, говорит о времени до добывания железа из болотных руд, иными словами – об эпохе бронзы или о неолите (II тыс. – начало I тыс. до н.э.). Свой миграционный путь армяне (или их дальние предки) начали, скорее всего, не на древней Украине, как полагают некото-

рые исследователи, а на Дунае, видимо, где-то между его средним и нижним течением, о чем могло бы свидетельствовать тройное соответствие арм. *get* 'река' – фриг. βέδυ 'вода' – речное название *Vedea* (на румынской стороне Дуная).

Создается впечатление, что Дунай образует некую ось, на которой локализуются различные древнеиндоевропейские диалекты и соответственно осуществляются междиалектные контакты. Как это следует из вышеизложенного, местонахождение праславянских диалектов на Среднем Дунае весьма вероятно; до Нижнего Дуная славяне в древности не доходили, судя по тому, что они знали и употребляли только кельтско-германское название Верхнего и Среднего Дуная – **dunajь/*dunavь* и **не знали вообще древних названий Нижнего Дуная** (греч. Ἴστρος). Где-то к востоку от Среднего Подунавья вероятно древнее обитание праармян, поддерживавших в достаточно отдаленное время, как мы видели выше, контакты с праславянами, видимо, в этой зоне. Знакомство со Средним **Дунаем** в древности характеризовало определенно и прагреков, судя по показаниям их **данайской** традиции*. Нижний Дунай в глубокой древности был вотчиной дако-фракийцев, имевших здесь выход и в древнюю Правобережную Украину с тамошним древнейшим ареалом прабалтов. Славяне длительное время были далеки от этих восточных районов и контактов и больше ориентировались на контакты с западными индоевропейцами в Среднем Подунавье и примыкающих районах.

Индоевропейско-славянская преемственность остается крупнейшей проблемой. Количество аспектов этой проблемы неисчислимо, как и приложение объяснительной силы возможных решений. Собственно явное сохранение индоевропейской преемственности в славянском – это ситуация, при которой проблем не возникает. Но и отсутствие такой **выраженной** преемственности еще не означает ее **полного** отсутствия. Малая вероятность непроходимой цезуры между прошлым и настоящим в развитии и состоянии языков, их лексики, примат переосмыслений над абсолютными утратами словаря, универсальная метафоричность языка должны настраивать исследователя на конструктивный подход, внушать ему определенный ис-

---

* Остается проблематичным вопрос о древних специальных связях прагреческого с праславянским, хотя древняя географическая проекция обоих не исключает эту возможность. Ср. в связи с этим установление отдельных потенциально архаичных параллелизмов вроде греч. πάλλω 'потрясать, встряхивать (в том числе – жребий при гадании) – русск. диал. *полоть*, также – 'подбрасывать снег при гадании' (аналогичные примеры – в Полесье, в чешских моравских диалектах). См.: *Страхов А.Б., Страхова О.Б.* Об одной греко-славянской культурно-языковой параллели // Балканы в контексте Средиземноморья: проблемы реконструкции языка и культуры. М., 1986. С. 135 и сл. См. также: *Страхов А., Страхова О.* Славянский этнолингвистический комментарий к древнегреческому ритуалу гадания // Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia. Vol. 1. Исследования по славяно-византийскому и западноевропейскому средневековью. Посвящается памяти И. Дуйчева. С., 1988. С. 250 и сл.

следовательский оптимизм. Достойна сожаления бывает исследовательская близорукость, которая охотно останавливается перед хронологическими и классификационными границами, ею же и воздвигнутыми, сначала – для "удобства" исследования, а в сущности – для самоограничения. Терминология при этом сковывает мышление, как например (особенно в западной индоевропеистике) **доистория**, продолжающая преспокойно существовать наряду с **реконструкцией**.

При этом наибольший интерес представляют случаи, когда изучаемые слова и понятия, если не обязательно входят целиком, то все-таки примыкают к экспрессивной сфере, потенциально склонны тем самым к обновлению, сменяемости и относятся вместе с тем к числу понятий как бы вторичных, то есть производных, сложных. Значит, здесь интерес может представить вскрытие структуры понятия, а заодно и механизма сменяемости. Этимологическое решение при этом может быть нацелено на **обоюдосторонность** в смысле возможной критической оценки смененного индоевропейского способа выражения понятия и этимологического осмысления "нового", скажем, славянского, выражения, сам принцип которого может оставаться преемственным, индоевропейским. Некоторые такие примеры **неявной индоевропейско-славянской преемственности** давно занимают меня, и, может быть, их полезно изложить здесь. Речь пойдет о названиях слезы и росы. Уже априори допустимо предположить, опираясь на некоторый сравнительный опыт и вероятную имманентную метафоричность языка, что и здесь представлены понятия (и значения) не такие простые, как 'вода', более того – с этим простым значением, очевидно, связанные и иерархически, как видовые значения – с родовым.

И.-е. **dakru-*, откуда греч. δάργυ, арм. *artasuk̂'* (последнее, скорее, предполагает вариантную праформу **drak̂ru-*, ср. аналогичное начало слова у нем. *Träne* 'слеза'), лат. *lacrima* < **dacrima*, гот. *tagr*, др.-англ. *tæhher*, нем. *Zähre*, лит. *ãšarà*, др.-инд. *áśru*, тохар. A ākär. Этимология большинством признана проблематичной, начиная с самой реконструкции, поскольку неясной остается отношение и.-е. **dak̂ru-* и **ak̂ru-*, к которому непосредственно восходит часть форм, ср. выше лит., др.-инд., тохар. (см. [61, с. 23]). Не является выходом из положения предполагаемое в [7, II, с. 816] диалектное чередование *d:l:ø*, по сути дела – мнимое. Экспрессивность лексемы 'слеза' кажется очевидной, однако вопрос заключается в том, как эта экспрессивность выражается и можно ли описанные выше колебания начала слова **d:ø* приписывать именно экспрессивности. Предпринимались всевозможные попытки объяснить появление и исчезновение *d-* через контаминации разных слов, через префиксальный (и даже местоименный!) характер этого *d-*, но все такие попытки неубедительны. Неслучайны поэтому поиски здесь первоначального сложения, но суждения и на этот счет крайне противоречивы, а ре-

шения искусственны, например *dr-akru- от *dr- 'боль, скорбь' (и т.д., в целом очень невероятно, см. [62]). И это – при том, что верное направление двуосновной реконструкции уже практически было найдено, ср. мысль Сэпира о наличии в и.-е. *drakru- 'слеза' первоначального сложения *uedr/-udr-akru- 'вода едкая, острая, горькая', ср. близко Георгиев: *udr akru 'scharfes (bitteres) Wasser' [63]. Но утрата начального u- здесь показалась критикам невероятной ввиду своей "нерегулярности" [64, с. 298; 62, с. 14: "une forme *dr- > *dr- d'i.-e. *uedōr, etc. ne peut être admise"]. Но корректно ли вообще в таких случаях выдвигать требование "регулярности?" Короче, подобные требования здесь неуместны, хотя имеется по крайней мере еще один пример такой же редукции индоевропейского корня со значением 'вода': греч. δρόσος 'роса' из первоначального *ud-ros (или *udr-ros?). Слово считают темным по происхождению [65, 1, с. 420; 66, 1–2, с. 298–299], но связь его с и.-е. *ros- 'роса, влага' трудно отрицать. '**Водяная роса**' – вполне реальное древнее чтение, и наше знание хотя бы о медвяной росе убеждает, что здесь не было банальной тавтологии.

Возвращаясь к индоевропейскому названию слезы, следует отметить курьезность попыток объяснить вариант и.-е. *akru- 'слеза' влиянием слова *akru- 'острый, едкий', тогда как **в действительности здесь имеет место полное этимологическое тождество**, а значением 'слеза' форма *akru- обязана исключительно своим вторичным выделением (отвлечением) из сложения *ud-akru- или *udr-akru- 'горькая/острая вода'. Таким образом, вопреки процитированным выше результатам дискуссии, участие лексемы 'вода' в первоначальном составе индоевропейского названия слезы кажется очень правдоподобным. Что же общего у индоевропейского и славянского названия слезы, если в славянском как будто не сохранилось и.-е. *ud(r)-akru-? Прежде всего их в какой-то мере объединяет со слав. *slьza довольно темное происхождение, ибо полагаться на сходство слов *слеза* и *слизь* [54, III, с. 668] не позволяет просматриваемая выше типология индоевропейского названия слезы. Между прочим, и.-е. *ud(r)-akru- прослеживается практически **во всех индоевропейских языках**, кроме славянского [67, с. 1130], поэтому, похоже, что **изначальное** отсутствие этой индоевропейской лексемы в славянском, а заодно и этого элементарного, описательного, метафорического способа обозначения слезы как 'острой, горькой воды' представляется странным, во всяком случае – нуждается в специальном доказательстве или – опровержении. И здесь наши предшественники уже были на верном, как кажется, пути, с которого, правда, потом свернули. Ср. наблюдение Хэмпа о том, что слав. *slьza (дослав. *slighā) – такое же первоначальное собирательное мн. число среднего рода, **как** и *вóда* [64, с. 299]. Оставалось сделать еще один шаг и предположить более интимную связь обоих в словосочетании *slьza voda или *voda slьza. Каково же все-таки происхождение слав.

sľbza*? Хэмп в своем уже цитированном нами опыте этимологии названий слезы высказывает предположение, что и.-е. **âkru-* 'слеза' в славянском просто совпало с (у автора: "was eliminated by competition with the homophone 'sharp, bitter'") **ostrъ* 'острый'. Но это лишь одна из возможностей, и для славянского, думаю, не самая вероятная. Если допускать, что и.-е. **ud-âkru-*/u̯od-âkru-* универбировалось в славянском, как в литовском, древнеиндийском, тохарском, в **âkru-*, оно имело шансы сохраниться в славянском, где, помимо отражения и.-е. **âkru-*, существовало довольно обособленное продолжение и.-е. **âkl-*: слав. **osla* 'точильный камень'. Дальнейшему обособлению содействовал излюбленный в славянском способ – избыточная суффиксация: **(o)sl-ьza*. Отпадение начального *o-* не противоречит большой перестройке именно начала данного слова, зашедшей здесь в некоторых славянских языках еще дальше, ср. польск. *łza* 'слеза'. Наша трудная этимология названия слезы имеет выгоду индоевропейского фона и более широкой типологии ('слеза' < 'острая вода'). Традиционное сближение слезы со слизью шокирует своим понятийным (типологическим) неправдоподобием: слеза в представлении славянина и сейчас – эквивалент чистоты и прозрачности, что не имеет никакого отношения к слизи.

Таким образом, при всей возможной дискуссионности этого или других подобных примеров, постепенно становится ясно, что наиболее реальный путь к вскрытию неявных (преобразованных) архаизмов – это изучение преобразованной формы, функции, смысла, поскольку было бы неверно ограничиваться лишь "чистыми" архаизмами, оставляя без внимания все разнообразие остальных – в разной степени преобразованных – архаизмов, которые и составляют жизнь языка, никогда резко не порывающего со своим прошлым. Вообще условия бытования и сохранения архаизмов – это область, где теория продвинулась еще не очень далеко и в полной мере еще сказывается инерция предпочтения старых, привычных взглядов, например, убежденность в прямой причинной связи между территориальной устойчивостью и особым консерватизмом языка [14, с. 285–286], против чего я уже выступал специально и неоднократно, поэтому здесь не стану повторяться.

До последнего времени находят возможным говорить о том, что праславянский представляет собой "молодой" тип языка (примерно так высказывались некоторые участники IX Международного съезда славистов в Киеве)*, лишний раз подтверждает, что **существует тенденция за атрибутами преобразованности не видеть языковых архаизмов**. Возможно, типологически оправданно было бы признать, что трактовка архаизмов имеет свои отличия в разных языках. Одним словом, здесь немало помех, реальных и мнимых, о ко-

---

* Отрадно отметить, что названный "лейтмотив" уже не наблюдался в такой мере на следующем – X Международном съезде славистов в Софии (1988 год).

торых я писал уже отчасти выше, когда речь шла о том, как легко прослыть "славянофилом" в наше время. Не придавая по понятным причинам особой важности этому и другим, как у нас говорят, "ярлыкам", я все же с тем большей охотой предоставлю слово итальянцу Бонфанте, если в чьих-нибудь глазах это спасет от упрека в пристрастии тезис об особой архаичности славянского [68, с. 11]: "Славянский, засвидетельствованный в IX веке после рождества Христова, очень консервативен, в значительно большей степени, чем хеттский, на котором говорили за 2000 лет до рождества Христова". Не могу не процитировать оттуда и дальше [68, с. 17], тем более, что за свои достаточно аккуратные рассуждения на тему индоевропеизма славян я уже сподобился со стороны критики упрека в "славяноцентричности" (см. выше). Джулиано Бонфанте свободен от этого комплекса, и он пишет с подкупающей безмятежностью: "До сих пор мы почти не говорили специально о славянах, поскольку, имея в виду, что славяне – индоевропейцы, мы в сущности (implicitamente)... говорили также и о них".

Со стороны, думаю, даже трудно себе представить, что, если мы заговорим, например, об **архаизмах восточнославянского**, мы погружаемся в море страстей. Иного объяснения я не нахожу спорам, направленным **против** идей преемственного развития праславянского в восточнославянском. Я вовсе не отклонился при этом в своих рассуждениях о праславянском и индоевропейском. Напротив, я очень ценю возможность связать уроки славистики и индоевропеистики с характеристикой, например, русского языкового пути развития, что, наверное, наилучшим образом доказывает жизненную важность самых глубоких праязыковых штудий.

Несмотря на все достижения отечественной и мировой славистики, так и не удалось в нужной степени укрепить связи между русистикой и славистикой. Больше того, несмотря на умножившиеся внешние атрибуты "взаимопроникновения" русистики в славистику (взять хотя бы участие русистов "чистой воды" в славистических мероприятиях, съездах славистов и т.п.), внутренние, имманентные связи в последние десятилетия здесь даже слабнут. Все это не на пользу прежде всего русистике. Не желая быть голословным, считаю необходимым обратить прежде всего внимание на то тревожное обстоятельство, что наша русистика по некоторым кардинальным вопросам теории продолжает обходиться школьными представлениями старых университетских курсов, не замечая того, что мировая славистика давно ушла от них и что в науке открылись новые пути. Сказанное мной имеет самое прямое отношение к проблеме (или дилемме) **архаизмов и инноваций**, потому что существуют в нынешней, в нашей русистике тенденции, подогреваемые страстями и ненаучными комбинациями, – тенденции наивно (или расчетливо?) отождествлять вторичность освоения русскими своих жизненных пространств и сам генезис языка и языковых явлений в целом, распро-

страняя также и на эти последние характеристику вторичности, инновационности.

Между тем внимательные слависты, когда они обращаются к русской проблематике, обращают внимание в первую очередь на русские архаизмы – не потому, что их как "древников" только архаизмы и интересуют, а ввиду характерности архаизмов для русского языкового развития, закономерно представляющегося им в облике диалектного континуума с периферийным (прежде всего – севернорусским) сохранением ряда архаизмов [69].

В славистике уже давно высказано мнение, что **все восточнославянское языковое пространство в целом целесообразно рассматривать как периферию общеславянского ареала** (Т. Милевский). Понятно при этом, какой осмотрительности требуют популярные в нашем языкознании последних лет севернорусские, новгородские языковые явления, поскольку здесь перед нами как бы периферия периферии, то есть сугубая периферия. От языковедов сейчас естественно ожидать более эффективной работы с архаизмами языка, более адекватной их оценки. В этой области уже сейчас возможны совершенно однозначные, точные заключения, например: "Сохранение праславянских групп согласных **dl, tl*, охватывающее все нынешние западнославянские языки (включая некоторые северозападнословенские и севернорусские диалекты), во всяком случае, не является доказательством существования особого "западнославянского" диалектного единства в собственном смысле этого слова. Речь здесь идет единственно о праславянском архаизме, которому с другой стороны противостоит упрощение этих групп в *-l-* в качестве явной позднепраславянской инновации" [70, с. 4]. Для нас очень важна констатация того в общем элементарного с точки зрения теории лингвистической географии положения, что, будучи **общим архаизмом**, сохранность сочетания *-dl-* **не может служить доказательством единства даже западнославянской группы языков**, для которой это *-dl-* есть одна из характернейших черт. Надо ли говорить, что случаи периферийной сохранности *-dl-* в северозападных русских говорах ни в какой мере ни о каком "западнославянском" генезисе этих русских говоров не свидетельствуют? – Оказывается, надо, потому что существует стремление чрезмерно обобщать "западнославянские" созвучия этих и им подобных севернорусских (псковских, новгородских) диалектных архаизмов (например, 2-ю палатализацию задненебных, вернее – ее неосуществление), вырывая их из русского лингвистического и лингвогеографического контекста.

Я думаю, не очень ошибусь, если скажу, что разыскания славистов в области так называемой метатезы плавных остались почти неизвестны нашим русистам, судя по отдельным русистским публикациям последнего времени на эту тему. А ведь речь идет об области интенсивно углублявшихся научных представлений славистики ряда последних десятилетий. Работы Лер-Сплавинского, Милевско-

го, Мареша подводят нас к реконструкции уже для праславянского, вместо канонической формулы *tort, tolt,* формулы типа *set̥* (с наличием шва) *torət, tolət* или даже "полногласной" формулы *tarat, talat.* Это последнее вероятие неплохо контролируется на примере заимствования славянскими диалектами конца VIII–начала IX в. такого изначально "полногласного" по форме иноязычного имени, как *Carolus (Magnus), Карл Великий,* давшего славянские названия королевского титула (русск. *король* и т.д.). Таким образом, делается очевидным, что по крайней мере часть праславянских диалектов (и восточнославянские – в их числе) **не знала метатезы плавных** [70, с. 8]. Революционность этого положения для формальной реконструкции, для исторической фонетики, наконец, для этимологии, трудно переоценить. **То, что называется русским (восточнославянским) полногласием** и всегда традиционно считалось наиболее продвинутым, инновационным славянским состоянием, **оказывается классическим периферийным архаизмом. Строгая характерность полногласия для всех восточнославянских языков и диалектов** имеет, в конечном счете, самое непосредственное отношение и к **восточнославянскому этногенезу.** На фоне очень кратко упомянутого выше систематического, профессионального изучения проблемы сочетаний гласных с плавными в славянских языках представляются удивительно поверхностными имеющие место в последнее время опыты интерпретации восточнославянской метатезы плавных, "вершиной" которой является **гетерогенная теория полногласия**, каковую по здравом размышлении остается отвергнуть, как и утрированную гетерогенную теорию древнерусского этногенеза того же автора. Я имею в виду статью под названием "Загадка восточнославянских редуцированных" Г.А. Хабургаева [71], в которой автор, в сущности, заодно пытается решить и загадку восточнославянского полногласия, причем делает это, похоже, в полном неведении собственно славистической стороны проблемы и имен, названных мной выше (взять хотя бы один только широко известный и изданный на разных языках труд Ф.В. Мареша по праславянской фонологии). Результат подобной теоретической "подготовленности" не замедлил сказаться: восточнославянское полногласие Хабургаев приписывает "коррекции неопределенного по качеству гласного кратким гласным тождественных балтийских корней". Все это удивительно по степени вульгаризации, впрочем, как и гетерогенная этногенетическая база, которую он подводит ad hoc под эту фонетическую интерпретацию (разумеется, смешение славян с балтами). Говорить о "коррекции" восточнославянского полногласия балтийскими краткими гласными может только тот, кто не знает собственных, еще индоевропейских истоков праславянских интонаций (акут) и по-прежнему игнорирует довольно давние результаты славистики и индоевропеистики о реальности своеобразного "полногласия" уже на праславянском уровне, а двухсложности – в ряде случаев – на индоевропейском уровне,

ср. этимологическое и интонационное тождество русск. *берёза* – лит. *béržas* – и.-е. **bherəĝ-*. Уже одного примера с названием березы достаточно, чтобы понять, как по-разному рефлексировалась акутовая долгота корня в славянском и балтийском, чтобы видеть, насколько несерьезны попытки выдать за гетерогенную позднюю балто-славянскую смесь самобытное, генетически – праславянское и индоевропейское явление в русском языковом развитии.

Огорчительно, что подобной непрофессиональной аргументацией (сюда же безоговорочно и – безосновательно относимые якобы "западнославянские" черты в новгородском диалекте, см. выше) пытаются подкрепить свои чрезвычайно ответственные выводы о вторичном, позднем сложении русского языка из гетерогенных компонентов. Но все рушится, стоит лишь заняться серьезной научной проверкой их аргументов. Возьмем одно, этногенетически чрезвычайно броское и далекоидущее положение этой гетерогенной теории истории русского языка и русского этногенеза, а именно утверждение о якобы двух этноязыковых потоках по Днепру – с севера и с юга. Но вот уже скоро три десятка лет исполнится с выхода книги, внимательного чтения которой было бы достаточно, чтобы понять всю бессмысленность этой концепции генезиса древнерусского языка из двух разных потоков. Я уж не говорю о потоке "с севера"; это вообще фантазия, не подкрепленная ничем. Но и альтернативно допускаемая гетерогенистами мысль о приходе второго потока "с запада" ничуть не более обоснована, чем "с севера", и книга по гидронимии Верхнего Поднепровья [72] совершенно конкретно опровергает ее на уровне фактов (и делает это тем объективнее, что тогда, в 1962 г., эта дискуссия еще не начиналась): "...западная часть Верхнего Поднепровья лежала в стороне от основных магистралей, по которым осуществлялось восточнославянское продвижение" (с. 20 книги). Такая типично славянская и весьма продуктивная словообразовательная модель в верхнеднепровской гидронимии, как, например, водные названия с суф. *-ка*, **выразительно затухает как раз в направлении к западу от основного течения Днепра, что в свою очередь делает крайне маловероятным допущение прихода славянского этнического элемента именно с запада. Славянами был раньше освоен район, примыкающий к течению Днепра с востока**, о чем свидетельствуют распространенные преимущественно на левобережье Верхнего Поднепровья также относительно старые и типично славянские гидронимы на *-ец* и *-ица*. Только так возможно интерпретировать и показания типично восточнославянской гидронимической модели с суф. *-ля* после губных (*-л'*- эпентетическое, на базе архаической модели с йотовым суффиксом принадлежности): **основной ареал славянского распространения и освоения – к востоку от Днепра**.

На этом можно и кончить споры о "великорусах Великого Новгорода", открытых, безусловно, локальным влияниям с Запада, но

пришедших в общерусском потоке с днепровского Юга, если иметь в виду споры ради истины, а не споры ради споров, навязываемые подчас с какой-то совсем другой целью.

Таким образом, заключая эти наблюдения по древней культуре и этногенезу глазами этимолога, приходится сказать (или – повторить), что сейчас как никогда ощущается надобность в проверке и преодолении прямолинейных заключений по всему циклу наук о человеке. Экспансия этноса оказывается вовсе не синонимичной ускоренному языковому развитию, скорее – наоборот, и, vice versa, малая подвижность этноса совсем не гарантирует архаичности его языка. В археологии – распространение изделий еще не есть распространение (миграция) самих людей, как это подчас упрощенно понимают, принижая древнюю торговлю, культурное влияние, наконец, моду. Накопился большой критический материал **против статичности** социальной истории индоевропейцев, в их числе – славян, против мнимо извечной трехчастности/трехклассовости древнего общества; этому статизму имеет смысл противопоставить идею неравномерности общественного развития и **диалектологию культуры**. Все более странно и нереально воспринимается концепция "курганной" школы археологии Марии Гимбутас о приходе в "Древнюю Европу" V тыс. до н.э., населенную культурно развитым, но социально нерасчлененным (?) населением, более примитивных культурно, но почему-то социально дифференцированных скотоводов-индоевропейцев, – картина настолько маловероятная, что кажется не так уж важным, откуда теоретики ведут этих индоевропейцев – из Восточной Евразии или – из Восточной Анатолии. Число 'три' продолжает утрированно фетишизироваться, будь то три класса, три племени, три части этноса (как в случае со Славией, Куявией, Артанией восточных реляций о восточных славянах), из древних этнических преданий вычитывается гораздо больше, чем, возможно, в них заложено (вплоть до полной космизации этих документов родоплеменной памяти в трудах нынешних теоретиков), но это уж, наверное, неизбежные издержки...

Нас же по-прежнему привлекает изучение недооцениваемых обычно при этом **внутренних стадиальных возможностей** как языка, так и этноса, его культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. М. Беранова у: *Малингудис Ф.* За материалната култура на раннославянските племена в Гърция // Исторически преглед, кн. 9–10. С. 67.
2. *Conte F.* Les Slaves. Aux origines des civilisations d'Europe centrale et Orientale (VI–XIII siècles). Ed. Albin Michel. Paris, 1986.
3. *Martinet A.* Des steppes aux océans. L'indo-européen et les "Indo-Européens". Paris, 1986.
4. *Pisani V.* Indogermanisch und Europa. München, 1974: Exkurs II. Deutsch *Pflug* und verwandte Wörter.

5. *Нидерле Л.* Славянские древности. М., 1956.
6. *Wojtilla Gy.* Notes on Indo-Aryan terms for "ploughing" and the "plough" // The Journal of Indo-European studies. Vol. 14, Nos. 1–2, 1986.
7. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. I–II. Тбилиси, 1984. См. еще: *Sędzik W.* Prasłowiańska terminologia rolnicza. Rośliny uprawne. Użytki rolne. Wrocław etc. 1977. C. 104.
8. *Вавилов Н.И.* Происхождение и география культурных растений. Л., 1987.
9. *Hehn V.* Cultivated plants and domesticated animals in their migration from Asia to Europe. Amsterdam/John Benjamins B.V., 1976.
10. *Walde A., Hofmann J.B.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 5. Aufl. Bd. II. Heidelberg, 1972.
11. *Прицак О. Lenzen-in* Константина Порфірородного // Symbolae in honorem O.Y. Shevelov (Universitas libera Ucrainensis. Facultas Philosophica. Studia. T. 7). München, 1971.
12. *Horálek K.* // VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu. l. Praha, 1970.
13. *Rowlett R.M.* Grave wealth in the Horodenka group of Sub-Carpathian corded ware // Proto-Indo-European: The archaeology of a linguistic problem. Studies in honor of Marija Gimbutas. Washington, D.C., 1987.
14. *Топоров В.Н.* К реконструкции древнейшего состояния праславянского // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1988.
15. IV Международный съезд славистов: Материалы дискуссии. Т. II. М., 1962.
16. Levin J.F. // IX Международный съезд славистов. Резюме докладов и письменных сообщений. М., 1983. С. 206.
17. Baltistica XXIV (1), 1988. С. 11 и сл.
18. *Kučera M.* // Československá slavistika 1988.
19. *Mrożek S.* Polska w obrazach. Kraków, 1957. C. 64–65. Цит. по: Z otchłani wieków LI, N 3–4, 1985. C. 146.
20. *Trubačev O.N.* // Zeitschrift für Slawistik 32. 1987. 6. C. 911 и сл.
21. *Десницкая А.В.* // IX Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Языкознание. Киев, 1986.
22. *Godłowski K.* // Z otchłani wieków LI. N 3–4, 1985.
23. *Tabaczyński* S. // Z otchłani wieków LI. N 3–4, 1985.
24. *Kunstmann H.* // Die Welt der Slaven, Jg. XXX, 2. München, 1985. S. 235.
25. Birnbaum H. // The Journal of Indo-European studies, Vol. 12. No 3–4, 1984.
26. *Birnbaum H.* // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXVII–XXVIII. Нови Сад, 1984–1985.
27. *Birnbaum H.* and *Merrill P.T.* Recent advances in the reconstruction of Common Slavic (1971–1982). Columbus, Ohio, 1985.
28. *Бирнбаум X.* Праславянский язык. Достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987.
29. *Birnbaum H.* // Slawistyczne studia językoznawcze F. Sławskiemu. Wrocław etc. 1987.
30. *Birnbaum H.* // Zeitschrift für slavische Philologie. Bd. XLVI (M. Vasmer zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages), 1986.
31. *Birnbaum H.* // Festschrift für H. Brauer. Köln, Wien, 1986.

32. *Mańczak W.* Praojczyzna indoeuropejska // Studia nad etnogenezą Słowian. T. 1 (отд. отт.).
33. *Зоговиќ Соња.* // Зборник посветен на Бошко Бабиќ. Прилеп, 1986.
34. *Hensel W.* Die Weichsel in der Urgeschichte // Slovenská archeológia XXXIV – 2 (K životnému jubileu akademika Bohuslava Chropovského), 1986. C. 239 и сл.
35. *Хензел В.* // Прилози [Македонска ахадемија на науките и уметностите. Одделение за општествени науки] XIV, 1–2. Скопје, 1983. С. 5 и сл.
36. *Hensel W.* Skąd przyszli Słowianie? // Z otchłani wieków LI. N 3–4, 1985.
37. *Никольский Н.К.* Повесть временных лет как источник начального периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании. Вып. 1. Л., 1930 (= Сборник по русскому языку и словесности. Т. II, вып. 1).
38. Словарь русских народных говоров. Гл. ред. Ф.П. Филин.
39. ЭССЯ. Вып. 2. М., 1975.
40. *Трубачев О.Н.* Ранние славянские этнонимы – свидетели миграции славян // ВЯ 1974. № 6.
41. *Санчук Г.Э.* Некоторые итоги и перспективы изучения Великой Моравии // Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. М. 1985. С. 7.
42. *Гавлик Л.* Государство и держава мораван // Там же. С. 96, 99.
43. *Boba I.* Moravia's history reconsidered. A reinterpretation of medieval sources. The Hague, 1971.
44. *Boba I.* // Die slawischen Sprachen. Bd. 8. Salzburg, 1985. S. 5 и сл.
45. *Boba I.* The episcopacy of St.Methodius // Die slawischen Sprachen. Bd. 8. S. 21 и сл.
46. *Boba I.* Constantine-Cyril, Moravia and Bulgaria in the Chronicle of the priest of Dioclea (comments on a controversial source) // Palaeobulgarica / Старобългаристика. IX. 1985. l. C. 59 и сл.
47. *Bowlus Ch.R.* // Die slawischen Sprachen. Bd. 10, 1986.
48. *Кронщайнер О.* // Език и литература 1987/3.
49. *Stanislav J.* Dejiny slovenskeho jazyka. I. Úvod a hláskoslovie. Tretie, doplnené vydanie. Bratislava, 1967.
50. *Трубачев О.Н.* Названия рек Правобережной Украины. Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация. М., 1968.
51. *Lehmann W.* A Gothic etymological dictionary. Based on the third edition of Vergl. Wb. der got. Spr. by S. Feist. Leiden, 1986.
52. *Vasmer M.* Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Bd. II. Berlin, 1971.
53. *Schramm G.* Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. Stuttgart, 1981.
54. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. Изд. 2. Т. I–IV. М., 1986–1987.
55. *Kiss L.* Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1978.
56. *Dickenmann E.* Studien zur Hydronymie des Savesystems II. Heidelberg, 1966. S. 45.
57. *Bezlaj F.* Slovenska vodna imena. II. del. Ljubljana, 1961. S. 32–33.
58. *Mayer A.* Die Sprache der alten Illyrier. Bd. I–II. Wien, 1957–1959.
59. *Krahe H.* Indogermanisch und Alteuropäisch // Die Urheimat der Indogermanen. Herausgegeben von A. Scherer, Darmstadt, 1968. C. 426 и сл.

60. *Сараджева Л.А.* Армяно-славянские лексико-семантические параллели. Ереван, 1986.
61. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Bern und München, 1959.
62. *Van Windekens A.J.* // KZ. Bd. 90. 1–2. 1976. S. 12 и сл.
63. *Georgiev V.* // Acta Antiqua Ac. Sc. Hung. XVI. 1968. S. 13–14.
64. *Hamp E.P.* // Glotta. Bd. L. 3–4, 1972.
65. *Frisk Hj.* Griechisches etymologisches Worterbuch. Bd. I. 2. Aufl. Heidelberg, 1973.
66. *Chantraine P.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. 1–2. Paris, 1968.
67. *Buck C.D.* A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages[3]. Chicago and London, 1971.
68. *Bonfante G.* La propatria degli Slavi. Wrocław etc., 1984 (= Accademia Polacca delle scienze. Biblioteca e Centro di studi a Roma. Conferenze, 89).
69. *Kronsteiner O.* // IX Международный съезд славистов: Резюме докладов и сообщений. М., 1983. С. 60.
70. *Schuster-Šewc H.* Die späturslawischen Grundlagen des Lechischen mit besonderer Berücksichtigung des Polabischen und Pomoranischen // Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad A. Č. 35. 1988.
71. Slavia Orientalis. XXXIII. N 3–4. 1984. S. 341 и сл.
72. *Топоров В.Н., Трубачев О.Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЭТНОГЕНЕЗ И КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯН*

1. Нынешнее сообщение одноименно с книгой, изданной недавно (Москва: "Наука", 1991), объединившей результаты работ на данную тему за последние десять лет. Именно тогда окончательно созрела уверенность в необходимости аргументированно отстаивать однозначную формулировку "Древние славяне на Дунае" (такова, кстати, тема доклада, заявленного мной для очередного, XI Международного съезда славистов 1993 г. в Братиславе). Предлагаемая проекция прародины, или древнейшего ареала славян на Средний Дунай выросла, смею заверить, не из каких-то пристрастий, симпатий и антипатий и уж, конечно, не из "ложно понятого патриотизма", хотя именно его, как это ни удивительно, пытались мне приписать. Слепой патриот своего отечества, думаю, не стал бы так явно конфликтовать с географией и, естественно, стал бы стремиться расселить наших предков, скажем, обязательно в Поднепровье, а то и на Оке и на верхнем Дону, так сказать, в Рязанской и Московской губерниях и их ближайших окрестностях, как мы это наблюдаем в трудах нашего известного коллеги, польско-американского ученого, чикагского профессора Збигнева Голомба. Логично, что поиски самобытного давнего языкового, этнического и культурного прошлого славян в корне расходится с концепцией, готовой "пренебречь участием славян" (я цитирую формулу из доклада В.Н. Топорова для последнего, X Международного съезда славистов; доклад этот, не скрою, огорчил меня не столько своим постулатом древнего "несуществования" славян отдельно от балтов, другого я и не ждал, огорчительным оказалось полное отсутствие новых, свежих научных аргументов).

2. Таким образом, я – за поиски истоков славян в ретроспективе древнейших индоевропейских отношений. Нельзя не видеть и не отдавать себе отчета в том, что многие думают иначе. При этом необходимо разобраться в сущности этого противоположного взгляда, а не подавлять его эмоциями, как это, например, делает иногда мой

---

* Расширенный текст доклада на конференции по славянской археологии (Псков, апрель 1991 г.).

оппонент. Противоположный взгляд нередко выступает в форме ходячего мнения о славянском, о праславянском как "молодом типе" языка; впрочем, здесь обозначилась своеобразная динамика за последние несколько лет. Так, если положение о "молодом типе" праславянского языка было довольно популярным, даже заглавным для некоторых докладов на IX, киевском Международном съезде славистов, этого уже нельзя было сказать о X, софийском МСС. Лично я решительно не согласен с названным положением и мог бы обосновать кратко свое мнение указанием на то, что славянскому языковому типу свойствен в высокой степени такой параметр, как преобразованный архаизм. Свойство человеческого языка вообще – изменяться, оставаясь самим собой – присуще разным языкам все-таки в неодинаковой степени, и мы должны считаться со своеобразием каждого отдельного случая. Так, если для правильного понимания славянских языков необходима индоевропейская ретроспектива, то для языков, представляющих явно дочернюю стадию, каковы романские или даже новоиндийские языки, надобность в такой ретроспективе очень невелика. И тут дело не в древности письменной традиции, на которую нам сразу укажут, имея в виду латинский и древнеиндийский. Дело в том, что и в последних мы находим немало новообразований. В лингвистике получили большое развитие реконструкция и типология. Они весьма раскрепощают научное мышление, в частности, его зависимость от письменной формы или ее отсутствия. Это имеет выходы и в другие дисциплины науки о человеке и истории его культуры. Прямолинейностью и неверием в возможности науки грешат те лингвисты, которые вновь и вновь возвращаются к факту неупоминания славян по имени до VI века, делая отсюда заключение, что славян до этого и не было вовсе, или историки, датирующие появление консолидированных славян с момента последнего упоминания антов в письменности, или археологи, которые полагают, что раньше времени распространения пражской керамики (VI век или около того) говорить о славянах нельзя. Имен и трудов я здесь приводить не буду, примеры достаточно известны.

3. Но один свой пример славянско-индоевропейской ретроспективы, а также реконструкции и типологии, причем не только историко-лингвистической, но и историко-культурной, я все же приведу именно в связи с этим. В одном позднем письменном памятнике – сочинении болгарского книжника XVIII в. Паисия Хилендарского "История славено-болгарская" – всему изложению предпослан призыв, на мой взгляд, знаменательный: "Ты, болгарине, не прелащаи се! Знаи свои родъ и ѩзикъ". Я много писал, в том числе и в упомянутой своей книге, о слове *свой* как ключевом для истории славян и их культуры, истоки чего коренятся еще в древнеродовой идеологии. В формуле болгарского книжника – *знаи свои родъ* – как в сгустке представлена квинтэссенция всего того, что мы способны сказать по реконструкции древней культуры, вплоть до забытой почти языком

такой архаической особенности глагола *знать*, как первоначальная отнесенность к человеку, кровному родственнику. Проявилась здесь и чрезвычайная прочность атрибута *свой*, сглаженная в грамматическом развитии других – романских, германских языков, где возобладала более новая модель: 'ты' – 'твой' (в славянских сохранилась архаичная свободная модель: 'ты' – 'свой'). Короче, перед нами первая заповедь еще древнеродового устройства: сказанное Паисием в XVIII в. – *знаи своu родъ* – мы можем без запинки перезаписать как праславянское: **znajь svojь rodъ*. Более того, нельзя не видеть явной индоевропейской природы этого текста (ибо перед нами реконструируемый текст, а не одно восстановленное слово). В праславянском здесь осуществилось новообразование, появилось новое слово или локальный диалектизм **rodъ*, иначе говоря, менее устойчивое определяемое имя было заменено, а определение *свой*, о прочном статусе которого я пишу в другом месте, уцелело. Что это, вероятно, так и было, говорит сам результат предлагаемой нами для этого случая простой реконструкции – получаемая индоевропейская формула – figura etymologica (когда глагол и имя в одном выражении имеют одну этимологию): **ĝnō- su̯om ĝenom*, – что значит: 'знай свой род'.

4. Я продолжаю считать актуальным вопрос, бегло затронутый выше, – о вреде слишком прямолинейных научных постулатов, воздействие которых так трудно преодолевается, но учитывать это необходимо. Здесь имеются в виду схемы этноязыкового развития из постулируемого исходного единства, хотя разными специалистами уже давно замечено, что количество языков и народов в древности было отнюдь не меньшим, по крайней мере, а значит, настаивать на прямом, однонаправленном развитии неразумно. Справедливо, с другой стороны, положение, что у колыбели каждого более или менее значительного этноса было не первоначальное единство, а наоборот – так называемый colluvies gentium, стечение народов. Уже писалось, и поэтому не хочется повторяться о том, что периоды особой подвижности во внешней истории этноса как раз не влекут за собой ускорения развития языка, а компенсируются замедлением этого развития и – наоборот (вспомним ходячее убеждение, что революционные эпохи революционизируют и язык). Специалисты готовы признать (или, наоборот, – отрицать) факт этнического контактирования или освоения территории только при наличии/отсутствии массовых свидетельств. На этом, похоже, построена новая концепция "вакуума заселения", успешно вытесняющая на наших глазах классический автохтонизм в польской науке, к чему мы еще предполагаем вернуться далее. Пока же заметим лишь, что если археологам для признания этнического передвижения желательны массовые показатели, в реальной древней истории освоений они далеко не всегда преобладали, и приходится поневоле прислушиваться к поучительным высказываниям в том духе, что даже освоение индоевропейцами такого субконтинента, как Малая Азия, осуществлялось

небольшими этническими группами, и археологически оно фиксируется очень слабо, если фиксируется вообще. Чрезвычайно отрадными выглядят поэтому нестандартные наблюдения, обнаруживающие понимание действительного факта непрямолинейных связей, всякого преломленного отражения или того, что я как лингвист назвал бы анизоморфизмом разных уровней; в качестве положительного примера хочу назвать меткое наблюдение археолога Неуступного, что военные укрепления строятся не во время военных конфликтов, а наоборот – в мирную полосу, о наличии которой и свидетельствует сама возможность их построения.

5. Как бы то ни было, изучение опыта других дисциплин сохраняет свою актуальность. Среди лингвистов убеждение в изначальности диалектологического членения языка зародилось прежде всего у индоевропеистов, и оно представляется весьма продуктивным методологически. Хотя и сегодня авторы новейшего фундаментального труда об индоевропейском языке и индоевропейцах широко оперируют понятием первоначального индоевропейского праязыкового единства и общности, уже ясно, что это не более как исследовательская условность и самооблегчение. Гораздо более серьезный интерес для нас представляют голоса об изначальной полидиалектности и полиэтничности, ср. упоминавшийся древний colluvies gentium, мнение об исходной этнокультурной многокомпонентности тех же германцев и т.д. Археологам, по-видимому, нелегко расставаться с удобным понятием исходной монокультуры, хотя неизбежность смены этого понятия понятием древних культурных диалектов своего рода очевидна.

6. Праславянский язык – это самобытный индоевропейский диалект, а праславянская культура – диалектный вариант индоевропейской культуры. Архаичность праславянской культурной стадии выражается в том, что развитые религиозные понятия и соответствующие термины появились относительно поздно и не без внешнего культурно-языкового влияния (славяно-иранские контакты, около середины I тыс. до н.э. и позже). Примерно этим временем целесообразно датировать появление двучленных имен богов. Популярные попытки вывести праслав. **stri-bogъ* из индоевропейского имени ‘бога-отца’ **pəter*, **pətri-* явно анахроничны, да и сама реконструкция имени ‘неба-отца’ – **dieu̯(s)-pəter-*, имеющегося в некоторых особо развитых, богатых индоевропейских региональных культурах, никак не может переноситься в праиндоевропейскую, а тем паче – в “общеиндоевропейскую” древность. Примат древности должен быть признан за молчаливым почитанием божеств, уклончивым (табуизированным) их упоминанием, в конечном счете – отсутствием даже такового, за примитивным культом предков. Именно в этой архаике смыкаются данные славянского и латинского словаря, я имею в виду прежде всего соответствия слав. **gověti* и лат. *favēre*, пара этимологически родственных терминов, первоначально отно-

сящихся к обряду набожного молчания и почитания, и другая важная этимологическая пара соотвествий, на которые я хотел бы также обратить внимание: слав. **manъ/*mana* – лат. *manes*, последние целиком относятся к культу предков, с восстановимым происхождением от общей глагольной основы, обозначающей знаки, в том числе знаки рукой (подробнее сейчас с этим нашим толкованием можно ознакомиться в 17 выпуске Этимологического словаря славянских языков). Иными словами, здесь восстанавливается сам механизм зарождения культа предков. Исключительное значение таких культурных и языковых встреч трудно переоценить. Балты в этих соответствиях не участвуют; предполагается, что уже со II тысячелетия италики начали освоение Апеннинского полуострова. Значит, можно допускать осуществление этих древнейших славяно-латинских контактов в III тыс. до н.э. Неслучайно отнесение к этим контактам также древнейшей изоглоссы из области обозначений явлений природы – разливов воды: лат. *pal-ūdem* (терминологизировалось как обозначение болота) – слав. **pola voda*, **polovodьje*. Завершая этот сюжет, хочу заявить, что, работая над этимологией этой и смежной, действительно архаичной лексики, я давно уяснил себе необходимость дистанцироваться от красивых схем новой сравнительной индоевропейской мифологии Жоржа Дюмезиля и его школы с ее трехсословным обществом на земле и трехчастным пантеоном на небе, священными царями-жрецами и славословием героев, по сути же своей – транспозицией отдельных высокоразвитых социально-мифологических традиций (индоиранской, греческой, древнеримской) в праиндоевропейскую древность, к которой, как мне кажется, гораздо ближе простейшая культура, вскрываемая бегло упомянутыми латинско-славянскими этимологиями.

7. Кроме идеологии рода (ср. выше у нас кратко о лексике *свой, свой род*), можно говорить о разнообразных, порой даже необычных отражениях идеологии древнего земледельческого общества в славянской лексике. Среди них выделим интересное с разных точек зрения название крупнейшего племенного союза западных славян, данное ему другими соседями-славянами, – **lędjane*, собственно ‘обитатели целины’ (праслав. **lęda*, **lędo*). Название это (никогда, кстати, не бывшее самоназванием! *ляхи* сами себя *ляхами* не звали) отражает прекрасно и упомянутую идеологию земледельца, и очевидную для называвших вторичность появления польских славян на своих землях. Спрашивается, откуда? Ясно одно, – что славяне в целом ориентировались на древний дунайско-приальпийский очаг земледелия как в совершенствовании пахотных орудий (именно здесь зародился славянский термин **plugъ* как ‘плывущий’ – ввиду ускоренного прохождения борозды), так и в сортах злаков и в их названиях (невымолачиваемая пшеница-полба, потом потесненная и полузабытая, но первоначально, видимо, влиятельно профилировавшая зерновое хозяйство наших предков, уж если сама пшеница,

хлебный злак № 1, славянами была наречена не по светлому цвету, как, скажем, в германских языках, а по этому признаку **пшения, пихания*, невразумительному для нас теперь, но глубоко осмысленному для называющих тогда, ибо имелось в виду более легкое, чем у полбы, шелушение, вымолачивание половы, мякины у пшеницы). На этих центрально-европейских, среднедунайских землях сложилось, думается, и славянское название ржи – **rъžъ*, этимологически – **rъ-g-*, **ru-g-*, родственное глагольному корню со значением ‘рвать’, то есть ‘рвущая, портящая (пшеницу)’. На мысль о такой этимологизации славянского обозначения ржи навели меня чрезвычайно поучительные и лингвистически корректные наблюдения Н.И. Вавилова над многочисленными названиями ржи именно как ‘рвущей, дерущей злаки’ в языках Ирана, Афганистана и в целом – над продвижением ржи к северу и переходом ее там, на севере, из сорняков в полезные злаки. Передаточную роль при продвижении сельскохозяйственных культур из благодатных стран Передней Азии к северу, как и в других случаях, прекрасно выполнял европейско-азиатский мост Босфора. Видимо, оправданно мнение, что более северные германцы вначале не имели ржи (ясторфская культура) и получили ее уже от славян, возможно, вместе с разобранным выше названием.

8. Культура металлов у славян позволяет построить свою относительную культурную хронологию. По-своему характерно, например, схождение славянского и армянского не в названии металла ‘железо’, а только в исходном для последнего – дометаллическом – названии органического комочка ‘железы’ (‘*железá*’ по-армянски – *geɫj*). Ареальное индоевропейское название золота объединяет с очень раннего времени славянский с германским, с какого-то момента – с латышским, возможно – с фракийским (единственный при этом вероятный эпицентр древней добычи и знакомства с золотом – Трансильвания, то есть Подунавье). “Аргумент меди” (как можно выразиться в этом случае) очень четко и очень рано разводит славянский и балтийский (убедительное изначальное наличие чуждых друг другу названий: слав. **mědь*, лит. *vãrias* ‘медь’, лтш. *vaŗš*). Лишь достоверно поздний металл ‘железо’ представлят инновационное обозначение, общее для славян и балтов (слав. **želězo*, лит. *geležìs*, лтш. *dzèlzs*, др.-прусск. *gelso*), а эпоха железа (начало – около середины I тыс. до н.э.) – наиболее вероятный terminus postquem балто-славянского ареального сближения. Название металла ‘серебро’ объединяет славян с германцами и балтами, но совершенно очевидно, что речь при этом идет не об общем исконнородственном термине, а о бродячем культурном заимствовании слав. **sьrebro*, лит. *sidãbras*, лтш. *sudrabs*, гот. *silubr*, нем. *Silber* с Востока, при передаточной роли индоариев Северного Причерноморья, причем наше внимание привлекло местное название Σιβριάπα (у Птолемея, на Кубани), предположительно читаемое нами как ‘чистая вода’, кото-

рое, видимо, и сыграло свою формирующую роль при возникновении перечисленных выше североевропейских названий серебра. Этот случай интересен как пример дальности торговых коммуникаций. О роли Кубани и Предкавказья в распространении серебра в Европе независимо от моих этимологических поисков писали и западные исследователи. Имеющиеся у Гамкрелидзе–Иванова (II, 715, примеч. 2) сближение европейского названия серебра с груз. *wercxl-* 'серебро' не отвечает этимологическим требованиям и не может быть принято, поскольку грузинское слово само скорее всего заимствовано из индоевропейского источника в Передней Азии (ср. Климов Г.А. Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964, с. 63–84).

9. Если ставить вопрос о локализации древнейших славянских этнических контактов (ср. выше прежде всего древние латинско-славянские соответствия), то мы должны будем обратиться к Дунаю как некой оси размещения древних индоевропейских диалектов, идет ли речь о прагреках (проблема данайцев), праармянах, истоки которых тоже ищут вблизи Дуная. К славянам имел отношение прежде всего Средний Дунай. Название этой великой реки, представленное у славян в двух ареальных вариантах – **Dunajь* (преимущественно северное) и **Dunavь* (преимущественно юго-восточное, болг., макед., сербохорв.), как бы спустилось к славянам с Верхнего Дуная, из кельтско-германского ареала, при посредствующей роли германского (или готского) **Dōnawi-*. Нижний Дунай первоначально славянам не был знаком, а равно и его древние названия Ἴστρος, Ματόας, видимо, дакского, фракийского (восточно-балканско-индоевропейского) происхождения, дошедшие до нас исключительно в свидетельствах греческой письменности. Интересно проследить и дальше степень знакомства славян с Нижним Дунаем. На первый взгляд, она кажется давней и интимной. Во всяком случае, болгарско-древнерусские контакты на глазах истории осуществлялись через Нижний Дунай. В традиционной славистике восточные и южные славяне сначала представляли единство, которое локализовалось теоретически на Украине, откуда – по крайней мере – восточная часть южных славян прошла затем на Балканы через низовья Дуная. Иногда прямо говорят о восточнославянских племенах или восточнославянских влияниях в Болгарии. Все ли было так в действительности? Недавно польский лингвист В. Маньчак, выделяющийся своими неортодоксальными взглядами, попытался объяснить так называемое "румынское чудо" (сохранение восточнороманского элемента как главенствующего на нижнедунайском Левобережье) тем, что не было традиционно принимаемых двух славянских потоков на Балканы, был лишь один – западный, со Среднего Дуная на Юг, и это дало возможность романскому элементу на Нижнем Дунае уцелеть, в то время как в западной части Балканского полуострова были ассимилированы славянами и балканороманский, и автохтонный балканский эле-

менты. Болгарские славяне начали проникать на собственно румынские территории лишь с юга и притом – не раньше VIII–IX веков (Mańczak W. Pourquoi la Dacie, au contraire des autres provinces danubiennes, n'a-t-elle pas été slavisée? Vox Romanica 47, 1988, p. 27). Совершенно независимо от Маньчака и на своем ономастическом, топонимическом материале пришел к аналогичному заключению болгарский лингвист Й. Заимов, по мнению которого, топонимические данные не подтверждают этот так называемый "второй прорыв", или поток славян через Нижний Дунай в Болгарию с севера, наоборот, все известные данные говорят за то, что славяне сначала спустились со Среднего Дуная до Македонии, откуда потом часть из них двинулась на восток-северо-восток, осваивая собственно болгарские территории (Заимов Й. Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. София, 1967, с. 100 и сл.; Он же. Български географски имена с -jь. София, 1973, с. 63, 156; Он же. Българските водни имена като извор за етногенезиса на българския народ // Hydronimia słowiańska. Wrocław, etc., 1989, с. 118).

10. Многое говорит за то, что расселение славян осуществлялось из Среднего Подунавья, причем в различных направлениях – к югу, как уже было отмечено, и к северу, на север от Карпат, в том числе – по долине Вислы, которая осваивалась человеком с юга на север. Это освоение носило характер инфильтрации в северных направлениях не одних только славян; по-видимому, и раньше них, и практически параллельно с ними перемещались туда также части других этносов индоевропейского происхождения. Для этих регионов характерно было чересполосное сосуществование различных этнических элементов. Нет сомнений в том, что славяне были далеко не первыми индоевропейцами к северу от Судет и Карпат. Не только германцы в северо-западной части этого обширного региона, но и несомненное для науки наличие восточнее германцев некоего "третьего этноса", то есть не германцев и не славян, но в целом достаточно интенсивно контактировавших с первыми, а, возможно, и со вторыми, а позднее, видимо, вновь ушедших к югу, а частично и ассимилированных другими. В этой ситуации нет ничего более естественного как перенесение германцами имени этого промежуточного "третьего этноса" на постепенно замещавшее прежних обитателей славянство. Поскольку германцы стали звать своих славянских соседей явно чужим именем "венеды", мы можем утверждать, что мы знаем, как назывался упомянутый особый "третий этнос". Он носил имя "венеды", точнее (со снятием действия германского передвижения согласных) – "венеты". Это были индоевропейцы вероятной иллирийской принадлежности, так сказать, северные иллирийцы. Это уже давняя научная констатация, но если в свое время ученые с воодушевлением искали и находили повсюду следы этих иллирийцев, то затем, осудив это увлечение как "паниллиризм", стали интерпретировать порой одни и те же факты совершенно иначе. Этот пово-

рот совпал с опубликованием идеи существования "древнеевропейской" гидронимии (Ханс Краэ, начало 60-х годов). Эта, по-своему продуктивная концепция этнически слабодифференцированной индоевропейской гидронимии, прослеживаемой от Западной Европы до Центральной России и от Балтики до Северной Италии, последовательно разрабатывается В.П. Шмидом (Геттинген). Не имея возможности входить в подробности, укажу на недостатки концепции, которые со временем выступили явно: слишком переоценивая нивелированность "древнеевропейского" слоя, Шмид и его школа склонны категорически отрицать этническую специфику и не признают никаких иллирийцев на Севере Германии и в польских землях, зачисляя ее в "древнеевропейскую" гидронимию и топонимию праиндоевропейского происхождения. С этим, конечно, трудно согласиться; нельзя не заметить также, что, решая свои задачи, эти исследователи широко прибегают к устаревшей корневой этимологии, тем самым резко снижая вероятность своих выводов (Schmid W.P. Der Begriff "Alteuropa" und die Gewässernamen in Polen // Onomastica XXVII, 1982; Idem. Alteuropa und Skandinavien // Namenkundliche Informationen 56. Leipzig, 1989; Idem. Zum Namen der Dosse // Namenkundliche Informationen 58. Leipzig, 1990; Udolph J. Neues aus dem vorslavischen Substrat der polnischen Hydronymie // Zeszyty naukowe Wydziału humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Nr. 10, Prace Językoznawcze, 1984; Idem. Zu Deutung und Verbreitung des Namens *Dukla* // Beiträge zur Namenforschung, Bd. 23, H. 1/2, 1988; Idem. Die Stellung der Gewässernamen Polens innerhalb der alteuropäischen Hydronymie. Heidelberg, 1990).

А между прочим, сбрасывать со счетов этноязыковую специфику особых, неславянских индоевропейцев к северу от Судет и Карпат можно только в ущерб научной правде, которая состоит в наличии очевидных повторов ряда названий здесь и, так сказать, in Illyria proprie dicta; таковы *Дукля* в Карпатах и *Дукља* в Черногории и давно отмеченное тождество *Daleminze*, местность на востоке Германии, и *Dalmatia*, иллирийская область на адриатическом побережье (этимологизируется в связи с особым названием овцы в албанском). Столь же конкретной этнической идентификации и этимологизации требуют птолемеевские названия народов на позднейших польских землях – Βούλανες, ср. Βυλλίονες в Южной Иллирии, то есть попросту – в Албании, от иллирийского обозначения укрепленного поселения, далее, Κάρβονες, также ориентировочно в Польше античных времен, последнее, скорее всего, от иллирийского апеллатива со значением 'олень'. Смысл этих беглых заметок в том, что подобные индивидуальные образования конкретного, по всей видимости, языка нельзя зачислять в безликие "древнеевропейские" элементы либо обходить их вовсе молчанием по причине их неудобного своеобразия. Малоправдоподобен и этноисторический итог, к которому приходит школа В.П.Шмида, будто к северу от Судет и Карпат до

прихода туда славян были не конкретные живые индоевропейцы иной языковой принадлежности, а какой-то праязыковой (!) индоевропейский слой.

11. После сказанного нам легче будет, наверное, понять и оценить с нашей лингвистической точки зрения ситуацию в польской археологии, которая непосредственно занимается древностями к северу от Судет и Карпат. Из литературы мы можем почерпнуть информацию о том, что благодаря трудам, в основном, Годловского среди части польских археологов, а также лингвистов приобрела популярность концепция, пришедшая на смену польской автохтонистской теории, кризис которой, видимо, назревал давно (Godłowski K. Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim. Wrocław, etc. 1985; Rzetelska-Feleszko E. Perspektywy badań nad przedsłowiańskimi nazwami rzecznymi na obszarze Polski // Hydronimia słowiańska. Pod red. K. Rymuta. Wrocław, etc. 1989; Popowska-Taborska H. Przydatność badań językowych do rekonstrukcji wczesnych dziejów Słowian // Polszczyzna północno-wschodnia. Metodologia badań językowych (отд. отт.)). Тщательно документируя конец пшеворской культуры и увязывая его с оттоком германского населения к римским границам (юго-запад, юг) и с готской миграцией на Юг Украины, исследования этой школы сосредоточиваются на возникающем "вакууме заселения" (pustka osadnicza), протяженностью примерно около ста лет. Появление славянского населения датируется при этом лишь началом VI в., а сам постулируемый приход его с Востока изображается весьма схематично и недостаточно убедительно. Остается также для нас, лингвистов, неясным, как непротиворечиво увязать этот тезис о полном "вакууме", а значит, перерыве непрерывности и очевидную все-таки для всех преемственную связь и сохранность немалого числа различных дославянских индоевропейских следов в топонимии Польши. Абсолютной "пустоты", разумеется, не было. Полемическая заостренность против "автохтонизма" привела, похоже, к тому, что не принимается в расчет более ранняя (до VI в.) возможность славянской инфильтрации, которая могла и ускользнуть от внимания археологов; ведь сам Годловский тоже признает, что отсутствие археологических стоянок еще не говорит о незаселенности! Поэтому уместно напомнить, например, о взглядах В. Хенселя о непрерывности культурного развития этих территорий от римской эпохи и даже более ранних эпох до раннего средневековья, ввиду большей адекватности этих взглядов лингвистическим аргументам, свидетельствующим – я считаю долгом это лишний раз подчеркнуть – о реальности прямых венетско-славянских контактов (сюда же несохранившиеся названия племен и мест явно дославянского вида вроде *Licicaviki, Śrem* и др. в польской и соседних письменных традициях), а, следовательно, и о более раннем появлении здесь славян. Кроме того, лично у меня создалось впечатление, что В. Хенсель обнару-

жил гораздо большую готовность к диалогу, чем кто бы то ни было другой в современной польской археологии. Славянский этнос к северу от Судет и Карпат не только ассимилировал местных неславянских индоевропейцев, как это произошло с вероятными иллирийцами силингами (польск. *Śląsk* 'Силезия' < праслав. **sьlężьskъ* < **siling*-), но и вовлекал их в откатную волну своих миграций к югу, что случилось с неславянским племенем милингов, завуалированных, например, в названии деревни *Mlądz* под Варшавой, согласно удачной этимологии З. Штибера, из праслав. **mьlęg*-< дославянское **miling*-. Вместе с потоком славян, залившим Грецию, эти милинги дошли до юго-западной оконечности Пелопоннеса и там осели (Константин Багрянородный, De adm imp., X век, повествует о племени Μηλιγγά уже как о славянах).

12. Исследователи, которые помещают предположительный древнейший ареал балтов в верховьях Днепра и Оки (Бирнбаум, Голомб), явно недооценивают очень древние балто-дакофракийские контакты. Поскольку затронутые этими связями палеобалканские индоевропейцы (фракийцы) уже очень рано распространились также в западной части Малой Азии (предполагается, что это имело место уже во II тыс. до н.э.), куда, кстати, эти фракийские племена принесли с собой и точные ономастические соответствия балтийским названиям племен и поселений – таким, как *Kaunas, Prienai* в Литве (а в названии турецкого города *Bursa*, античное Προυσα к югу от Мраморного моря, до наших дней сохранилось имя западнобалтийского народа прусов), правомочен вывод о датировке балто-палеобалканских отношений III тыс. до н.э. (Дуриданов). Эти балто-палеобалканские контакты могли осуществляться во всяком случае южнее Припяти, где прослеживаются гидронимические и топонимические следы как балтийских, так и балканско-индоевропейских языков. В науке неоднократно ставился вопрос о непрерывности связей балтийского и палеобалканского топонимических ареалов (ср. Римша В. Балтийские и палеобалканские соответствия некоторых названий рек Правобережной Украины // Советское славяноведение 1982, № 1, с отсылкой, в частности, к книге О.Н. Трубачева о гидронимии Правобережной Украины, 1968 г.). Для нас сейчас существенно другое, что именно там, южнее Припяти, основываясь на только что изложенных данных, следует искать и древнейший балтийский этноязыковой ареал вообще. Вспомним то, что говорилось выше о древнейших славянско-латинских языковых контактах, которые также относились к III тыс. до н.э. и притом локализовались предположительно в другом регионе (Среднее Подунавье, Паннония, словом – близость к Центральной Европе). Что касается балто-славянских отношений, то они не дают оснований говорить ни о балто-славянском языковом единстве, ни о каком бы то ни было дочернем (или сыновнем) отпочковании праславянского от западной части прабалтийского, но только о вторичном, постэтногенетическом

(хотя уже довольно длительном, насчитывающем две – две с половиной тысячи лет, начиная с эпохи железа) сближении славянского и балтийского. Даже те, кто еще не отказался от понятия "балто-славянская общность", склонны порой его осмысливать как своеобразный языковой союз (см.: Boryś W. Leksyka prasłowianska a leksyka bałtycka // Z polskich studiów slawistycznych, seria VI. Warszawa, 1983, с. 69).

13. Говоря о лингвистической характеристике Среднего Подунавья, можно согласиться с тем, что здесь многое еще не сделано. Отсутствует, например, единый свод славянской топо- и гидронимии среднедунайского региона – стран к югу от Судет и Карпат, то есть приблизительно в рамках старой Австро-Венгрии или ее значительной части. Правда, в масштабе отдельных частей этого региона предшественниками проделана серьезная работа, на которую можно опереться. Это "Slovenský juh v stredoveku" Я. Станислава, с богатым материалом по венгерской ономастике славянского происхождения, капитальные описания ономастики различных комитатов Венгрии, ряд изданий "Этимологического словаря географических названий" Л. Киша (на венгерском языке), исследования В. Шмилауэра по гидрографии Словакии и по заселению Чехии, ряд частных работ И. Книежи, Э. Моора и других славистов и унгаристов.

Специфика среднедунайского аспекта разысканий древнейшего ареала славян, как известно, еще и в том, что на нем как бы тяготеет репутация чего-то очень старого (времен Нестора-летописца и средневековых чешских и польских хронистов) и как бы донаучного. И поэтому, несмотря на то, что новая попытка реабилитации и обоснования древнего обитания славян на Дунае предпринимается с позиций современной науки, отношение к этому преобладает сдержанное. Сдержан в своей оценке, например, Х. Бирнбаум (Лос-Анджелес, Калифорнийский университет), уделивший больше других внимание моим работам на эту тему, при всем том, что он весьма высоко ставит научный уровень и аргументационную оснащенность этих работ (см. Бирнбаум Х. Праславянский язык. Достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987, passim; Он же. Славянская прародина: новые гипотезы // Вопросы языкознания 1988, № 5). Кстати, о фактах. Не следует думать, что главная уязвимость этой новой гипотезы ("новой" – по той логике, что она – из числа того старого, которое забыли и не желают вспоминать) – что главный изъян здесь – в недостатке фактов. Фактов разных уровней много, можно сказать – достаточно, и в нынешнем своем изложении я привел немало таких, от которых не отмахнуться, но предубеждение, нежелание расстаться с привычными убеждениями всегда было сильнее всяких фактов. Вот и мой дружественный критик Бирнбаум все-таки заключает: "Моя собственная нынешняя точка зрения такова, что наиболее раннюю область расселения славян, уже полностью сформировавшихся как таковых, следует, правда, предпола-

гать между Карпатами и Средним Днепром, но что отдельные славянские группы могли вскоре перевалить через Карпаты или обойти их и что вслед за ранним прорывом славян вплоть до Юга Балкан (Греция), приходящимся еще в позднепраславянскую эпоху, позднее последовал отток из наиболее южных районов (хотя при этом отдельные славянские племена, как например милинги и езериты на Пелопоннесе, осели там навсегда), и мы должны также считаться с обратной северо-восточной миграцией (в области, которые славяне населяли когда-то, а частично и продолжали населять, в частности, Трансильванию, но также и Волынь-Подолию и Среднее Поднепровье) либо с дальнейшим переселением и теперь уже северо-западным распространением славян (в нынешний немецкий ареал между Одером–Нейсе, с одной стороны, и Эльбой–Заале, с другой, а также за их пределы" (Birnbaum H. Zur Problematik des Urslavischen // Croatica–Slavica–Indoeuropea // Wiener slavistisches Jahrbuch. Ergänzungsband VII. Herausgegeben von G. Holzer. Wien, 1990, S. 22–23). В основе своей вполне традиционная, концепция Бирнбаума, кажется, некритически дополнена новыми утрированными построениями Г.Кунстмана о приходе славян на берега Балтийского моря и в другие северные районы с Юга Балкан, из Греции, Далмации. Надо знать, что у Кунстмана все построено на диковинных и неприемлемых этимологиях вроде слав. **uklěja* (название рыбы) – из греч. εὔκλεια 'добрая слава' (!), *Arkona*, местное название, – из греч. ἄρχων, *абодриты*, название племени, – из греч. 'απάτριδες 'безродные' и т.д. в том же роде (Kunstmann H. Beiträge zur Geschichte der Besiedlung Nord-und Mitteldeutschlands mit Balkanslaven. München, 1987, passim). Мою теорию Кунстман не совсем точно называет "neue illyrische These" и характеризует ее как "ошибочные выводы из остроумных наблюдений", подразумевая под последними мои этимологии. Так что – плохо ли, хорошо ли – какой-то диалог завязался, а это, наверное, важно. Все-таки идея дунайской прародины славян вновь носится в воздухе и уже не один год. Вовсе не стремясь все сводить к своим работам, я с удовольствием назову здесь диссертацию, выполненную в 1983 г. в Колумбийском университете и основанную на пересмотре исторических источников в пользу положительного решения вопроса о дунайской прародине славян: Bačić J. The emergence of the Sklabenoi (Slavs), their arrival on the Balkan peninsula, and the role of the Avars in these events: revised concepts in a new perspective. Columbia university. Ph. D. 1983. Ann Arbor, 1984.

Автор диссертации, Яков Бачич, американский славист, хорват по происхождению, работал тогда в университете города Юджин, штат Орегон. Он приехал оттуда на автомобиле за 400 км в Сиэтл специально, чтобы послушать мою лекцию по этногенезу славян, которую я прочел в Вашингтонском университете Сиэтла в мае 1986 г. Вообще в ту мою поездку в США в апреле–мае 1986 г. пять американских университетов из десяти проявили интерес именно к

этногенезу славян (Колумбийский, Мичиганский, Чикагский, Вашингтонский в Сиэтле и Калифорнийский з Беркли, Сан-Франциско). Аналогичный интерес к этногенезу и прародине славян мне хотелось бы предположить и у нашего читателя, слушателя, студента, просто – коллеги одинаковой со мной или близкой специальности, и иногда это действительно проявляется, причем совершенно неспровоцированно. И это как раз не должно удивлять хотя бы потому, что названный сюжет, будучи, как сейчас говорят, наукоемким в высокой степени, питает не только мысль, но и самосознание. Больше удивляет, когда, вместо ожидаемого бескорыстного интереса (а он только и нужен), встречаешь холодносдержанное отношение, тщательное неупоминание или заглазные реплики, вроде того, что "никто так не думает, он один так думает" (это насчет дунайской прародины славян), как если бы такие вопросы решались через групповую договоренность или голосование (а я все больше думаю, что наши столичные интеллектуалы превыше всего ставят групповую договоренность). Впрочем, вполне возможно, что это тот случай, который имеют в виду чехи, когда говорят – to chce čas (приблизительный перевод "потребуется время, чтобы это пришло"). Еще два литературных примера, без комментариев, для информации. Один довольно странный анонимный материал-проспект, опубликованный на русском языке в журнале "Slavia" (ročn. 59, 1990, seš. 3, с. 308 и сл.) под названием "Очерки истории культуры славян. Т. 1. Раннее средневековье" эшелонирует, так сказать, по степени важности: "Ч. 1, § 1.... Гипотезы о местонахождении славянской прародины. Висло-одерская, висло-днестровская (днепровская? – *О.Т.*), висло-одерско-днестровская. Другие теории (припятская, неманско-припятская, карпатская, дунайская)". Ну, и еще назову вузовский учебник, изданный в современной Грузии: Чедиа В.В. Введение в славянскую филологию. Изд. Тбилисского ун-та. Тбилиси, 1990, с. 81, карта "Территория праславянского языка в ранний период его развития", с нанесенными ареалами по гипотезе А.А. Шахматова (Неман – З. Двина), Л. Нидерле (к северу от Карпат – до Припяти), М. Фасмера (бассейн Припяти), Я. Розвадовского (Верхний Днепр – Десна), Т. Лер-Сплавинского (от Одера до Среднего Днепра), О.Н. Трубачева (Средний Дунай). – В перечне и на карте учебника следовало добавить, по крайней мере, еще две гипотезы – среднеднепровскую (Ф.П. Филин, К. Мошинский) и карпатско-галицийскую (Ю. Удольф). Именно с этим последним ономастом, принадлежащим к школе Вольфганга Шмида, я позволю себе подискутировать в заключение, предложив один-два эпизода, одновременно – наукоемких, раз уж мы заговорили таким современным языком, и весьма существенных в плане наших этногенетических разысканий.

14. Из названий рек Среднего Подунавья особое внимание привлекает *Morava*, название левого притока Дуная. В этой своей чеш-

ско-словацкой форме данный гидроним безусловно принадлежит славянскому, однако его распространение в славянском мире весьма своеобразно и, можно сказать, ограниченно, причем можно утверждать, что все прочие примеры *Morava* так или иначе восходят к среднедунайской *Мораве*: это и *Morawa* в бассейне Вислы, на польской территории, и более проблематичная *Мурава* по Днепру и несколько особая *Murachwa* в бассейне Днестра (точно так же вторична южная, сербская *Морава*, на которой мы здесь не останавливаемся). Безусловность восхождения остальных (в общем немногочисленных) западно-, восточно- и южнославянских случаев к среднедунайскому *Morava* позволяет взглянуть на последний как на изначально эндемичный именно для Среднего Подунавья. Древность славянского *Morava* подтверждается наличием близкой формы названия этой реки – *Marus* – у латинских авторов (Тацит, Плиний) практически с начала нашей эры. Своеобразие этой древней записи *Marus* заключается в том, что до сих пор языковедам не удалось сколько-нибудь однозначно идентифицировать ее языковую принадлежность. Ясно, что это не германская форма, поскольку отмечены случаи ее вторичной германизации: такова, по видимому, *Murachwa* на Днестре, позволяющая предполагать старое герм. *Marah(w)a*, как бы с вторичным подравниванием исхода слова под герм. **ahwō* ‘река, вода’. Нет у гидронима *Marus* ни характерных иллирийских, ни фракийских языковых примет (его пытались зачислить в иллирийские и фракийские). Вместе с тем индоевропейская принадлежность названия *Marus* не оставляет сомнений, но это как бы недифференцированно индоевропейская форма, то есть подходящая по своей характеристике под понятие “древнеевропейской” гидронимии тем более, что *Marus*, будучи этимологически родственно и.-е. **mori* ‘море’, является классическим гидрографическим термином, которые и составляют, по концепции Краэ, корпус “древнеевропейской” гидронимии (“*Wasserwörter*”). Правда, в отличие от значительной части выявленных по настоящее время “древнеевропейских” гидронимов, *Marus* совершенно не наделен их летучестью, будучи эндемичным, как уже сказано, среднедунайским названием. В свете изложенного преемственность *Marus* – *Morava* кажется особенно тесной и как бы непрерывной. По-видимому, именно так надо оценивать эти отношения недифференцированно индоевропейского *Marus* и уже славянского *Morava*, ибо говорить о “славянизации” дославянского *Marus* (так еще Фасмер, позднее – Удольф), значит подчеркивать разноязычность обеих форм и как бы перерыв непрерывности, на что у нас нет в данном случае больших оснований. Случай, кажется, нуждается в более тонком подходе, ибо перед нами пример индоевропейско-славянской языковой преемственности в исследуемом регионе. Античное *Marus*, кстати, структурно весьма близко тоже античным и тоже среднедунайским гидронимам *Savus, Dravus* – современные *Sava, Drava*. Совершенно очевидно, что те речные на-

звания более мелких рек – *Sawa, Drawa*, которые известны уже на территории Польши, – явно вторичные и четко среднедунайские импорты на север. И *Sava*, и *Drava* – тоже индоевропейские названия без четкой этноязыковой характеристики (различия корневого вокализма *a/o* между ними и славянским *Morava* нужно иметь в виду, но они носят второстепенный характер). Случай эндемичного среднедунайского гидронима *Marus-Morava*, совершенно четкая однонаправленная его и двух других только что рассмотренных речных названий миграция на север со Среднего Дуная, результатом чего явились *Morawa, Sawa* и *Drawa* на польских территориях, небезразличны для нас в аспекте теории дунайской прародины славян и в общем числе критериев каких бы то ни было других воззрений на этноязыковое прошлое славян. Я не могу пройти мимо того бросившегося мне в глаза факта, что в исследованиях В.П. Шмида и Ю. Удольфа интерес к этому ряду *Marus, Savus, Dravus* – польск. *Morawa, Sawa, Drawa* как раз упал, хотя речь идет о заведомо древних по происхождению гидронимах с территории Польши, которой геттингенские лингвисты уделяют повышеннов внимание в общем плане "древнеевропейской" гидронимии. Причина такого умолчания (в новейшей книге Удольфа 1990 г. о месте польской гидронимии в рамках "древнеевропейской" гидронимии практически не обсуждается *Morawa*) – в однобокой подчиненности всего изложения постулату Шмида о центральной позиции балтийской гидронимии в "древнеевропейской" гидронимии в целом; в русле этой концепции Польша подчеркнуто рассматривается как соседняя с балтийским ареалом и переходная по отношению к последнему. Как раз *Morawa* не имеет балтийских соответствий, хотя, как мы видели, вполне претендует на статус "древнеевропейского" названия. Это "выпадение" ее из жесткой концепции Шмида – Удольфа решило ее судьбу. Практически, замечу, то же можно сказать и о речных названиях *Drawa, Sawa*: четких балтийских соответствий им нет. Лично меня эта особенность не удивляет и не смущает, потому что я никогда не разделял крайних взглядов о центральности балтийской гидронимии в составе "древнеевропейской" и уже высказывал свои соображения о скоплении названий "древнеевропейского" вида в Прибалтике как о периферийной "вспышке" в зоне экспансии. Не будучи скованы описанным комплексом, мы, надеюсь, можем по достоинству оценить важность гидронимических свидетельств *Marus, Savus, Dravus* для проблемы древнего дунайского ареала славян.

Что касается праславянского гидронимического инвентаря Среднего Подунавья в целом, то я уже писал о том, что, несмотря на тысячелетнее господство иноструктурного венгерского языка, древние славянские водные названия этого региона обнаруживают наличие четких славянских словообразовательных и морфонологических признаков (суффиксальные производные, префиксальные и двуосновные сложения) и моментов архаики, а именно – почти ис-

ключительное использование физиографической лексики типа уже упоминавшихся "Wasserwörter" Краэ).

15. Сказанное относится и к западной части Среднего Подунавья, традиционно именуемой Паннонией. Постепенно проясняются детали древней славянской номенклатуры Балатона и его окрестностей. При этом слав. **Pleso* (ср. античное название Балатона – *lacus Pelso* у Плиния, NH III, 24) было названием бóльшей, плесообразно вытянутой части озера. Здесь полезно обратить внимание на ареально наиболее близкие случаи значения 'озеро' у словацкого слова *pleso*. Что касается так называемого Малого Балатона (венг. *Kis-Balaton*), более заболоченной части озера, то Книежа в свое время полагал, что название Balaton относилось по понятным причинам именно к нему (Zelko I. Prekmurska ledinska imena in panonskoslovenska // Slavistična revija, letn. 33, 1985, št. 4, с. 464). Так снимается старое – мнимое – противоречие между двумя названиями Балатона, античным и венгерско-славянским, притом, что оба оказываются конкретно приуроченными славянскими. Разумеется, венг. *Balaton* является аккомодацией славянского **boltьnъ*, **Блатьнъ* 'болотный', которое логичнее ассоциировать с названием древнего города у западных берегов Малого Балатона (церковнославянское **Блатьнъ градъ* кирилло-мефодиевских времен). Сам же Малый Балатон с его топкими, поросшими тростником берегами назывался у славян, наверное, просто **Bolto*, *Болото*. К славянской номенклатуре этого озера удивительно близко и античное название древнего племени *Oseriates*, *озериаты* (разве только суффиксальное оформление *-iat-* тяготеет к неславянскому – иллирийскому; здесь нельзя не вспомнить близкое племенное название 'Εζερῖται у Константина Багрянородного, De adm. imp., упоминаемое там уже как название славянского племени, наряду с милингами, на Пелопоннесе, о чем у нас было выше).

Мы подходим к важному вопросу сопредельности и сосуществования славянского и неславянского этносов на одной и той же территории, в таком очевидном разноязыком и разноэтническом регионе, каким была древняя Паннония. Конкретно я имею в виду иллирийско-славянскую преемственность, поскольку славянская лексика и семантика 'болото', 'болотный' точно воспроизводит значение иллирийских названий **Pannona* 'болотный (город)' (убедительно проэтимологизировано еще Фасмером на базе близкой индоевропейской диалектной лексики со значением 'болото'), откуда *Pannonia* – что-то вроде 'Страна Болотного города' (название страны по главному городу – не редкость в древности). Одна такая пара иллирийско-славянской преемственности в данном районе существенно перевешивает негативный фактор естественной малочисленности следов славянства, дошедших до нас именно в Паннонии. Правильно истолковать их, найти к ним подходы дает возможность только новая концепция древнего обитания славян на Дунае. Против нее направ-

лена полемическая статья Ю.Удольфа под названием-вопросом "Kamen die Slaven aus Pannonien?" (Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej. T. 1. Wrocław, etc. 1987, с. 167 и сл.). Скажу одно: от решения этого главного и очевидного вопроса Удольф уходит и ответа на него дать не может, повторяя лишь заключения предшественников, что *Pelso* не связано со слав. *pleso*, которые нас удовлетворить не могут. Гетерогенное языковое сосуществование он недооценивает (иллирийцев, как мы знаем, и Удольф, и его учитель Шмид игнорируют). Остается добавить, что при этом Удольф демонстрирует явно не лучшие образцы этимологического анализа, обнаруживая склонность опять же к оголенно корневой этимологии. Даже *Bustricius*, средневековая запись паннонского гидронима, Упольф охотнее связывает с какими-то близкими германскими апеллативами(?), чем с гидронимически тождественным славянским *Bystrica*. Убедив сам себя, автор заключает статью утвердительно: "Die Slaven kamen nicht aus Pannonien". Дело за малым – убедить также нас.

16. Свое беглое изложение относящихся сюда проблем я, наверное, закончу признанием, что проблем этих больше, чем удалось охарактеризовать здесь, и они принадлежат самым различным уровням и имеют разную хронологию, начиная с индоевропейской, если вспомнить об идее концентричности праиндоевропейского и праславянского ареалов – идее, имеющей не один только языковой аспект (ср. мнение об индоевропейской принадлежности дунайского культурного круга), но и языковой аспект этой индоевропейско-славянской концентричности в общем прочно укоренен в науке (здесь достаточно сослаться на отнесение индоиранских, греческих, германских, балтийских и славянских диалектов к центральным с их инновациями – ассибиляцией палатальных, утратой придыхания звонких смычных, в отличие от периферийных, архаизирующих индоевропейских диалектов – тохарских, анатолийских, италийских, кельтских: Kortlandt F. The spread of the Indo-Europeans // The Journal of the Indo-European Studies, vol. 18, Nos. 1–2, 1990). Далее назовем проблему широкой типологической и исторической переинтерпретации отношения названий *Великая Моравия* versus *Моравия*, насчет которых в литературе, кажется, преобладают солидные заблуждения. По-прежнему остро стоит задача правильной интерпретации источников, среди них – тот случай, например, когда, читая небольшой, но важный для дунайской проблемы текст анонимного баварского географа "Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam Danubii" (Описание городов по северному берегу Дуная), все-таки неоправданно вырывают многие названия из контекста – от их приуроченности именно к северному берегу Дуная. "Северный", тождественное нашему 'левый', было, по-видимому, во многих отношениях актуально и для географической ориентации региона и для номинации. Последнее уместно вспомнить в связи со среднедунайскими северянами, кото-

рые одновременно и левобережное дунайское племя, от какового в местной венгерско-румынской топонимии сохранились лишь смутные следы, а было это, наверное, значительное племя, ибо о нем у баварского анонима говорится как о "королевстве, откуда будто бы вышли все славяне, как утверждают" (в памятнике стоит форма *Zeriuani*, которую еще Нидерле отнес к Прикарпатью, а другие прямо отождествляют с древнерусскими северянами). Но проясняющаяся сейчас схема движения славян со Среднего Дуная на юг, а оттуда – на восток, в позднейшую Болгарию, делает более осмысленным возведение к среднедунайским северянам (= левобережным дунайцам) и этих север, или северян, Северо-Восточной Болгарии, которых слишком прямолинейно увязывали с древнерусскими северянами. Приход последних с Дуная – особый, но тоже вполне законный вопрос.

© Palaeoslavica I (1993), p. 9–40.

К ОТДАЛЕННЕЙШИМ ИСТОКАМ НАШЕГО САМОСОЗНАНИЯ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОДНОЙ КНИГИ

Книга*, о которой дальше пойдет речь, вышла в свет в самом конце 1991 г. тиражом в одну тысячу экземпляров, что заведомо обрекло ее на малую доступность. Но даже если бы издатели расщедрились на тираж, по крайней мере, в десять или пятнадцать раз больший (что в глазах человека, знающего фактическую сторону дела, не нуждалось бы в оправдании – ведь затрагиваются древние судьбы доброй дюжины языков, народов, культур...), я должен признать, что все равно и тогда оставался бы этот барьер ограниченной доступности. Обычный в таких ситуациях парадокс сводится к тому, что широкое читательское внимание затрудняется библиографическим и операционным аппаратом, столь необходимым автору для аргументации мыслей, которыми он так хотел бы поделиться с читателем. Короче говоря, книга написана для специалистов, как сказано в аннотации к ней: "для языковедов, историков, археологов, этнографов, всех интересующихся вопросами славянской культуры". Но, думается, что и не только для них одних; было бы обидно, если бы книги писались специалистами для специа-

* *Трубачев О.Н.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М.: Наука, 1991, 271 с.

листов, то есть для самих себя... В научной информации наибольшую ценность представляет все же та сердцевина, которая способна заинтересовать наибольшее число людей. За примером далеко ходить не надо; книга, о которой я собираюсь рассказать, излагает некоторые новые для науки взгляды на этническое прошлое славян, в их числе – русских, украинцев, белорусов (славян восточных), а также южных и западных славян. Субъектом описываемых или воссоздаваемых (реконструируемых) отношений оказываемся мы сами (постольку, поскольку в нас продолжается жизнь наших предков), а это, согласимся, не может не интересовать нас. Рано или поздно каждый человек задает себе этот вопрос, – кто он и откуда. Вернее будет сказать, что для самого человека лучше, если вопрос этот он задаст не слишком поздно. Речь идет о самосознании человека, о том, что ему самому было, в общем, всегда едва ли не дороже хлеба насущного. В наше время, не очень богатое хлебом, мы видим тому достаточно подтверждений, вплоть до трагических сигналов.

Бывает, к сожалению, когда из-за недостатка популяризации до широкой читающей публики не доходят факты и идеи, которые того заслуживали бы. Это, конечно, наша, авторская, вина или беда, признаюсь – и моя тоже. Вот поэтому, когда меня пригласили рассказать о вещах мне близких и одновременно представляющих общий интерес, я вспомнил о такой форме, как презентация книги, к которой сейчас время от времени прибегают (главным образом, на политической арене). Тем более, что осенью 1991 г. я уже имел случай беглой презентации своей книги, выступая в Гейдельбергском университете по проблемам культуры древних славян на основании свидетельств их языка и прежде всего – этимологии.

Спектр по-настоящему интересных вопросов здесь огромен, и было бы заблуждением полагать, что все это кануло в безвозвратное прошлое и никого теперь, кроме узких специалистов, не касается. Наша нынешняя культура – лишь маленький отрезок, эпизод продолжительной и непрерывной – в серьезнейшем смысле этого слова – культурной эволюции. Убедить нас повернуться к ней спиной, вообще попрать или, скажем, вдруг начать датировать ее с октября или, чего доброго, с августа никто не вправе. Если бы речь шла о сущих пустяках, то ими так охотно не спекулировали бы иные политики, как они это делают подчас сегодня на все лады. Удивительные ухищрения можно наблюдать на примере названия *Великороссия*. Давно ли уважаемый читатель встречал его в последний раз в прессе, в политической литературе? В том-то и дело, что и припомнить трудно, а умолчание – метод испытанный. Сначала – посеять подозрение, что Великороссия – термин шовинистический, великодержавный, а потому – "не наш", затем постараться спустить эту установку в школьные учебники истории и – дело сделано, еще одной печатью припечатано наше самосознание, получен еще

один суррогат, вместо подлинного знания. А пытливый взгляд честного историка языка и этноса видит другое: такие названия, как *Велико-россия*, *Велико-британия* никакого самовеличания перед другими странами, другими народами, как это многим до сих пор мнится, не выражают. Их подлинный, изначальный смысл делается понятным из окружающего контекста, потому что названия эти возникли как ориентационные, они как бы знаменуют область вторичной колонизации и ее отношение к области исходной. Так, Великобритания (раз уж мы ее упомянули) образует в указанном смысле пару с Бретанью, исходной областью на материке; древнейшая колонизация острова шла оттуда. И таких примеров довольно много в древней истории разных стран и народов; жаль, что почти все они оказались принесены в жертву политическим спекуляциям и кривотолкам. Проистекающие отсюда искривления национального самосознания и раздор между близкими нациями делают понятным, насколько все это небезобидно. А в сущности тут все довольно просто: и античная Великая Греция – это вторичные поселения греков в Нижней Италии, и Великая Моравия времен наших первоучителей – свв. Кирилла и Мефодия – это область к югу от той Моравии, что в теперешней Чехии. Иногда старая, исходная область начинает в итоге называться "Малая", "Мало-", что также не следует понимать буквально или оценочно. Например, в составе польских земель *Малопольша* зовется так именно по той причине, что славяне, предки поляков, освоили ее раньше, чем *Великопольшу*, расположенную дальше на север. Знать эти примеры необходимо и нам, если мы хотим правильно понимать самих себя, живущих в *Великороссии*, для которой – для *Руси Великой* – *Русь Малая, Малороссия* всегда имела смысл *Руси изначальной*.

Ушло то время, когда земли к югу от Припяти и Десны звались *Русью* и возобладало (тоже старинное и объективное) название этих земель за их окраинность – *Украина*. В живой речи на Украине никто теперь *Украину Русью* не называет. Следы былого, как нередко бывает в подобных случаях, еще хранятся, впрочем, на собственных периферияx национально-культурного ареала да еще у соседей. На крайнем западе Украины еще сохраняется память называния этих мест *Подкарпатской Русью*, а жителей – *русинами*, так же зовут себя по сей день жители небольшого украинского (украинско-словацкого) очага в Югославии. До недавнего времени и поляки употребляли слово *Русь* для обозначения Украины. Да, память все же стирается, а вакуум знания заполняется его суррогатами. Эти названия, на которые я приглашаю взглянуть лишь как на объективные указатели направления великих миграций прошлого, в нашем случае – с *Руси изначальной*, приднепровской на позднейшую *Великую Русь* (и – никак иначе! Хотя ведь пытаются и иначе – представить дело так, будто великорусы Новгорода Великого прибыли откуда-то с запада и лишь потом, по пути вниз по Днепру, встретились с доволь-

но чужой южной Русью...), – эти названия *Русь, Малороссия, Великороссия* порядком захватаны грязными руками политиков и ими же, похоже, прежде времени сданы в архив. Цель: искажение и моделирование рядового сознания, как раз выгодно нетвердого по части правильного понимания подлинной истории наших названий, а через них и – своей собственной истории. Когда я говорю "история", я хотел бы при этом не ограничиваться позитивистским, прямолинейным пониманием истории как только письменной истории, то есть только того, что черным по белому записано в ее анналах. Во-первых, любая самая богатая письменная традиция обязательно грешит пробелами; кроме того, запись явления и возникновение явления в живой речи – это совершенно разные вещи, запись сплошь и рядом случайна, и название всегда появляется намного раньше. В нашей – исторической науке, по-моему, не очень утруждают себя правильным пониманием этих различий. Так, Москва (обозначение и обозначаемое) появилась, конечно, намного раньше случайной летописной з а п и с и под 1147 годом. А ведь с легкой руки историков именно эту д а т у з а п и с и празднуют как д а т у о с н о в а н и я города... Точно так же позитивист готов факт первого упоминания Великой и Малой России в документах константинопольской греческой патриаршей канцелярии XIV в. представить чуть ли не как время и даже – место возникновения названия, тогда как мы здесь имеем дело с о с л у ч а й н о й з а п и с ь ю, упоминанием того, что возникло раньше и в совершенно другом месте. Принципиальную зависимость исторической науки от письменных источников и осторожность ее по отношению ко всякой реконструкции понять можно. Но – этого явно недостаточно для более глубокого постижения всей Истории, значительная часть которой так и не отложилась в письменности. Для этих целей требуются и реконструкция, и широкое сравнение форм, и – не в последнюю очередь – правильная оценка типологии их возникновения, развития и употребления. Все это – задачи современного сравнительного языкознания, которые обретают полную свою актуальность, просто призваны прийти на помощь в большом вопросе генезиса *Великой, Малой, Белой Руси*, их названий, отделить идеологизированные, политизированные плевелы от самого зерна, прояснить, оздоровить сознание тех людей, которым это небезразлично, потому что это их язык, их народ, их страна.

Я коснулся несколько подробнее эпизода, который может представить общий интерес, а в моей книге, которую я тут как бы "презентую" читателю, он занимает совсем немного места. Мне, кстати, думается, что презентация и не должна сводиться к чинному изложению содержания частей и глав книги. Имея перед собой широкого читателя, носителя исследуемых в книге языков, я просто предлагаю ему несколько произвольный выбор решений, ответов на возникающие вопросы или то, что можно отнести к полез-

ным сведениям. Избрав, таким образом, жанр свободной беседы, я позволяю себе порой также совсем выходить за рамки презентуемой книги, делиться дополнительными впечатлениями и соображениями, главное – лишь бы они были на тему истоков нашего самосознания.

Но сначала – несколько слов о центральном для нас этническом названии, которому и в книге уделяется заслуженно большое место, – об имени *славяне*. Сейчас время всевозможных опросов населения, а я рискну тут предрешить данные опроса, который никем не проводился. Боюсь, что, вздумай кто сейчас опросить достаточно большое число русских – людей села или людей "у станка" (интеллектуальные слои оставим в стороне), задав им один-единственный вопрос: сознают ли они себя славянами? – уверенных ответов практически не будет. Вероятно, вопрос вообще останется непонятым. А было так не всегда. То, что мы можем наблюдать сейчас, есть определенная деградация самосознания. Возможно, началась она давно, но довершали, "добивали" ее уже на памяти последних поколений. Люди, чья духовная зрелость пришлась на 30-ые годы, хорошо помнят и свидетельствуют, что слово "славянский" в их представлении было синонимом чего-то реакционного и консервативного. Юмористы и те приложили свою руку ("славянский шкаф", "гей, славяне" – очень смешно...). Война приостановила эту свистопляску, но ущерб оказался, похоже, непоправимым. А между прочим, имя *славяне* представляет собой замечательный культурно-исторический феномен, и я пишу об этом в вышеупомянутой книге. Дело в том, что с достаточно раннего времени это имя охватывало всех славян, независимо от их принадлежности к тому или другому славянскому племени или народу. Наличие такого единого самоназвания лучше самых изощренных тестов говорит о существовании единого этнического самосознания, сознания принадлежности к единому славянству. Дальнейшие сравнения лишь подчеркивают замечательность этого феномена, ибо оказывается, что ничего подобного мы не найдем у древних германцев и древних балтов: и у одних, и у других представлены свои группы названий отдельных племен, а общий этноним отсутствовал (привычные нынешние обозначения "германцы", "балты" введены поздно, в научной литературе, ни германцам, ни балтам в древности они известны не были...). А ведь во времена Кирилла и Мефодия (IX в.) тогдашний болгарин, по дошедшим до нас сведениям, сознавал себя еще и славянином, а наш преподобный Нестор-летописец уверенно утверждал, что славянский язык и русский одно есть. Словом, тогда это было живое, народное самосознание, и наш, пусть запоздалый, долг – разъяснять и как-то возмещать последующее оскудение и забвение.

Но у нашей науки, кроме горестной констатации утрат, остается еще немало неиспользованных возможностей, в частности – вос-

становить забытую историю того, как сложилось имя *славяне*, какие понятия и представления этому сложению сопутствовали и предшествовали. При этом, отбросив маловероятные толкования имени *славян* ('жители по реке Слова', 'жители влажных долин'...), высказанные уже современными нам учеными, мы оказываемся вправе завязать плодотворную перекличку с ученым-славистом еще первой половины прошлого века Шафариком. С большой долей вероятности он уже тогда связал имя *славяне* (*словяне*) и *слово*. Сейчас мы можем уточнить, подключив сюда и глагол *слыть*, древнее *слути*, *слову*, собственно 'слышаться, быть понятным, говорить понятно'. Раскрывается древний смысл имени *славяне* – 'ясно, понятно говорящие' (антоним: *немцы*, собственно 'немые, невнятно бормочущие', – обычный для древности принцип обозначения иноязычных иноплеменников). Но 'понятно говорящие' – это, в сущности, 'свои', 'наши', и эта констатация как бы подсказывает нам, что мы в состоянии частично отдернуть пелену, скрывающую от нас древний менталитет наших предков. Их имя – *славяне* – появилось, как мы думаем, на исходе античности, целиком неся на себе признаки древнеплеменного общества. Не преуменьшая значения межплеменных общений и древних торговых путей, все же признаем, что кругозор древнего этноса был довольно узким, обходились простейшей самоидентификацией 'мы', 'свои, наши' и в сущности еще не прибегали к особому обозначению собственного этноса. Даже когда такое самоназвание появилось, оно все еще носило отпечаток описанного архаического образа мыслей, как мы это наблюдали на примере этимологии: *славяне* – 'ясно говорящие'. Да, такой первобытный порог в древней истории славянского племенного общества наблюдается, можно сказать, он доступен нашему современному научному пониманию, – когда сами славяне, естественно, существовали, причем – на своих древнейших местах обитания, о которых – ниже, а обобщающего самоназвания у них еще не было. Ранние античные источники, действительно, ничего не говорят о славянах. Само имя *славяне* (другие их пограничные имена: *венеды, анты* – для краткости здесь опускаем, да и к славянам применены они были вторично) достоверно упоминается в VI в. н.э. Конечно, любители прямолинейных заключений делали из одного этого раннего неупоминания вывод, что славян до того в Европе, в поле зрения тогдашнего греко-римского культурного мира, попросту не было... Понятно, что и в первой половине XIX в. к науке охотно примешивали политику. Впрочем, сейчас на это можно взглянуть как на научный миф, одно из великих заблуждений. Славяне издавна жили в самом сердце Европы; это к северу от Карпат, в польские земли, они вступили позже; вторично и их великое расселение на Восток, в Поднепровье и по всей Русской равнине. Предания о древнем житье на Дунае хранит начальная русская летопись, хроники других славянских стран говорят о том же. Великий сын словацкого

народа Павел Иосиф Шафарик, а еще раньше знаменитый словенец Ерней Копитар, попытались сделать эти воззрения достоянием молодой славистической науки. В их наблюдениях много верного. В своих "Патриотических фантазиях славянина" (1810 г.) Копитар прямо указывает место "ниже Вены, на Дунае, в Паннонии...", где словаки и словенцы, точнее сказать, их предки "подают друг другу руки". В самом деле, и разрушительное венгерское вторжение более тысячи лет назад не стерло того факта, что и ныне по-прежнему с двух сторон к Венгрии примыкают два народа, до сих пор носящие славянское имя, а сама Венгерская низменность и сейчас покрыта названиями мест и рек славянского происхождения. Имя реки *Дунай* – не редкость в народных песнях восточных славян, ясно, что они принесли с собой с Дуная эту неизгладимую память о нем. Народная память о *Дунае* для внимательного глаза есть тоже элемент нашего (уже полузабытого) самосознания. Вторичность распространения славян на прочих обширных пространствах (на юге – до самой оконечности Балканского полуострова, уже на глазах раннесредневековой письменной истории) вряд ли может вызывать теперь сомнения. Зато не существует никаких преданий – ни этнических, ни исторических – об их приходе откуда-то издалека, скажем, на Средний Дунай, который так естественно смотрится как центр всех известных славянских миграций на север, восток и юг. В относительно недавнее время к поискам названных первых славистов приложились новые научные материалы, этимологии слов, изоглоссы, прочнее связывающие древнейших славян с Подунавьем, с западными индоевропейцами (древние италики, кельты, германцы, иллирийцы). Образ определенной концентричности древнейшего славянского ареала (или, как раньше еще любили выражаться, "прародины славян") и более обширного праиндоевропейского ареала, куда славяне, будучи индоевропейцами, понятно, входили, не покидал меня в течение всей работы над книгой; я не успокоился, пока не вынес эту идею концентричности на обложку книги, придав всему изображению характер схематического рисунка этой самой прародины славян на Среднем Дунае (не без борьбы с Издательством и его живописцами). Но это все – потом, так сказать, в итоге многолетних трудов над темой, обращение к которой поощрял своими находками по части этимологии слов и одновременно безмерно отягощал и затягивал капитальный, впервые в нашей стране выпускаемый мной с сотрудниками Этимологический словарь славянских языков. В этом рабочем горниле определились и окрепли убеждения о глубоких оригинальных индоевропейских истоках языка славян. Оформилось и неприятие некоторых новейших теорий о позднем, гибридном происхождении праславянского – в виде отпочкования от балтийского языка, в частности. Добавлю, что формирование самостоятельной научной позиции протекало в условиях отнюдь не легких. Не имея ничего против научных споров по существу проблемы, я с немалой

горечью и разочарованием наблюдал, какой яростной, неадекватной и притом – групповой – реакцией отвечают на научное расхождение, с каким пристрастием ищут в мотивах моих действий (и находят, поелику очень хотят найти!) "ложно понятый патриотизм" и даже "великодержавный шовинизм".. Нехватка научной аргументации, таким образом, компенсировалась, как видим, и некрасивыми политическими ярлыками и определенными попытками остракизма ("он один так думает, никто больше так не думает!..."). Говорят, в Институте славяноведения и балканистики АН СССР (ныне: РАН), где подобрался весьма единодушный синклит для осуждения моих научных убеждений, да и случай удобный представился (именно в это учреждение направили для обсуждения ряд моих работ), сохранился стенографический отчет, который нельзя перечитывать без чувства стыда за участников того обсуждения (1988 год, кругом – перестройка и плюрализм, а тут – откровенный погром за научное инакомыслие...). Ну, что же, наверное, и эти хроникальные листочки приложатся к истории нашего самосознания.

Да, борьбы оказалось, пожалуй, даже многовато – для человека, возлюбившего превыше всего исследование и ни на какие трибуны не рвавшегося. Отстаивать свою концепцию дунайской прародины славян оказалось трудным делом. К тому же, по принципиальным идеям первых славистов с той поры уже многократно прокатился вал позитивизма и гиперкритицизма в европейской науке, и к началу XX в. провидения Копитара и Шафарика, казалось, навсегда были сметены в корзинку "донаучных теорий"... На веру принималось только молчание древних авторов о славянах или первые полупрезрительные обмолвки о них у византийских стратегов и историографов. В древней Европе к югу от Карпат фактически не осталось для славян места. Ученые немецкой школы дисциплинированно принялись подыскивать место славянам в болотах Припяти. Время совпало с расцветом польских теорий славянского автохтонизма на Висле и Одере. Сейчас эти теории терпят кризис. Трудно полноценно объяснить всю сумму славянских проблем и со стороны припятских болот. Теперь уже слишком многое противоречит и тому, и другому. Прав был историк, сказавший, что история начиналась на юге. Она и для славян начиналась южнее и много древнее, чем привыкли обычно думать.

Возможно, еще более рутинный подход обозначился в отношении славянской культуры. Почти все за нас здесь решали западные авторитеты, и разрабатывать их идеи, по возможности не отклоняясь, было у нас достаточно, чтобы прослыть светлым умом. Ведущий индоевропеист Мейе считал славянскую культуру обнищавшим вариантом индоевропейской культуры, и все этим удовлетворились, почему-то даже не дав себе труда критически задуматься: а может быть, совсем наоборот – действительно небогатый, простой уровень древних славян и есть тот древнейший культурный ва-

риант, от которого греки, римляне, индоиранцы далеко ушли в своем развитии? Блистательный культуролог Дюмезиль развернул перед ученой Европой и Америкой серию своих красивых реконструкций трехклассового общества и сложнейшего мира богов у древних (!) индоевропейцев. Наши светлые умы, не привыкшие перечить, принялись отыскивать и то, и другое в древней культуре славян. Не находили, впрочем, многого, но почему-то, не смущаясь, видели в этом одни утраты со славянской стороны. Бедные, забывчивые славяне! Почему-то почти никому не пришла в голову единственно трезвая мысль, что речь может идти о разных стадиях культурного развития и что неразумно выдавать за общую древность высокое, а следовательно – позднее развитие античной греко-римской или древнеиндийской культуры. Образовался колоссальный научный тупик, из которого выход был один: конфузливо пятясь назад. По-человечески понять можно, что делать этого никому особенно не хотелось, инерция тупиковая росла, у наших индоевропеистов вышли толстые книги, где культура наших общих индоевропейских предков отождествлялась по своему уровню и характеру – ни больше, ни меньше – с семитской, месопотамской городской цивилизацией Древнего Востока. Там же, поблизости, заодно решили локализовать и прародину индоевропейцев... В этих щекотливых обстоятельствах терпеть научное инакомыслие у себя под боком было, конечно, совершенно невыносимо для светлых умов. Я понимаю первую реакцию на свои достаточно самостоятельные взгляды в том, что касается славянской прародины, славянских и индоевропейских культурных древностей. И все-таки, если исходить не из эмоций, а из фактов, нельзя пасовать перед этим заполонившим нашу научную жизнь эпигонством идей. Это уязвимо этически да, в конце концов, и неинтересно в научном отношении: сколько можно ходить зажмурившись мимо ярких, красноречивых фактов истории языка и культуры! Взять хотя бы один такой игнорируемый факт, что общим культурным переживанием глубокой древности оказывается лексика примитивного культа предков, неожиданно объединяющая древнейших славян и древнейших латинян (народные русские, украинские, белорусские названия призраков и духов умершей родни – *мана́, ман, манья* и латинское *mānēs* ‘духи предков’). Эта культурная общность уходит в те далекие тысячелетия, когда у наших предков и в мыслях не могло быть ничего похожего на верховного бога Юпитера с его многочисленным блудливым семейством, и совсем другие, архаичные представления о земле и небе владели душами людей. Я лишен возможности развертывать здесь дальнейшие факты и аргументы моей любимой науки – сравнительного языкознания, – но именно оно позволяет – через реликты языка и мышления – заглянуть в умы и души древних людей тех отдаленнейших эпох, когда пасует порой почтенная археология, а письменность еще и не зарождалась.

Я бы мог рассказывать еще довольно долго, значит – самое время поставить точку. Ведь для того, чтобы достигнуть убедительности, бывает достаточно небольшого числа верных мыслей и фактов. Вовсе лишнее – оглушать читателя и заваливать его тем и другим. Важно, думаю, чтобы между автором этих строк и мыслящим читателем протянулась и завязалась ниточка понимания. Остальное приложится,

...Прекрасный осенний Гейдельберг. Туман то окутает руины замка на горе, то растает. В уютном особняке международных научных форумов Гейдельбергского университета идет симпозиум. После одного доклада разгорелась дискуссия. Щеголеватый, моложавый и стройный профессор из Бонна убедительно рассуждает: "Славяне научились выражать чувство благодарности только с принятием христианства, как о том свидетельствует их лексика – *спасибо(г), благо-дарю* (буквальный перевод греческого εὐχαριστῶ) и другие..." Сижу, думаю: верно, вроде, рассуждает немец, правда, чуточку с апломбом, слишком уверен, нету доли сомнения, без которой – нет живой науки. Случись тут один из наших светлых умов, не моргнув глазом все бы принял на вооружение. И все же, все же, все же... В перерыве для питья кофию (ах, что за организация, что за порядок и довольство вокруг!) все же подхожу к нему; коллега, я думаю, что вы излишне прямолинейны, когда отказываете праславянам в чувстве благодарности и умении его выразить языком; они располагали такой возможностью... – Откуда вы это знаете? (говорит, между прочим, на отличном русском языке). Я ему в ответ: у меня есть дома кошка и собака, и им известно чувство благодарности. Справедливо ли отказывать в нем праславянам? Но это, так сказать, общий взгляд, типология, я понимаю. Я согласен, далее, с вами, что большая часть терминов, выражающих благодарность, пришла в их язык позже и извне. Но я думаю, что многозначность их древней лексики позволяла славянам выразить необходимые чувства и до этого. Возьмем глагол *помнить* (*помнить зло, помнить добро*), обороты типа народного "*мы помним твою доброту, батюшка*..." Вот вам и извечная, своя славянская формула благодарности.

Возражения не последовало, хотя мой немецкий коллега – не из тех, кто уклоняется от споров. Но – не возрази я, не направь его дисциплинированную немецкую мысль в более гибкое русло, так и пребывал бы в сознании своей полной правоты в суждениях о бедных древних славянах. Европой вовсю по-прежнему владеет научный позитивизм и снобизм: всё-то они знают и понимают о нас самих лучше нашего...

© Palaeoslavica II (1994), p. 313–324

ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ НА ДУНАЕ (ЮЖНЫЙ ФЛАНГ). ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ I

Недавняя публикация моей книги "Этногенез и культура древнейших славян (лингвистические исследования)" (М., "Наука", 1991, тираж 1000 экз.) до известной степени освобождает от необходимости подробно освещать все вопросы, поскольку тема и книги, и нынешнего доклада во многом совпадает. Поэтому представилось желательным ограничиться сейчас в основном одним аспектом, который при изучении славянского этно- и топогенеза по-прежнему остается, пожалуй, и наименее изученным и неизменно актуальным: это южный фланг древнего славянского ареала по данным языкознания. При этом мы кратко коснемся далее и темы Morava (проблема "Великая Моравия", практически первая проблема в программе этого съезда славистов*, и необходимость трактовать ее особо – не в составе славянского среднедунайского исходного центра, а в плане славянской миграции из этого центра на Юг – нашла довольно подробное отражение в вышеназванной книге). Поскольку существенное значение сохраняет для нас диалог с научной литературой, позволим себе – в преамбуле – совсем кратко выделить один-два момента, важных тем, что относятся они к языку и культуре славян и – к уровню отражения того и другого в литературе. Отрадно отметить, что фундаментальная оппозиция 'свои' – 'чужие' пользуется заслуженным вниманием (1). Сам факт существования этой оппозиции и маркирования всей окружающей действительности как 'своего' или 'не своего', бесспорно, доносит до нас идеологию родового общества и побуждает соответственно к критическому пересмотру других опытов реконструкции. Неслучайно поэтому мы рассматриваем в качестве первой заповеди древнеродового устройства славян выражение **znajь svojь rodъ*, основой которого могла послужить еще более монолитная figura etymologica – индоевропейское *ĝnō- *su̯om ĝenom*, с тем же, естественно, празначением 'знай свой род'. Я надеюсь, понятно после этого то недоверие, которое у меня вызывают утверждения, будто первой заповедью древнеиндоевропейского общества было нечто другое, а именно: "Тебе надлежит чтить богов" (2). Осторожно трезвый подход к реконструкциям сложного богопочитания уже у праиндоевропейцев, гораздо большее вероятие безымянности древних предметов культа, их слияния с природой и, следовательно, полная неприемлемость формулы-заповеди "Тебе надлежит чтить богов" для праиндоевропейской эпохи как откровенной модернизации – таковы, как кажется, выводы, к которым может привести чтение моей вышеназванной книги, к которой – для краткости – отсылаю, рассчитывая вслед за этим сразу перейти к другим вопросам.

---

* XI Международный съезд славистов в Братиславе (Словакия).

Прежде чем обратиться к этнонимии славян, с преимущественным вниманием к их южному флангу, а также в соответствии с нашей концепцией славянского исхода из среднедунайского пространства, позволю себе кратко задержать внимание читателя на трагической по-своему судьбе следов этого среднедунайского ареала славян. Скудость письменных свидетельств усугубляется суровостью комментаторов. Невольно вспомнишь старое изречение: quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini, разве что заменив имя кардиналов Барберини, вольно обращавшихся с древностями, на позднейших и нынешних комментаторов (...fecerunt commentatores). Вот пример, вызвавший болезненную реакцию с моей стороны.

В рамках весьма полезного и своевременно изданного "Свода древнейших письменных известий о славянах", т. 1 (I–VI вв.), (отв. ред. Л.А. Гиндин и др. М., 1991), опубликована эпитафия св. Мартину Турскому, принадлежащая перу Мартина Бракарского (VI в.). Краткий этот документ привлекает внимание рядом особенностей. Среди народов, объединенных именем Христа, встречается упоминание Sclavus, Nara. Знаменательно, что оба Мартина были родом из Паннонии, причем Мартин Турский, живший и умерший в IV в., считался зачинателем славянской миссии. Это дает право предположить у него хорошее знакомство с краем и принять с доверием имена Sclavus, Nara, причем точно в такой последовательности, когда второй член имени уточняет, какой славянин имеется в виду, ср. особенно многочисленные примеры такого именования славянских племен в каролингских документах после разгрома Аварского каганата: Sclavi Margenses, Sclavi Beheimi, Sclavi Carantani, Sclavi Carniolenses, Sclavi Pannonii, Sclavi Dalmatini, Sclavi Cruati, Sclavi Sorabi, Sclavi Abodriti (3). После этого ясно, что разделительная запятая между Sclavus и Nara в используемом нами издании отпадает как лишняя, речь идет об одном племени Sclavus Nara, перечисляемом в стихотворной эпитафии наряду с прочими: ... Alamannus, Saxo, Toringus, / Pannonius, Rugus, Sclavus Nara, Sarmata, Datus, / Ostrogotus, Francus, Burgundus, Dacus, Alanus ...Переводить (толковать) вышеозначенное место надлежит при этом не "славянин из Норика" (так Скржинская, цитируемая в комментарии), а 'славянин-нарец', что полностью созвучно загадочному до недавнего времени свидетельству древнерусской Повести временных лет (Лавр. лет., л. 2 об.): Нарци еже суть словѣне. Созвучие это, думаю, трудно сейчас переоценить. Мне остается только отметить, что об этом подтверждающем соответствии не обмолвился ни звуком комментатор "Эпитафии" С.А. Иванов, проявив недобросовестность в упомянутом умолчании. Я не удивляюсь, что славян этот комментатор не пускает в Центральную Европу дальше Моравии и приписывает Мартину Бракарскому, что славяне были для этого ученого паннонца "синонимом дикости" (из перечня племен подобное допущение совсем не явствует, но говорит – самое большее – о неприязни к славянам са-

мого комментатора) (4). Подобный уровень комментирования делает понятным что С.А. Иванов, конечно, проходит не задерживаясь и мимо фонетических различий формы *Nara* и стандартного римско-латинского *Nōricum*, которые в наших глазах весьма знаменательны сами по себе. Дело в том, что вокализм *Nara* придает этому имени статус чисто славянской формы с закономерным слав. *a* < *ō*, свидетельствуя одновременно о долготе корневого гласного в лат. *Nōricum* (или его туземном субстрате). Вспомним о том, какое значение придавал Ю. Удольф именно "отсутствию славянского развития *ō* > *a*" на примере гидронима *Mur*/*Mura* на смежных территориях, полемизируя против моего тезиса о ранних славянах в Паннонии (5). Актуальность вашего нынешнего наблюдения над отношением *Nōricum*: *Nara*, *нарци* заключается в том, что "славянское развитие" *ō* > *слав. a* констатируется к западу от Паннонии, в Норике, а это, согласимся, не лишено интереса для вопроса о ранних славянах на данных территориях.

О появлении славян к югу от Дуная мы получаем информацию также главным образом в виде их племенных названий. Когда я в свое время занимался проблемой ранних славянских этнонимов (6), я имел возможность убедиться, что в нашем распоряжении находится едва ли больше полусотни таких этнонимов, в их числе – всеобъемлющее **slověne*, затем неоднократно повторяющиеся **sьrbi*, **xъrvati*, **sěver'ane* и им подобные и наконец – племенные названия местного характера. В принципе такая же картина наблюдается в исторически новых славянских землях на юг от Дуная. Совершенно естественно, что при этом реализуется лишь часть известного нам славянского этнонимического фонда. Впрочем, и здесь на первом месте оказывается не претерпевшее никаких ограничений в употреблении общеславянское самоназвание *slověne*, обозначающее людей, объединенных славянским языком, а также целые области, населенные этими людьми, как, впрочем, и совершенно конкретные места, урочища (ср. приводимое у И. Дуриданова название деревни *Слоештица* из более древнего *Словѣньщица* в бассейне реки Вардар). В византийской практике особенно употребительным оказалось название Σκλαυινία, сначала служившее обозначением территорий на Среднем Дунае, включая позднейшую Валахию (7, с. 59; 8, с. 67, 69), потом специально закрепившееся за славянами, осевшими в Македонии (7, с. 87; 9, с. 82; 10, с. 81). Мы не видим никакого противоречия между мнением Миклошича, что имя **slověne* сначала относилось только к тем славянам, которые двинулись в VI в. на юг (7, с. 41), и этимологией нашего макроэтнонима, принимаемой также нами, а именно: **slověne* как отглагольное производное от **slovǫ*, **sluti*, собственно, 'понятно, ясно говорящие' (см. неоднократно в нашей книге "Этногенез и культура древнейших славян", а также см. 11, с.5, с более ранними публикациями). В чисто славянской среде это самоназвание часто и не требовалось; свою родовую (племен-

ную) принадлежность сознавали и без него, причем обходились простейшими самоидентификациями *мы*, *наши*. Но ближе к племенным границам, а тем более за их пределами маркированность славянства намного возрастала... В этом я вижу прежде всего возможность примирить эндогенную природу имени славян и его преимущественно периферийную употребительность, хотя некоторые из моих коллег неоправданно противопоставляют одно другому (12, с. 61–62). В связи со сказанным мне остается еще указать на этимологию названия албанцев, которая по-прежнему является, как я думаю, наиболее естественной: *Shqiptar* от алб. *shqip* 'ясно, понятно', несмотря на все возражения (из них не самое удачное см. 13). Если принять при этом во внимание достоверно вторичное появление албанского этноса на исторической арене, а также типологически вторичный, как и повсюду, характер единого этнического названия, то я готов оставить открытым вопрос – **не является ли для нас этноним *Shqiptar* косвенным свидетельством (отражением) былой этимологической прозрачности этнонима *slověne* в этом регионе?**

Следующие по значению славянские этнонимы на территориях к югу от Дуная – это, конечно, имена сербов и хорватов. Об этнониме болгар я не могу сказать ничего нового: с точки зрения славянской этнонимии он является местным и заимствованным. Но и два других вышеупомянутых этнонима представляют собой – с этимологической точки зрения – иноязычные заимствования, хотя и не носят локального характера. Тем самым я оспариваю укоренившийся в славистике взгляд на имя **sьrbi* 'сербы' как на производное от глагола **sьrbati* 'сосать, хлебать' (12, с. 44, и др.) и хотел бы восстановить старое мнение о существовании связи между именем собственно славянских сербов и так называемых "античных" сербов на Северном Кавказе. Короче говоря, соответствующее свидетельство Σέρβοι (Ptol. Geogr. V. 9. 21) знаменует собой наиболее продвинутый к востоку случай имени сербов – первоначально вероятно индоарийского по природе, исходный пункт которого – по логике индоевропейского расселения – лежал на Западе, судя по упоминанию о некоем племени по имени *Serri* (Amm. Marc. XXVII, 5, 3) в Южных Карпатах, IV век (14, 1, с. 99), таким образом, уже в непосредственной близости от исторической области позднейших – славянских сербов. Что касается удвоения *-rr-*, вместо группы согласных *-rb-* (*Serri* ~ Σέρβοι), то оно выглядит уже совершенно на балканский манер. Ниже мы еще вернемся к этому небезразличному для славистики сюжету о возможных встречах индоарийского и дако-фракийского этносов в районе Карпат. Здесь же нас, естественно, прежде всего интересует факт заметного проникновения имени сербов довольно глубоко в греческие пределы (см., с соответствующей критикой по этому поводу, 15, с. 319–320). Как бы то ни было, подобные случаи усугубляют пестрый облик славянского заселения южной части полуострова. То же можно сказать и о случае Χαρβάτι, равным обра-

зом в Греции (15, там же). В последнем примере представлен славянский этноним **xъrvat(in)ъ*, мн. **xъrvati*, имеющий свою собственную длинную историю и – в отличие от этнонима *сербы* – иранскую этимологию (подробнее см. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 8. М., 1981, с. 149 и сл.). Своеобразно сложилась судьба скудно засвидетельствованного славянского племени по имени **sěver'ane*, то есть ‘северные’, на северном, левом берегу Дуная (в Банате): лишь позднее это племя появится на востоке Болгарии (7, с. 92). Традиция называния левого дунайского берега ‘северным’ представляется потенциально древней, ср. свидетельство баварского географа IX в. – Descriptio civitatum et regionum ad *septentrionalem* plagam Danubii, где *septentrionalis* равнозначно *sinistra* (*plaga*) ‘левый (берег)’. Далее, наряду с этнонимом *смолѣне* на крайнем юго-западе Болгарии, начиная еще с протоболгарской эпохи, с точным древнерусским соответствием, которому специально уделяем внимание в другом месте, следует упомянуть замечательную пару имен – Δρουγουβῖται, название племени на запад от Солуни (Фессалоники), и другие Δρουγουβῖται, название древнерусского племени в позднейшем белорусском регионе (оба названия представлены в византийско-греческих источниках X в.). Самое интересное при этом то, что оба эти этнонима (в том числе и другувиты в Северной Греции!) этимологизируются только на белорусской языковой почве, поскольку представляют собой производное от исключительно белорусского, восточнославянского диалектного слова *дрыгвá* ‘топь, болото’, праслав. диал. **drъgъva* (16, с. 87 и сл.).

...Оставляя в стороне несколько проблематичные в отношении своей славянской принадлежности племенные названия далматинского побережья у Константина Багрянородного, De adm. imp. (Ζαχλοῦμοι, Τερβουνιῶται, Καναλῖται, Διοκλητιανοί, 'Αρεντανοί), а дальше на юг, в непосредственных окрестностях Фессалоники, наталкиваясь на еще более проблематичные вроде 'Ρυγχῖνοι (15, с. 177) и Σαγουδάτοι (там же) формы, которые трудно признать славянскими, мы переходим к прочим случаям славянской этнонимии в византийско-греческом ареале. Почти на всех них лежит иноязычный отпечаток, так, Strumenci (у Нидерле), по всей видимости, калькирует административно-греческое Στρυμονιοι. Относительно более живую форму представляет племенное название *пиjанци*, *Пиjаньць*, по течению Брегалницы, в Восточной Македонии (7, с. 64; 10, с. 142), поскольку мы здесь наблюдаем участие славянской народной этимологии, а именно – соотнесение имени местного античного варварского племени Παίονες с подлинно славянским словом **pьjanъ*, *пьяный*. Вряд ли чисто славянское образование представляет собой название племени Βαιουνῖται в Эпире (15, с. 20). Далее, поучительны названия, засвидетельствованные на крайнем юге Пелопоннеса, – Μηλιγγοί и 'Εζερῖται (Конст. Багр. De adm. imp. 50). Форма 'Εζερῖται, несмотря на явное сходство со слав. *ezero* ‘озеро’, об-

разует пару с названием племени *Oseriates*, близ озера Балатон, причем в отношении последнего все еще не решена окончательно дилемма славянской или иллирийской принадлежности. Что же касается имени милингов, то благодаря этимологии Штибера – название деревни *Mlądz*, под Варшавой, из **mьlęg-* от дославянского **miling-* – мы теперь знаем, что вначале они были, скорее, совершенно иллирийским племенем. В Пелопоннесе эти оба племени – милинги и езериты – предстают перед нами как уже несомненно славянские, но их славянство – плод развития.

По-прежнему этнонимы славян, расселившихся в византийском ареале, таят в себе немало загадочного. Но ясно одно: диалектные и даже языковые различия этих славян-новоселов были значительно больше, чем это готов был допустить наш великий предшественник Фасмер (я имею в виду его книгу "Die Slaven in Griechenland", увидевшую свет более 50 лет назад, а в ней в особенности – его рассуждения о результатах исследования апеллативов). Имена собственные, в их числе – этнонимы, конечно, не совсем подходят для этого по причине своей исключительной знаковости. Часто их значение совсем невелико для суждений о языковой принадлежности стоящих за ними этносов, ср., например, германский характер названия славянского племени Βελεγεζῆται в Фессалии (17, с. 94; 18, с. 301, с литературой) или темное до сих пор имя *Brsjaci*, в Западной Македонии (19, 1, с. 104), территория которых в древности носила имя *Берзития* (8, 1, с. 285). Последние два имени мы теперь относим – в соответствии с достаточно сложным историческим прошлым – к Βερζιλία, βερζίτικον, названию хазарской области на севере Дагестана (см. наше примечание в: 20, с. 178, сноска), в связи с аварами эпохи осад Солуни.

Сравнительная скудость славянских данных, особенно из раннего времени славянского занятия Балканского полуострова, заставляет нас не отграничивать строго старых ономастических фактов от старых фактов нарицательных, в противном случае мы имели бы дело с крайне скудным материалом. Тем драгоценнее при этом редкие лексические свидетельства ранних веков, вроде тех, что имеются в путевом описании Приска, к тому же, в последнем случае вообще невозможно провести строгого различия между занятием "новых" территорий и древним поселением (Приск рассказывает о местности, в которую он прибыл вскоре после переправы через Дунай и некоторые его притоки с юга на север). Что касается названия напитка μέδος в греческой записи у Приска, то исследователи более или менее сходятся в том, что это слово, услышанное от здешнего населения где-то на территории теперешней Воеводины около середины V в., было, скорее всего, славянским (18, с. 93). Иранский (сарматский) и какие-то другие местные индоевропейские языки отпадают в качестве возможных источников слова по лингвистическим соображениям. Практически из того же места и из того же столетия

(приуроченность ко двору Аттилы и его кончине) идет известие о другом туземном слове – *strava(m)*, что у Иордана (Getica) совершенно точно значит – тоже на здешнем языке – 'поминальное пиршество'. Затянувшийся спор о том, почему это слово не может считаться вполне славянским, так как слав. *su̯trava (*sъtrava) было бы записано по-латыни иначе, тогда как *strava* как отражение славянского *jьztrava встречает будто бы хронологические затруднения (18, с. 161 и сл.; см. еще специально: Гиндин Л.А. К вопросу о хронологии начальных этапов славянской колонизации Балкан // Linguistique balkanique, XXVI, 1, 1983, passim; Он же. Обряд погребения Аттилы (Iord. XLIX, 256–258) и "тризна" Ольги по Игорю (ПВЛ, 6453 г.) // Сов. славянов. 1990. № 2. С. 65 и сл.). Автор склоняется к мысли о славянскости слова *strava*, с допущением древнего "*s* подвижного", в чем, думаю, нет необходимости) – этот длинный спор я резюмирую сейчас в духе своей же прежней концепции в Этимологическом словаре славянских языков (вып. 9, с. 81). Я считаю по-прежнему, что здесь можно серьезно говорить только об исходной форме *jьztrava, о чем нас достаточно авторитетно учат древнерусские и русские диалектные формы типа *истрава* 'издержки, расходы', исходная форма с префиксом *sъ-* здесь вообще не существовала. Западнославянское *strava*, восходящее к древнему *jьztrava, реально существует, например, в словацком и означает 'корм для скота'. Применительно к слову *strava* у Иордана можно было бы говорить скорее о паннонскославянском (17, с. 142), непосредственно примыкавшем к собственно западным славянам, чем о дакославянском, о котором будет еще речь дальше. И еще, пожалуй, главное к вопросу, почему в записи Иордана отсутствует *i-* начальное (*strava*, а не *istrava)? Лично мне ситуация напоминает славянско-тюркские отношения вроде *Странджа – Istranca* [istrandža] (о горах Instranza "в европейской Турции" см. 21, с. 247): в глазах болгар начальное *i-* выглядело слишком по-турецки (гласная протеза перед начальной группой согласных, нетерпимой в турецком). Нечто подобное можно было бы ожидать и со стороны информаторов (источников) Иордана, только на этот раз гиперкорректный ригоризм был направлен против гуннов, а заодно и всего того, что могло бы ошибочно сойти за "гуннское". И совсем уже общая мораль этого эпизода может быть сформулирована таким образом, что, решая лингвистические задачи типа иордановского *strava*, мы не должны, видимо, подходить к материалу и условиям явно многоязычных районов (а таким районом была древняя Воеводина) с меркой закономерностей исключительно одного из языков (ср. выше затронутый в дискуссии вопрос о чисто славянской хронологии процесса *jьz-* > *s-* в известной позиции). Необходима бывает поправка на межъязыковые факторы. Кстати, еще одним примером с вероятными западнославянскими ассоциациями из античной Паннонии может послужить эпиграфическое *Dobrates/tis*, имя божества, засвидетельствованное в надписи начала н.э. в пан-

нонском городе *Intercisa* на Дунае, к югу от Будапешта. Этот теоним, персонифицированное 'Добро', полностью покрывается по своему словообразованию и значению с зап.-слав. (праслав. диал.) **dobrotь* 'добро, доброта', о чем подробнее у меня в кн. Этногенез и культура древнейших славян, с. 100–101 (с литературой).

Тем временем мы вернулись в Среднее, в том числе левобережное, Подунавье, поэтому не должно удивлять, что признаки раннеславянского присутствия встречаются чаще. Кратко остановимся на них, точнее – на спорных по сей день вопросах нашей науки. "Что стоит за якобы славянским звучанием имен *Pelso, Ulca – Hiulca, Urbate*, Σερβίνον, Bolia, Dierna-Ζέρνης, Bersovia и – как их еще там? Ничего, кроме подтверждения того, что здесь жили иллирийцы – и фракийцы..." (22). Несмотря на то, что сила скепсиса этих слов Рамовша, сказанных шестьдесят лет назад, едва ли убавилась, очевидно, пришло время для того, чтобы не зачеркивать вообще этот материал, а подвергнуть его спокойному анализу. Конечно, отдельные примеры выглядят явно как иллирийские (Ulca) и должны быть поэтому устранены из списка славянских элементов. Другие же носят вторичный славянский отпечаток: такова дакская *Berzovia*, обратившаяся в рум. *Bîrzava* лишь после того, как прошла славянскую стадию *Bъrzava* (17, с. 59, 21, S. 220–221). Но едва ли имеет смысл предполагать особое местное индоевропейское **k^u̯ersna* 'черная', во всем практически тождественное слав. **čьrnъ*, ж.р. **čьrna* (из **kr̥sno-*, **kr̥snā*) и при этом якобы совершенно независимое от последнего, если принять во внимание, что нам в общем достаточно хорошо известно дакское обозначение черного цвета в виде существенно отклоняющегося индоевропейского диалектного варианта **kr̥s-* > **kris-*, ср. локальный гидронимический комплекс античного *Crisia* ~ венг. *Körös*. Итак, что же тогда такое эта *Dierna/Cerna*? Случайное славянское созвучие? Или уже славянское поселение, стоянка (statio) III в. н.э.? (7, с. 56).

Участие местных балканскоиндоевропейских субстратных языков в формировании (южно)славянских языков несомненно. Но мы очень мало знаем о том, как и в каких размерах это совершалось. Причина тому – ограниченность нашего знания самих субстратных языков. Существующие пособия по реликтам иллирийского и дакофракийского языков для этого недостаточны. В свое время высказывалось мнение, что славизация балканских стран осуществилась столь полно потому, что ассимилированные наречия сами были весьма близки к славянскому. Будучи само по себе вполне приемлемо, это предположение, к сожалению, лишено конкретного содержания, и это сохранится до тех пор, пока не будет проведена систематическая этимологизация. И все же мы получаем с разных сторон интересующие нас сигналы. Уже упоминавшееся дакское *Berzovia* предположительно тождественно этимологически со слав. **berzovъ* 'березовый' (ЭССЯ, вып. 1, с. 206). Имя острова в Эгейском море,

близ фракийского побережья Анатолии, Λέσβος восходит, по-видимому, к дако-фракийскому *lesu̯os, *lesou̯os, этимологически тождественному слав. *lěsovъ 'лесной, лесовой' (ЭССЯ, вып. 14, с. 245). *Berzovъ, *lěsovъ (русск. *березовый*, *лесовóй* и т.д.) – это широко распространенные славянские слова. Но, пожалуй, не менее интересны древние диалектные образования, имеющие, к тому же, соответствия в субстрате. Едва ли случайно сходство сербохорв. *japad* ж.р, 'тенистое место', по-видимому, архаическое сложение префикса *(j)a-* в значении приблизительности и корня *pad-* 'падать', ср. функционально близкое *zapadъ 'заход солнца, запад' (ЭССЯ, вып. 1, с. 71; 23, 1, с. 754–755), и названия **самого западного** племени в Иллирии – *Iapodes*, примыкавшего к современной Хорватии с запада (24, 2, стб. 1319). Тем самым одновременно обретает прозрачность данный реликтовый индоевропейский этноним (*Japodes, Japudes, Japyges*), углубляется и наше понимание структуры иллирийского языка. Замечательный по-своему случай представляет собой сербохорватский диалектный предлог *med* (при литературном *mȅđu*) 'между' (Воеводина, Славония, кайкавский, а также словенский), по всей вероятности, еще праславянский диалектизм из и.-е-. *medo- то же. То, что здесь речь не идет о поздней инновации сербохорватского, наглядно демонстрирует сербохорватский топоним *Medbara*, собственно говоря, продолжение еще античного *Metubarris*, *Metubarbis*, буквально 'Междуболотье', местность на Саве, с корнем *barb- и уже знакомым нам фонетическим развитием *rb* > *rr* (17, с. 133, 135, 142; 25, с. 174). Преимущественно южнославянский апеллатив *bara* 'поток, ручей; лужа; луг; болото' относят сюда же (ЭССЯ, вып. 1, с. 153–155), и он тоже предполагает иллирийско-фракийско-албанское развитие *barb- > *bar(r)- (ср. выше *Serri*); ср. еще *Kolu-bara*, название притока Савы.

В отличие от предыдущего, слово *vьrtъpъ/vьrtopъ 'пещера; воронкообразное углубление; водоворот' принадлежит преимущественно восточной части южнославянского (старославянский, болгарский, македонский, восточносербский). Из славянского оно попало в румынский – *vîrtóp*, *hîrtóp* 'яма', представлено также в топонимии Румынии, Албании, Греции (Βουρτόπη) и в явно дославянских местных названиях Фракии (Burdapa) и Восточной Сербии (Βούρδωπες) (17, с. 117, 155; 19, 1, 212; 14, II, с. 2, 61; 26, с. 47; 27, С. 218). Небезынтересно для нас утверждение Селищева, что "к северу от Албании, в областях сербских славян, нет таких названий". Понятно, что известное русское слово *вертéп* 'пещера; (разбойничий) притон и т.д.' целиком принадлежит литературному языку, будучи генетически церковнославянским элементом. Менее ясны несколько случаев из диалектной лексики, которые обозначают различные труднодоступные, крутые места (28, 4, с. 151; 29), но известно, что и словарный состав русских народных говоров подвергался влиянию церковнославянского. Южнославянское слово имеет вполне славянский вид,

у нас есть для него солидная этимология Георгиева – из и.-е. *u̯r̥t- 'вертеть' и *up- 'вода, река', но приведенные выше предположительно фракийские формы, которые, со своей стороны, явно претендуют на ту же индоевропейскую этимологию, настраивают нас на осторожный лад. Равным образом родство балтийской формы – лит. *Vir̃t-upė*, гидроним в Литве (30, с. 388), сложение тех же этимологических компонентов, заставляет нас склониться к выводу, что вначале здесь был, по-видимому, фракийский. Кстати, при этом можно было бы высказать общее наблюдение, что ввиду наличия признанно древних дако-фракийско-балтийских черт близости ряд этимологических балтийских соответствий, вскрываемых особенно в болгарском словарном составе, нуждается порой в несколько иной характеристике, а именно – с точки зрения традиции фракийского субстрата, а не гипотетичного болгарско-балтийского соседства, как это нередко представляется в литературе.

Следующий затем случай интересен в том отношении, что фракийская природа при этом совершенно вероятна, но балтийский фон отсутствует. Болг. диал., макед. *глух, глуф, глу́шец* 'мышь, крыса; полчок' (31, с. 50, 405), по косвенным признакам – архаический диалектизм (32, с. 63), было убедительно проэтимологизировано как первоначальное **glišь* < и.-е. **g(e)li*, ср. лат. *glis*, *gliris* 'полчок, соня', алб. *gjer* 'соня, сурок, белка', др.-инд. *giri* 'мышь', что все вместе ввиду красноречивого отсутствия этого слова в остальных славянских языках делает вероятным его происхождение из балканского субстрата (древне-македонский, иллирийский или дако-фракийский) (19, 1, с. 253, 33, 1, с. 607: славянских форм не приводит). Сюда же может принадлежать, вопреки скептическому отношению Томашека (14, II, с. 4), фракийское ἄργιλος ὁ μῦς, если предположить в нем искажение первоначального **(a)gliros* под влиянием форм вроде ἄργελλα οἴκημα Μακεδονικόν или ἄργιλος ·λευκόγειος.- (Hes.).

Два нижеследующих слова целиком принадлежат славянскому, и в том, что дело дошло все-таки до заимствования турцизмов, повинна своеобразная судьба этих славянских слов в балканских странах. Я имею в виду две родственные лексемы еще индоевропейского происхождения **u̯l̥na* 'волна' и **u̯l̥̄na* 'шерсть-волна', последнее – с акутовой долготой (34, с. 1139, 1143). Абсолютно ясно, что второе из них произведено от первого: шерсть-волна была названа метафорически как нечто 'волнистое, струящееся', ср., например, нем. *Vließ* 'руно': *fließen* 'течь'. Индоевропейские отношения продолжаются в точности в славянском: праслав. **vьlná* I (русск. *волна́*) характеризуется краткостью корня и конечным ударением, а **vь́lna* II (русск. *во́лна*) – производной долготой врдхи в корне. В неблагоприятных условиях развития в южнославянском, когда имелась тенденция к фиксации ударения на корне, как правило, утрачивался старший член оппозиции: праслав. **vьlna* I 'волна' вытеснено в сербохорватском и словенском синонимом *val*, сохранилось только сербохорват-

ское *vüna* 'шерсть' (23, III, с. 636–637). В болгарском, похоже, старые отношения сохранились только в литературном языке (по образцу русского?): *въ̀лна* 'шерсть' и *вълна́* 'волна', в живом народном языке ввиду откровенно слабой позиции последнего слова произошли изменения и замещения. Так появились диалектное *далга* из турецкого *dalga* (19, 1, с. 315; 31, с. 399) и этот своеобразный турецкий грецизм *тала́з* 'волна' (35, с. 628).

Отношения славянского и балканскоиндоевропейского перестают быть предметом исключительного интереса специалистов по балканистике, они все больше и больше затрагивают существо славистики. Достаточно красноречивый пример этого – судьба славянского названия тиса: праслав. *tisъ – русск., укр. *тис*, русск.-цслав. *тиса* 'сосна, кедр', болг. *тис*, сербохорв. *тис* 'тис, лиственница', словен. *tîs*, чеш., слвц. *tis*, польск. *cis*, в.-луж. *ćis*, н.-луж. *śis*. Признание родства этого славянского названия дерева *Taxus baccata* и лат. *taxus* 'тис' кажется неизбежным. Но их отношения до такой степени затруднительны и невыяснены, что славянское слово до сих пор остается признанно темным: американский ученый прибег даже к иероглифической реконструкции индоевропейского **tVk̂so-* 'тис', в которой *V* может означать любой гласный (36, с. 121 и сл.), что, естественно, не явилось ощутимым шагом вперед в этом вопросе. Ситуация, при которой родственные отношения нельзя ни отрицать, ни доказать, явно говорила о заимствовании, что предполагалось и ранее, с той разницей, что язык-источник оставался неизвестен (37, IV, с. 61, 857). От естествоиспытателей мы знаем, что особенно богата тисом Центральная Европа (38, с. 407; 39, с. 575). Другое дело – Восточная Европа, а вместе с ней и восточные славяне: относительно последних говорят лишь о "книжном знакомстве" с этим незаурядным деревом (40, с. 24). Это видно и по приведенному выше русско-церковнославянскому примеру из Срезневского, где значение, приписываемое слову *тиса* – 'сосна, кедр' (?), свидетельствует именно об этом не очень хорошем знакомстве (ведь тис прежде всего – не хвойное дерево!). До недавнего времени особенно много тиса было в Карпатах. Как уже сказано, славянское название тиса практически не имеет этимологии, потому что брюкнеровское сближение **tisъ* и польск. *cigiędź* 'чаща' (см. также 40, с. 51) – это не выход из положения. Целесообразно поэтому вернуться к нашей паре **tisъ*: *taxus* с тем, чтобы еще раз заняться этими отношениями. Загадка заключается в самом этом отношении вокализма *a* : *i*. Именно здесь коренятся закономерности неизвестного нам языка-источника славянского слова.

На юге Болгарии, в исторической Фракии, есть и сейчас известный город Пловдив, название которого восходит точно к древнему *Pulpu-deva*, что значит на языке фракийцев-бессов 'город Филиппа'. Кроме того, хорошо засвидетельствован фракийский апеллатив δέβα 'город' (эмендация из λέβα) у Гесихия, проэтимологизирован-

ный из и.-е. *dhēu̯ā 'поставленное, основанное' (14, с. 9). Таким образом, и.-е. ē долгое сужалось во фракийском в i (41, с. 115), ср. еще один пример с тем же корнем – *Recidiva*. Кодекс Юстиниана, новелла XI: (21, с. 324). Но это еще не все. Кроме некоторого количества фракийских названий городов на *-deva* (все – на юг от Дуная), к северу от этой реки, то есть в Дакии, представлены гораздо более многочисленные названия на *-dava* (41, с. 119). Иногда встречаются (на Юге) также дублеты вроде Συκι-δάβα наряду с Ζικί-δεβα (Прокопий), в Добрудже (41, там же). Не оставляет сомнений связь всех этих форм, при этом формы *-dava* рассматриваются как дальнейшее развитие форм *-deva*, обратные же изменения в дакском ставятся под вопрос (Дуриданов, см. 41, passim). Но возможность шире взглянуть на вещи дает нам название самих даков, прежде всего – в составе имени их царя – Δεκέ-βαλος, *Deci-balus*, что, собственно, есть титул: 'дакский царь'. У Томашека на этот счет можно прочесть о сомнениях как раз по поводу *e* из *a* (14, II, 2, с. 31). Но вот еще один пример этого рода: согласно Страбону, один дакский пророк в царствование Буревисты назывался Δεκαίνεος. Томашек (14, там же), оставляет его практически без объяснения: "Wz. dek-?" Но, по всей видимости, первоначально было *Δακ-αίνεος, тоже, скорее, титул, чем имя собственное – что-то вроде 'дакский святой', причем второй компонент этого имени мы находим еще в названии священной горы в Дакии, в постпозиции – Κωγαἶονος 'гора' + 'святая'. У Иордана (Getica) встречается имя этого святого человека в огласовке *Dicineus* (14, 2, с. 31). Из этого можно было бы заключить, что фонетический переход *a* > *e* > *i* был все-таки возможен на дако-фракийской языковой почве, и такая констатация могла бы оказаться полезной в дальнейшем исследовании вопроса о *taxus* ~ *tisъ*. А именно: дако-фракийский прототип *tiso- (из и.-е. *tāk̑so-) в значении 'тис' попал в отдаленном прошлом в соседний праславянский где-то в районе между Средним Дунаем и Карпатами. Тем самым обретает дополнительный смысл мнение Селищева – в связи с его оценкой славянского характера алб. *tis* и рум. *tisa* 'тис' о том, что на всем Балканском полуострове называют *Taxus* славянским именем (27, с. 164). И – прямо наоборот – мы могли бы сейчас утверждать, что, прежде чем распространиться по всему праславянскому ареалу, прототип праславянского слова *tisъ был заимствован славянским из дако-фракийского. Поэтому нельзя считать окончательным решением отрицательное мнение Шахматова по поводу старой уже догадки Ростафинского о том, что слово *tisъ пришло к славянам от фракийцев (A. Schachmatov. Slavische Wörter für Epheu // Festschrift V. Thomsen zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres am 25. Januar 1912. Leipzig, 1912, S. 195–196). Ясно одно – сейчас уже нельзя отрицать контакты праславян с фракийцами **только на том единственном основании**, что подобные контакты до V в. н.э. в придунайских районах по-прежнему кажутся сомнительными отдельным ученым

(я имею в виду один из главных контраргументов Дуриданова в его критике моей версии о фракийском происхождении слав. *kobyla*, [см.: И. Дуриданов. Произход на слав. *kobyla* и на тракийското селищно име Καβύλη // Славистичен сб. БАН, 1988. С. 195 и сл., там же дальнейшая литература]).

Переселение масс славянского населения с берегов Дуная в глубь полуострова не могло не расшатать существовавшие там гидронимические системы. Правильно в общем замечено, что все важные реки в этом районе носят не славянские, а, как правило, дославянские названия. Таковы, как обычно считается, *Дунав (Дунай), Сава, Драва, Мура, Соча, Тиса, Тамиш, Купа, Уна, Врбас, Босна, Дрина, Неретва, Зета, Ибар, Морава, Тимок, Вардар, Струма, Вит, Искър, Етър (Янтра), Марица, Тъжа (Тунджа)* и – не только они (17, с. 173). И все же номенклатура в землях на юг от Дуная претерпела существенную славянизацию. Анализ этого фонда вскрывает немалое участие славянского словарного состава, включая ряд архаических элементов, ср. (42, passim). Правда, мы не встречаем здесь переноса целых гидронимических ландшафтов как следствия этнической миграции. Практически не имело места повторение дальше к югу гидронимов с правого (так сказать, "неславянского") берега Дуная (ряд из которых назван выше), если судить по гидронимии бассейна реки Вардар и прилегающих долин Албании, то есть стран на юге, которые были ославянены значительно раньше, чем греческие территории и даже чем Болгария. Оттуда можно привести отдельные случаи форм, продолжающих название Дуная, напр. *Дунавец* в южной Албании (27, с. 56, 242) и *Морава*, там же. Правда, из них именно *Морава*, обычно зачисляемая однозначно в дославянские названия (см. перечень выше), привлекала уже наше внимание как эндемичная центральноевропейская форма с древнеевропейскими гидронимическими связями и непрерывностью ее продолжения в славянском (5, с. 245). Любопытно, что именно *Морава* ощутимо "вторглась" на Юг и вполне реально, что это она дала начало славянскому гидронимическому типу на *-ава* в бассейне Вардара (42, с. 299–300).

Из проблем собственно топонимических назовем здесь два эпизода, которые привлекли наше внимание тем, что наглядно отражают длительный характер локальных традиций. Первый из них представлен названием античной области *Дардания* (приблизительно северная часть республики Македонии и южная Сербия), убедительно проэтимологизированным в связи с алб. *dárdhë* 'груша', *dardhán* 'крестьянин', собственно 'тот, кто выращивает груши' (17, с. 83–84, с литературой; 14, 1, с. 25). Сегодня никто и не вспоминает ни в Македонии, ни в Сербии о давно забытой Дардании, но поныне живут там топонимы *Крушево, Крушевац*, объяснимые не одним только славянским названием груши, но и – некогда живой памятью о Дардании, "грушевой стране".

Второй топонимический эпизод не лежит в такой степени на поверхности вещей, как вышеназванный, но он тем более интересен, по-моему. Когда я заинтересовался проблемой **славянского** названия Трансильвании, из справочной литературы я вынес впечатление, что такого названия вообще не существует. Лично для меня проблема эта интересна тем, что речь идет о территории, близкой к Среднему Дунаю, – праславянскому ареалу (в моем представлении), тем более, что ниже говорится еще об одном возможном плацдарме, или, вернее сказать, "мысе" раннеславянского заселения – в нынешнем Банате. Правда, если смотреть из Среднего Подунавья, Трансильвания лежит несколько в стороне, за Тисой, и "близко" это кажется только на карте, главное же – наполнение праславянской ойкумены остается для нас во многом вещью в себе, объектом нашей реконструкции. И все же отсутствие старого славянского названия Трансильвании остается странным, нуждается в объяснении. Поэтому уделим несколько внимания специальной теме: "местная традиция называния Трансильвании". В специальной литературе дело представлено таким образом, что ответственность за этот способ называния – 'за лесом (находящаяся)' – несет венгерское название области *Erdély* (с XII в.); позднелатинское *Trans-sylvania* является лишь слепком венгерского названия (43). В Румынии известны оба названия – *Ardeal* (из венгерского) и лат. *Transilvania*. А мы, славяне, не упустившие случая калькировать своими славянскими языковыми средствами даже такие явно поздние образования, как *Siebenbürgen*, – *Семигрáдье*, *Семúгород*, *Siedmiogród*, так и не обзавелись эквивалентом, дабы передать представление об этой местности 'за лесом', внутри Карпатской дуги (под 'лесом' при этом подразумевают горы Бихар). К тому же, совершенно исключено, чтобы этот тип называния Трансильвании был моложе, чем упомянутое 'Семиградье'. Тогда перед нами встает задача отыскать потенциальный прототип в местном субстратном материале. В качестве такового, я полагаю, можно рассматривать топоним *Porolissum* / Πορόλισσον//Παράλισσον в северозападной Дакии. По нему получила название *Dacia Porolissensis*, самая северная часть Дакии (24, 4, стб. 1062; 44, с. 375).

Что касается этимологии, едва ли удачна мысль Томашека о том, что Πορό-λισσον родственно в первом компоненте с *-para*, πάρος; в значении 'базарное место, село' (14, II, 2, с. 63, 65). Из его анализа достоверно одно: членить надо *Poro-lisso-*. В остальном мы расходимся с знаменитым фракологом, поскольку видим в *poro-* / *para-* скорее префикс (относительно двойственного рефлекса и.-е. *o* краткого как *o*/*a* в дако-фракийском (см. 45, с. 95), а корнем слова считаем *-liss-*, и нам остается идентифицировать последнее как лексему 'лес', ср. то, что было сказано выше о названии острова Λέσβος и его фракийской принадлежности. В названии *Porolissum* мы могли бы, таким образом, предположить субстратное дакское выражение,

значившее примерно 'за лесом' и одновременно – прототип для модели *Trans-sylvania*, отодвинув тем самым начало этой традиции наименования намного глубже, чем XII век. И все же спрашивается, почему славянский не участвовал в этом назывании?* Думается, что контакты, а с ними и необходимая коммуникация (понятия, представления) между славянами и неславянами попросту иногда отсутствовали так, как они могут отсутствовать между обитателями долин и горными жителями. Балканские индоевропейцы (правда, не все) были по преимуществу горцами. Напр. фригийскоязычные пеоны селились в речных долинах, что оставило отпечаток в их названии ('луговые'). Но македонцы, как много позднее после них албанцы, спустились с гор. Об албанцах практически не было слышно вплоть до позднего средневековья. Замкнутая жизнь высоко в горах, отсутствие интереса – культурного и экономического – к жизни в долинах, не говоря уж о морском деле, – это тоже причины того, что албанцы, этот древний туземный балканскоиндоевропейский народ, попали так поздно в поле зрения истории. Чтобы объяснить это, большие расстояния и этнические перемещения не нужны. Исследователи, которые пользуются последними, желая ответить на вопрос "где селились предки албанцев?", похоже, забывают о такой вещи, как культурная стадия. Таким (или примерно таким) образом можно попытаться объяснить затронутый нами выше пробел в раннеславянской номинации, то есть и в данном случае – не обязательно по причине скудости источников.

Этнолингвистические древности Балкан таят в себе еще много неразгаданного. При этом славянская доля участия выглядит порой проблематичной и вторичной, что, однако, никогда не означает, будто итоги общей балканистики и индоевропеистики безразличны для славистики в собственном смысле. Выше мы приводили пример с так называемыми (на мой взгляд, индоарийскими) "античными" сербами, которых донес до нас в завуалированном виде – в южнокарпатских Serri – Аммиан Марцеллин. Существует ряд указаний о следах индоарийского (то есть праиндийского) присутствия от Западных Карпат (соответствующая этимология названия города *Nitra*) дальше на юг, ср. топонимический элемент *-nad* как в словацком гидрониме *Hornád*, так и в местных названиях Трансильвании и Баната (к др.-инд. *nadī* 'река'). В некоторых случаях индоарийские влияния можно констатировать у фракийцев-бессов, следовательно, довольно далеко на юге. В одном примере речь может идти о явном заимствовании из индоарийского именно на юге: *Uscu-dama*, фракийско-бесское название города Адрианополя (в настоящее время

* Можно было бы ожидать, скажем, слав. **per-lěsьje*, весьма близкое этимологически к дакскому *poro-lisso-*, или в крайнем случае слав. **zalěsьje*, но такие славянские названия Трансильвании мне неизвестны, хотя, напр., в чешско-моравской топонимии встречается название *Zálesí* 'залесье', с местной привязкой.

Эдирне в европейской Турции), в котором *uscu-* – предположительно 'вода' по-фракийски (44, с. 349), а второй компонент может быть только др.-инд. *dhāman* '(населенное) место' (и.-е. **dhēmn̥* дало бы во фракийском в лучшем случае **demen* > **dimen*). Дальнейшие индоарийско-фракийские этимологии принадлежат еще Томашеку, который сблизил Σάτραι ἔθνος Θράκης (Гекатей, Стефан Византийский) и арийское *kṣ̥átra-* 'господствующая часть народа' (14, 1, с. 68) и, что не менее интересно, Βησσοί, название части фракийцев-сатров, в эпиграфике – BESUS, а также VESUS, – с др.-инд. *veśá-* 'член того же рода, служитель' (14, 1, с. 72–73), что может быть для нас бесценным свидетельством отголосков арийского кастового деления на кшатриев и вайшьев в Восточных Балканах. Эти несколько экзотические, с точки зрения славистики, свидетельства были даны здесь как бы в виде целой серии с тем, чтобы исключить возможные подозрения в случайности.

Возвращаясь на славянскую языковую почву, мы едва ли вправе думать, что здесь мы до такой степени "дома", что все гипотетическое уступает место уверенным суждениям. Непрекращающиеся споры о южнославянском языковом единстве (вторично или изначально? – последнее едва ли, а первое тоже так и не было достигнуто полностью) говорят об обратном. Как славяне заселяли балканский регион? Преодолевался ли при этом Дунай на нескольких или многих местах своего среднего, а также нижнего течения? Особенно популярной была идея двух главных потоков славян, один – на среднем течении Дуная, другой – на нижнем его течении. И в рамках сербокроатистики предпринимались попытки выявить два возможных этнокультурных потока, но результат слишком уж смахивает на единый нормально функционирующий языковой и культурный ареал, где инновации занимают центр, а архаизмы оттесняются на периферии. Для сербохорватской исторической диалектологии характерно северно-южное направление главных изоглосс (17, с. 143–144, 379). Несомненно существование главного людского потока, который направлялся со Среднего Дуная на Юг и изливался в долину Вардара (Аксиоса). Этим путем на Юг шли не только славяне, но и другие индоевропейские племена в гораздо более раннее время. Дорийская миграция по этому пути с дунайских равнин в Эгеиду берет начало в неолите (25, с. 98–99). Можем ли мы приписывать такую же достоверность и второму, восточному потоку славян на Юг? Внешне казалось, что – да, и прежде всего – по причине этих значительных структурных различий между сербохорватским, с одной стороны, и всей восточной частью южнославянского, болгаро-македонской группой – с другой. Так возникла остроумная теория Н. Ван-Вейка, которая предполагала между обеими частями южнославянского наличие целой промежуточной зоны с субстратным (романским) населением в Восточной Сербии и Западной Болгарии. Вопрос о первоначальном ареале балканского

романства стал, возможно, определяющим и для последующей науки. Однако обычно акцентируемые при этом структурные различия между сербохорватским и болгаро-македонским носят все-таки вторичный характер. И промежуточная зона Ван-Вейка не помешала славянам заселить Болгарию как раз со стороны Македонии. Ибо это был магистральный путь. Не так давно польский романист В. Маньчак, известный своими неортодоксальными взглядами, предпринял попытку объяснить так называемое "румынское чудо", другими словами, выявить причины, почему именно там сохранил свое господствующее положение романский элемент. Его ответ гласит: двух славянских потоков в балканские страны не было, был только **один** миграционный поток – на Западе, и это спасло романский элемент на Нижнем Дунае. Болгарские славяне пришли в Румынию с юга и не раньше VIII–IX вв. (46, с. 21 и сл.). Совершенно независимо от Маньчака к такому же выводу пришел на своем собственном топонимическом материале другой специалист – покойный болгарский лингвист Й. Заимов. По его мнению, топонимия не подтверждает этот так называемый "пролом на заселването" (прорыв заселения) через Нижний Дунай. Наоборот – все известные факты говорят в пользу того, что славяне вначале дошли со Среднего Дуная до Македонии и лишь оттуда часть из них направилась на восток – северо-восток, в будущие болгарские земли (47). Со своей стороны, замечу, что изложенные взгляды перспективны не только для концепции славянского южного фланга и его динамики, но для среднедунайского раннеславянского ареала – больше, чем для какого-либо другого.

Большая работа предстоит и в собственно славянской этимологии, географии и истории слов. Мы унаследовали в этой области немало стереотипов, давно нуждающихся в свежем взгляде. Внешне вполне традиционно выглядит такой пример, как рум. *zăpádă* 'снег', несомненно славянское заимствование, конкретный славянский источник которого, однако, до сих пор не установлен (48, с. 229). Это привело к тому, что здесь предположили имитацию "дакского" названия снега славянскими языковыми средствами, но на почве румынского языка (17, с. 76). Но слово *zăpádă* – это не румынская инновация или специализация, как это иногда пытаются осмыслить (49, с. 69). Форма с таким значением в самом деле отсутствует в южнославянских и как будто в остальных славянских языках (повсюду в наличии **zapadъ* 'заход солнца, запад'), и все же мы в состоянии напасть на след давно искомого слова в северновеликорусских говорах: *запáд тропы* 'засыпание тропы снегом', в Архангельской губернии (28, 10, с. 295). Стоит обратить внимание и на место ударения: *запáд*, при рум. *zăpádă* , в отличие от исконно начального ударения запад (сторона света). Выходит, что рум. *zăpádă* и стоящее за ним славянское слово – вовсе не калька (имитация) "дакского" или алб. *dë-borë* 'снег': *bie* 'падать', а как раз наоборот. Точно так же, ве-

роятно, рум. *nisip* 'песок' было заимствовано не из слав. *nasypъ/ь* с самым общим значением 'насыпь, дамба' (так см. 17, с. 1991, а скорее – из совершенно конкретного славянского названия песка, ср. и в этом случае северновеликорусское *на́сыпь* ж.р. 'куча прибрежного песку' (28, 20, с. 212). Не может быть объяснено из южнославянского специфическое слово *oxaba* 'наследуемая усадьба, свободная от податей', лежащее в основе местных названий *Ohaba, Ohabiţa* в Западной Румынии (17, с. 121). Любопытно при этом общее наблюдение, что корень **xab-* представлен главным образом в северославянских языках (50, с. 153–154). Но наиболее точное соответствие, включающее и общность префикса, и социальную близость значения, представлено как будто в др.-русск. *охабити* 'оставить, покинуть' (Словарь русского языка XI–XVII вв. 14, с. 80, с цитатой из Переяславской летописи, где повествуется о князе, который оставил без надзора свою землю). В свою очередь обнаруживает северославянские (а не южнославянские) связи такое фондовое слово, как *lapă* 'рука', попавшее – и на этот раз в Западной Румынии – в румынский из одного местного славянского туземного диалекта с явными старыми северославянскими чертами, но позднее, так сказать, "южнославянизированного" и известного в славистике как современный карашевский сербский диалект. В связи с этим говорят (Попович, Райхенкрон) о дакославянском – как о забытом особом славянском языке в юго-западной Румынии (Банат), который носил предположительно северославянский и вместе с тем туземный характер (17, с. 45, 121, 137, 285, 301, с предшествующей литературой). Повод для этого дают как будто ряд лексических изоглосс вроде перечисленных выше и, кроме того, приводимые также в литературе морфологические особенности.

Собственно славянские черты, архаизмы и изоглоссы, на которых мы намеренно сосредоточились в предыдущих примерах, курьезным образом оказались материалом, выявляемым из румынского, но такова уж балканославянская специфика, причем важность петрифицирующего фактора иносистемного языка особенно возрастает. Поэтому еще последний пример такого рода. Рум. *mînjí* 'мазать', по мнению Скока, заимствованное из слав. *mazati* с инфигированным *n* перед *z*, можно было бы объяснить и иначе – как своеобразную контаминацию двух ступеней чередования **mağ-* и **amĝ-*, причем имеет место что-то вроде продолжения незасвидетельствованного слав. диал. **mǫz-* в ряду других известных славянизмов румынского с незасвидетельствованными славянскими прототипами (ЭССЯ, вып. 18, s.v. **mazati*). Едва ли более вероятно другое объяснение *mînjí* (*a mânjí*) – как чисто дакского слова (45, с. 142).

Наши привычные представления о южнославянском и его словарном составе постепенно меняются. Еще недавно слово **sosna* считали лексемой, неизвестной в южнославянских языках. Лишь де-

тальные исследования Е. Русеком старшей болгарской письменности и македонской топонимии (в том числе ороним *Сосна*) – в работах Т. Стаматоского (51, с. 223–255) показали нам, что все обстоит иначе. К лесному делу принадлежит и слово **zabělъ*, о котором думали, что, кроме ст.-серб. *забѣль* 'дерево, помеченное снятием коры', сербохорв. *zabio*, диал., *zabel*, ср.-болг. *забѣль* и довольно обильного наличия в Македонии, в том числе в старших письменных памятниках, оно больше нигде не известно (17, с. 26, 378, 27, с. 254; 51, с. 222). Теперь мы можем назвать в этом ряду еще др.-русск. *забѣль* ж.р. 'недостаток древесины, вызванный обдиранием коры' (Словарь русского языка XI–XVII вв., 5, с. 133).

Дальнейшие случаи представлены словами, которые раньше считались исключительно южнославянскими, даже балканскими, что теперь требует коррективов. Довольно интересно в этом отношении **gaziti*, **gazъ*: сербохорв. *gaziti* 'ступать', *gaz* 'брод', словен. *gaziti* 'ступать, наступать', *gaz* 'дорога (в снегу)', болг. *гáзя* 'идти (по грязи)'. Ввиду такой его южнославянской исключительности предпринимались даже попытки определить это слово как потенциальное заимствование из фракийского (19, 1, с. 224; 17, с. 17). Но вышеназванное ограничение отпало, как только было обращено внимание в этой связи на блр. диал. *газ* 'брод' (ЭССЯ, вып. 6, с. 113). Судьба славянского слова **kopylъ* запутана почти так же, как и этимологическая литература о нем. Я имею в виду болг. *копи́л*, *кóпиле* 'внебрачный ребенок', а также *кóпеле* 'побег, отросток, стебель', макед. *копиле* 'внебрачный ребенок', сербохорв. *kȍpīl* 'внебрачный сын', но также *kȍpīle* 'подпорка кофейной мельницы', слвц. *kopyl'* 'внебрачный ребенок', далее, н.-луж. *kopeło* 'мотыга для навоза', польск. *kopył* 'копыто', др.-русск. *копыль* 'стояк у санных полозьев', русск. *копы́л* 'стояк, подпорка', укр. *копи́л* 'стояк у саней', 'внебрачный ребенок', блр. *капы́л* 'сапожная колодка'. Существует и сейчас разделяемая многими версия, которая рассматривает южнославянское *kopil* 'незаконнорожденное дитя' изолированно от прочих приводимых выше значений и толкует его как заимствование из алб. *kopíl* 'внебрачный ребенок', рум. *copíl* 'дитя'. Мы не станем здесь вдаваться в особую албанско-индоевропейскую этимологию Йокля, Хубшмида и др. Достаточно указать на то, что значение 'внебрачный, незаконнорожденный' типологически вторично и притом непротиворечиво объясняется из крестьянской психологии как '(лишний) побег, который отсекают'. Это наилучшим образом объясняет и все прочие приведенные выше значения, возводимые при этом к слав. **kop-*, **kopati*, также 'рубить, обрубать' и т.п. и мотивирующие необходимость реконструкции слав. **kopylъ* (ЭССЯ, вып. 11, с. 30 и сл.). Так, в итоге оказывается одним "дакским" словом меньше. Албанский и румынский заимствовали это слово у соседей-славян, не наоборот.

Иван Попович в своей фундаментальной "Истории сербохорватского языка" приводит в качестве примера словенско-чакавско-южнодалматинско-черногорских лексических соответствий образование *ptič* и т.д. с общим значением 'птица' при литературном штокавском *ptić*, ст.-слав. *пътишть* 'птенец' (17, с. 322). Сравнительная славянская грамматика дает характеристику суф. *-itjo-* как форманта уменьшительных имен и обозначений малых существ, детенышей, особенно в церковнославянском (уже упомянутое *пътишть* и т.д.) (52, IV, с. 332, 333). Тем загадочнее тогда для нас два места из древнерусского Слова о полку Игореве: Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божия не минути 'ни хитрому, ни речистому, ни речистой птице суда божьего не избежать'; Уже бо бѣды его пасетъ птиць по дубию 'его беду подстерегает уже птица на дубах'. Этот **птичь гораздъ* (с северновеликорусским *ц* вместо *ч*) совершенно очевидно не является деминутивом (*гораздъ* – 'речистый, умный', то есть взрослый!), во всем остальном будучи совершенно тождественным южнославянским образованиям на *-itjo-*.

Наше обозрение славянского "южного фланга" в плане выявления ряда южнославянских и других славянских особенностей как ономастического, так и апеллативного характера, а также их словообразования и семантики (включая сюда и чисто балканскоиндоевропейские аспекты) подходит к концу. Мы преследовали также цель обратить внимание на такие случаи, которые пока не нашли доступа в более систематичные и гораздо более полные изложения. И еще один тезис я приберег к концу, собственно даже – повторение моего прежнего тезиса, который у меня созрел лет двадцать назад, при изучении лексических итогов Фасмера в его книге о славянах в Греции (6, с. 63 и сл.). Великий младограмматик Фасмер откровенно не знал, что делать со всеми этими **неюжнославянскими славизмами** в топонимии Греции: Κονίσπολις (ср. польск. *Koniecpol* и – ничего похожего в южнославянском), несколько случаев Ὄζερος (в южнославянском только *jezero*, в отличие от вост.-слав. *озеро*), топоним Ζγκάρι в Фессалии, больше соответствующий укр. *Згар(ь)*, чем чисто южнославянскому *Izgar*, рядом со Ζγκάρι – топоним Τολπίτσα, родственный русск. *толпа* 'множество людей', но лишенный болгарских и сербохорватских соответствий, Μπαλαμούτι – с исключительно севернославянскими соответствиями, при полном отсутствии южнославянских, Πολοβίτσα, совершенно неизвестное южнославянскому словарному составу. Есть основания полагать, что, во-первых, от этой серии случаев просто отмахнуться уже нельзя, во-вторых, есть вероятие, что число подобных случаев еще умножится (исследование Фасмера далеко не исчерпало славянский пласт греческой топонимии, как показывает хотя бы работа Ф. Малингудиса). В 1974 г. я сформулировал упомянутый свой тезис в том смысле, что селившиеся в Греции ранние славяне характеризовались немалой этнической и языковой пестротой, и это напомнило мне русское осво-

ение Сибири, в котором, кроме признанной северновеликорусской (новгородской) колонизации, принимали участие также целые южновеликорусские зоны (напр. семейские, то есть жители с берегов Сейма), а также смешанные говоры (ну, и, разумеется, еще украинцы!). Относительное сплочение в таких ситуациях приходит вторично. Но дело не только в том, что по этому вопросу я думаю сейчас то же, что думал двадцать лет назад. Значение симптомов исходной диалектной пестроты славянского "южного фланга" видится гораздо бóльшим, ибо оно приоткрывает перед нами диалектную сложность изначального славянского ареала на Среднем Дунае.

1. *Popowska-Taborska H.* Językowe wykładniki opozycji swoi – obcy w procesie tworzenia etnicznej tożsamości // Językowy obraz świata. Lublin, 1990. S. 61 и сл.
2. См., вслед за Лайстом (*Leist B.W.* // Alt-arisches ius gentium. Hrsg. von W. Meid. Innsbruck, 1978), *Леман В.П.* Новое в индоевропеистических исследованиях // ВЯ. 1991. № 5. С. 24.
3. *Katičić R.* Die Ethnogenesen m der Avaria // Typen der Ethnogenese mit besonderer Berücksichtigung der Bayern. Teil 1. Veröffentlichungen der Kommission für Frühmittelalter forschung. Bd. 12. Wien, 1990. S. 126.
4. Подробнее см. упомянутый "Свод...". С. 357 и сл., особенно 359–360.
5. См. далее *Трубачев О.Н.* Этногенез и культура древнейших славян. С. 127, 230 (сноска).
6. *Трубачев О.Н.* Ранние славянские этнонимы – свидетели миграции славян // ВЯ. 1974. № 6. С. 48 и сл.
7. *Нидерле Л.* Славянские древности. М., 1956 (русский перевод книги, к сожалению изобилует ошибками).
8. Historija naroda Jugoslavije. 1. Zagreb, MCMLIII.
9. *Наследова Р.А.* Македонские славяне конца IX – начала X в. // Византийский временник. Т. XI. М., 1956.
10. *Славева Л.* Дипломатичко-правните споменици за историјата на Полог и соседните краеви во XIV век // Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија. Т. III. Уредник Вл. Мошин. Скопје, 1980.
11. *Schelesniker H.* Slavisch und Indogermanisch. Der Weg des Slavischen zur sprachlichen Eigenständigkeit. Innsbruck, 1991 (= Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Vorträge und Kleinere Schriften 48).
12. *Popowska-Taborska H.* Wczesne dzieje Słowian w swietle ich języka. Wrocław etc. 1991.
13. *Polák V.* Considérations étymologiques sur l'alb. *Shqiptar* 'Albanais' // Slavia. Ročn. 59. 1990. Seš. 4. S. 347 и сл.
14. *Tomaschek W.* Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung. Unveränderter Nachdruck. Wien, 1980.
15. *Vasmer M.* Die Slaven in Griechenland². Leipzig, 1970.
16. *Трубачев О.Н.* В поисках единства III // Русская речь. 1991. № 4.
17. *Popović I.* Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960.
18. Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1 (I–VI вв.). Отв. ред. Л.А. Гиндин, Г.Г. Литаврин. М., 1991.
19. Български етимологичен речник. София, 1971.

20. Этимология. 1980. М., 1982.
21. *Schramm G.* Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. Stuttgart, 1981.
22. *Ramovš F.* Über die Stellung des Slovenischen im Kreise der slavischen Sprachen // Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. B.T. XXVII. Helsinki, 1932. S. 69. Перепечатано в: Die slawischen Sprachen, Bd. 27 (Salzburg), 1991.
23. *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971.
24. Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike. München, 1979.
25. *Katičić R.* Ancient languages of the Balkans. Part I.
26. *Григорян Э.А.* Словарь местных географических названий болгарского и македонского языков. Ереван. 1975.
27. *Селищев А.М.* Славянское население в Албании. Nachdruck: R. Olesch. Köln; Wieri, 1978.
28. Словарь русских народных говоров. Л.
29. *Войтенко А.Ф.* Лексический атлас Московской области (пункт 254).
30. *Vanagas A.* Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.
31. *Mazon A.* Documents, contes et chansons slaves de l'Albanie du Sud. Paris, 1936.
32. *Popowska-Taborska H.* Problem południowosłowianskiej peryferii językowej w dociekaniach nad etnogenezą Słowian // Etnogeneza i topogeneza Słowian. Warszawa, Poznań, 1980.
33. *Walde A.. Hofmann J.B.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch[4]. Heidelberg, 1965.
34. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch[4]. Bd. I. Bern; München, 1959.
35. *Младенов С.* Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941.
36. *Friedrich P.* Proto-Indo-European trees. The arboreal system of a prehistoric people. Chicago and London, 1970.
37. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка[2]. М., 1986. 1987.
38. *Hehn V.* Cultivated plants and domesticated animals in their migration from Asia to Europe. New ed. by J. Mallory. Amsterdam. 1976.
39. Большая советская энциклопедия[3]. Т. 25. М., 1976.
40. *Moszyński K.* Pierwotny zasiag języka prasłowiańskiego. Wrocław; Kraków, 1957.
41. *Дуриданов И.* Езикът на траките. София, 1976.
42. *DuridanovI.* Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle. Köln; Wien, 1975.
43. *Kiss L.* Földrajzi nevek etimológiai szótára[4]. I k. Budapest, C. 422.
44. *Detschew D.* Die thrakischen Sprachreste[2]. Wien, 1976.
45. *Reichenkron G.* Das Dakische (rekonstruiert aus dem Rumänischen). Heidelberg, 1966.
46. *Mańczak W.* Pourquoi la Dacie, au contraire des autres provinces danubiennes, n'a-t-elle pas été slavisée? // Vox Romanica 47, 1988.
47. *Заимов Й.* Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. София, 1967. С. 100 и сл.; *Он же.* Български географски имена с *-jь*. София, 1973. С. 63, 186; *Он же.* Българските водни имена като извор за етногенезиса на българския народ // Hydronimia słowiańska. Wrocław etc., 1989. С. 118.

48. *Miklosich F.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Neudruck. Amsterdam, 1970.
49. *Buck C.D.* A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages[3]. Chicago; London, 1971.
50. *Popowska-Taborska H.* Schaby czyli o ciągach zmian znaczeniowych // Problemy opisu gramatycznego języków słowiańskich. 1991 (отд. оттиск).
51. *Стаматоски Т.* Македонска ономастика. Скопје, 1990.
52. *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. IV. La formation des noms. Paris, 1974.

XI. MEDZINÁRODNÝ ZJAZD SLAVISTOV BRATISLAVA 30. AUGUSTA – 8. SEPTEMBRA 1993

ZÁZNAMY Z DISKUSIE K PREDNESENÝM REFERÁTOM

SLOVENSKÝ KOMITÉT SLAVISTOV SLAVISTICKÝ KABINET SAV

BRATISLAVA 1998

1. Я имею некоторые возражения по концепции господина профессора Тышкевича, из которой явствовало, что славяне – туземцы на Дунае, но почти тут же следуют неоднократные утверждения о прибытии славян, почему-то при этом господин профессор Тышкевич пишет упорно о прибытии на Нижний Дунай, хотя сюда как минимум надо включать понятие ареала Среднего Дуная. Мне показалось это несколько противоречивым. Тышкевич сам пишет, что каждый раз, когда авары прибывали, они всегда уже заставали славян. Значит, это миф о том, что славяне были приведены аварами откуда-то, будто бы маленький контингент – двадцать тысяч авар – почему-то пригнал все славянские или этнически достаточно сложные массы на Средний Дунай. Значит, профессор Тышкевич показывает объективно, что это было не так, что славяне предшествовали приходу авар – раз, и что приход славян не зафиксирован историками – два. Мне показалось это достаточно ценно. Об остальном можно спорить, и мы это делаем. Что касается известий о том, что уже примерно с IV в. Прокопий фиксирует присутствие славян-антов на Черном море, ну, здесь, с Вашего позволения, мы чуть пытаемся расширить хронологические рамки. Четвертый век нашей эры – это, может быть, почтенная древность, но для сравнительного языкознания относительно позднее время, и мы говорили, прошу прощения, о тысячелетиях, предшествующих Рождеству Христову, причем, накапливается большой материал индоевропейский, по индоев-

ропейской диалектологии, который свидетельствует о контактах славян, контактах часто только исключительно или эксклюзивно славянско-неславянских, которые мы можем датировать временем значительно более древним, не исключая присутствия в IV в. нашей эры славян на Черном море. Наверное, ряд лингвистов будет продолжать (и не только лингвистов, но и историков, и археологов) отстаивать восточную прародину славян своими аргументами, стараясь оспорить своих оппонентов, но это, естественно, не исключает возможности, в свою очередь, критически взглянуть на эту традиционную точку зрения. Насчет того, что, скажем, не знали бука, поэтому заимствовали название бука, поэтому сидели к востоку от линии Кенигсберг – Одесса, как известно, я со всей краткостью, но постарался сегодня сказать обо всем этом. Как мне показалось, этот аспект *культурной стадии*, который я затронул в отношении ареала западных венетов, в сущности ставится только сейчас. Даже принимая традиционную трактовку заимствования названия бука, получается, что славяне сидели в Польше – по Фасмеру, в центре России – по Ростафинскому, по верхнему Дону – согласно Збигневу Голомбу и т.д., и т.п. Из того, что вы говорили, я не во всем вижу противоречия, но в каких-то определенных кардинальных моментах необходимо все-таки продумать некоторые взаимоисключающие точки зрения.

2. Я просто не могу допустить мнение, что нет никаких оснований говорить о дакославянском востоке. У меня речь была не об одном слове, а о нескольких, по крайней мере, словах и их значениях, их какой-то возможной, во-первых, севернославянской связи, во-вторых, в некоторых случаях – восточнославянских связях. Об этих вещах, отдаленных от нас количеством столь неблагоприятных обстоятельств, временем, трудно вообще судить. Один, два, три случая, потенциально достаточно древние, претендуют на многое. Иван Попович счел возможным назвать крашованский диалект продолжением дакославянского. Мне это показалось интересным, поскольку было созвучно тому, чем интересуюсь я.

* * *

1. Конечно, я знаю, насколько это служило поводом для подозрений, что́ это за *нарцы*, и здесь искали какие-то политические амбиции, как, например, делал историк Владимир Дорофеевич Королюк, полонист, историк Древней Руси. Считать *нарцы* союзом в этом грамматическом контексте не считаю вероятным. Главное – это то, что форма *нарцы* сейчас отнюдь не выглядит изолированно, она включается в исторический, историко-лингвистический контекст, потому что трудно отказать в вероятности сближению и отождествлению с *Nara* в составе *Sclavus Nara* в эпитафии VI в., которая восходит к событиям IV в. Теперь о *Норике*. Важно отражение до-

славянского или там околославянского *о* долгого в отношениях пары форм *Noricum – нарцы*, а сейчас имеем дело еще с дополнительным материалом *Nōricum – Nara* и со стороны славянской это довольно усиленная позиция, имея в виду это *Nara* с *а* долгим. Иная версия о *нарцы* – в связи с *-рьцы* императивным от *нарѣкти, нарѣцити* – малоправдоподобна.

2. Можно так объяснить, что, конечно, *нарцы* – это нечто ославяненное. И в случае с венетами, венедами название перенесено на славян. Нет никаких претензий считать это славянскими, но лишь ославяненными названиями. Могут быть правы и те, кто считают, что нарцы первоначально были пограничным с славянами племенем. Так, милинги в одних случаях были по контексту неславяне-иллирийцы, а в других случаях есть милинги Пелопоннеса, это уже славянские племена. Тем более речь идет о Норике, о провинции римской, более западной, чем Паннония. Конечно, для славян это была периферия, и славяне здесь общались с нориками дославянскими.

* * *

По поводу доклада *Г.Ф. Ковалева* "Основные тенденции формирования и развития этнонимии славянских языков"

Вы нам нарисовали схему движения славян, сказав, что так представляете себе движение славян на основе изучения этнонимов. Две версии об имени *ободрити*. О западнославянских ободритах – как говорит Ковалев, – это 'об/по Одре живущие'. Но, пожалуй, еще более важное возражение идет от свидетельства франкских анналов о южных, практически придунайских, среднедунайских каких-то ободритах, чье имя значит "vulgo" (на народном языке) – *Praedenecenti* – 'разбоем, грабежом промышляющие'. Поэтому тут вернее думать об отглагольном производном типа *наймит* от глагола *ободрать* – *ob-derti/obdьrati*.

Не совсем четка позиция автора о собирательности: как выразились Вы, оттенок негативности, присущий собирательности, – когда присущий? Сейчас можно услышать негативное собирательное *татарва* или подобные, но когда Нестор пишет *Чехи, Морава*, он, так сказать, нейтрально трактует их, и тут нет никакой негативности в этой исходной собирательности. Вы тут бегло, очень кратко говорили об исключительно древнерусских образованиях собирательных типа *Русь* или *Печора*, что не совсем верно, известны старопольские *Saś* 'саксонцы', *żmudź*, особенно *Jaćwież*. Еще одно замечание. *Дреговичи* белорусские и вот эти *Druguviti, Drugovitae* надо как-то объяснить, и получается как будто только из прабелорусской лексической базы.

* * *

При всем пиетете к письменным источникам и их издателям, хотел бы обратить ваше внимание на ту роль и значение, которые имеют в этих вопросах, в их решении лингвистические данные и то, что нас уводит или выводит за рамки письменных источников, которые при всем своем авторитете и порой древности, бывают достаточно новые. Тем самым в какой-то мере позвольте высказать робкое предостережение против определенного позитивизма, не допускающего ни шага в сторону, только то, что говорят источники, все же остальное будто бы является ересью. И как языковед, как компаративист, я хотел бы обратить внимание на важность реконструкции, которой надо придавать порой решающее значение. То, что я сейчас скажу, в какой-то мере продолжает вступительное замечание нашего председателя, коллеги Матуша Кучеры, имея в виду при этом самоназвание народа, который гостеприимно принимает нас на своей земле – *Slovák*, женское *Slovenka*, адъективум *slovenský* и плюраль *Slováci*. Конечно, маскулинум *Slovák* и плюраль *Slováci* – это нечто вторичное. *Slovenka*, конечно, архаичнее, чем *Slovák*, в духе западнославянской тенденции, не только в данном случае словацкой, но и наблюдаемой довольно широко на польском языковом материале, ср. отношение первенства и вторичности: *Krakowianin – Krakowiak, Polanin – Polak*. Ясно, что, сделав один небольшой шаг, от словака мы переходим к общему самоназванию не только словаков, но и всех славян: **slověninъ*, **slověnъka*, уцелевшее *slovenský* как адъектив и т.д. и т.п.

Теперь еще несколько слов, если позволите, о самоназвании всех славян и об их этнонимии. Это самоназвание не заимствованное, об этимологии его не хотелось бы говорить, предполагаю, что все ее знают и, может быть, большинство даже сочувствуют тому, что **slověninъ* связано с глагольно-именной группой *slovǫ*, *sluti* 'говорить понятно'. Это люди своей речи, люди, понятные своей речью. Но здесь имело бы смысл сказать об особенности употребления, весьма спорной и иногда накладывающей отпечаток даже на само направление этимологизации этого гиперэтнонима **slověninъ*, поскольку приходится читать и слышать, что **slověninъ* – это, если и самоназвание, то самоназвание скорее пограничное. Мы действительно наблюдаем, что *словинцы* в польском ареале, *словени* новгородские в древнерусском ареале, *словинцы/словенцы* на крайнем западе южного ареала, периферийны, пограничны. И, в конце концов, все эти византийские sklaviniai, теснившие римский limes и византийскую императорскую территорию, тоже располагались по южной границе, подвижной границе южного ареала славян. Создается картина, как будто преимущественно эти названия фиксируются по периферии. Из этого, наверное, нельзя делать вывод, хотя он и напрашивается, что этот гиперэтноним существует только на

периферии, очевидно лишь, что именно на периферии наблюдается ситуация обостренного национального, если хотите – этнического самосознания, сказывающаяся на частотности употребления типа известного явления в топонимии – *Německý Brod, Český Brod*, там, где кончается чешский ареал и соответственно начинается другой. Смысла в названии *Český Brod* внутри чешского ареала, очевидно нет, оно актуально лишь на границе. Так получается и в случае периферийности самоназвания **slověninъ*. .Из этого нельзя сделать вывод, что внутри ареала **slověne* так себя не называли. Хотя фактически они, очевидно, называли себя там так реже, потому что не было надобности без конца друг другу говорить: *я *slověninъ, ты *slověninъ, мы *slověne*, ибо это было бы и так понятно постольку, поскольку слишком тривиально. По всему по этому противоречия между эндогенным происхождением этого этнонима и его преимущественной частотностью периферийной – противоречия между одним и другим, повторяю, нет. Налицо остается лишь преимущественно периферийная фиксация этого этнонима. Тогда перед нами открывается новое противоречие, ведь все-таки мы привыкли считать, что словаки, словацкий народ – это *центр всего славянства*. Пусть это мысленное единство идеальной территории славянства нарушено румынским анклавом, венгерским вторжением, оно все же мыслится как некий единый ареал, а словаки – в центре этого ареала. Они ниоткуда не пришли – я чем дальше, тем больше в это верю и вместе с тем они, эти самые **slověne*, так сказать, несут на себе печать периферийности употребления своего этнонима, о чем я уже сказал. И эта периферийность тоже здесь не случайна. Мой друг Антон Габовштяк несколько лет тому назад подарил мне такой художественный образ-метафору. Он сказал: "Словацкий ареал и мы, словаки, расположены как бы амфитеатром, который смотрит на юг". Это выглядит так, что Карпаты ограничивают словацкий ареал с севера, северо-востока, причем этот ареал остается всегда открытым к Дунаю, дунайскому югу. Идея периферийности гиперэтнонима **slověninъ*, **slověne* или его же роли более узкого этнонима 'прасловаки' остается в силе, таким образом. Повторяю свой тезис: открытость словацкого этнического ареала к югу и очевидно древняя пограничность в отношении севера, северо-востока, куда уходили этнические потоки из древнего славянского ареала, если его мыслить на Дунае. Пограничная частотность в употреблении этого этнонима – вот на что я хотел бы обратить внимание, обсуждая словацкий этногенез.

О РАБОТЕ XI МЕЖДУНАРОДНОГО СЪЕЗДА СЛАВИСТОВ (ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ)[1]

По данным оргкомитета XI МСС, попавшим и в нашу печать, этот очередной съезд славистов собрал свыше тысячи участников из тридцати пяти стран. Реальность этих цифр подкрепляется внушительной программой съезда, изданной Словацким комитетом славистов, согласно которой на этот съезд, проходивший с 30 августа по 8 сентября (точнее – с 31 августа по 7 сентября) 1993 г. в столице Словацкой республики Братиславе, было представлено (заявлено) 1.134 доклада (включая письменные сообщения). Как это обычно бывает, жизнь внесла свои коррективы: довольно многие докладчики не смогли приехать по ряду причин, в том числе самых суровых (болезнь или смерть). Организаторы оказались на высоте: возникавшие пробелы в программе оперативно замещались тематически близкими докладами из числа письменных сообщений ("Skripty") и даже вновь заявленных докладов, на информационных стендах и в ежедневном печатном бюллетене заблаговременно сообщались все предстоящие изменения, для каждого доклада было зарезервировано "свое" получасовое время (20 мин. на доклад, 10 мин. – вопросы и выступления и даже – 5 мин. вслед за этим "na presun do inej miestnosti" в случае, если вы желаете срочно перейти для слушания другого доклада, место и время которого так же точно оговорены в программе). Текущая практика, правда, эту отменную теорию нарушала, порой – не без нашего участия, интересная дискуссия затягивалась, нерационально разделенные программой заседания представлялось нам самим целесообразным объединить и т.д.

Кстати, еще раз о программе. В настоящем своем сообщении, я ограничиваюсь тематикой **исторического языкознания**, сознавая, разумеется, что сколько-нибудь строгое разграничение при этом невозможно и малополезно, интердисциплинарность привлекает исследователей все больше (о потенциальных открытиях именно **на стыках** дисциплин специально говорил на съезде археолог В.В. Седов, который и сам докладывал об этногенезе славян "по данным археологии и **гидронимии**"). Но невозможна, к сожалению, и тематическая полнота, которой в данном случае препятствует ряд причин. Одна из них – программа. Если в памяти ветеранов славистических съездов пиком тематической хаотичности остался VIII МСС (Заг-

[1] Прочитано на заседании Отделения литературы и языка РАН под председательством Н.И. Толстого 22 сентября 1993 г.

реб, 1978), когда любая тема могла соседствовать на заседании с любой другой, обычно же от съезда к съезду сохранялось – пусть старомодное, но традиционно удобное – разделение тематики на большие секции по (1) славянскому языкознанию, (2) славянским литературам, (3) истории, этнографии, фольклору (возможные случавшиеся вариации здесь опускаю), в программе XI МСС эта привычная дихотомия или трихотомия славистики была весьма своеобразно (порой несоразмерно) запрятана в пять основных тем, слишком тесно привязанных к чешско-словацкому региону: I. "Великая Моравия и славяне в контексте европейской истории и культуры" (куда, оказывается, входил весь этногенез с древнейшей историей по данным археологии, топонимии и этнолингвистики, вплоть до раннефеодальных государств, а также – начала письменности, литературных языков, духовная и материальная культура...); II. "Гуманизм, ренессанс и барокко у славян" (здесь вновь можно встретить литературные языки, но и очень много другого); III. "Славянское национальное возрождение в XVIII–XX веках и его международный контекст"; IV. "Славянские народы, их языки, литературы, устная словесность, культура и гуманитарные науки в XX веке" (очень сложная смесь семиотики – на первом месте! только потом – славянской филологии, сравнительного и прочего языкознания, предназначенного, заметим, для реконструкции того, что зашифровано выше под темой I; периодизация всего – "языков, литератур и культур", далее, как из мешка, – грамматика, лексикология, ареалогия, текстология, контакты, мировой контекст...); V. "Славистика в системе гуманитарных наук, ее предмет, история, методы и результаты".

Как видим, вся съездовская программа как бы повернута в сторону культурной истории. При этом нарушен традиционный примат филологии, даже обычно – лингвистической филологии. Не было в сущности секций, а то, что в программе названо "заседаниями пленумов секций" (общим числом пятнадцать), оказывается реально подсекциями, на самом же деле, последних, временами – очень дробных, оказалось не менее тридцати пяти. Среди них, кстати, уже не удалось обнаружить секции (или подсекции) "Лексикология и лексикография", хотя как пленарная таковая была обозначена, только почему-то с докладом С. Кароляка по аспектологии. При всем уважении к аспектологии (о последней еще скажем дальше специально) и к Кароляку, хотелось бы указать на это как на недостаток организации: в конце XX века, 70–80-е годы которого неслучайно были названы "золотым веком лексикографии" (L. Zgusta, *International encyclopedia of lexicography*, vol. III, Berlin, de Gruyter, 1991, p. 3158), славистический съезд должен был предусмотреть специальную более тщательно подготовленную подсекцию, посвященную славянским словарям и словарному делу. Может быть, поэтому потом особо надо будет сказать о **Комиссии лексикологии и лексикографии.**

Известно, что большие съезды с их практикой одновременного (параллельного) заседания секций и подсекций труднообозримы. Как оказалось, это целиком относится и к XI МСС. Даже если опустить вкравшиеся в связи с неявкой докладчиков неточности, **всех докладов по языкознанию** по программе было свыше трехсот (плюс сто с лишним лингвистических письменных сообщений).

Лично для меня этот большой съезд ограничился, кроме общепленарного открытия и закрытия, работой одной секции 1a "Этногенезология, этногенез и древнейшая история славян с археологической, исторической, топонимической и этнолингвистической точки зрения", где я прочел свой доклад "Древние славяне на Дунае (южный фланг). Лингвистические наблюдения", а также прослушал другие доклады и участвовал в обсуждении некоторых из них. Ввиду очевидного комплексного характера секции из двадцати восьми ее докладов лингвистическими оказалась только часть. Идя навстречу пожеланию болгарского коллеги И. Дуриданова, мы приняли в свою секцию его вместе с его близким тематически докладом "Заселение славянами Фракии по данным топонимии", числившимся по секции "Ономастика". Эта инициатива благоприятно сказалась на интенсивности наших дальнейших дискуссий. Но это было, пожалуй, все, что оказалось возможным сделать. Уже секция 1b "Методы реконструкции праславянского языка и славянской прародины", тематически, казалось бы, трудноотторжимая от секции 1a по этногенезу, заседала параллельно и отдельно и поэтому оказалась вне нашей (моей) досягаемости. В своих дальнейших суждениях о работе съезда, его докладах и докладчиках я основываюсь на впечатлениях от прочитанного (доклады в отдельных оттисках и сборниках к съезду, на этот раз весьма скудно доступных, сравнительно с опытом подготовки прежних съездов, возможно, по причине нынешних почтовых неурядиц; впрочем, рекорд "недоступности", боюсь, побил наш сборник докладов по языкознанию, значительная партия которого сразу после доставки в Братиславу исчезла при довольно темных обстоятельствах). В неменьшей степени я опираюсь также на информацию, предоставленную мне для моей нынешней цели многими коллегами, докладчиками и активными участниками съезда – Ж.Ж. Варбот, Л.В. Куркиной, И.С. Улухановым, В.Н. Виноградовой, В.В. Крысько, Н.Н. Пшеничновой, Л.В. Вялкиной, С.И. Иорданиди и А.В. Бондарко. Приношу им свою благодарность за помощь в насыщении картины языкознания, причем не только исторического, на минувшем съезде. Старались помочь, как могли, и мои словацкие коллеги, когда я готовился выступить со своими впечатлениями еще в Братиславе, для чего археолог Т. Штефановичова представила мне полный реестр докладов и выступлений в секции по этногенезу. Из-за моей преимущественной связи именно с этой секцией словацкие коллеги воспринимали меня почему-то как историка; при этом на мою просьбу предоставить мне отчеты о заседаниях и дис-

куссиях я получал, порой – невпопад, информацию о народном самосознании, возрождении и романтизме, новейшей политической и культурной истории... Как бы то ни было, хочу высказать искреннюю благодарность словацким участникам – организаторам и друзьям, самоотверженным помощникам и помощницам из "штаба" (так он назывался в обиходе!) во главе с Я. Дорулей. Именно они создавали и поддерживали ту незаменимую атмосферу доброжелательства в Братиславе.

Начав с секции 1a "Этногенезология, этногенез, etc.", выделю самое существенное оттуда в контексте съезда и историко-лингвистического славяноведения. Это прежде всего – важность лингвистических критериев в работах комплексного характера, безотносительная актуальность лингвистической типологии и лингвистической географии. Если речь идет об известных истинах, не следует думать, что они уже достаточно внедрены в исследовательскую практику, взять хотя бы естественную оппозицию **инновационного центра и архаизирующей периферии** ареала. В дискуссии по докладу Седова Дуриданов пытался искусственно противопоставить явно периферийное скопление архаичных славянских гидронимов среднеднепровского Правобережья у Седова (по Трубачеву) и древний среднедунайския центр праславянства (по Трубачеву же), хотя в терминах естественного ареала никакого противоречия здесь нет (см. выше). Историков, археологов, лингвистов – всех занимает проблема континуитета (преемственности) и дисконтинуитета. Согласно археологам, абсолютно преобладал дисконтинуитет (смена культур) и к северу от Карпат, и к югу, на Среднем Дунае. Однако это еще не основание, чтобы в смене культур обязательно видеть смену этноса. Если языкознание располагает своими данными о преемственности языков в регионе, значение этих данных вполне автономно. Среди историков все еще сильна тенденция позитивистски прямолинейно воспринимать и обобщать случайные по большей части лакуны письменной истории (пресловутое длительное "неупоминание" славян на Дунае и др.). Вспоминается эмоциональное выступление в дискуссии польского историка Л.А. Тышкевича: "Samo regnavit feliciter... a potem co? A potem – nic!" (Само правил счастливо [слова средневековой латинской хроники о древнейшем государственном объединении западных славян]... а что потом? А потом – ничего!). Именно в таких случаях должна вступать в силу лингвистическая реконструкция (типологическая и этимологическая). Сказанное могло бы иметь прямое отношение к больному вопросу о Великой Моравии, ясность в котором нужна, но она трудно достижима, поскольку исследователи замыкаются в аргументации церковноисторической, текстологической, чрезмерно обобщая ее и примешивая, к сожалению, сюда свои национальные чувства, которые, разумеется, не хотелось бы задевать. Лингвисты практически не участвовали в обсуждении узкого вопроса о названии и локализации Великой Моравии

(хотя уже в двух лингвистических докладах на открытии съезда Великая Моравия фигурировала), и это при том, что историческое языкознание способно сказать здесь свое слово. А все дело в неправомерном отождествлении Моравии (историческая область по реке Мораве между Чехией и Словакией) и Великой Моравии. Кульминацией на съезде был доклад американского историка И. Бобы, который за последние двадцать лет стал знаменит своим тезисом о южном, паннонском расположении Великой Моравии. В дискуссии чешские и словацкие историки с редким единодушием отстаивали тождество Моравия = Великая Моравия, но запомнилось и резкое выступление старика Герберта Гальтона, который напомнил один неотразимый контраргумент, сославшись на то, что Константин Багрянородный, впервые, кстати, упоминающий о Великой Моравии, помещает ее к **югу** от Τοῦρκοι, то есть 'венгров' в его терминологии. И. Бобу упрекают в том, что он не филолог, чего он и сам не отрицает, но я не услышал убедительной филологической критики в его адрес, в том числе и от филолога Х. Бирнбаума, выступившего со специальным докладом "Где был центр моравского государства?" Историко-лингвистическое, в духе пространственного релятивизма, дополнение к дискуссии формулируется довольно просто, как некая **миграционная трасса**, начало которой – чешско-словацкая Morava/Моравия, а конец – Великая Моравия на юге (ср. то, что можно сказать о **Велико**британии, **Велико**россии). В этом отношении многозначительна формулировка докладов Р. Вечерки "Позиция старославянского языка в сложной языковой действительности древней Моравии" и З. Кланицы (оба – Чехия) "Мифология древней Моравии". Моравия (она же – древняя Моравия) и Великая Моравия – это разные вещи.

В целом, как это видно, доклады и дискуссии по этногенетической проблематике имели бесспорно стимулирующий характер, причем затрагивались весьма разнообразные вопросы, ср. доклад В.В. Мартынова "Этногенез славян. Язык и миф" с уклоном в теонимию, древние имена божеств, вызвавший дискуссию как в плане этимологии этой лексики (выступил Л. Мошинский, который сам читал доклад "Проблема кельтских влияний на древнеславянскую теонимию"), так и в принципиальном плане желательности разработки **диалектологии культуры**, в том числе – **диалектологии древней религии** славян, иранцев. Заметным явлением был доклад Н.И. Толстого и С.М. Толстой "Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав. *vesel-)", вызвавший соответствующую дискуссию, лично мне видится интересной дополнительная поисковая возможность, представляемая для новых этимологических решений этнокультурной семантикой обрядовых текстов (случай **velesъ* – **vesna*: исконное родство или народная этимология?).

Органически продолжил работу секции "Этногенезология, этногенез..." "круглый стол" по этногенезу словаков, о котором так-

же необходимо сказать в связи с одним явлением, имеющим не только историко-лингвистический, но и национально-исторический аспект. Из околосъездовской научной литературы, как, впрочем, и из текущих материалов съезда (например, выступление Р. Крайчовича на означенном "круглом столе") обратила на себя внимание тенденция удревнять становление словацкого этноса; терминологически это выразилось в словоупотреблении *starí Slováci* 'древние словаки', притом, что возведение "древних словаков" к этнической стадии *Sloviene / Slovania / slověne* вызывает определенное концептуальное сопротивление (ввиду этнической недифференцированности этих последних – праславян?). Даже если опустить возможные политико-идеологические инспирации в подобных случаях, наше внимание вправе привлечь чисто научная сторона вопроса, включающая и историческое словообразование, и ареальный аспект, поэтому мне придется кратко повторить то, что я сказал на "круглом столе" и на пленарном закрытии съезда. Современные *Slovák – Slovenka* 'словачка' уже по логике внутренней реконструкции восходят к древнему самоназванию всех славян – **slověninъ*, **slověne*. Нынешние формы представляют собой западнославянский тип развития, ср. *Polak* ← *Polanin*, *Ślązak*, *Slezák* ← **slęzaninъ/ne*. Особенно актуализировалось самоназвание славян на неславянском пограничье: *Sloveni*, *Słowińcy*, *словѣне* новгородские. Внутри ареала оно, наоборот, сохранялось хуже, было как бы избыточным. Привычно считать Словакию **центром** славянства, но как тогда быть с отмеченным феноменом **периферийности** самоназвания **slověne*? Умозаключение, к которому логично при этом прийти, кажется не лишенным интереса в славянско-словацком аспекте, одном из актуальных для нашего съезда. Ныне срединный, ареал словаков, в прошлом – этноса с самоназванием **slověne*, напоминающий амфитеатр, спускающийся к Дунаю (точный метафорический образ, который я услышал от А. Габовштяка в одной из бесед), был всегда открыт к дунайскому Югу, а с севера огражден не только горами но и, наверное, **давним этническим рубежом. Отсюда столь же давняя традиция именования словаками, то есть "славянами"**.

Работа секции праславянского языка протекала относительно спокойно. Ф. Славский и Г. Лант не приехали, заявленный Славским доклад "Реконструкция праславянского словаря", кстати, отсутствовал и в корпусе печатных польских докладов по языкознанию. Польские докладчики В. Жепка и В. Вальчак анализируют "Судьбы праславянской лексики в польском языке (по данным чтения "Праславянского словаря")" – так, как если бы наш более продвинутый Этимологический словарь славянских языков не существовал в природе (с польскими авторами это бывает). Из лаборатории нашего Этимологического словаря вышли, можно сказать, доклады Л.В. Куркиной "Паннонославянская языковая общность в системе диалектных отношений праславянского языка" и Ж.Ж. Варбот "Ис-

тория славянского этимологического гнезда в праславянском словаре". Отдельные доклады секции в основном были посвящены сравнительно-исторической морфологии, морфонологии и фонетике: У.Р. Шмальстиг. Итеративы продленной ступени в балто-славянских языках; Г. Фаске. Праславянские группы tert/telt и изменение *e > o в серболужицком; Й. Райнхарт. Празападнославянский глагол. Последний доклад обращает на себя внимание постановкой проблемы выделения ряда древних региональных, диалектных черт глагольной морфологии (празападнославянские аорист на *-ech*, 1 л. мн.ч. на *-my* и др.).

Доклад Х. Шустер-Шевца "Еще раз о датировке и результатах второй палатализации задненебных в славянском" тематически весьма близок к докладу Я.И. Бьёрнфлатена "Диалекты Псковской области в общеславянском контексте", запрятанному в секцию IVg "Славянский диалектный и этнографический мир с географической точки зрения": оба критически пересматривают исключения из II палатализации на русском Северо-Западе (работы С.М. Глускиной и А.А. Зализняка). К ним примыкает доклад П. Энриетти "Вторая славянская палатализация в свете интерференции языков", почему-то в секции 1e "Возникновение литературного языка, начала письменности, литературы, духовной и материальной культуры..." Ясно, что, лишь собрав все три доклада в одно место, можно было бы организовать неплохую сессию по этому проблематичному явлению славянской фонетики.

Как было замечено, на съезд не приехали некоторые ученые старшего поколения, именно на съездах приходишь к мысли о смене поколений в науке. Неприезд одних сделался уже традицией, способной удивлять только очень свежих участников. Зато вид 84-летнего, но неизменно бодрого профессора С. Урбаньчика, посещавшего и утренние, и послеобеденные заседания, согревал наши души, как недостающий символ связи этих самых поколений.

Этимологическая проблематика почти не нашла отражения в программе съезда, где, как уже говорилось, практически не оказалось и лексикологии с лексикографией (но ср., впрочем, очень полезный доклад У. Биргегорд о словаре Славинецкого). Исключение: доклад Э. Гавловой "Славянская этимология и омонимия" в секции 1e "Возникновение литературного языка, начала письменности, литературы, духовной и материальной культуры" (!). Впрочем, сюда примыкал и доклад Е.А. Хелимского о славянской христианской терминологии в венгерском. И все же информация по славянской этимологии присутствовала, она была рассеяна в докладах самой разной тематики и, что важно, в кулуарах съезда. То удалось получить 3-й, последний, выпуск старославянского этимологического словаря, то неожиданно – выпуск 5-й давно, кажется, прерванного полабского этимологического (К. Полянский), то подтвердится весть о подготовке кашубского этимологического словаря В. Бory-

ся и Х. Поповской-Таборской, а в воздухе витает многократно повторяемый вопрос о судьбе 18-го выпуска нашего Этимологического словаря славянских языков... Рядом с этимологией естественно вспомнить историческое словообразование, представленное, в сущности, только докладом И.С. Улуханова "Состояние и перспективы развития исторического словообразования славянских языков". Доклады В. Креи и Г.П. Нещименко больше тяготели, впрочем, к сопоставительному словообразованию.

Типологический по своей теме доклад Г. Гальтона "Встреча алтайского и праславянского языков" отражал тоже уже традиционную тенденцию объяснения славянского языкового типа, в данном случае – силлабического сингармонизма, прямолинейной алтаизацией, хотя автор вынужден признать славянскую самобытность (три и более согласных в начале слова и слога в славянском). Помнится, на прошлом съезде славистов аналогичные адстратные поиски Гальтона встретили критику Д. Брозовича. Не знаю, может ли обрадовать любителей типологии и классификации славянских языков такая новость, как "боснийский язык" (bosanski jezik), язык мусульман Боснии и Герцеговины (речь, разумеется, все о том же сербохорватском...); заявлены два письменных сообщения на тему.

Корпус докладов по истории грамматического строя был дополнен уже в дни съезда с российской стороны докладом В.Б. Крысько "Развитие категории одушевленности в славянских языках: легенда и факты".

В докладе В.А. Дыбо и коллег "Праславянская акцентология и лингвогеография" достаточно сложный акцентологический аспект был дополнен пространственным планом. Привлекает внимание вывод об акцентологической полидиалектности, восходящей еще к праславянскому времени.

Вообще, надо признать, что, в отличие о некоторых других проблемных областей, проблематика славянской диалектологии, лингвистической географии, ареалогии была представлена на XI МСС весьма широко, разветвленно и даже изощренно. Здесь можно было встретить такие достаточно новые постановки проблем, как "Просодический ландшафт славянства" (М.И. Лекомцева, Т.М. Николаева). В ряде докладов фигурировал славяно-балканский сопоставительный план. Достаточно сказать, что были зачитаны и обсуждены доклады по лингвистическим атласам нескольких различных типов: "История и современное состояние диалектов славянских языков на картах Общеславянского лингвистического атласа" (В.В. Иванов), "Проблемы дифференциации славянского диалектного ландшафта (по данным Общеславянского карпатского диалектного атласа" (Б. Видоески, С.Б. Бернштейн, Г.П. Клепикова, П. Лизанец, И. Рипка, Я. Сятковский), "Лексический атлас русских народных говоров в кругу славянских атласов" (И.А Попов, Ю.С. Азарх, Т.И. Вендина, А.С. Герд, О.Н. Мораховская, З.П. Петрова). Отрадно сознавать,

что эти инициативы исходят в немалой степени от российской стороны. Но ср., впрочем, также доклад П. Кирая "Атлас словацких говоров в Венгрии". Время идет, рушатся тоталитарные режимы и унитаристские подходы, а лакуна болгарского отсутствия в Общеславянском лингвистическом атласе продолжает зиять. Нельзя не считаться с тем, что, например, в докладе Б. Видоеского "Межъязыковой контакт (на диалектном уровне) как фактор диалектной дифференциации македонского языка" **послужившие предметом спора славянские пункты в Северной Греции** включены в ареал македонского языка (см.: Реферати на македонските слависти за XI Меѓународен славистички конгрес во Братислава Скопје, 1993, карта между с. 48 и 49). Возможно, пути преодоления противоречий в трактовке болгаромакедонского диалектного региона надо искать на какой-то формальной основе, скажем, на базе типологическо-континуумного подхода, ср. о последнем съездовский доклад Н.Н. Пшеничновой "Тип диалекта (славянский языковой континуум)".

Но ареальный аспект демонстрировал на съезде свою плодотворность и в тех областях, где о нем редко вспоминают. Я имею в виду доклад нашего белорусского коллеги Г.А. Цыхуна "Ареальные аспекты формирования славянских литературных языков". Переходя, таким образом, к становлению славянских литературных языков, здесь позволительно выделить основополагающие интеграционные процессы как категорию, в принципе, ареальную. Говоря о кирилло-мефодиевском книжно-письменном языке, уместно прибегнуть к такому понятию ареальной лингвистики, как (культурный) **наддиалект** (ср. в этом направлении уже упоминавшийся доклад Р. Вечерки "Позиция старославянского языка в сложной языковой действительности древней Моравии"), охватывавший в какой-то мере славянские Балканы той эпохи, ср. отголоски деятельности св. Кирилла еще на Брегалнице, то есть в Македонии (доклад македонской славистки Л. Славевой "Следы доморавской письменности в Македонии"). Народный язык церковной литургии и письменности целесообразно поэтому понимать как некий сублимированный культурный наддиалект, а не конкретный низовой народной диалект (ср. частично: В. Вавржинек. Кирилло-мефодиевская миссия в культурном контексте современной Европы).

Едва ли можно упрекнуть в мелкотемье тех, кто занялся интереснейшим явлением на перепутье межславянской диалектологии и литературной истории – опытом индивидуального создания "ляшского" поэтического микроязыка О. Лысогорским (сюжет, привлекший двух разных докладчиков – А.Д. Дуличенко и Й. Марвана). Становлению литературных языков посвятили свои доклады Е.И. Демина и Л.Н. Смирнов. О русско-церковнославянском литературном языке докладывали П. Филкова, М.Л. Ремнёва. Библейский и специально древнееврейский языковой компонент славянского литературноязыкового развития избрали темами своих док-

ладов А.А. Алексеев, Е.М. Верещагин, Г.Д. Лилич, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова.

Нельзя не отметить (хотя это уже выходит за рамки исторической лингвистики и вторгается в область синхронно-описательную) плодотворной работы, проделанной на съезде специалистами по глагольному виду. Здесь было бы справедливо назвать целый ряд докладчиков, но я позволю себе ограничиться нашим А.В. Бондарко, которому принадлежал доклад "Предельность и глагольный вид (к проблематике славянской функциональной аспектологии)", а также такая его же сверхурочная инициатива, как коллоквиум по актуальным проблемам славянской аспектологии, с перспективой дальнейшего проведения международного аспектологического семинара в Польше (ориентировочно – в 1994 г.).

Балто-славянские языковые отношения, привлекавшие на прежних съездах славистов пристальное внимание и вызывавшие мощные скопления докладов на тему (существует даже комиссия по исследованию балто-славянских отношений при МКС), на сей раз трактовались достаточно спорадично, впрочем, в докладах таких именитых авторов, как Р. Эккерт ("Славянско-балтийские фразеологические соответствия в языке фольклора"), Р. Катичич ("Балтийские данные по реконструкции текстов одного праславянского обряда плодородия").

Эта спорадичность и мозаичность тем и докладов, заданная нам программой съезда, то есть как бы "запрограммированная", не могла не сказаться и на порядке изложения моего нынешнего отчета, в частности, возможно, на его полноте или, справедливее сказать, неполноте отражения, отчего не могла не пострадать адекватность информации о некоторых весьма почтенных разделах сравнительно-исторического и теоретического языкознания. Боюсь, что эта "неадекватность" информации коснулась в моем случае **ономастики**, целой секции, до которой я физически "не дошел", а там были заняты далеко не последние, можно сказать – лучшие, специалисты своего дела – Э. Айхлер, К. Рымут (он же – председатель комиссии по славянской ономастике при МКС), М.Майтан, В.Венцель и другие, с которыми меня связывают долголетние научные контакты и дружба. Но, как я уже сказал ранее, удалось только заслушать доклад Дуриданова, также уже называвшийся мною, переведя его к нам в секцию этногенеза. В секции ономастики велся бесспорно интересный разговор (а для тех, кто постоянно оперирует ономастикой и ономастической этимологией, это – продолжение разговора) о праславянских именных сложных славянско-неславянских передачах имен, ареальных ономастических ансамблях.

...Минувший съезд включал очень многое другое, на что моя компетенция не распространялась. Но глаза и уши воспринимали и запоминали и это "другое", позволяя иронически отмечать, что

и этот съезд, в чем-то непохожий на остальные, чем-то опять-таки те остальные напоминает, а значит, можно сказать, что съезд "состоялся". Приехало много разного народу; приехал enfant terrible предыдущих съездов (начиная, кажется, со своего скандального выступления на киевском, 1983 г.) Ф. Томсон из Бельгии и привез свою ложку дегтя, поставив себе целью развенчание духовных потенций Восточной Славии в целом... Но и это только оттенило то цельное, большое культурное переживание, которым добрую неделю жил большой славистический съезд на берегу Дуная на исходе лета 1993 г., жил духом единства и дружбы, а со сценических подмостков мирно, бок о бок звучали тщательно артикулируемые – еще кирилло-мефодиевские – слова "Отче наш" обоих обрядов, западного и восточного: ... отпусти – отпущаем – от неприязни – а́мен... / остави – оставляем – от лукавого – ами́нь.

Palaeoslavica II (1994). P. 235–247

ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ НА ДУНАЕ (ЮЖНЫЙ ФЛАНГ) ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. II

Автор-лингвист профессионально основывается прежде всего на лингвистической аргументации, но он не может – без риска обеднить получаемые им результаты – игнорировать типологию в самом широком смысле, то есть не только лингвистическую типологию, но и типологию культурно-историческую, даже, проще сказать, общекультурную. Сомнительно уже ригористическое исключение из исторического языкознания данных ономастики за ее якобы "неполнозначность", причем закрываются глаза на ее же замечательные выгоды. Но не менее проблематичен и чисто лингвистический снобизм, когда лингвист прокламирует дисциплинарную "сегрегацию" в отношении археологии, хотя информации по археологии, пусть многозначные и не всегда понятные не только для лингвиста, интересны во многих случаях для всех. Сказанное распространяется на данные этнографии (описание духовной и материальной культуры) и на данные письменной истории. Сравнительное языкознание по праву гордится своей способностью углубления Истории за рамки письменности (письменной истории), однако эту гордость полезно умерять безусловным требованием примата филологичности, в смысле самой широкой (и – единой) совокупной филологии, из которой лингвистику слишком уж часто и безрассудно вырывали для

скрещивания то с утрированным описательством, не знающим ни родства, ни племени, то с математикой или статистикой.

Переходя к проблемам прародины, не премину привести – для краткости – суждение, которому, пожалуй, сочувствую: "The problem of locating the homeland and tracing the dispersal of the Indo-Europeans has reached an impasse" (1) "Проблема локализации (пра)родины и реконструкции рассеяния индоевропейцев зашла в тупик".

В этой обстановке важность разысканий "частных" этногенезов и прародин скорее возрастает – не по одному тому, что гарантирует бóльшую конкретность и как бы осязаемость, но и потому, что основывается на принципиальном взгляде на (обще)индоевропейский этногенез как на сумму частных индоевропейских этногенезов и, вместо идеального исходного "единства", постулирует изначальное диалектное множество, а следовательно – важность вскрытия междиалектных связей, ресурсов этногенетической реконструкции.

Речь, далее, пойдет о дунайской прародине славян и, естественно, о критике, вызванной этой моей концепцией, среди других также и со стороны В. Маньчака, который считает, что подверг точку зрения Трубачева "szczegółowej krytyce", правда, не делая при этом различия между концепцией Людовита Новака, по которому дунайская прародина для славян – уже вторая (2) (аварские приключения, якобы случившиеся при этом, опускаем), и моей концепцией изначальной дунайской прародины славян. Ниже я постараюсь еще, если позволит место, затронуть эту характерную "szczegółowość" Маньчака.

Я смогу выделить ниже лишь некоторые из аспектов и, может быть, в первую очередь – этот "южный фланг", "южную границу" древних славян, что отнюдь, впрочем, не исключает дальнейшей детализации северных границ праславянства и их динамики. Древняя "южная граница" славян интересует и тех, чьи взгляды на славянскую прародину сильно отличаются от излагаемых здесь (3).

Нижеследующие наблюдения тесно связаны с одноименным печатным текстом моего доклада на XI Международном съезде славистов. Являясь продолжением (II) того доклада, нынешняя работа содержит дальнейшее развитие авторских взглядов, а также характеристику дополнительного материала, не повторяя в сколько-нибудь полном объеме того, что было написано на заглавную тему скоро уже два года назад и может быть доступно читателю в печатном виде.

По-прежнему актуален диалог с научной литературой. Здесь, кроме статей, которые привлекаются также отчасти ниже, должны быть названы вышедшие после софийского съезда книги на близкие темы: *Udolph J.* Die Stellung der Gewässernamen Polens innerhalb der alteuropäischen Hydronymie (Heidelberg, 1990); *Popowska-Taborska H.* Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka (Wrocław etc., 1991);

Gołąb Z. The Origins of the Slavs: A Linguist's View (Columbus, Ohio: Slavica Publ., 1992); *Куркина Л.В.* Диалектная структура праславянского языка по данным южнославянской лексики (Ljubljana, 1992). Естественно, что диалог с названными учеными, или, вернее, их книгами, продолжается в основном с позиций книги автора, тоже, кстати, вышедшей между съездами (Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М.: Наука, 1991). Сюда приложились, конечно, и дальнейшие поиски и мысли ad hoc. Многое из этого родилось при непосредственной работе над продолжающимся Этимологическим словарем славянских языков.

Далее, одной из ключевых проблем нашей темы может быть названа *проблема Моравы*. Эта проблема (или тема), кстати, выдвинутая на первое место организаторами братиславского съезда славистов в формулировке "Великая Моравия", все же нуждается в объективном пересмотре, даже с риском, что этот пересмотр затронет почтенные традиционные взгляды. Я по-прежнему думаю, что необходимо прислушаться к мнению Имре Бобы о "Великой Моравии" на юге, о чем писал и в своей книге (4, с. 240–241), см., помимо указанных там работ Бобы, еще (5; 6). Нельзя продолжать игнорировать концепцию этого историка, уместно подкрепленную словами Арнольда Тойнби: "Великая Моравия лежала в Западной Иллирии" (цит. по: 6, с. 27). Для этого явно недостаточно одних церковноисторических и текстологических аргументов, ср., напр. (7). Великая Моравия – это проблема лингвистической типологии, причем "Великая" получает небуквальный, релятивный смысл 'распространившаяся вторично' и указывает на факт совершившейся миграции, как, скажем, Великая Греция, о чем подробнее – в другом месте (4, с. 240–241). Великая Моравия не находилась на севернодунайском притоке Морава и уж тем более не может толковаться как "Vetus, Old, Старая", в чем неожиданно – для меня, по крайней мере, – сходятся Боба и его оппонент Биркфельнер (7, с. 35). Впрочем, нельзя толковать и случай вышнꙗꙗ морава (Ассем., а также краткие жития Мефодия) в том же духе, как это делают с "Великой Моравией", относя 'верхнюю' Моравию якобы к 'северной', то есть опять же 'древней' (7, с. 36). Вполне возможно, что *Вышняя* Морава указывает как раз на Юг, в связи с нахождением реки южной (сербской) Моравы в пределах исторической (римской) области Moesia *Superior*, Верхняя Мезия.

Не следует упускать при этом из виду, что на динамику **внутри славянской прародины**, и с выходами за ее пределы однозначно указывает нам сама история распространения гидронима *Morava*. В общем я уже писал об этом, но кратко повторю. Понятно, что название реки первично, а название страны, земли по ней – вторично (я имею в виду чешско-словацкую Моравию sensu stricto); может быть, несколько менее известно, что речное название Morava – *вы-*

разительно среднедунайский эндемик, все остальные Моравы разошлись отсюда: достаточно сказать о южной, сербской Мораве – на южном фланге праславянства, вплоть до Моравы в Южной Албании, с одной стороны, и о случаях гидронима Morawa в Польше, если говорить о северном фланге – с другой. Мне кажется, что я едва ли ошибусь, назвав argumentum Moravae доводом в пользу того, что языковое и этногенетическое прошлое древних славян берет свое начало на Дунае... Но оставим здесь на время Мораву, поскольку она обладает своим значительным индоевропейским и "древнеевропейским" фоном, и нам придется еще вернуться к ней также в связи с этим.

Другая ключевая проблема концепции о праславянах на Дунае – **волохи начальной русской летописи.** В своей книге об этногенезе славян (4, с. 41–42) я постарался показать, что обширный по своему значению эпизод о волохах, повлекший за собой *целую миграцию славян на север*, может быть правильно прочтен только при отождествлении волохов с вольками-кельтами. Отмечу, что Голомб совершенно обходит вниманием вопрос о волохах в своей новой книге, видимо, не считая его таким важным. В то же время он чрезвычайно много занимается проблемой геродотовских невров, в которых он видит славян, в чем мы с ним расходимся. Я считаю, что невры – это геродотовская ипостась кельтских волохов-вольков, о чем подробнее см. (4, с. 43 и сл.). Но к неврам мы еще надеемся вернуться, а сейчас важно отвести неприемлемую идентификацию волохов с лангобардами (так см. Г. Лябуда в: 8, с. 6–7), ничем не поддержанную со стороны этнонимии и понятную лишь как феномен боязни более древних датировок. О германском племени лангобардов известно, что они в течение VI в. лишь на несколько десятков лет обосновались в Паннонии, после чего удалились в Северную Италию. О глубоком и длительном воздействии на славян говорить тут не приходится, и вообще странно читать после этого у крупнейшего исследователя славянских древностей Моравии, что появление славян в Южной Моравии только со 2-й половины VI в. связано с уходом оттуда лангобардов (9, с. 191). Лангобарды, как отмечено выше, кратковременно были только в Паннонии, куда задунайская Моравия не входила. Эта историческая увязка целиком обнаруживает свою случайность, когда тот же археолог, оставаясь уже в рамках своего материала, говорит, напротив, о близости более примитивной пражской керамики Южной Моравии и более развитой придунайской керамики и в целом о тесной связи культуры довеликоморавских городищ с культурой Подунавья (9, с. 191, 204).

Приверженность исследователей к VI в. как terminus post quem появления славян на Дунае по-своему замечательна, скорее, как уже упомянутый психологический феномен. Что касается надежности этой датировки, то ее скорее сомнительность видна уже из сопоставления с некоторыми другими хронологическими данными скудной

дошедшей до нас письменной истории, лежащими на поверхности. В новом "*Своде древнейших письменных известий о славянах*", т. 1 (I–VI вв.) (М., 1991, отв. редакторы Л.А. Гиндин, Г.Г. Литаврин) мы можем ознакомиться с эпитафией Мартина Бракарского св. Мартину Турскому. Текст датируется серединой–началом 2-й половины VI в. Оба Мартина – уроженцы Паннонии и, следовательно, заслуживают определенного доверия в этом отношении. Св. Мартин Турский жил в IV в., и, как явствует из специальной литературы, именно его следует считать зачинателем славянской миссии ("Свод...", с. 359). Речь может идти о христианской миссии среди славян Паннонии, более того (как вытекает из самого содержания названной эпитафии) – среди славян расположенного дальше на запад Норика. Если славянская миссия здесь существовала с IV в., то присутствие самих славян вероятно еще раньше. Они названы в лице того славянина-нарца (в эпитафии – Sclavus Nara) в длинном ряду представителей в основном германских племен, а также сарматов, даков и аланов и не выделены, скажем, как новоприбывшие чужаки. Но, может быть, лучше всего характеризует их славянскую туземность такая яркая лингвистическая особенность формы Sclavus Nara из эпитафии, как передача славянским *a* долгого (или продленного) *ō* в инородном названии провинции *Noricum*. Замечательное это созвучие формы *Nara* и др.-русск. *Нарци* (Нарци еже суть словѣне. – Повесть временных лет) не увидел (или не захотел увидеть) комментатор "Свода...", но об этом уже можно прочесть в печатном моем докладе к XI МСС. Хочу подчеркнуть, что речь идет не о мелочах, интересных для одних лишь специалистов, и я согласен тут с покойным Гербертом Железникером, что для суждений по этногенезу не так важна характерная топо- и гидронимия (категория, как известно, растяжимая, и количество здесь также недоказательно), а то, что является *славянской трактовкой, славянским способом преобразования* (*Überformung*) *неславянских и дославянских названий* (10, S. 349–350; 11, S. 6). Австрийский ученый указал при этом на славянскую **ступень продления** корневого гласного, сказавшуюся на облике названий *Sava, Rada, Drama* у славян, и на ее роль в славянском словообразовании. Таким образом, перед нами **одна** языковая особенность, и статистике здесь делать нечего (нечего считать); в то время, как важность этой одной черты для конституирования славянского языкового типа позволяет отдать ей решительное предпочтение перед десятками тривиальных сходств, возможных при длительном контакте сопредельных языков (как в случае балто-славянских отношений эпохи вторичного языкового союза). Это подтверждает старое правило филологии – non numerandum, sed ponderandum "не считать, но взвешивать", кажется, забываемое такими энтузиастами статистики, как проф. Маньчак.

Как мы видели, возникновение тупиковых ситуаций при исследовании этногенеза не редкость; тем более не следует умножать ко-

личество этих тупиков, из которых иные просто искусственны. Так, если я правильно понял почтенного археолога Й. Поулика, славян не было не только в Южной Моравии до 2-й половины VI в., но их не было до V в. и севернее, на Одере и Висле, в чем чешский археолог следует за К. Годловским (критику взглядов последнего см. у нас: 4, с. 6). Итак, предполагается, что вплоть до V в. н.э. включительно славяне жили "где-нибудь в Восточной Европе, скорее всего – в Верхнем, а частично в Среднем Поднепровье" (9, с. 189), после чего они в VI в. вдруг оказались в Южной Моравии. Весь огромный эпизод освоения славянами польских земель неправдоподобно смазывается (когда? и главное – *откуда*?). Не могу не сказать здесь о том, что мои представления о "северном фланге" расходятся и с этими представлениями археологов и с достаточно упрощенной картиной лингвиста Удольфа (12, passim), по которой польская территория является лишь переходной между славянами и балтами, причем этот "переход" заполнен якобы только этнически безликой "древнеевропейской" гидронимией и даже праязыковым индоевропейским слоем (!). В действительности же нельзя не считаться с особой этноязыковой спецификой неславянских индоевропейцев, живших к северу от Судет и Карпат. Очевидные повторы названий здесь в античную эпоху и in Illyria proprie dicta говорят сами за себя: *Дукля* в Карпатах и *Дукља* в Черногории, Βούλανες, птолемеевский народ на территории Польши, и Βυλλίονες в Южной Иллирии, то есть в Албании, Κάρβονες, также птолемеевский этноним в Польше, и ороним *Karawanken* на юге, и там и тут, видимо, иллирийский апеллатив со значением "олень"; сюда же примыкает давнее тождество *Daleminze*, местность на востоке Германии, и *Dalmatia*, иллирийская область на адриатическом побережье, и то и другое связано с названием овцы в албанском. Ясно, что это был особый индоевропейский этнос. Славяне, распространяясь с юга, застали его, а не "пустоту", и это отражено в польской письменной и народной традиции в виде таких следов, как *Licicaviki, Śrem, Śląsk, Mlądz* и др. Нам известно даже, как назывался этот реальный **"третий" этнос**, иллирийский по языковой принадлежности, длительное время разделявший северную часть славян и германские племена и, по мере сближения германцев и славян, постепенно ассимилированный с двух сторон: это были **венеты** (в германской огласовке-венеды), см. в целом об этом еще (13, passim). Забывать эти старые вещи не следует; я имею в виду, что З. Голомб последовательно отстаивает внутренне противоречивый тезис о славянстве термина **veneti*, хотя и с допущением, что на всех славян он был распространен иноплеменниками-германцами (14, р. 271–272, 416). Говоря о нерешенности проблем "северного фланга", я должен еще специально сказать о судьбе модели *Morava* на севере, а вернее – о том, что с этим вопросом не справилась немецкая школа (Удольф, его учитель – В.П. Шмид). Концептуальное подчинение польского материала "древнеевропейской"

гидронимической схеме и центральной позиции балтийской гидронимии приглушает как бы интерес этих ученых к гидронимам *Morawa, Sawa, Drawa*, которые как раз неизвестны в балтийском, но наличествуют в Польше и, как мы видели, реально могут быть объяснены только как импорт дунайского юга.

В свете изложенного кажется поэтому сомнительным убеждение Голомба, что еще около 1000 г. до н.э. праславяне сидели на пространстве от Киевщины до Волыни (14, р. 236, 238, 415). Глубокие сомнения вызывает и постулируемое этим ученым продвижение славян с Востока на Запад в рамках совокупного миграционного движения всех индоевропейцев с Русской равнины в сторону Центра и Запада Европы, но к этому мы еще вернемся.

В моей книге 1991 г. об этногенезе славян, да и в печатном тексте доклада к XI МСС, уделено много места происхождению самоназвания славян **slověne* от **slov-*/**slu-* и переменчивым условиям его употребления, начиная от случаев, когда этот макроэтноним практически не нужен, все и так знают, что они "свои" друг для друга, и кончая стойкой потребностью в его употреблении – на границе с чужими или среди чужих. Я по-прежнему считаю такое толкование наиболее гибким и даже относительно хронологизированным, в отличие от концепции, согласно которой имя **slověne* существовало будто бы всегда, "from time immemorial" и сверх того было преобразовано по народной этимологии (?) из **svoběne* (14, р. 417). Первоначально этнос, как было замечено, может обходиться и без этнонима. Он и потом, в условиях достаточно замкнутого существования, в "идиотизме сельской жизни" способен почти утрачивать общее самоназвание, которое, как карстовые воды, уходит вниз и течет скрытно. Но эта мнимая утрата, способная обмануть иных, вдруг оживает, рождая иллюзию нового распространения национального имени при национальных и социальных потрясениях, как было с именем *Slovenija, Slovenec, slovenski*, которое будто "приобрело всеобщее употребление лишь в эпоху революции 1848 года" (15, с. 89), в действительности же существовало задолго до этого, хотя и не всегда.

Следствием того исторического обстоятельства, что вплоть до V в. о славянах молчали, а потом о них "вдруг" заговорили, стала освященная наукой, но в общем наивная притча о "внезапном" появлении славян. Необходимая типологическая широта взгляда помогает и здесь лучшему пониманию. Во-первых, верно замечено, что «для античной историографии все народы появились "внезапно"» (10, S. 349). Во-вторых, в непосредственной близости к "южному флангу" славян нечто подобное повторялось не с одними только славянами, из чего логично заключить, что перед нами довольно типовая ситуация, от которой отнюдь не застрахован также народ-автохтон. Например, длительное неупоминание в истории ("исчезновение") румын, количественно самого крупного народа на Балканах, как и

балканских автохтонов-албанцев, не может ни в малейшей степени служить аргументом в пользу их отсутствия. Специалисты, в общем, давно пришли к пониманию, что причина этого – неучастие в крупных этнических событиях, передвижениях, войнах (16, 8, 415), иными словами, – культурная стадия.

Исторические сведения о приходе славян когда-либо и откуда-либо на Дунай красноречиво отсутствуют, и забывать об этом не следует. Те же историки VI в. (Иордан, Прокопий), которые констатируют пребывание славян на Дунае, ничего не говорят об их прибытии из других мест, то есть практически трактуют их как старожилов Подунавья. Даже "авары, прибывая на Паннонскую низменность, всюду заставали уже славян" (17, с. 151, 156). Последнее особенно значительно, если иметь в виду, как привычно эксплуатировалась да и, по большей части, конструировалась тема прихода славян под началом аварского войска в Дунайскую котловину. И в этом плане приход славян с Днепра также теряет свою логичность и убедительность.

До тех пор, пока сохраняет свое преобладание традиционная научная концепция **прихода славян на Дунай** (неважно, в конце концов, откуда – с Днепра или с Вислы и Одера), можно продолжать довольствоваться современной данностью, что к югу от Дуная распространены *южные славяне*. Напротив, принимая тезис о Подунавье как исходном плацдарме **всех славян**, мы не можем уклоняться от ответа на вопрос, – **насколько реальны следы пребывания там также неюжных славян.** Речь при этом не идет о проблеме средневекового "словацкого юга" на территориях южнее нынешней Словакии или о встречающихся до настоящего времени живых реликтах словообразования и лексики "севернославянского" типа в южнославянских языках на диалектном уровне, ср. достаточно разрозненные изоглоссы вроде случаев приставки **vy-* при стандартно южнославянском **jьz-*. Речь скорее может идти об остатках, следах компактных очагов, или зародышевых зон, того, что много позже консолидировалось как "западнославянский" и "восточнославянский". Разумеется, полный объем этих понятий, как и позднейшего "южнославянского", явился результатом длительных конвергенций и дивергенций, и датировать безоговорочно, скажем, двумя тысячелетиями некий прямолинейный процесс распада праславянского на "южнославянский", "западнославянский" и "восточнославянский" или видеть с полной серьезностью это славянское тройственное деление уже в склавенах, венедах и антах Иордана сейчас просто неинтересно. Реальные процессы протекали несравненно противоречивее, вспомним о "растворении" народа мораван. И все же мысль о празападнославянских задатках части древнеславянских диалектов Подунавья, которые можно назвать паннонскославянскими, не заслуживает огульно скептического отношения. Критерий – формально-семантический и ареальный, хотя древние ареалы могут не иметь ничего

общего с привычными нынешними представлениями. Но последнее больше относится, пожалуй, к правосточнославянским реликтам (о них – ниже).

Несколько празападнославянских фактов, которые мы можем назвать, – это, кажется, (lacus) *Pelsonis* (Плиний, I в. н.э.), о плесе Балатона, ср. слвц. pleso как *название озера* в Татрах (4, с. 128); далее, эпиграфическое *Dobrati* (дат.п. ед.ч.), имя доброго божества, из Нижней Паннонии, на Дунае (II–III вв., ср. праслав. диал. **dobrotь* 'доброта, добро', только в западнославянских языках (4, с. 100–101)); *stravam* (Jord. Get.) 'погребальный пир' < праслав. **jьztrava*, с преобладающим значением 'пища, еда', также 'поминальная еда' именно в западнославянском, а также с возможной ранней западнославянской фонетической рефлексацией *strava* < **jьztrava* (ЭССЯ 9, с. 80–81; 4, с. 81; более подробные рассуждения – в докладе к XI МСС).

Несмотря на сомнения некоторых славистов, есть основания говорить о ранних контактах славян на их южном фланге с балканско-индоевропейскими языками. Эти контакты заметнее отложились в южнославянских языках, что позволяет судить о вероятной локализации именно "праюжнославянского" на южном фланге праславянства: соответствия вроде сербохорв. *jȁ-pād* 'тенистое место' ~ *Iapodes*, самое западное иллирийское племя, сербохорв. *Med-bara*, местность на Саве, ~ античное *Metubarris*. Помимо названных элементов главным образом западнобалканского, иллирийского происхождения (подробнее – в предыдущем печатном тексте к XI МСС) и других, в основном топонимов и гидронимов, наличествуют – еще дальше на юг и восток – заимствования уже из восточнобалканско-индоевропейского. Из них назовем здесь только **vьrtърь*/**vьrtорь*, красноречиво отсутствующее у славян к северу от Албании. Надежные соответствия этому названию пещеры, воронки, водовороты в местном индоевропейском субстрате (*Burdapa*, *Фракия* и др.) говорят о том, что мы имеем здесь фракийское слово. Выявляемый при этом структурно тождественный гидроним *Vir̃t-upė* (Литва) целесообразно, по-видимому, прямо соотносить не с болг. *вьртóп*, ст.-сл. врътопъ, а с лежащим в их основе фракийским. Я думаю, один этот, впрочем, очень весомый пример дает основание для серьезных уточнений к концепции непосредственных болгаро-балтийских контактов, предложенной в свое время В.М. Иллич-Свитычем и поддержанной С.Б. Бернштейном, см., с литературой и добавлением также моих материалов (18, с. 190). Сейчас представляется, что у нас нет достаточных оснований поддерживать дальше эту идею непосредственного соседства восточной части древнеюжнославянских и балтийских диалектов, которое по ряду соображений утратило правдоподобие. Болгарские (и некоторые другие южнославянские) "балтизмы" суть в немалой степени не что иное, как **вторичное отражение (заимствование)** соответствующих элементов субстратной фракийской лекси-

ки. Единственно реальной представляется древняя (III–II тыс. до н.э.) контактная близость дакофракийского и балтийского с той пикантной деталью, что в этом последнем эпизоде, разворачивавшемся на востоке, **славяне вовсе не участвовали**. Соображения, вытекающие из изучения южного фланга древнейшего славянства, как кажется, непротиворечиво подтверждают это.

Примерно в это же древнее время славяне сидели западнее и принимали участие в совершенно иных контактах – с древнеиталийскими племенами до ухода последних на юг, в Италию. Мысль эту, опирающуюся в немалой степени на собственную словарноэтимологическую практику, я уже высказывал и обосновывал раньше (4, с. 22–23). Тогда были привлечены соответствия слав. **gospodь* – лат. *hospes/hospitis*, слав. **gověti* – лат. *favēre* (обе пары – из социальной сферы), слав. **strojiti* – лат. *struere*, если из **stroi̯-u̯-* (домостроительство), слав. **pola voda* – лат. *pal-ūdes* (равнинная среда обитания, с половодьями и заболачиванием), слав. **pojьmo*, русск. *поймо* 'горсть колосьев' – лат. *pōmum* 'плод, фрукт' < **po-emom* 'снятое, сорванное' (сельское хозяйство). Потом сюда добавилось соответствие слав. **manъ/*mana* 'призрак мертвого, предка' – лат. *mānēs* 'души умерших' (культ предков), см. (4, с. 215–217). Сведения по словам **gospodь*, **gověti*, **mana/*manъ* можно найти в предшествующих выпусках ЭССЯ. Уже в самое последнее время, в процессе работы над рукописью вып. 23 ЭССЯ окончательно оформилось еще одно немаловажное этимологическое наблюдение, апеллирующее к наметкам в вып. 1 ЭССЯ и открывающее, кажется, перспективу реконструкции архаической славяно-латинской религиозно-этической общности (помимо того, что сюда уже отнесено на примерах **gověti* – *favēre*, **manъ/*mana* – *mānēs*) и, в определенном приближении, индоевропейского диалектного текстового фрагмента. Я имею в виду довольно простую реконструкцию на базе кашубскословинского *ńébws* 'непорядочный человек, негодяй' и русск. диал. *небаский, небаской* 'некрасивый, неказистый; грубый' праславянской диалектной формы и значения **nebasъ*, практически во всем тождественных лат. *ne-fās* 'неправедное дело, грех' и продолжающих еще и.-е. диал. **ne-bhās* (est), соотносительное с утвердительным **bhās* (est), откуда, в свою очередь, утвердительная латинская формула *fās est* 'правильно, дозволено (религией)', *fās* 'божественный закон', к которому отнесено в ЭССЯ 1 праслав. диал. **bas-* 'красота' (русские диалектные данные, с суффиксацией). Перед нами исключительное славяно-италийское соответствие большой культурной значимости (сфера нравственных норм, древний синкретизм права и религии) и одновременно – случай, лежавший почти на поверхности, мимо которого, однако, прошла классическая индоевропеистика. Естественно спросить, видит ли уважаемый проф. Маньчак и в этих групповых соответствиях всего лишь "mnóstwo hipotez" Трубачева и скорее дело вкуса, чем объективную аргументацию. Доверяющий только статистике

больших чисел, сохранности чего наивно было бы ожидать от языковых контактов, прекратившихся – по самым приблизительным подсчетам – почти три тысячи лет назад, а скорее – намного раньше, проф. Маньчак отказывается верить в длительное и близкое соседство славян и италиков, "skoro w ich języku nie pozostał po tym ślad" (19, с. 277). След все же, как видим, остался, и можно только удивляться его значительности.

З. Голомб в своей новой книге о происхождении славян, уже называвшейся выше, в общем положительно воспринимает мои соображения о ранней славяно-италийской диалектной близости и говорит в связи с этим о потребности пересмотра традиционных взглядов о тяготении славянского к восточным индоевропейским диалектам. Вместе с тем развиваемая им версия об общем движении индоевропейских племен из Восточной Европы на запад и юго-запад, в ходе которого праиталики, задержавшись в бассейне Одера и Вислы, были настигнуты праславянами и полностью (?) поглощены последними (14, p. 113 и сл., 124), коренным образом разнится от моих представлений.

Два слова об этом "общем доисторическом движении индоевропейских племен" по Голомбу. Польско-американский исследователь реконструирует его направление – от максимума гидронимических слоев на Востоке (на Правобережной Украине – четыре или пять: "древнеевропейский", балтийский, иллиро-фракийский, славянский, иранский) в сторону их минимума на Западе (во Франции и Западной Германии – два: "древнеевропейский" и кельтский, на Востоке Германии еще германский) (14, p. 226). Но не говоря уже об уязвимости (неполноте) этой методики слишком суммарного подсчета подобных слоев, мы можем, в принципе, допустить альтернативное решение. Суть его в том, что как раз максимум разнообразных явлений (здесь: гидронимических слоев) может наблюдаться (оседать, сохраняться) на периферии ареала, и Восток – в нашем, по крайней мере, представлении – классическая центробежная периферия, тогда как относительная (исходная) центральность противопоставленных ему областей Средней Европы обладает нивелирующим эффектом, и здесь не имеет смысла ожидать многочисленных слоев. Я думаю, что именно где-то здесь заключается разгадка отношений "древнеевропейской" гидронимии и славянской прародины. Г. Краэ в свое время высказался отрицательно по вопросу о вхождении праславянского в ареал "древнеевропейской" гидронимии. Исследователями следующего поколения, в том числе и автором этих строк, были предприняты попытки оспорить этот тезис Краэ, в результате чего назывались отдельные "древнеевропейские" гидронимы также со славянских территорий или славянские корни к отдельным "древнеевропейским" гидронимам. Но именно нивеллированность как смысл "древнеевропейской" гидронимии в целом как нельзя лучше подходила к славянскому материалу, к его неяркому тесту "древне-

европейской" гидронимией. Если мыслить исходный центр праславянского ареала в Подунавье, то наши славянские находки соответствий "древнеевропейским" гидронимам локализуются как правило на перифериях этого ареала – на Правобережной Украине (Трубачев), в Польше (Удольф). Праславянский ареал при этом с наименьшими противоречиями локализуется именно в Центральной Европе, и лишний раз становится ясно, что скопление древне(индо)европейских гидронимов в Прибалтике не более чем периферия (к вопросу об уязвимости тезиса В.П. Шмида о "балто-центричности" "древнеевропейской" гидронимии). Обращаю также внимание на карту в (4, с. 83) и предшествующие там ей комментарии. Впрочем, нельзя не сказать о том, что именно со Средним Подунавьем связаны такие названия одного типа, как *Marus*, *Savus* и *Dravus* латинской античной традиции. Показательна неудача попыток приписать их какой-то одной индоевропейской языковой традиции – иллирийской, фракийской и даже германской. Вместе с тем их инновационность, а равно и этот их выразительно наддиалектный индоевропейский характер позволяют нам зачислить эти названия в "древнеевропейскую" гидронимию с таким атрибутом, как центральность (инновационность!) именно этих ее образований. Внимательное изучение прежде всего отношений древнего *Marus* и славянского *Morava*, которым мы интересуемся столь пристально, дает нам право увидеть в *Morava* не "славянизацию" "иноязычного"(?) *Marus*, а непрерывное эволюционное развитие, преемственную связь и.-е. *Marus* и слав. *Morava* в духе того словообразовательно-фонетического способа продления (здесь: *-u-* > *-av-*), на который уже обращалось внимание выше (подробно см. еще: 4, с. 242 и сл.). В силу чрезвычайной, как представляется мне, важности этой аргументации я не побоюсь повторить здесь свое резюме, что *древний гидронимический ареал Morava в Среднем Подунавье и древний этнический ареал славян, вероятно, совпадают.*

Для нашего вопроса показательны также древние культурно-языковые отношения славян и кельтов, хотя их выявляемость сулит еще большие трудности, чем исследования славяно-италийских контактов. Сюда относится уже затронутая выше проблема волохов Повести временных лет, возможно, бросающая свет на место локализации этих контактов. Л. Мошинский, занимающийся изучением сакральных древностей славян, поднял интересный вопрос о кельтских влияниях на древнеславянскую теонимию, впрочем, следы кельт. *Borvo*, *Taranis* и **veles* (**u̯el-et-s*) он, похоже, ограничивает западнославянским, см. (20, с. 171 и сл.; 21, с. 105–106). К кельтам я отношу и невров Геродота и вынужден не согласиться с Голомбом, этимологизирующим Νευροί как слав. **nervi* 'люди, мужи', якобы "первое" письменное упоминание о славянах (14, p. 184, 285, 415). Кельтизм невров все же очевиден из варианта *Nervi* у Аммиана Марцеллина, тождественного с названием племени *Nervii* в собственно

Галлии; к тому же, ничего похожего в славянской этнонимии мы не знаем (4, с. 44). Есть и другая довольно крепкая связь между волохами-вольками и неврами, при всей внешней огромности временной дистанции между Геродотом (V в. до н.э.) и Повестью временных лет. Я имею в виду, с одной стороны, этимологию 'волки' имени волохов-вольков и "волчью" этническую традицию – сезонное превращение в волков у невров (Herod. IV, 105), о чем я также уже писал раньше (4, с. 44–45). Эти предания могли сформироваться в Подунавье (если не раньше), где неподалеку от кельтских пришельцев-вольков обитали автохтонные даки, имя которых этимологически значит 'волки'. Если добавить сюда румын с их верой в волков-оборотней, то вырисовывается подобие придунайско-северобалканского ареала этно-мифологической ликантропии, к которой как-то оказались причастны и вольки-волохи, и невры. К числу отголосков этого этнокультурного ареала относится, наверное, уникум позднеантичной Tabula Peutingeriana – этноним *Lupiones Sarmate*, ввиду отсутствия аналогий неправомочно эмендируемый большинством авторов в *Lugiones*, далее связываемый с ареалом лужицкой культуры и т.д. (всю проблематику см. упоминавшийся "*Свод...*", с. 78). Однако стоит считаться с расположением в оригинале названия *Lupiones* на север от излучины Дуная с пунктами *Bersovia* и *Tierna*, то есть в Дакии или в непосредственной близости от нее. Лат. **lupio*, род. п. **lupionis*, мн. **lupiones* на апеллативном уровне как будто не засвидетельствовано, хотя производит впечатление грамматически правильного образования от *lupus* 'волк'. Экзотичность для Рима культа оборотня, человека-волка, могла вызвать к жизни этот эфемерный неологизм *Lupiones* 'люди-волки?' для обозначения местных племен с таким верованием (даков? вольков? невров?).

Я позволил себе задержаться на этих соображениях, потому что утверждение Голомба о том, что предки италиков и кельтов занимали будто бы до протославян – во II тыс. до н.э. – культурную область Триполья, на запад от Днепра (14, p. 184), выглядит неприемлемым. И для тех, и для других, по-моему, это исключено. По данным эпиграфики, археологии и ономастики инфильтрация кельтов и кельтской культуры имела место в некоторых размерах на территории Правобережной Украины на исходе I тыс. до н.э. и притом, разумеется, в направлении с запада на восток. Ничего подобного мы не можем утверждать об италиках.

Из наших "схождений" со Збигневом Голомбом назову его положительную оценку моей идеи о древнем "центрально-европейском культурном районе", включая то обстоятельство, что балты остаются в стороне (14, p. 125–126). Конечно, при этом надо постоянно помнить, что, по Голомбу, все задействованные индоевропейцы пришли издалека, с Востока, тогда как я исхожу из их автохтонного обитания и развития. Есть и другие нюансы, но – лучше предоставить слово самому Голомбу: "... Трубачев открыл несколько очень

интересных древних лексических соответствий между славянским и западноевропейскими языками (германским, италийским и кельтским) в технической терминологии, которые не охватывают балтийский" (14, p. 164). И далее (14, p. 173): «Среди северо-западной индоевропейской лексики (в понятие "СЗ и.-е." автор включает балтославянский [так!], германский, италийский, кельтский, см. также с. 171. – *О.Т.*) мы имеем несколько древних сельскохозяйственных терминов (II), очень мало социальных терминов (5), полное отсутствие религиозных терминов (sic!) и много технических терминов». Понятно, что после того, что выше нами было специально сказано о наличии как раз исключительных архаических религиозно-этических соответствий между италийским и славянским на примерах **gověti*, **manъ/*mana*, **basъ* ~ **nebasъ*, лингвистическая и культурная картина обретает иной облик.

Эта древняя культурная картина, выявляемая совместными усилиями, заслуживает того, чтобы о ней сказать подробнее. У славян было три названия главных земледельческих орудий – соха, рало, плуг, имелись и сами обозначаемые ими предметы, иллюстрируя собой как бы историю славянского земледелия: при ограниченном земледелии можно пробавляться сохой и ралом, более совершенное орудие быстро ломается из-за обилия корней в лесу или камней, выход на широкие черноземные поля требует плуга (22, p. 107–108). Признано, что плуг – относительно южное изобретение, связываемое с приальпийским и паннонским регионом (14, p. 311, 167), причем исконность праслав. **plugъ* как названия рала на колесах у славян Подунавья около середины I тыс. н.э. (4, с. 171, 211–212) весьма вероятна; балтийский остался в стороне от этой центральноевропейской культурной инновации.

Но культурная картина языка – и древняя в том числе – соотносится весьма непросто с естественным фоном и природой. Здесь нет той прямолинейности отношения и отражения, которую обычно предполагают и, если уточняют, то, как правило, в сторону дальнейшей прямолинейности. Классический случай – названия деревьев. Принято считать, что праславянский находился вне ареалов так называемых "западных" деревьев (бук, лиственница, тис) и что именно этим обстоятельством объясняется заимствованный характер их названий в праславянском. Наиболее типичный и яркий представитель этих "западных" деревьев – бук Fagus sylvatica, устойчиво распространенный на запад от известной линии Калининград – Одесса, побуждал ряд ученых искать прародину славян только к востоку от букового ареала по простой логической схеме: славяне знают только заимствованное название дерева **bukъ*, следовательно, сами они жили в стороне от европейского ареала дерева – где-нибудь в Полесье или на Волыни. Так и сейчас на основе трудов Ростафинского и К. Мошинского и с учетом ареалов деревьев и их названий рассуждает З. Голомб (14, p. 273 и сл.). Ареалы деревьев – вещь неоспори-

мая, см. еще (23, passim), но и они не уполномочивают нас забывать о **культурной стадии**, суть которой, говоря попросту, состоит в том, что можно жить под сенью буков, лиственниц и тисов и не питать к ним особого интереса. Названия деревьев – это семантически достаточно зыбкий материал, ведь до сих пор неясно, было ли и.-е. **deru̯-* названием дерева вообще или по преимуществу – дуба, главного дерева индоевропейской культуры. Относительно менее важных деревьев зыбкости в названиях было никак не меньше. Если на определенной культурной стадии внимание славян привлекло использование соседями-германцами древесины (палочек) бука как культовых, рунических, архаических письменных знаков, то из этого вовсе не следует, что они до того не знали, не видали бука, жили от этого дерева вдалеке. Остается фактом лишь культурное заимствование герм. **bōkō* в праслав. **buky/-ъve* в упомянутом специальном и других значениях, с обобщением его или побочной формы **bukъ* в роли названия дерева (далее см. ЭССЯ 3, с. 90, 91–92). В принципе по той же культурной схеме развивалась история названия дерева Taxus baccata. Славянское название тиса заимствовано, тисом были богаты Карпаты, но это отнюдь не означает, что славянскую прародину нельзя даже искать внутри Карпатской дуги. На названии тиса у славян (может быть, на выборе "нового" названия) сказалась, видимо, популярность его применения для качественных тесовых поделок у других соседей славян. Таково, пожалуй, мое нынешнее дополнение к предложенной мной фракийской этимологии слова **tisъ* в печатном докладе к XI МСС. Ее более полная формальная развертка: и.-е. **tok̂so-*, имя с корневым *-o-*, производное от **tek̂s-* 'тесать', дало лат. *taxus*, которое отражает ударение производного имени **tok̂só-*, причем безударное *o* > лат. *a* (ступень *-o-* сохранена в греч. τόξον), ступень продления *-ō-/-ā-* в **tōk̂so-* со словообразовательной функцией производности была представлена, по-видимому, в восточнобалканско-индоевропейском с местными рефлексами *a* > *e* > *i*, о чем уже писалось подробнее в печатном докладе к XI МСС. Долгота *ī* в дакофракийском прототипе, видимо, сохранялась к моменту заимствования в славянский, о чем говорит ее отражение в сербохорв. *ȉs*. 'Тисовый', таким образом, значило примерно то же, что 'тесовый', а **tisъ*, *тис* – 'дерево, идущее на тесовые работы, поделки', как бы вопреки сомнениям Шахматова (24, S. 195–196).

Таким образом, и здесь, в этом конкретном эпизоде фактического согласования мнимо несогласованных ареалов "западных" деревьев и праславянского этнического ареала, видится некий аналог культурной стадии якобы "внезапного" появления прежде "отсутствовавших" автохтонов (албанцев, румын, славян), которые "появились" *там, где были и прежде,* в меру нарастания потребности к культурному контакту. Поучительный урок "южного фланга"... А вероятное совершенство южных поделок из древесины тиса надолго осталось в памяти славян и упоминалось в самых престижных

контекстах спустя столетия, как, напр., великий князь киевский Святослав "на кровати тисовѣ" в Слове о полку Игореве. Лесистость карпатско-балканского региона, наличие там названий типа *Bersovia*, *Transylvania* и других, ориентированных на эту лесистость, невольно побуждает задаться вопросом, нет ли связи между названием реки *Тиса* и названием дерева *тис* (обычно гидроним толкуют иначе).

Но центр внимания неизменно сохраняется за главной рекой региона – Дунаем. Элементарно невозможно согласиться с мнением, будто слав. **dunajь* – это апеллятив, обозначавший вообще водное пространство, потом – сперва 'Днепр' и лишь после всего – 'Дунай', и при этом "не имеет ничего общего с кельт. **Danovios*" (14, p. 223, 239). Как тогда быть с южнославянским вариантом **Dunavь*, который безусловно тесно связан с северославянским **Dunajь*? (см. 4, с. 11). Я понимаю, что в польской науке укоренились суждения о том, что не только *Dunaj*, но и *Wisła* были первоначально апеллативами (вопрос об исконнославянском происхождении *Wisła* здесь опускаем). Но с макрогидронимами чаще дело обстоит наоборот, распространена их вторичная апеллятивизация. До сих пор мне памятен случай, как маленький литовский мальчик, привезенный из Литвы к нам в семью (дело было на Украине), смотрит на потоки дождевой воды на улице и кричит: "Nẽmunas! Nẽmunas!"('Неман').

Поскольку мы исходим из постулата полидиалектности праславянского, дилемма славянского языкознания – изначальность или вторичность "южнославянского единства" – в значительной степени теряет для нас свою актуальность, как и попытки обосновать приход предков южных славян откуда-то (например, Голомб считает, что предки южных славян "начали кристаллизоваться" на Верхнем Днестре, в Украинском Прикарпатье, причем он делает этот вывод, опираясь на гидронимические исследования Трубачева 1968 г. (14, p. 251, 304–305). Спрашивается, однако, дают ли для этого однозначные основания тогдашние мои констатации гидронимов южнославянского типа на украинских территориях? Вероятность проникновения их в обратном направлении из славянского Подунавья представляется сейчас гораздо более реальной. Точно то же самое можно повторить и об аргументах так называемой "карпатской миграции славян" (лексика южнославянского типа в украинских диалектах и т.д.).

Сейчас настала необходимость в радикальной переформулировке проблем и задач, принципиально допускающей потенциально более емкое понимание объема дунайскославянского. То обстоятельство, что паннонскославянский (о нем кратко выше) и дакославянский (ниже) "не вписываются" в "южнославянское единство", не оправдывает неучета имеющихся о них данных. Так, в новой книге Л.В. Куркиной (25) исследовательская процедура сводится к солидному обзору внеюжнославянских лексических изоглосс южносла-

вянского, понятого как изначальное единство. Участие северных, в том числе восточных, славян в южнославянской языковой жизни как *включение извне* (Рамовш, Безлай) в книге отвергается как очевидное огрубление проблемы. Однако одним умолчанием проблема паннонскославянских и дакославянских языковых (лексических) древностей не может быть снята. Целиком обойдена крупная проблема крашованского (карашевского) диалекта внутри южнославянского, имеющая свой лексический аспект, дакославянскую привязку и соответствующую литературу вопроса. Это можно оправдать лишь отчасти тем, что в книге сербохорватская проблематика освещена в меньшей степени, чем словенская. В целом книга, написанная бесспорно в русле хороших старых традиций, оставляет слишком много вопросов и прежде всего – об адекватности и дальнейшей перспективности упоминавшихся умолчаний и невключений. Все же трудно на этом пути ожидать новых принципиальных решений, когда на пороге стоит проблема "южнославянского" ареала как ареала всех славянских групп.

Надлежит скрупулезно учесть все следы инославянского населения на Среднем Дунае; к их числу, вероятно, принадлежит племенное название **sěver'ane* на левом, по средневековой традиции – 'северном', берегу Дуная (ср. "Descriptio" Баварского географа-анонима), территориально – в Банате. Несмотря на утверждения, что "дакийские славяне не имели особого языка или диалекта, отличного от тех славян-склавинов, которые поселились в восточной части Балканского полуострова" (26, с. 23), в науке за последние десятилетия уже накопился определенный материал, значительно ослабляющий силу подобных негативных утверждений.

Диалект крашован, или карашевцев, монографически исследованный прежде всего румынским славистом Эмилем Петровичем (27), сразу задал непомерно много загадок всем славистам. Этот диалект, на котором говорит католическое население нескольких сел в румынском Банате, на юго-западе Румынии, относят к сербохорватским, сербским диалектам торлакской группы ("тимочко-лужнички дијалекат", см. 28, с. 73), предполагая его переселение оттуда в средние века. Но вместе с тем признается невозможность точнее установить его происхождение и время прихода, а главное, быть может, это то, что "крашоване не сохранили никакого предания о своем приходе в Банат с Балканского полуострова" (27, с. 16, 18). Дальше – больше. Крашованский диалект считают южнославянским, но ему совершенно неизвестна одна из восьми главных южнославянских инноваций – окончание тв. п. ед. ч. *о*-основ на *-омь*; вместо этого, в крашованском регулярно представлено *-am* (s *kőrinam*, *kámęnam*, *plúgam*, *človẹ́kam*, *ókam*) (27, с. 4–5, 147, 149), которое соответствует севернославянскому (то есть западно- и восточнославянскому) инструменталю на *-ъмь* и никак иначе объяснено быть не может (29, S. 44). Как уже сказано, крашованский числят сербохорват-

ским диалектом, даже – самым архаичным из них, но при этом констатируется, что только он один из всех не знает количественных и интонационных различий (30, S. III, 279). (Не случайно, возможно, поэтому делались попытки определить крашованский как болгарский диалект.) Из других фундаментальных отличий крашованского достаточно назвать сохранение праславянского "ятя" (*ě*), мягких зубных *t'*, *d'*, группы согласных *čr*, архаичных окончании множественного числа – нулевого в род. мн., *-m* в дат. мн., *-mi* в тв. мн. [см. 30, passim] (говоря иначе, крашованское именное склонение больше похоже на склонение в русском, польском, чем на сербохорватское). Неудивительно, что последовали попытки глубже осмыслить эту самобытность крашованского. В результате были акцентированы два момента: восточнославянские особенности карашевского (крашованского) и его автохтонизм, а также то, что следует говорить не о переселении из Сербии, а о вторичной югославизации этого древнего местного восточнославянского диалекта (29, S. 44, 46). Понятно, что эти тезисы звучали (а для многих и сейчас звучат) утрированно в условиях старой доброй этноязыковой концепции. Думается, сейчас кое-что меняется. Правда, и тогда, тридцать лет назад это все-таки уже не было экстравагантностью одного автора – Ивана Поповича. За этим уже стояли очень свежие также и для нашего времени размышления Гюнтера Райхенкрона, который впервые, опираясь на данные румынского лингвистического атласа, заговорил о существовании особого *дакославянского* слоя в Семиградье (Западная Румыния), к чему его подтолкнуло наличие в румынской лексике славянских элементов с трудноопределимым источником (мы еще вернемся к этому ниже); Райхенкрон считал уже тогда дакославянский связующим звеном между восточно- и южнославянским (31, S. 159 и сл.). Не менее актуально звучат и слова Секстила Пушкарю, сказанные почти тогда же о севернодунайских славянах (эквивалент дакославян Райхенкрона), образовывавших как бы переход между южными и северными славянами; именно от них, кроме специфической лексики и семантики, дакорумынский перенял также это смягчение зубных перед *e*, *i* польско-словацкого типа, неизвестное, например, южным славянам, а из восточных – украинцам (16, S. 366). И все это так гармонировало с фактами и было настолько свободно от миграционной идеи и традиционной схемы (восточные славяне – автохтоны Придунавья!), что готов позавидовать пишущий эти строки реставратор теории дунайской прародины славян. Разгадать в сербизированном диалекте Западной Румынии маленький реликт прежде гораздо более обширного дакославянского – это заслуга перед наукой, и давно уже покойный И. Попович имел право гордиться этим: "...все еще существующий в наши дни сербский карашевский говор, который я идентифицировал с райхенкроновским дакославянским... Эта идентификация следует, на мой взгляд, из факта, что карашевцы имеют в своем говоре, с одной стороны, северносла-

вянские элементы (тв. ед. *-о-* основ на **-ъть*), с другой стороны – важные архаизмы, свидетельствующие о том, что они живут исстари здесь, на периферии сербохорватского (и южнославянского вообще)...” (29, S. 137).

Лексический аспект дакославянского довольно поучителен, причем восточнославянские связи этих реликтов – в основном слов славянского происхождения, осевших в румынском языке и его западных диалектах, – могут считаться в ряде случаев даже более однозначными, чем это представлялось нашим предшественникам. Об этом уже сказано в печатном тексте доклада к XI МСС. Кратко – это рум. *zăpádă* ‘снег’, соотнесенное мной с русск. диал., с.-в.-р. *запáд* тропы ‘занесение тропы снегом’ (шенкурское. архангельское), ср. и ударение *запáд*, в отличие от *зáпад*; рум. *nisip* ‘песок’, ср. русск. диал., с.-в.-р. *нáсыпь* ‘скопление прибрежного песка’; *Ohaba, Ohabiţa*, местные названия в Западной Румынии, ближе всего к др.-русск. *охабити* ‘оставить, покинуть’; рум. *lapă* ‘рука’ – сопоставимо только с северославянскими названиями ‘лапы’ (см. о них ЭССЯ 14, с. 27); рум. *mînji* ‘мазать’ с вероятием происхождения из “незасвидетельствованного слав. диал. **mǫz-* целесообразно соотнести с гнездом русск. диал. *музюкать* (Словарь русских народных говоров 18, с. 338, вслед за Далем, дает только значение ‘сосать’ и переносные); рум. диал., зап. *zapor* ‘корь, скарлатина’ Райхенкрон объясняет из дакославянского **zaporъ* (31, S. 160), ср. русские названия разных болезней – русск. диал. *зáпор* ‘болезненное состояние рук или ног, сильно остуженных или во время отогревания’ (Словарь русских народных говоров 10, с. 344: новг.), более отдаленно – русск. литер. *запóр* ‘затрудненное опорожнение кишечника’.

Таким образом, ареал древних славян на Дунае можно было бы себе представить как земли, населенные предками всех славян и охватывающие Венгерскую низменность, на востоке – часть Трансильвании и Баната, на западе – часть Нижней Австрии, на юге – полосой – какую-то часть позднейших южнославянских территорий.

Если иметь в виду “южный фланг” славян, то дальнейшее главное направление миграций там устремлялось со Среднего Дуная на юг по долине Вардара, и это подтверждалось неоднократно, ср. и (32, с. 206).

По упрощенным схемам дальнейшее славянское освоение балканского Юга осуществлялось силами южных славян. При этом охотно указывали на действительно большое там количество новой славянской топонимии с болгарскими языковыми чертами. Но старая славистика в сущности отказывалась дать полное объяснение парадоксальному факту заметного присутствия в ославяненной Греции также *неюжнославянских*, а точнее – *западно- и восточнославянских, топонимов* вроде Κονίσπολις, Ὄζερος, Ζγκάρι, Τολπίτσα, Μπαλαμοῦτι, Πολοβίτσα, подробнее о них – в печатном докладе к XI МСС. Поучительный пример того, как старая упрощенная

схема переставала работать. Конечно, образ пестроты и многокомпонентности состава таких миграционных потоков приходит в голову, так сказать, в первую очередь. Но как понять эту славянскую пестроту в Греции в ту неблизкую эпоху? В печатном докладе к XI МСС я оперирую давним своим сравнением – аналогией пестроты русского освоения Сибири. Это, по-видимому, далеко не вся правда. Толковать наличие западно- и восточнославизмов в топонимии Греции как след прямого участия в ее освоении пришельцев из Западной и Восточной Славии в теперешнем представлении было бы наивно и анахронично для середины I тысячелетия н.э. Остается принять простое решение об исходе всех славянских участников со Среднего Дуная, населенного не одними только южными, но и паннонскими, и дакскими славянами – предтечами будущих западных и восточных славян. И в этом заключается, может быть, наиболее важный урок "южного" фланга древнего славянства в Среднем Подунавье.

Задача, в каком-то смысле и на будущее, формулируется так: достижимая реконструкция конфигурации праславянства. Как ее возможный результат предположимо иное расположение зародышевых диалектных групп славянства уже около середины I тысячелетия до н.э. И опять – изучение "южного фланга" дает возможность более осмысленно вернуться к пониманию динамики славянского "северного фланга". В 1967 г. я опубликовал свою работу "Из славяно-иранских лексических отношений" ("Этимология. 1965". М., 1967, с. 3–81), в которой на материале лексических иранизмов в славянских языках постарался обосновать ряд довольно далеко идущих выводов о степени диалектной расчлененности и о взаиморасположении частей славянства в скифскую эпоху. Нетривиальность полученных результатов состояла еще в том, что по показаниям славяно-иранских контактов выходило, что наиболее архаичная часть иранизмов представлена в западнославянском, даже специально в польском (Polono-iranica), а восточнославянские языки, "исторически наиболее восточные из всех славянских", в итоге иранского теста оказываются отнюдь не "самыми восточными". Не могу сказать, что это не вызвало интереса, но отдельные солидные слависты встретили еретически звучавшие выводы сдержанно. Во всяком случае Ф. Славский рекомендовал мою работу "использовать осторожно", а В. Кипарский в личном разговоре при встрече со мной в Хельсинки в 1976 г., то есть спустя несколько лет после публикации, заметил: "Вы поставили все с ног на голову..." Да так оно, наверное, и выглядело – в смысле смены привычных представлений на проблематичные. Я не тешу себя излишней уверенностью, что сейчас славистическая научная общественность полностью с ними смирилась (ср. хотя бы реакцию Ю. Речека [33]). Время более спокойных оценок в этой трудной области славянского языкознания еще впереди. Сейчас мой коллега Збигнев Голомб отзывается о моих polono-

iranica с одобрением: "The credit for having called attention to such prehistorical Iranian loanwords in West Slavic (*gъpanъ, *ob-ačiti, *patriti, *šatriti. – O.T.) belongs to Trubačev" (14, p. 323). Правда, остается неясным, как в таком случае многоуважаемый коллега увязывает этот мой "польско-иранский" тезис и всю свою довольно оригинальную концепцию, по которой вторжение скифов около 700 г. до н.э. в Среднее Поднепровье разорвало связь праславян с прабалтами, после чего первые двинулись на запад, на Вислу и Одер... (14, p. 88). Очевидно, наш коллега по-прежнему мыслит этнические передвижения славян одним цельным монолитом, но, боюсь, и на этом пути мы вряд ли получим ответ на сложные вопросы праистории славянства. Когда целых тридцать лет назад писалась та моя работа "Из славяно-иранских лексических отношений", я строил тезис "polono-iranica" исключительно на лингвистических аргументах, что давало определенную объективность, но и – сулило захватывающий риск, тем паче, что "объективность" порой оборачивалась недостатком знаний молодого ученого... Так, например, тогда я еще не знал и страшно обрадовался, узнав позже, что мои "чисто лингвистические" polono-iranica непротиворечиво накладываются на вторжение скифов на запад, вплоть до Нижней Лужицы (тамошний клад скифских вещей V в. до н.э. в Феттерсфельде), под давлением скифского похода Дария в 512 г. до н.э. (4, с. 46). Празападнославянские племена первыми столкнулись со скифами-иранцами к северу от Карпат, потому что первыми из славян начали переваливать через Карпаты. Ляхами (то есть 'новоселами-целинниками') прозвали сначала прапольское население Малопольши, согласно еще Малэцкому у Ростафинского (22, p. 110), хотя сам Ростафинский мыслил прародину славян в центральной России. Устойчивость древних представлений об ареалах порой удивительна, и русская летопись оставляет Святополка Окаянного пробежать всю польскую землю, прежде чем достичь "ляхов" и там, "межю Чахы и Ляхы", окончить "живот свой". Таким образом, не сразу воссоздалась непротиворечивая историческая картина миграции прапольских славян через Карпаты, с юга на север, повторяю, – непротиворечивая уже с точки зрения ряда дисциплин. А что же восточные славяне, или их предки? Благодаря коллективным "Vorarbeiten" славистов разных стран, результаты которых были осмыслены автором этих строк тоже далеко не сразу, можно постепенно подойти к ответу и на этот вопрос. Лишь сейчас я мог бы утверждать с определенной вероятностью, что наши протопредки, прежде чем стать для письменной истории "самыми восточными", долго медлили, эта медлительность так и осталась, видно, у них в крови. Уже празападные славяне давно излились из Паннонии на север, а их более восточные родичи, похоже, все медлили в своем пребывании в Семиградье и Банате. Часть из них уже начала просачиваться через Дунай на юг (см. выше), часть оставалась на насиженных местах, как это совершенно естественно бывает в жиз-

ни, а основная масса потом все-таки поднялась и была вовлечена в свой поход на восток, и, казалось, не было предела этому походу. Мы и не пойдем до крайних пределов этой восточной русской миграции, которая задевает уже новое время. Мы остановим свое изложение на Дону, откуда – с Верхнего Дона (?) – отправил праславян в гипотетическую миграцию на запад за два с половиной тысячелетия до н.э. Збигнев Голомб (14, p. 297, 298, 415). "Единственным слабым местом в этой гипотезе, включающей бассейн Верхнего Дона в прародину славян, – полагает Голомб (14, p. 298), – является гидронимия этого региона. Насколько мне известно, до сих пор нет этимологических исследований названий рек бассейна Верхнего Дона..." (приводит, далее, оттуда ряд гидронимов, претендующих, по его мнению, на праславянскую принадлежность: *Красивая Меча, Быстрая Сосна, Воронеж, Тихая Сосна, Осеред, Битюг, Черная Калитва, Хопер, Медведица, Иловля*). За вычетом отдельных неудачных примеров (*Битюг*), Голомб совершенно справедливо обратил внимание на праславянскость значительной части донской гидронимии. В одном с ним придется решительно разойтись: такое количество славянских названий-эндемиков древнего вида, как на этом Юго-Востоке Древней Руси (*Идолга, Излегоща, Калитва, Меча, Непрядва, Обиток, Плота, Толотый*) едва ли можно было ожидать от центра или начального ареала экспансии. Дело в том, что перед нами периферия и притом периферия сугубая: это устойчивый ранний рубеж, куда русские славяне и славяне вообще уже довольно давно дошли в своем движении на восток*.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Thomas H.L.* The Indo-European Problem: Complexities of the Archaeological Evidence // The Journal of Indo-European Studies, vol. 20, 1–2, 1992. P. 1.
2. *Mańczak W.* Krytyka etnogenetycznej koncepcji L'udovíta Nováka // Z polskich studiów slawistycznych, seria 8 (= Językoznawstwo. Prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratysławie 1993). Warszawa, 1992. S. 148.
3. *Мартынов В.В., Широков О.С.* [Рец. на кн.:] Откупщиков Ю.В. Догреческий субстрат // Вопросы языкознания 1992. № 1. С. 148.
4. *Трубачев О.Н.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.
5. *Boba I.* Conversion of Vladimir and Moraviana in Medieval Sources from Russia // Die Slawischen Sprachen. Bd. 19, 1989. S. 23 (ни Паннония, ни Иллирия не простираются севернее Дуная, поэтому градъ Морава в Житии Мефодия расположен на юг от Дуная).
6. *Boba I.* In Defense of Emperor Constantine Porphyrogenetus. A Review Article // Die Slawischen Sprachen. Bd. 32. 1993.

---

* Этой гидронимии и этих вопросов я касаюсь в своей новой малотиражной книжечке "К истокам Руси (наблюдения лингвиста)" (М., 1993), а также в новом издании книги "В поисках единства (взгляд филолога на проблему истоков Руси"). М., 1997.

7. *Birkfellner I.* Methodius archiepiscopus Superioris Moraviae oder Anmerkungen über die historisch-geographische Lage Altmährens (Vorläufige Stellungnahme zu jüngsten hyperkritischen Lokalisierungsversuchen) // Leben und Werk der byzantinischen Slavenapostel Melhodios und Kyrillos. Beiträge eines Symposions der Griechisch-deutschen Initiative Würzburg... hrsg. von Evangelos Konstantinou. Münsterschwarzach, 1991. S. 33ff.
8. *Popowska-Taborska H.* Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka. Wrocław, etc. 1991. S. 6–7.
9. *Poulík J.* K otázce vzniku předvelkomoravských hradišt // Slovenská archeológia XXXVI–1,1988.
10. *Schelesniker H.* Slavisch und Indoeuropäisch // Studia Slavica Hung. 36/1, 1990.
11. *Schelesniker H.* Slavisch und Indogermanisch. Der Weg des Slavischen zur sprachlichen Eigenständigkeit // Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Vorträge und kleinere Schriften 48, Innsbruck, 1991.
12. *Udolph J.* Die Stellung der Gewässernamen Polens innerhalb der alteuropäischen Hydronymie. Heidelberg, 1990.
13. *Трубачев О.Н.* Этногенез и культура древнейших славян // Palaeoslavica I/1993 (Cambridge, Mass.).
14. *Gołąb Z.* The Origins of the Slavs. A Linguist's View. Columbus, Ohio. 1991 (1992).
15. *Bezlaj F.* Blišč in beda slovenskega jezika (= F.B. Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana, 1967 [перепеч. в: Die Slawischen Sprachen, Bd. 27, 1991]).
16. *Puşcariu S.* Die rumänische Sprache. Leipzig, 1943.
17. *Tyszkiewicz L.A.* Przyczyny i początki pierwszej migracji Słowian nad Dolny Dunaj // Z polskich studiów slawistycznych, seria VIII (= Literaturoznawstwo. folklorystyka, problematyka historyczna. Prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratysławie 1993). Warszawa, 1992.
18. *Трубачев О.Н.* О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи) // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. (София, сентябрь 1963). М., 1963.
19. *Mańczak W.* Rzekoma naddunajska praojczyzna Słowian // Sprach- und Kulturkontakte im Polnischen. Gesammelte Aufsätze für A. de Vincenz zum 65. Geburtstag, hrsg. von I. Hentschel [et al.] (= *Specimina philologiae slavicae.* Supplementband 23). München, 1987.
20. *Moszyński L.* Zagadnienie wpływow celtyckich na starosłowiańską teonimię // Z polskich studiow slawistycznych. Seria 8. (= Językoznawstwo. Prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratysławie 1993). Warszawa, 1992.
21. *Moszyński L.* Kierunki zmian semantycznych prasłowiańskich apelatywów określających przedchrześcijańskich czarowników // Philologia slavica. К 70-летию акад. Н.И. Толстого. М., 1993.
22. *Rostafiński J.* O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach (Les demeures primitives des Slaves et leur économie rurale dans les temps prehistoriques) // Bulletin de l'Académie des sciences de Cracovie (Résumés), 1908.
23. *Friedrich P.* Proto-Indo-European Trees. The Arboreal System of a Prehistoric People. Chicago and London, 1970.
24. *Schachmatov A.* Slavische Wörter für Epheu // Festschrift V. Thomsen zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres am 25. Januar 1912. Leipzig, 1912.

25. *Куркина Л.В.* Диалектная структура праславянского языка по данным южнославянской лексики. Ljubljana, 1992.
26. *Михаила Г.* Изучение старославянско-румынских языковых отношений на современном этапе // Polono-Slavica Varsoviensia. Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe. Materiały z I konferencji komisji kontaktów językowych przy Międzynarodowym komitecie slawistów. Warszawa. 12–13. VI. 1990. Red. J. Siatkowski [et al.]. Warszawa, 1992.
27. *Petrovici E.* Graiul Caraşovenilor. Studiu de dialectologie slavă meridională. Bucureşti, 1935.
28. *Ивић П.* Српски народ и његов језик. 2 изд. Београд, 1986.
29. *Popović I.* Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960.
30. *Ivić P.* Die serbokroatischen Dialekte. Ihre Struktur und Entwicklung, 1. Bd. Allgemeines und die Stokavische Dialektgruppe. 's-Gravenhage, 1958.
31. *Reichenkron G.* Der rumänische Sprachatlas und seine Bedeutung für Slavistik // Zeitschrift für slavische Philologie. Bd. XVII. H. 1. 1940.
32. *Зоговиќ С., Караџоски В.* Историски модел на заедничките дејствија на индоевропејците и староседелците во Прилепскиот крај (од III милениум п. н. е. до хеленистичниот период) // Зб. Тр. ДНУ (Друштво за наука и уметност) 8. Прилеп, 1990.
33. *Reczek Józef.* Najstarsze słowiańsko-irańskie stosunki językowe // J. Reczek. Polszczyzna i inne języki w perspektywie porównawczej. Wrocław etc., 1991.

Palaeoslavica V (1997). P. 5–29

SLAVICA DANUBIANA CONTINUATA (ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗЫСКАНИЙ О ДРЕВНИХ СЛАВЯНАХ НА ДУНАЕ)

О среднедунайской прародине славян мне приходится говорить на Среднем Дунае уже в третий раз: в первый раз это было на братиславском съезде славистов 1993 г., во второй – на выездном заседании в Будапеште в октябре 1995 г. и вот теперь, как бы спустившись вниз по Дунаю, но все еще оставаясь в среднем течении великой реки – до Железных ворот, здесь, в гостеприимной Югославии, в братской Сербии (в печатном виде я, правда, уже говорил об этих вещах здесь, хоть и кратко и суммарно: О.Н. Трубачев. *Славяне: язык и история – как основа этногенеза.* Опыт автореферата. – Јужнословенски филолог LI. Београд, 1995, с. 291–304). Все это настраивает немного на торжественный лад, хотя, помнится, на предложение выступить о дунайской прародине славян в Будапеште на Дунае я отреагировал шуткой, вспомнив изречение древних "Hic Rhodus, hic salta!" (Здесь Родос, здесь прыгай!), то есть применительно к моему случаю это можно было понимать так примерно: "Здесь

Средний Дунай, здесь изволь обосновать, доказать свою теорию о среднедунайской прародине славян"...

Но шутки – шутками, а речь идет о предмете серьезном и достойном внимания, с наличием, как в каждом деле, своих плюсов и минусов. Я продолжаю так думать и после некоторых, порой – неласковых, рецензий. Перед моими рецензентами стояла нелегкая задача, на них давила немалая негативная инерция, накопившаяся в науке по вопросу о славянах на Среднем Дунае. Именно так я мог бы объяснить, почему и у самых доброжелательных рецензентов плюсы оказываются как бы приглушенными, а минусы скорее акцентируются. Несколько слов поэтому – о состоянии вопроса в научной печати.

Некоторое время тому назад мои оппоненты могли, как они считают, высказываться о моей концепции в том духе, что "никто так не думает, он один так думает" [1, с. 31], что, впрочем, не было точно и тогда: не будем забывать о тени великого Шафарика, и те, кто судили о деле адекватнее, называли это возвратом Трубачева к теории Шафарика (при этом, надеюсь, понятно, что "возврат" только тогда имеет свой raison d'être, когда использованы достижения науки спустя полтора столетия после *Славянских древностей* П.Й. Шафарика). Однако феномен "одиночества" Трубачева чем-то оказался привлекательным, о нем упоминают рецензенты и те, кто пишет по проблеме. Дуня Брозович-Рончевич в своем отзыве на мою книгу *Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования* 1991 г. высказывается, например, что "автор ... в своих утверждениях в основном остался одинок" (u svojim uvjerenjima uglavnom ostao osamljen) [12, с. 143]. Словацкий историк Авенариус, констатируя, с одной стороны, что "теория О.Н. Трубачева оживила с лингвистической точки зрения старую автохтонную теорию, сторонники которой искали первоначальные поселения славян в Среднем Подунавье", с другой стороны, говорит о том, что "теория Трубачева не нашла в историографии адекватной реакции и не стала импульсом для возможной попытки по-новому интерпретировать важнейшие исторические данные" [3, с. 27].

Правда, это было напечатано, а тем более – написано уже три-четыре года назад, а за эти последние годы по моим наблюдениям кое-что все же изменилось в обсуждаемом вопросе, в его оценке. Не исключено, что перед нами один из случаев, про которые чехи говорят: to chce čas (приблизительный перевод – "потребуется время, чтобы *это* пришло"). В течение последнего года я наблюдал примеры того, что такие изменения возможны, притом – на достаточно серьезном уровне. Прошлой осенью в Будапеште после моего затянувшегося доклада председательствовавший проф. Б. Хроповский, бывший директор Археологического института в Нитре (Словакия), сказал мне буквально следующее: "ja som zmenil svoje názory" (я изменил свои взгляды). Насколько я знаю, прежние názory Хроповско-

го – это добротно традиционная концепция вторичного прихода на Дунай славянства, этноса молодого и позднего, то есть то, с чем я активно спорил все последние годы моей жизни и словарной работы. Другой известный мне пример – книжная новинка, с которой я ознакомился этим летом. Автор, молодой словацкий археолог П. Мачала, выпустил книгу *Этногенез славян в археологии* [4], в которой *прямо сомневается в приходе славян из-за Карпат*, а славянскую ручную керамику связывает с эволюцией (упадком) провинциально-римской культуры. Интересно, что в последнем примере говорить о каком-то прямом влиянии моих работ не приходится, их Мачала не приводит (или не знает), дает только, да и то – по Седову, мою карту центральноевропейского культурного района.

На некоторое время отложим обзор рецензий на мою книгу по этногенезу славян для того, чтобы кратко уделить внимание определенной эволюции феномена дунайской прародины в науке 80–90-х годов. От полного отрицания, похоже, перешли к более сложному осмыслению. Для Людовита Новака, например, это "вторая прародина" славян, которые будто бы пришли на Дунай с аварами и под аварским начальством. Настойчивое стремление примирить концепции дунайской прародины и висло-одерской прародины славян демонстрирует нам целый ряд ученых, среди них – уже упомянутый нами Авенариус, как, впрочем, и Мачала. Здесь есть существенные нюансы: для Авенариуса "славянские поселения здесь (в Паннонии. – *О.Т.*) не автохтонны, но они очень давние, идущие с гуннских времен" [3, с. 39], в то время как Мачала согласен смотреть на остальные теории прародины славян (висло-одерскую и среднеднепровскую) только из дунайской ретроспективы. Определенные варианты притока древних славян в польские земли с дунайского Юга обдумывает польский археолог Парчевский [5]. Остается вспомнить, что покойный польский археолог В. Хенсель высказывал предположение о приходе с Дуная неких "недооформленных праславян" на север от Карпат, где им предстояло "дооформляться", признавая одновременно (уже в начале 80-х годов!) начало возрождения теории дунайской прародины славян и выражая усилия продуктивно объединить это начало с более привычными направлениями и взглядами прежде всего в польской науке. Об этом можно прочесть и в моей книге по этногенезу славян. В целом надо признать, что, несмотря на прежнее пока преобладание сакраментального тезиса "к северу от Карпат" в теориях славянской прародины, именно южный фланг, например, висло-одерской концепции остается наименее продуманным, а следовательно, наиболее уязвимым и открытым уточнениям, в том числе фундаментальным.

Для меня искомая дунайская прародина – это не "вторая прародина" славян, а изначальная славянская родина. К такому убеждению я пришел в течение ряда лет, опираясь, как мне кажется, не на умозрительные выводы (хотя умозрительность в таких вещах до

конца исключать нельзя), а на материал – этимологии, изоглоссы, лингвистическую географию. К положениям и наблюдениям, уже опубликованным ранее, я добавил некоторые новые факты и соображения, сосредоточившись на некоторых тезисах, по моему мнению, доказательных для предлагаемой теории.

Я начну с того, что я называю "аргументом Моравы". В моих глазах этот аргумент необычайно нагляден, красноречив и безукоризнен в плане лингвистической географии. Дело в том, что среднедунайский гидроним *Morava* ярко эндемичен: он распространен, в сущности, только здесь. Я имею в виду левобережный дунайский приток *Morava*, по которому сейчас пролегает граница между Чешской и Словацкой республиками, и южную Мораву, впадающую в Дунай справа уже в Сербии. Все остальные случаи *Morava* (а они есть в Польше, на юг – вплоть до Албании) *происходят со Среднего Дуная и только отсюда*. Вряд ли один этот единственный аргумент, наглядно говорящий о славянском исходе с Дуная, смогли бы правдоподобно истолковать противники дунайской теории славянского этногенеза. Со Средним Дунаем неразрывно связывают славянское *Morava* его эволюционные, преемственные отношения к индоевропейскому *Marus*, засвидетельствованной с античных времен форме названия той же самой реки (на явно вторичной древней форме названия южной Моравы – *Margus* – здесь не будем останавливаться). Распространение речного названия *Morava* к северу от Карпат с его бесспорно южным, дунайским происхождением совершенно очевидно не может объяснить новейшая немецкая ономастическая школа (В.П. Шмид, Ю. Удольф в Геттингене): об этом гидрониме, *который нельзя объяснить из балтийского*, эти ученые предпочитают умалчивать. Такие контрольные в моем представлении случаи, как *Morava*, тем паче не способна адекватно объяснить и концепция миграции славян на Запад с Востока, с Русской равнины, развернутая Збигневом Голомбом в ряде публикаций и в большой книге [6]. Динамику внутри дунайского ареала – я имею в виду отношения чешско-словацкой Моравы и Моравы сербской на юге – помогает прояснить употребление названия *Великая Моравия*, Μεγάλη Μοραβία у Константина Багрянородного. Византийский император не только впервые приводит это выражение, но и совершенно точно называет местоположение Великой Моравии – к югу от "турков" (так он именует в X веке венгров!). Тут двух мнений быть не может: ясно, что была (она есть и теперь) страна, область Morava, Моравия, одноименная реке, на дунайском левобережье (детали здесь опускаю, это можно прочесть у меня в книге *Этногенез*...), и другая – Великая – Моравия на славянском Юге. Здесь много сделал для прояснения американский историк-славист Имре Боба, опирающийся на правильное прочтение Константина Багрянородного, и мы должны быть признательны ему за этот филологически корректный вклад. Правда, в дальнейшем моя интерпретация

Великой Моравии расходится с Имре Бобой – не "ранняя, первоначальная", а '*вторично освоенная*' Моравия, ибо тут, как я считаю, находит выражение *лингвистическая типология называния* (аналогии: *Великая Греция, Великороссия, Wielkopolska, Великобритания*, и я достаточно писал об этом, чтобы тут не повторяться). Важна для нас, повторяю, внутридунайская динамика: из Моравии чешско-словацкой славянами была, по-видимому, колонизована Великая Моравия в Славонии, междуречье Савы и Дравы и Среме. Культурно-исторически важные факты, имеющие сюда прямое отношение и, по-видимому, ложно ассоциировавшиеся научной традицией с чешской Моравией (св. Мефодий как преемник св. Андроника, сремского епископа, и др.) критически уже интерпретировал И. Боба. Их отношение, их значение для решения еще шафариковской проблемы происхождения и родины глаголитизма, для понимания "темных веков" зарождения письменности у сербов и хорватов трудно переоценить. И если другой мой рецензент, Хенрик Бирнбаум, продолжает не верить в Великую Моравию на юге, ему можно посочувствовать: он не видит очевидного ни в плане филологии, ни в плане лингвистической типологии [7].

В сущности аналогичную с Моравой ситуацию можно было бы констатировать и в отношении названия реки *Дунай*, все известные случаи которого во всех ветвях славянства восходят к среднедунайскому прототипу. Иноязычная (кельтско-германская) этимология слав. **Dunajь, *Dunavь* известна, но это явно недостаточный резон для того, чтобы считать, что, например, мотив Дуная дошел до восточных славян "posredstvom germanskih susjeda, kao i samo ime" [2, с. 147]. Мы, конечно, не знаем готско-гепидских песен о Дунае, они до нас просто не дошли, но степень интимности образов и мотивов Дуная, характерная для русских народных песен, едва ли вообще сравнима с чем-нибудь аналогичным и едва ли объяснима чужим заимствованием. Достаточно полистать собрание народных песен П.В. Киреевского, где на Дунай ходят по воду, в нем мочат холсты, почтительно величают его на чисто русский манер "по батюшке" *Дунай, сын Иванович*, более того – смешивают его в своих представлениях с Доном ("За Доном, за Доном, За тихим Дунаем", "С Дону, с Дону..., с-за Дунаю!"), ср. и [8]. Как раз смешение Дуная с Днепром отсутствует, а оно полнее бы подошло для представлений лингвистов и историков об отношениях, скажем, готов и антов, где-то в междуречье Днестра и Днепра первых веков нашей эры. Конечно, Морава и Дунай – несопоставимые гидрообъекты и, если угодно, культурные категории. Это видно и по отражению в этнической памяти, которой по-настоящему удостоился у славян, особенно у русских славян, только Дунай, если не задерживаться на полумифической "Стране Муравии" Александра Твардовского.

Таким образом, нас не может не занимать феномен *этнической памяти* как весьма стойкого, пусть и преломленного отражения

особо значительных событий в исторической жизни этноса, имея в виду, что временна́я дистанция между вероятной датой события и его фиксацией в этой памяти может смущать наших позитивистски настроенных исследователей. На адекватном, как кажется, осмыслении феномена этнической памяти основана наша реконструкция эпизода древних кельтско-славянских отношений в Подунавье, развивающая мысль Шафарика и основанная на прочтении рассказа о волохах древнерусской Повести временных лет. В этом обычно принято сомневаться, причем апеллируют к более новому значению слова *волох* и его соответствий в славянских языках, в которых оно обозначает разных романцев -- румын или итальянцев, как в польском. Но следует иметь в виду, что это значение слова исторически вторично, непервоначально. Слово восходит к кельтскому племенному названию *Volcae* (у Цезаря) через германское языковое сито, а в германском его следы засвидетельствованы также в значении 'кельт'; просто кельтов давно не стало в Центральной Европе, и их место заняли романские народы. Но Повесть временных лет хранит память именно о кельтах. Все остальное невероятно и не выдерживает критики – ни филологической, ни исторической. Волохи в Повести временных лет изображаются как большая политическая и военная сила; они "нашли" на славян и "насилили" им. Таких римско-славянских конфликтов ни история, ни археология не знает, поэтому идентификация волохов и римлян неосновательна. Совершенно невозможно представить в роли летописных волохов исторических волохов, восточных романцев, которые бродили горными пастушескими тропами Балкан и Карпат и со славянами, земледельцами и жителями долин, практически не пересекались, не говоря уж о нашествии, насилии и вытеснении славян. И последнее, что уж никак не может быть всерьез принято, это понимание волохов ПВЛ как "попов-латинян" (!), предложенное автором еще одной, надо сказать, трудолюбивой рецензии на мою книгу [9, с. 216]. Трудно себе представить в то отдаленное время таких "латинских попов", от которых дунайские славяне в массовом порядке бежали на Вислу... А Повесть временных лет упоминает миграцию славян именно в этом направлении, и она ни с чем другим не связывается сколько-нибудь вероятно, кроме как с исторически достоверной экспансией кельтов еще до Рождества Христова. Культурные кельтизмы проникли вслед за уходящими славянами и в Южную Польшу, и на Правобережную Украину. Все это запомнилось. Таким образом, был дан толчок славянским миграциям; вполне возможно, что были и другие толчки. Путь этих миграций (если иметь в виду предков западных и восточных славян) пролег на Север (на Вислу) и далее на Восток, то есть иначе, чем представляют это обычно. Дальше мы еще коснемся некоторых других древних следов этих миграций. Здесь же еще только два слова о том, как кельтизм вольков-волохов преобразовался в кельтизм невров (нервов), которые, прежде чем раствори-

ся без остатка в карпатской зоне, передали ей свой культ волка (или их тотемный культ, ср. этноним *Volcae*, приложился к туземным восточнокарпатским культам вурдалачества, ликантропии, применительно к неврам это культ, живописуемый Геродотом, далее, сюда же некие местные *Lupiones Sarmate* в "Tabula Peutingeriana", неудачно эмендируемые ученой мыслью в *Lugiones*, и так далее, вплоть до современных румынских суеверий вокруг волка).

Первоначальный придунайский ареал все же постепенно уточняется, причем делается это современными научными способами выявления характерных славянских языковых, фонетических особенностей. Одновременно немаловажно отметить, что эти особенности зафиксированы не в центре предполагаемого славянского дунайского ареала, а как бы на его периферихях. Об одном таком важном случае трактовки местного иноязычного *ō* как славянского *a* не только в др.-русск. *нарци* Повести временных лет (*Нарци еже суть словѣне*), но и в племенном названии *Sclavus Nara*, которое передает средствами праславянского вокализма неславянское этническое название, дошедшее до нас в латинской форме *Noricum* и упрямо отсылает нас к местным норикским славянам, я уже писал [10, с. 4–5]. *Noricum* – область, примыкающая к Паннонии с запада, говоря современным языком, – к западу от Вены. В плане хронологии эпитафия VI в., где упомянут *Sclavus Nara*, *повествует о событиях* IV в., что само по себе немаловажно для абсолютных датировок местного славянства. В научной литературе справедливо указывалось, что выявление случаев подобной славянской трактовки представляет даже бóльшую важность, чем прямые свидетельства так называемой "славянской ономастики" (как, например, в нашем случае отражения праславянского **konotopъ* в венгерском *Kanyapta* или передача с помощью слав. **boltьnъ* / венг. *Balaton* иноязычного, иллирийского *Pannona*). Дальнейшее изучение таких структурных преобразований в славянском духе местного неславянского языкового материала возможно и для других частей интересующего нас ареала, ср. местные названия *Sisopa* и *Sor-opa* (эмендировано из *Soroga*) в античной номенклатуре междуречья Савы и Дравы (Птолемей, II век н.э.), второй компонент которых *-opa* убедительно объясняется из местного (субстратного или адстратного) **apa* 'вода', *но только при наличии стадии славянской (праславянской) обработки a > o, возможно, уже в I в. н.э.* [II, с. 4 и сл.]. К форме *Sisopa* и ее полному прочтению мы обратимся специально ниже. Что же касается римской провинции Норик, то ее отнесение к прародине славян дебатируется теперь даже историком [3. с. 31], при всей характерной в первую очередь для историков позитивистской склонности держаться рамок написанного в источниках.

Недостаточное внимание древних к этническим различиям населявших римский лимес народов, породившее иллюзию "внезапного" появления, прихода славян, нуждается в компетентной критике со

стороны типологически ориентированной науки. Еще Шафарик правильно оценил недостаточность аргумента "молчания" древних источников о славянах. Этот случай вообще отнюдь не единичен: еще дольше источники, например, молчали о таких несомненных автохтонах Балкан, как албанцы и румыны. Достаточно гибкое исследование вправе прислушиваться к *косвенным доводам противного*, каково, в частности, *отсутствие* четких сведений (преданий, традиций) *о приходе славян на Дунай извне*, ср., впрочем, довольно противоречиво [12].

Оппозиция *центра* и *периферии* ареала, бегло затронутая выше, будет занимать нас и в дальнейшем. Принадлежа к арсеналу категорий современной науки в различных ее разделах (здесь достаточно назвать лингвистическую географию и типологию), эта оппозиция облегчает понимание специфики славянского развития, в частности – обстоятельств возникновения самоназвания *славяне*, **slověne*, его этимологию как 'понятно говорящие'. Объективно понять возникновение *такого* названия *именно на периферии славянского ареала* и притом – названия несомненно исконного, эндогенного оказывается затруднительным для лингвистов, привыкших мыслить старыми категориями, греша одновременно явной нехваткой элементарного историзма. Примеры первоначальной периферийности самоназвания *славяне* в общем достаточно известны (альпийские *словенцы*, прибалтийские *словинцы*, новгородские *словене*, так называемые "Склавинии" северных окраин Византийской империи), к ним могут быть добавлены относительно менее известные, ср. сюда *Sclavania* на Майне ранних средних веков (см. о ней [13]). Самоназвание и ареал словаков на первый взгляд не вызывают сомнений или, напротив, способны заронить сомнение в том, что утверждалось нами о периферийности имени **slověne*, к которому имя *словак*, словаки точно восходит: ведь ареал словацкого языка и народа является выразительно срединным. Но эта срединность словацкого ареала вторична, и в данном примере, как и в других известных, имя **slověne* означало *изначальную порубежность* местных славян по отношению к территориям севернее Карпат. Как можно было бы сказать в духе древних историков: *hic finis Slaviae*. Зато к дунайскому, прежде этнически славянскому, югу словацкий ареал как бы открыт, напоминая амфитеатр, сбегающий от Карпат к Дунаю (этим образом амфитеатра я обязан одной из бесед с Антонином Габовштяком).

Карпаты долгое время могли сохранять значение границы славянского ареала – к югу – и неславянского – к северу. Судя по географической номенклатуре, к северу от Карпат обитали не какие-то безликие индоевропейцы, а особые индоевропейские племена иллиро-венетской принадлежности, известные в науке еще под условным названием "третий этнос" (этническая прослойка, отделявшая одно время славян от германцев, а позднее исчезнувшая, ассимилирован-

ная, в результате чего германцы сблизились теснее со славянами, распространив на последних свой вариант названия венетов, ср. нем. *Weneden, Wenden, Winden*). Следы особого венетского этноса сохранились как с немецкой стороны (*Daleminze*, ср. *Delmatae* латинских источников), так и со славянской (*Śrem, Licicaviki*). Скепсис в отношении дославянской древности этих следов, например, на польской территории, малоуместен.

Новая (или обновленная) теория древнего славянского ареала на Дунае несет в себе определенный вызов или призыв (в смысле английского challenge) к модернизации наших научных представлений. Достаточно назвать проблему реальной *древнедиалектной сложности* этого исходного славянского пространства. Исповедоваемый нами постулат диалектной сложности любого праязыка в данном случае до некоторой степени дополняется следами наличия разных диалектных славянских групп, еще различимыми сейчас и предположительно относимыми к тому отдаленному времени. В частности, мы считаем вполне допустимым прибегнуть к дебатировавшимся одно время в науке понятиям *паннонско-славянский* и *дакославянский*. Возможно, еще сохраняются резервы реконструкции конкретного языкового наполнения обоих этих понятий. Говоря несколько упрощенно, имеется в виду выявление *следов древнего пребывания в дунайском регионе также неюжных славян*. При этом кажется оправданным некоторое отождествление паннонско-славянских элементов как *празападнославянских*. Примеры: античное название Большого Балатона (кстати, плесообразно вытянутого) *Pelso* (lacus Pelsonis, Плиний, другие написания менее авторитетны), ср. словацкое (татранское) *ples, pleso* в названиях *озер*; эпиграфическое (первых веков н.э.) *deo Dobrati*, посвящение "богу доброты" в античном городе Intercisa (на Дунае), к которому мы еще рассчитываем потом вернуться, ср. только западнославянский морфологический вариант **dobrotь* (можно справиться в нашем *Этимологическом словаре славянских языков*, s.v.), при инославянском **dobrota*; *stravarn* (Иордан. Getica), о поминках по Аттиле, скорее всего продолжает западнославянское **jьztrava* 'корм(ление)', а некоторые хронологические возражения и сомнения [14, с. 166] могут быть ослаблены соображениями межъязыковой передачи, о чем я уже писал в другом месте. В свою очередь, *дакославянский* на востоке изучаемого пространства все больше вызывает ассоциации с *правосточнославянским*. К нему может быть возведен ряд лексических "окаменелостей", не имеющих базы в южнославянском и осевших в румынском языке и его диалектах, о чем я уже писал, отчасти опираясь на предшественников, в своем докладе на братиславском съезде славистов. Также уже относительно давно обращено внимание на особый, дакославянский с восточнославянскими связями, языковой статус островного говора крашован (карашевцев) в румынском Банате.

Таким образом, складывается вероятная картина наличия древних совокупных славян на Дунае от Нижней Австрии до Трансильвании и Баната. И по-прежнему остается неопределенной южная граница славянского дунайского ареала, к чему мы еще будем, по-видимому, возвращаться. А, может быть, этой южной границы в настоящем смысле не было? (Тем более, что вообще вряд ли верно переносить в древность современное стереотипное понимание границы как таковой).

Что же касается *диалектной сложности исходного славянского ареала на Среднем Дунае,* представляется целесообразным настаивать на совершенной новизне этой проблемы в науке, как и на том, что с ее постановкой открываются новые возможности объяснения неюжнославянских топонимов Греции, до сих пор попросту отсутствовавшие. Я имею в виду реальность истолкования топонимов частично западнославянского, частично – восточнославянского вида Κονίσπολις, Ὄζερος, Ζγκάρι, Τολπίτσα, Μπαλαμούτι, Πολοβίτσα [15, passim] как принесенных с Дуная, при всех возможных уточнениях критики, ср., напр., указание Александра Ломы на соответствие греч. Κονίσπολις, помимо польск. *Koniecpol,* также в южнославянском – старосербском названии жупы в восточной Герцеговине *Конац-поље* [9, с. 220].

Разумеется, эти новшества несут с собой дальнейшие детализации и усложнения во взглядах на изучаемый предмет. Не удовлетворяясь общей констатацией вторичного распространения славянского элемента к северу от Карпат, мы вправе стремиться получить ответ на вопрос о том, *как это было*, я имею в виду стратификацию или *относительную (релятивную) хронологизацию центробежных славянских отселений (миграций) с Дуная.* Возможно, празападнославянские племена первыми начали переваливать через Карпаты на север. Следствием этого был не только упомянутый выше их этноязыковой контакт с (иллиро)венетами висло-одерского бассейна, но и сохраняющее в наших глазах датирующее значение общение с иранцами-скифами. В археологии реконструируется глубокий рейд скифов на территорию Лужицы на основе находки там клада скифских вещей как следствие похода персидского царя Дария против скифов в Северное Причерноморье в 512 г. до н.э., каковым временем и хронологизируют обычно скифские находки в Лужице. Сейчас можно думать, что скифское вторжение (или отступление) на будущую западнославянскую территорию было более значительным и протяженным во времени и пространстве. Во всяком случае никак иначе нельзя было бы объяснить лингвистический феномен, с которым я столкнулся как этимолог еще 30 лет назад, когда, между прочим, еще не знал о существовании скифского клада в Феттерсфельде, Лужица. Я обнаружил, как считаю и сейчас, целый ряд весьма древних лексических иранизмов, распространение которых ограничивалось исключительно (или почти исключительно) западносла-

вянским или даже только польским, почему я назвал эти элементы polono-iranica. До сих пор традиционно считалось, что иранские (скифские) влияния, распространяясь с востока на запад, прежде всего сказывались на восточной части славянства, то есть на восточнославянском. Очевидно, что пришло время рассмотреть такую диспозицию славяно-иранских отношений, *когда восточнославянский еще не распространился в своих пределах*. Мои лингвистически (этимологически) вполне корректные построения почему-то встретили довольно ревнивую реакцию со стороны польской этимологической школы, ср. хотя бы предостережение Ф. Славского, что якобы результаты моего исследования необходимо "использовать осторожно", далее – в том же духе отчасти – целую диссертацию Ю. Речека о древнейших славяно-иранских языковых отношениях [16, особенно с. 68 и сл.]. Правда, другая, тоже диссертационная, работа на ту же тему – словенки Вари Цветко-Орешник – оценивает мой вклад по части polono-iranica вполне положительно. Но необходимую широту взгляда в оценке этих этимологий проявил польско-американский славист Збигнев Голомб, ср. [6, с. 323]: "The credit for having called attention to such prehistorical Iranian loanwords in West Slavic belongs to Trubačev". Я намеренно не обременяю изложение подробностями этимологизации праслав. диал. (зап.-слав.) **gъpanъ*, **obačiti*, **patriti*, **šatriti* и других polono-iranica. Для меня, повторяю, самое важное здесь – это их датирующая сила, непротиворечиво, насколько я могу судить, согласующаяся с другими свидетельствами, вроде нижеследующего. Именно часть празападнославянских племен, будущих вислян и полян, то есть поляков, похоже, за свое первенство не только в преодолении Карпатских гор, но и в продолжении занятий привычным славянам земледелием на новом, необжитом месте получила прозвище **lędjane* 'новоселы, целинники' от **lęda* 'ляда, целинная, непаханная земля'. Древний, праславянский возраст этого обозначения удостоверяют хронология и семантика таких косвенных его продолжений, как запись Λενζανηνοι, Λενζενίνοι еще в середине X в. у Константина Багрянородного [17, с. 44, 156] и венг. *lengyel* 'поляк, польский'. От этого **lędjane*, никогда, кстати, поляками, о самих себе не употреблявшегося, произведено экспрессивное **lęxъ*, (др.-)русск. *лях*, лит. *leñkas* 'поляк'. После изложенных выше данных, которые, как мне кажется, трудно правдоподобно объяснить каким-то другим способом, можно предположить, что правосточнославянские племена стали распространяться к северу и северо-востоку позже, хотя, по-видимому, тоже давно. Обычно (восточно)славянская колонизация Восточной Европы датируется временем не ранее середины I тысячелетия н.э., но сейчас имеются данные, позволяющие говорить и о более глубоком, и о более раннем проникновении первых волн этого этноса, ср., напр., обнаружение нашими археологами именьковской культуры *первых веков нашей эры* в Среднем Поволжье, *с вещами провинциально-*

римского происхождения, с признаками явно западного происхождения всей культуры в целом, с характерным отсутствием сарматских влияний [18, с. 309, 313, 314].

Тем самым становится ясной *актуальность проблемы углубления (удревнения) традиционных славянских датировок.* Тезис о VI в. как terminus post quem появления славян не может быть спасен, как явствует по крайней мере из вышеизложенного, ни ссылками на "правила профессионализма" (? как если бы соблюдение таких правил налагало запрет на новые факты, новые мысли...), ни датировками археологической пражской культуры, ни твердой верой в абсолютность дат первых письменных упоминаний (Иордан, Прокопий), ни позитивистски прямолинейным принятием на веру духа и буквы этих римско-византийских рассказов, разумеется, враждебных и, как минимум, пристрастных. В спорах нашего времени о месте славян в Европе и об уровне славянской культуры оживленно дебатируется отношение той же пражской культуры и провинциальноримских культур. Коллеги-археологи из разных теоретических побуждений видят в относительной бедности и невысоком материальном уровне славянской культуры либо следствие кризиса социальных структур в Европе (Римской империи) с III в. н.э. (Мачала), либо вообще – zubożenie, обнищание (Годловский). Как все это мне лично напоминает старые уже взгляды Мейе на славянскую культуру как обнищавший вариант индоевропейской культуры. А может быть, на небогатую славянскую культуру разумнее посмотреть как на *архаичный вариант* индоевропейской культуры? [19, с. 321–322]. Кажется, что это уберегло бы от риска идти по следу ложносконструированной эволюции.

Отстаиваемую здесь теорию дунайской прародины славян делает современной то существенное обстоятельство, что эта теория основана *на рядах лингвистических соответствий, изоглосс.* Поэтому, когда автор самой обстоятельной и большой по объему рецензии на мою книгу *Этногенез...* [9] в сущности не коснулся индоевропейско-славянских изоглосс, на которых она построена (славяно-иранских/индоарийских, славяно-балтийских, славяно-италийских), это произвело впечатление парадокса. Работая с изоглоссами (а работа эта имеет немалую предысторию, включающую – как минимум – весь период подготовки *Этимологического словаря славянских языков*), я старался эшелонировать их хронологически, а также по характеру их свидетельств для славянского этно- и глоттогенеза. Так постепенно сложились представления о довольно высокой регулярности как бы "несоответствий", контр-изоглосс как характерной для славяно-балтийских отношений, с выводом о постэтногенетичности самих этих отношений, с их моделью языкового союза, наложившегося на относительно близкое языковое родство. Славяно-иранские и славяно-индоарийские языковые отношения с их тенденцией одностороннего влияния религиозной и другой лексики на

славянский тоже в общем постэтногенетичны (тип славянского языка уже сложился, однонаправленность языкового влияния прослеживается), и это поучительно в смысле иррелевантности VI в. н. э. с его "пражской культурой": уже около середины V в. до н.э., которым можно примерно датировать начало славяно-иранских контактов, славянский предстает как сложившийся языковой тип. Совсем другой характер носят древнейшие славяно-италийские соответствия (изоглоссы): контакт обеих сторон оказался возможен до II тысячелетия до н.э. (время ухода италийских племен из Центральной Европы на Апеннинский полуостров). Характерные признаки – отсутствие четкой односторонности влияния (заимствования), при несомненности наличия самих изоглосс. Показательна древность и фондовость семантики славяно-италийских изоглосс: информация о природе (широкие разливы воды с заболачиванием, низины), примитивное строительство, сельское хозяйство ('плоды, собранные рукой'), элементарные социальные отношения ('странноприимный хозяин'), элементарные правовые (этические) нормы ('дозволено', 'не дозволено' = 'грешно'), архаичная религия (молчаливое почитание, культ предков), но и начатки торговли. Такова содержательная сторона пар соответствий, формальная сторона которых говорит за себя: **pola voda – palūdem*, **volynь – uallis* [20, с. 14], **strojiti – struere*, **pojьmo – pōmum*, **gospodь – hospes/itis*, **basъ – fās*, **nebasъ – nefās*, **gověti – favēre*, **man- – mānēs*, **věno dati – uendō, -ere*, **věniti – ueneō, -īre*. Этимологическая достоверность этих соответствий, при замечательном отсутствии признаков заимствования с той или другой стороны делают этот материал весьма показательным в этногенетическом плане, во всяком случае не дают оснований оценивать его, как это счел возможным сделать Бирнбаум, назвав положение о славяно-латинских контактах III тысячелетия до н.э. "странным" и даже "нелепым" только потому, что латынь засвидетельствована только с VIII в. до н.э. в маленькой области на Тибре [7, p. 353]... Если до такой степени отрекаться от реконструкции дописьменных состояний, то лучше уж вообще не браться за проблематику этногенеза.

Обратившие на себя мое внимание перечисленные общеязыковые соответствия отнюдь не претендуют на исчерпанность. Когда я в свое время проводил обследование древней лексики ремесленного производства, там славяно-латинских соответствий оказалось еще больше, в связи с чем я позволю себе процитировать из того исследования заключительный вывод, тем более многозначительный, на мой взгляд, что задолго до того как у меня созрела уверенность в необходимости вернуться к дунайской прародине славян, этот тогдашний вывод констатирует "вероятность древней ориентации славян не на контакты с балтами, а на контакты с более западными индоевропейцами, языковое общение с которыми в области совместного терминотворчества столь велико и столь серьезно, что мы вынуждены допустить древнее существование центральноевропейского

культурного района, охватывавшего древние германские, италийские, славянские диалекты (или их часть) и не включавшего балтийских диалектов, общение с которыми могло наступить позднее" [21, с. 393].

Стойкий интерес к географической (лингвогеографической) проекции исследования при этом понятен. При свойстве именно периферий удерживать архаизмы наше внимание постоянно обращено на них, в том числе на эту южную, может быть, наиболее проблематичную из периферий дунайского ареала. Очевидное древнее наличие здесь неславянского индоевропейского этноса (вероятнее всего – иллирийского) не означает само по себе невозможность достаточно раннего пребывания здесь также славян, ранней инфильтрации их сюда, ранних отражений в местной ономастике, включая проявления двуязычности. Давно уже в основном признается, что туземное сельское население той части Воеводины V в. н.э., которую посетил византиец Приск, записавший здесь и "туземное" слово μέδος, по всей видимости, славянское *medъ* 'мед, в том числе хмельной мед' [14, с. 93] – что это здешнее население было к тому времени славянским. В местной ономастике можно встретить элементы, внешне близкие или тождественные славянским, но это трактуется обычно сдержанно, славянство остается недоказанным, и такая сдержанность в основном понятна, можно признать, что она – в интересах науки, во всяком случае – до известного предела. Внешне близкие имена вполне могут оказаться целиком неславянскими и дославянскими, существует положение, которое гласит, что Балканы именно потому быстро и по большей части без следа славянизировались, что дославянское население говорило на близком славянам языке (языках). В самом деле все эти *Cerna, Bersa/Berza* в составе местной ономастики вызывают, как минимум, мысль об амбивалентности, ведь абсолютно близкие названия черного цвета дерева березы есть и в славянском. То же можно сказать о местном элементе *Urb-* и его близости к славянскому названию дерева **vьrba*. В случаях, когда чисто корневая атрибуция может подвести, целесообразно обратить внимание на оформление корня (словоизменение, словообразование) – по крайней мере в тех случаях, где это, может быть, до сих пор не сделано с должной четкостью. Такой пример у нас – один, но он, возможно, заслуживает повторного обсуждения, не столько в смысле упомянутой амбивалентности корня, сколько в отношении следов флексии, которая могла отличаться у балканских индоевропейцев и славян более существенно, чем корневой репертуар имен. Речь идет о древнем названии значительного притока Савы, зафиксированном Плинием (Plin. NHIII, 25, 148) в виде *Urpanus/Urbanus*. Сразу отмечу, что считаю вариант *Urbanus* более авторитетным, чем форму с глухим *Urpanus*, которая могла бы отражать германскую (готско-гепидскую) передачу (объяснение в комментариях к изданию [14, с. 27] неубедительно). Современная форма на-

звания реки – *Vrbas*, и в литературе абсолютно господствует точка зрения о неславянском происхождении названия [22; 23: 24]. Между тем отношение форм *Vrbas* – *Urban-* (собственно говоря, *Vrban-*, так как в живом языке известна форма *Vrbańa*) носит славянский характер, причем парадигматический: окончание *-asъ* оформляет местный падеж от основ на *-an-* (> *-an-s-*). Речь идет о реликтовой и рецессивной форме loc. pl., которая засвидетельствована как таковая *только в старочешском* как беспредложное *Dol'as* 'в области долян', предложное *v Polas* 'у полян, среди полян': в остальных славянских от консонантных основ этого типа на *-an-* представлено более позднее окончание loc. pl. на *-хъ*, напр. др.-русск. *поляхъ* от *поляне*, ст.-серб. *Дѣчахь* 'в Дечанах' [25]. Ничего похожего на уверенную этимологизацию в неславянских толкованиях *Urbanus/Vrbas* я не встретил, притом, что по этому вопросу существует довольно обстоятельная литература. Не убеждает при этом и объяснение элемента *-s-* в *Vrbas* (из албанского?). Славянская атрибуция ставит все на свои места, начиная с ономасиологической мотивации (**vьrbane* 'жители ивовых низин': **vьrbasъ* 'у вербан, среди вербан', модель, вполне ожидаемая в топонимии) и кончая естественностью сохранения морфологического архаизма на периферии. Предлагаемые рассуждения находят косвенную поддержку в воспроизводимости парного отношения **vьrb(j)ane* – **vьrb(j)asъ/ *vьrb(j)axъ* на ономастическом уровне, ср. в словенской топонимии *Vrbljene*, наряду со стар. *Werbliach, Werblach*. диал. *U̯r̂bl'eńe, u̯ U̯r̂bl'anəh*, наряду с *u̯ Vrbljah* [26]. К тому же, отмечается, что **vьrba* принадлежит к числу наиболее употребительных славянских топонимических основ.

Вскользь упомянутые нами проявления двуязычности, в частности, на южной периферии древнего славянства, представляются весьма важными в плане изучения пограничных славянско-неславянских отношений, тем более, что известных случаев такого рода здесь на удивление мало. Из литературы припоминается в общем только *Mursa* / Μοῦρσα, название города у древних писателей, согласно мнению специалистов, – того, который сейчас называется *Ósijek*. При апеллативном значении последнего 'обрыв, крутой берег', оно могло бы оказаться глоссой, семантической калькой местного туземного – иллирийского – *mursa* 'яма' (как диалектное адстратное включение дожило до наших дней в греческом языке, в Эпире) [27, с. 891–892]. Правда, неясности остаются и тут, выдвигается значение 'болото' для иллир. *mursa*, ср. древний контекст lacus/stagnus *Mursianus*, а калькирование иллир. *Mursa* с помощью славянского *Ósijek* оговаривается реконструкцией корня *senk-* 'иссякать' в последнем (22, Bd. II, S. 81], хотя вокализм славянского имени скорее допускает праформу *-sěk-*. Я пользуюсь случаем, чтобы обратить здесь внимание на еще один случай древнего славянско-неславянского перевода (калькирования) в топонимии междуречья Савы и Дравы, а именно на местное название *Sisopa* у Птолемея. Это назва-

ние к югу от Савы, в непосредственной близости от Загреба, стало мне известно из работы загребского лингвиста, который толкует древний реликт из и.-е. **suei-/*sui-* 'шипеть', а все вместе как 'шипучая вода', будто бы обозначавшее местный минеральный источник [II, с. 5]. Я предложил бы, со своей стороны, другое толкование *Sisopa* – как сатэмный иллирийский рефлекс индоевропейского **k̂is-apā* 'по эту сторону реки (расположенный)', ср. родственный первый местоименный компонент в лат. *Cis*-padanus, oppositum к Transpadanus, далее, сюда же хеттское *Kizz*-uuatna 'за водой (местность на юг от реки Галис)'. В связи с этим можно поставить вопрос, не является ли славянский топоним *Za-greb* приблизительной калькой-переводом иллирийского *Sis-opa/*Sis-apa*. Общая конструкция 'за х (расположенный)' напоминает и, возможно, повторяет изначально смысл местного **Sis-apa*, а отличия – *greb-* с идеей, скорее, дамбы, гребли – понятны, если учесть, что низкий берег Савы со стороны города Загреба подвергался наводнениям. Предложенная мной этимология, кажется, лучше отвечает старой традиции Zagrabia, olim Sisopa, как ее передает, например, Белостенец (цит. по [II, с. 1]).

Если взглянуть на Средний Дунай с юга, то, кроме меридионального "венгерского" участка, значительные его отрезки простираются с запада на восток – так, что *левый* берег великой реки одновременно оказывается как бы *северным*. Это наблюдение было сделано до нас, во всяком случае больше тысячи лет назад некий аноним, обычно именуемый Баварским географом, оставил лаконичное, местами темное, но чрезвычайно важное для науки *Описание городов по северному берегу Дуная* (Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii, мы используем здесь чешское издание историков Б. Горака и Д. Травничека [28]). В этом Описании есть место, которое надо постоянно иметь в виду, занимаясь дунайской проблемой славян: Zeriuani, quod tantum est regnum, ut ex eo cunctae gentes Sclavorum exortae sint et originem, sicut affirmant, ducant 'Zeriuani – это такая область, из которой будто бы вышли все племена славян и ⟨откуда⟩, как утверждают, они ведут свое начало'. Наиболее вероятно мнение, что *Zeriuani* надо отождествлять (по крайней мере – по названию) с северянами древнерусской истории [28, с. 40], а форму *Zeriuani* допустимо считать испорченной записью, вместо более ясного *Zeuirani*. Сюда же, видимо, и некие *Zuireani*, упоминаемые в *Descriptio* рядом с бужанами – *Busani*. Нидерле, не веривший в дунайскую прародину славян, локализует *Zeriuani* в Прикарпатье [28, с. 39], с чем сейчас мы не можем согласиться. Напротив, нас привлекает мнение С. Закшевского, который обращает внимание на то, что сообщение о *Zeriuani* занимает особое место, в связи с чем и чешские издатели документа весьма внимательно реферируют эту позицию: "S. Zakrzewski hledá Zeriuani při Dunaji. Uvádí, že v oblasti při hranicích pozdějších Uher, Srbska a Bulharska leželo teritorium známé v uherských dokumentech jako *terra Zeurini* (vel *Banatus Szoereny*, albo

terra regalis Severinensis). V dřívějších dobách ... mohlo mít toto teritorium rozsáhlejší hranice. Na jeho území podle Zakrzewského mohlo být centrální území Slovanů ..." [28, с. 39]. Во всяком случае, переходя уже на язык лингвистики и лингвистической географии, для нас ясно, что название *Zeuirani* (*Zeriuani*), за которым стоит несомненно (пра)славянское **sěver(')ane*, – название ориентационное, оно естественнее звучит не в устах самих северян, а в устах тех, кто отселяется от них, углубляясь, скажем, к югу (вспомним негативный принцип топонимики В.А. Никонова). Так что область, которую занимали придунайские славянские **sěver(')ane*, отчасти совпадающая с румынским Банатом на среднедунайском левобережье, представляется одним из важных центров славянских миграций с Дуная, которые разнесли имя северян значительно шире, вместе с расширяющимся славянством. Свидетельство о среднедунайских северянах, как минимум на триста лет предшествующее тому, что написано в летописи Нестора, трудно переоценить, не говоря уж о том, что наши сведения о среднедунайской славянской этнонимии очень скудны. После сказанного ясно, что я считаю единственно возможной этимологическую связь племенного имени **sěver(')ane* с названием страны света **sěverъ, север,* не приемля, таким образом, этимологии З. Голомба от особого (и незасвидетельствованного) **sěvo-* < и.е. **k̂oi̯u̯o-* 'член семьи', при собирательном **sěverъ* типа *četvero*, etc. [29]. Наш польско-американский коллега ошибается, отрицая здесь связь с определенной территорией, эта связь как раз очевидна, взять хотя бы эту "повторительную" связь Северской земли с левобережьем Днепра, известную и Голомбу. Но об этом феномене повторительности – чуть ниже.

Вышеизложенный экстракт (или, как я недавно назвал это в другом месте, автореферат) моих продолжающихся занятий дунайскими древностями славян неизбежно мозаичен, поскольку содержит факты разных уровней языка – фонетики, морфологии, словообразования, лексики, а также лингвистической географии, хронологии, изоглосс и – не в последнюю очередь – культурной истории. Кажется, при этом не были забыты возможности современной науки с ее интересом к типологии. При широте и пестроте затронутых (порой – вынужденно бегло) проблем, нельзя отрицать, что все было подчинено одной главной цели. Думаю, что эту пестроту не усугубит еще одна личная информация на тему: в № 6 журнала "Вопросы языкознания" за 1996 г. предположительно появится моя статья *О 'рябчике', 'куропатке' и других лингвистических свидетелях славянской прародины и праэкологии*, где дана моя полемика с американским славистом Х. Андерсеном, который тоже (и там же) публикует свой *Взгляд на славянскую прародину*. Локализация этой прародины у американского коллеги вполне традиционна – к северу от Карпат, в лесной зоне; он полагает, что ему в этом помогают названия некоторых птиц. Поэтому я тоже решил "разобраться" с не-

которыми названиями птиц, не упустив случая расширить аргументацию в пользу своей концепции о славянах на Дунае и в целом – в относительно более южных широтах. Мой результат разошелся с выводами Андерсена: достаточно сказать, что по крайней мере двумя разносклоняемыми, архаичными основами на *-u/ъve* в языке праславян были представлены названия ярко выраженных *степных (а не лесных!) птиц*: кроме куропатки – **kuropъty/ъve*, это еще и **dropъty/ъve* 'дрофа Otis tarda'.

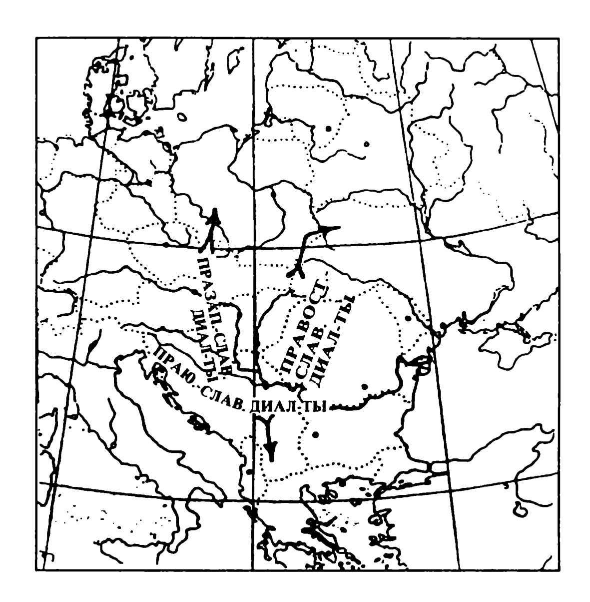
Мысль о древнем славянском исходе со Среднего Дуная – это великая идея без автора. На ее авторство, строго говоря, не претендуют ни наш Нестор летописец, ни средневековые хронисты, ни Павел Йозеф Шафарик, ни автор этих строк. Можно утверждать с уверенностью, что **она уже была до нас**, и одно это показывает серьезность дела. Даже отвергая ее, ученое сообщество все время вынуждено возвращаться к ней, и это также присуще великим идеям. Ускользающих доказательств и канонических сомнений вполне достаточно для тех, кто привык не верить, ибо, как сказал поэт, "...ничто по-настоящему достойное доказательства не может быть ни доказано, ни опровергнуто":

For nothing worthy proving can be proved,
Nor yet disproved (Tennyson).

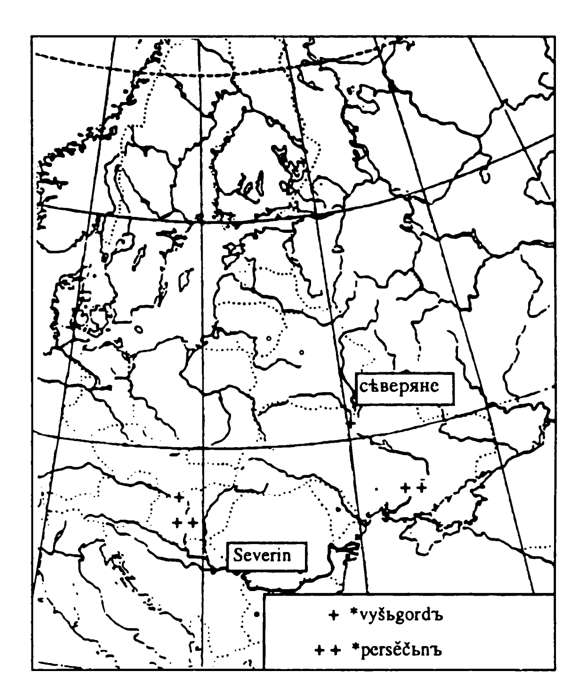
В наших возможностях, в возможностях нашей науки – бесконечно проверять фактологию означенной великой идеи. Больше того, это наш долг. В заключение приведу еще один лингвистический факт или группу таких фактов, обладающих культурно-историческим фоном. Идея городов на Дунае (вспомним уже упоминавшееся **Описание городов по северному берегу Дуная IX в**.) только на первый и поверхностный взгляд противостоит тому, что знают в науке о древних славянах. Высказывание того же Иордана – Hi paludes silvasque pro civitatibus habent 'у них болота и леса – вместо городов' – не следует воспринимать буквально, что обычно и делают историки-позитивисты. В этом высказывании прежде всего нашел выражение этот презрительный взгляд, бросаемый как бы сверху вниз римлянином или византийцем на славян. Но славяне имели понятие и еще индоевропейское название города. Просто это понятие не было у них так резко противопоставлено окружающей среде, в частности болоту. Ярким примером нейтрализации противопоставления 'болота' и 'города' может служить славянский *Блатьнъ градъ* у Малого Балатона, в Паннонии. Поэтому встает проблема славянских городов на Среднем Дунае и их возможных дальнейших реминисценций. Одна из них реализуется у Владимира Святого, христианизатора Киевской Руси, которому, по летописи, принадлежат слова: "се не добро, еже мало городъ около Кыева" (это нехорошо, что мало городов вокруг Киева). Один из древнейших таких городов, спутников Киева, назывался Вышьгородъ. Он стоял на правом, высоком берегу Днепра, и его древнее название еще сохра-

няет свою апеллативную прозрачность – 'более высокий город, замок'. Точно такое же название выступает и в топонимии других славян – *Wyszogród, Vyšehrad, Višegrad.* Нельзя не вспомнить при этом и *Visegrád* на высоком дунайском берегу, в Венгрии. Его скорее южнославянские звуковые особенности могут быть вторичным фонетическим продуктом (как и в *Блатьнъ градъ*?). Главное для нас здесь – его славянская принадлежность и дунайская, видимо, древняя локализация.

Visegrád и *Вышьгородъ* знают все и полагают, по-видимому, что тут представлен независимый параллелизм называния. Однако не всегда можно все свести к параллелизму. Значительно ниже по Днепру история знает город *Пересѣчьнъ.* Точно неизвестно, где был этот город. Поскольку это был город племени угличей, окончательно осевших потом в Поднестровье, его искали в Молдавии, но как будто безуспешно. К тому же, летопись, упомянув "единъ градъ именьмь *Пересѣчьнъ*", очень четко повествует: "Бѣша ⟨же⟩ сѣдяще Угличи по Дънѣпру вънизъ, и по семь преидоша межю Богъ и Дънѣстръ, и сѣдоша тамо". Удостоверившись, таким образом, что Пересечен находился, скорее всего, на Нижнем Днепре, и понимая в общем прозрачную **этимологию** этого древнерусского названия (от глагола *пересѣчи, пересѣкати*), мы по-прежнему не знаем его **этиологию,** причину возникновения. И, конечно, дело тут не в том, что это был "город, пересеченный дорогами" (как думали некоторые), что было бы слишком банально. Поэтому мы обращаем внимание на античное название *Intercisa*, обозначавшее в начале новой эры, в частности, город на Дунае, на территории современной Венгрии. Латинское название прозрачно и мотивированно: собственно говоря, это отглагольное прилагательное (причастие) *intercisa* (sc. lic. civitas, urbs) 'перерезанный, пересеченный (город)'. Другая *Intercisa*, в античной Италии, была точно пересечена туннелем. Какой-то локальной особенностью была наверняка продиктована номинация и в интересующем нас случае *Intercisa*: быть может, а *Dunabe intercisa* (civitas) 'пересеченный Дунаем (город)', если иметь в виду заселенность обоих берегов (а, возможно, наличие соответствующей удобной переправы). Остается только думать и гадать, не подсказано ли античное *Intercisa* на Дунае туземным, предположительно (пра)славянским **persěčьnъ* (*gordъ*), латинской калькой которого оно могло бы оказаться. Сознавая гипотетичность своего предположения, признаем все же, что оно открывало бы путь и к осмыслению днепровского *Пересечна*, тоже, вполне возможно, получившего название за заселенность обоих берегов, связанных между собой переправой (из побочной для обсуждаемой здесь проблемы литературы, кстати, может быть извлечена полезная информация о существовании в древности одной из удобнейших переправ через Нижний Днепр примерно в низовьях современного Каховского водохранилища, см. [30, с. 17]; не есть ли это искомое местонахождение древнего днепров-



Карта 7. Древние славянские диалекты на Среднем Дунае



Карта 8. Славянские города на Дунае и на Днепре

ского *Пересечна*?). Если мы присовокупим сюда судьбу северян (ср. на Дунае не только этноним, но и название города – *Turnu Severin*), то динамика всей модели на Днепре, условно – от *Вышгорода* до *Пересечна*, обретает смысл как *динамика повторительная*.

Июнь 1996 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Трубачев О.Н.* Этногенез и культура древнейших славян // Palaeoslavica 1. 1993. Cambridge/Mass.
2. *Brozović-Rončević D.* O Trubačevljevu viđenju etnogeneze Slavena (О.Н. Трубачев. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991) // Folia onomastica Croatica. Kn. 3. Zagreb, 1994.
3. *Авенариус А.* Ранние славяне в среднем Подунавье: автохтонная теория в свете современных исследований // Славяноведение. 1993. 2.
4. *Mačala P.* Etnogenéza Slovanov v archeológii. Košice, 1995.
5. *Parczewski M.* Origins of Early Slav culture in Poland // Antiquity. V. 65. N 248, 1991. P. 676 и сл.
6. *Gołąb Z.* The origins of the Slavs. A linguist's view. Columbus, Ohio, 1991 (1992).
7. *Birnbaum H.* On the ethnogenesis and protohome of the Slavs: the linguistic evidence. O.N. Trubačev. Etnogenez i kul'tura ... H. Popowska-Taborska. Wczesne dzieje... Z. Gołąb. The origins of the Slavs ... W. Mańczak. De la préhistoire des peuples i.-e. // Journal of Slavic linguistics. V. 1. N 2. 1993. P. 352 и сл., особенно 355.
8. *Мачинский Д.А.* "Дунай" русского фольклора на фоне восточнославянской истории и мифологии // Русский Север. Проблемы этнографии и фольклора. Л., 1981. С. 110 и сл., особенно с. 137, 160.
9. *Loma A.* Podunavska prapostojbina Slovena: legenda ili istorijska realnost? Uz knjigu: O.N. Trubačev. Etnogenez i kul'tura drevnejšich Slavjan. Lingvističeskie issledovanija. M., 1991 // Јужнословенски филолог. XLIX. 1993.
10. *Трубачев О.Н.* Древние славяне на Дунае (южный фланг). Лингвистические наблюдения // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993.
11. *Putanec V.* Ubikacija klasičnih toponima Sisopa i Soroga u Zagreb i pitanje prisutnosti Slavena na Balkanu u I. st. naše ere. Zagreb, 1992 (izdaje autor).
12. *Tyszkiewicz L.* Przyczyny i początki pierwszej migracji Słowian nad dolny Dunaj // Z polskich studiów slawistycznych, seria VIII. Warszawa, 1992. C. 151 и сл.
13. *Трубачев О.Н.* SCLAVANIA на Майне в меровингскую и каролингскую эпоху. Реликты языка // Dialectologia slavica. Сборник к 85-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1995. С. 11 и сл., особенно с. 22.
14. Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I (I–VI вв.). Отв. ред. Л.А. Гиндин, Г.Г. Литаврин. М., 1991.
15. *Vasmer M.* Die Slaven in Griechenland. Zentralantiquariat der DDR. Leipzig, 1970.
16. *Reczek Józef.* Najstarsze słowiańsko-irańskie stosunki językowe. = Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego nr. 92. Kraków, 1985. Переиздано

в: *J. Reczek*. Polszczyzna i inne języki w perspektywie porównawczej. Wrocław, etc. 1991.
17. *Константин Багрянородный*. Об управлении империей. Текст, перевод, комментарий. Под ред. Г.Г. Литаврина и А.П. Новосельцева. М., 1989.
18. *Седов В.В*. Славяне в древности. М., 1994.
19. *Трубачев О.Н*. К отдаленнейшим истокам нашего самосознания. Презентация одной книги // Palaeoslavica II, 1994, Cambridge/Mass.
20. *Трубачев О.Н*. Мысли о дохристианской религии славян в свете славянского языкознания // Вопросы языкознания. 1994. № 6; То же: Zeitschrift für slavische Philologie. Bd. LIV. Heft I. 1994. S. 18.
21. *Трубачев О.Н*. Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и групповая реконструкция). М., 1966.
22. *Mayer A*. Die Sprache der alten Illyrier. Bd. I. Wien, 1957. S. 349–350.
23. *Popović I*. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960, S. 149, 173.
24. *Dickenmann E*. Studien zur Hydronymie des Savesystems II. Heidelberg, 1966. S. 163, s.v. Vrbaška.
25. *Vaillant A*. Grammaire comparée des langues slaves. T. II: Morphologie. Première partie: Flexion nominale. Lyon; Paris [s.a.]. P. 188, 217.
26. *Bezlaj F*. Slovenska vodna imena. II. del. Ljubljana, 1961. C. 315–316.
27. *Vasmer M*. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Bd. II. Berlin, 1971.
28. *Horák B. a Trávníček D*. Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii // Rozpravy ČSAV. Ročn. 66. Rada SV. Seš. 2, 1956. C. 2–3.
29. *Gołąb Z*. Old Bulgarian Sěverъ (?) and Old Russian Sěverjane // Wiener slavistisches Jahrbuch 30. 1984. P. 9 и след.
30. *Шилов Ю.А*. Прародина ариев. Киев, 1995.

Сербский лексикограф. Белград. 1996.

SCLAVANIA НА МАЙНЕ В МЕРОВИНГСКУЮ И КАРОЛИНГСКУЮ ЭПОХУ. РЕЛИКТЫ ЯЗЫКА

Главным стимулом для нижеследующих наблюдений явилась новая книга немецкого слависта, профессора Йозефа Шютца – J. Schütz. Frankens mainwendische Namen. Geschichte und Gegenwart. München, 1994 (Philologia et litterae slavicae. Bd. II) – далее [Schütz 1994]. Заслуга Шютца состоит в том, что он подверг критическому пересмотру историю, источники и нынешнее состояние филологического изучения остатков языка (в основном – ономастики) так называемых майнских венедов. Лингвистический анализ Шютца про-

низан духом живейшей полемики с двумя другими почтенными немецкими специалистами – Эрнстом Шварцем и Эрнстом Айхлером. Мы не станем вдаваться в детали этого спора, отметим только, что во многом оказался прав Йозеф Шютц. Он прав и тогда, когда упрекает автора настоящих строк в том, что исследования, предпринятые в книге последнего "Этногенез и культура древнейших славян" 1991 г., "не затрагивают ни ареал, ни этническую принадлежность майнских провинций" [Schütz 1994, S. 95], справедливо указывая на как бы "маятниковый, амплитудный характер славянского заселения в древнейшее время в этом районе" [ib., S. 92]. И в целом в книге Шютца ярко сформулирован призыв ко всей славистике выполнить свой долг по отношению к этим «языковым "крохам" майнсковенедской ономастики меровингской эпохи» [Schütz 1994, S. 175], значение которых явно выходит за рамки интересов местных историков и краеведов восточной (Верхней) Франконии и которые до поры до времени не привлекали того внимания, которого они заслуживают в общеславянском плане. С равным правом указывает Шютц и на недостаток внимания со стороны славянской филологии к самому раннему западноевропейскому источнику проблемы – хронике Фредегара, повествующей о событиях начала VII в. в исследуемом регионе. Присовокупляя к этому также другие источники, а главное – лингвистическую реконструкцию, которая уводит в дописьменную древность, мы начинаем лучше понимать, что перед нами – языковая периферия со своими неповторимыми, своеобразными чертами и собственным отношением к остальному (исходному) славянскому ареалу.

Возможность высказать свое понимание проблемы и свою интерпретацию ряда позиций из числа собранного Шютцем материала побудила меня откликнуться на этот общеславистический призыв немецкого коллеги. Начну с восполнения явных дезидерат, отсутствие которых в труде Шютца очевидно. Это в первую очередь – возможно полный алфавитный индекс условно праславянских реконструкций ономастических остатков языка местных венедов-славян, со временем растворившихся в немецком населении восточных районов Франкской империи, исторической Аустрии или Аустразии. В книге Шютца содержатся алфавитные указатели соответствующих старых и новых немецких форм топонимов и гидронимов [S. 191–200], что лишь повышает потребность собственно славянского индекса, который мы и приводим ниже (с некоторыми, здесь не оговариваемыми, отклонениями в деталях от авторской реконструкции):

*borica	*bъzьnica	*čьrnedь
*borovišče	*bьrlica	*čьrnidlo
*brěziny	*črětьcь	*čьrnъ
*brъvica	*čьmelь	*dobica

*dobra
*dobrina
*dobrotinъ
*dobr-
*dobrъ
*dobьna
*dolica
*dorěža?
*dorica
*dragomyslъ
*drebica
*drěvesa
*droga
*drožьn-
*družina
*dymica
*galaz-? (xalaz-?)
*gnojica
*godica
*godomyslъ
*godьci
*godьсь
*godьn-
*golišče
*gonicě
*grabъ
*gužь
*gybica
*xlěvъ
*xvoja
*iz-gari
*iz-žari
*jamica
*kamenicě
*klenьсь
*klětьса
*kl'učь
*klody
*kopanь
*koryto
*kridlica
*krivica
*kruzi
*krynica
*kurъ
*kyslica
*laziny
*lěsъ
*lěvica
*l'uboradjь
*l'užьnica/lužьnica
*lomišče
*lovьči lovъ
*lub-
*lubina
*med-
*močidlo
*močьn-
*mъdьl-
*nil-
*niziny
*nyrišče
*obьcina
*obžari
*obžarišče
*olьšica
*olьšьnica
*osěkъ
*oslupi
*ǫž-
*pasěka
*plesъ
*po(d)myslъ
*podolja vьsь
*polica
*pol'anica
*poltьno (paltena)
*poostrožьje
*porěčьje
*požarišče
*požog-
*prěčьnъ
*prěkosъ
*prěmyslъ
*prěsěkъ
*pridrožьje
*pustyrь
*rěčica
*rьdrica
*sedlišče
*sědьbišče
*sikora
*slama
*slatina
*slop-
*smoljanica
*snъvьсь
*sny/*snъve
*stopa
*stъrm-
*strmica
*stьržišče
*sъpišče
*sъžarišče
*ščapьсь
*ščavьсь
*ščebina
*ščeglica
*ščurъka
*tisъ
*topidlišče
*topina
*trěbenь
*ulica
*vališče
*velimyslъ
*velьpodь
*voldpodь
*vonьсь
*vysěk-
*vьlčьnica
*vьrba
*vьrbьnьс-
*zelenica
*xvěrinьсь
*želb-
*ži(d)lišče
*žirъk-
*žirьn-
*živulica
*žiža
*žьlčь

Следующее desideratum, которое я счел нужным выполнить, это составление также отсутствующей в книге Шютца карты примерного распространения и взаиморасположения перечисленных почти полутора сотен названий (см. выше). Географическая проекция майнсковенедских ономастических следов достаточно красноречива и показывает их самостоятельную позицию не только в отношении чешского языкового ареала и пограничного горно-лесного массива Чешского леса, который стал "чешским" уже в относительно более позднее время, но и в отношении соседящего на севере и северо-востоке ареала продвижения серболужицких славян, которым обычно приписывается значительная роль в освоении этих центральногерманских пространств, ср. [1]. Эти примыкающие инославянские зоны экспансии никак не обозначены на нашей схематичной карте, что отнюдь не означает недооценку с нашей стороны западнославянских влияний и проникновений на верхнем Майне. Достаточно сказать, что отмеченная выше "условность" реконструкции майнсковенедских форм, в которой мы в основном следуем книге Шютца, выражается по большей части в преобладании послеметатезного состояния сочетаний с плавными, в том числе – однозначно лехитского вида (**brĕziny*, **črĕtъcъ*, **dragomyslъ*, **drĕvesa*, **droga*, **drožьn-*, **klody*, **prĕčьnъ*, **prĕkosъ*, **prĕmyslъ*, **prĕsĕkъ*, **pridrožьje*, **slama*, **slatina*, **trĕbenь*). Но, как в отношении многих других явлений, так и в отношении славянской метатезы плавных, преобладающий цифровой итог вполне может оказаться вторичным продуктом, и дометатезные состояния хорошо известны на периферии лехитского языкового ареала. Тот же Фредегар сохранил нам такой древний пример, как имя вождя племени сербов – дометатезное Dervanus dux gente Surbiorum [Fred. Chron. IV, 68 (21)], собственно, апеллатив '(полабский) древлянин, дравен'. Вполне допустимо считать, что волна метатезных инноваций пришла к майнским венедам вторично извне и что собственную майнсковенедскую древность логичнее ассоциировать с немногими, но действительно древними примерами "до метатезы плавных", говоря упрощенно. Сюда относятся: **zĕlb-* на крайнем северо-востоке (см. карту), немецкая форма гидронима – *Selb*, которую Шютц не решается соотнести с известным славянским названием жолоба – ст. чеш. *žleb*, н.-луж. *žłob* как раз по причине отсутствия метатезы плавных в майнсковенедском примере: "ожидалось бы **žlĕb-*" [Schütz 1994, S. 144]. Вместе с этим нашего автора не удивляет чисто дометатезное состояние одного несомненно майнсковенедского примера в поземельной описи XII в. (так называемый "Banzer Reichsurbar") лесного района Банц на верхнем Майне. Речь там о подати, взимаемой "платьями из шерсти", причем последнее глоссируется туземным словом *paltena*, очевидный славянский плюраль от славянского же **poltьno–*poltьna*. Это позволяет датировать заимствование слова из местного славянского в древневерхненемецкий п е р в о й п о л о в и н о й VII в.; в соседних западнославян-

ских формах этого названия полотна история застала уже метатезированное состояние: н.-луж. *płotno*, чеш. plátno [Schütz 1994, S. 89–90]. Но самый замечательный и весомый пример дометатезного состояния зафиксирован в слове, которое одновременно может считаться драгоценным вкладом скудных остатков майнсковенедского языка в общеславянский словарный состав, – это местный праславянский лексический диалектизм **voldpodь*, которым мы еще займемся ниже и который реконструируется на основе обозначения туземной знати, приравненной к имперскому комесу ("графу"). Это, во-первых, *waltpoto* по имени Immo, участник (testis 'свидетель') Бамбергского синода 1059 г.; во-вторых, этот сан четко обозначен как "туземный, народный" в королевской грамоте относительно позднего времени (1139): ...quisquam..., qui vulgo waltpodo vocatur (см. [Schütz 1994, S. 161–162], там же совершенно справедливо отведена попытка немецкого историка истолковать этот несомненно знатный туземный сан как нем. Gewaltbote – что-то вроде 'судебного исполнителя'!).

Дальнейшая историкофонетическая характеристика майнсковенедских реликтов выглядит в общих чертах следующим образом. Следов носовых гласных в записях франкской имперской канцелярии почти не сохранилось, ср. **krug-*, мн. **kruzi* (нем. *Creussen*), если из праслав. **krqgъ* [Schütz 1994, S. 131]; **guž-* (нем. стар. *Gusibah* in Sclavis, 810–832 гг.), если из **gqž-* [Schütz 1994, S. 158]; но ср. сохраненное **qž-* (нем. стар. *Bunselesdorf*, ок. 800 г. [ib., S. 159]). Что касается чистых гласных, их фиксация в условиях местного славянско-немецкого двуязычия немецкой канцелярией, о которой Шютц отзывается похвально, допускала, видимо, двусмысленные решения, напр. нем. топоним *Schlömen* как отражение слав. **slama/*sloma* или **slemę/mene* [Schütz 1994, S. 120], чем приходится существенно оговорить однозначно лехитские (см. выше) или иные славянские сближения.

Чешско-словацко-верхнелужицкого перехода *g* > *h* язык майнских венедов, по-видимому, не знал. Об этом свидетельствует, с одной стороны, надежное наличие примеров на *g* в начале и внутри слов (**dragomyslъ*, **droga*, **grojica*, **grabъ* и др., см. список выше), а с другой стороны – абсолютная ненадежность и изолированность авторского прочтения немецкого топонима *Hallstadt*, стар. *Halazestat*, 741 г., как майнсковенедского **gălāz-/*gălěz-* 'freies, offenes Fischwehr' [Schütz 1994, S. 155], чем и вызвано у нас, выше, допущение вариантной реконструкции **xalaz-*? Проблема сохранения и отражения сочетания согласных *dl* при ближайшем рассмотрении выглядит не столь однозначно, как это видится немецкому исследователю, который уверенно заключает о названиях типа **sedlišče* на основе нем. *Zettlitz*: "Названия на *dl* имеют типичную западнославянскую фонетическую форму" [Schütz 1994, S. 117]. В самом деле наличие *dl* как праславянский периферий-

ный архаизм можно констатировать в случаях *kridlica [Schütz 1994, S. 84]: *krydlica, при нем. *Creidlitz*, *čьrnidlo (нем. *Schirnaidl*), *močidlo (нем. *Motschiedel*), *topidliišče (нем. *Toupetlilz*). Но есть вещи, также имеющие сюда отношение, хотя и менее заметные в силу своей региональности, чем объясняется то, что слависты мимо них обычно проходят. В книге Шютца дважды представлено майнсковенедское, славянское *žilišče, реконструированное один раз на основе нем. *Zeilitzheim*, другой раз – нем. *Seylitz* [Schütz 1994, S. 104, 118]. В правдоподобности реконструкции майнсковенедского *žilišče (у нас на карте оба случая локализуются между Швайнфуртом и Бамбергом, неподалеку от реки Майн) вряд ли нужно сомневаться. Наша поправка выражается в уточнении праславянской формы – не *žilišče? а *židlišče, как о том свидетельствует польск. стар. *żydło* ср. р. 'жизнь' [2, t. 8, s. 732], а также, до известной степени, консонантная репродукция в укр. *житло* 'жильё', на что было уже давно обращено внимание [3]. Кажется, это ослабляет западнославянский тезис Шютца (выше) или, во всяком случае, позволяет нащупать диалектную сложность языка майнских венедов, допускающую не только западнославянские ассоциации. Существенно поэтому то, как в майнсковенедском языковом пространстве манифестируется известнейшая изоглосса *iz-* (*jьz-*) ~ *vy-*, довольно четко разделяющая в огромном большинстве случаев славянский юг (*iz-*) и славянский запад (*vy-*). Так, на примере *vysěk- (нем. *Weyssig*) в книге Шютца делается важный вывод, что по изоглоссе *iz-/vy-* майнсковенедский имеет западнославянский характер [Schütz 1994, S. 104]. Однако при этом автор забывает о наличии в собственном же материале двух случаев с префиксом *iz-*: *iz-žari (нем. *Isaar, Iser*) и *iz-gari (нем. *Issigau*, стар. *Ysgir*) [Schütz 1994, S. 84]. Известно, что этимологические случаи *iz-žar- (точнее *jьz-žar-) и *iz-gar- (*jьz-gar-) получают в западнославянском иную фонетическую трактовку, ср. чеш. *Žďár* [4, s. 139; 5, вып. 9, с. 103]. А также отличие сербохорв. *izgár* от кашубскословинского *zgara* [5, вып. 9, с. 27]. В нашем случае с *iz-gar- и *iz-žar- оба примера, находясь на крайнем северо-востоке майнсковенедского языкового пространства (см. карту), то есть на аванпостах древней серболужицкой зоны экспансии, ведут себя как южнославянские рефлексы. Кстати сказать, выдающуюся древность майнсковенедских реликтов способна показать относительная хронология соответствующих немецко-славянских языковых контактов, конкретно – один поучительный случай, специально разбираемый Шютцем [Schütz 1994, S. 93], причем не только в этой книге. Этим случаем уместно завершить наши наблюдения по исторической фонетике майнсковенедского. Современный немецкий топоним *Herreth*, особенно стар. *Horwida* (в междуречье реки Итц и верхнего течения Майна, см. нашу карту) Шютц расшифровывает как майнсковенедское (слав.) *koryto, замечательное архаизмом отражения слав. *k* >

нем. *kh, h* (древневерхненемецкое передвижение согласных) и фиксацией дифтонгического характера слав. *y* = *wi* (*ui*).

В отношении словообразования, которое, как всегда, трудно отграничить от лексики (см. о ней ниже у нас), замечательно присутствие в майнсковенедских реликтах нерасширенной формы **med-*, в составе немецкого топонима *Med-bach* [Schütz 1994, S. 58]. Шютц в принципе правильно связал этот случай со слав. **med-ja* 'межа, граница' (на нашей карте это один из самых южных майнсковенедских топонимов). Однако, если быть точным, следует обратить внимание на специальную близость майнсковенедского **med-* форме предлога *med* 'между' в западной части южнославянских языков (словенский, кайкавский, диалектно-сербохорватский), в то время как в остальных славянских распространено расширенное **medju*, **medje-*, ср. [6]. В функциональном отношении случай *Medbach*, кажется, наиболее близок словенскому топониму *Medvode* (объясняемому из **medvodjane*, см. [7], правда, последний автор не уловил архаической сущности формы *med-*). Еще один пример нерасширенной архаичной формы: в майнсковенедских остатках встречается (в связанном виде) один случай *velь-* и нет совсем суффиксального *velikъ*. Речь идет, кстати, о лексическом уникуме **velьpodь*/**velьpotъ*, выделяемом на базе нем. *Wölbattendorf* [Schütz 1994, S. 167], ср. второй компонент майнсковенедского **vold-podь* и слав. **gospodь*, а также первый компонент **velьmoža* (см. северо-восточный сектор нашей карты).

Знакомство с майнсковенедской лексикой, получившей косвенное отражение в ономастических реликтах майнсковенедского, поучительно и на фоне собственного опыта по составлению Этимологического словаря славянских языков. Так, случай **bъrlica* ([Schütz 1994, S. 111–112], на базе нем. *Wurlitz*, стар. *Borlitz*, северо-восточный сектор нашей карты) Шютц предпочитает прямо сравнивать с лит. *burlas* 'грязь' (о балтийских и особо понимаемых венедских предпочтениях Шютца я рассчитываю сказать далее). Правильнее было бы, по-видимому, говорить о форме слав. **bьrloga/ъ*; **bьrlica*, между прочим, засвидетельствована в славянской ономастике Германии, ср. *Berlitz-*, *Börlitz*, *Prölitzsch*, отмеченные в книге Удольфа [8], не попавшей на этот раз в поле зрения нашего автора.

Даже тот скудный лексический материал, который дошел до нас непрямым, не всегда очевидным образом, дает иногда возможность говорить о наличии лексикосемантических и з о г л о с с в н у т р и м а й н с к о в е н е д с к о й о б л а с т и. Так, Шютц обратил внимание на тот факт, что в номенклатуре, первоначально связанной, вероятно, с обозначением хороших сельскохозяйственных угодий, производные с корнем **god-* на запад от реки Регниц не встречаются (там выступают производные от **dobr-*), место последних – в восточной части региона: **godica* (нем. *Goditz, Koditz*), **godьn-* (нем. *Ködnitz*), **godьci*, см. [Schütz 1994, S. 127 и след.]. Именно эти

последние он считает более инновационными, сравнительно с гнездом *dob(r)-, хотя речь идет о достаточно архаичных производных, к сожалению, не отмеченных или слабо отмеченных в нашем ЭССЯ.

Несмотря на то что Шютц очень внимателен ко всем проявлениям "переклички" между майнсковенедской и восточнославянской (русской, северновеликорусской) топонимическими зонами, с полным основанием рассматривая ту и другую как языковые периферии и поэтому – хранилища архаизмов (см. специально [Schütz 1994, S. 113]), вполне возможно, что и в этом отношении выявлено далеко не все. Так, проблематичная славянская реконструкция *dorěža (у нас в списке со знаком вопроса, см. также на карте к северу от Майна) на базе темной немецкой формы *Theres*, стар. *Tharissa* (986 г., [Schütz 1994, S. 136]), по автору – из *do-rěža (?!), якобы сложения, ср. русск. *реж* 'решетина', вызывает у нас в памяти, скорее, др.-русск. *деряждье* ср. р. 'завал из хвороста, кустарника (?)' (Ипат. Лет. Под 1251 г. [9, вып. 4, с. 213]).

Одной из замечательных локальных особенностей репертуара майнсковенедских лексем, пока не обнаружившей соответствий ни в западной Славии, ни где-либо еще, кроме восточнославянского, оказывается генетически речное название архаического вида (основа на -*ū*-) с индоевропейским корнем *sny/*snъve (нем. *Schney*, стар. *Znuwia, Cenewe, Cenewa*, XI в., на правобережье верхнего Майна, см. карту). Шютц точно определил "величайший славистический интерес", представляемый этим гидронимом, в том числе – по причине несохранения исходного апеллатива – от и.-е. *sneu̯- 'плыть, течь'. Столь же бесспорна идентификация Шютцем майнсковенедского *Sny/*snъvь и восточнославянского *Снов(ь)* в бассейне Десны, точно проэтимологизированного в свое время Розвадовским в упомянутом выше индоевропейском смысле [10, s. 197 и сл.]. Однако знаменитому ученому тогда еще не был известен другой случай *sny/*snъve – на западной периферии славянства. Можно понять Шютца, когда он элегически восклицает: "Если бы Розвадовский знал франконскую *Schney* в ее письменных вариантах!..." [Schütz 1994, S. 76]. Любопытно, что в самых верховьях Майна (см. карту) находится еще производное от того же корня *snъvьcь (нем. *Schnebes*) [Schütz 1994, S. 119].

К сожалению, Шютц никак не комментирует кратко упоминаемое им водное название *Plez* в записи конца XVI – начала XVII века [Schütz 1994, S. 139], у нас в списке – в форме *plesъ. Гидрографический термин и гидроним слав. *plesъ, *pleso представлен у славян довольно широко, но с характерными лакунами: во всех восточнославянских языках, из западнославянских прежде всего – в чешском и словацком, причем особенно в качестве названия озера, что позволяет вернуться к вопросу о паннонско-славянской природе античного названия Балатона – *lacus Pelso(nis)*, см. [11, с. 128 и след.]; в верхнелужицком слово неизвестно [12, S. 1106], известен старый пример

из нижнелужицкого, несколько польских диалектных свидетельств, либо тяготеющих к карпатскому ареалу, либо сомнительных, см. подробнее [8, S. 381 и след.]. Можно думать, что в случае с **plesъ* майнсковенедский тяготел скорее к паннонскославянскому.

Не столь ярко, но все же проявилось, кажется, тяготение майнсковенедского к наиболее древней форме славянского названия дерева 'граб Carpinus betulus' и соответственно – к срединным частям славянского языкового ареала. Здесь майнсковенедский, как явствует из отраженного названием старинного округа *Grabfeld(gau)* VIII–IX вв. между Фульдой, средним Майном и верхним течением Верры (северный сектор нашей карты, см. также [Schütz 1994, S. 105], с указанием тождества *Grabfeld* = герм.-лат. *Buchonia* = слав. grab), оказывается в одной группе с другими славянскими языками, сохранившими наиболее архаичное слав. **grabъ*. С востока, на чешской территории, рано установилась инновационная форма *harb, Harb* [4, s. 111], аналогичная форма, что интересно, отмечается на крайнем западе старой серболужицкой экспансии – *Gabritz* в районе Иены [13], при преобладании на собственно серболужицкой и польской территории формы **grabъ*. Интересное в лингвогеографическом отношении славянское название этого дерева особенно богато вариантами на славянском Юге, где представлены **grabъ*, **grabrъ* и **gabrъ*, причем как центр югославянской территории, так и центр Паннонии характеризуются топонимией с корнем **grab-* [14].

Тесное и постоянное общение с лесом майнских венедов в этой, очевидно, лесной, особенно тринадцать столетий назад, зоне проявляется многократно даже в не очень многочисленной майнсковенедской ономастике. Это и **lěsъ* [Schütz 1994, S. 130] и – примерно в том же значении общего термина – **krǫgъ*, откуда немецкий топоним *Creußen* [Schütz 1994, S. 131]. Сохранился и след от плюраля **drěvesa* от **drěvo* (нем. *Trevesen*, ib., S. 132). На вопрос о важности лесосеки для хозяйственной деятельности майнских венедов возможен уверенный утвердительный ответ, основанный на богатстве сложений глагольного корня *sěk-* с приставками, ср. в нашем списке **osěkъ* (нем. *Ossich*), близкое, очевидно, скорее не сербо-хорв. *Osijek*, по Фасмеру – 'крутой обрыв' в соответствии с эпирским (иллирийским) μουρσα 'яма' [15], а др.-русск. *осѣкъ* 'завал, засека; изгородь' [9, вып. 13, с. 83]; далее, сюда майнсковенед. **pasěka*, **prěsěkъ*, **vysěk-*. Ту же реальную семантику выражают отчасти уже обсужденные нами майнсковенедские образования **izgari*, **izžari*, **obžari*, **obžarišče*, **požarišče*, **požog-* (реконструкция Щютца), **sъžarišče*, **trěbenь* (см. наш список, выше). Историку культуры эти названия говорят яснее, чем письменные документы, что местное славянское население – это не кочевая орда, живущая случайной добычей и охотой (хотя есть и ономастические свидетельства об охоте майнских венедов – **lovьči lovъ* нашего списка – топоним *Luzelowa, nemus Lovecilowe*, 1195 г. – [Schütz 1994, S. 89–90], а земледельцы, ведущие обычное

для эпохи экстенсивное, подсечно-огневое земледелие. Их весьма раннюю оседлость справедливо подчеркивает и Шютц, в противном случае мы просто не сможем понять наличие майнсковенедских терминов **xlěvъ*, вероятно, 'жилая землянка', также 'хлев для скотины' (нем. *Kleb-hof* в округе Бамберга) и **klětьca* 'легкая постройка' (нем. *Kleetz-höfe* в северо-восточной Баварии, и то, и другое – [Schütz 1994, S. 65, 67], а также на нашей карте). Мы не уполномочены, наверное, судить о наличии у майнских венедов "городов"; но постоянные поселения, села у них объективно трудно отрицать. Так, аргументом для реконструкции майнсковенедского **vьsь* 'село, селение' Шютцу служит его прочтение **podilja vьsь* на базе нем. стар. *Botolfes-stat*, 788 г. [Schütz 1994, S. 80–81], причем ему приходится полемизировать с Э. Шварцем, считавшем, что слав. **vьsь* 'Dorf' для майнсковенедского не свойственно. Социально-исторически весома реконструкций майнсковенедского **obьcina*, видимо, что-то вроде '(сельской) общины', предпринимаемая на основе немецкого топонима *becen-dorf* [Schütz 1994, S. 91]. Этими общинниками, которые вырубали леса для получения хороших земель под пашню (**dob-*, *god-* и производные, см. выше), занимались ремеслами, во всяком случае достоверно платили подати кусками и изделиями из полотна и шерсти (**poltьno*, выше), причем мерили свои и привозные изделия какой-то, видимо, привычной для себя, как и для других, впрочем, славян, 'стопой', ср. *ostar-stuopha*, "secundum illorum lingua", то есть "на их языке" (очевидно негерманское название "восточной меры", как понимает это Шютц [Schütz 1994, S. 46], который решительно выступает против упрощенного немецкого чтения "Osterstufe" этого места в современном документе, но и явно славянского чтения **stopa*, у нас – в списке, не дает и не соотносит этого понятия с аналогами у других славян, см. о них [16; 17; 18]), – этими славянскими общинниками, судя по всему, правили "лучшие люди" племени, обозначавшиеся весьма самобытными терминами, уже кратко названными выше: **velьpodь* и **voldpodь*. Их самобытность и относительно высокий социальный статус очевидны и практически не требуют специального обоснования. В случае с первым термином к социальной терминологии, в сущности, принадлежат оба компонента сложения – **potъ*, представленное еще в особом **potъ-běga*, о разведенной жене, и *vel-* в другом названии знатного человека – **velьmoža*, см. еще о них [19]. То же самое, в общем, можно сказать и о компонентах термина **vold-podь*, ценного как еще одна встречаемость реликтового корня **potъ* в славянском ([Schütz 1994, S. 163]: "...название сана, впервые встречающееся как узко региональный случай именно на верхнем Майне..."), пока что не ставшая достоянием словарей и грамматик, что лишний раз подчеркивает заслугу Шютца и правильность в данном случае его этимологической атрибуции **vold-podь* к ст.-слав. господь, лит. *vieš-pats* 'господин, господь' и слав. **volděti*, лит. *valdýti* 'владеть' ([Schütz 1994, S. 165, 166]: семантиче-

ское сближение **vold-podь* и др.-в.-нем. **walt-hêrro* 'владетельный господин').

Но в интересах верного суждения о самобытности прежде всего **voldpodь* как социального термина полезно задуматься, так сказать, о политической ситуации тех далеких времен. Не поднявшиеся до собственной государственности, майнские венеды, лесные и сельские жители, хотя и вынужденные волей судьбы сосуществовать с франкскими меровингами и еще более грозными каролингами, в силу сознаваемого различия социальных стадий просто не могли перенести на себя, в свою племенную практику, франкскую терминологию, обозначавшую владетельных господ и государей. Вот еще одна причина (более важная, чем пресловутая скудость майнсковенедских реликтов!) – причина того, что майнские венеды не знали германизмов **kor(o)lь* и **kъnęzь*, распространившихся со временем у всех славян, а употребляли применительно к собственному быту "доморощенное" **voldpodь*. Последнее составилось из исконно славянских корней и, как кажется, было ориентировано на связи не с западными славянами, а с ближайшими из южных, или, точнее сказать для той эпохи, паннонских и дунайских славян. Все это дает нам повод для того, чтобы вспомнить одно место из хроники Фредегара, на которое, кстати сказать, давно обратила внимание старая славистика. Речь идет о других местах и событиях того же далекого VII в. – область Marca Vinedorum, на сей раз венедов не майнских, а паннонских, собственно словенцев, как предположил Миккола, вычленивший в фредегаровском контексте cum Wallucum, ducem Winedorum глоссу *Walluco=dux*, то есть, по мнению Микколы, древнесловенское, паннонскославянское название вождя, владыки [20], а по нашему мнению – очень архаическое (не только до метатезы плавных, но и до изменения *ū* > *y* [21]) название, действительно приуроченное к Паннонии [22, т. 1, с. 327]. Слово **voldyka* имеет небезынтересную географию: ст.-слав. владыка δεσπότης, ἡγεμών (Супр.), у восточных славян распространена эта книжная, церковная форма, народная форма отсутствует, из южных славянских ср. еще серб. *владика*, далее – чеш. *vládyka*. У остальных западных славян, кроме польск. *włodyka*, деградировавшего в социальном отношении [16, s. 625], слово, по сути, неизвестно. Паннонскославянские связи должны быть акцентированы, в частности и для майнсковенед. **vold-podь*: паннонскославян. **voldyka*.

Мимо паннонскославянской ориентации не может пройти и Шютц, когда он характеризует хороним *Sclavania* в Бамбергском кодексе, служащий для обозначения славянских территорий, подвластных Восточнофранкскому королевству, причем, если вариант *Sclavinia* (Мюнхенский кодекс) отражает византийскогреческую огласовку Σκλαβην-, форма *Sclavania* отражает паннонскославянский узус, ср. чеш. *Slovany* мн. 'земля славян', *Slované* мн. 'славяне' и др.-в.-нем. *Sklăvān-* как отражение подобной формы [Schütz 1994,

S. 170–171]. Процитирую и заключение Шютца (там же): "Однако здесь имеются в виду явно, а не только внешне... в особенности паннонские славяне". Что касается еще одного – внутреннего – смысла *Sclavania* как обозначения всякий раз **порубежных славян**, то он не составляет никакого секрета и обсуждался нами неоднократно на примере разных случаев **slověne*.

Таким образом, если для историка больше интереса представит, возможно, социально-экономический портрет майнсковенедского общества, извлекаемый из ономастики и преломленной в ней лексической семантики, то для языкознания (а в конечном счете – и для Истории, как хотелось бы верить) наиболее актуальна картина реконструкции лингвистической географии и изоглоссных связей, их возможный суммарный однозначный итог. В целях объективности этого последнего напомним ряд предшествующих наблюдений.

Группа рассмотренных выше майнсковенедских топонимов, гидронимов и антропонимов обнаруживает черты самобытности, в том числе периферийные архаизмы в виде ряда примеров "дометатезного" состояния сочетаний с плавными, сохранения взрывного *g* и изначальных групп *dl*, а также (что особенно характерно) ряд "незападнославянских" языковых особенностей: случаи перехода *dl* > *l* (**žilišče* 2x), префикса *iz-* (2x), нерасширенного префикса *med-*, незападнославянского гидронима **sny*/**snъve*, преимущественно центральнославянские формы **plesъ, grabъ* и совершенно уникальные социальные термины **velьpodь* и **vold-podь*, второй из которых также имеет не западнославянские, а паннонскославянские связи.

Истории в самом общем смысле слова это может касаться постольку, поскольку становится все же вероятным, что в долины рек с "древнеевропейскими" названиями *Moenus* (*Main*) и *Radantia* (нем. *Regnitz, Rednitz*) будущие майнские венеды пришли с юга и юго-востока, из придунайских стран.

На этом наши наблюдения над майнсковенедскими остатками языка не кончаются, поскольку накопился также некоторый материал для отдельных этюдов, в том числе показывающих значение майнсковенедского для решения общеславистических проблем.

*MYSLЪ '[МУЖ] МУДРО СЛЕДЯЩИЙ'

В.Н. Топоров более тридцати лет назад на основе сочетания внутренних и внешних аргументов практически доказал родство слав. **myslь* 'mens, cogitatio' и и.-е. **men-* с тем же значением; его итогом явилась реконструкция суффиксального отглагольного производного **monslĭ*, ср. лит. *mąslus* 'вдумчивый, мыслящий, понятливый', и общее резюме: "Нужно думать, что на этом этапе анализа данные, которые можно извлечь из славянского материала, следует считать исчерпанными" [23]. Такое положение, действительно, сохранялось,

пока нам не оставалось ничего другого, кроме как констатировать странную настойчивость повтора – *myslъ* в славянских именах мужчин *Dobromyslъ, Miromyslъ, Prěmyslъ* и т.д. Положение, кажется, несколько изменилось с вводом в научный оборот майнсковенедских данных, причем имело место не столько количественное изменение, что вряд ли привнесло бы в исследование что-то существенно новое, кроме некоторого числа новых или подтверждения старых примеров: майнсковенед. **dobromyslъ*, **drogomyslъ*, **godomyslъ*, **po(d)myslъ*, **velimyslъ*, **primyslъ* (см. [Schütz 1994, S. 152] и наш список). Наметилась возможность некоторых качественных изменений в подходе к этому материалу, и эту новую возможность – что ценно – подсказывают контексты и контекстные варианты, наличествующие в книге Шютца либо им самим отчасти удачно реконструируемые (неоправданных сомнений Шютца в связи личных имен на *-myslъ* с семантикой 'mens, cogitatio' здесь не касаемся, потому что отклоняем их, как и его неверную попытку проэтимологизировать *domyslъ, promyslъ* отдельно от *myslъ*). К числу авторских удач, напротив, относим сопоставление *Dragomyslъ* (*mola Dragamuzilas*, в районе Нюрнберга, после 800 г.) с др.-в.-нем. **sintman*, *sinthêrre* 'mit Wegeaufgaben Vertrauter', говоря буквальнее – 'дорожный муж'; весьма перспективна и комбинаторика, подсказываемая авторским соотнесением паннонскославянского *Dragamosus* (810) с проведенным словенским *ǫ* > *o*, то есть **drago-mǫžь*, с вышеназванным **dragomyslъ* [Schütz 1994, S. 152]. Замечательна в этом же смысле вариация, оставленная, правда, Шютцем в тексте без комментария [Schütz 1994, S. 149], которая позволяет попросту наблюдать, как более древнее название *Godemuzelsdorf* (Ансбах, XII в.) позднее сменяется как бы глоссирующим его немецким *Gottmannsdorf*. При всей скудости данных, напрашивается догадка о существовании (и значении) майнсковенедского апеллятива **myslъ* 'муж, мужчина', что соответственно было понято и переводилось франконскими немцами с помощью 'Mann'. Этому как будто не противоречит этнографическая информация из северо-восточной Баварии, то есть с территории майнской Склавании, о дожившем почти до современности обычае пляски ряженых мальчиков под рождество, причем сохранилось и название этого – *Pommwizel Tanz* [Schütz 1994, S. 149]. Шютц не очень убедительно толкует реконструируемое при этом *pod-myslъ* как сложение с *pod*-'Grund', видя здесь обозначение какого-то земельного специалиста или надзирателя (?), тогда как, не насилуя этнографический контекст (пляска ряженых мальчиков, выше), уместно предположить лишь что-то вроде **pod-myslъ* = "под-муж". Здесь коренится какая-то нейтрализация "ментальной" номинации мужчины и мужской природы обозначения самой этой ментальности. Немногие, но откровенные контексты употребления майнсковенедского **myslъ* 'муж, мужчина', похоже, помогают это понять применительно к общеславянским масштабам проблемы, не особен-

но вдаваясь здесь в детали (словосложение, даже первоначально, возможно, словосочетание *mon-, см. выше, и глагола движения *sl-/*s(ъ)l- (или его каузатива)? Не слогораздел, а словораздел *mon-sl-, что упростило бы вопрос трактовки конечного on > y, ср. аналогию действительных причастий?). Решение этимологии *myslъ 'муж' как атрибутивного двучлена можно опереть на другие индоевропейские обозначения 'мужа' как 'разумного' в чистом виде ср. и.-е. *manu-* (примеры известны), так и еще одного двучлена, каковым следует, видимо, считать слав. *mǫžь, если оно из сложения *mon g(u̯)i- 'разумно ходящий', вместо обычно приписываемой последнему суффиксальной версии, не очень убедительной ни в фонетическом, ни в морфологическом ее варианте. Имеется в виду – в первом случае – мало свойственное славянскому фонетическое развитие группы *-nu̯* > *ngu-*, предполагаемое Вайяном [24], и во втором случае – происхождение слав. *mǫžь от и.-е. *manu-* 'мужчина, человек' в соединении с суффиксом *-g-i̯o-* или *-gi̯u-* [5, вып. 20, с. 160]. Натянутость последнего толкования (неясность функции и проблематичность самого суффикса *-g-*) неплохо контролируется случаем с лит. *žmogus*, попытка разложить который на *žmo-g-us*, якобы с *-g-* суффиксальным [25], столь же неудовлетворительна и бесперспективна, тогда как этимология из *žmo-gu-s* 'по земле ходящий', ср. [26, Bd. II, S. 1318–1319], превосходно решающая проблему всего слова и поддерживаемая другими свежими аналогиями на и.-е. *gus из области атрибутивов-эпитетов мужчины-человека (напр. лит. *manda-gus* 'вежливый, учтивый, милый', ср., возможно, сюда др.-инд. *manda-ga-* 'медленно передвигающийся'?), позволяет вновь вернуться к концепции *mǫzь как двучлена и аналогичной проблеме *myslъ/ь. Возвращаясь к корню *men/*mon-, мы не можем не видеть, сколь основательно он задействован в обозначениях мужчины и мужских признаков, ср. этимологию слав. *mǫdo 'testiculus' < *men- 'думать' [5, вып. 20, с. 125]. Архаический синкретизм 'мыслящего' и 'мужского' начал позволяет несколько по-новому взглянуть на иерархию форм, на их тесную, вплоть до неразличения, связь. Скажем, морфологически мужской вариант *myslъ, куда принадлежат (помимо майнсковенедского *myslъ, выше) ст.-польск. *Mysł*, личное имя собственное (1265), русск. диал. *мысел*, род. п. *-сла*, м.р. 'нрав, норов', *мысл* то же, скорее морфологически (и типологически) первичен по отношению к *-i*-основе слав. *myslь, которое логично понимать как эманацию некоего обозначаемого словом *myslъ (иначе, традиционно см. [5, вып. 21, с. 49]). Очень любопытно своеобразное нагнетание мужской этимологической семантики, наблюдаемое в псковском диалектном речении *ни по нраву, ни по мыслу* (цит. по [5, вып. 21, с. 49]), если при этом учесть, помимо того, что уже сказано выше о *myslъ < *monsl- как мужском атрибутиве, еще и то, что относится к этимологии народного здесь, несмотря на формулу TRAT, продолжения праслав. *norvъ, генетически мужского обозначения

норова, характера, как о том говорят древние связи с названием мужа, мужчины – др.-инд. *nar-*, авест. *nar-*, греч. ἀνήρ. Исследователи (Топоров, Варбот [5, вып. 21, s. v.] и др.) приводят в качестве неславянского соответствия слова **myslъ* 'mens, cogitatio' литовское *mąslùs* 'вдумчивый, мыслящий'. Иерархической точности ради следует заметить, что это единственное практически полное и.-е. соответствие прежде всего для славянской основы не на *-i-* **myslъ* 'mens virilis' – 'vir venator'. Собственно основа на *-i-* **myslь* будет тогда уже славянской инновацией. Говоря об охотничьих коннотациях славянского названия мужа – **myslъ*, естественно вспомнить о прилагательном **myslivъjь*, которое, по крайней мере в двух славянских языках (ст.-чеш., польск.), выражает значение 'охотничий, охотник' [5, вып. 21, с. 46]. Конечно, можно попытаться свести все к первоначальному 'способный думать, умный', что обычно и делается, ср. формальную отглагольную производность с суффиксом *-iv-* от глагола на *-iti* **mysliti*. Но секрет значения производных порой в том, что ф о р м а л ь н о вторичные, они способны хранить п е р в и ч н у ю с е м а н т и к у.

BEFULCI (FRED. CHRON. IV, 48) = МАЙНСКОВЕНЕДСКОЕ *BE(Z)PЪLKЪ

Это слово в означенном месте Хроники Фредегара имеет репутацию "непонятного". Такую его репутацию не могли развеять ни старинная адидеация *befulci* и *dublicem* (= *duplicem* 'двояко') в фредегаровской латыни, восходящая еще к Фредегару, ни новейшая германская этимология *befulci* как прилагательного от глагола др.-в.-нем. *bifelhan*, нем. *befehlen* 'повелевать, препоручать' ([27]; прочие приводимые автором разноголосые тòлкования – то ли от слав. **byvilici* 'погонщики буйволов', то ли к нем. Beivolk 'вспомогательный контингент (?)' – обсуждать здесь не будем). В согласии со своей этимологией цитируемый нами немецкий исследователь понимает герм. (?) *befulci* как '*Schutzanbefohlene*, подзащитные, подопечные'. Однако думается, что слово это было не германским, а туземным (франкской передачей туземного), а также, что его значение, реальный смысл были далеки от какой-либо "защиты" или "опеки" этого контингента, каким были венеды для аваров, поскольку контекст хроники повествует о весьма специфическом взаимодействии венедов и аваров в боевых условиях. Вот это место, удобно воспроизведенное в [Schütz 1994, S. 202]: Winidi befulci Chunis fuerant iam ab antiquito, ut, cum Chuni in exercitu contra gentem qualibet adgrediebant, Chuni pro castra adunatum stabant exercitum, Winidi vero pugnabant: si ad vincendum prevalebant, tunc Chuni predas capiendum adgrediebant; sin autem Winidi superabantur, Chunorum auxilio fulti virebus resumebant. Ideo befulci vocabantur a Chunis, eo quad dublicem in congressione certamine vestila priliae facientes, ante Chunis precederint. В своем русском

переводе мы следуем за немецким переводом в [Schütz 1994, S. 203], воздержавшись лишь от авторской передачи *befulci* как '*Schutzanbefohlene*': Венеды были уже с давних времен для гуннов *befulci*, так что, когда гунны ополчались против какого-либо племени, они стояли сплоченным строем перед своим лагерем, венеды же сражались, (и) если они одолевали, тогда гунны выступали вперед, чтобы завладеть добычей; если же венедов одолевали, то они собирались с силами под прикрытием гуннов. Они потому звались *befulci* у гуннов, что выступали двояко, сражаясь перед гуннами.

Венеды, таким образом, играли роль нестроевых застрельщиков битвы, устремлявшихся на врага летучей толпой; все очень похоже на "скифскую" тактику боя древних славян, которыми венеды, собственно, и были. Об этом – чуть далее, а здесь важно лишь отметить, что ни о какой "защите" со стороны гуннов, под литературным именем коих скрываются, естественно, авары, текст Фредегара объективно не свидетельствует. Весь смысл – в противопоставлении нестройной толпы одних и стоящих "сплоченным строем" других. Именно за это первые названы были *befulci*, и, сняв в порядке реконструкции налет германизации в устах франка (*p* > *f*), мы имеем основание допустить славянский характер проблематичного имени – **be(z)pъlkъ/*be(z)pųlk-*, прилагательное на базе предложного словосочетания **bez pъlka* 'вне военного строя (аваров)'. Буквального подтверждения сочетания **bez pъlka* в этом или близком значении в справочной литературе, правда, найти не удалось, ср. аналогии вроде русск.-цслав. *вне полка* ἔξω τῆς παρεμβολῆς, extra castra – 'вне боевого расположения' [Исх XIV, 19]; [28, т. 2, стлб. 1749].

Остается привести в некоторое соответствие этнические термины и суждения о них. Совершенно очевидно, что Фредегар не отличал славян от венедов. В его рассказе (там же, выше [Schütz 1994]) "человек по имени Само, родом франк" "отправился в страну славян по прозванию венедов" (in Sclavos coinomento Wienedos). Это так же недвусмысленно точно, как и аналогичное выражение (там же, далее) об аварах "по прозванию гуннах" (contra Avaris coinomento Chunis). И, вопреки тому, что Шютц не одобряет отождествления понятий *Winidi* и Sclavi у Фредегара [27, S. 50], тождество очевидно. Оно является полным и ниже, где Фредегар рассказывает о насилиях гуннов (аваров), чинимых в отношении славянских жен и дочерей, повторяя это же с заменой на венедских жен и дочерей. Перед нами литературные упражнения средневекового ученого, состоявшие, в обыкновении переносить на нынешних жителей имена более древних обитателей тех же мест: 'гунны' – 'авары', 'венеды' – 'славяне'. Необходимо согласиться с Фредегаром в том смысле, что раньше на восток от германцев простирались полосой с севера на юг особые племена венетов. Позднее сюда продвинулись славяне, на которых германцы по привычке перенесли имя прежних обитателей –

венетов, возможно, известных под этим названием еще Плинию и Тациту (I–II вв. н.э.). Считать, что и в VI – начале VII в. эти "поздние венеты" "еще не являются славянами" [27, S. 53], все же нет оснований. Преувеличением отдает и мнение, что «венеды эпохи Фредегара, по всей видимости, по "крови и языку" не являются славянами» [ib.]. Все, что мы знаем (в немалой степени – благодаря труду Шютца) о майнских венедах меровингской эпохи, то есть эпохи Фредегара, говорит нам о них как о славянах. Конечно, отметать все начисто, не разобравшись, не стоит. И в местном славянском материале могли бы сохраниться факты, изоглоссы, заслуживающие более тонкого наблюдения и выявления. Как например этот след особого привативного *be-* 'без, вне', не характерного для славянского, обобщившего форму **bez-*. Поэтому у нас открывается возможность либо признать **be-* 'без, вне' майнсковенедским эквивалентом общеслав. **bez* и крупным местным праславянским лексическим (лексико-словообразовательным) диалектизмом и принять соответственно реконструкцию майнсковенедского *be-pъlkъ*, мн. **bepъlci*, максимально приближенную к засвидетельствованному *befulci*, либо, сохраняя эту реконструкцию, поставить вопрос о заимствовании майнсковенедского **be-* из венетского **be-* в той же функции, образующего изоглоссу от балт. (лит.) *be-* 'без' до лигурийского *bo-* 'без', которое мы пытались выявить в лигурийск. *Bodincus* 'По' [11, с. 25].

*GOSTЬ 'ВСТУПИВШИЙ ВО ВЛАДЕНИЕ'

Это слово, пожалуй, дальше других отстоит от майнсковенедской темы нынешних заметок: достаточно сказать, что его нет ни в собственно майнсковенедских материалах разбираемой здесь книги Шютца 1994 г., ни в нашем алфавитном индексе (выше). Дело в том, что на небольшом пространстве Верхней Франконии отмечена дюжина топонимов на *-gast*, но их прямолинейная славянская атрибуция, скажем, *Radegast* как слав. *rad-* + *gostъ*, сильно затруднена неменьшей близостью к др.-франк. *Ratgast* и др., к чему нельзя не прислушаться (см. [Schütz 1994, S. 40]). Имена на *-gast* : *gost-* распространены и в славянской, и в германской Европе, а в местах соприкосновения обоих этносов (одним из таких мест была восточная (Верхняя) Франкония) они могли относиться к небольшому фонду общей взаимопонятной лексики контактирующих родственных племен. Усиленно апеллировать при решении вопроса местного *gost-* к какому-то третьему этносу (или этносам) и каким-то "негостевым" элементам значения, как это делает автор заинтересовавшей нас книги, вряд ли нужно, хотя можно согласиться с тем, что над реконструкцией *-gost* еще надо работать. Первоначальная связь имен на *-gast* с землею ("auf Grund und Boden" [Schütz 1994, S. 21]) не кажется очевидной, она явно опосредована через лиц с именами на *-gast*, *-gost*. Препятствием не может служить и морфология, а именно *-i*-основа ис-

ходного *gostь*, *hostis*, которая есть не что иное, как развитие, расширение первоначального консонантного исхода, о чем нередко забывают, как, впрочем, и о способности также *-i*-основ образовывать производные на *-j-*: **tьstь – *tьšča* (**tьstja*), **gospodь – *gospodja*. При склонности нашего автора к балтийской интерпретации "венедского" понятна и его апелляция к др.-прусск. *gasto* 'угодье, урочище, земельный участок' [Schütz 1994, S. 22], но это все равно, что объяснять проблематичное через еще более неясное. О древнепрусском слове спорят, ср. ([29]: *gasto* < **gasta* '*užgesusi žemė*', то есть 'погасшая, выжженная земля'), но, скорее, оно, как и многое другое в древнепрусском, изолированное на балтийском фоне, тяготеет к славянскому, где там же имеются примеры того, что единица земельной площади (русск. *погост*) восходит к **gostь*, *гость* в его более комплектных древних значениях, см. подробно [30], критику, см. еще в [31]. В конечном счете в основе этой лексики лежит обозначение лица, субъекта, владеющего либо изначально (хозяин), либо приравниваемого к нему (гость), см. специальное указание на отношение приравнивания, равенства на примере лат. *hostis* [30, с. 17]. Удачным в данном случае может быть признано только такое расширение индоевропейского сравнения, которое помогает раскрыть здесь семантику владения. Вскользь названный Мажюлисом [31] литовский гидроним *Gest-upys* (ср. еще [32], с совсем другим осмыслением) мог бы, кажется, выполнить эту роль, в особенности же этимологически идентичная ему, по всей видимости, балканскоиндоевропейская форма, показаниями которой незаслуженно пренебрегают, если учесть ее засвидетельствованное апеллативное значение: фрак. *Gesti-styrum* 'locus possessorum'. Фрак. *gest-* 'possessor, владетель, владелец', давно и вполне убедительно проэтимологизированное Томашеком от и.-е. **ghed-* 'доставать, хватать' [33], ср. еще [34], представляет собой и.-е. **ghestis*, вариант к нашему **ghost(i)s*, с сохранением исходной семантики 'владелец – вступающий во владение', откуда потом и выросло наше **gostь* с его весьма терминологизированным и потому несколько темным значением, которое все же нельзя отрывать от названия глагольного действия и.-е. **ghed-*, см. о нем [35], и замыкать на лексике, обозначающей землю. Этими поправками мне показалось уместным дополнить и рассуждения других исследователей, и собственные – о слав. **gostь* [5, вып. 7, с. 68].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Нидерле Л.* Славянские древности. М., 1956. С. 111.
2. *Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiecki W.* Słownik języka polskiego. Warszawa, 1900–1935. Т. 1–8.
3. *Трубачев О.Н.* Формирование древнейшей ремесленной треминологии в славянском и некоторых других индоевропейских диалектах // Этимология. М., 1963. С. 39, 41.

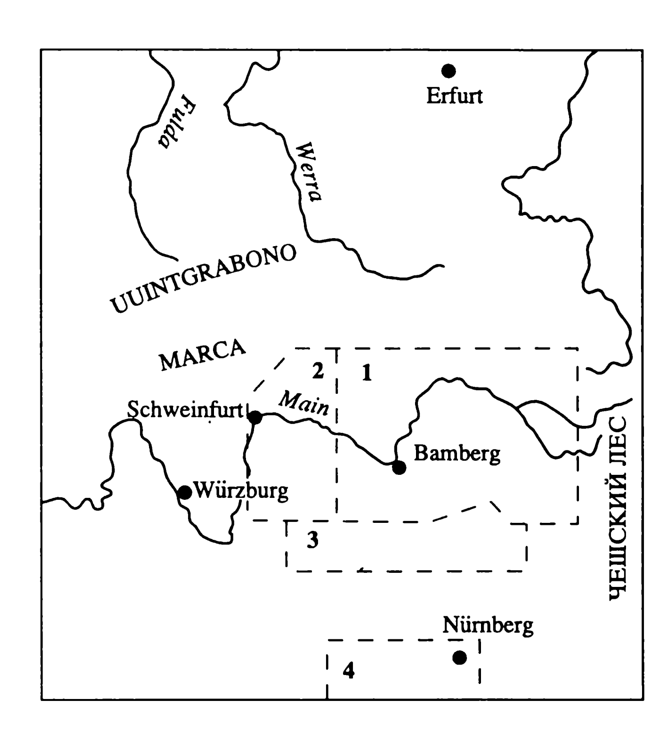
4. *Šmilauer V.* Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha, 1960.
5. Этимологический словарь славянских языков. М., 1974. Вып. 1.
6. *Popović I.* Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960. S. 133–134.
7. *Bezlaj F.* Etimološki slovar slovenskega jezika II. Ljubljana, s. 174.
8. *Udolph J.* Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Heidelberg, 1979, S. 88 (Beiträge zur Namenforschung. NF. Beiheft 17).
9. Словарь русского языка XI–XII вв. М., 1975. Т. 1.
10. *Rozwadowski J.* Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kraków, 1948.
11. *Трубачев О.Н.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.
12. *Schuster-Sewc H.* Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Bautzen, 1978–1989.
13. *Eichler E.* Slawische Ortsnamen zwischen Saale und Neiße. Ein Kompendium. Bd. I: A.-J. Bautzen. S. 122.
14. *Гълъбов И.* Южнославянските местни имена, образувани с *габр-*, и проблемите, свързани с тях // И. Гълъбов. Избрани трудове по езикознание. София, 1986. С. 488 и след.
15. *Vasmer M.* Schriften zur Altertumskunde und Namenkunde. Bd. II. Berlin; Wiesbaden, 1971. S. 539.
16. *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Wyd. 2. Warszawa, 1970. S. 517: stopa...i o 'miarze'.
17. *Gilewicz A.* Miary i wagi // Słownik starożytności słowiańskich. T. III. Wrocław, etc., 1967. S. 205: перечисляет различные виды стопы как меры длины в средневековой Европе и у славян (римская, кельнская, или рейнская, немецкая, парижская).
18. *Романова Г.Я.* Наименование мер длины в русском языке. М., 1975. С. 11, 81, 82: "...неупотребительность меры с таким названием в народно-метрологической практике у восточных славян... заставляет рассматривать метрологическое значение термина *стопа* как заимствованное из церковнославянского языка".
19. *Gołąb Z.* The origins of the Slavs. A linguist's view. Columbus, Ohio, 1992. P. 166–167.
20. *Mikkola J.J.* Ein altslovenisches Wort in Fredegars Chronik // AfslPh, Bd. 41, 1927. S. 160.
21. *Трубачев О.Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959. С. 186.
22. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Изд. 2, стереотипное. М., 1986. Т. 1.
23. *Топоров В.Н.* К этимологии слав. *myslь // Этимология. М., 1963. С. 5 и след.
24. *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. I: Phonétique. Paris; Lyon, 1950. P. 96.
25. *Grinaveckis V.* Ein-Konsonantensuffixe in der litauischen Sprache // Slavia. 1993. Ročn. 62. Seš. 2. C. 175.
26. *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1962–1965. Bd. I–II.
27. *Schütz J.* Fredegar: Über Wenden und Slawen-Chronicon lib. IV cap. 48 et 68 // Jahrbuch für fränkische Landesforschung. Bd. 52. Jg. 1992. S. 45 и след., особенно 51 и след.

28. *Срезневский И.И.* Материалы для Словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1903. Т. 1–3.
29. *Mažiulis V.* Prusų kalbos etimologijos žodynas. I. Vilnius, 1988. С. 329.
30. *Топоров В.Н.* Прусский язык. Словарь: Е–Н. М., 1979. С. 169 и след.
31. *Mažiulis V.* Dėl pr. *gasto* etimoligijos // Baltistica. XXVIII (I). 1994. P. 82.
32. *Vanagas A.* Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981. S. 114.
33. *Tomaschek W.* Die alten Thraker. Wien, 1980 (unveränderter Nachdruck). S. 8–9 (II. Abhandlung).
34. *Detschew D.* Die thrakischen Sprachreste. 2. Aufl. Wien, 1976. S. 103.
35. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Worterbuch. Bern, 1949. Bd. I. S. 437–438.

Исследования по славянской диалектологии. Сборник к 85-летию С.Б. Бернштейна. Издат. "Индрик". М., 1995

POSTSCRIPTUM AD "SCLAVANIA НА МАЙНЕ"

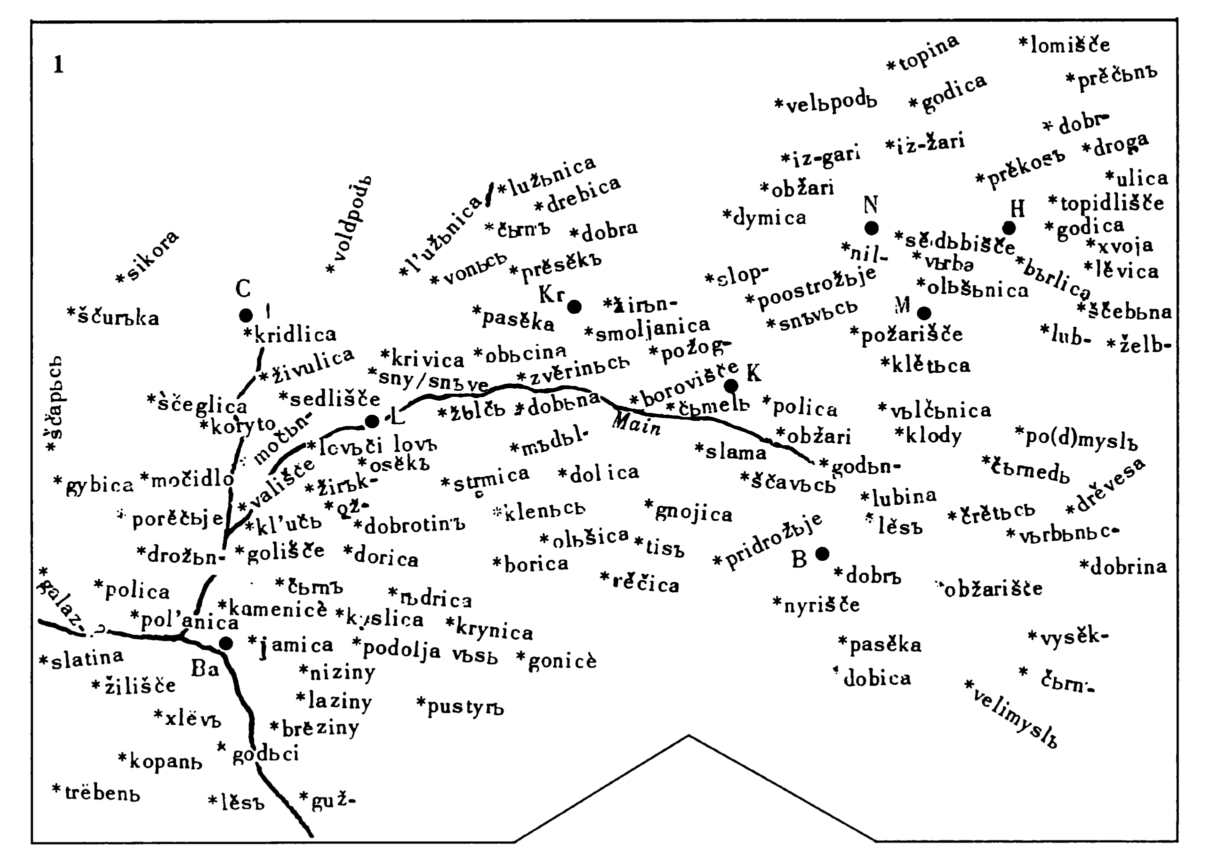
Разговор на этом не кончился, я имею в виду то, что касается праслав. диал. **velьpodь*, **volpodь*, вскрытых, как представилось Й. Шютцу, а за ним – автору этих строк, в означенных языковых реликтах. Такое толкование встретило обстоятельную критику немецких коллег, которые, надо отдать им должное, предприняли все необходимые усилия, чтобы довести до меня свою отличную точку зрения, специально прислав написанное (напечатанное) по этому поводу в провинциально немецких (баварских) изданиях. Проф. Й. Шютц тем временем умер, так что отвечать – мне. Передо мной – статья: Karlheinz Hengst. Die Walpoten – Kritische Betrachtung eines Namens und seiner mainwendischen Deutung // Sonderdruck aus Archiv für Geschichte von Oberfanken, Bd. 80 (Bayreuth, 2000). Из содержания: Автор, лейпцигский ономастславист, выступает против толкования слова *Walpot(en)* средневековых баварских источников как майнсковенедского (славянского) в значении 'повелитель'. Конкретно имеется в виду форма *waltpoto* (XI в.), *waltpodo* (XII в.), которую Й Шютц якобы возводит к собственной (ре)конструкции **velьpoto*, не засвидетельствованной ни в одном славянском языке. Второй компонент слова при этом связывается со вторым компонентом ст.-слав. **господь**, русск. *господин*, а первый компонент – с праслав. **volděti* (в тексте: "gemeinslawisch *valdeti") 'владеть, господствовать'. Справедливости ради, может быть, стоит уточнить, что покойный автор "Майнсковенедских названий Франконии" дает в качестве праславянских реконструкций формы **velьpodь* и **volpodь*, а не **vel'poto* (?), как у К. Хенгста, далее, также, пожалуй, еще и то, что при объяснении **velьpodь* целесообразно иметь в виду не только слав. **velьjь*, **velikъ*, **velьmoža*, но и наличествующее в материалах Й. Шютца на той же ограниченной франкской территории **velimyslъ* (см. также у нас, выше). Живо дискутируемый в статье К. Хенгста вопрос, – может ли вообще **праславянское диалектное** (здесь: майнсковенед-



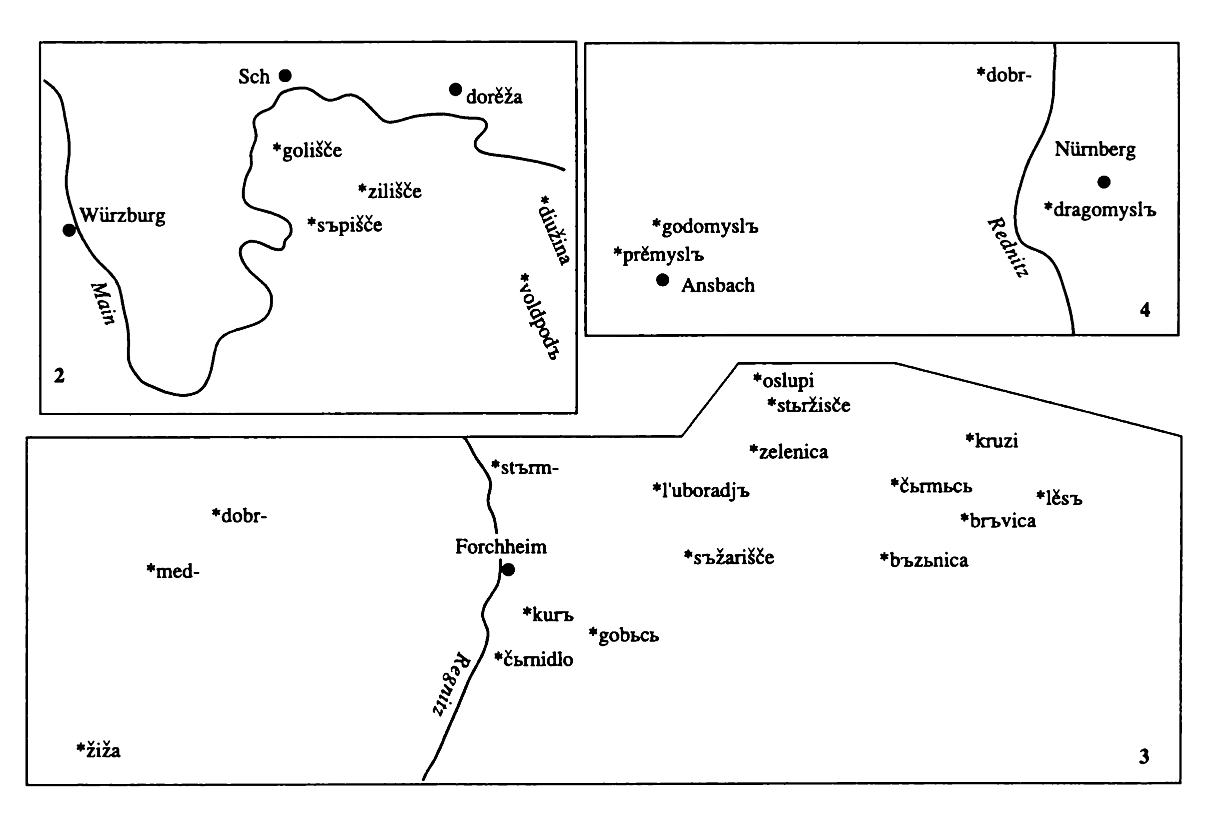
Карта 9. Moinuuinidi et Ratanzuuinidi Sclavania на верхнем Майне и на нижней Регниц

ское) слово быть без соответствий в остальном славянском, позволю себе не обсуждать, ибо высказывался об этом достаточно. Коротко говоря, К. Хенгст возвращается к утверждению, что в *Waltpoto* мы имеем слово немецкого происхождения. (Попутно замечу, что сторонник германской этимологии не может не интересоваться, точнее – не обратить внимания на удивительную вариативность, **неустойчивость** того же топонима *Wölbattendorf*, вар. *Welbatten-, Wellbotten-, Welwetten-, Wolbetten-, Welbotendorf*. Нормально ли это для исконной формы?) Действительно, формы *wal(t)poto* представлены в средневековых немецких (кон)текстах очень широко, как отмечает К. Хенгст, но можно ли из них объяснить факты переднеязычной огласовки и на этом основании отрицать всякое предположение о майнсковенедском варианте на **velь-*?

Общие мысли К. Хенгста о необходимости дальнейшего историколингвистического контроля и проверки в этой сложной материи споров не вызывают, как и допущение каких-то односторонних решений, даже ошибок у Й. Шютца (см. и у меня, выше), но кажутся нежелательными и общие преимущественно негативные оценки в отношении последнего и его книги, содержащей и материал, и бесспорные удачи, напр. анализ гидронима *Schney*. Да и вопрос о


1
*sikora
*voldpodъ
*ščurъka
*ščapьcь
C
*kridlica
*živulica
*ščeglica
*sedlišče
*koryto
*gybica
*močidlo
*vališče
*porěčьje
*drožьn-
*kl'učь
*gološče
*galaz-
*polica
*pol'anica
*slatina
Ba
*žilišče
*xlěvъ
*kopanь
*godьci
*trěbenь
*lěsъ
*guž-
*l'užьnica
*lužьnica
*drebica
*čьrnъ
*dobra
*vonьcь
*prěsěkъ
*krivica
*obьcina
*sny/snъve
L
*osěkъ
*žirьk-
*dobrotinъ
*dorica
*čьrnъ
*kamenicě
*jamica
*niziny
*laziny
*brězíny
*pustyrь
*podolja vьsь
*gonicě
*krynica
Kr
*pasěka
*smoljanica
*zvěrinьcь
*žьlčь
*dobьna
*strmica
*dolica
*klenьcь
*olьšica
*borica
*rěčica
*tisъ
*gnojica
*požog-
*borovišče
K
*čьmelь
Main
*slama
*polica
*obžari
*ščavьcь
*godьn-
*pridrožьje
B
*dobrъ
*nyrišče
*pasěka
*dobica
*velьpodь
*iz-gari
*obžari
*dymica
*slop-
*poostrožьje
*snъvьcь
*topina
*godica
*iz-žari
N
*nil-
*sědьbišče
*vьrba
*olьšьnica
M
*požarišče
*klětьca
*vьlčьnica
*klody
*lubina
*lěsъ
*lomišče
*prěčьnъ
*dobr-
*droga
*prěkosъ
*ulica
H
*topidlišče
*godica
*xvoja
*lěvica
*bьrlica
*ščebьna
*lub-
*želb-
*po(d)myslь
*čьrnedь
*drěvesa
*črětьcь
*vьrbьnьc-
*dobrina
*obžarišče
*vysěk-
*čьrn-
*velimyslь

Карта 10


Sch
*doręža
*golišče
*zilišče
Würzburg
*sъpišče
*diužina
Main
*voldpodъ
2
*dobr-
Nürnberg
*dragomyslъ
*godomyslъ
*prěmyslъ
Rednitz
Ansbach
4
*oslupi
*stьržisče
*zelenica
*kruzi
*stъrm-
*l'uboradjъ
*čьrnьcь
*lěsъ
*dobr-
*brъvica
Forchheim
*sъžarišče
*bъzьnica
*med-
*kurъ
*gobьcь
*čьrnidlo
Regnitz
*žiža
3

Карта 11

**velьpodь, *voldpodь, *velimyslъ*, при всей гипотетичности, заслуживает более спокойной проверки.

Я знал Йозефа Шютца лично, имею представление о его трудном характере, нисколько не идеализирую его, но к попыткам распространить его натянутые личные отношения с лейпцигским центром на <u>всю</u> его последующую научную деятельность отношусь без одобрения, и тот совершенно личный факт, что за воссоединением (Wiedervereinigung) Германии 1989/1990 г. не последовало "воссоединения" его с членами лейпцигской группы я бы не примешивал к исследованию чисто научных вопросов.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ НОВОЙ КНИГИ: LESZEK MOSZYŃSKI. DIE VORCHRISTLICHE RELIGION DER SLAVEN IM LICHTE DER SLAVISCHEN SPRACHWISSENSCHAFT (BÖHLAU VERLAG, KÖLN; WEIMAR; WIEN, 1992*)

Известный польский специалист по старославянской письменности, постоянно интересующийся также историей религии и религиозной терминологии, профессор Гданьского университета Лешек Мошинский представил нам в настоящей книге свой вариант праславянской (дохристианской) картины духовного мира. Автор вполне сознает, сколь ответственна его задача – подвести обдуманный современный итог после исследований А. Брюкнера, С. Урбаньчика, Х. Ловмянского и др., а также с учетом "новой сравнительной мифологии" школы Дюмезиля. Естественно, что он начинает с постановки вопросов, и первый из них – религия или мифология? Его ответ гласит (не только потому, что источники скудны и представлены неравномерно**): "Фактически праславянской мифологии в классичесом смысле не было. Так называемая праславянская мифология – это скорее научная фикция..." (с. 2). По мнению Урбаньчи-

---

* Статья представляет собой переработанный (переведенный на русский язык) вариант авторского немецкого текста, опубликованного в "Zeitschrift für slavische Philologie" (Bd. 54, 1) под названием "Überlegungen zur christlichen Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft".

** "Хронография" Малалы, пантеон Владимира Святого, свидетельства прочих летописцев, из которых некоторые поддельны или же, возможно являются вторичными интерполяциями, собственно мифологические зачатки представлены почти исключительно у прибалтийских славян, не без влияния религиозно-политического сопротивления против только еще начинающегося "Drang nach Osten", а кроме этого – применяемое при реконструкциях использование фольклорно-этнографического и тому подобного материала в записях нового времени.

ка, которого автор цитирует, мы обязаны термином "славянская мифология" традиции или же собственной лени (с. 17). Даже если дело не столь однозначно, ясно одно: теория Жоржа Дюмезиля с ее трехчастным миром людей и богов не подходит безоговорочно к представлениям наших предков. При этом изображение может выглядеть интересно и даже красиво, но не без потерь для объективного мнения, в первую очередь – для славянского своеобразия (ср. с. 17).

После некоторых филологических вступительных наблюдений Мошинский занимается тем, что он называет праславянской полидоксией: магия, колдовство (*влъхвъ, врачь, балии, диво, чудо*), а главным образом – демонологией: праслав. **vъlkod(ь)lakъ* 'оборотень', которое автор этимологизирует как **vъlko-kud-ьl-akъ* 'похожий на волка' + 'взлохмаченный, кудлатый', далее, **ǫpyrь/*ǫpirь* 'привидение', толкуемое Мошинским не совсем вразумительно как 'пернатая плененная душа умершего' (?), тогда как имеется в виду 'revenant, возвращающийся мертвец', который способен покидать свою могилу, то есть 'нечто вылетающее наверх', при этом **ǫ-* восходит к и.-е. **ana* 'вверх, сверху', в гетеросиллабической позиции -**on-* в праслав. **on-utja* (русск. *ону́ча* 'верхняя обмотка'), с сербохорв. *ва̀мпир* 'вампир, упырь' в качестве праславянского словообразовательного варианта **vъnъ-pirь/-pyrь*, тоже 'улетающее, ускользающее наружу'. За этими существами апокрифическими следуют праслав. **běsъ* и **čьtъ*, нашедшие – хотя и неодинаковый – доступ также в христианскую терминологию, особенно **běsъ*, главный термин для беса, дьявола. Не удовлетворившись этим вполне, создали для той же цели уже в раннее время еще несколько неологизмов, уклончивых табуистических обозначений: *неприязнь*, калька с др.-в.-нем. *un-holdo*, и **лѫкавын**, собственно 'ходящий извилистыми путями', не говоря о синонимах, представляющих собой книжные заимствования из греческого и семитского, но ничего общего с праславянской религией не имеющих (см. о них специально дальше в книге Мошинского).

Дальнейший особый вопрос представляет способ обозначения души в славянском. Христианское учение о бессмертии человеческой души не означает, что в понимании некрещеных славян душа сразу после смерти умирала, что, к тому же, было бы несвойственно анимистическому мировоззрению. Об исконно праславянских терминах **duxъ*, **duša*, канонизированных христианством, мы еще будем говорить дальше. Здесь отметим лишь, что праслав. **duša*, возведенное христианством в ранг универсального термина для 'бессмертной души', ранее, вероятно, употреблялось преимущественно как обозначение 'живой души', что было также в соответствии с этимологией слова **duša* (душа живая, дыхание). Уклончивый, табуистический (с христианской точки зрения, суеверный) взгляд на обозначаемое – вот, что было мотивом всех иных названий похождений

души после смерти человека, я имею при этом в виду такие слова, как **navь*, **mana* и др. Похоже, Мошинский недооценил эту разницу между христианским и дохристианским способом видения. Это сказалось на толковании слов, напр. **navь*. Архаическое обозначение мертвеца (ст.-слав. навь, νεκρός, mortuus: род. мн. из навии = отъ мрътвыхъ; Ин. 12:9) имеет достоверное праиндоевропейское происхождение. Для меня остается не вполне понятной мысль Мошинского о вторичном распространении этого слова у восточных славян (буквально: "во время их второго южнославянского влияния?", с. 27). И это притом, что древнейшие записи, а также народные говоры, великорусские и украинские, обнаруживают довольно прочное словарное гнездо: *навь, навье, навий, нáвский день* 'день поминовения усопших', нàвський (*мáвський*) *великдень, нáвья кость*, укр. *мáвка* 'некрещеный ребенок женского пола, после смерти в русалку'. Отсутствие праслав. **navь* в польском заслуживает особого объяснения, но не является "неопровержимым" аргументом против принадлежности этого слова к праславянской демонологии (ср. с. 28). С миром душ умерших связано так или иначе слово *Велес*: некий мифический *Велесъ* упоминается в "Слове о полку Игореве", еще один *veles* – в старочешском ругательстве *k velesu* (что-то вроде 'к черту'). Определенные родственные отношения с лит. *vėlės* мн. 'души умерших', *vélnias* 'черт', известные с давних пор, не являются, однако, основанием для того, чтобы объяснять вместе с автором славянское слово как заимствование из балтийского (с. 29–30, 43), тем более, что сам Мошинский несколькими страницами дальше, а также в другом месте (1) устойчиво приписывает его влияниям кельтского, хотя и здесь речь скорее идет об индоевропейских родственных связях. Это своеобразное корневое гнездо будет интересовать нас также в дальнейшем. Кроме нескольких германизмов и латинско-романских элементов различного распространения из понятийной сферы мира духов (польск. *skrzat* и родственные, *strzyga, striga*, ст.-слав. роусалиıа, откуда русск. *русáлка*), автор отмечает собственно славянские слова вероятно более позднего образования, главным образом в полной форме (*zmora, topielica, południca, dziwożona*), подвергая их дальнейшему анализу (см. с. 31), что было бы, возможно, интересно в плане истории слов и понятий (включая отношения христианско-дохристианского взаимодействия), ср. напр., тему беса полуденного (русск.-цслав.) 'daemon meridionalis'.

О возможно праславянском женском божестве **Mokošь*, др.-русск. (у Мошинского "altostslav") *Мокошь* автор не может нам сообщить ничего нового (с. 32). Мошинский трактует раздельно вышеупомянутый мир духов (II. Праславянская полидоксия, с. 18–37) и собственно мир богов (III. Праславянская религия, с. 38–113), что, кажется, до некоторой степени противоречит его собственному суждению: "Праславянские демоны не стояли между человеком и богом..." (с. 37). Если развить его логически несколько дальше, это

суждение обрело бы такую формулировку, что праславянские духи обязательно принадлежали *к тому же миру*, что и праславянские боги, а историко-типологическим основанием для этого явилось то, что понятие 'богов' едва ли было у праславян столь законченно и развито, как в более развитой религии, оно было у них, так сказать, на полпути в этой эволюции. Приблизительно так обстояло дело с варварскими βασιλεῖς, reges в античной и средневековой традиции: это не были цари, короли в собственном смысле слова. Наша попытка ослабить оппозицию 'дух' – 'бог' в праславянской культуре дает также дальнейшую перспективу для суждений о предмете в его истории. Ввиду расплывчатости активного понятия 'бога' мы вправе усомниться, что процесс протекал точно так (как представил его Дитрих у Мошинского, с. 38–39): «и.-е. **dei̯u̯os* 'бог – господин ясного неба' – [>] **bhagos* > **Bogъ* 'бог-податель'». Но, спрашивается, знали ли вообще прежде древние праславяне это **dei̯u̯os* '**бог**'? Равным образом должно считаться расплывчатым славянское обозначение 'рая' – **rajь*. Отсутствие оппозиции 'рай' – 'ад' (не говоря уже о 'чистилище, purgatorium'!) имело своим следствием то, что праслав. **rajь* могло означать только 'потусторонний мир' вообще. Сравнение его по-прежнему с иран. *Rāy* 'богатство, счастье' (Мошинский, с. 39, прим. 159) теряет всякий смысл. Я обсудил эту проблему подробнее в другом месте (2, с. 173–174), сославшись на мнение Мейе о том, что славянское название рая **rajь* имеет ярко выраженный народный характер, и, кроме того, указал на то абсолютно игнорируемое обстоятельство, что европейский, международный термин для рая был получен через посредство греч. παράδεισος из совершенно другого иранского источника с исходным значением 'огороженное место, парк'.

В вопросе об иранских этимологиях древнерусских теонимов *Хорсъ*, *Стрибогъ*, *Сѣмарглъ* Л. Мошинский занял сдержанную позицию, следуя в этом Ю. Речеку (с. 47). Тем больше бросается в глаза готовность Мошинского считать, что кельтские влияния простираются до острова Рюген (с. 50). Но современное языкознание отвечает на вопрос о кельтах на берегах Балтийского моря отрицательно (ср. напр. решительную критику подобных рассуждений Шахматова у Фасмера [3]). Во всей зарейнской Германии кельты едва ли продвинулись севернее верховьев Эльбы, что же касается некоторых более северных находок, напр. серебряный котел с изображениями кельтских богов, найденный в Дании, то их можно отнести на счет торгового и военного импорта, ср. (4; с картой). При этом не все и в аргументации Мошинского относится к языкознанию в собственном смысле слова, будь то засвидетельствованное у прибалтийских славян и, по мнению Мошинского – кельтское, почитание лошадей или же многоголовость богов – там же, напр. *Triglov* у полабских славян, несмотря на то что автор никак не может решить сам, не скрывается ли в этом образ христианской Троицы (с. 59). Поли-

кефалия (вар.: полимастия 'многососцовость') принадлежит, однако, к распространенным представлениям о божествах, ее пытались связать с родовой организацией (5, с. 8–9), дальнейшие соображения о западнославянских групповых божествах см. (6). Мошинский высказывает предположение, что в имени полабского бога *Prove vel Prone* (совершенно недостоверном со стороны формы) представлено имя кельтского бога *Borvo/Bormo* (с. 52), но против этого объективно свидетельствует славянская по виду форма имени, вероятно, того же самого бога Poreuithus, явно образованная с адъективным суффиксом *-ov-itъ* от *pora* 'время года, жизненная сила'. Неправдоподобность реконструкции, эмендации **Taran-vitъ* (?) из *Turupit* в древнеисландском источнике (с. 55) означает для нас невозможность говорить о каком-то боге по имени **Taranъ* из кельтского *Taranis*. Далее, автор склонен видеть в слав. *Veles* заимствование из древнекельтского **u̯el-et-s*, откуда древнеирландское *fili* (им. п.) 'ясновидящий, поэт' (род. п. *filed*, дат. *filid*, вин. *fileda*). Но, насколько уже явствует из исторического имени (возможно, кельтской по происхождению) ясновидящей жрицы – *Veleda* – у одного германского племени (по Тациту), заимствованное имя (также в нашем случае) скорее кончалось бы на *-t-* или *-d-*, не говоря о прочих сомнениях со стороны формы, а также семантики (в случае со славянским *Велесом* речь идет о божестве, а не о поэте или ясновидце). Поэтому целесообразно оставить пока кельтское слово в стороне, а имя *Велес* нам еше потребуется обсудить в более широком контексте.

Но сначала обратимся к главному слову как христианской, так и дохристианской славянской религиозной лексики, – прилагательному **svętъ*. Это слово обладает в историческую эпоху во всех славянских языках практически одним единственным значением 'святой', и его охотно воспринимают как христианское и опрокидывают в праславянскую древность. Но это вряд ли имеет что-нибудь общее с семантической реконструкцией. Так, наш автор неоднократно утверждает, что праслав. **svętъ* первоначально означало 'светлый, блестящий' (с. 60, 93). Один из богов у северо-западных славян носил имя *Svętovitъ*. Это имя, с одной стороны, стоит в ряду двухчленных, по большей части княжеских, личных собственных имен, таких, как русск. *Святослав, Святополк*, ст.-польск. *Świętosław, Świętopelk*, так же и у других славян, с другой стороны – в ряду производных имен с суффиксом *-ovitъ* (см. выше), ср. прежде всего древнеполабские теонимы *Jarovit, Rujevit, Porevit*. Было бы заблуждением реконструировать на их материале существительное **vitъ* (с каким бы то ни было значением – 'dominus, potens' или 'бытие', ср., с литературой, Мошинский, с. 61). Не менее нелепой представляется попытка усмотреть в нем чуть ли не "церковного бога лехитских славян" по имени **Vitъ* (М. Рудницкий у Мошинского, там же) или, наконец, христианского святого *Вита*. Эти мифы современной науки отдают чистой народной этимологией и напоминают мне похо-

жий лингвистический анекдот из области далматинско-хорватского (рассказанный мне в свое время в Загребе), а именно: апеллатив *svetiònik* 'маяк', разумеется, из **svĕtiolьnikъ*, сюда же русское *светильник*, некоторые тамошние жители понимали как **svetī Onik* (род. п. *svetog Onika!*) 'святой Оник'... Едва ли удачна еще одна этимология *-vitъ* в составе имени *Svętovit* из первоначального **viktъ* < и.-е. **u̯ei̯k-t-* или **uik-t-* с значением корня 'жизненная сила', ср. лат. *victima* 'жертва' (7, с. 40). Нам кажется более перспективным предполагать в образованиях на *-ov-itъ* своего рода степень сравнения, ср. там же (7, с. 40) мнение Р. Якобсона о том, что в случаях с *Jarovit, Rujevit, Porevit* мы имеем дело с обозначениями различных ступеней жизненной силы. Тем самым мы возвращаемся к концепции *Svętovit* как суффиксального производного. Этому вполне отвечает констатация того, что *Svętovit*, собственно говоря, является эпитетом (8, с. 421). Этимология и употребление слова **svętъ* подсказывает нам несколько иное решение, отличное от первоначального значения 'светлый, блестящий', как у Мошинского, выше. И.-е. **k̑u̯en-to-*, откуда слав. **svętъ*, обнаруживает исходное значение 'набухший, выросший, усилившийся', ср. (7, с. 17 и passim). Терминологизированный сакральный характер с оттенком внешнего 'сияния' прибавился сюда позже. Мы согласны с Топоровым, что, например, **Svętoslavъ* – это «не тот, чья слава "сакральна", но "тот, у кого она возрастает, ширится"» (7, с. 40). Но, может быть, еще явственнее это в случае с именем **Svętopъlkъ* = 'тот, полк (дружина) которого множится'. Широкоупотребительная по сей день русская пословица: "Свято место пусто не бывает" (которую следует понимать в том смысле, что 'изобильное не бывает пустым') – говорит сама за себя и дышит архаикой. Мы имеем здесь перед собой смысловую оппозицию, едва ли замеченную исследователями, 'святой' – 'пустой' (то есть с чертами досакрального, дохаризматического употребления и при полном отсутствии признаков блеска). Русское *пустосвят* 'исполнитель внешних обрядов для виду' (словарь Даля) уже показывает дальнейшее семантическое развитие[1]. Одним словом, исследуя старую религиозную терминологию и через нее – более древнее состояние культуры, мы нередко рискуем модернизировать и подгонять под свой собственный (христианский) способ видения многое из исследуемого. Что и случилось с Мошинским, который резюмирует свое исследование таким образом (с. 124): «Праславяне имели только одного Бога, которого они представляли себе как "лучезарного подателя" (*svętъ Bogъ*)». Даже если посмотреть на дело чисто филологически, оно

[1] Примеч. ред.: Смысл пословицы, по-моему, иной. *Свято место* противопоставлено *пустому* как 'освященное' (ср. оберег: "Наше место свято!", сопровождающийся творением креста) – 'дикому, лесному' (ср. *пустошь, пуща*, др.-русск. *paustre* 'дикое место'; отсылы болезней *на пусты лесы* (*l* – *a*) в русских оберегах и *в (на) пусту гору* в болгарских и сербских заговорах. Значение 'порожний, полый' у корня *пуст-* явилось из 'необработанный, бесплодный (о земле)'. – *А. Страхов.*

представляется далеко не таким простым и однозначным. Возьмем общеизвестное и цитируемое также Мошинским место из Прокопия (De bello Gothico III 14, 23): θεὸν μεν γὰρ , ἕνα, τὸν τῆς ἀστραπῆς δημιουργὸν ἁπάντων κύριον μόνον αὐτὸν νομίζουσιν εἶναι 'они (славяне. – *О.Т.*) имеют одного бога, творца молнии, которого они считают единственным господином всего сущего' (так у Мошинского, с. 66). Но было бы небесполезно для всех дальнейших догадок автора о том, имеем ли мы здесь дело с монотеизмом или энотеизмом, уделить внимание тому факту, что лучшая рукопись Прокопия дает именно чтение: θεῶν (не θεὸν! – *О.Т.*) μεν γὰρ ἕνα ... (и далее по тексту), то есть надо читать 'одного из богов'...; ср. (9). Таким образом, что было чрезвычайно характерно для дохристианской, праславянской религии, так это плюраль **bozi* (вин. мн. **bogy*; ср. специально русскую начальную летопись о деятельности Владимира в связи с языческим пантеоном и последовавшим затем низвержением богов), а не singulare tantum **Bogъ*, столь привычное для христианского мироощущения. Может быть, именно это культурно-исторически вторичное восприятие побудило автора к построению несколько деланной этимологии праслав. **dadjьbogъ* как некоей формулы приветствия **dadjь Bogъ* 'дай Бог (тебе счастья)', своеобразный эквивалент христианского *съпаси Богъ* > русск. *спасибо* (с. 68–69).

Памятуя о подзаголовке книги Мошинского ("...в свете славянского языкознания"), мы с сожалением констатируем, что большинство этимологий, предложенных автором, едва ли можно назвать удачными, будь то **tŕno-golvъ* ('Христос в терновом венце' (?!) – о языческом боге победы у полабян: на основе *Tjarnoglofi* древнеисландской традиции, с. 74–75) или дешифровка **potǫga* < *Podaga*, praepotentia которой упоминается в источнике (с. 79), но Podaga (вар.: pogaga) заслуживало бы более естественного объяснения, уже предлагавшегося другими исследователями ранее, что-то вроде 'пожар', чем выражалась мощь бога. К той же семантической сфере могло бы принадлежать божество северо-западных славян *Pripegala*, если из **Pripěkala*, отглагольное имя от **pripěkati* 'припекать'. Мошинский смотрит на него иначе, связывая с польск. opieka 'забота, попечение' (с. 81). Но столь резкие семантические различия одного и того же глагольного корня **pekt'i* 'жечь, печь, жарить' и – 'заботиться' зависят главным образом от префикса.

"До сих пор языкознание едва ли привлекалось в исследованиях по дохристианской славянской религии", – таков приговор, выносимый автором (с. 88), и мы должны на этот раз признать его правоту.

Мошинский придерживается мнения, что слова **duxъ* и **duša* не принадлежали к праславянской религиозной лексике (с. 97). Выше мы попытались затронуть проблему похождений души после смерти, насколько они (похождения) могли обозначаться с помощью табуистического древнего словарного состава, служить предметом представлений, а также по возможности прослеживаться и вскры-

ваться лингвистическим путем. То, что до смерти носило название *duša, продолжает, по праславянским представлениям, жить и после смерти, но только – под новыми именами *navь, *mana, *manъ и, возможно, также другими, ср. еще и и.-е. *ăn-, откуда не только нем. *Ahn* 'предок', но и слав. *vъnukъ 'внук', этимологически 'того же рода, что и предок, дед; принадлежащий предку деду' (5, с. 74–75). Существенная деталь: в книге Мошинского я не встретил слова и (понятия) табу ни разу, отчего явно пострадало лингвистическое исследование материала. Равным образом в ряде случаев, кажется, имело место пренебрежение лингвистической типологией. Вот только один пример, который, однако, с тех пор как я его обнаружил, является для меня чудом лингвистической типологии и славянского культурного своеобразия. Тот же самый лексический материал служит предметом обсуждения и у Мошинского в части III, главе 2 "Дохристианская религия славян в свете праславянского словарного состава", параграф с) "Проблема ответственности человека после смерти" (с. 97 и сл.). Там написано совершенно правильно, что «проблема грядущей ответственности была чужда праславянам. Праславянский словарный состав не содержит слова, обозначающего 'ад, преисподнюю'» (с. 97). Таким образом, не было лексико-понятийной оппозиции между 'раем' и 'адом', мимо чего автор проходит молча. Но поскольку упраздняется названная оппозиция, а вместо двух четко очерченных понятий остается одно расплывчатое 'потусторонний мир, тот свет' (см. об этом уже выше), отпадает надобность и в этом разделении на хорошие и плохие души... Этого не позволяет делать элементарный структурализм, отчего в праславянский потусторонний мир (*rajь) переселяются все умершие. Иначе мы получим не реконструкцию праславянского состояния, а скорее иррадиацию собственного христианского сознания на собственные научные представления. Но самыми важными, на мой взгляд, остаются дальнейшие типологические различия. На одной стороне мы констатируем эту славянскую ситуацию с наличием собственного названия 'рая' *rajь, отсутствием заимствования из греч. παράδεισος и с заимствованными названиями 'ада' (*адъ, пьkълъ*). Совершенно противоположную ситуацию мы наблюдаем на другой стороне – у большинства неславянских народов Европы и в их языках. Лат. *infernum* и его продолжения во всех романских языках, нем. *Hölle*, англ. *hell* и т. д. 'ад' показывают нам, что в западном языковом и культурном ареале туземными и дохристианскими были как раз названия 'ада, преисподней', в то время как понятие и название 'рай' там оказалось импортированным извне вместе с христианизацией (10). Нельзя не высказать своего удивления по поводу того, что столь глубокое различие между Востоком и Западом до сих пор, насколько я знаю, не привлекло внимания.

Среди прочих лингвистических и этимологических неудач книги следует, возможно, выделить анализ лексического семейства *трѣба*

‘жертва’. Автор явно пошел по ложному следу, принимая здесь за исходные значения ‘чистить’, ‘корчевать (лес)’ (с. 109). Конечно, здесь представлен корень *ter-, расширенный элементом -b- и обладающий основным значением ‘тереть, перетирать, истреблять с помощью чего-то острого’, но сакральное значение ‘жертва’ дало не оно. Непосредственно от глагольного значения ‘перетирать, истреблять’ отпочковалось значение ‘острая необходимость, дело’ (ср. лит. *reĩkia* ‘надо, нужно’, *reĩkalas* ‘дело’, этимологически родственные с значением глагола *rĩikti* ‘резать’ (11, с. 714)). Праслав. *terba, цслав. *трѣба* ‘victima’ < ‘necessitas’ (сюда же польск. *trzeba* ‘нужно’) являются хорошей аналогией этому. Когда Мошинский (там же) толкует слово *трѣбище* как ‘очищенное от деревьев, раскорчеванное место’ получается еще одна досадная ошибка. Со стороны языка дело ведь абсолютно ясно и однозначно: *трѣбище* – это (также в этимологическом смысле) ‘место требы, жертвоприношения, locus victimae’, в соответствии со словообразовательной моделью на *-išče* и семанической иерархией. Строго говоря, и ст.-слав. *капище* – не обязательно ‘здание’ (к трудному вопросу о храмах), как см. у Мошинского, с. 112, а точнее – ‘место того, что называется капь (‘идол’)’.

Что касается обсуждения книги, мы уже близки к цели. Я, конечно, разделяю мнение, что эта тема сложна, трудна и с лингвистической точки зрения обработана еще в малой степени. Вызывает сожаление, что наш автор трактовал проблему слишком фрагментарно. И его заявленная лингвистическая позиция осталась скорее невыполненным обещанием; у Мошинского, безусловно, хорошего филолога, перевесила склонность к историко-филологическому (по большей части традиционному) взгляду на вещи. Но одной письменной традиции для реконструкции языка и культуры недостаточно. Напрасно также объектом критики и сомнений Мошинского сделалось использование этнографического материала. Но главное, в сущности, то, что в его изображении своеобразие праславянской религии оказалось едва ли затронуто.

Остаются уязвимыми для критики и рассуждения автора о том, что мы должны называть религию праславян не языческой (*поганьскъ*), а дохристианской (с. 123, 125). Из этого можно было бы сделать явно опрометчивый вывод, будто речь идет только о немногих столетиях, собственно предшествующих введению христианства, то есть об отрезке времени, которым традиционно любят оперировать историки языка, но это не так. Следует говорить о самостоятельном, весьма протяженном периоде, значение которого вряд ли можно было бы переоценить, тем более, что его воздействие сохраняло силу и для последующего христианства (ср. то, что сказано выше о понятийной паре ‘рай’ – ‘ад’ в двух культурных регионах Европы). Тем самым ставится вопрос о временной глубине и о том, что она в исследовании Мошинского, по-моему, недостаточна. Так, интерес исследователя простирается не далее середины I тысячелетия

до н.э., или, выражаясь словами самого Мошинского (с. 125): “Очень древние иранские влияния были не столь существенны... Скандинавские влияния установить не удается. Протоболгарское влияние было лишь поверхностным. Влиянию кельтской религии подверглись прежде всего западные лехиты”. И это все? Как я себе это сейчас представляю, ученый занимается последним периодом развития праславянской языческой религии: уже наличествует понятие бога (богов), не без иранского влияния. Вне поля зрения остался предшествующий период культурной жизни с более примитивным миром духов и характерными нравами и обычаями, но совершенно отличный также по своим языковым и этническим связям, прежде всего славяно-италийским (латинским). Обойти их здесь молчанием было бы едва ли правильно, но тем самым нам придется говорить о другой книге – о моем “Этногенезе и культуре древнейших славян. Лингвистические исследования”, вышедшем в 1991 г. (2). После прочтения книги Мошинского я нахожу это даже настоятельно необходимым, тем более, что прошедшие после этого годы помогли здесь кое-что добавить или объяснить.

Для краткости я буду придерживаться своего тогдашнего изложения, будучи при этом, однако, вынужден произвести некоторый отбор проблем в интересах, так сказать, продолжения диалога с Мошинским. Итак, по порядку: кельтов я вижу значительно южнее – южнее, чем германцы последних столетий до н.э., чей отпечаток носит имя *вольков/волохов* (*Volcae* > **Walhōz* > праслав. **volsi/*volxy*) в их продвижении к славянам в Среднее Подунавье. Значительно дальше на восток и не раньше V в. до н.э. имеют место не только иранско-славянские, но индоарийско-славянские контакты. Это путь к этимологии **Svarogъ* из др.-инд. *svargá-* ‘небо’. Иранская этимология терпит естественное фиаско на фоне сохранения этимологического *s-* в начале слова; невозможность исконно праславянской этимологии очевидна из наличия *-r-* внутри слова (если от названия солнца, то почему тогда не *-l-*?); то, что пишет об этом слове Мошинский (с. 53–54, примеч. 226), неубедительно. Наш вышеупомянутый terminus post quem (середина I тысячелетия до н.э.) для контактов с индоарийским ограничивает более глубокую датировку также и для имени “бога солнца” *Svarogъ*. После критики неестественно высокоразвитой трехклассовой культуры (пра)индоевропейских племен по Дюмезилю, Гамкрелидзе и Иванову я обращаюсь к ключевому (в моем представлении) слову славянской культуры **svojь* в контексте родовой идеологии и терминологии, ср. в первую очередь словосочетание **svoj rodъ*. С идеологией рода естественно сочетается земледельческая идеология со своими суевериями. Так следует понимать, как мне кажется, русск. *колдýн*, собственно, праслав. **kъltunъ* ‘тот, кто спутывает (хлебные колосья – со злым умыслом)’. Памятуя о родовых коннотациях слова **svojь* (и.-е. **su̯e-*), рассматриваю праслав. **sъ-mъrtь* ‘смерть’ как эквивалент русск. *своя*

смерть – о естественной смерти – со специфической понятийной нейтрализацией и.-е. **su-* II 'suus' и **su-* II 'хороший (в нравственном смысле)' – и то, и другое из первоначального **su-* 'рождение, род'. 'Тот свет' обозначался просто как 'связанное с (или находящееся за) водой' (своего рода across the river and into the trees / На той стороне реки, в тени деревьев, как у Хемингуэя...), ибо примерно таков этимологический смысл праслав. **rajь* (**rōi̯-*: **rei̯-*), а отсутствие **rajь* в гидронимии (с которым связаны сомнения Фасмера) объясняется как сакральный запрет.

Когда в центре картины мира помещается **svojь rodъ* (и.-е. **su̯o-ĝeno-* 'свой род'), уместно говорить скорее об антропоцентризме, но не о трехчастной модели мира. Развитые религиозные системы, семья богов, пантеон появляются относительно поздно, во всяком случае вторично, за ними почти можно наблюдать глазами истории, как, например, за реформой Владимира 980 г. Боги появляются вследствие сублимации низших божеств, и собственно праславянская культура была как раз охвачена этим развитием. Многое при этом осталось незавершенным, как бы на полпути, как этот **Perunъ* – отчасти бог, а отчасти – чисто нарицательное обозначение грома с молнией, **perunъ*. И в этом сама славянская архаика. Божественность того же Стрибога и Дажбога не следует преувеличивать, это культурные инновации послескифского времени, но все же теонимы (а не формула приветствия!), которые, впрочем, оказались возможны только благодаря расцвету определенного антропонимического типа. Ослепленные блеском более развитых религиозных систем, "героического века" их мифологий (в Древней Индии, Риме и др.), исследователи слишком часто упускают из виду то, что вправе считаться (пра)славянской спецификой. Так, например, *Родъ*, олицетворение человеческого рода, вообще не находит места у Мошинского, но надо признать, что в контексте намеченной выше реконструкции **svojь* (**svojь rodъ*) и др. это приобрело бы прямой смысл. Похоже, что исследователи религии старшего поколения, навлекшие на себя критику за свою приверженность к этнографии, понимали дело правильнее. Я имею в виду Гейштора, который, правда, идя по стопам Бенвениста и Р. Якобсона, стремился обязательно вставить славянского *Рода* в классическую индоевропейскую мифологическую систему (12, с. 156). Внутреннесемантические аналогии с римским *Quirinus* (**co-vir-* 'мужское содружество'), умбрским *Vofione* (**leudh-*, ср. слав. **l'udьje*), кельтским *Teutates* (*teuta* 'род, народ'), может быть, и не лишены интереса. Особенно много занимается *Родом* Б.А. Рыбаков, ср. целую главу "Род и рожаницы" в его книге о язычестве древних славян (13, с. 438 и сл.), а также его последующую книгу (14, с. 246 и сл.). После специальной работы И.И. Срезневского 1855 г. и исследований А.Н. Веселовского Б.А Рыбаков тоже уделяет внимание так называемым *рожаницам* русских народных верований, этим 'паркам, стерегущим домашний

очаг', ср. еще специально (15, с. 94 и сл.). Несколько слов об этих существах, поскольку их образ и название все же не вызвали особого интереса со стороны исследователей. Может быть, именно потому, что со стороны языка здесь все кажется таким "понятным" и "прозрачным"? В названии *рожаниц*, кроме женского характера и преимущественно множественной формы (каковая выразительно связана с родовым коллективом и его идеологией) заслуживает внимания грамматическая сторона и ее отношение к лексической семантике слова. Наш автор Лешек Мошинский тоже занимался праслав. **rodjanica* в своей статье о славянских названиях чародеев (16, с. 104–105). Но от него ускользнуло своеобразие слова: действительное (активное) лексическое значение при страдательном (пассивном) грамматическом виде, ибо **rodjan-ica* принадлежит к *пассивной* причастной форме прошедшего времени *лишь формально*. Все говорит за то, что мы здесь имеем, так сказать, функциональный медий (средний залог: пассивная форма + активное значение). И нет никаких оснований для того, чтобы толковать это слово вместе с Мошинским как 'ta, która została urodzona'! Аналогичный медий, как и в *рожан-ица*, наблюдается в слав. **pьjanъ*, русск. *пьян, пьян-ица* (тоже в основе страдательное причастие с действительным лексическим значением). Нашей задачей было показать здесь высокую архаичность слова *рожаницы*, которую историки культуры чувствовали, может быть, лучше, чем языковеды.

Вернемся теперь снова к нашей книге об этногенезе и культуре. Периоду более высокой религии и соответственно развитой теонимии (и то, и другое синонимично героическому веку классической древности) совершенно естественно предшествовал период молчаливого поклонения, и пение гимнов героического века – отнюдь не извечная категория. Достаточно сравнить вторичность **pojǫ* 'пою, воспеваю' на основе *pojǫ* 'пою, даю пить' в славянском. Именно этим более архаичным периодом датируется такая выдающаяся эксклюзивная славяно-латинская изоглосса из области древнейшей религиозной практики, как **gověti* 'поститься', '*хранить молчание*', 'воздерживаться', 'благоприятствовать' – *favēre* 'быть благосклонным', '*хранить молчание*'. Это можно определить как стадию *favēre*. Так что сначала безмолвное почитание богов или, правильнее сказать, – безымянных сил природы, при полном отсутствии самих имен и терминов. Свидетельство лат. *nūmen* 'безмолвный знак, кивок; изъявление божественной воли; *божество*' может тоже считаться красноречивым архаизмом стадии *favēre*. И только после стадии *favēre* наступает стадия *hávate*, обычно столь неумеренно обобщаемая современным исследованием. Реконструкцию в собственном смысле при этом путают с транспозицией. В начале всякой культовой и именотворческой деятельности была неизреченность, табу и различные запреты. Только типологически здравое рассмотрение (пра)славянской культуры как самостоятельного диалектного

варианта способно оградить от потопа дюмезилевской системы славянскую (как и любую другую!) самобытность. Мошинский, правда, не согласен следовать школе Дюмезиля, но то, что мы получили в его книге, это, собственно говоря, дохристианская славянская религия глазами доброго христианина, и это его благочестивое приношение, похоже, уже в силу одного этого сужения поля зрения отвечает не всем требованиям науки.

После предложенного параллельного чтения двух книг о культуре праславян можно выделить еще несколько вопросов, заслуживающих дальнейшего (хотя бы краткого) обсуждения. Для меня это, в первую очередь, славяно-латинские изолексы высокой архаичности, предпочтительно из сферы древнейшей религии. Вслед за уже упоминавшейся парой слов **gověti – favēre* назову дальше праслав. **mana* (русск. диал., укр. и блр.) 'привидение', **manъ* (польск. диал.) 'галлюцинация', (русск. диал.) 'нечистый дух, обитающий в доме или в бане' и лат. *mānēs* 'духи умерших'. Ср. еще русск. диал. *манья́* 'приведение, призрак', укр. диал. *манія́*, блр. диал. *ма́нія* – с тем же значением и лат. māniae 'призраки мертвых'. Общность форм и значений при этом столь велика, что мы чувствуем себя вправе говорить здесь об общих началах культа предков, культурном событии, совершившемся намного раньше, чем, скажем, тот гораздо более поздний славяно-иранский культурный обмен из эпохи более развитой религии (о чем выше).

Таковы данные моей книги по этногенезу и культуре 1991 г. С того времени были выполнены еще две работы на тему, а именно доклад на съезде славистов в Братиславе (17) и его продолжение. А главное, о чем стоит упомянуть (помимо критики наивной "реконструкции" Лейстом и Леманом первой заповеди *праиндоевропейского* общества "Тебе надлежит чтить богов" (!!), чему я настойчиво противопоставляю свою версию древнейшей заповеди, а именно **ĝnō- su̯om ĝenom* = **znajь svojь rodъ* 'знай свой род'...), это, собственно, еще одна эксклюзивная славяно-латинская изолекса, почерпнутая из практики работы над Этимологическим словарем славянских языков, и на этот раз тоже из нравственно-религиозной сферы. Со славянской стороны это **nebasъ* (кашубскословинское 'негодяй', русск. диал. 'грубый'), сравниваемое со знаменитой латинской правовой формулой *ne-fās* 'грех', и образующие с ними обоими пару утвердительное праслав. диал. **bas-* (русск. диал. суффиксальные производные со значениями 'хороший, красивый') и лат. *fās* 'божественный закон'. Славянские лексемы из области религии **gověti*, **manъ/a* и **basъ/*nebasъ* с их латинскими соответствиями следует понимать также как нашу корректуру к заключению Голомба (18, с. 173) о том, что в северозападном индоевропейском лексиконе религиозные термины отсутствуют.

У нас нет желания ввязываться в дискуссию, отвечает ли праславянская духовная культура больше религии, а не мифологии. Для да-

лекоидущих аналогий с мифологией классического типа как будто нет достаточных оснований. Но и здесь нигилизму все же стоит предпочесть дальнейшую работу по реконструкции. Эта дальнейшая работа могла бы выявить дополнительную информацию о местных божествах. А с другой стороны – пополнить наши сведения о так называемых главных божествах, не претендуя при этом на раскрытие целых "мифов". Лучше оставаться при этом на лексико-семантическом уровне, опираясь, разумеется, на здравые этимологии. Возможности последних далеко еще не исчерпаны, бывает, что и результаты полученные ранее, остаются порой втуне, как та этимология Куриловича: слав. **košćunъ* (и родственное) как калька иранского *astvant-* 'преходящий, бренный', буквально 'костеобразный', ср. (19), и это – о человеческой душе! Выходит, что все это гнездо слов, столь весомое в плане христианских этических норм, – **košćunъ*/**košćuna*, **košćuniti*, русск. *коцу́нство* – следует считать дохристианским праславянским. Что касается малоизвестных местных божеств, то я мог бы указать пока на два примера. Один из них, особенно веский в моих глазах ввиду его локализации на Среднем Дунае предположительно праславянского времени, – это имя из римской эпиграфики Dobrati(s), в надписи II–III вв. н.э. из Нижней Паннонии (Intercisa на Дунае), собственно, праслав. **dobrotь* 'добро, доброта', в данном случае персонифицированное (надпись на барельефе с изображением конного божества), см. об этом у меня (2, с. 100–101). Второй из двух моих примеров, возможно, не столь многозначителен, но тоже может быть отнесен к древности. Я имею в виду случаи потенциальной сакрализации праслав. **děva*, притяжательное прилагательное **děvinъ* 'девичий, девственный', засвидетельствованные в топонимии. Это как правило обрывистые скалы, труднодоступные (и, возможно, культовые?) места, в их числе – знаменитый Девин в Словакии, при впадении Моравы в Дунай. В отличие от Л. Мошинского, Б.А. Рыбаков специально пишет о нем, о распространении святых гор с такими именами во всем славянском мире и о прочной связи древних ритуальных традиций с ними (13, с. 285). В качестве параллели можно сослаться на синонимичное греч. Παρθένιον, например, в античном Крыму.

Праславянские имена богов остаются по-прежнему актуальной темой. С апеллативом **bogъ* связана вероятно праславянская производная форма **bogytъ*, что-то вроде 'место, посвященное богу', образованная с суффиксом *-ytъ* от **bogъ*, засвидетельствовано прежде всего как название горы *Богит*, в непосредственной близости от места, где был найден знаменитый збручский идол; см. об этом и о раскопках И.П. Русановой там же (14, с. 250, 251, 767). Остается сказать, что, например, А. Вайян ничего не знает об этом архаичном производном на *-yt-*, ср. (20, с. 700). В свое время оно ускользнуло и от нашего внимания, я имею в виду гнездо **bogъ* в нашем Этимологическом словаре славянских языков.

Несмотря на то, что выше мы констатировали нарицательное употребление слова **perunъ* ‘гром’ от праславянского до современности, что, так сказать, ослабляет безусловно божественную природу обозначаемого именем **Perunъ* и ставит его под вопрос, все же многое говорит также в пользу еще праславянской народной веры в этого бога. В пользу этого говорит, например, и своеобразная табуизация имени этого бога с помощью народных вариантов вроде *paron*, *parom*, а также *taron* и др., которые, тем самым, вряд ли имеют что-нибудь общее с анатолийскими именами бога грома, как напр. хетт. *Tar̮hun-*; совершенно излишне также принимать для западнославянского диалектного *taron* кельтское происхождение, ср. (21). Одной этой табуизации достаточно, чтобы удостоверить божественный статус Перуна. Попытка уравнять заимствованного Сварога с исконным Перуном, а Велеса, так сказать, лишить божеского сана (и то, и другое в вышеназванной книге Л. Мошинского) выглядит все-таки недостаточно обоснованной. Вместо того, чтобы совсем отделять восточнославянский вариант *Волос* и понимать его как преобразование заимствованного имени Βλάσιος, мы видим в нем в согласии с другими исследователями еще праславянские варианты **velesъ*/**velsъ*. Следы имени не только Перуна, но и Велеса широко распространены, в том числе к югу от Дуная (6, с. 455). С разных сторон поступают, далее, непротиворечивые указания на то, что, в отличие от Перуна, обитателя скал, возвышенностей, Велес выступает в связи с низинами, ср. (22, passim). Нас здесь интересуют эти “низины”, позволяющие увидеть Велеса в более широких связях, а его семантику – в связи с отзвуками различных индоевропейских отношений. Хотя и несколько в тени, но все же не осталась незамеченной исследователями связь имени *Velesъ* с **Velynь*/**Volynь* и даже *Váruna-*. Начнем с этого последнего индийского имени бога, которое до настоящего времени “не объяснено убедительно” (23), в немалой степени из-за этой двусмысленности индо-иранского *-r-*. Р. Якобсону принадлежит идея сравнения имени *Váruna-* с лит. *vėlės* ‘духи умерших’, *vélnias* ‘черт’, *Veliuonà* ‘богиня духов предков’ и, наконец, с др.-русск. *Велесъ* (там же). Сравнение *Велесъ* с *Váruna-*, привлекательное, видимо, ввиду параллелизма мифологических отношений **Perunъ*: **Velesъ* = *Indra-*: *Váruna-*, использовалось и нашими мифологистами, ср. (24). С этой стороны мы получаем отдельные полезные намеки, например, *Váruna-* < **Vol-un-*/**Vel-un-*, ср., далее, сюда же *Вольнь* < **Vol-ūn-* (25), однако, направление и смысл словопроизводства оставались все же неясными. Это допускало так же довольно широкий выбор этимологий, результатом чего явились внешне корректные этимологии, которые не могут нас удовлетворить. Напр., З. Голомб склонен видеть здесь наличие понятия власти, господства, правда, речь при этом сводится к корневой этимологии: польско-американский лингвист исходит из праформы местного названия **Ve/olyn'i*, которое он прямо связывает с корнем глаго-

ла слав. *velěti, русск. *велеть*, и.-е. *u̯el- ‘хотеть’, куда также слав. *velьjь, *velikъ ‘большой, великий’ (первоначально ‘мощный’). Принимая за исходное значение ‘сила, власть’, исследователь толкует топоним др.-русск. *Велынь, Волынь* как ‘подвластная земля’, что-то вроде лат. *dominium* (откуда англ. *dominion*), с ссылкой на праслав. *volstь ‘власть’, откуда, напр. (др.-)русск. *волость* и даже чеш. *vlast* ‘родина’ (18, с. 237–238). Однако у нас есть что возразить на это, особенно ввиду близкого параллелизма имени **Perunъ* и родственных форм, из них прежде всего *Перынь* культовое место близ Новгорода. Естественно, здесь нет никакого производного на *-yni-*: совершенно очевидно, что речь здесь идет о производном от имени бога *Перунъ*. От последнего абсолютно регулярно образовывалось производное с формантом *-jь*, засвидетельствованное в летописях в эпоху принятия христианства: **Перунıа рѣнь** ‘Перунова отмель’, в районе днепровских порогов (26, с. 101). Кроме того, можно принять также более архаичный способ производства с продлением гласного (врдхи), как еще индоевропейский и вполне оправданный в культовых именах. В чистом виде это выглядело бы как **Перынъ* из **Перунъ*. Фактически засвидетельствованное *Перынь* объяснимо как амальгама обеих словообразовательных моделей, старой и более новой. Другой хороший пример на **Perunъ*/**Perynь* представлен в болгарском языковом ареале, в названиях гор *Перин, Пирин-планина* (27, с. 174). Таковы показания форм **Perunъ*/**Perynъ*/**Perynь*. Представляется, что и в случае с **Velynь*, **Volynь* мы имеем дело с аналогичным развитием, засвидетельствованным, правда, фрагментарно: **velunъ* → **velynъ*/**velynь*. Интересно же то, что это имя связано не с понятием власти (см. Голомб, выше), а, скорее, с древним миром духов и богов. Мы, как будто, имеем право говорить о праславянском имени **Velunъ* ‘божество низин’, во многих отношениях (в том числе формальном) парном к праславянскому **Perunъ* (по нашим мифологистам, эта пара богов имеет вид **Perunъ* – **Velesъ*), и, что в высшей степени интересно, с индоевропейским соответствием в уже упомянутом др.-инд. *Váruna-*. Это открывает перед нами возможность, во-первых, правильнее охарактеризовать здесь отношение форм слав. *-unъ*/*-ynъ*, чем это делалось до сих пор (Ф. Славский в своем “Очерке праславянского словообразования” (28, с. 134) оставляет, в сущности, необъясненным отношение *Perunъ* : *Perynъ* : *Perynь*, во всяком случае его характеристика формы *Perynъ* как “postać starsza” лишена всякой вероятности в смысле славянского развития). Во-вторых, мы как будто вправе принять для праслав. **Velunъ* индоевропейскую праформу, а именно **u̯elu-n-*, далее родственно хетт. *u̯ellu-* ‘пастбище, луг (умерших)’, см. о последнем (29), сюда же Ἠλύσιον πεδίον, “Елисейская равнина”, потусторонний мир древних, воображавшийся в виде поля, луга, равнины – πεδίον (30). Кроме последнего приведенного названия, продолжающего и.-е. **u̯elu-t-iom*, сюда же должны быть отнесены славянские слова со

значениями ‘холм’, ‘холмистая равнина’ – *ǫ-vьlъ (польск. *Wawel*), *ǫ-valъ (русск. *ува́л*) – все с чертами архаики. В качестве славянских названий долины лучше известны *dolъ (с производными) и *dъbrь. Возможно, более архаично название долины, равнины, восходящее к и.-е. *u̯el-n-, откуда, с одной стороны, лат. *valles, vallis*, а с другой стороны – своеобразная форма в слав. **volynъ/ь*, куда относятся, кроме др.-русск. *Велынь/Волынь*, практически только западнославянские формы – *Volyně* в Чехии и польск. *Wolin* (стар. *Wollin*) на Балтийском море. Исключительный характер латинско-славянской встречи *vallis* и **Volynь* здесь тоже для меня не лишен интереса как еще одно указание на Среднее Подунавье. При этом и семантическое содержание, и словообразование могут порой носить отпечаток вторичности. К числу вторичных можно, вероятно, отнести и отдельные сакральные значения. Вполне возможно, что при этом удается этимологически разоблачить соответствующее обозначение духов или бога как табу: ‘(дух или божество) из (той) *долины*’, что подошло бы для лит. *vėlės, vélnias*, но и для праслав. **Velunъ*, **Velesъ*, в чем, возможно, заключается причина того, *почему* это индоевропейское название долины на апеллятивном уровне в славянском постепенно пришло в забвение.

В общем и целом я чувствую себя, к сожалению, обязанным высказать скорее отрицательное мнение о книге Мошинского. Хороший замысел автора – представить дохристианскую религию славян в свете славянского языкознания – остался по большей части неосуществленным, и об этом стоит пожалеть, если мы серьезно думаем раскрыть религию и идеологию праславян и прежде всего – ее своеобразие. Будучи поставлены перед дилеммой – внешнее сравнение (в данном случае – метод Дюмезиля) или *внутренняя реконструкция*, – мы выберем, естественно, последнее.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Moszyński L.* Zagadnienie wplywów celtyckich na starosłowiańską teonimię // Z polskich stúdiów slawistycznych. Seria 8. Językoznawstwo. Prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993. Warszawa, 1992. C. 176.
2. *Трубачев О.Н.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.
3. *Vasmer M.* Kritisches und Antikritisches zur neueren slavischen Etymologie. V. // Rocznik slawistyczny 6, 1913, с. 172 и сл. = *Vasmer M.* Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde, herausg. von H. Bräuer. I. Bd. Berlin, 1971. С. 3 и сл.
4. *U⟨ntermann⟩ J.* Kelten // Der Kleine Pauly. Bd. 5. München, 1979, стлб. 1612 и сл.
5. *Трубачев О.Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
6. *Иванов В.В., Топоров В.Н.* Славянская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия. 2-е изд. Т. 2. М., 1988. С. 450 и сл., 454.

7. *Топоров В.Н.* Язык и культура: об одном слове-символе // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988.
8. *Иванов В.В., Топоров В.Н.* Свентовит // Мифы народов мира. Энциклопедия. 2-е изд. Т. 2. М., 1988.
9. Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I (I–VI вв.). Отв. ред. Л.А. Гиндин, Г.Г. Литаврин. М., 1991. С. 12, 182.
10. *Трубачев О.Н.* В поисках единства. М., 1992. С. 40–41.
11. *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I–II. Heidelberg, 1962.
12. *Giejsztor A.* Mitologia Słowian. Warszawa, 1982.
13. *Рыбаков Б.А.* Язычество древних славян. М., 1981.
14. *Рыбаков Б.А.* Язычество Древней Руси. М., 1987.
15. *Черепанова О.А.* Материалы по славянскому язычеству и мифологии в трудах И.И. Срезневского // Славянские языки, письменность и культура. Сборник научных трудов. Отв. ред. В.В. Колесов. Киев, 1993.
16. *Moszyński L.* Kierunki zmian semantycznych praslowiańskich apelatywów określających przedchrześcijańskich czarowników // Philologia slavica. К 70-летию акад. Н.И. Толстого. М., 1993.
17. *Трубачев О.Н.* Древние славяне на Дунае (южный фланг). Лингвистические наблюдения // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993. С. 3 и сл.
18. *Gołąb Z.* The origins of the Slavs. A Linguist's View. Slavica Publishers, Columbus, Ohio, 1992.
19. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 11. Под ред. О.Н. Трубачева. М., 1984. С. 169.
20. *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. IV. La formation des noms. Paris, 1974.
21. *Николаев С.Л., Страхов А.Б.* К названию бога-громовержца в индоевропейских языках. Балто-славянские исследования. 1985. М., 1987. С. 149 и сл.
22. *Иванов В.В., Топоров В.Н.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974 (особенно гл. 2: Восточнославянские Velesъ/Volosъ и проблема реконструкции имени и атрибутов противника бога грозы).
23. *Mayrhofer M.* Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. III. Heidelberg, 1976. S. 151–152.
24. *Топоров В.Н.* Еще раз о Велесе-Волосе в контексте "основного" мифа // Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов второй балто-славянской конференции. М., 1983. С. 50 и сл.
25. *Топоров В.Н.* Праславянская культура в зеркале собственных имен (элемент *mir-) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993, с. 112, примеч. 122.
26. Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі Відповідальний редактор О. С. Стрижак. Київ, 1985.
27. *Миков В.* Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места. София, 1943.
28. Słownik prasłowianski. T. I. Pod red. F. Sławskiego. Wrocław, etc., 1974.

29. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс.* Иноевропейский язык и индоевропейцы. II. Тбилиси, 1984, с. 823, 824.
30. *Wa⟨chsmuth⟩ D.* Elysion // Der Kleine Pauly. Band 5. München, 1979, стлб. 1596.

Palaeoslavica III (1995), pp. 211–229.

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПРАРОДИНЫ СЛАВЯН (ПАРАДОКСЫ НАУКИ И ПАРАДОКСЫ ЖИЗНИ)

Прежде чем изложить свой "Взгляд на проблему...", я воспользуюсь прекрасным случаем – славным девяностолетием нашего юбиляра, чтобы добавить по этому поводу несколько слов также от себя, поскольку крупность и нестандартность Рыбакова-ученого, дружелюбие и отзывчивость Рыбакова-человека давно и непосредственно коснулись также меня, на моем жизненном и научном пути. Мне всегда импонировала эта сила, эта оптимистическая приподнятость над дрязгами, над группами и групповщиной "временных лет", эта нестандартность интересов (а ничего перечисленного у нас, как правило, не прощают). Мне немало помогла эта дружелюбно-доброжелательная внимательность к несколько иному взгляду, эта всегдашняя готовность к конструктивному диалогу, эта открытость, которую я бы, не без умысла, уподобил открытости южных пределов пшеворской культуры со стороны Среднего Подунавья... Мне немало помог, в свое время, и этот острый интерес юбиляра к древнеиндийским элементам в трипольской культуре, но я назвал здесь лишь кратко и лишь немногое из того многого, что заслуживало бы упоминания. Этот человек–эпоха в нашей культуре. У нас всегда найдутся охотники предпочесть солидное эпигонство этой увлеченности и увлекаемости, охотники разменять любые достоинства на искомые недостатки и слабости, а я, в ответ этим недобрым желателям, могу лишь с чистым сердцем повторить слова, сказанные – в свое время и о своем поколении ученых–Ньютоном: " Мы видели далеко, потому что стояли на плечах у гигантов!" Борису Александровичу Рыбакову я посвящаю сегодня эти свои мысли и чувства.

* * *

Тема прародины (или этногенеза) славян сохраняет свою актуальность. Разумеется, при опросах (анкетировании) разные лица дают различные ответы на вопрос об актуальных проблемах славянской филологии, но ответ о важности проблемы этногенеза славян-

ских народов занимает среди них свое твердое место[1]. В другом месте и в другой связи уже говорилось, что самыми захватывающими остаются такие вечные вопросы славянской исторической филологии, как происхождение славянской письменности и этногенез славян. Еще великий наш летописец Нестор запрограммировал на много столетий вперед равновеликость этих проблем, поставив вопрос, "откуда есть пошла Русская земля", отождествив русское со славянским и увязав со всем этим комплексом славянскую грамоту.

Имя Нестора памятно и в связи с самой старой народно-литературной традицией о **славянах как выходцах со Среднего Дуная**. Ее истоки старше нашей – тоже уже более чем тысячелетней – письменности, что оправдывает взгляд на эту традицию как на традицию **народную**, несомненно, еще донесторовскую, судя по дошедшим до нас ее отголоскам в раннесредневековой латинской письменности – у анонимного Баварского географа IX в., с цитируемым у него, многозначительным для нас "королевством Zeriuani" (эмендация: *Zeuirani*) на левом ("северном") берегу Дуная, "откуда якобы ведут начало все племена славян", а также у некоего еще более раннего Равеннского анонима, который в своей "Космографии" помещал места, "откуда вышел род славян", "в шестом часу ночи", к западу от сарматов и карпов, которые (карпы) обитали "в седьмом часу ночи" и притом к югу от Карпат, то есть в Дунайском бассейне.

Острокритический разум Копитара не помешал ему в начале XIX в. заявить о том, что именно на Дунае, где-то ниже Вены, было в древности место, где словаки и словенцы, а точнее их предки, "подавали друг другу руки", – место древнего проживания славян. Впрочем, и для него это оставалось "старой традицией", а свои рассуждения он облек в ироническую форму "Патриотических фантазий одного славянина", но устами этого славянина уже говорил ученый-славист нового времени. Прошло еще не одно десятилетие, прежде чем идею автохтонности славян в Центральной Европе и прежде всего – на Среднем, паннонском, Дунае попытался систематически обосновать Шафарик, бывший не только великим ученым, но и трезвым документалистом, которого меньше всего можно упрекнуть в фантазии. Однако наступал век критики, входил в силу позитивизм с его подчеркнутой верой только наблюдаемому факту. Кажется, именно позитивизму с его формалистской прямолинейностью мы обязаны усложненно спиралеобразным развитием нашей области знания. Как бы то ни было, тенденция потеснить реконструкцию за счет преувеличенно "точного" описания не может не считаться регрессом. Лакуны в письменной истории славян, которые стремился вдумчиво восполнить Шафарик, сыграли свою роковую роль. От теории Шафарика отвернулись как от "устаревшей". Хара-

---

[1] *Дуриданов И.* Aktuální otázky slovanské filologie a Šafaříkův vědecký odkaz. = Slavia 65, 1996, seš. 1. C. 16.

ктерно высказывание 1908 г., принадлежащее польскому ботанику и историку культуры Ростафинскому: "Никто больше не считает дунайскую Паннонию колыбелью славянских народов".

С начала нашего века появились, одна за другой, более "реалистические" теории прародины славян. За относительно короткое время их вышло довольно много, что уже само по себе могло показаться сомнительным, тем более что теории часто взаимно исключали одна другую. Некоторые были быстро забыты и с трудом припоминаются теперь даже в интересах полноты истории вопроса. Феномен множественности современных теорий прародины славян сам по себе вправе привлечь внимание общего науковедения и психологии научной мысли. Инспирированная природоведением теория генеалогического древа индоевропейских языков, достаточно авторитетная, несмотря на все контроверзы, как бы диктовала генеалогическую нишу славянской "ветви" **между двух других ближайше родственных "ветвей"**. Это и явилось, пожалуй, единственным, что объединяло все новейшие теории славянской прародины, во всем остальном представляющие удивительную разноголосицу и вкусовой произвол отдельных исследователей. При этом признававшийся постулат балто-славянской и германо-славянской языковой близости оказался неестественно статичен, в основном он так и остался на уровне теории упомянутого "древа", при слабом и недостаточном использовании достижений пространственной лингвистики, лингвистической географии, при неудовлетворительной стратиграфии древних и более поздних языковых связей, исконнородственных и контактных отношений. Письменная история действительно застала древних германцев в Северной Германии, Ютландии и Южной Скандинавии, а балтов приблизительно в Понеманье (судины, галинды), но это вовсе не давало основания для статичного положения о том, что они там были **всегда**, а для новых теорий славянской прародины как раз это статичное положение служило исходным постулатом. Реальная же динамика обоих близких родственников славян предполагала, что и те, и другие в более раннее время сидели южнее: германцы – ближе к кельтам, в Южной Германии, балты – ближе к дако-фракийцам и соответственно – южнее Припяти. Понятно, что многое из этой динамики несколько прояснилось лишь во второй половине XX века, и неучет сказанного некорректно ставить в вину этногенетическим исследованиям первой половины века. Но остается все же фактом наличие характерной для них определенной парадоксальной диспропорции между их заявленной "новизной" и присущим им комплексом недостаточного знания, что заранее предопределяло короткий их век.

Нидерлеанская концепция прародины славян, составить представление о которой нетрудно, хотя бы ознакомившись с главой II "Прародина славян" русского издания книги Любора Нидерле "Славянские древности", опирается на крайне несложную и зависимую

от вышеупомянутого лингвистического постулата аргументацию: "где-то по соседству с этими народами" (то есть германцами и "литовцами"); примерно столь же кратки и столь же вторичны аргументы, побуждающие знаменитого чешского археолога "отнести прародину славян на север от Карпат", а точнее – от Эльбы до Среднего Поднепровья с Припятью. Так обстоит дело с теорией, якобы поставившей точку в старом вопросе о придунайской традиции. После этого, как считается, серьезные выступления в пользу дунайской прародины больше не предпринимались. Наоборот, множились, опыты более северной локализации прародины славян, из них крайние – на Западной Двине, в Понеманье (Я. Розвадовский. А.А. Шахматов) – были отвергнуты и забыты ранее других. Идея балто-славянского языкового единства целиком определила учение А.И. Соболевского о славянском как слиянии двух языков – "языка-С" балтийского типа и "языка-Х" иранского типа, а также о проживании балто-славян где-то в юго-восточной Прибалтике. Суммой экологическо-лингвистических взглядов своего времени являются взгляды М. Фасмера, который, опираясь на растительные ареалы Ростафинского и труды Нидерле, остановился на той части Полесья и Среднего Поднепровья, где сосредоточена группа "чисто" славянских гидронимов. Эти поиски области, где "не было" германцев, фракийцев и других неславянских индоевропейцев, сыграли свою роль и предпринимались также позднее, уже в наше время, Ю. Удольфом, остановившим свой выбор на польском Прикарпатье и Галиции. Возможно, они сказались и на отрицании дунайской теории славян, потому что трудно назвать другой такой пример ономастической и культурной пестроты, как Среднее Подунавье. Но этот аргумент фасмеровской школы сейчас неприемлем, он неприменим ни в Среднем Подунавье, ни в Среднем Поднепровье, потому что и в последнем достаточно неславянских ономастических данных, а главное – потому что стерильно чистых (моноэтничных) этноязыковых ареалов не существовало никогда.

Сторонниками среднеднепровской прародины славян были К. Мошинский и Ф.П. Филин. Надо иметь в виду, что ко второй половине XX в., когда более прямолинейная старая теория балто-славянского языкового единства постепенно уступала место концепциям длительного соседства и общения балтов со славянами, Поднепровье по-прежнему сохраняло свою естественную притягательность в качестве предполагаемого ареала этих контактов. Однако и в этом случае бесспорность северного, восточного и юго-восточного направления миграций днепровских славян, а также очевидное отсутствие надежных данных об их миграциях, скажем, в западном направлении позволяли видеть в славянском Среднем Поднепровье пусть раннюю, но все же периферию восточной экспансии славян. Новые попытки польского археолога К. Годловского представить дело так, что польские земли заселялись славянами с приднепров-

ского Востока, вызывают сомнения у широко ориентированных специалистов, хотя и сигнализируют сами по себе о кризисе висло-одерской теории славянской прародины, с самого начала объединившей вокруг себя большинство польских лингвистов, археологов и ученых других специальностей, назовем здесь из них лингвистов Т. Лер-Сплавинского, М. Рудницкого. За пределами Польши близкие к этой теории взгляды последовательно разрабатывали лингвист В.В. Мартынов и археолог В.В. Седов. Насколько важен для сторонников висло-одерской школы балто-славянский аспект, видно из трудов Лер-Сплавинского и Мартынова, в которых славянский рассматривается как вторичный продукт наслоения западного индоевропейского этноса (лужицкого неясной принадлежности или италийского) на балтийский (западнобалтийский) языковой ареал. Близкие отношения славянского языка-"сына" и балтийского языка-"отца" предполагает и В.Н. Топоров.

Если довольно новая теория З. Голомба о прародине славян и, кажется, всех индоевропейцев на верхнем Дону (тоже, кстати, построенная на изначальном соседстве славян и балтов и на их якобы общем продвижении оттуда на Запад) вряд ли может быть признана убедительной, хотя бы потому, что противоречит противоположному направлению исторической миграции радимичей-вятичей и доисторической миграции вероятных археологических индоевропейцев-фатьяновцев – с Запада на Восток, то висло-одерская теория, как это следует признать, показательна в ряде отношений и открыта дискуссиям. Во-первых, эта теория – самая западная из всех новых теорий славянской прародины, она, так сказать, территориально наиболее близка к Центральной Европе и, если угодно, к Среднему Подунавью. Во-вторых, остается неуточненной именно южная граница условного висло-одерского ареала праславян, причем среднедунайский ареал (или его импульсы) мог как бы переходить в висло-одерский. Парадоксальность подобного поворота – в том, что сакраментальная для современной науки антитеза "к северу от Карпат" – "к югу от Карпат" при этом вовсе снимается, и в этом нет ничего удивительного, потому что горная цепь Карпат, хотя и представляет собой этноисторический и геополитический рубеж Европы, вместе с тем всегда была проницаема и удобопроходима (Янтарный путь, Моравские ворота и ряд перевалов).

Следует отметить определенную готовность к диалогу со среднедунайской теорией прародины славян в ее новом варианте как характерную именно для представителей висло-одерской теории, другие современные теории славянской прародины. не имея "общих границ" с дунайской теорией, могут по-прежнему "не замечать" дунайскую теорию, тогда как висло-одерская теория не может себе этого позволить. Лингвисты не вправе оставлять без внимания то, что некоторые современные польские специалисты из числа археологов-"вислоодерцев" уже в течение ряда лет прямо допускают, что

славяне не заселяли Среднее Подунавье с севера, а наоборот – импульсы этнообразования шли из Подунавья в Повисленье (В. Хенсель, М. Парчевский). О сложной и по-своему интересной позиции нашего археолога В.В. Седова стоит потом сказать особо.

Но сначала – в продолжение уже намеченного выше – несколько слов о взглядах на сущность славянского этногенеза без его пространственной локализации, то есть этногенеза-происхождения славянского этнолингвистического типа как такового. И здесь наука нового времени порой является ареной новых взглядов, "новизна" которых удивительно напоминает старинные родословные с их заветной целью обязательно отыскать знатного иноплеменного родоначальника. После того как даже опытные лингвисты поддались искушению выводить славян "от балтов", чего, спрашивается, можно ждать от популярной, учебной (в том числе небрежно переводимой) литературы, в которой даже сегодня встречаются утверждения, что "...предками славян считаются сарматы [в тексте, к тому же, с грубым искажением, – "самаритяне..." – *О.Т.*] и скифы"[2]. Короче говоря, формально принадлежащие науке XX в. умозрительные концепции всякого рода о славянах и их языке как сложении двух этносов и языков представляются нам бесспорным регрессом после гениального прозрения почти двухсотлетней давности И. Добровского о том, что "славяне есть славяне", а значит они не даки, не геты, не фракийцы, не иллирийцы и не балты. В современных терминах речь идет о **славянском как особом индоевропейском языковом типе**. Одна из достовернейших задач современного языкознания видится в насыщении этой наиболее адекватной модели славянского конкретным лексическим, историко-этимологическим содержанием (одна лишь структурно-морфологическая модель языкового типа, которой прежнее языкознание отдавало приоритет, не обеспечит оптимального насыщения в том, что касается этноязыковых характеристик и связей). Этой задаче был посвящен Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд), выходит с 1974 г.: A–N–. Словарь еще далек от завершения, но уже сейчас это наиболее продвинутый проект по праславянской лексикографии, делающий возможной также **ареальную проекцию** накапливаемого лексико-этимологического материала в плане поставленной выше задачи детальной характеристики славянского языкового типа. В ходе исследований и критической оценки этих исследований высказываются порой мнения, что ЭССЯ обедняет картину балто-славянских отношений, но при этом все же кажется, что взамен нам предлагают транспозицию в прошлое действительно многочисленных, но **вторичных** близких образований балтийского и славянского, больше подходящих под понятие языкового союза, установившегося между балтийским и славянским. Отождествлять безоговороч-

---

2 Карманная энциклопедия the Hutchinson. "Внешсигма". М., 1995. С. 501.

но этот вторичный балто-славянский языковой союз и **древние отношения балтийского и славянского**, о **реконструкции** которых идет речь, все же, наверное, не следует. Сейчас можно говорить уже о некоторых результатах этой реконструкции. В двух словах это выглядит как весьма различная лексическая реализация семем (понятий) древней жизни и культуры соответственно в балтийском и славянском. Древняя языковая картина мира этих двух безусловно родственных диалектных групп складывалась как бы порознь, отличаются и их внешние, индоевропейские изоглоссы (изолексы). Групповая реконструкция, предпринятая еще в исследовании 1966 г. на материале древней ремесленной терминологии, показала **ориентацию славянского не на связи с балтами, а на контакты с более западными индоевропейцами – германцами, италиками, кельтами**. Можно сказать теперь, что ЭССЯ не поколебал, а многократно усилил, подтвердил эту преимущественно западную ориентацию славянского. Практика реконструкции ЭССЯ сказала свое решительное слово в споре между парадоксально поздней письменноисторической "явленностью миру" и фактической древностью и самобытностью этнолингвистического типа славян, оставляя все меньше оснований для популярной еще фетишизации в основном действительно поздних абсолютных хронологических письменных датировок славянства. Потенциальная случайность этих последних – таков, может быть, важнейший корректив в адрес позитивистских построений. Феномен этнической самобытности славянства достоин внимания и изучения, взять хотя бы этот факт единого этнического самоназвания – *словѣне*, **slověne*, несомненно свидетельствующего о наличии соответствующего самосознания – сознания этнического единства. Народный, живой статус этого обозначения применительно к самим себе подтверждается свидетельствами для разных частей славянства, ср. тождество *словѣньскъ* и *русьскыи*, на что специально обращает внимание Нестор (– "одно есть"), синонимичность *slovenski* и *hrvatski* применительно к хорватскому народу, с преобладанием в ранние эпохи термина *slovenski*, как это было отмечено В. Ягичем. Кстати сказать, живое и активное самоназвание, охватывающее всю совокупность древних славянских племен и диалектов, – черта отнюдь не банальная, отсутствующая, например, у германцев, как и у балтов: обеим этим ветвям ныне принятые названия были искусственно придуманы в ученых кабинетах уже на памяти современного научного языкознания (еще Я. Гримм охотнее употреблял название die deutschen Sprachen, в сущности "немецкие языки", о германских языках). И то, что рядовые носители русского языка в массе своей сейчас, скорее всего, уже не сознают себя славянами, есть утрата их этнического самосознания, – факт, нуждающийся в правильной интерпретации.

Но вернемся к вопросу о возможности сближения дунайской и висло-одерской теорий славянской прародины, к пунктам, кото-

рые могли бы способствовать их взаимному диалогу. Кроме уже сказанного бегло выше, я ограничусь здесь заинтересовавшими меня моментами такого рода в исследованиях нашего авторитетного археолога-слависта В.В. Седова, в целом придерживающегося именно висло-одерской теории. В.В. Седов исключительно активно работает над проблематикой: только за последние годы им опубликованы две капитальных книги, не говоря о работах меньшего объема. Славяне в древности и в раннее средневековье получают в них всестороннее освещение. Седов-археолог систематически и на хорошем уровне применяет все доступные лингвистические данные. Импонирует также его объективное и внимательное отношение к аргументам современного варианта дунайской прародины славян. Так, не довольствуясь изучением локальных германо-славянских связей на западном фланге собственно висло-одерского ареала (суково-дзедзицкая культура V–VI вв. н.э.), В.В. Седов столь же внимательно рассматривает выдвинутое О.Н. Трубачевым положение о центральноевропейском культурном районе, предполагающее связи славян с западными индоевропейцами (в их числе германцами, италиками, кельтами) несравненно более раннего времени и в более южных, центральноевропейских координатах. Далее (и это не менее существенно), по наблюдениям Седова, устанавливается опосредованная связь от позднеримских (провинциальноримских) древностей, естественно, ассоциируемых со Средним Подунавьем, а не с поречьем Вислы и Одера, к раннеславянским древностям материальной культуры (имеется в виду прешовский очаг пражско-корчакской культуры славян, помещающийся в Восточной Словакии, то есть на юг от Карпат): эта западная связь ведет довольно далеко на Восток, отложившись на Средней Волге (Самарское Поволжье) еще в первых веках н.э. в виде так называемой именьковской раннеславянской археологической культуры с характерными полуземлянками и провинциальноримскими находками. Показательна однонаправленность этих влияний (с запада на восток), их истоки в дунайском регионе, а не в иранизированном Поднепровье (отсутствие сарматских влияний в именьковской культуре!). Правда, В.В. Седов увязывает именьковскую культуру с пшеворским культурным ареалом (Висла – Одер), но, согласимся, ряд названных выше параметров непротиворечиво соответствует дунайской теории.

Для идеи славянского котинуитета в Среднем Подунавье небезразлично раннее наличие индоевропейцев вообще в этих же примерно местах: археология давно уже говорит о дунайском культурном круге и об индоевропейских этноязыковых группообразованиях в придунайской зоне, причем ряд параметров ограничивает (позволяет считать вторичным) слишком большое удаление от этого центра как в северном направлении (древнее оледенение), так и в южном. И те, и другие ограничения вряд ли можно игнорировать. Назовем лишь выборочные данные, помогающие ограничивать южные индо-

европейские пределы, один из самых замечательных – "аргумент березы", дерева, название которого уверенно реконструируется как пра-и.-е. **bherə̂gos*, совершенно однозначно этимологизируется ('белая, с блестящей корой'), причем и сама реалия, и четкость словоупотребления (да и роль того и другого в фольклоре) показательно убывают по мере продвижения на юг. Старый вердикт "к югу от Кавказа нет бобра" тоже остается в силе: vice versa – языки с и.-е. **bhebhros* 'бобр' целесообразно локализовать севернее. Восточноанатолийская прародина индоевропейцев (где-то на Армянском нагорье) все-таки крайне спорна, несмотря на фундаментальность последней попытки, предпринятой для ее обоснования (Гамкрелидзе–Иванов), как и ее сомнительные выраженно южные аргументы вроде постулированных праиндоевропейских терминов для льва и обезьяны.

Конечно, культурная публика уже привыкла к информации о древнейших находках человека прямоходящего – не в Европе, а в Восточной Африке, а оттуда как будто заметно ближе до Передней Азии и Ближнего Востока (и в том числе – Анатолии), но стоит, возможно, пока удовольствоваться мыслью, что между этим онто- и филогенезом полутора- или двухмиллионнолетней давности и интересующим нас здесь макроэтнообразованием пролегает гигантская временная дистанция, а прямая (прямолинейная) последовательная связь практически начисто отсутствует. Разумеется, связь между Подунавьем и Балканами, с одной стороны, и Малой Азией – с другой, существовала всегда и до того, как возникли проливы, и после того, и связь эта была удобнее и короче, чем через более суровый Кавказ, знаменуя как бы тем самым еще один "плюс" в пользу локализации истоков индоевропейского этнообразования в Подунавье. Названная связь теоретически могла носить двусторонний характер, но ко времени индоевропейского этнообразования (и в связи с ним) преобладали, думается, оттоки (импульсы) из этого культурного круга в сторону Малой Азии, – так же, как это констатируется о центробежных уходах из Центральной Европы в других направлениях (см. об этом уже отчасти выше). Собственно говоря, главное, что хотелось бы здесь иметь в виду из этого отвлечения, – это индоевропейско-славянская преемственность и концентричность в Среднем Подунавье. Характер славянского языкового развития (например, сатэмность как инновация по отношению к состоянию-кентум, к тому же, судя по всему, инновация, отличная от балтийской сатэмности) делает естественной мысль о близости славянского к инновационному центру индоевропейского ареала. Разносторонние культурно-изоглоссные связи славянского делают как будто, со своей стороны, эту пространственную привязку более вероятной. Так, например, обращают внимание на первоначальное отсутствие культуры хлебного злака ржи в древнем германском ареале (соответствующая лакуна в материальном ассортименте ясторфской археологической культуры), с последующим, по-видимому, приобщением также гер-

манцев к возделыванию ржи, которое (лексема рожь и реалия) в своем распространении **с юга, юго-востока на север** пришло к германцам, скорее всего, от славян (герм. **rugi-* < протослав. **rūgĭ-*. слав. **rъžь*). Не покидая тему земледелия, вспомним о приметах его древней центральноевропейской ориентации у славян, куда относится культурная и терминологическая инновация, связанная с введением плуга (слав. **plugъ* с его вероятным также заимствованием германцами, при отсутствии соответствия в балтийском), далее – особое славянское название древнего невымолачиваемого сорта пшеницы Triticum spelta – **pъlba, полба*, связанное с латинским названием каши из полбы *puls/pultis*, а также латинским *spelta* 'полба', предположительно из паннонского. Важных славяно-древнелатинских изоглосс, которые тяготеют также к Центральной Европе (с другим регионом их было бы трудно ассоциировать), я уже касался неоднократно: кроме вероятной древности, они характеризуются охватом значительного понятийного спектра (ландшафт, сельское хозяйство, древнее ремесленное производство, культ предков, элементарные этические нормы). Здесь ограничусь только упоминанием последней по времени обнаружения при работе над ЭССЯ и, кажется, очень важной изоглоссы лат. *fās/nefās* 'закон'/'беззаконие, грех' – слав. **bas-/*nebasъ* 'красивое'/'негодное', взять хотя бы архаичность латинской конструкции с *ne-* отрицательным (на фоне более новых *in-, im-*).

Задачей (одной из задач) нынешнего моего обобщенного взгляда на ситуацию вокруг проблемы с прародиной славян было именно обобщение некоторых типичных особенностей этой ситуации, которое я попробовал дать по возможности не погружаясь ни в море фактов, ни в океан литературы. Кажется, что при более подробной подаче того и другого остается в тени то общее, что как раз заслуживало бы интереса (вопрос о движущих мотивах и ориентирах при теоретизировании на тему славянской прародины, который я выше затронул). Как часто случается в науке, достаточно старая проблема формируется или порой – попросту деформируется, невольно оказываясь объектом парадоксальных ситуаций, причем парадоксы науки не всегда отличимы от парадоксов жизни – привычных суждений, предвзятых мнений, психологии людей. Вот об этом – еще несколько слов, оставляя наиболее ясные случаи практически без комментариев.

Итак, парадокс первый. В обзорной программной статье Магдалены Берановой "Шафарик и современная археология" наталкиваемся на фразу: "Любор Нидерле стоял когда-то у колыбели Славянского института (в Праге. – *О.Т.*). который должен был работать в шафариковских традициях..."[3] – То, что работа "в духе традиций"

---

[3] *Beranová* M. Šafářík a současná archeologie // Aktuální otázky slovanské filologie a Šafaříkův vědecký odkaz. Slavia 65/1, 1996. S. 102.

обернулась их отрицанием, кратко сказано выше. Чтó и насколько фундаментально было противопоставлено традиции Шафарика? Об этом – парадокс второй, удобно иллюстрируемый цитатой из той же программной статьи: “Мы теперь ⟨уже⟩ не ищем славян в Венгерском Подунавье, **хотя и верно то, что мы не знаем определенно, какой народ, какие люди жили там и на каком языке говорили в I тыс. по Р.Х.**”[4] (подчеркнуто мной. – *О.Т.*). Communis opinio принято уважать – в общественной жизни, в науке. Факты, которые общепринятому мнению противоречат, рискуют долго остаться незамеченными, хотя временами кажется, что факты – это первое, что нужно всем. Так, все (или почти все) верят, что славяне жили севернее границы Лес/Степь и что у них **нет древней степной терминологии**. Праславянские названия степных птиц куропатки и дрофы со своими древними *-ū-* основами говорят о другом (парадокс № 3), но – великое дело привычка. Следующий по счету (№ 4) парадокс – весьма общего свойства, но славистика от него страдает едва ли не в первую очередь: наблюдается, с одной стороны, универсальная современная тенденция удревнения этноисторических датировок и только славистика по-прежнему во власти заторможенной готовности поздно датировать “распад праславянского языка” (такое впечатление вынесли участники недавней одноименной конференции “Prasłowiańszczyzna i jej rozpad”, Краков, XII. 1996). С этим тесно связан очередной парадокс (№ 5), которым мы целиком обязаны рутине научной мысли: согласно удобной фабуле, существовал единый праславянский язык, потом он распался, хотя единых (бездиалектных) языков не бывает, тем более не могло их быть в древности. Письменные даты потенциально случайны, “упомянуто впервые” не значит, что именно тогда только появилось, но позитивистская рутина такова, что с этим ничего нельзя поделать (парадокс № 6), тем паче, что письменные даты так удобно торжественно отмечать. Реальная, фундированная реконструкция весомее иных письменных дат, важность лингвистической реконструкции специально выделил синхронист Соссюр в своем “Курсе общей лингвистики”, но я что-то не помню, чтобы “Курс” хвалили именно за это. Поздно датированный письменно, а тем более “незаметный” этногенез славянам не хотят простить, во всяком случае предпочитают понимать буквально (до VI в. славян якобы не было), пренебрегая элементарной типологией, например – тем, что еще позже были упомянуты письменной историей такие **автохтоны** Балкан и Подунавья, как албанцы и румыны. Последний, сакраментально 7-ой, парадокс кажется особенно многозначителен: перспективы применения современных научных критериев лингвистической географии, типологии, изоглоссного метода связываются в гораздо большей степени с возрождением “старой” дунайской теории, чем с более новыми и современными.

---

[4] Ibidem, s. 101.

* * *

Нынешней осенью, находясь по делам и по приглашению в Германии, я посетил Дрезденскую картинную галерею и Мюнхенскую Пинакотеку. При всем богатстве виденного, одно довольно стойкое впечатление не покидало меня, и я не могу не вспомнить о нем здесь, потому что речь идет все о том же парадоксе славянского присутствия-отсутствия. Да, я знаю, что и в Германии сейчас наберется достаточно объективных умов, признающих, что Европа – это в сущности симбиоз Германии, Романии и Славии, но, бродя по упомянутым прекрасным залам, я видел во множестве Германию, Романию, видел аллегорические полотна типа "Italia und Germania" и лишь Славии там не нашел, как будто не было ее совсем. В чем причина – в "гордыни западноевропейского образа мыслей", как не без основания думают некоторые, или в нашем легкомысленном небрежении традиций Шафарика? Но кажется – что и в том, и в другом.

Политехнический музей в Москве. Декабрь 1996 г.

О 'РЯБЧИКЕ', 'КУРОПАТКЕ' И ДРУГИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СВИДЕТЕЛЯХ СЛАВЯНСКОЙ ПРАРОДИНЫ И ПРАЭКОЛОГИИ*

Хеннинг Андерсен, профессор славистики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, известный своими трудами по исторической и описательной фонетике, морфологии, типологии и лингвистической географии славянских языков, выступил на этот раз в несколько новой для себя области, если иметь в виду предпринятые им интенсивные разыскания в области этимологии слов – названий рябчика и куропатки в славянских языках. Однако проявленная им при этом широта взгляда, равная и глубокая заинтересованность во многих, подчас весьма различных, аспектах исследования, высокая теоретичность с одновременным очень пристальным вниманием к конкретному факту – будь то языка или истории культуры, иными словами – все лучшие качества, проявленные и накопленные опытом предшествующих работ этого датско-американского ученого, делают чтение этой новой его работы остроинтересным и поучи-

* Нижеследующая статья основана на чтении английского оригинала: *Andersen H.* A glimpse of the homeland of the Slavs: ecological and cultural change in prehistory. Непосредственно к нему восходят и все цитаты в моем переводе. – *О.Т.*

тельным. Обратившись в данном случае к преимущественно традиционной, этимологической, тематике, Андерсен намеренно трактует ее в подчеркнуто современной манере, давая понять, что для его задач это не центральный, а как бы один из многих аспектов исследования. Это находит свое выражение в том, что этимология (все же занимающая видное место в авторской методике) не вынесена в заглавие статьи, где сделан нарочитый акцент на включенности (всей) лингвистики в культурологию и даже на модной теперь экологии. Нельзя не отдать должное автору – даже будучи вынуждены признать крайними или преувеличенными ряд его утверждений (о чем специально ниже), согласимся, что столь же, пожалуй, часто именно его трактовка, его острые наблюдения расчищают путь к реконструкции славянского языкового и культурного прошлого в самом широком смысле.

Поскольку новая работа Х. Андерсена довольно обширна и – вследствие этого – труднообозрима, для начала напомню ее основные положения. Наблюдательный автор прежде всего констатирует факт некоторой избыточности славянской терминологии, относимой к позднепраславянскому времени, а именно – наличие двух названий для ‘рябчика Bonasa bonasia’ – **jerębĭ* и **lěščarŭka* и двух – для ‘куропатки Perdix perdix’ – **jerębĭ* и **kuropŭty*[1]. Андерсен прав, полагая, что вскрытая им таким образом синонимия и полисемия требуют специального объяснения. При этом отмечается, что **lěščarŭka* ‘рябчик’ и **kuropŭty* ‘куропатка’ представляют собой (практически до сих пор) “прозрачные образования”, в отличие от затемненного (opaque) **jerębĭ*: **lěščarŭka* ‘рябчик’ – производное от **lěščarĭ* “заросли орешника” (рябчик любит обитать в орешнике), причем вполне уместно указывается на семантическую параллель нем. *Haselhuhn* ‘рябчик’, англ. *hazel-grouse, hazel-hen* то же – соответственно от *Hasel, hazel* ‘орешник’; далее, упоминается привычная семантическая реконструкция **kuropŭty* как ‘куриная птица’, что, впрочем, автором потом в сущности пересматривается. С этимологической прозрачностью *и **lěščarŭka* и **kuropŭty*, тем не менее, связывается идея инновации, для первого – в масштабах балканского славянства, для второго – у западных и восточных славян, хотя автор не может не признать наличия продолжений **kuropŭty* также в словенском и сербохорватском. Наверное, Андерсен прав также, упрекая этимологов в том, что они до сих пор не задумывались, **почему** **jerębĭ* стало названием таких **разных** птиц, как куропатка и рябчик; сам он считает, что на куропатку оно перенесено вторично. Отмечается и такая существенная (экологическая) деталь, как дополнительное распределение обеих птиц в отношении друг к другу: рябчик – пти-

---

[1] Сохраняем здесь авторское предпочтение несколько архаизирующей реконструкции преимущественно французской школы Мейе–Вайяна, оставляя за собой право более привычной трактовки *u* как ъ, *ĭ* как ь.

ца лесная, а куропатка, наоборот, птица степей. Весьма пластично рисуется автором картина постепенной миграции к северу именно куропатки, что связано с культурным расширением степи за счет лесов. Здесь, как и в ряде других аспектов, автор касается и вопроса славянской прародины, считая, что предки славян жили в лесах Восточной Европы, знали рябчика и не знали куропатку, с которой наиболее южные из них могли познакомиться как со степной птицей и перенесли на нее название рябчика – **jerębĭ* (эти разные птицы внешне похожи). Более южные славяне, как уже сказано, нарекли 'рябчиком' 'куропатку' (**jerębĭ*), а "потом", встретив в лесах Балкан рябчика, назвали его новым **lěščarŭka*.

Привычное объяснение родственной лексической группы русск. *рябчик ~ рябина ~ рябой* как основанной на определении цвета заменяется у Х. Андерсена совсем иным направлением семантического развития, причем 'рябина' реконструируется как первоначально 'рябчиковая ягода', а само 'рябой, пестрый' – как 'рябчиковый', что подкрепляется аналогией англ. *pied* 'пестрый, разноцветный' на базе *pie* 'сорока'. Мысль о том, что в основе всей семьи слов лежит название птицы, ученый аргументирует эффектным наблюдением, согласно которому шире всего представлены родственные названия 'рябчика' – в славянском, восточнобалтийском и германском, далее идут названия 'рябины' – в славянском и части восточнобалтийского, притом, что значение 'рябой, пестрый' фигурирует только в славянском. Небезынтересно замечание, что **(je)rębina* 'рябина' – единственное прозрачно мотивированное название среди прочих названий деревьев, хотя именно рябина – святое дерево у ряда индоевропейских народов, чего автор не может сказать о рябчике. Свою точку зрения он имеет и о словообразовательно-морфологическом членении, понимая *erimbi-/rimbi-* (протоформу слав. **jerębĭ*) как производное с и.-е. суффиксом *-n̥-bho-* от и.-е. *$*h_1er$-* 'птица', все вместе – якобы уменьшительное 'птичка', сюда же *er-il-a-/ar-il-a-* 'орел'. Любопытны и культурологические суждения о том, что первоначальными пасхальными яйцами (весенний праздник плодородия) были яйца рябчика. Нельзя пройти мимо курьезного этимологического прочтения русск. *курочка ряба* как "the grouse hen, рябчиковая курочка", хотя приводимая тут же англосаксонская аналогия "Little Red Hen", кажется, выглядит мотивированной как раз со стороны цвета, а не со стороны рябчика. Весьма смелы авторские построения относительно связи герм. **erpa-* 'коричневый' < сев.-зап.-и.-е. *$*(h_1)erb$-/$*(h_1)r̥b$-* 'рябчик' с греч. ἔρεφος, 'мрак' etc. от и.-е. *$*h_1reg^w$-* 'темный', для чего автор вспоминает даже гипотезу о "темематических" смычных (слав. *mediae*, вместо и.-е. *tenues* и т.д.) в очень спорной книге австрийца Хольцера. Итогом этих рассуждений является вывод о том, что название 'рябчика' могло быть заимствовано из индоевропейского диалекта – предтечи германского, балтийского и славянского, поглощен-

ного этими последними "в лесах Восточной Европы"... Когда автор заявляет, что "каково бы ни было происхождение (названия 'рябчика'. – *О.Т.*), оно семантически не мотивировано (то есть лексически изолировано) в славянском, балтийском и германском праязыках", – складывается впечатление, что его (Х. Андерсена) анализ достиг критической точки, не говоря о внутренних противоречиях (см. выше его же этимологию слав. **jerębĭ* 'рябчик' от **h₁er-n̥bho-* 'птичка'?). Правда, констатируется такая индоевропейская особенность, как аблаут – протослав. *ērb(ā)-*, протобалт. *ērb-ē-* и т.д. (детали спорны). Вместе с тем протослав. *raiba-* etc. и праслав. **(je)rębŭ* рассматриваются как чужеродные апофонические ряды, причем первое вытеснялось вторым.

Здесь временно расстанемся с 'рябчиком' и посмотрим, как автор решает вопрос с 'куропаткой' (вторая половина работы). Позднепраславянская реконструкция **kuropŭty* 'куриная птица' вызывает у него сомнения как со стороны формы, так и со стороны содержания: отклонений вроде **koro-*, **kor*, **kro-* гораздо больше, чем обычно постулируемого **kuro-*. Бегло высказанная им самим здравая мысль о реальности табуирующих искажений охотничьей терминологии одиноко повисает в воздухе. Андерсен склоняется к тому, что изменения типа *koro-* > *kuro-* осуществились по народной этимологии, причем признаются периферийность и изолированность случаев **kuro-* (? До сих пор именно эта лингвогеографическая черта обычно считалась сигналом первичности). Примерно то же и буквально на тех же основаниях утверждается о замене **pat-* на **pŭt-*. Автор прав, упрекая нас, этимологов, в том, что мы упустили из виду этимологию и реконструкцию Вайяна – **kropaty* ж.р. 'куропатка' < прилагательное **kropatŭ* 'пестрый, пятнистый', но в дальнейшем все же станет ясно, что это не более как вопрос неполноты библиографии. Сам Андерсен на этой этимологии тоже больше не настаивает, высказывая другие оригинальные соображения. Его протославянская реконструкция – *karp-ā-ta-*, типа *bard-ā-ta-* 'бородатый', откуда производное на *-ū-* основу женского рода *karp-āt-ū-* (приводятся в качестве подтверждений отадъективные производные на *-ū-* праслав. **pĭstrū* > **pĭstry* 'форель', **suxŭ* > сербохорв. *suhva*, но ни одного случая на *-atъ* > *-aty*/*-atъve* среди них нет...). Дальнейшая, в том числе семантическая, реконструкция задает автору немало хлопот на избранном им направлении. Его внимание привлекает гнездо протослав. *kŭrpā-tēi* 'драть, щипать, резать', откуда и праславянское название обуви **kŭrpi*. Дело в том, что серая куропатка – птица мохноногая. Ее научное название – Lagopus, что по-гречески значит 'зайцелапая'. В этом смысле Андерсен и понимает реконструированное им протослав. *karpā-ta-*, хотя его самого смущает полученный при этом полный вокализм (для обувного термина праслав. **kŭrpĭ* обычен нулевой вокализм корня). Terminus post quem для сближения **kuropŭty* с **kurъ*, **kura* 'курица' – введение домашнего

куроводства у славян, которое, надо сказать, датируют довольно рано – до начала нашей эры.

Весь протославянский ареал с формой *erimbi-* на западе и *rimbi-* на востоке, по Андерсену, непротиворечиво локализуется, согласно традиции, между верхней Вислой и средним Днепром, южнее Припяти, в южной части лесной зоны. Большое значение наш автор придает "абсолютной экологической границе лесной и степной зон" для семантического переноса протослав. *(e)rimbi-* 'рябчик' > 'куропатка', а также для момента пересечения славянами этой границы **с севера на юг**. Размышляя в русле традиционных представлений о среде обитания славян, Андерсен полагает, что "семантический перенос с 'рябчика' на 'куропатку' является неопровержимым свидетельством доисторического события, когда одна часть славян начала заселять степь и повернулась спиной – в культурном и лингвистическом смысле – к лесной среде обитания своих предков". Соглашаясь с Ф.П. Филиным, когда тот специально говорит об отсутствии в славянских языках общей лексики для степной флоры, фауны и т.д. [Филин 1962: 112, 119–120], наш автор вместе с тем вынужден признать: "Но предложенный здесь анализ двух праславянских слов для куропатки – типичной представительницы степной фауны – показывает, что стоит обратить больше внимания на лексическое содержание этой терминологии". Запомним эту авторскую мысль, считая, со своей стороны, что спор между "лесной" и "степной" (лесостепной) концепциями славянской прародины отнюдь не закончен, он продолжается, стимулируемый новыми плодотворными импульсами вроде новой статьи Х. Андерсена. Есть еще немало рутинно недооцениваемых или не получивших адекватной характеристики языковых фактов, как, например, отсутствие старого, праславянского названия для такой лесной птицы, как 'глухарь Tetrao urogallus', что успел с достаточной объективностью отметить наш автор, сторонник "лесной" прародины славян. Можно, конечно, сослаться на то, что глухарь – обитатель "северных частей лесной зоны", и Андерсен делает это. Но недвусмысленная дискуссия может быть продолжена и применительно к более южным зонам, также имеющим вероятное отношение к древним местам проживания славян.

Прежде чем изложить наши замечания о предмете исследования Андерсена в более связной форме, позволим себе обратить внимание на название еще одной птицы, не рассматривавшееся автором, тем более, что это название, кажется, даст возможность увереннее судить о материале статьи Андерсена, а может быть, и о "степной" (южной) версии славянской прародины в целом. Я имею в виду название 'дрофы Otis tarda', относимое нами к праславянскому лексическому фонду в реконструированной праформе **dropъty*, род.п. **dropъtъve*, см. [ЭССЯ, 5: 125, 126]. Речь идет о широкораспространенном слове, причем затемненность ряда форм говорит, скорее,

в пользу его древности, а корректность принимаемой нами реконструкции подтверждается отдельными реально засвидетельствованными формами, в первую очередь – старочешской (ниже). Значение в основном всюду одно и то же – ‘дрофа Otis tarda’ (отклонения явно вторичны и иррелевантны): болг. *дро́пла* (Геров: дропля), сербохорв. *дрȍпља*, словен. *drôplja*, ст.-чеш. *droptva*, чеш. *drop* м.р., слвц. *drop* м.р., польск. *drop*, род.п. *dropia*, м.р., русск, *дрофа́*, укр. *дрохва́*, блр. *драфа́*. Фонетическое развитие исхода слова пошло по линии упрощения/упрощений *p(t)v* > *f* или *pxv* , или же различных диссимиляций с результатом *pl(j), pj*. Первоначальное состояние при этом просматривается достаточно четко, и это немаловажно для наших задач: речь идет о гетероклитической основе на *-ū/-ъve* и даже точнее – о сложении со вторым компонентом *-pъty/-pъtъve*. Первый компонент сложения – *dro-*, к глаголу **derǫ*, **derti/*dьrati* ‘драть’, фигуральное употребление которого – ‘быстро бежать, удирать’ – имеет еще (пра)индоевропейскую древность, прочие детали, связанные с первым компонентом здесь не столь важны. Первоначальное значение всего сложения **dro-pъt(y)* в целом будет ‘быстро бегающая птица’. В смысле исторического словообразования (как, впрочем, и в целом ряде других отношений) очевидно праславянское **dropъty/dropъtъve*, несомненно, стоит рядом с **kuropъty/*kuropъtъve* как двучленный композит с основой на *-ū*. Конечно, можно бы было возразить, что формальный рисунок у **dropъty* несколько иной, чем у **kuropъty*, хотя бы в том отношении, что формы типа **dropotka, *dropatka* характерным образом отсутствуют. Допустимо высказать предположение, что здесь сказались морфологические и прежде всего акцентуационные различия: в случае с **dro-pъty* с его сверхкратким первым компонентом первоначальное ударение так и осталось на исходном гласном всего сложения, ср. русск. *дрофа́* и другие однородные восточнославянские свидетельства. В случае с **kuropъty* с полным вокализмом первого компонента существовали предпосылки для выработки (особенно после падения редуцированных) более нейтрального варианта со смещенным к середине сложного слова постоянным ударением типа “нового акута”. Так появились русск. *куропатка* и многочисленные другие аналогичные формы – весьма вторичный продукт из предыдущего **ку̂ро́патка* и даже более первоначального **ку̂ро́потка*, **ку̂ро́-пътъка*. Об этом могут свидетельствовать формы др.-русск. *куропоть* (XVII в.), русск. диал. (северновеликорусск.) *ку́ропоть, ку́ропть* ж.р., см. данные в [ЭССЯ, 13: 127–128], русская фамилия *Куроптев*, продолжающая архаичную огласовку апеллатива. Возвращаясь к не совсем обычной – для восточнославянского и некоторых других славянских – рефлексации ъ > *а* в *куропа́тка* etc, уместно отнести ее за счет охарактеризованной выше стабилизации ударения, сославшись при этом еще на аналогичные нарушения “стабилизационного” характера: *коша́чий, лягуша́чий*, стар. *лягу́шечий*, ср. [Kiparsky 1962: 259],

где высказана однозначная отсылка последних к основам на *-ęt-*, но наличие здесь исходных форм на *-ьк- ко́шка, лягу́шка* и отмеченного колебания свидетельствует против такой однозначности.

Означенная рядоположенность **kuropъty*, **dropъty*, прежде всего – их принадлежность к гетероклитической основе на *-ū/-ъve* имеет отнюдь не инновационный, скорее – архаический словообразовательно-морфологический характер. Это имеет самое прямое отношение к образованию и происхождению **kuropъty, куропатка*, спорность трактовки которого у Х. Андерсена уже была намечена выше, начать хотя бы с этой его гипотезы о вторичном преобразовании исхода некоего условного прилагательного на *-atъ* по модели *-ū/ъve* и столь же гипотетического предположения о переосмыслении *...patъ > pъt-* и вынужденного принятия серии "народных этимологий", призванных оправдать осмысление первоначального однокоренного прилагательного **korp-atъ* как двукорневого композита **kuro-pъty*. Таким образом, ясно, что на этимологию и праисторию славянского названия птицы **kuropъty* мы смотрим существенно иначе, чем Х. Андерсен. Речь должна идти не о "сближении" с **kurъ, *kura* 'петух, курица', а об образовании **kuro-pъty* от **kurъ*. Конечно, домашняя курица Gallus domesticus к нам импортирована извне (со средиземноморского Юго-Запада? с иранского Юго-Востока?), хотя было это очень давно. Означает ли это, что заимствовано было и слово **kurъ*? Тот факт, что оно было употреблено при образовании названия дикой птицы куропатки, делает это сомнительным. Остается напомнить то, что было сказано на этот счет раньше: «Вообще не следует смешивать факт относительно позднего культурного заимствования и распространения курицы как домашней птицы в Европу с Востока (курица как "персидская птица" в Греции) с древним наличием звукоподражательного наименования, вторично употребленного о домашней курице. Относительная древность и исконность слав. **kurъ* подтверждается старым его употреблением в топонимии и гидронимии, ср. *Кур, Курица, Курец* в русск. гидронимии, болг. *Курец*» [ЭССЯ, 13: 130]. Оттуда же приведем цитату из, как всегда, несколько аподиктичного, но проницательного Брюкнера: "Во всяком случае слово *kur* – праславянское и притом извечное. Литва его не знает". Локализовав тем самым смущающий фактор культурного куроводства (о значении которого Андерсен много говорит, и мы также далеки от того, чтобы умалять это значение), мы можем поставить вопрос о семантической реконструкции праслав. **kuropъty* как 'горластая, шумная птица'[2]. Его вскрываемая при этом как бы описательность (иносказательность?) едва ли нужно обязательно толковать как в чистом виде неологизм (новая реалия = новое название). Здесь, похоже, налицо эле-

---

[2] Экспрессивность обозначенной куропатки идет еще дальше в "классических" языках: греч. πέρδιξ, буквально 'Farzerin, п...унья'. аналогично – как κάβη).

мент охотничьего табу, о необходимости учета которого применительно к куропатке уже было бегло упомянуто выше, в том числе самим Андерсеном, который мысль эту, к сожалению, бросил, не развив. А возможно, перед нами как раз один из примеров табуирования названия куропатки; другой пример **того же** – серия наименований куропатки по цвету, от **(e)rębъ/*(a)rębъ*, о чем мы будем еще говорить. Для того, чтобы вводить одно и другое, не кажется необходимым для славян вторгаться в степную зону извне, из более северных лесов, как это эффектно рисует нам автор. Ведь в сущности для этого достаточно было извечно жить в степях, а скорее, похоже, в зоне лесостепи, луговой растительности, и при этом выражать свою вполне понятную озабоченность результатами жизненно важной охоты описанными выше актами обновления (alias табуирования) своей терминологии. Что речь шла изначально о степных пространствах как среде обитания, выглядит вполне правдоподобно после того, что уже сказано о 'дрофе', с характерной дефиницией последней в русской толковой лексикографии: 'крупная степная птица семейства журавлиных'.

Итак, резюмируя то, что, по нашему мнению, послужило культурно-экологической мотивацией дескриптивного праслав. **kuropъty* 'шумная, голосистая птица', в основе называния тут лежит не акт встречи с абсолютно "новым" при пресловутом движении с севера на юг, а извечная потребность **в иносказании по отношению к всегдашнему объекту охоты**. Обновленное иносказание, обнаруживающее себя как табуистический по природе феномен, объясняется скорее изнутри языка, сущности называния вообще и из традиций охотничьего языка в частности. Фактор среды обитания, экологии присутствует (мы говорим о степной зоне, например), но его надлежит трактовать не простодушно-прямолинейно, а преломленно, то есть именно так, как нам подсказывает сам язык.

Руководствуясь этими, как нам представляется, плодотворными мыслями, мы обращаемся к другим лексемам из затронутой сферы. Попытаемся взглянуть на них, исходя из нашего постулата, что славянин знал куропатку изначально, а не встречал впервые и при каких-то внешних обстоятельствах (см. выше о миграции на юг). Таким образом, именно уклончивость как сущность табуистического иносказательного наименования объясняет, кажется, те двусмысленности, совершенно, впрочем, ясные древнему славянскому птицелову, но несколько затрудняющие понимание непосвященным, в чем и был, собственно, смысл всякого подобного называния. По-моему, это дает возможность ответить положительно на вопросы, которые во множестве задал еще вначале Х. Андерсен: почему **arębъ/ь* (у Андерсена: **jerębĭ*) называло столь разных птиц, как куропатка и рябчик? – с точки зрения охотника, sapienti sat. И на вводные недоумевающие вопросы нашего автора, – поче-

му и откуда синонимия и полисемия (*arębъ/ь ‘рябчик; куропатка’, *lěščarъka ‘рябчик’, *kuropъty ‘куропатка’), – полномочна давать ответы социальная диалектология (описанное выше промысловое табуирование), разве что при условии дополнительного распределения с диалектологией ареальной, ср. факт сходности принципов называния ‘рябчика’ (*lěščarъka: ‘Hasel-huhn’) и ‘куропатки’ (*arębъ/ь: ‘Reb-huhn’) в части славянских и части германских языков как очевидно вторичное (контактное?) явление. В связи со сказанным для нас, думаю, отпадает избыточная постановка вопроса Андерсеном о “затемненности” (opacity) праслав. *arębъ/ь (у автора: *jerębĭ) как названия птицы. Здесь все кажется ясным как субстантивация прилагательного *arębъ(jь) ‘рябой, пестрый’ в качестве такого названия. Ведь совершенно (синхронно) наглядно и наше *рябчик* есть не что иное, как суффиксальная субстантивация прилагательного *ряб(ой)*. Апеллировать к мнимой иррелевантности признака ‘пестроты’ как якобы свойственной слишком многим птицам простительно, наверное, для кабинетного дальтонизма; праславянин в этом разбирался без колебаний (см. выше). Понимание *рябина* как “рябчиковая ягода” и *курочка ряба* как “рябчиковая курочка” (!) мы, конечно, отклоняем как искусственное: издержки усложненного анализа там, где правильное прочтение лежало, так сказать, на синхронной поверхности, потому что и ‘рябина Sorbus aucuparia’ и фольклорная курочка продолжают восприниматься носителем русского языка так, как были названы вначале – как ‘рябые, пестрые’.

Утверждать после всего отмеченного выше (как это делает Андерсен), что название ‘рябчика’ не мотивировано семантически и изолировано лексически, значило бы не видеть выгод синхронии и одновременно слишком вольно толковать возможности диахронии. Общая перевернутость авторских суждений с ног на голову (не ‘рябчик’ от ‘рябой’, а наоборот) и, кажется, чрезмерная доверчивость постулатам новой сравнительной мифологии (трехчастность мира и ‘птицы’ обязательно как ‘летающие’ существа верхнего мира) имплицируют нам авторскую этимологию праславянского названия рябчика: *jerębĭ как индоевропейский деминутив *h_3n̥bhni- ‘птичка’, якобы антонимичное *$h_3$er-el- ‘орел’ (“большая птица”?), что, конечно, все в целом очень сомнительно. Дело даже не в том, что в такой индоевропейской диалектной ветви, как балтийская, -*l*- форманты подчеркнуто деминутивны (‘орел’, выше, как аугментатив проблематичен), а в том, скорее, что и.-е. *er-/*or-, действительно, вычленяемое в индоевропейских названиях орла, далее – не только в греч. ὄρνις ‘птица’, но и в ἔρνος, ‘отпрыск, потомок’, естественно отпочковались от глагола с семантикой ‘начинаться, рождаться’. И в этом последнем, и в ряде синонимичных примеров приходится считаться с этимологией лексем, обозначающих ‘птицу’ не как первоначальное ‘летун’, а ‘детеныш, выкормыш’. Эти рассуж-

дения, более подробно изложенные в другом месте [Трубачев 1980, 11] или – местах, если иметь еще в виду мою книгу “Этногенез и культура древнейших славян” (М., 1991), где сделана попытка реконструкции восприятия древним славянином птиц (“птицы-детки”) в рамках более общей древней идеологии рода и антропоцентризма, – эти рассуждения призваны здесь главным образом показать неубедительность членения названия рябчика как **er-imb-i-*. Эта этимология неправомерно разрушает единство древнего апофонического ряда **raib~/*roib-/*remb-/*romb-*, который, по нашему убеждению, представлен в лексике с семантикой рябизны, пестроты, разноцветности. Гласное начало (а- и варианты, см. [ЭССЯ, 1:73 и сл.: *-*arębъ*) может отсутствовать или присутствовать уже с древних времен, представляя порой трудности для своей функциональной характеристики: префикс или преформант? Что касается корня и его чрезвычайно разнообразных вариантов, то они требуют внимательного учета и трактовки, адекватной их древности и пестроте (чистые гласные дифтонги наряду со смешанными, носовыми дифтонгами и даже редукционными вариантами). Примат значения ‘рябой, пестрый и т.п.’ не оставляет у нас при этом никаких сомнений, особенно если отдавать себе отчет в потенциальной чрезвычайной лексико-семантической широте соответствующего гнезда, включавшего, по-видимому, далеко не только названия пестрых птиц. Важно по-прежнему считаться с вероятием того, что, широкие потенции этого лексического гнезда на редкость удачно наложились на предрасположенность языка древних добытчиков к табуированию, к применению приблизительных атрибутивов. Утверждая это, я имею в виду, например, давний опыт В.Н. Топорова по этимологии праслав. **ryba* [Топоров 1960, 1:5 и сл.]. Самый факт забвения славянским праиндоевропейского названия рыбы, которое могло иметь вид **zъvь* также не случайно и уже давно ассоциируют с табуистическими мотивами. Поэтому этимология родового названия для ‘рыбы’ от табуистически маркированного корня **raib/*roib-* (сам Топоров склонялся к мысли о наличии здесь сочетания *u* с носовым согласным) в наших глазах сохраняет серьезное значение. При стандартно принимаемом обычно *ū* как источнике славянского *y*, следует считаться с вероятием также других его источников, прежде всего – дифтонгических. Уровень описания и непосредственного наблюдения также подтверждает реальность такого происхождения, начиная от отражения славянского *y* как [ui] в формах, заимствованных в другие языки из славянского и кончая древним графическим начертанием *y* как кириллического *ы* и глаголического ⰟⰉ, то есть в сущности диграф (и дифтонг) *ŭi*. Все это имеет самое прямое отношение к адекватной трактовке сложного апофонического ряда, куда принадлежат наши *рябой, рябчик* (**ręb-* < **remb-*), но и *рябец*, ‘лосось Trutta’, далее – укр. *рібий* (**rěb-* < **roib-*), наряду с *рябий* ‘рябой’, но и *рыба* (**ryba* < **ruib-*), как напоминание нам о том времени, когда праславяне, охо-

тясь за рыбой, именовали ее столь же уклончиво 'пестрой', 'рябой', (думают, что сначала имелись в виду лососевые, ср. [Коломиец 1983: 28–29]), как и разные виды птиц.

* * *

Вот и все пока о 'рябчике' и 'куропатке' с точки зрения лингвиста-этимолога. За скобкой, несмотря на экскурсы, в основном осталось то, что историю культуры интересует в первую очередь: ареальная проекция затронутых языковых явлений. Хотя здесь в общем удалось определить свою позицию, надеюсь, не впадая в противоречия ни с данными языка в их ареальном выражении (затронутые антитезы Лес – Степь, Север – Юг), ни с собственной среднедунайской концепцией прародины славян. Говоря о последней совсем уж кратко, нам больше импонирует мысль о раннем знакомстве славян с природой Венгерской (лесо)степной равнины (ср. самобытный славизм венгерского – *puszta* 'степь' из **pusta*, sc.l. *zemja* 'пустая (земля)', а не с аридными степями Северного Причерноморья, во всяком случае – в предскифскую эпоху.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Коломиец В.Т.* Происхождение общеславянских названий рыб. Киев, 1983.
2. *Топоров В.Н.* Из праславянской этимологии. RYBA // Этимологические исследования по русскому языку. Вып. I. М., 1960.
3. *Трубачев О.Н.* Реконструкция слов и их значений // ВЯ. 1980. № 3.
4. *Филин Ф.П.* Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962.
5. ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1. М., 1974; Вып. 5. М., 1978; Вып. 13. М., 1987.
6. *Kiparsky V.* Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. Heidelberg, 1962.

Вопросы языкознания. 1996. № 6.

ИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ КОММЕНТАРИЕВ К ПОИСКАМ ПРАРОДИНЫ СЛАВЯН

Разделяя мнение одного великого лингвиста, что науку двигают вперед по большей части не общие теории, а факты, накопление фактов, мы стремимся сосредоточиться на изучении последних, не оставляя, впрочем, надежды, что совокупное или достаточно однозначное свидетельство фактов найдет отражение и в формулировке общих идей и теорий, без которых также невозможен научный прогресс.

Толчком для нижеследующих заметок послужило подробное знакомство этой весной с новым этимологическим словарем албанского языка Владимира Орла [1]. Этот солидный современный труд (670 с.), с хорошим научным аппаратом и библиографией, а главное – с современной многоаспектной трактовкой исследуемого материала (этимология, словообразование, семантика, лингвистическая география, языковые контакты) безусловно займет свое место в той области, в которой мы по-прежнему до недавнего времени вынуждены были пользоваться словарем Густава Майера, вышедшим уже более ста лет назад. Еще одна особенность, выгодно отличающая новый словарь Орла, о которой я не могу не сказать сознательно a priori, состоит в том, что этот словарь, знакомство с ним ломает, колеблет известные представления лингвистов в этой области. Эти известные представления, если быть кратким, выражаются в том, что, например, албанско-славянские языковые отношения – это отношения албанского языка и южнославянских языков на сколько угодно древнем этапе. Однако на самом деле это не совсем так. Но прежде всяких дискуссий дадим слово фактам.

Алб. *grozhël* 'вика, горошек', заимствованное из не засвидетельствованного слав. **grozdьlь*, производного *от* **grozdь* 'гроздь, кисть'. Так [1, с. 125]. По нашим данным, сюда могло бы принадлежать в.-луж. *hruzła, hruzl* 'ком земли, глыба', н.-луж. *gruzla* 'глыба земли', польск, *gruzeł* 'ком, глыба; утолщение, нарост', далее – др.-русск. *грузла моровая* 'нарыв, опухоль', русск. диал. *грузло* 'грезно луку'. См. наш Этимологический словарь славянских языков (далее – ЭССЯ) 7, с. 143, где, правда, все это упрятано s.v. **grozdьnъ/*grozdьno.*

Алб. *kaçurrel* 'кудрявый, курчавый'. "Производное от **kaçurrë*, раннего заимствования из слав. **kočura* 'бугор', в остальном не засвидетельствованного в южнославянском" [1, с. 163]. Славянское слово с возможной вариантной праформой **kočera* четко прослеживается в восточнославянском, начиная с др.-русск. ЛИ *Кочура* и далее. – русск. диал. *кочёра́* 'обрубок, пень, кочка', блр. диал. *качу́р* 'чурбан' (ЭССЯ 10, с. 105). Можно для южнославянского отметить лишь МН *Kočerîn*, в Герцеговине, см. ЭССЯ, там же, с существенной оговоркой: "...при отсутствии четкой апеллативной базы в ю.-слав. языках". С такой же оговоркой ср. сюда же болг. *Кочариново*, МН в бывш. Дупницкой околии [2].

Алб. *llom* 'грязь, ил', ранее объяснявшееся из слав. **lomъ* 'болото', в существовании которого Орел сомневается [1, с. 238], обнаруживает связи с н.-луж. *łom* 'болотистое место', др.-русск. *ломъ* 'болото', русск. диал. *лом* 'болото в лесу, поросшее трудно проходимым лесом и кустарником', из южнославянских, возможно, сюда единичное болг. *лом* 'яма с водой, омут; лужа', см. ЭССЯ 16, с. 25 и сл.

Алб. *morovinë* 'духота' объясняется в новом этимологическом словаре как заимствование из слав. *morovina, "неизвестного в южнославянском" [1, с. 273]. Действительно, у нас при составлении ЭССЯ (19, с. 238) при реконструкции **morovina* оказалось в распоряжении только чеш, morovina 'эпидемия', по Котту.

Алб. *shkërdhec* 'бочонок' характеризуется как раннее заимствование из слав. **skovordьсь* 'сковородка' (ср. и отражение группы tort!), причем деминутив на *-ьсь* предполагает достаточно интимное знакомство, хотя в собственно южнославянском, кроме изолированного ст.-слав. *сковрада* ἐσχάρα, τήγανον (Супр.), свидетельства отсутствуют, и слав. **skovorda* в основном представляется западно- и восточнославянским словом (чеш., польск., сербо-луж., русск., укр., см. Фасмер III, с. 644), ср. и [1, с. 420].

Алб. *shetkë* 'грива' "заимствовано из слав. **ščetъka* 'щётка, щетина', в остальном не засвидетельствованного в южнославянском, за исключением словен. *ščetka*" [l, с. 412], см. о последнем как противопоставленном собственно ю.-слав. **četь*, **četъka* [3]. Словенский же в данном случае разделяет праформу **ščetъka*, общую для западно- и восточнославянского и, как видим, захватившую также албанский.

Алб. *triskë* 'кусок дерева, стружки' характеризуется как раннее заимствование из слав. **trěska* (основное значение: 'щепка'), "не засвидетельствованного в южнославянском" [1, с. 465], но, как известно, распространенного в западно- и восточнославянском.

Албанское название 'воробья' – *harabel* – отражает слав. **vorbьlь*, "форму, не засвидетельствованную в южнославянском, где мы находим только **vorbьсь* в том же значении" [1, с. 142]. Лингвогеографическое распределение **vorbьсь* – **vorbьlь* (вар. **vorbьjь*) принадлежит, кстати сказать, к числу выразительных диалектных примет внутри славянского ареала.

Более "смазанным", югославянизированным формально (в духе трактовки tort → trat), но семантически резко выпадающим из южнославянского представляется алб. *blanë* 'сердцевина дерева; рубец, шрам', см. [1, с. 28], который отметил большую близость значений русск. *болона* 'шишка, опухоль, нарост (на дереве, на теле человека)', ср. и [4, вып. 3, с. 77]. Для южнославянского характерны совсем другие значения **bolna* – болг. *блана* 'дерн; ком земли' и близкие, см. и ЭССЯ 2, с. 175 и сл.

Албанская производная (ум.) форма *drokth* имеет и "производное" значение 'метла, веник', которое происходит от слав. **drokъ* и его более первоначальных значений 'растение дрок Genista', названия ряда других растений, представленных, как и сама лексема **drokъ*, практически исключительно в восточнославянском – русск., в том числе диал., укр. См. ЭССЯ 5, с. 124; [4, вып. 8, с. 192]. Связь значений 'метла, веник' и 'растение дрок Genista' совершенно очевидна (ср. и нем. *Besenginster* 'дрок' и *Besen* 'метла, веник'), и она однонаправленна: из побегов растения вяжут веники. Кроме этих ука-

заний на восточнославянские связи алб. *drokth*, остается добавить, что слав. **drokъ* 'genista' "не засвидетельствовано в южнославянском" [1, с. 75].

Алб. *prondit* 'производить', к сожалению, пропущенное в словаре В. Орла, кажется более реалистичным поставить не в связь с серб. *пру́дити* 'приносить пользу' [5, с. 16], (критику этого семантически и формально проблематичного сближения см. [6, с. 246]), а в связь с русск. *пруди́ть* 'лить много' (Даль III, с. 529), кстати, хорошо отражающим семантику производящего имени – слав. **prúdъ* '(сильное) течение' > 'сильно лить(ся)'.

Алб. *ronit(ëm)* 'падать, валиться' замечательно, кажется, тем, что отражает не то значение исходного слав. *roniti, которое, судя по соответствиям, является этимологически древним, – 'лить', в ряде случаев преимущественно 'лить, проливать слезы' (серб., болг., чеш, слвц., серболуж., польск., см. Фасмер III , с. 501), а как раз значение **инновационное**, представленное в восточнославянском – русск. *роня́ть, урони́ть* 'позволить упасть'. На эту поучительную разницу значений, о котором см. [с. 374], похоже, не обращено должного внимания, ср. например [16, с. 241].

Нижеследующие несколько свидетельств, возможно, усиливают складывающуюся выше картину однозначностью своего характера.

Алб. *dobët* 'слабый', производное от *dobë* то же, заимствовано из слав. **dobъ*, "не засвидетельствованного в южнославянском, где широко распространено более обычное **dobrъ*" [1, с. 69]. Наш ЭССЯ (5, с. 47) содержит сведения о том, что слав. **dobъ*, производящее для **dobrъ*, которое и само достаточно архаично, свойственно только для восточнославянского: русск. диал. *добо́й* 'хороший', *доб* 'хорош', укр. диал. *до́бый* 'хороший'.

Примерно то же можно сказать об алб. gamis 'лаять' – из слав. **gamiti*, которое не только "не засвидетельствовано в южнославянском", как см. [1, с. 109], но неизвестно нам также из прочих славянских языков, **кроме восточнославянского**, ср. русск. диал. *гаме́ть* 'кричать', а также специально 'громко лаять (о собаках)' (курск.) [4, вып. 6, с. 131]. Звукоподражательность образования (см. ЭССЯ 6, с. 98) не обязательно противоречит его древности и характерности.

Алб. *log* 'луг' предположительно заимствовано из слав. **logъ*, но близкие значения 'лощина, низина' последнее обнаруживает только в восточнославянском (см. ЭССЯ 15, с. 249), тогда как семантика южнославянских продолжений слав. **logъ* сильно отклоняется – 'лежание; логово', ср. и [1, с. 230].

Алб. *muzg* 'пасмурный', в особенности же *muzgë* 'грязь, тина', видимо, происходит из разветвленного гнезда слав. **muzga*/**mъzga*, причем, если первая – полная – ступень, с семантическими отличиями, прослеживается и в южнославянском (сербохорв. *muzga* 'след от струйки', словен. *múzga* 'древесный' сок; ил, тина'), и в западносла-

вянском (польск. диал. *muzga* 'сочная, сырая трава'), и в восточнославянском (др.-русск. *музгъ* 'тина', русск. диал. *музга* 'впадина (с водой); лужа', см. ЭССЯ 20, 202), то **mъzga* характерно прежде всего для восточнославянского – русск. диал. *мзга* 'сырая погода, гниль', *мóзга* 'гной', будучи близко к алб. *muzgë* 'грязь, тина' как семантически, так и формально-фонетически, в последнем отношении предполагая довольно древний возраст заимствования (отражение слав. ъ как алб. *u*). О **mъzga* см. (без албанских ассоциаций) ЭССЯ 21, с. 19; ср. *u*, с отличиями, [1, с. 281].

Алб. *postas* (аорист *postata*) 'устать, утомиться' объясняли как заимствованное из слав. **postati*, приводя при этом несколько эфемерную, полипрефиксальную форму в духе славянских Aktionsarten **po-u-stati*, как условно реальное только русск. *(по)устать* (скорее, более естественное для нашеи речи *подустать. – О.Т.*) [5, с. 16; ср. 1, с. 340]. Характерно – для старой school of thought, что и автор этого сближения, и критика (см. 16, с. 263]) одинаково признают как момент, ослабляющий эту этимологию, не указанную нами эфемерность образования, а то обстоятельство, что **соответствие в южнославянском отсутствует**, но с этим мы будем еще разбираться ниже.

Алб. *shagit* 'ползти' объясняют через **shag* из формы, близкой к русск. *шагáть*, возводимой к слав. **sęgati*, сюда же чеш. *šahati* [1, с. 406], о слав. см. Фасмер IV, 393–394.

Алб. *sharë* 'обида, оскорбление', возможно, представляет собой раннее заимствование некоего слав. **sora*, прямым продолжением которого оказывается приставочное **sъsora* в русск. *ссора*, ср. более отдаленные сербохорв. *osoran* 'грубый, жестокий' и словен. osoren [1, с. 408].

Алб. *shoglinë* 'голое место, без растительности', к сожалению, пропущенное в [1], получает объяснение в связи с русск. *суглинок* [5, с. 14]; точнее сказать, что оно представляет собой возможное раннее заимствование из (пра)слав. **sǫglinъ(kъ)*, о чем говорила бы передача слав. *s* как алб. *sh*[*š*] и слав. *ǫ* как алб. *o*.

Предварительно резюмируем: алб. *grozhël, kaçurrel, llom, morovinë, shkërdhec, shetkë, triskë. harabel, blanë, drokth, prondit, ronit, dobët, gamis, log, muzg, muzgë, postas, shagit, sharë, shoglinë* обнаруживают слабые связи с южнославянской лексикой либо не имеют их вообще. Взамен этого они предъявляют связи с западной и восточнославянской лексикой. О "чистой" картинс в этой области, в которой естественно ожидать именно картину, смазанную временем и преобладающими контактами, говорить не приходится, к тому же именно с лексикой упорно ассоциировали роль самого подвижного элемента языка. Тем более удивительно то, что ряд слов из перечисленных выше обнаруживают – казалось бы, странные – преобладающие восточнославянские ассоциации: это *kaçurrel/*kaçurrë, drokth, prondit, ronit, dobët, gamis, log, muzgë, postas, sharë, shoglinë*. Может

быть, семантический спектр этих слов не содержит особых откровений: 'кучерявый', 'метла, веник', 'производить', 'падать', 'слабый', 'лаять', 'луг', 'грязь, тина', 'устать, утомиться', 'обида, оскорбление', 'голое место'. Однако, с другой стороны, перед нами лексика повседневной жизни, что небезразлично для вопроса о степени языкового контакта.

Нельзя сказать, что эти слова остались неизвестны предыдущему исследованию, хотя и для этого исследования, как и для всякого другого, отмечается постепенное расширение исследуемого материала. Достаточно сказать, что большинства слов, привлекших наше внимание, мы, например, не находим в капитальной монографии А.М. Селищева "Славянское население в Албании" (София, 1931, фототипическое переиздание: A.M. Seliščev. Slavjanskoe naselenie v Albanii. Nachdruck besorgt von R. Olesch. Böhlau Verlag, Köln–Wien, 1978).

Исследования, более близкие нашему времени и посвященные проблеме славянских заимствований в албанском, постепенно охватывают все больше интересующих нас слов, в чем нельзя не видеть безусловный прогресс, правда, сопровождаемый вынужденной оговоркой: и Десницкая, и Сване исходят из твердого постулата решающего значения южнославянской принадлежности славизмов албанского. Этот постулат иногда расширяется за счет некой конструкции (ср. Иокль у Десницкой, указ. соч., с. 7) в том смысле, что албанские славизмы, соответствия которым на практике засвидетельствованы (только) в восточно- и западнославянских языках, "могут быть реконструированы" и для южнославянских. Для того, чтобы опираться на этот постулат, даже в такой расширенной редакции, нужна была вера в изначальное единство (пра)славянского. Сейчас этой абсолютной веры в такое бездиалектное (пра)единство уже не достаточно, многие факты требуют признания древней диалектной сложности, а с ней и допущения возможности как изначального наличия одних образований в ряде диалектов, так и потенциального изначального отсутствия их в других диалектах. Презумпция отсутствия как обязательной утраты постепенно теряет свою актуальность. В науке подобные эволюции взглядов иногда называют сменой парадигмы. Иногда (впрочем, наверное, необязательно) смены парадигм совпадают со сменой поколений. Во всяком случае принадлежащий к более молодому поколению Владимир Орел обнаруживает бóльшую широту в суждениях на тему эвентуальных **неюжнославянских** элементов на славянском Юге, ср. еще в [7], особенно же – в своем новом словаре.

Можно, наверное, продолжать смотреть на описанные выше десяток-другой примеров как на частные выпадения из общей безусловно южной принадлежности славизмов албанского, эта новая группа фактов, тем не менее, заслуживает, требует объяснения, в том числе – наличие ряда черт древности самих фактов. Поэтому

поиски некой рамочной концепции, которая бы помогла объяснить непротиворечиво то, что иначе выглядит непримиримым противоречием, – оправданны. Такую рамочную роль могла бы сыграть отстаиваемая уже в течение ряда лет автором этих строк концепция древнего совокупного обитания на Среднем Дунае всех славян, а не только одних только южных. При этом оправданно и условное использование таких уже ранее сформулированных в науке понятий как паннонскославянский с его западнославянской ориентацией и дакославянский с восточнославянскими схождениями последнего. Несмотря на скепсис, высказывавшийся по этому поводу, в частности, еще на XI Международном съезде славистов (выступление Г. Михаилэ), исследователи вынуждены вновь обращаться к положительному рассмотрению этого вопроса, ср. в последнее время о румынской традиции называния 'кузнечика', насекомого Tettigonia viridissima как 'кузнеца' и её полных восточнославянских, русских параллелях [8].

Заметим, что одним 'кузнечиком' тут дело не ограничивается. Традиция выявления дакославизмов вообще в румынском и специально – в румынском Банате к настоящему времени является уже давней и отнюдь не бесплодной. Ср. соображения ряда ученых о своеобразной позиции крашованского (карашевского) славянского диалекта в этом юго-западном углу Румынии, его принципиальные отличия от собственно южнославянского, а также принципиальные схождения с севернославянским языковым типом, далее – прямые восточнославянские ассоциации ряда местных реликтовых лексем. Это прежде всего известное румынское название 'снега', *zăpádă*, р. конкретно русск. диал. (арханг.) *запáд* тропы 'засыпание тропы **снегом**', о чем я писал раньше [9], возможно, далее, рум. *nisip* 'песок', ср. северновеликоруск. *нáсыпь* 'куча прибрежного песку'. МН *Ohaba* в Западной Румынии, ср. др.-русск. *охабити* 'оставить, покинуть (без надзора)', зап.-рум. *lapă* 'рука' как севернославянский, а не южнославянский элемент, рум. *mînjí* 'мазать', ср. русск. простореч. *музюкать* с близким значением, а, возможно, и огласовкой (см. [9, с. 18–19], ср. еще [10], в особенности же еще [11]). Эта линия исследований продолжает поиски Г. Райхенкрона, посвященные дакославянским следам в Семиградье, Э. Петровича и И. Поповича о диалекте крашован, С. Пушкарю о севернодунайских славянах, эквивалентных дакославянам Райхенкрона. Каждый из них оставил после себя находки в области того, что можно отнести к следам предков восточных славян как автохтонов Среднего Подунавья, взять хотя бы рум. диал. (зап.) *zapor* 'корь, скарлатина' из дакослав. **zaporъ* у Г. Райхенкрона, ср. русск. *запóр*, диал. *зáпор* как название разных болезней.

Нынешний "дакославянский" экскурс преследовал одну цель – приблизиться к локализации наших неюжнославянских славизмов албанского. Как известно, существует общий фонд палеобалкан-

ских автохтонизмов, объединяющих албанский и румынский. Однако в нашем случае вряд ли можно эксплоатировать эту общность без предварительной специальной проверки. Нет необходимости и априорно высказываться обязательно в пользу одной из концепций древнего ареала албанского – внутриконтинентального (известный треугольник Ниш–Скопие–София) или приморского (Illyria proprie dicta). В разное время, для разных эпох и то, и другое может оказаться верным. И все же севернославянская, а частью и восточнославянская принадлежность рассмотренных кратко славизмов албанского в определенной мере может повлиять на решение и этого вопроса.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Orel Vladimir.* Albanian etymological dictionary. Brill. Leiden, Boston, Köln, 1998.
2. *Миков, Васил.* Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места. София, 1943. С. 33 (собственное толкование автора от тур. *коч* 'первое' и *ери* 'место', разумеется, произвольно).
3. *Snoj M.* Slovenski etimoloski slovar. Ljubljana, 1997. S. 629.
4. Словарь русских народных говоров. Л.
5. *Десницкая А.В.* Славянские заимствования в албанском языке // V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963.
6. *Svane G.* Slavische aalehnwqrter im Albanischen // Acta Jutlandica LXVIII. Humanistische Reihe 67. Aarhus, 1992.
7. *Орёл В.Э.* Лексика неславянских языков Балкан как источник праславянской реконструкции. Славянские заимствования в албанский и восточнороманский // Этимология 1984. М., 1986. С. 181 и сл.
8. *Клепикова Г.П.* Славяно-румынские параллели в сфере этимологической лексики (названия 'кузнечика') // Сборник к 70-летию В.Н. Топорова. М., 1998. С. 202 и сл.
9. *Трубачев О.Н.* Древние славяне на Дунае (южный фланг). Лингвистические наблюдения // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993. С. 18.
10. *Трубачев О.Н.* Slavica Danubiana continuata. Продолжение разысканий о древних славянах на Дунае. Белград, 1996. С. 17 и карта на с. 33.
11. *Трубачев О.Н.* Древние славяне на Дунае. Южный фланг (лингвистические наблюдения. II) // Palaeoslavica. V. Cambridge/Massachusetts. 1997. С. 21–23.

Памяти Л.А. Гиндина (†1994)

К ЭТИМОЛОГИИ НАЗВАНИЯ ШВЕЙЦАРИИ (HELVETII, HELVETIA ~ SCHWYZ, SCHWEIZ)*

Расставшись внезапно в конце 1993 г. с незабвенным Леонидом Александровичем, Лёней Гиндиным, согреваешь себя мыслью, что осталась связь, что все еще как бы продолжаются дружеские научные диалоги (наконец, это приятное приглашение в очередной сборник **Античная балканистика**, которому, к сожалению, не суждено состояться, я, наверное, бы получил от него самого, и наверняка не преминул бы высказать ему свои сомнения и колебания насчет своего участия, ссылаясь на некоторую экзотичность и маргинальность основной темы сборника в отношении того, что можно считать кругом моих интересов; разговор на этом бы не оборвался и предупредительный Леонид Александрович мог бы выразить готовность расширить тематические рамки сборника, добавив к ним "и Северное Причерноморье", дабы облегчить мне участие близкой мне тематикой, как он, собственно говоря, и поступал раньше). Теперь его самого нет, но повод вспомнить о том, "как бывало" в таких случаях, представляется по-прежнему подходящим. Тем более, к тому же, что маленькая моя заметка, в свою очередь, была бы откровенно маргинальна по отношению к эвентуальной "Античной балканистике" и, возможно, представила бы в лучшем случае типологический и, в буквальном смысле, периферийный интерес, поскольку занимающая нас в дальнейшем такая этнолингвистическая особенность, как **сложение этнонимов на базе самообозначений 'свой, свои (люди)'**, похоже, на собственно античнобалканский Kerngebiet не распространялась, насколько мы можем о нем судить хотя бы по трудам и справочным изданиям Томашека, А. Майера, Дечева, Дуриданова, Катичича и др. Неизвестен, кажется, поныне и собственно древний балканскоиндоевропейский (иллирийский, фракийский) рефлекс и.-е. *_su̯e-_/*_su̯o-_ (к алб. _vetë_ 'сам' < и.-е. *_su̯e-ti-_ еще вернемся ниже). И это притом, что палеобалканскоиндоевропейские племенные названия известны десятками; их возраст и значение сохраняют в основном локальный характер, и эта картина до известной степени напоминает нам то, что мы знаем из ранней славянской этнонимии. Правда, у славян прощупывается такая типологически

---

* Это загадочное двойное название страны "Гельвеция/Швейцария" – одно из запомнившихся впечатлений моего отрочества, в пору увлечения филателией, когда я столкнулся с тем, что на швейцарских почтовых марках стоит неведомое мне Helvetia.

древняя и самобытная особенность, как наличие слова *svojь 'suus' в роли ключевого слова славянской культуры. Родовое понятие 'свой, свои (люди)' служило достаточным эквивалентом этнонима в доэтнонимическую эпоху. Есть основания видеть в этом еще праиндоевропейскую особенность. Возможно также, что аналогичное состояние было присуще и древним индоевропейцам Балкан.

По-своему интересна – на этом сравнительно-типологическом фоне – этнолингвистическая ситуация у западных и северозападных индоевропейских соседей древних Балкан. Ситуацию эту, несколько предвосхищая дальнейшее изложение, можно охарактеризовать, при всей ее историко-документальной древности, как более продвинутую в культурнотипологическом плане, а именно: и.-е. **sue-*/*suo-* 'suus, sui generis', во многом утратив позиции ключевого слова, например, в германском языке и культуре, осело там в ряде случаев как некий петрификат, пережиток в соответствующей этнонимии, ср. достаточно хрестоматийные примеры *Suīonēs* (у Тацита), др.-исл. *Svīar* мн. 'свеи, шведы', сюда же (с другим суффиксом) нем. *Schweden*, далее – герм.-лат. *Suēbi* мн. 'свебы, свевы', др.-в.-нем. *Swābā*, соврем. нем. *Schwaben* 'швабы, Швабия'. Иными словами, и в германских этнических названиях свеев/шведов, свевов/швабов, и в славянском общеэтническом самоназвании **slověne* 'славяне' из первонач. 'ясно, понятно ("по-своему") говорящие' (о чем подробнее – в других местах) просматривается еще доэтнонимическая стадия, только ее дальнейшая эволюция протекала по-разному, в германском – через означенную компенсацию, а в славянском – преломленно, путем "переименования". Эти наблюдения и этот опыт могут пригодиться в аналогичных других случаях, поскольку, кажется, до сих пор использованы недостаточно, далеко не в полную меру обобщения, на которую дают право.

Речь идет о названии, точнее даже – названиях, Швейцарии. Прежде всего это, конечно, официально литературное, нововерхненемецкое *Schweiz* '(страна) Швейцария'. Его история или происхождение рисуется очень краткими, надо сказать, скудными, сведениями: восходит (с литературной немецкой дифтонгизацией) к названию одного из нескольких первоначально объединившихся швейцарских кантонов – диалектному (алеманнскому) *Schwyz*, а это последнее вначале обозначало город, центр самого кантона. **Дальнейшая этимология названия *Schwyz* неизвестна** (Kiss L. Földrajzi nevek etimológiai szótára[4] II. Budapest, 1988, c. 506. Автор этого новейшего, весьма компетентного этимологического справочника опирается на труды лучших авторитетов, напр. A. Bach. Deutsche Namenkunde). Согласимся, что это мало. Даже одного лишь поверхностного сопоставления, бегло предложенного выше, достаточно, чтобы допустить, что перед нами генетически однотипное имя со своими отличиями в первоначальном объеме употребления ("Gemeindename"?), в суффиксальном оформлении, но главное – того же корня, причем

и.-е. **sui̯-* прошло алеманнско-швабскую эволюцию с результатом *Schwy-*, суффиксальное оформление которого имеет достаточно близкие аналогии. Ср. греч. ἴδιος 'свой, свойственный, собственный' < **sui̯-d-i̯os* или **su̯edi̯os*, сюда же уже упомянутое алб. *vetë* 'сам' < **su̯e-ti-*, лат. *sodālis* 'товарищ, приятель' < **su̯edhālis* (Pokorny I, 882; Chantraine. Dict. et. de la langue gr. 1–2, 455).

Германский этнический элемент не обязательно исконен в Швейцарии, в частности, – западной, ибо известно, что близ гор Юра, Леманского (позднее – Женевского) озера и верховьев реки Родана (Роны) обитали кельтские гельветы – *Helvetii, Helvitii, Elvetii, Elvitii*. Правда, то, что в классической кельтологии обычно сообщается о предыстории последних, способно, скорее, завести в тупик или, по крайней мере, озадачить. Ср. указание на их приход в западную Швейцарию с правого берега Рейна в эпоху, незадолго предшествующую Цезарю, и еще – на этимологическую связь с неким племенем *Elvii*, о котором сообщается, что они обитали в области секванов, а само имя сближается с лигурийским (?) *Ilva*, древним названием острова Эльба в Средиземном море, что в целом дает довольно запутанную картину (см. A. Holder. Altceltischer Sprachschatz. Bd. I: A.-H. Graz, 1961, Sp. 1419 и сл., 1430). Кажется, что не использованы несколько иные возможности – как внутрикельтской этимологии, так и древней (до)этнонимической семантики, затронутой выше. Я имею в виду (пра)кельтское **selvā* 'собственность, (своё) владение', ср. ирл. *selb (selv)* то же (Wh. Stokes, A. Bezzenberger. Wortschatz der keltishen Spracheinheit[5]. Göttingen. 1979, S. 302, там же другие примеры). Отношение древнего **selvā* и упомянутых племенных названий *Helvetii*, etc. (выше) напоминает особенность, обычно наблюдаемую у островных кельтов и в бретонском, – аспирацию *s-* > *h-*. Надо думать, что эта аспирация в древности была известна и шире, у континентальных кельтов, в частности – у их гальштатской волны, имигрировавшей в последние столетия до н.э. с запада, через германский юг на восток. Реконструируемое при этом исходное **selb-* 'свой, (вар.) сам' оказывается древним региональным словом, которое, кроме германского **selba-* 'сам', нем. *selb(er)*, англ. *self* 'сам', давно уже вскрыто в остатках еще одного древнего индоевропейского диалекта, примыкающего к швейцарскоальпийскому региону, – венетском *sselboi sselboi* 'sibi ipsi', то есть 'себе самому' (ср. Pokorny. Ib., S. 884; Kluge[20], S. 701, со ссылкой на Краэ). Таким образом, в этом циркумальпийском регионе вскрываемое и.-е. диал. **selb(h)o-* 'свой, сам' (с имеющей место недооценкой, как видно из вышесказанного, участия в нем также кельтской стороны) играло свою определенную роль как средство самоидентификации – индивидуальной, групповой, родовой. Естественно предположить, что южногерманское (алеманнское) *Schwyz* / немецкое *Schweiz* явилось в свое время как бы адстратным подключением, дублированием, семантической калькой, в частности, кельтского *Helvetii*, тем более, что это семан-

тически (**'свои люди, край своих людей'**) вполне отвечало германскому узусу. Любопытно, что этот последний, на наш взгляд, тоже все еще нуждается в корректировке своей этнолингвистической реконструкции: **sṷē-bh-/*sṷe-dh-/*sṷī-d-* не как индивидуализирующее 'frei, von eigener Art', как думают некоторые западные специалисты (напр., Покорный, выше), а – в духе древнеродовой идеологии, в **коллективном** смысле – 'свой, к своему роду, племени принадлежащий'. Однокоренное слав. **svoboda*, на которое при этом, по-видимому, опираются, развило свое значение 'свобода, libertas', тоже из этой исходной базы **принадлежности к роду**.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

SUMMARY

The main point of the author's conception is the dispute against the thesis of a primitive "non-existence" of Slavs apart from the Balts.

Being convinced of the priority of dialectology of any ancient language and ancient culture as well, we consider the Common Slavic (Slavic parent-language) an Indo-European dialect and the ancient Slavic culture a dialectal variant of the I.-E. culture. So we date the beginning of developped religious notions among the Slavs not earlier as the time of Slavic-Iranian contacts, i.e. approximately mid-First millennium B.C. Not earlier than this time have appeared Slavic composite theonyms (names of gods). Without any doubt there was a primacy of taboo, elusive mention, tacit worship of deities, a primitive ancestral cult, and just this cultural stage is to be correlated with the earliest Slavic-Latin contacts (Slavic **gověti* – Lat. *favere*, Slavic **manъ/mana* – Latin *manes*), supposedly the Third millennium B.C. Just that Slavic-Latin (and not Slavic-Iranian) contacts reveal also the earliest special isoglosses in the denominations of natural phenomena (*palūdem* – **pola voda*).

Besides a tribal ideology, the Slavic lexicon testifies the existence of the ideology of an agricultural society. The name of a part of Western Slavs – **lędjane* 'virgin soils ploughmen' – mirrors both this ideology and the secondary coming of Polish tribes into the Vistula basin as well. The Slavic agriculture has been oriented towards the ancient Danubian-Alpine agricultural center as to the agricultural implements (Slavic **plugъ*), the sorts of cereals and their names (Russian *полба* 'the spelt', Slavic **rъžь* 'rye', with its new etymology 'that tears (the wheat)'). There is an opinion that Germanic tribes have obtained the culture of rye from the Slavs.

As regards the metals and their Slavic names, there is a possibility of a special cultural chronology. It is noteworthy that the Slavic and the Armenian do correspond not in naming the metal 'iron', but only in a premetallic name of an organic lump, 'gland'. An areal I.-E. name for 'gold' does unite since a supposedly early time the Slavic with the Germanic, a part of East Baltic (the Letton) and perhaps the Thracian (the source of this isogloss to be localized in Transilvania and the Danube basin). A so to say

"Kupferargument" unmistakably divorces the Early Slavic and the Early Baltic (there are quite different names for 'copper'). Only such late metal as the 'iron' presents its new name, common for Slavs and Balts, and the Iron Age (about mid-First millenium B.C.) makes a probable terminus post quem of a Balto-Slavic areal approaching. The names for 'silver' in Slavic, Germanic and Baltic are comparable, but it is a quite evident loanword of an eastern origin, from the Northern Caucasus, with the participation of the North-Pontic Indoarians.

We see the Danube river as an axis of localization of ancient I.-E. dialects, amongst them the Early Greek (the problem of Danaoi), the Early Armenian. The Slavic concerned before all the Middle Danube, whose name the Slavs loaned in its Celtic-Germanic form (probably from the Upper Danube). The Lower Danube was primarily unknown to the Slavs and its ancient names (Ἴστρος, Ματόας) as well.

We see the Middle Danube lands as a center of the further Slavic migrations, including that to the north of the Carpathians, along the Vistula valley. It was a sort of a northern infiltration not only of the Slavs, but also of other I.-E. tribes that came into the future Poland earlier than the Slavs and together with them what led to an intermingled coexistence. What specially proves the presence of non-Slavic Indo-Europeans to the north of Sudeta mountains is this "Third" ethnic element between the Germanic and Slavic tribes, supposedly of Venetic (Illyro-Venetic) linguistic origin. As a sign of crisis of Polish autochthonist theories and immediately after them a conception has been put forward according to which there has been in the Oder and Vistula basins up to the coming of the Slavs in the VIth century A.D. (?) a lack of settlement (pustka osadnicza, Polish archaeologist Godlowski). While regarding this new theory as another extreme, we should stress to the contrary the reality of direct Venetic-Slavic ethnolinguistic contacts (cf. the etymology of Licicaviki, Śrem and much other names inherited by the onomastics of Polish lands), hence a considerably earlier appearance of the Slavs in this country. As the Preslavic Illyrians to the north of the Carpathians we regard also the Silingi (Polish *Śląsk* < **sьlęg-*, Silesia) and Milingi, concealed under a placename Mlądz, near Warsaw (<**mьlęg-*, according to Stieber), carried then away by the Slavic reflux up to the Greek Peloponnese (in Constantine Porphyrogenetos' De administrando imperio οἱ Μηλιγγοί are already a Slavic tribe).

Specialists that suppose the primitive area of the Balts somewhere on the Upper Dnieper and Oka rivers (Gołab, Birnbaum) do obviously underestimate earliest Baltic-Thracian contacts (presumably Third millennium B.C.) which took place in any case to the south of the Pripet river. Just there is to be supposed the earliest area of the Balts also. As concerns the Baltic-Slavic contacts, they are post-ethnogenetic and should have had the character of an enduring Sprachbund (beginning from the Iron Age, see above).

As to the linguistic characteristics of the Middle Danube area it should be indicated that the river-name *Morava* which spread then in the East, West and South has been initially endemic for the Middle Danube area. Slavic

Morava, evolved from an earlier *Maru-s* is one of non-differentiated Indo-European ("alteuropäisch") Wasserworter, etymologically congener to I.-E. **mori*, Slavic **mor'e* 'sea'. The Slavic hydronymic inventory of the Middle Danube area reveals, notwithstanding a millennial domination of the Hungarian language with quite different structure, the presence of undoubtedly Early Slavic wordformational and morphological features (derivatives and composita) and some archaic moments (a nearly exclusive use of the physiographic lexicon of the type of mentioned Krahe's "Wasserwörter").

What was said above can be repeated about the western part of the Middle Danube basin, the so-called Pannonia (or Transdanubia). Step by step are being clarified the details of Early Slavic nomenclature of the Balaton lake and its environs. So Slavic **Pleso* (lacus *Pelso*, Plin. NH III, 24) has been the name of the greater, straight part of the lake, and only the lesser, more marsh-ridden, part of it has had the Slavic name **Bolto* 'marsh, swamp', hence a Church-Slavic city-name **Blatьnъ gradъ*, an ancient city at the western shore of the lake. Very near to Slavic nomenclature stands an ancient tribal name *Oseriates* (perhaps only the suffixal formation *-iat-* of the latter tends to non-Slavic, Illyrian; here we cannot but evoke an obviously hybrid ethnonym 'Εζερῖται, Const. Porph. De adm. imp., mentioned there as an already Slavic tribal name, beside the Milingi, in the southwestern Peloponnese).

Hereby we touch an important question of neighbourhood and coexistence of Slavic and non-Slavic within the same territory, namely the Illyrian-Slavic succession, because the Slavic meaning 'marsh, marshy' (in Hungarian *Balaton*, see above) correctly reproduces the meaning of yet Illyrian names *Pannonia*, **Pannona*. One such pair of Illyrian-Slavic successivity does outweigh substantially the negative factor of paucity of what has been really attested. Therefore Udolph's verdict – "Die Slaven kamen nicht aus Pannonien" – is far from indisputable.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

Олега Николаевича
ТРУБАЧЕВА

“Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать, – неожиданно вспоминает есенинские строки Олег Николаевич, задумчиво глядя на титульную страницу будущей книги. – Ушел из жизни Никита Ильич Толстой, совсем недавно не стало Эдуарда Федоровича Володина... И все же траурных рамок не надо: печаль наша светла”.

Эти слова были сказаны Олегом Николаевичем незадолго до кончины.

Тогда, при обсуждении с ним материалов готовящейся к печати книги, свято верилось, что счастливый день выхода ее в свет уже рядом и автор обязательно увидит свой труд.

Мы спешили, тем больнее осознавать, что не успели. Утрата горька и безмерна, мы скорбим вместе со всеми, кто любил и понимал огромную значимость для русской науки этого мужественного человека и выдающегося ученого. Но пусть печаль наша будет светла.

И.Б. Еськова, А.И. Кучинская, Т.М. Скрипова

СОДЕРЖАНИЕ

Трубачев О.Н.

Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования / О.Н. Трубачев; [Отв. ред. Н.И. Толстой]. – Изд. 2-е, доп. М.: Наука, 2003. – 489 с.

ISBN 5-02-032661-5

В книге подвергаются пересмотру устоявшиеся взгляды на формирование языка и культуры древнейших славян, проблемы славянского этногенеза и прародины славян. Опираясь на сплошное обследование словарного состава славянских языков и его этимологию, автор выдвигает свою концепцию, углубляющую хронологию образования праславянского языка и этноса, аргументирующую во многом центральную позицию славянского языка в Европе (дунайская прародина славян) и в индоевропейском языковом варианте.

Для языковедов, историков, археологов, этнографов, всех интересующихся вопросами славянской культуры.

ТП-2001-II-№130

Trubačev O.N.

Ethnogenesis and culture of the Early Slavs. Linguistic studies / O.N. Trubačev; [Ed. N. Tolstoy]. – 2nd., súppl. M.: Nauka, 2003. – 489 p.

ISBN 5-02-032661-5

The book is a revision of traditional views on the formation of the language and culture of Early Slavs, their ethnogenesis and primitive homeland. While basing on a thorough investigation of the word-stock of all Slavic languages and its etymology, the author puts forward his own conception of a deeper chronology of the formation of Common Slavic in Europe (the Danubian homeland of Slavs) and on an Indo-European scale.

For specialists in linguistics, archaeology, ethnology and all interested in questions of Slavic culture.

Научное издание

ТРУБАЧЕВ Олег Николаевич

ЭТНОГЕНЕЗ И КУЛЬТУРА
ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯН

Лингвистические исследования

Издание второе, дополненное

Утверждено к печати
Ученым советом
Института русского языка
РАН
им. В.В. Виноградова

Зав. редакцией *А.И. Кучинская*
Редактор *Т.М. Скрипова*
Художник *В.Ю. Яковлев*
Художественный редактор *Т.В. Болотина*
Технический редактор *О.В. Аредова*
Корректоры *Н.П. Круглова, Р.В. Молоканова*

Подписано к печати 31.01.2003
Формат 60 × $90^1/_{16}$. Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Усл.печ.л. 31,0. Усл.кр.-отт. 31,5. Уч.-изд.л. 35,6
Тираж 1460 экз. Тип. зак. 7505

Издательство "Наука"
117997 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90

E-mail:secret@naukaran.ru
Internet: www.naukaran.ru

ППП типография "Наука"
121099, Москва, Шубинский пер., 6

АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ "АКАДЕМКНИГА"

Магазины "Книга–почтой"

121009 Москва, Шубинский пер., 6; 241-02-52
197345 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 75; (код 812) 235-05-67

Магазины "Академкнига" с указанием отделов "Книга–почтой"

690088 Владивосток, Океанский пр-т, 140 ("Книга–почтой"); (код 4232) 5-27-91
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 ("Книга–почтой"); (код 3432) 55-10-03
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 298 ("Книга–почтой"); (код 3952) 46-56-20
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45; (код 3912) 27-03-90
220012 Минск, проспект Ф.Скорины, 72; (код 10375-17) 232-00-52, 232-46-52
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; 124-55-00
117192 Москва, Мичуринский пр-т, 12; 932-74-79
103054 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; 921-55-96
103624 Москва, Б. Черкасский пер., 4; 298-33-73
630091 Новосибирск, Красный пр-т, 51; (код 3832) 21-15-60
630090 Новосибирск, Морской пр-т, 22 ("Книга–почтой"); (код 3832) 35-09-22
142292 Пущино Московской обл., МКР "В", 1 ("Книга–почтой"); (13) 3-38-60
443022 Самара, проспект Ленина, 2 ("Книга–почтой"); (код 8462) 37-10-60
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57; (код 812) 272-36-65
199164 Санкт-Петербург, Таможенный пер., 2; (код 812) 328-32-11
194064 Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-т, 4; (код 812) 247-70-39
199034 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 9-я линия, 16; (код 812) 323-34-62
634050 Томск, Набережная р. Ушайки, 18; (код 3822) 22-60-36
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 ("Книга–почтой"); (код 3472) 24-47-74
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 22-91-85

Коммерческий отдел, г. Москва
Телефон 241-03-09
E-mail: akadem.kniga@g.23.relcom.ru
Склад, телефон 291-58-87
Факс 241-94-64

*По вопросам приобретения книг
просим обращаться также
в Издательство по адресу:
117997 Москва, ул. Профсоюзная, 90
тел. факс (095) 334-98-59
E-mail: initsiat @ naukaran.ru
Internet: www.naukaran.ru*

ЭТНОГЕНЕЗ И КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯН



ТРУБАЧЕВ Олег Николаевич – выдающийся русский филолог-славист, специалист в области славянской этимологии, этимологической лексикографии и этнической истории (этногенеза) славян, создатель Московской этимологической школы, академик Российской академии наук, председатель Национального комитета славистов России, заведующий отделом этимологии и ономастики в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН, главный редактор журнала «Вопросы языкознания».

Член-корреспондент Финно-угорского общества (Хельсинки, Финляндия) и Югославянской (ныне – Хорватской) академии наук и искусств (Загреб).

Автор более 400 публикаций, в том числе 8 монографий. Ему принадлежит перевод 4-томного «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера с дополнениями к нему (дополнения составили более одной трети сравнительно с немецким оригиналом). Словарь выдержал четыре издания.

Под его руководством издается фундаментальный многотомный «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд» (с 1974 г. вышло 28 томов), за который О. Н. Трубачев удостоен первой золотой медали им. В. И. Даля.

За научные достижения в области славистики ему присуждено почетное звание доктора honoris causa Кошицкого университета (Словакия) и вручена золотая медаль им. П. Й. Шафарика.

ISBN 5-02-022642-4



«НАУКА»